

ЮРИЙ  
ДРУЖНИКОВ

2

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

2



**Юрий Дружников**  
**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**Том 2**



**YURI DRUZHNIKOV**

**Collected Works  
in Six Volumes**

**Volume Two**

**Angels on the Head of a Pin**

**Baltimore  
1998**

**ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ**

**Собрание сочинений  
в шести томах**

**Том второй**

**Ангелы на кончике иглы**

**Балтимор  
1998**



YURI DRUZHNIKOV  
COLLECTED WORKS IN SIX VOLUMES

Volume Two

Russian edition

Copyright © Yuri Druzhnikov  
All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions.

**Library of Congress Cataloging-in-Publication Data**

Druzhnikov, Yuri, 1933 — Collected Works in Six Volumes  
Sobranie sochinenii v shesti tomakh / Yuri Druzhnikov

Volume One. Micronovels and Short Stories.  
Volume Two. Angels on the Head of a Pin.  
Volume Three. Prisoner of Russia (Pushkin).  
Volume Four. Literary Criticism. Informer 001.  
Volume Five. Prose and Plays for Children.  
Volume Six. Esseys. Memoirs.  
p. cm.

Includes an Introduction (Volume One), bibliographical references and index.

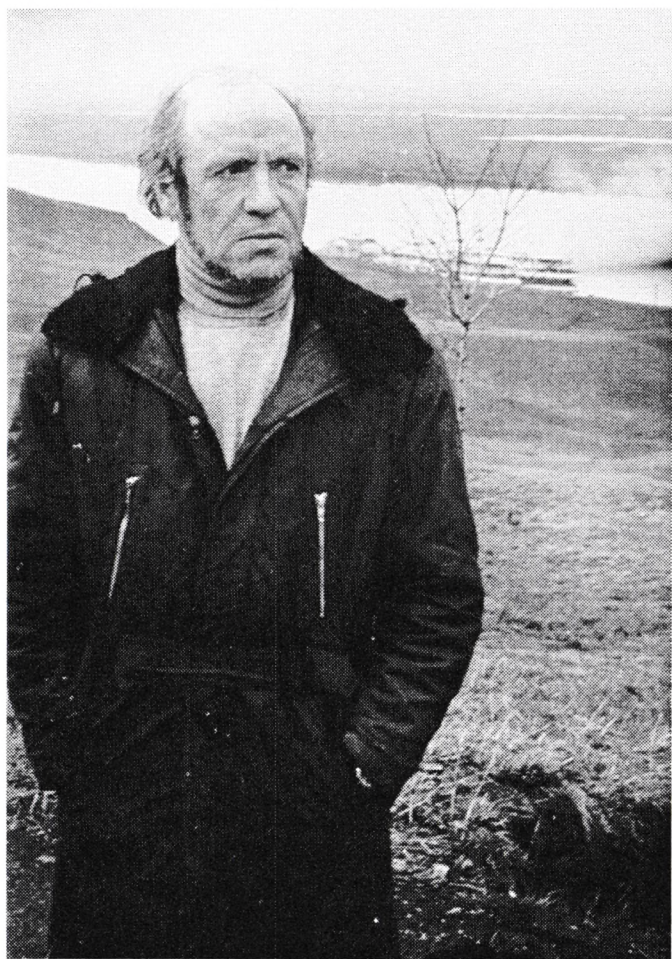
ISBN 1-885563-16-7 (set)  
ISBN ISBN 1-885563-11-6 (v.2)

1. Russian literature—Fiction. 2. Russia—XIX–XX century History.
3. Russian writers—Literary criticism.
- I. Title. II. Title: Sobranie Sochinenii.

PG3350.5.J68D78 1998  
891.71'44--dc20 98-60549  
CIP

Published by VIA Press  
6100 Park Heights Ave  
Baltimore, MD 21215  
tel.(410) 358-0900

Manufactured in the United States of America





**АНГЕЛЫ  
НА  
КОНЧИКЕ ИГЛЫ**

**Роман**

На кончике иглы может уместиться количество ангелов, равное квадратному корню из двух.

*Учебник схоластики. Год и страница забыты.*

Просьба не искать под вымышленными именами знакомых, ибо это ни к чему хорошему не приведет.

## 1. У ГЛАВНОГО ПОДЪЕЗДА

Он остановился между двумя охранниками и предъявил темно-красное удостоверение. Пока один изучал фотографию и сверял её с оригиналом, другой внимательно оглядел Игоря Ивановича Макарцева с головы до ног. Второй кивнул первому, первый вернул документ.

– Пожалуйста...

Механически пряча удостоверение в карман, Макарцев двинулся к выходу. Раньше он говорил «до свидания», а теперь только с достоинством кивал. На ходу он закутал шею шарфом и застегнул пальто. Оттянув на себя внутреннюю дверь, ощутил мягкое давление теплого воздуха из-под деревянных решеток. Толкнув наружную дверь, очутился на тротуаре.

Промозглый воздух защекотал в ноздрях, заполнил легкие. Глазам открылся Политехнический музей, толстопузый памятник гренадерам, павшим под Плевной, и пустынная, если не считать нескольких инспекторов специального отделения ГАИ, Старая площадь, огороженная плотным рядом автомобилей. Вправо по спуску к Китайскому проезду мчались, обгоняя друг друга, машины. У Макарцева уже не первый раз мелькнула мысль, что название проезда – явное упущение Моссовета. Улицу давно следовало переименовать. Эка глупость: к главному зданию страны ведет Китайский проезд!

Появление Макарцева на пустынном тротуаре не осталось незамеченным для регулировщиков и нескольких в граждан-



ском из «Семерки», стоящих в неприметных местах.<sup>1</sup> Кроме того, всех выходящих оглядывали шоферы, ожидая хозяев и время от времени прогревая стынущие моторы. Начало темнеть, поросил снежок, а фонари ещё не загорелись, и водители напрягали глаза, чтобы не прозевать своего.

Леша Двоенинов, юркий и востроносый, изредка перебегал глазами от дверей к дверям. Макарцев, хотя и ходил чаще всего через главный вход, но по своему пропуску мог выйти из любого подъезда. Завидев хозяина, Алексей мгновенно заводил мотор и включал печку, но не спешил отворить для Макарцева дверцу, чтобы не выстуживать салон. Вряд ли хозяин появится скоро. Сам всегда говорит, что ненадолго, и сам же сидит там часа по два, а то и по четыре.

Макарцев пересек тротуар и уже ступил на площадь, но вдруг, отбросив назад голову, остановился, ощутив укол в сердце. Оно, бывало, пошаливало, и он, постояв секунду, решил не вдыхать сильно. Осторожно шагнул ещё, и тут загорелась резкая боль во всей груди и сзади, между лопаток. Его будто ударило током в плечо, и боль мгновенно перебежала вниз, к желудку.

Игорь Иванович застонал, но получился хрип. Схватился рукой за грудь, сиюсь расстегнуть пуговицу. Перед глазами зарябили огни, здание Политехнического накренилось набок, машины тронулись, разом поехали на Макарцева, и он угадал, что теряет сознание. Ноги враз ослабли, и колени подкосились. Спасая голову от удара об асфальт, он подставил под зад руки и сел. Сознание осталось при нем.

Первое, что он учуял возле земли, – был резкий запах мочи. Ветер, смешанный со снегом, дул с угла Политехнического музея, донося дыхание общественной уборной. Рядом никого, кто протянул бы руку или позвал на помощь. И боль, боль, от которой задыхаешься. Единственный шанс спасения – скорей вернуться к двери, из которой только что вышел.

Боль стала невыносимой, заныли руки. Тело корчилося, перестало подчиняться, и Игорь Иванович упал навзничь. За-

---

<sup>1</sup> «Семерка» – 7-е оперативное управление КГБ (патрулирование улиц, по которым проезжают руководители партии и правительства); 9-е управление, или «Девятка», – личные телохранители членов Политбюро и их семей.

скрипев зубами, стал медленно повертываться набок и встал на колени. Теперь надо подняться на тротуар. А снег тает, руки скользят.

На мгновение он ощутил глупость своего положения: в его должности вползать в ЦК на четвереньках. Увидят, будут пересказывать, снизится авторитет. А то и Самому доложат. Но боль заставила забыть обо всем. Главное – добраться до врачей. Они спасут! Дверь тяжелая, не отодвинешь. Дотянуться бы только до ручки! На четвереньках, хотя и медленно, он продвигался к двери.

Леша, загодя заметив Макарецва, сходящего с тротуара к машине, включил было мотор и печку и нагнулся открыть пошире люк: Игорь Иванович любил держать ноги в тепле. Щиток заело. Когда Алексей рывком выдвинул его и снова посмотрел вперед, хозяина не было. Неужели Лёха обознался? Тут он заметил, что в сумерках кто-то бежит по-собачьи к двери, над которой золотыми буквами написано: «Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза». Прошло еще несколько мгновений, пока до Алексея дошло.

Последним усилием Игорь Иванович отцарапал за кромку дверь, заскулил и рухнул на мокрую щетинистую подставку, о которую вытирают ноги. Макарецва подняли дзержинцы.<sup>2</sup> Один из них нажал кнопку. Дальнейшее не доходило до разума Макарецва: он был без сознания.

– Наш, – сказал один из охранников, поглядев на его почерневшее лицо.

Другой, однако, проворно расстегнул пальто и вынул из макарцевского кармана удостоверение. Вынул так быстро и ловко, будто сам туда его опускал. Как положено, он сверил фото с лежащим оригиналом и кивнул врачам:

– Можно внести.

Взяли его за руки, за ноги и положили на носилки. Он застонал. Через минуту и сорок секунд переместили с носилок на стол реанимационного кабинета, оборудованного новой американской аппаратурой.

---

<sup>2</sup> Спецдивизия КГБ имени Дзержинского.

Макарцев лежал в темном костюме, чистом, но поношенном, вышедшем из моды лет десять назад. Черные полуботинки были тщательно вычищены, но каблук слегка сносились. Эта форма, сшитая в ателье ЦК, предназначалась для тех дней, когда он ездил в Большой дом. Там нельзя было выделяться ни более ярким галстуком, ни слишком тщательно наглаженными брюками, и жена, зная это, брюки цековского костюма гладила через сухую тряпку. Пациента накрыли простыней, и над ним склонились два реаниматора Четвертого Главного управления Минздрава, круглосуточно несущие здесь трудовую вахту.

Заскочив в тамбур, Двоенинов увидел только, как хозяина, будто неживого, кладут на носилки и куда-то уносят.

- Мне узнать... Шофер я, водитель...
- Водитель? Ну и идите в машину.
- Да что хоть с ним?
- Когда можно будет, сообщат.

Алексей заглушил мотор и, обхватив руками руль, лег на него. Ехать в редакцию и рассказать, что главному стало плохо? Или сперва сгонять к нему домой и супруге сообщить? Тогда придется ехать с ней сюда, а может, еще куда... Он полежит да выйдет, а машины нету! И Леха панику поднял на всю Москву. Посиди-ка лучше, подремли...

Двоенинов выспаться успел (на работу он являлся рано и досыпал в ожиданиях за баранкой), раз шесть включал мотор, чтобы согреться. Стоящие рядом машины уходили, на их место заруливали другие. Он докурил последнюю сигарету, хотя обычно последнюю всегда оставлял, с тех пор как в позапрошлом году вез Игоря Ивановича с приема на правительственной даче. Макарцев был в подпитии, поискал сигареты в карманах и попросил закурить, а у Леши тоже курево иссякло.

- Какой же ты шофер, если сигарету для меня не держишь?
- Игорь Иванович отечески потрепал Двоенинова за ухо.

«Волга» мгновенно притормозила возле автоинспектора – их на Успенском шоссе больше, чем грибов в лесу. Леша, кивнув на хозяина, попросил сигарету. Грузный лейтенант в летах (на правительственных трассах чины у них выше, чем указано на погонах) скосил глаза на машину с буквами МОС и номером, начинающимся с двух нулей. Таких нулевиков не имеют права

останавливать, а у Леша в права вложена карточка, разрешающая нарушать правила движения с соблюдением мер безопасности. Козырнув, инспектор молча вытащил пачку, и Леша, подмигнув, взял две сигареты. С того дня последнюю Двоенинов оставлял. Но Макарецев ни разу не попросил, наоборот, сам дарил то пачку американских, то сразу две. И вот Леша скурил чинарик и решил ехать в редакцию, а если что, вернуться.

Поскольку шофер в «Волге» был один, для него не сразу переключили свет на зеленый. Алексей покотил к площади Дзержинского не спеша, хотя привык гонять по Москве так, что красная полоска спидометра заползала за сто. На троллейбусной остановке его поманил плотный человек с чемоданчиком, похожий на командированного.

– Плачу до Курского, опаздываю...

Двоенинов молча повез его на Курский. Подъезжая и разворачиваясь на Садовом, Леша попросил:

– Рассчитайтесь со мной заранее, а то у вокзалов следят, чтобы не халтурили...

Пассажир с пониманием кивнул и вынул трояк – Леше на обед. Зарплату Алексей не тратил, а собирал на пристройку к родительскому дому. Не потому, чтобы жить в деревне, а чтобы на лето для жены и ребенка была дачка. Он хотел жить не хуже других. Халтура заняла минут десять, не более. Вращая ключи на пальце, Алексей поднялся в лифте на четвертый этаж, где располагался кабинет главного редактора, и, войдя в приемную, уже открыл рот, чтобы сказать заготовленную фразу, как на него шепотом набросилась Анна Семеновна.

– Ты куда пропал, Двоенинов?! Надо было срочно Зинаиду Андревну везти к Игорю Иванычу. По всему зданию и в гараже тебя обыскались. Послала машину Ягубова, а Степану Трофимычу самому срочно в горком...

– Я отвезу, – сказал Леша. – Да что с ним?

– С кем?

– С Игорем-то Иванычем?

– С луны ты свалился? Инфаркт миокарда, глубокий. Задняя стенка и еще что-то задето... На Грановского<sup>1</sup> лежит, в

---

<sup>1</sup> Кремлевская спецбольница в центре Москвы, на улице Грановского.

камере, забыла, как называется... А ты где был? Опять лева-чишь?.. Ох, Леха...

Она исчезла в кабинете заместителя главного редактора Ягубова.

– Ин-фаркт, – тщательно выговорил Леха, не вкладывая в слово никакого понимания.

В приемной было пусто. Он посмотрел на стол секретарши. На перекидном календаре сегодняшнее число – среда, 26 февраля 69-го года – было обведено черной рамочкой. Анечка для памяти отметила день, когда заболел редактор. Вернувшись, она сообщила, что Ягубова надо везти минут через десять. Алексей стал рассказывать, как ждал возле ЦК. Анне Семеновне положено было находиться в курсе абсолютно всех событий, и она слушала внимательно, запоминая новые подробности.

– А чего же молчал, когда я тебя отчитывала?

– Вот так по-собачьи к дверям и добежал, – не отвечая, закончил рассказ Алексей.

– И мудро сделал! – похвалила Анечка. – Да останься Игорь Иваныч лежать на площади, его подобрала бы городская скорая. А ее пока вызовешь! Ушло бы минут тридцать, да потом еще столько же место искали бы в городской больнице, да положили бы в коридоре. А в кремлевку перевозить – трясти... Мне Зинаида Андревна мнение врачей сообщила. Говорят, не доползи он до двери, в сознание бы не привели!

– Ну!

– Вот и ну!

– Да отчего инфаркт-то? Веселый был, как всегда...

Она не ответила, а он не переспросил. Сейчас отвезет зама и заскочит в пельменную в проезде Серова, а то уже в животе от голода бурчит. Прикрыв глаза, Леша лениво подумал о том, что он, обыкновенный шофер Двоенинов, неизмеримо счастливее Макарецва. У того суета, обязанности, и забот – не перечислить. То ли дело: отвез, привез и живи для себя. Нет, он не хотел бы на место редактора! Да самый последний шофера в Москве будет дураком, если без червонца в гараж вернется.

Впрочем, у Лехи были свои стремления. И не менее важные, чем у других.

## 2. ДВОЕНИНОВ АЛЕКСЕЙ НИКАНОРОВИЧ

### ИЗ АНКЕТЫ ПО УЧЕТУ КАДРОВ

*Место работы и должность: ГОН<sup>1</sup>, шофер первого класса.*

*Родился 8 февраля 1946 г. в селе Аносино, Истринского района, Московской области.*

*Русский. Отец русский, мать русская. Родители родителей русские.*

*Социальное происхождение – крестьянин.*

*Партийность: кандидат в члены КПСС. Кандидатская карточка №271374. Партийных взысканий не имеет. Ранее в КПСС не состоял.*

*Образование среднее-техническое. Окончил военное летное училище.*

*К судебной ответственности не привлекался. За границей не был. Родственников за границей не имеет. Ни сам, ни ближайшие родственники в плену или интернированы в период Отечественной войны не были.*

*Ближайшие родственники: мать, отец, жена, сын, 1 год.*

*В центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, районных партийных, советских и других выборных органах не участвовал. Правительственных наград не имеет.*

*Отношение к воинской обязанности: лейтенант запаса. Военный билет № ПМ 2427183.<sup>2</sup>*

*Общественная работа: секретарь комитета комсомола второго цеха эксплуатации «Волг».*

*Паспорт V СК №876 922, выданный РОМ Истринского р-на Московской области 15 февраля 1962 г.*

*Прописан постоянно: Москва, ул. Плющиха, д. 19, кв. 3. Телефона нет.*

---

<sup>1</sup> ГОН – гараж особого назначения (автобаза ЦК КПСС).

<sup>2</sup> Учетный номер центральной картотеки МО СССР для опознания трупов, выгравированный на жетоне, пришитом к форменной одежде изнутри.



## ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ЛЕХИ ДВОЕНИНОВА

Никанор Двоенинов возвратился с войны в деревню первым из немногих односельчан, которые вообще вернулись. Произошло это накануне Дня Победы. Село вывалило на улицу, когда шагал он, бренча медалями, в гору к своей слободке, поглаживая раненое бедро. Ушел он мальчишкой, а сделался облыселым, хотя особенно его война не повредила. Повалялся в госпитале недолго, с легоньким ранением без опаски для жизни. То ли облыселость настала от постоянного страха, то ли волосы сопрели под зимней шапкой, которую три года не снимал.

Весь день допоздна из соседней деревни Падиково, где у Никанора пол-улицы родни, шли его, живого, потрогать. Попросили показать рану. Спустил Никанор галифе, оставшись в пропитанных потом синих трусах. И вдруг соседская Клавка бросилась на колени, зарыдала и, обняв Никанора за ногу, стала покрывать поцелуями рассеченное шрамом бедро. Еле Клавку оттащили и заставили выпить ледяной родниковой воды.

Но все равно в тот же вечер Никанора, обалделого от собственной радости, всеобщего внимания и самогона, Клавка на себе женила. В застолье она исхитрилась оказаться с ним рядом и уж не отходила ни на ступню. То и дело Клавдия как бы невзначай к бедру его прикасалась. Она смотрела на него влажными преданными глазами, а стоило ему слово сказать, закатывалась от смеха. Созрела Клавка давно и, когда возможность открывалась, гуляла в лесу со случайными чужими. Но по абсолютному отсутствию в Аносине мужиков последний период длительно пребывала на полной диете и потому была сильно активная.

Никаноровские старики, дождавшись сына, на радостях померли с интервалом в три месяца, оставив молодым гнилую хату под соломой. Никанор с Клавкой сами сруб перебрали. А ровно через девять месяцев, день в день, родила Клавдия сына. Как они его выходили, бледненького да рахитичного, одному Богу известно. В колхозе не платили ни деньгой, ни картошкой, заставляли вкалывать за электричество. Если не выйдешь с косой в поле, срежут провода на столбе, и сиди впотьмах.

Клавка таскалась за две версты по святую воду из монастырского родника и в ней Лешеньку купала. Сам-то Аносинский девичий монастырь свели под колхозный гараж – в нем заросли бурьяном две полуторки, не взятые на войну в силу пенсионного возраста. Иконы из монастыря разворовали. Часть разбитого иконостаса укрыла у себя в доме Клавкина мать Агафья, числившаяся до разорения монастыря старшей в нем нищенкой.

– Бога давно нету, – разъяснял им Никанор. – Газеты надо читать!

Клавдия верила только своим желаниям и мужика никогда не слушалась. Бог ей понадобился, чтобы сына спасти, и Клавка зачастила в избу к матери, рядом с ней на коленях молилась.

Над монастырскими воротами, неподалеку от двоениновского дома, поверх надвратной иконы Богоматери прибит был подковными гвоздями выцветший портрет генералиссимуса в обрамлении кладбищенских бумажных цветов. Старики в Аносине уверяли, что это для конспирации, и продолжали перед воротами молиться. Клавка тоже, если Никанор не видел, осеняла себя крестом, чтобы Господь не забывал про ее Алешеньку.

И вырос Алеха, хотя и хиловатым, но почти что здоровым да радостным, наперекор голоду и нищете, будто жили в Аносине так, как показывают в кинофильмах, которые крутят в клубе – бывшей монастырской гостинице. Соков своих родители и бабка Агафья для него не пожалели: один-единственный он у них так и остался. Никанор, правда, еще хотел изготовить детей: картошку огород давал, прокормили бы. В Германии, рассказывал он, у всех без исключения родителей заделано по трое. Но Клавка заболела каким-то женским изъязном, и врач в больнице в Павловской Слободе сказал Никанору, что у нее вообще не может быть детей. Как она изловчилась сродить – это для медицины остается загадочным явлением. Что уж там доктор у Клавдии выглядел, Никанор не уразумел, а только она действительно больше не забеременела, видно, вся в первый раз выложились.

Когда подоспел призывной возраст и забрил военкомат ее Лешеньку, Клавдия убивалась, плакала под веселые марши духового оркестра, будто предчувствовала.

Из-за военной малой рождаемости в 64-м в армию был недобор, и здоровье у всех призывников от послевоенного года слабое. Но поскольку, как объяснял Никанор, срочное развитие реактивной авиации и атомного подводного флота для защиты от американского империализма требовало кадров, медицинские комиссии строгость временно сбавили. Так что Алексей оказался здоровяком экстра-класса, сильно годным, и попал в авиационное училище летчиков для сверхзвуковых МИГов.

Леша Двоенинов приспел к воинской службе в эпоху, когда людей уже перестали считать винтиками. И они стали просто самыми передовыми и самыми сознательными в мире советскими людьми. Взлеты их и падения, поступки и проступки, победы и поражения, их прямые, параболы и эллипсы, то есть вся геометрия их жизни зависела от Родины, которая вычерчивала Лешину кривую и орбиты всех других леш. Гагарина вывели на орбиту, на орбите его приняли в КПСС, и он прилетел и был встречен со славой. Но его могли не принять и не встретить, или не сообщать ничего, или не сделать его героем, – все решала Родина, у которой, согласно песне, все лёши вечно в долгу.

Двоенинов об этом не задумывался и принимал судьбу как данность. И хотя в училище была дисциплина тугая, как натянутая тетива, ему даже нравилось, что за все его решения отвечали другие. Жизнь твоя принадлежит не тебе, а советской Родине. Леша этим гордился. Ему нравилось летать, но видел он только побеленные баки для горючего на военных аэродромах да склады бомб за колючей проволокой, а остальное скрывали облака. Такой он представлял себе Советскую страну: взлетно-посадочные полосы, склады бомб да еще деревня Аносино и двоениновской дом-пятистенка на бугре возле самой чистой в мире реки Истры.

Однако либо недодумали чего конструкторы Микоян и Гуревич, либо схалтурили работяги на авиазаводе – почтовом ящике 4134, а только вскоре после прибытия для прохождения службы в Прибалтийский военный округ у лейтенанта Двоенинова произошел сбой. В полете вдруг резко упали обороты двигателя. Алексей – в соответствии с инструкцией – немедленно сообщил об этом на командно-диспетчерский пункт.

– Уточни координаты, – потребовали с КДП.

Двоенинов заложил вираж возле шведского острова Эланд и пошел к побережью Польши, чтобы затем свернуть на Калининград. Поступил приказ руководителя полета:

– Выясни причину, мать твою перемать!

– Выяснить не удастся, – доложил Двоенинов. – Не удастся...

– Сейчас запросим штаб...

Наступила долгая пауза. Обе стороны действовали в строгом соответствии с инструкцией, но даже это не помогало. Двигатель замолчал, наступила тишина.

– Выполнение боевого задания командир отменяет, – услышал Двоенинов в шлемофоне. – Сбрось фонарь и запасные баки.

По двум мелькнувшим самолетам иностранных авиакомпаний Алексей понял, что вошел в зону гражданских рейсов. Он продолжал терять высоту.

Леше стало холодно не от близкого конца – от мертвой тишины. Лучше бы погибнуть в грохоте, в лязге металла, когда сам не слышишь своего последнего гортанного крика. Обидно, что не отгулял отпуска, не съездил в Аносино к мамке с отцом, что никто в деревне не видел его в офицерской форме. Жизнь, если разобраться, не так уж и дорога. А отпуск жалко. Ну, а еще долга своего не выполнил.

Долг – это Леша сознавал. Раз учили, значит, нужно. Самолет, доверенный ему партией и правительством, он обязан сберечь. Но как это сделать, когда машина уже перестала слушаться?

– Катапультируйся! – услышал он приказ.

Катапультировался он на тренажерах дважды. Оба раза благополучно, если не считать рвоты и головокружений от легких сотрясений мозга, что необходимо было тщательно скрывать от начальства. На этот раз он ощутил сильный толчок вверх – его выбросило вместе с сиденьем. Выбросило, не покалечив (зря он матюгал Микояна, Гуревича и работяг почтового ящика 4134). Кратковременную потерю сознания из-за отлива крови от головы можно в расчет не брать. Двоенинов повис в сырой массе, которая залепила стекло гермошлема. Судя по высотомеру, на который он взглянул перед катапультированием, до земли, а верней, до воды оставалось всего ничего.

Лехин МИГ-21 исчез, растворился в облаках, будто и не было вовсе.

– А я живой! – заорал Алексей Никанорович в веселом бреду. – Живой!

Едва тучи пропустили лейтенанта сквозь себя, увидел он сплошную серую массу и ничего больше. Лешу затрясло, замотало на стропах. Тут шел сильный косой дождь. Верней, не шел, а опускался вместе с Двоениновым. А серая масса снизу набегала, вбирала его в себя. Волна накрыла его, поволокла вниз, но сама же вытолкнула из пучины. Лейтенант нажал на клапан баллона со сжатым воздухом, и оранжевая лодка размоталась, быстро напузырилась и встала вертикально. Он повалил ее и лег плашмя, раздвинув для баланса ноги.

– Живой! – опять повторил Алексей, проверяя себя.

Лодка то взбиралась на гребень волны, то ухала вниз. Он мог только предположить, что находится в двух третях расстояния между островом Эланд и польским берегом, и неосознанным чувством ощущать, что его относит то ли на юг, то ли на юго-запад. То и другое хорошо: в Польше – свои, в ГДР – тоже наши. Остается ждать.

Двоенинов стащил с головы гермошлем, в нем было тяжело, а без него холодно. Сначала он придерживал шлем в лодке рукой, потом устал, и шлем унесло водой. Наверное, свои уже ищут. Леша распечатал ракетницу, приготовился подать сигнал, но в округе никого не было, стрелять бесполезно. Он прислушивался к звукам и ничего не слышал, кроме плеска волн. Мотало его изрядно, поташнивало. Паек НЗ он проглотил и пил дождевую воду, повернувшись лицом к небу и сгребая ладонью влагу со щек и со лба в рот. Сквозь дрему Леша услышал тарактение мотора. Он и не сомневался, что его найдут. Первый выстрел не получился – ракетница дала осечку. Он подумал, что отсырела. А во второй раз услышал шипенье, и веер красных огней рассыпался над морем.

Его заметили. В сумерках Алексей различил борт рыбацкого судна.

– Пан тоне? – спросил голос, усиленный рупором. – Кто есть пан?

– Я русский! – орал Леша. – Потерпел аварию!.. Помогите!

Наши люди – они протягивают руку помощи всему миру, и любой человек на земле с гордостью встречает наших, это же как пить дать!

– Рюски? – переспросил человек на сейнере. – Советски?

– Советский, советский! – закивал Двоенинов и встал в лодке на колени, чтобы его, советского, лучше увидели.

– Советски нада езжать назад. Езжать на большевик. Пускай он будет помогать. Прошу, пане!

Человек на сейнере опустил рупор и ушел в рубку.

– Эй, – кричал ничего не понявший Алексей Никанорович. – Постойте! Я же здесь болтаюсь больше девяти часов...

Звук мотора стал громче и перекрыл двоениновские слова. Сейнер исчез.

– Вот фашист! – пробурчал Алексей. – А ведь мы их освободили!..

Он дрожал мелкой дрожью. Сжимал зубы, шевелил руками и ногами, чтобы сохранить тепло, но сил шевелиться не было. Наступила ночь. Алексей забылся, а очнулся от боли в позвоночнике. Он застонал, открыл глаза. Фильм крутили в обратную сторону. Двоенинов снова висел над серой массой воды с белыми барашками, и ветер мотал его из стороны в сторону. Бесконечная серая масса воды удалялась. Ногу стянуло стропой парашюта, и Леха попытался высвободить ее. Но тут бред и кончился. Его, согнутого в три погибели, втянули в люк вертолета.

Пришел он в себя в госпитале. Проболтался Двоенинов на волнах тридцать шесть часов. О нем сообщили командующему Прибалтийским военным округом. Тот доложил в Москву главнокомандующему объединенными силами стран Варшавского договора маршалу Гречко. Москва дала шифровку на береговые военные базы ГДР. Оттуда и был послан вертолет.

С диагнозом галлюцинозочно-бредовый психоз Двоенинова отвезли в Павшино, под Москву, в госпиталь Министерства обороны для офицеров с заболеваниями психики. У Лехи была бессонница, он чувствовал голод даже после еды, постоянные головные боли и страх. Страх упасть, страх смотреть из окна вниз, страх оставаться в палате одному. По ночам он кричал – и более здоровые соседи по палате трясли его за плечо. Лечили его покоем, химией, снимающей страхи.



Родителям еще ничего не сообщили. Те были уверены, что сын служит. Леха и до этого редко писал. А он лежал почти что рядом с домом: от деревни Аносино до Павшино можно рвануть на велосипеде.

Выписав из госпиталя, Двоенинова комиссовали. Он примирился с тем, что жизнь надо устраивать по-другому, и даже был рад этому. Клавдия поревела, поахала, но беды были позади, и слава Богу!

Командиров у Алексея не стало, приходилось думать самому. Первое, что он сделал на гражданке, – женился. Немедля, как отец, с бухты-баряхты. Женился на Любе, подружке школьного приятеля, который работал слесарем на автокомбинате. Приятелю Люба надоела. Она сама чувствовала, что ничего не получится, и позвала на танцы в парк культуры демобилизованного Лешу. Люба жила с отцом и матерью в Москве, в старом доме на Плющихе, в коммуналке, в комнате шестнадцати метров. Она сразу объяснила, что если бы прописать к ним в комнату еще одного человека, то поставили бы в очередь на новую квартиру. Леша замирал, когда прикасался к Любе, и согласился. Одна Клавдия была категорически против.

– Окрутила она его, неопытного! – жаловалась она соседкам. – Ох, округила!

– Ан прописку получает московскую! – возражали ей соседки.

– Прописка? Да его любая прописала бы, офицера! Ведь погулять мог, выбрать первый сорт! А то, что ни попадись, первое! И живут как? Еще когда ее дадут, квартиру-то? А счас спят – кровать к кровати с родителями. И не повозишься. Срамота!

Лехин друг уступил ему не только Любу, но и свое место работы. Начальник цеха спросил у Алексея биографию.

– Это же, выходит-значит, герой вроде как?

Двоенинов пожал плечами:

– Ну какой герой? Герой – это который сам... А я что? Получилось...

– Нет! Другой бы, может, к врагам попал или утонул, а ты... Самолет не смог спасти, зато лодку надувную спас. Не своя ведь лодка, государственная!

Непонятно было, шутит начальник или серьезен, но это стало Леше приятно. Алексей совсем поправился, послесарив,

окончил курсы шоферов. Фотографию его повесили на доску «Лучшие водители гаража». А скоро троих лучших водителей вызвали в райком партии и предложили перейти в особый гараж. Зарплата тут была выше, а работы меньше.

Лешу закрепили за редактором «Трудовой правды» Макарецевым, и тот был им доволен. Работа Алексею нравилась, но люди кругом добивались большей зарплаты, новых квартир, покупали хорошую мебель. А у них с Любой (она училась в финансовом техникуме на последнем курсе) ничего не было. Теперь же, когда сын родился, стало еще трудней. Все использовали связи для добывания благ, а Леша не умел. Понял он, что выгоднее делать вид, что ты поглупее. Тогда спросу с тебя меньше и легче жить. Но, читая газеты в ожидании редактора, он все чаще вспоминал свой героический поступок и размышлял, как бы его приспособить к делу.

Однажды на Минском шоссе Двоенинова остановил водитель тяжелого рефрижератора. Леха только что отвез Макарецева на дачу и не спешил, дал шоферу свечной ключ. В перекуре разговорились. Рефрижератор шел из Венгрии.

– Каждый раз чего-нибудь привезешь. Не то что на советские бумажки! Лучше бы, конечно, в капстраны ездить, но и соц тоже для начала неплохо.

– А попасть к вам как?

– Вступай в партию. Без этого и говорить не станут. Ну, и руку ищи...

Леша загорелся перейти на работу в «Совтрансавто». Но устроиться оказалось туда еще сложнее, чем мужик рассказал. Партийность партийностью, но берут со стажем работы, только семейных и только шоферов первого класса. Леша специально окончил курсы на первый класс. В гараже сделался активным комсомольцем, и вскоре его избрали секретарем. Это был шаг в кандидаты партии, и Двоенинова приняли как человека с героическим прошлым и добросовестным настоящим. Алексей надеялся на биографию, но помнил, что нужна рука. Однажды он набрался нахальства и, когда Макарецев был в хорошем расположении духа, попросил.

– Не нравится меня возить?

– Что вы, Игорь Иванович! Вас возить хорошо, но и мне расти надо, так ведь?

- Я пошутил. А как у тебя с партией?
- Порядок! Кончается кандидатский стаж.
- Вот видишь, мы с тобой оба кандидаты. Ты в партию, я в ЦК партии... Ладно! Позвоню во Внешторг. Готовься.

Алексей Никанорович подготовился. Но осуществление мечты откладывалось.

### 3. КЛАССИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ

Макарцев открыл глаза, жмурясь от белизны. В окно светило солнце, от которого он за зиму отвык. Сколько он пробыл в забытии, выяснить невозможно. Он лежал плашмя на спине и хотел поднять руку, чтобы взглянуть на часы, но рука была привязана к кровати, и он почувствовал, что часов на ней нет. Возле кровати стояла капельница, трубочка с тонкой иглой уходила в вену его руки. Дышалось хорошо, в носу чуть слышно сипел кислород, выходя из другой трубочки.

Он повел глазами от капельницы на потолок, усеянный зайчиками, выяснил, что они отражаются от склянок, стоящих на стеклянном столике, и от экрана телевизора в углу. Глаза устали работать, и он закрыл их.

– Больно? – послышался хриловатый женский голос.

Значит, он был не один. Снова приподнял он с усилием веки и увидел пухлогубую девушку в белом халате и шапочке.

– Число? – спросил он.

– Двадцать седьмое. Вам что-то нужно?

– Телефон.

– Ой, что вы! – медсестра всплеснула пухлыми руками и поправила ему кислородную трубочку. – Телефон нельзя! Вас ночью опять в реанимацию возили. Завотделением сказала, чтобы вы лежали и думали о чем-нибудь приятном...

– Болит.

Язык плохо поворачивался и приходилось говорить коротко.

– Где болит?

– Плечо. Живот. Спина.

– Это вам кажется. От сердца.

– Сердце не болит.

– И хорошо! У вас классический инфаркт. Сейчас сделаю обезболивающий укол...

Она повторяла слова врачей. Приподняв край одеяла, сестра оголила ему ягодицу.

– Ой! – сказал Игорь Иванович, как маленький, почувствовав боль от укола. – Пить!

Она поднесла ему чашку с продолговатым носиком, вода потекла между губ, пролилась со щеки на подушку, но и в рот попало.

– Приезжала ваша жена, – вспомнила сестра. – Сказала, дома все в порядке, на работе тоже. Завтра опять придет. Отдыхайте. У нас все отдыхают... Я пойду. Если надо, нажмите кнопку...

Макарцев лежал, прислушиваясь к сердцу, в полузабытьи. Зачем я здесь? – плыло в сознании. Долго ли придется лежать так глупо и бесполезно? Где жена – неужели не могла пробиться сюда? Я даже не знаю, что поставили в номер...

Сестра попала в точку. Как многие партийцы его положения, лежавшие в этой палате до него, он не умел ни болеть, ни отдыхать. В отпуск не ходил. Жена ездила сперва с сыном, а когда тот вырос и ездить с ней отказался, сидела в цековских санаториях одна. Игорь Иванович всегда действовал.

В наружном пласте это означало: принимать участие в подготовке решений высшей инстанции, узнавать эти решения, нацеливать на их выполнение, следить за выполнением и докладывать о проделанной работе. Напряжение существовало постоянное, особенно на первом и последнем этапе. То, что было посередине, то есть выпуск газеты, являлось производной функцией первого и делалось ради последнего. Людям, стоящим ниже, понять и тем более оценить разумную строгость и четкость партийного аппарата практически невозможно: для этого надо самому находиться на определенной высоте над уровнем моря.

Внутренним пластом, на котором держался наружный, стелились личные связи, встречи, банкеты, поездки. На каждом этапе обговаривания того, что не пишется, а часто (по важным соображениям) утверждение противоположного тому, что заложено в документы. Этот пласт дел был так же серьезен, как первый. Не меньше. Но и не больше. Те, кто

считал, что личные связи важнее, обычно сгорали преждевременно. У Макарецва на чашах весов стояли одинаковые гири.

В обоих пластах деятельности были свои формы поведения, своя ответственность за каждое поручение тебе и твое указание, официальное и личное. Иначе – легко и оступиться. Партийный деятель ранга Макарецва всегда должен думать о том, что будет, если оступишься, и как обогнуть опасный участок. Оступившемуся на идеологической работе не удастся подняться. Несмотря на весь гуманизм нашей системы, такого не случалось. Правда, тут у Макарецва была твердая уверенность, что с ним этого произойти не может.

Мысли сами собой бежали по кругу, сложившемуся за десятилетия руководящей работы. Пластинка, поставленная в юности, играла, иглолка была еще острой, исправно держалась в борозде, мелодия привычная, выученная наизусть. Но каждый раз, едва она доходила до определенного места, происходил сбой, и следовало бесконечно повторяющееся сочетание: фаркт-ин-фаркт... Инфаркт возник ниоткуда, незапланированно, как некая сила, которой в принципе, с точки зрения нормального, то есть материалистического, мировоззрения появиться не могло.

Самым страшным, страшнее смерти, для Макарецва всегда было неправильно угадать генеральную линию в конкретном преломлении к обстоятельствам. И вот оказалось, что он жив, ни в чем не ошибся и тем не менее отстранен. Инфаркт не согласовывал свой поступок ни с ним самим, ни с ЦК. Весь вчерашний вечер и целое утро Макарецв не держит руку на пульсе партийной жизни. Все там, а его нет. Там зреет, решается, проводится в жизнь – без него. Если бы там тоже пока остановилось – так нет же, идет! Инфаркт – только у него. Он – необходимое звено в живой цепи – выпал, и цепь соединилась – без него! Когда же руки снова разожмутся, чтобы его принять?

Много наслышавшись про инфаркты у других, сам он был уверен, что у него иммунитет. И теперь еще он не хотел признать, что ошибался. Нет, без него обойтись не смогут. Он столько сделал, столько еще сможет сделать. Руки-то без него сцепились, но скоро ощутят нехватку одной человеческой си-

лы. Хотя он лишь кандидат в члены ЦК, но потому его и ввели на XXIII съезде в состав кандидатов, что в ЦК необходима макарцевская голова.

Надо, чтоб как можно скорее его подняли на ноги. Где профессура? Особые врачи? Чем они все занимаются? Почему не научились лечить инфаркты быстро, хотя бы в важных случаях? Неужели не понимают, что ему нужно быстрее поправиться, начать руководить отсюда. Пусть хоть телефон включат!

– Прошу, Зина, – проямлил он, полуживой, вялыми, непослушными губами жене, как только ее на минуту к нему пустили. – Поменьше распространяйся, что у меня инфаркт. Говори лучше, что было подозрение и не подтвердилось.

– Конечно, Гарик, я что, дура? Поверят ли?

Она не сказала ему, что из больницы сразу сообщили в ЦК, а оттуда в редакцию, в Союз журналистов, везде.

– Не поверят? Это их личное дело. А от нас пусть услышат то, что нам надо!

– Разумеется, Гарик, не волнуйся...

Она тихо вышла.

Как же у него мог произойти инфаркт, да еще классический?.. Это хорошо или плохо? Наверно, хорошо. Уж классический-то лечить научились, надо полагать! А отчего он случился – знают? Сердце у него всегда было здоровое, не молодое, но ведь и не старое! Нужна причина. Ведь в целом все было хорошо, нормально! Если бы это было хоть в малой степени не так, Игорь Иванович не получил бы указания готовить анкету и прочие документы для получения дипломатического паспорта по новому постановлению Совмина.

Он и до этого, согласно специальной справке, один представлял собой делегацию, проходил через специальный проход, досмотру его багаж не подлежал. Теперь его сможет ожидать персональная машина прямо возле трапа. Но позволит ли здоровье ехать? Нет, ему необходима причина! Пока врачи копались, Игорь Иванович решил сам проанализировать свои дела и установить эту причину, чтобы знать, с каким врагом бороться и как его победить.



#### 4. МАКАРЦЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

##### ИЗ СПРАВКИ (ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ОБЪЕКТИВКИ»), ЗАПОЛНЯЕМОЙ ДЛЯ ВЫЕЗДА В КАПСТРАНЫ

*Занимаемая должность: главный редактор газеты «Трудовая правда».*

*Родился 24 июля 1912 г. в Санкт-Петербурге (ныне Ленинград).*

*Менял ли фамилию, имя, отчество? Когда и причина изменения. Изменение имени Ганс на Игорь в соответствии с существующим законодательством (Свид. Бюро ЗАГСа г. Москвы №80714 от 26.IV.1941). Причина смены – исправление ошибки родителей.*

*Русский.*

*Социальное происхождение – служащий.*

*Член КПСС с 1933 г. Партийный билет №00008242. Партийных взысканий не имеет.*

*Образование высшее, окончил филологический факультет Ленинградского университета в 1935 г.*

*Специальность: журналист, редактор, партийный работник.*

*Знание языков – работаю с переводчиками.*

*Были ли за границей? Англия, Франция, Италия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Япония, Индия, ОАР, Чили, Аргентина, ФРГ, Исландия, Австралия, США, а также все социалистические страны (служебные командировки, в ряде стран был членом партийно-правительственных делегаций).*

*Воинское звание: полковник запаса, политсостав, спецучет.*

*Участие в выборных органах: кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, секретарь Союза журналистов, заместитель председателя Общества дружбы СССР – Япония, член партийного бюро редакции газеты «Трудовая правда».*

*Правительственные награды: орден Ленина, орден Красного знамени, медали.*

*Женат, имеет сына, 18 лет.*

*Паспорт: VI СМ №621394, выдан 63 о/м Москвы 7 октября 1962 г.*

*Прописан постоянно: Петровско-Разумовская аллея, 18, кв. 84.  
Дом. телефон 258-71-44.*

*Дополнение к справке: рост 177 см, глаза карие, цвет волос – седой.*

*К справке прилагаются: автобиография, характеристика, заверенная секретарем райкома партии, справка о состоянии здоровья, выданная спецполиклиникой №1 Четвертого Главного управления Минздрава, шесть фотокарточек.*

## ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ИГОРЯ ИВАНОВИЧА

Считая себя удачливым человеком, Макарец в праве был рассчитывать на большее. На каждом этапе его биографии, когда он, расправив крылья, перелетал на ветку, расположенную ближе к вершине, крыло обо что-то задевало. Из-за этого взлет оказывался не таким значительным, как замышлялся. И каждый раз была опасность сломать крыло.

Учитель немецкого языка Санкт-Петербургской гимназии (на Васильевском острове) Иван Иванович Макарец назвал сына Гансом, выразив тем самым свое уважение к немецкой культуре. Лучше бы он выучил его немецкому языку. Родись молодой Макарец на пару лет позже, когда Петербург переименовывали в Петроград, Гансом бы его уже не назвали и тем облегчили бы последующие взмахи его крыльев. Родители Ганса Ивановича умерли в Гражданскую войну, десятилетнего мальчика приютила родня. Дядья и тетки бывшего среднего сословия в те разбродные годы переводили его из семьи в семью, подкармливали чем могли.

Вторым домом для него стал отряд скаутов. Он с радостью надевал сшитую из грубого полотна синюю форму с голубым галстуком, на котором завязывал узелки после каждого доброго дела. Все как один – в этом была особая радость коллективной жизни. Потом появились юки – юные комсомольцы, отряды скаутов запретили. В комсомол он вступил с гордостью. В комсомольской ячейке Гарика Макареца любили за открытый нрав, энергию и всегда выбирали вожаком.

В тридцатые годы, когда пошла мода на странные и иностранные имена, Ганс Макарец ни у кого не вызывал не-

доумения. Он стал секретарем комитета комсомола (поступил в университет, в графе «соцпроисхождение» написал «сирота», – в вуз не приняли бы сына учителя гимназии).

Он заканчивал университет и активно работал в комсомоле, когда убили Кирова. Макарецев, к счастью, не принимал участия в обсуждении истории ленинградского комсомола. После смерти Кирова участники этого обсуждения, члены ЦК комсомола Колотынов и Румянцев, были арестованы, поскольку убийца Кирова Леонид Николаев тоже присутствовал на этом обсуждении. Колотынов, обвиненный в том, что стоял во главе «Ленинградского центра», в который входили Каменев и Зиновьев, был расстрелян вместе с Николаевым. Макарецев и Колотынов были хорошо знакомы, но Колотынов на допросах Макарецева не назвал.

Макарецеву, уже вступившему в партию, предложили занять освободившееся от врага народа кресло редактора ленинградской комсомольской газеты «Смена». Ему нравилось и писать – лучше всего получались у него звонкие статьи на международные темы. Содержание их черпалось в газете «Правда». Но он добавлял яркие краски, примеры ужасной жизни трудящихся под гнетом капитала, углубляя темы за счет своей фантазии. Несколько раз его статьи перепечатала «Комсомольская правда», и ему предложили перебраться в Москву. Он стал заведовать международным отделом в «Комсомолке», а затем в «Известиях».

Теперь темы статей ему давали в Наркоминделе, туда же он возил написанное. Кое-что убирали и кое-что предлагали добавить. Неожиданно под одной из статей отдел печати рекомендовал ему подписаться не одной буквой «Г», но и полным именем: Ганс Макарецев. Информбюро распространило статью за границу. Это было вскоре после 16 августа 39-го, когда Риббентроп прибыл в Москву. Макарецев стоял в группе журналистов, когда пакт подписывал Молотов. Ганс Иванович сам слышал тост, произнесенный Сталиным: «Я знаю, как любит народ своего фюрера. Я хотел бы поэтому выпить за его здоровье». Макарецев писал статьи, разъясняя в них, как необходим этот пакт Германии и СССР, но сам ничего не понимал.

В детстве и юности его воспитывали, а потом и он воспитывал других на антифашизме. А теперь? Внешне вроде бы

все осталось, но внутри стало другим. Он чувствовал, что, если поймет сегодняшний день генеральной политики товарища Сталина, он будет на коне. Весь его дальнейший путь, возможности его максимальной отдачи партии сейчас зависил и от того, насколько верно он сможет проводить в жизнь гениальный, видимо, по своей смелости замысел главного человека в партии, в стране и во всем мире. Ведь не случайно Сталин объявил, что фашизм – исторически прогрессивный строй, служащий промежуточной стадией между капитализмом и социализмом. Значит, сейчас нужно работать рука об руку с фашистами.

Когда Литвинова сменил на посту Наркоминдела Молотов, Макарцев почувствовал, что он уловил дух времени. Враг №1 – не фашисты, а насквозь прогнившие буржуазные демократии Запада. Гансу Ивановичу так понравилось звучное выражение «насквозь прогнившие буржуазные демократии Запада», что он дважды употребил эти слова в статье. Неожиданно Макарцева включили в список лиц, сопровождавших Молотова в Берлин. Переводчик Вячеслава Михайловича Бережков сказал тогда:

– Имя у тебя симпатичное для поездки...

Но причина была не только в этом. Молотову понравилось выражение «насквозь прогнившие буржуазные демократии Запада», которое он прочитал в статье Макарцева и использовал в докладе. Позже Сталин несколько раз употребил это выражение. НКВД проверило подноготную молодого журналиста-международника, и он вошел в картотеки, но, поднятый по личному указанию, проскочил обычные проверочные задания, которые дают такого рода лицам при поездках за границу.

Начало войны было для Макарцева ударом, хотя он мог бы его и предвидеть. Мы Гитлеру помогали, а он оказался неблагодарным! Слишком уж абсолютно Макарцев поверил в то, о чем писал в своих статьях. Он быстро перестроился и никогда больше так искренне не заблуждался. Однако выработанное им высокое чутье, в каком духе надо писать, по-прежнему его не подводило. В год второго разочарования, в 53-м, Макарцев оказался умнее.

Но это было позже, а пока, в начале войны, он, хотя и не верил, что это может с ним произойти, но слышал об арестах и ссылках людей с немецкими фамилиями и именами. На всякий случай он написал заявление в ЗАГС: «Любовь к Роди-

не и ненависть к врагам обязывают меня исправить ошибку, допущенную родителями». Он просил изменить имя Ганс на Игорь. После этого в военкомате попросился на фронт. Его не отправили: он был номенклатурой ЦК. Макарецев не знал, что остался на свободе благодаря Молотову, который регулярно читал «Известия».

– Макарецев, который ездил с нами к проходимцу Гитлеру, – сказал Молотов, – правильно понял, как вести пропаганду в новых условиях. Отличать наших журналистов и ненаших научил меня Владимир Ильич. У этого Макарецева есть нюх. Включите его в список.

Так Макарецев попал в группу первых награждений военного времени. В конце войны, когда налаживалась идеологическая работа и выпуск газет в областях, ранее оккупированных немцами, его провели инструктором в сектор газет аппарата ЦК.

Ему шел тридцать девятый год, когда он стал вдруг до болезненности серьезно задумываться над тем, что он одинок. Не в друзьях тут было дело и не в подругах для отдыха. В этом Макарецев не был ханжой и принимал участие во всех мероприятиях, которые имели место в его кругу. Без этого он не считался бы там своим человеком. Но у людей, его окружающих, дома был уют, дети, а он, сирота казанская, этой радости не вкусил. Еще чуть-чуть и поздно будет. И потому что страна, потерявшая на войне больше двух десятков миллионов живой силы, спешила воспроизводиться (а Макарецев был сыном своей страны), и потому что приспела пора, он решил жениться.

Зина, с которой он познакомился на скамеечке возле пруда в Барвихинском санатории ЦК, уже была однажды замужем. По ее красоте и уму это было неудивительно. Он был тактичным и не расспрашивал ее о первом муже. Стремясь жениться, он полюбил Зину. Место знакомства было вполне приличное, они сходили два раза в Большой театр и раз во МХАТ.

Игорь приезжал домой поздней ночью, как было принято в те годы. Он подолгу стоял у кровати, радостно прислушиваясь к ровному сопению малыша. Он так много работал, что даже поиграть с подрастающим сыном не оставалось времени.

В середине февраля 53-го в отделе руководящих кадров его попросили заполнить новую анкету. Внимательно прочитав ее, коллега спросил:

– Какая девичья фамилия у вашей жены?

– Жевнякова.

– А ее фамилия по первому мужу?

Макарцев не знал (разойдясь с первым мужем, Зина вернула себе девичью фамилию). Но сказать, что не знает, не мог и растерялся.

– Разве это имеет значение?

– Я ведь просто исполнитель, – ответил инструктор. – Ее фамилия по первому мужу – Флейтман...

– Но она русская! – он пробовал защищаться, чувствуя, как страх покрывает лицо румяным налетом вины.

По обязанности Игорь Иванович сталкивался с этой проблемой, подбирая кадры для областных газет в соответствии с духом времени. Однако сам не ощущал в этом потребности, даже, напротив, неприятное чувство виноватости каждый раз овладевало им. Сам по себе он объяснял данное явление местными пережитками, делом малокультурных кадров, наводнивших партию после чистки. Сталин об этом, конечно, не знал.

– Она чистокровная Жевнякова! – повторил он.

– Дело не в этом. Вы знакомы с ее бывшим мужем?

– Нет! Не видел и не спрашивал... А что случилось?

– Знаете ведь, что дан ход делу врачей, которые пытались неправильно лечить руководство. А бывший профессор Флейтман работал в клинике с Вовси и консультировал Когана.

– Но жена тут ни при чем, я знаю абсолютно точно.

– Пока абсолютно точно одно: по поводу дела врачей Рюмин получил новое указание.

Генерал госбезопасности Рюмин был заместителем Берии и начальником следственного отдела по особо важным делам.

– Можно мне позвонить Рюмину? – тихо спросил Игорь Иванович.

С Рюминым он встречался не раз, когда готовились для газет материалы о борьбе с врагами народа.

– Вы не хотите понять: указание получено, – инструктор надавил голосом на последнее слово. – Даже Лаврентий Палыч ничего не сумеет.

Макарцев сидел в оцепенении. Мысль лихорадочно бежала по нехитрому кругу, со всех сторон утыканному сучками. В безответности была его погибель. Он уже представил себе, что

жену уводят от него, а может, предложат с ней развестись. Он подумал позвонить референту Молотова, но Вячеслав Михайлович уже проявил высокую принципиальность, сообщив, что его жена Жемчужина – враг народа.

– С кем же мне закрыть вопрос?

– С кем закроешь, – вопросом ответил инструктор, – когда есть указание?

– Чье указание?

– Не понимаете? – инструктор поднял глаза к небу и посмотрел на Макаргеца с сочувствием.

Игорь Иванович представил себе, что добился приема у Поскребышева. Поскребышев, сгорбясь, двинется на него и обматерит. «Закрывать» вопрос было не с кем. Потому и был сделан им нелепый шаг – от отчаяния, наверно. Он попросился в отпуск, в санаторий, поскольку не отдыхал лет пять и неважно себя чувствует. Там улыбнулись: арест в санатории считался более удобным, чем на работе.

Взяв путевки на Кавказ, он отбыл с женой и сыном. В Курске Игорь схватил чемодан, вытолкал недоумевающую Зину из поезда, объяснив проводнице, что должен вернуться в Москву. Через час они уже ехали в общем вагоне, в духоте, среди людей с мешками, и Зинаида расширенными зрачками смотрела на мужа. Он понимал: рано или поздно его найдут везде, не хотел только, чтобы сейчас. Из Воронежа добрались до Тамбова. На рынке, заполненном оборванными людьми, попался старик-лесничий, приехавший в город купить поросенка. Макаргец назвал себя другой фамилией и пожаловался, что больному ребенку, врачи сказали, нужен лесной воздух. Заплатит он хорошо.

В избе лесника пахло кислым молоком и куриным пометом: кур зимой держали в избе. По ночам Макаргец ждал. Но никто ими не интересовался. Жили – не шиковали, ели хлеб и сало, спали на нарах. Игорь томился без дела. Газет лесничий не получал, а радио играло, сообщая о грандиозных свершениях и ширящемся размахе соцсоревнования в странах социализма и о забастовках в других странах, что, безусловно, свидетельствовало о скором крахе капиталистической системы. Однообразно ведется пропаганда, мало гибкости, думал Макаргец, слушая. Мысли о приближающемся окончании отпуска он отгонял с душевным трепетом. Когда хозяин разбудил

под утро и шепотом сказал, что передали, будто Сталин поми-  
рает, Макарец испугался еще больше.

– Это конец! – сказал он жене.

– Какой ты неисторченный, Гарик! Плевать я хотела на  
Сталина, ты мне дорог!

– Замолчи, Зина! – он закрыл ей рот рукой, но она оттолк-  
нула его, встала с нар.

– Да неужели не понимаешь: только это наше спасение!..

Макарец попросил старика отвезти его в город. Оттуда он  
позвонил заведующему.

– Ты куда делся? – удивился тот. – Тебя искали...

– Сын у меня заболел по дороге.

– Возвращайся скорей, ты нужен... В том деле ошибка...

По дороге в лесничество он выхватил у старика вожжи и  
сам понукал и бил кнутом лошадь.

– Дело врачей отменяется, – крикнул он Зине с порога.

– А я что говорила?

Макарецы вернулись. В ЦК внешне было спокойно, но  
нервы у всех напряжены. В процессе подготовки к XX съезду  
Макарец оказался одним из самых активных. Работал с подь-  
емом, энергией и опять с чистой совестью. Когда многих, в  
связи с сильно запятнанным при культе прошлым, переводили  
из ЦК на другую работу, его не тронули.

Люди, которым он подчинялся, не вызывали у него симпа-  
тии. Мир перевернулся вверх дном, и они поднялись со дна.  
Они стояли вокруг немого Сталина, когда тот лежал с инсуль-  
том на полу и плакал. Теперь трон оставался свободным. Осте-  
регаясь друг друга, они заговорили о коллективном руководст-  
ве. Никто не хотел проиграть, и от них Макарец зависел все-  
цело. Прошлое в одну минуту могло стать уликой, а могло  
выдвинуть вперед. Берия попытался использовать момент и  
достичь полной власти, но сгорел. Отправили на пенсию Кага-  
новича. Убрали Молотова послом в Монголию. Макарец поста-  
рался не вспоминать контактов с ним. Жуков поддержал танка-  
ми Хрущева. Иван Серов, командир отделения расстрела, лич-  
но уничтожавший прославленных маршалов, теперь, после убий-  
ства Берии, возглавил КГБ, и Макарец часто видел его на  
совещаниях в ЦК. Он знал, что Серов – родственник Хруще-  
ва. Жизнь менялась, но оставалась той же. Впрочем, испове-



дей никто не требовал. Оценивали по поступкам не вчерашним, а нынешним: на кого ты ориентируешься сейчас.

К счастью, он был в ЦК рабочей лошадкой в той большой упряжке, которой Политбюро доверяет работу, себе оставляя только одно – власть. С группой референтов он писал целые главы выступлений Хрущева. Именно Хрущев долго смеялся, случайно узнав, как Макарецв спрятался в лесничестве. После одной из своих зарубежных поездок, во время которой Макарецв занимался обеспечением правильной информации для прессы, Хрущев предложил Макарецву «Трудовую правду». Предыдущий редактор Шлыков, член ЦК, незадолго до этого в узком кругу задал вопрос о том, не слишком ли часто в печати по мелким поводам упоминается имя Никиты Сергеевича и тем снижается величие первого секретаря и его личная скромность. Шлыков был отправлен на пенсию.

Сделавшись главным редактором, Макарецв все чаще подумывал, что сталинские репрессии были не такими уж страшными для преданных делу партийцев, как об этом иногда поговаривают. Однако, размышляя о самом Сталине, он постепенно убедил себя, что никогда до конца Сталину не доверял. Сыну сапожника, рассуждал Макарецв, и во сне не снилось быть властителем всей России, отомстить ей за угнетение Кавказа. Но, утвердившись и уничтожив своих врагов, он все чаще стал думать о том, чтобы он, Сталин, стал реальным вождем трудящихся всех стран. А Гитлер в этой позиции видел себя. Двое играли в шахматы – мы были пешками. Я тоже!

Поняв для себя Сталина, Макарецв вздохнул облегченно и практически Сталина забыл. Он работал на Хрущева и делал это самозабвенно, говорил себе, что работает на партию. В 62-м Хрущев лично повесил Макарецву на грудь орден Ленина в связи с пятидесятилетием, похвалив: «Редактор Макарецв – наш человек!»

Еще в молодости Макарецв стал славен тем, что умел выделить в человеке основную примету, и он не раз слышал, как эта кличка прилипала к владельцу. Именно Игорь назвал будущего сменщика Хрущева человеком с густыми бровями, и эта примета пошла потом гулять, родив известный анекдот о сталинских усах на более высоком уровне. В свите «человека с густыми бровями» Игорь участвовал в государственных визитах.

Сам-то Макарецв догадывался, что чувствует себя твердо не потому, что имеет старые связи в ЦК, и не поотому, что помогал Молотову, Хрущеву и теперь человеку с густыми бровями. Сила Макарецва состояла в том, что он еще при Сталине был странным образом допущен к вечному члену Политбюро. Не к двадцать седьмому бакинскому комиссару, который никогда реальной власти не имел, и не к Первому Маршалу, которого в 56-м, по выражению Хрущева, попутал бес, а к тому, который всегда оставался в тени.

Макарецв понимал, что старейшина аппарата, которого он про себя именовал худощавым товарищем, – уникальная личность на фоне остальных членов Политбюро. Его стиль – старомодность. Он сам считал себя ленинской гвардией, хотя и не имел к ней отношения. Он был преданным сталинцем, однако втайне считал, что массовые репрессии нецелесообразны, держать в повиновении народ можно и без этого, и оказался прав. Он единственный из них, казалось Игорю, по-прежнему верит во что-то, – остальные циники. Теперь он держит в руках все нити внутренней и внешней идеологии, и эта незаметность дает ему особое удовлетворение.

Только догадываться мог Макарецв, чем он, рядовой инструктор, обратил на себя внимание. Но однажды его пригласили на дачу к худощавому товарищу. Тот встретил Игоря в парке. Худощавый товарищ был в длинном габардиновом китайском плаще и с зонтиком, хотя стоял солнечный июнь. Пили чай на воздухе, под липами. Макарецв старался показать, что он неглуп, скромн, и гадал, зачем он мог понадобиться. Хозяин рассказывал о том, как он бросил курить, и предложил должность помощника.

– Мне нужен работник, который умеет писать и понимает, зачем пишет.

Это было тем более неожиданно: считалось, что худощавый товарищ – единственный, кто пишет свои доклады сам. Игорь, конечно, согласился; отказ мог стать концом его биографии. Однако его будущий шеф вдруг был назначен Сталином редактором «Правды». Он снова пригласил Макарецва, и они опять хорошо поговорили. С тех пор Игорь стал периодически бывать на чаях (ничего более крепкого хозяин не пил). С годами чаи стали реже, но сохранялись.

Отношения эти не были ни дружбой, ни обязательными, как у подчиненного с начальником, скорее – взаимовыгодным симбиозом. За чаем Макарецв угадывал некоторые предстоящие поветрия наверху, а товарищ, предпочитающий быть в тени, узнавал дуновения снизу. Макарецв был для него партийцем того уровня, ниже которого он не опускался. Были тут и недоговоренности, но они обоих устраивали. Эту связь Макарецв скрывал даже от Зинаиды. Ему казалось, чаепития под липами чем-то унижают его, а чем – не хотел себе объяснять.

Не только отдел пропаганды ЦК руководил «Трудовой правдой», но и худощавый товарищ во время чаепитий, хотя об этом никто не говорил. Именно им Макарецв был включен в группу подготовки наиболее важных выступлений человека с густыми бровями. А затем, на XXIII съезде, – в список кандидатов в члены ЦК.

Однако чем дольше не было сучков, тем навязчивей становилась мысль об их скором появлении. Взлеты увеличивали риск падения. Макарецву шел шестой десяток, и ему было что терять. Материальные блага он не очень ценил, но положение по-прежнему его волновало. Стабильность он мог чувствовать только в движении вверх, но в последнее время оно замедлилось. А ведь стоит остановиться, и начнешь катиться вниз. Здоровье стало не то. Каждый день, хотя и старался об этом не думать, у него что-нибудь болело: то спина (отложение солей, как говорили врачи), то печень. Он любил поесть – и передал, любил выпить. Что касается женщин, то, когда заходил о них в мужской компании разговор, он с улыбкой говорил, что к старости понял одну простую истину: конституция у них у всех одинакова. Как говорил старик-лесничий из-под Тамбова, сколько ни ищи, у которых поперек, – не найдешь.

Разумеется, Макарецв понимал, что занятый им пост – не предел, но некая апатия и внешние причины, ему неясные, не позволяли быть активнее. «Меня порядочность погубит», – хвалил он себя за то, что не двигался вперед, как некоторые, наступая на ноги соперникам.

Несмотря ни на что, Игорь Иванович верил в торжество коммунизма. Не в средства (они себя изрядно скомпрометиро-

вали), а в результат, в счастье, которое должно наступить когда-нибудь. Не для него – для других.

В дни чешских событий прошлого 68-го Макарец думал: не пойдем на крайность, не введем войска. Даже при Сталине с Югославией не смогли так поступить. Будь я наверху, я бы не допустил. Он симпатизировал Дубчеку, но так глубоко в душе, что и себе не признавался. Игорь Иванович не разделял самодовольства нынешних руководителей, для которых партийные функции выше человеческих. Послабления страшат их. Он бы наверняка действовал иначе, интеллигентнее. Впрочем, неизвестно, какие соображения возникли бы у Макареца, пройди он оставшиеся четыре ступени: член ЦК, кандидат в члены Политбюро, член Политбюро, член группы сильных в Политбюро. Нет, нет! Его программа-максимум – еще одна ступень.

Внешне это раздумье никак не проявлялось. Он боялся отторжения даже внутри себя, а уж тем более вовне. Не столько инерция, сколько здравый смысл стал сильнее его самого, диктовал поступки, линию поведения. Кто-кто, а уж Макарец не мог не предвидеть подводных течений.

У него дважды выясняли, сколько лиц еврейской национальности в «Трудовой правде». Он понимал: идеологические мышцы после чешских событий напрягаются. Он успокаивал себя, что это необходимо, что он будет соблюдать меру. Однако в середине декабря 68-го Макарецу пришлось понервничать.

Недели две у него гостила теща из Ростова-на-Дону. Она ходила по музеям, в ГУМ и ЦУМ, восхищалась длиной очередей.

– Зять у меня такой ответственный – не поговоришь, – шутливо ворчала она. – Впрочем, я и сама в бегах...

– Да не стойте по очередям! Составьте список, я пошлю шофера...

– Нет уж, Гарик! Не хватало еще вам забот прибавлять...

Теща была старше его на пять лет и постоянно это подчеркивала. Раз он приехал домой рано – председательствовал в Доме журналистов на всесоюзном совещании газетчиков по идеологической работе, устал, хотел сразу лечь. Кроме тещи, в комнате сидел незнакомец с короткой шкиперской бородкой, похожий на ученого – из нынешних. Вот тещенька и хахаля завела!

Гость поднялся со стула, протянул руку и, внимательно поглядев в глаза, резковатым голосом произнес:

– Александр.

– Игорь, – сразу ответил Макарцев, хотя столь неофициально уже давно не знакомился.

– Сестра Настя с ним в одном классе училась, – объяснила теща. – Дружили, играли вместе. Я его последний раз в Ростове перед войной видела. Саня как раз университет кончал. Разыскала вот. А на улице бы не узнала... Гарик, вы голодный?

Теща вышла на кухню.

– Вы какой факультет кончали? – спросил у Сани Игорь. Спросил не потому, что интересно, а для разговора. – Физический?

– Физмат, – сказал гость.

Макарцев даже не похвалил себя за проницательность. Что-то, а людей он быстро понимал. Теща поставила перед ним тарелку: холодную куриную ножку и два помидора – как он любил.

– А вы не ужинаете?

– Благодарствую, – буркнул гость.

Не очень-то он был разговорчив.

– Не хочет, – объяснила теща. – Говорит, сыт. А я по вечерам сохраняю талию. Как говорят французы, минуту на языке, всю жизнь на бедре.

– Вы редактор «Трудовой правды»? – Александр покосился на красные свежие декабрьские помидоры.

Было непонятно, хочет он в связи с этим о чем-то попросить (есть, что попросить у главного редактора газеты, – этому Игорь Иванович не удивлялся, воспринимал как должное и по мере возможности помогал) или тоже спросил просто для вежливости.

– Да, я журналист, – подправил Игорь Иванович и продекламировал:

– В тридцать лет очки себе закажешь, в тридцать пять катары наживешь, в сорок лет «адью», ребята, скажешь, в сорок пять убьют или помрешь...

– Это чье сочинение?

– Народное. Молодые газетчики, подвыпив, поют. А кто постарше да перевалил рубеж, помалкивает.

– Вам сколько?

– Отстукало пятьдесят шесть.

– Выходит, не все пророчества сбываются! – гость опять покосился на алые помидоры.

– Зато у меня радикулит, печень пошаливает, – улыбнулся Макарцев.

– В физике есть такое понятие – порог. Вода, вода – и вдруг за порогом – лед, другое качество. У человека, думаю, пороги относительны.

– А как твое здоровье, Саня? – спросила теща.

– Лет десять назад, думал, наступил мой порог. Врачи пугали: обречен. А вот вытянул сам себя за уши... Ну, мне пора. Я по вечерам тоже работаю...

– В режимном институте? – спросил Макарцев, снова уверенный, что не ошибается, поскольку большинство исследовательских учреждений – почтовые ящики.

– Почти! – кивнул гость, поднимаясь. – Желаю вам!

Они пожали друг другу руки, и теща пошла проводить одноклассника своей сестры. В коридоре слышались их приглушенные голоса, смех. Игорь Иванович отставил тарелку, налил полстакана боржоми, выпил, подождал отрыжки, вынул губами из пачки «Мальборо» сигарету, сладостно затянулся. Теща вернулась.

– Понравился мой гость?

– В общем... – корректно пробурчал Макарцев, уже думая о своих делах.

– А скромник какой! Ведь весь мир о нем говорит и пишет!

– Весь мир? – Макарцев вынул сигарету изо рта. – Да кто он такой?

– Иногда вы меня удивляете, Игорь! Солженицын.

– Сол..?! – Макарцев закашлялся.

– А что удивительного?

– Нет, ничего...

Он встал и скрылся в спальне.

«Раковый корпус», когда решался вопрос о публикации в «Новом мире», Макарцеву дал почитать художавый товарищ, предпочитающий быть в тени. Игорь Иванович вернул верстку через три дня.

– Ну как? – спросил тот. – Твардовский ждет ответа.

– Не знаю. Если выкинуть намеки, то, может, разрешить?  
– Мы-то с тобой правильно понимаем. А масса? И потом, разреши это – завтра попросят еще острее! Солженицын – не наш человек.

Прежде всего вылезла обида на тещу. Макарецов, походив по спальне, вышел снова. Теща мыла на кухне посуду.

– Учтите, что вашего Саню, – он сознательно не хотел произносить фамилию, – скоро исключат из Союза писателей за антисоветчину!

– Это будет большой ошибкой! В свое время ругали Есенина, Пастернака, Булгакова, а теперь?

– Вы хоть знаете, что он имеет связи с границей и за ним ведут наблюдение органы?

– Это же глупо! Он честный человек, честнее нас всех. Ему еще недавно хотели Ленинскую премию дать.

– Да, он обнялся с Хрущевым.

– А без Хрущева – он уже не талант?

– Не хочу я спорить о его таланте. Но, приведя его сюда, в какое положение вы меня ставите?!

– Ах, вот вы, Гарик, о чем!

– Допустим, на меня вам плевать, – не давал он ей отговориться, – но о дочери и внуке вы подумали? Их положение тоже зависит, между прочим, от меня!

– По-моему, сейчас не тридцать седьмой!

– Много вы понимаете! Может, я даже симпатизирую этому вашему Сане. Не исключено, что он без пяти минут Лев Толстой. Так это или не так, пускай потомки разбираются. Вы учительница литературы, а я, как говорится, ответственный партийный работник, черт побери! И мои симпатии и антипатии определяете не вы и не ваш одноклассник!

– Не мой, а Настин!

– Пусть Настин!..

– Я поняла, не будем заниматься политграмотой... Больше вы о нем не услышите. Я имею в виду, не услышите от меня. И теща с достоинством вышла.

– Извините за резкость, – бросил он ей вслед.

Но еще и на другой день он был зол на нее. Она, конечно, говорила с Зиной и с внуком. Не хватало еще, чтобы сын начал презирать его за трусость!

Известно ли *там*, что Солженицын был у него дома? Целесообразно застраховаться. Решение, как это сделать лучше, голова подыскивала ночью, а выдала утром, когда Игорь Иванович заехал в ЦК. Шагая по коридору, он объяснил себе, что вправе наступить на свои интеллигентские соображения по мотивам идейным и, помня о чаепитиях под липами, заглянул в кабинет помощника человека, предпочитающего быть в тени.

Хомутилов, помощник по печати, сухой и длинный, похожий на своего хозяина, говорил мягко и неторопливо. Знакомы они были с конца тридцатых годов. Макарецв попросил провентилировать, не сможет ли сам принять его по короткому и важному делу.

Приняли его в тот же вечер. Игорь Иванович доложил, что в редакцию поступает масса писем трудящихся, осуждающих Солженицына. До сих пор газеты хранили молчание, может быть, теперь пора дать несколько откликов? Макарецв понимал, что здесь может не понравиться, когда советуют, как вести идеологическую линию, но в случае чего он застраховывался от обвинения в симпатии к Солженицыну. Во время приема, однако, худощавый товарищ не высказал своего отношения, а захотел взглянуть на письма.

В редакции Макарецв вызвал исполняющего обязанности редактора отдела коммунистического воспитания Таврова и предложил срочно подготовить отклики. Через полтора часа они лежали у Игоря Ивановича на столе под заголовком «Клеймим позором!». В тексте говорилось о Солженицыне все, что нужно. Макарецв зачеркнул заголовок и написал: «Протестуем!» Он знал, что всякая кампания разгорается постепенно и надо оставить керосина про запас.

День спустя Хомутилов позвонил Макарецву и разрешил поставить в номер. Газета вышла, и он думал, теща не удержится, выдаст ему нечто обидное. Но вечером Зинаида сказала, что она проводила мать на поезд. Мать хотела остаться на Новый год, а сегодня вдруг передумала.

– Хоть бы попрощаться позвонила, – сказал он, в душе довольный, что не позвонила.

– Просила тебя поцеловать.

Значит, теща ничего не сказала Зинаиде.



– Пусть хоть вообще к нам переедет...

– Она у меня самостоятельная, Гарик, ты знаешь!

После «Трудовой правды» кампания против Солженицына была поддержана всеми газетами, ТАСС и иностранной коммунистической прессой. Макарецва похвалили на идеологическом совещании в ЦК за правильную линию. Так он снова чуть не зацепился за сучок, но обошлось.

В таких действиях была особая радость: в любых обстоятельствах всегда поступать, как нужно партии, хотя ты лично можешь с чем-то и не согласиться, даже считать иначе. Да, иначе, поскольку ты не машина, а живой член партии. Но, конечно, не согласиться в душе, не высказывая этого. Поступить ты обязан так, как считает партия. Тут-то и коренится разница между ленинской принципиальностью и принципиальностью абстрактной, аполитичной совестливостью.

В молодости Макарецов терзался, чувствуя, что иногда из-за необходимости выполнять нелепые приказы, унижается его собственное достоинство. И нащупал выход: достоинство не страдало в том случае, если он сам, еще до постановления, мог постичь, что в данный момент партийно, а что нет. Плохой же, недалекий партийный руководитель ждет указания. И хотя в конечном счете результат один, поскольку предвидеть – значит поступить в соответствии с постановлением, которое еще не поступило, – принципиальная разница несомненна, как разница между словами «угадать» и «угодить». Без ложной скромности Макарецов относил себя к хорошим партийцам.

Однако же нелегко двигался он по жизни, не избежал нравственного дискомфорта. Был у него близкий друг, или приятель, дело, в конце концов, не в названии. Во всяком случае, не чужой человек, как Солженицын, когда ничто личное не задето. С Андреем Фомичевым, редактором «Вечерней Москвы», виделись они то часто, то реже, но перезванивались регулярно. Анна Семеновна знала: с Фомичевым соединять немедленно, что бы в кабинете ни происходило.

Они вместе начинали. Оба любили газетное дело, оба были полны энергии, оба удачно избежали неприятностей определенного периода, хотя висели на волоске. Возможно, помогло и то, что они предупреждали друг друга от оплошнос-

тей. Так или иначе, но остались невредимы и даже выросли. Макарецев ушел вперед, а Фомичев старился в городской «Вечерке».

Им всегда было что наедине обсудить. Каждый серьезный шаг обговаривали. На совещаниях в ЦК находили друг друга в кулуарах и садились рядом. Ну, а деловые просьбы – поставить в номер материал, который надо поставить, но почему-либо это неудобно в своей газете, – тут уж зеленая улица. Звали они друг друга не по именам, а просто по фамилиям – так привыкли. И жены их звали также. Погорел Фомичев при Хрущеве, нелепо и мгновенно, с Макарецевым и посоветоваться не успел.

Сообщение ТАСС о запуске первого в мире космонавта Гагарина поступило вскоре после того, как он в действительности благополучно приземлился. В это время очередной номер «Вечерки» Фомичев уже подписал в печать. Тогда над тассовкой не стояло, как теперь, указаний, обязательно ли печатать всем газетам, на какой полосе, с фотоснимками или без. Фомичев заколебался. Поставить сообщение в номер – значило задержать газету. Горком по головке не погладит. К тому же по радио новость известна. Когда его вызвали в ЦК, о причине он еще не догадывался. И совсем растерялся, увидев перед собой Хрущева и Политбюро в полном составе.

– Кстати, товарищи! – сказал Хрущев. – Вчера на даче я открываю «Вечерку» и вижу, что о Гагарине в ней ни слова! Об этом сообщили все газеты мира, даже буржуазные. Не поверили только два человека: президент Эйзенхауэр и товарищ Фомичев. Что же получается? Фомичев хуже буржуазных редакторов.

Фомичев, в мгновение покрывшийся красными пятнами, с тревогой поднял руку, как на уроке, и, чувствуя, что надо объяснить неувязку пока не поздно, дрожащим голосом произнес:

– Позвольте мне сказать... Дело в том, что я, как редактор...

– Вы, Фомичев, – остроумно парировал Хрущев, – уже не редактор. Какой следующий вопрос?..

Вечером после нокаута Фомичев приехал к Макарецеву. Они выпили, пока Зинаида кормила их и поила крепким чаем с ватрушками с корицей, которые Игорь особенно любил, они со всех сторон обсудили ситуацию.

Если бы снял горком, можно было бы попытаться в ЦК заменить снятие строгачом или переводом в другую газету, хотя и тут маловероятно. Ну, а уж если снял лично Хрущев, Фомичеву оставалось гордиться, что назначал его горком, а освобождало Политбюро.

Фомичев как-то сразу надломился, сгорбился, стал каждый день заезжать к Макарцеву жаловаться на несправедливость, просил взять его на небольшую должность – ну, скажем, редактором отдела.

– И не думай! – восклицал тот. – Зачем тебе такое понижение? Старый партийный конь, как известно, борозды не портит.

В действительности Макарцев не мог его взять без согласования с ЦК, а согласовывать не решался. Он давно осознал необходимость не заводить друзей. С ними всегда труднее, чем с подчиненными, они требуют искренности и душевных сил, а эти силы Макарцев до конца отдает партии. Дружба с Фомичевым была исключением, но и она начала тяготить.

– Думай что хочешь, – проговорила Зинаида, услышав рассказ мужа, – а только дружба эта тебя не украшает. О ней ведь знают, и все говорят: «Фомичева сняли, а Макарцев с ним заодно!»

– Нет, Зина, не могу! Не могу отказать Фомичеву!

Она видела, что муж переживает.

– И не отказывай! Отдались постепенно, как все делают... Он умный человек, поймет. Да если бы ты, не дай Бог, оказался в его положении, он бы не церемонился!

Ничего жене не ответив, он ушел спать. А утром, когда Фомичев позвонил ему и сообщил, что сделал третью попытку добиться приема в ЦК и опять неудачно, Игорь Иванович сказал:

– Слушай, надо с тобой посоветоваться, честно, по-партийному.

– Понял тебя, – сразу ответил тот. – Сейчас подъеду. Сделать теперь ничего не могу, а совет – с радостью...

– Да подъезжать как раз и не нужно... – Макарцев искал подходящие слова, даже махнул рукой от раздражения на самого себя. – Видишь ли... Может, нам лучше повременить, как считаешь? Тут говорят всякое...

- Кто и что говорит? Я не понимаю...
  - Сплетни, не обращай внимания. Но я тебе после лучше помочь смогу, если сейчас не будут говорить, что мы свои люди... Слышишь?
  - Слышу.
  - Как считаешь?
  - Я понял, Макарец.
  - Да что понял-то? Обиделся, небось, а ничего не понял! Дело говорю, а ты в сентиментальность. Я тебя на проводе буду держать. Только, чтобы в глаза не бросалось. Прав я?
  - Извини, – прервал Фомичев. – Некогда мне с тобой совещаться. Жена вот на рынок посылает: в магазине нет ничего, а жрать надо! Прощай!
- С тех пор они не увиделись и не поговорили ни разу. Макарец, вспоминая, протягивал руку к телефону. Номер помнил наизусть и никогда не просил Анну Семеновну соединить его. Но каждый раз, когда он решал позвонить, его отрывали по срочному делу.

## 5. АЙСБЕРГИ

Казалось, Игорь Иванович лежал в полузабытьи, но мозг его напряженно работал. Кардиограф тихонечко гудел рядом, регистрируя каждый толчок редакторского сердца, и этот гул не мешал, а даже помогал размышлять. Дышалось в кислородной палатке легче.

Шел четверг, 27 февраля. Беда навалилась в среду.

Вспоминать предшествующие дни Макарец начал с понедельника, так как в воскресенье Зинаида настояла, чтобы они в кои веки уехали в однодневный санаторий и погуляли в Барвихе в сосновом бору. Они бродили по парку, участвовали в праздничном обеде в честь Дня Советской армии, потом отдыхали в двухкомнатном номере с телевизором. Макарецу сделали массаж, рекомендовали упражнения йоги от растущего живота, прикрепили в бассейне индивидуального тренера. Но Игорь Иванович по старинке пренебрегал всеми благами обслуживания, которые ему полагались. Пренебрегая, он выделялся среди остальных и наживал себе врагов, но иначе не мог.

Он истомился за целый день, изнервничался, изнемог от безделья. Последнюю треть воскресенья он все-таки засел за телефон и, поговорив с кем нужно, решил ряд вопросов. Зинаида смотрела на него, дорвавшегося до телефона, с укоризной.

– Ты чего? – спросил он.

– В гроб с собой тоже телефон возьмешь?

Домой Леша привез их слегка разморенными, а все же отдохнувшими. Макарцевы легли, когда двенадцати не было. И еще вспоминать он решил с понедельника, потому что на прошлой неделе все было спокойно, в воскресенье он нервничал только от безделья, а из-за этого, он уверен, инфарктов не происходит.

Итак, в понедельник, 24 февраля 1969 года, без пятнадцати десять утра, Макарцев позвонил Анне Семеновне. Рабочий день в «Трудовой правде» начинался в одиннадцать, большинство сотрудников приходило к двенадцати, в десять начинало только машбюро. Локоткова появлялась в приемной в полдесятого, чтобы успеть проветрить прокуренный редакторский кабинет и отобрать неотложные бумаги на подпись и для просмотра лично ему. Кроме того, в прорези щитка с надписями «Дежурный редактор», «Дежурный зам ответственного секретаря» и «Свежая голова» она вставляла карточки с фамилиями, чтобы все видели, кому сегодня сдавать материалы на читку, у кого брать визы «Срочно в №» для печатания в машбюро вне очереди, кто поставит статью в макет номера, разметив шрифт и ширину набора.

Раз и навсегда нанизанные на нитку бусы этих дел не касались Макарцева. Он мог читать уже сверстанные полосы вечером. А мог и не читать. Ставить, снимать, проверять, дополнять и сокращать было кому в газете и без него. Лишь принципиально важные статьи он сам просматривал до набора. Но Игорь Иванович жил традициями тридцатых годов, любил газетную кухню, ему нравилось *вникать*.

Он сам ходил по отделам, спрашивал, кто чем живет, мог заговорить даже с рядовыми сотрудниками, большинство из которых знал в лицо и по фамилиям. Заместители были его тенью, он работал за них, а они в кабинетах сочиняли для себя второстепенные дела. Макарцев любил, когда ему кратко излагали суть будущей статьи, схватывал с полуслова и уско-

рял: «Дальше! Что в конце? Вывод?» Конечно, прежде всего это волновала стратегия, то есть темы, протянутые из номера в номер на длительные сроки, а также планомерное отсутствие других тем, что тоже было стратегией вверенной ему газеты. Смысл и большие цели этой стратегии постигались не на редколлегии. Поэтому в понедельник утром он позвонил, чтобы его не ждали: он на идеологическом совещании. Он поехал в ЦК, хотя до совещания оставалось два часа.

В коридоре ЦК он встречал старых товарищей. Многие позацищали диссертации, но так же сидят за столами с утра до вечера, подчиняясь незыблемой дисциплине, готовые вскочить по звонку, наживают болезни на нервной почве. Он был бы сейчас не ниже. Нет, он Макарецев, правильно сделал, уйдя в газету: самостоятельности больше, а работа живая и видна народу.

Оставшееся до совещания время было важнее совещания. В частных беседах, перекурах и коридорных встречах он выяснил ряд вещей, о которых не говорится с трибуны и не пишется в закрытых документах. Это были намеки, от которых зависело остальное, в том числе решения, принятые совещанием, и стратегия всех газет. Как айсберг – почти весь под водой. Но и нечто, обратное айсбергу, не могущее существовать в океане: верхняя часть движется в одну сторону, а подводная, невидимая – вбок или даже в противоположном направлении. Газета была таким раздвоившимся айсбергом. В частности, Макарецев выяснил, что в докладе на совещании «Трудовую правду» будут хвалить, но завтра его вызовут на ковер за недостатки, и тут нет противоречия. Будь готов ко всему, выясни, за что критика, правильно соразмерь самозащиту и обязательное признание вины, подчеркнув этим разумность руководства.

Докладчиком на совещании была секретарь МГК по идеологии, пухлая и медлительная Шапошникова, которую Макарецев глубоко презирал. Читала она размеренно, не отрывая глаз от бумаги, все делали вид, что слушают. Макарецев, как и все цеховцы, недолюбливал работников горкома, считал их туповатыми и готовыми в любом деле перестараться. Сквозь сонливую монотонность слов он уловил название своей газеты. «Трудовая правда», отметила докладчица, выступила с новым важным почином: «Не выбрасывать ценные промышленные

материалы в утиль!» Только по Москве это сулит солидную экономию. Почин уже широко поддержан. «Дуреха, – подумал Макарецев. – У нас были почины и покрупнее, да ты газету невнимательно читала! Солидную экономию – а какую? Мы цифры давали, какая будет экономия!»

Тем не менее всегда приятно, если газету хвалят. А еще приятней, когда говорили не «Трудовая правда», а «газета Макарецева», хотя на последней странице печатались холодные слова: «Редакционная коллегия». Он считал, что газета *его*, говорят же: «самолеты Туполева». Макарецев любил свою газету, переживал ошибки и никогда не считал, что *он* ее делает. Сам он, когда докладывал о газете или отчитывался, говорил: не «Трудовая правда», а «наш коллектив».

В хорошем расположении духа он приехал в редакцию. Анечка разложила у него на столе чуть влажные полосы, аккуратно загнув нижние края вверх. Он начнет читать сверху и может испачкать манжеты черной краской. Он вытащил из кармана очки и, просмотрев полосы, встал, прихватив их за края, чтобы не пачкать рук. Номер вел ответственный секретарь Полищук, и Макарецев сам зашел к нему с полосами. Он обсудил ряд перестановок на первой полосе, выяснил, что будет на пустом месте третьей, спросил счет матча в Лужниках, для которого оставили пустую строку, велел придумать заголовки посвежее к статье «Америка: нищета и слезы».

Статью тут же называли «Америка – море бесправия». Игорь Иванович поморщился, но махнул рукой и пошел по отделам. Дежурные работали, остальные собирались домой, хотя рабочий день еще не кончился. Макарецев считал, что журналистика – дело творческое. Кто не хочет или не умеет работать, не будет этого делать и при самом строгом порядке. Он требовал сознательной отдачи – то есть материалов, а не просиживания штанов в редакции «от» и «до». Кроме того, трудовая дисциплина была заботой завредакцией Кашина, а не главного редактора.

Еще через полчаса Макарецев внезапно оделся и пошел к лифту.

– Чего это вы сегодня так рано? – удивился Леша, вырливая через скверик на улицу.

– Считаешь, у меня и личной жизни быть не может?

Резко сбросив газ, Двоенинов оторвал глаза от дороги.

– Так куда вас везти?

– Домой, Леша, домой... – усмехнулся хозяин. – Личная жизнь у меня, брат, дома...

Редактор не был расположен говорить о ерунде, и Леша молчал. Макарец думал, что наконец-то сегодня поговорит с сыном. Жена давно просила, но они с Борисом никак не могли встретиться. В те редкие дни, когда отец приезжал домой пораньше, тот заваливался за полночь.

Не оказалось его и теперь, Макарец жевал ужин один.

Зина по примеру матери перестала есть вечерами, сохраняя фигуру. Она сидела и смотрела, как ест муж. В глубине души Макарец был даже рад, что Бориса опять нет и разговор не состоится. Они были в ссоре, хотя отец старался этого не показывать.

Из Германии в 39-м Игорь Иванович привез пишущую машинку «Олимпия-Элита», изготовленную в малой партии специально для канцелярий Рейха. Макарец никогда не писал на машинке, но она всегда стояла дома возле письменного стола. Он спрятал ее в начале войны, когда сменил имя. Игорь боялся, что фашистская машинка будет уликой. А после войны нашел ее и снова привез домой. Недавно хватился – допечатать строку в проекте какого-то документа – и не нашел. Где она? Оказалось, Борис сдал машинку в комиссионку.

– Зачем?

– А на кой она тебе?

– Твой отец – журналист!

– Она вся в масле была – как купил, не раскрывал!

– Попросил бы денег, я бы дал. Ведь это единственная дорогая для меня вещь.

– Ладно слюни распускать. Ничего у тебя дорогого нету!

Объяснить что-либо стало невозможно. Отец не мог подобрать убедительных слов, то начинал, как с ребенком, то раздражался, и сын каждый раз ускользал. Борис отрастил волосы до плеч, жидкие усы до подбородка, ходил в неизвестно кем и как сшитых брюках, а манеры его стали смесью мушкетерского с блатным. Домой он являлся в облаке винного перегара. У себя в комнате независимо от времени врубал стереофонический «Грюндиг» на полную мощность, а иногда под-



ключал к нему электрогитару, брэнчал и пел песни Галича, надрываясь под Высоцкого.

Игорь Иванович уже успокоился, что разговора не будет, перестроил ход мыслей. Он собирался сделать два-три нужных звонка и лечь. Просто лечь и смотреть в потолок.

Тут появился Боб. Не здороваясь, он распахнул дверь в гостиную, мельком глянул на отца, швырнул под вешалку в коридоре синюю сумку на длинном ремне с надписью «SABENA» и пошел к себе.

– Давненько не виделись, – пробормотал вслед ему отец.

Сын не ответил, не задержал шага, исчез. Ни от кого на свете, даже от руководства, Макаргецу не перепадало такого хамства. Но он сдержался, не крикнул, встал и приоткрыл дверь комнаты сына. Отца оглушил водопад звуков: Борис уже успел поставить пленку.

– Мы давно с тобой не говорили, сын, – сказал Игорь Иванович, пытаясь перекричать битлов, которых он сам, на свою шею, привез ему из Лондона.

– А о чем с тобой говорить?

– Ну мало ли... Как живешь, хотел бы знать...

– Живу нерегулярно, папа.

– Остроумно!

– Уж таким воспитал!.. Чего пристаешь? Делать нечего? Катись, откуда приехал, там руководи!

– Ты меня неправильно понял. Я не собираюсь тобой руководить. Но мы как-никак родственники...

– У тебя своя дверь, у меня своя. Закрой мою с той стороны!

– Нет уж, извини! Кто платит, тот заказывает музыку. Поэтому не забывайся! Если для тебя родственные отношения – атавизм, то как иждивенец не забывай о материальной зависимости.

– У!.. Затянул дурацкую песню...

– Да выключи этот чертов «Грюндиг»! Если я не прав, докажи.

– Я же сказал, Макаргец: до тебя все равно не дойдет. Ты – ортодокс.

– Я?! Да ты щенок, не знающий сложностей жизни! До-расти еще до благ, которые мы с матерью кладем тебе в рот тепленькими. Другим детям такое и не снится.

- Навязались со своими благами!
- Навязались?
- Видишь, я же сказал: не дойдет!

Подойдя к окну, Борис стал рассматривать темное небо. Игорь Иванович оглянулся: Зинаида облокотилась о косяк в другом конце коридора и внимательно прислушивалась к разговору, морщась от надрывного крика битлов.

– Давай все же установим дипломатические отношения, – выдавил отец. – Если тебе нечего сказать, так выслушай. Только сделай тише!

Сын посмотрел на него, пожал плечами, подошел к магнитофону и резким движением повернул ручку. Игорь Иванович вздрогнул: и без того громкий звук превратился в невыносимый рев с шипением и свистом, которого не могли выдержать барабанные перепонки.

– Ты, видно, не в настроении! – ему пришлось отступить в коридор. – Ладно, поговорим в другой раз...

Его слова утонули в грохоте. Зинаида исчезла, дабы муж не стыдился, что она видела его поражение. Он прошел в спальню, положил под язык таблетку валидола и лег, не раздеваясь, на только что открытую белоснежную постель.

Грубости следовало ожидать, успокаивал он себя. Возрастное! Кажется, я таким был... А это поколение более сложное. В чем-то мы, конечно, виноваты! Слишком легко низвергали авторитеты. Несправедливость породила другую несправедливость. Правда, сами авторитеты во многом повинны, но будем самокритичны: и мы хороши! Человек – тоже айсберг, большая часть не видна. При коммунизме люди будут открыты друг перед другом до конца, и тогда они не смогут иметь недостатков. В конце концов ядро у парня здоровое, я уверен... В другой раз обязательно побеседуем.

Уговорив себя, он выплюнул валидол в пепельницу. Считать, что ссора с сыном стала причиной инфаркта, нелепо. Такие сцены возникали не раз и не два. И еще будут до тех пор, пока, как говорит Зинаида, Боренька не обзаведется семьей, и мы снова понадобится – дать, достать, нянчить. Игорь Иванович не заметил, как заснул. Проснулся он около часу ночи, разделся и лег. Зинаида слышала, как он раздевался, но сделала вид, что спит.

## 6. СЕРАЯ ПАПКА

Во вторник утром подул ветер, возникло ощущение перемены погоды, и макарцевский айсберг закачалось. В отделе пропаганды состоялась накачка, которой он ждал. Но не с таким поворотом. О ценном почине никто и не вспомнил. Выговаривали ему за снижение активной позиции газеты, поднятие второстепенных вопросов, заслоняющих основную линию идеологической борьбы, а между тем имеются просчеты, о которых говорилось на последнем Политбюро как о запахе чехословацких рецидивов. Главное, в «Трудовой правде» слабо отражается социалистическое соревнование. Ряд отраслей промышленности не выполняет план пятилетки – это вина и печати тоже. Необходимо срочно и с конкретными предложениями пересмотреть планы газеты и снова представить в ЦК.

Стало ясно, что Политбюро нужно найти козлов отпущения. Отделы ЦК были передаточным звеном, и взвалить вину за недостатки пропагандистской работы на плечи газет естественнее всего. Недоработки редактор признал просто, по-партийному. Это не были его конкретные ошибки, и он не принял их близко к сердцу.

В редакцию Макарецв приехал, когда шла планерка. Вел ее первый замредактора Ягубов. Он был в редакции человеком новым, месяца четыре всего, как назначили. Макарецв помогал ему быстрее войти в курс дела, чувствуя, однако, сопротивление материала. Доброжелательно и настороженно приглядывался он к заму и ощущал отсутствие контакта. Общий тон планерки за полуоткрытой дверью кабинета Ягубова был ровный и деловой. Игорь Иванович снял у себя в кабинете пальто и мимо Анечки, готовившейся было бежать к нему с папкой, прошествовал к Ягубову. На стене, наколотые на острые гвоздики, висели красиво разрисованные цветными фломастерами макеты всех четырех полос. Фломастеры эти Макарецв привез для секретариата из Японии. Увидев в дверях редактора, Ягубов остановился на полуслове и обрадованно объявил:

– А вот и наш главный, товарищи. Сами будете дальше вести? Мы, правда, закругляемся...

Макарцев отмахнулся.

– Тогда повторить вам основные вехи?

– Продолжайте, продолжайте. После посмотрю.

Он искал глазами свободный стул, где присесть. Кабинет Ягубова был раза в полтора меньше его кабинета, и свободных мест не оказалось. Завредакцией Кашин встал, усадил редактора, а себе принес стул из приемной.

Когда текущие дела были решены, Ягубов вопросительно взглянул на Макаргеца, не хочет ли тот добавить. Игорь Иванович попросил задержаться членов редколлегии и редакторов отделов.

– Остальные могут быть свободны, – прибавил Ягубов.

– Хочу еще раз сосредоточить внимание на планах отделов, – проговорил редактор, когда лишние вышли.

– Так ведь сдали уже! – возмутилась языкастая Качкарева, эдакий коренастый мужик в юбке, редактор отдела литературы и искусства, вечно со всеми конфликтующая по пустякам.

– Правильно, сдали. Планы в целом неплохие. Но руководство газеты, – Макаргецев взглянул на Ягубова, и тот, еще не зная в чем дело, кивнул, – руководство газеты считает, что некоторые линии надо углубить. Я имею в виду (это касается отдела промышленности) уделить больше внимания выполнению пятилетки...

– Да разве мало даем статей? – удивился редактор отдела промышленности Алексеев.

– Много, но недостаточно, – чуть тверже сказал ему Макаргецев.

– Ясно! – неряшливый и добросовестный, как школьный учитель, Алексеев огорчился тем, что вместо живых статей ему придется еще добрых часа три потеть над перекройкой этого плана, никому не нужного.

Главный редактор тоже понимал, что планы лучше не станут, но должен был спустить вниз полученную директиву.

– Теперь об идеологии, – Макаргецев сделал паузу и обвел глазами тех людей, которых это касалось в первую очередь. – Давайте подумаем вместе, как, на каком материале ярко и взволнованно ввести тему усиления идеологической борьбы в

мирных условиях. Эта работа касается в основном плана отделов комвоспитания и литературы – вам и карты в руки. Локоткова разнесет старые планы по отделам. Прошу завтра до планерки вернуть их доработанными.

– У вас все, Игорь Иванович? – вежливо спросил Ягубов.

Макарцев кивнул и первым встал. В дверь потянулся ручеек выходящих. Заместитель редактора понял, хотя это и не было произнесено, что замечания по плану поступили сверху. Он думал, Игорь Иванович задержится и один на один добавит еще что-либо, но от вопросов воздержался. А тот не стал раскрывать дополнительных карт и ушел в свой кабинет, прихватив макеты.

Едва редактор прикрыл за собой вторую дверь кабинета (тамбур исключал возможность слышать его разговоры), на столе загудел телефон. Анечка соединила его с секретарем райкома партии Кавалеровым. Когда же поставят его статью, ведь Игорь Иванович обещал? Это средняя статья, написанная за секретаря работниками райкома, о том, как трудящиеся Москвы изучают марксистско-ленинскую теорию. Макарцев не читал статьи, но знал, что все в ней правильно. К тому же он был обязан Кавалерову услугой – не лично себе, а «Трудовой правде». Возможно, теперь Кавалерова собирались выдвинуть, и автор хотел стать заметнее. Разговаривая, Макарцев перелистал макеты – статьи Кавалерова в номере не было. Он вызвал по селектору дежурного зама ответсекретаря и дал указание поставить Кавалерова в номер, вынув... Он заглянул в макет и указал на такую же ненужную статью другого автора.

– Порядок! – сказал через минуту Макарцев Кавалерову в трубку. – Завтра читай!

Тем временем он бегло просмотрел макеты и, нажав кнопку, попросил Анну Семеновну унести их в секретариат.

– Ко мне Какабадзе, – крикнул ей вдогонку Макарцев. – Пусть захватит фотоаппарат.

После планерки в отделах наступало время переключения с одного номера на другой, послезавтрашний. И хотя секретариат и часть коллектива еще работали на завтрашний, редакция затихала. Игорь Иванович вытащил из ящика стола две анкеты – старую и новую, – стал заполнять новую, списывая со старой, чтобы не было расхождений.

– Разрешите? – Саша Какабадзе, молодой фотокорреспондент, приоткрыл дверь кабинета. – Кого будем снимать, Игорь Иванович?

– Меня, Саша. Фото на загранпаспорт. Ты уж извини за эксплуатацию...

– Что вы! Я собираю снимки всего руководства. Нет, серьезно. Целая коллекция, а вашего экземпляра не было.

Саша поставил кофр на ковер, извлек из него камеру с большим портретным объективом и крался по ковру гибко и легко, как пантера.

– Подойдите к окну, Игорь Иванович, но не совсем... Немного подальше. Повернитесь боком – будут мягкие тени. Подтяните галстук – узел ослаб... Смотрите на меня, чуточку повыше...

– Слушаюсь!

– Приятно, черт возьми, командовать начальством! – Саша щелкнул несколько раз, опустил камеру в сумку, вынул другую. – А теперь для страховки переменим позу. Повернитесь сюда. О'кей!

– Спасибо, Саша. Ты торопишься?

Редактор обнял его за плечи и повел в свой буфет, куда могли заходить только члены редколлегии. Здесь были особые продукты, американские сигареты, жвачка.

– Спасибо, я не курю, – смутился Саша.

– Бери, бери! Девушек угостишь...

Саша купил «Кэмел», Макарецев себе – «Мальборо». Какабадзе тряхнул черными кудрями и поволочил свой кофр.

Вторая половина дня главного редактора ухнула в мелочную и совершенно нетворческую работу. Он подписал гонорарные ведомости за первую половину февраля, документы на получение зарплаты сотрудникам, счета ретушерам и художникам, даже не посмотрев цифр. Отвечала бухгалтерия, подпись редактора нужна была для формы. Потом пошли акты списания бракованной типографской бумаги. Приняв начальников наборного, стереотипного и ротационного цехов по поводу срыва редакцией графика сдачи номера, редактор предъявил встречные претензии о случаях пьянства в цехах. Потом Макарецев долго отчитывал пожилую заведующую корректорской и двух молодых корректоров за глазные ошибки, выловленные уже перед самым

подписанием номера в печать. («Зарплата корректоров – 65 рублей в месяц, – жаловалась заведующая, – работа нервная и грязная – пойдй найди квалифицированного работника!»)

Он стал читать почту, оставленную специально для него, и сам расписывал ее по отделам с предложениями: «Разберитесь. И.М.», «Надо помочь – обратитесь в ВЦСПС! И.М.», «Проверьте, нет ли нарушения соцзаконности?! И.М.», «Печатать на собаке<sup>1</sup> – и на полосу! И.М.»

Простого читателя он уважал сам и требовал такого же уважения от коллектива: для читателя мы с вами живем и работаем! С особым вниманием читал «телеги».<sup>2</sup> Он сам подписывал наиболее значимую исходящую почту. Кроме того, принимал по личным вопросам сотрудников всех рангов без исключения, в том числе жену выпускающего Хабибулина, пришедшую жаловаться на мужа («Перестал домой деньги приносить, я написала в партбюро, а ни ответа, ни привета! И почему квартиру никак не дадут, одни обещанки? Русские сразу получают, а татарин ждет не дождется»).

Нервничал ли главный редактор, делая эту работу? Нет, все было ему привычно.

Ужинал он обычно дома и снова приезжал в редакцию читать номер. И тогда, во вторник, он вышел в приемную, распрямив сгорбившиеся от усталости плечи.

– Выпейте еще чаю, Игорь Иванович, – Анечка быстро смахнула со стола фантик от конфеты.

– Поехали, Леша!

Двоенинов, дремавший в кресле, вскочил, обежал хозяина и пошел, как всегда, впереди, покручивая ключи на брелочке, как пропеллер. Не спрашивая, повез он хозяина домой, в новый дом за стадионом «Динамо», куда редактор перебрался два года назад – в пятикомнатную квартиру с двумя лоджиями, с которых можно было бы с комфортом смотреть футбол и травяной хоккеей, если бы позволяло время.

«Волга» остановилась у красного светофора, возле Центрального телеграфа, когда Макарец вдрог передумал. Пока

---

<sup>1</sup> Бланк с указанием фамилий автора и сотрудников, готовивших статью, а также с указаниями наборщику.

<sup>2</sup> Жалоба по поводу публикации в вышестоящий орган.

ехал, он проигрывал в голове диалог с Зинаидой. Снова о сыне – когда же поговоришь? Пять лет не были в театре, если не считать «Лебединого озера» в Большом – обязательные посещения с женами во время приема почетных иностранцев. Носа из дома не высовываю. Раньше хоть в распределитель можно было съездить, а теперь на дом привозят. Мать наотрез отказывается приехать – чем ты ее обидел? Ох-хо-хо...

- Что там, Леша, на доме написано? Не разгляжу без очков.
- Да уж давно здесь кафе «Московское»...
- Вот и хорошо! Рули к нему!

Тут как раз включился зеленый, и Леша рванул в гору, не щадя мотора. Перерезав наискось правые ряды, он затормозил у тротуара. Инспектор на углу проезда МХАТа приставил было свисток ко рту, но, увидев номер, отвернулся.

В кафе Макарцев бывал в Риме, Токио, Париже, Марселе, Каире, Лондоне, Сантьяго, Гаване, Нью-Йорке, Рейкьявике, не говоря уже о соцстранах, а о московских предприятиях общепита читал в своей газете: как улучшается их работа, увеличивается ассортимент блюд, с каждым годом растет количество посадочных мест.

В зале было полутемно и полупусто. Несколько посетительниц сидели в разных углах, пахло тухлой капустой. Официантки не было, с кухни доносилась перебранка. Потом появилась толстая и неряшливо одетая женщина. Она смотрела мимо Игоря Ивановича в окно. То ли действительно не видела, то ли делала вид. Он радовался, что никто к нему не подходит, отдышал. Положил голову на руки, закрыл глаза, забыл, что сидит на людях: ведь они ничего от него не хотели и вообще не знали его. Редко бывает, что он никому не нужен. Всегда обязан думать, как твой поступок расценят наверху, внизу, секретарша, жена... Официантка подошла, молча вынула блокнот.

- Я хочу поужинать, – с добротой в голосе сказал он.
- Чего?
- А что есть?
- Вот меню...

Она взяла с другого столика меню, положила на противоположный от Макарецва конец стола, а сама пошла прочь. Очки он забыл в кабинете.



- Погодите, попросил он. – Я уже выбрал...
- Чего? – спросила она издали.
- Яичницу, – быстро сказал он. – И кофе...
- Пить не будете?

Он поколебался, не взять ли коньяку, но решил, что быстрее наступит усталость.

- Вроде нет... Если можно, бутылку минеральной...
- Воды нет.

Ничего не записав, она пожала плечами, сунула блокнот в карман фартука и ушла. Макаргеу уже стало не так хорошо одному. Ему хотелось есть, и он жалел, что не поехал домой. Яичница его жарилась долго. Он и без Зины быстрее бы зажарил. Он стал нервничать, что уже готовы полосы, и он не успеет подумать и дать указание переверстать, должен будет в спешке прочитать, чтобы не выбить номер из графика, им же самим утвержденного.

Наконец перед ним плюхнулась алюминиевая сковорода с яичницей. Брызги попали на костюм. Он поискал глазами бумажные салфетки и вытер брызги пальцами, а пальцы вытер о носовой платок. Яичница была без глаз, холодная, несоленая и пережаренная.

Помявши губами край яичницы, Макаргеу смущенно отодвинул сковороду. Он отломил кусочек черствого хлеба, помазал высохшей горчицей, стал жевать. Голод притупился, осталось дожидаться кофе. Есть у нас еще недостатки, есть. Быт – наша болевая точка. Он вспомнил Фомичева. Когда того открепили от распределителя, жена его купила колбасу прямо в магазине. Они отравились всей семьей, неделю болели. Потом привыкли. Лучше не открепляться, тогда отдельные недостатки переживаются легче.

– Мне бы кофе, – жалобно попросил он официантку, – я спешу.

- Все спешат, – сказала она, глядя в окно. – Еще не готово.
- Рассчитайте меня...

Скривив обильно накрашенные губы, она пожала плечами, ушла на кухню. Почему она ходит в домашних тапочках? Может, у нее болят ноги? А ведь нестарая... Скоро официантка вернулась, держа двумя пальцами чашку кофе и сахар в бумажном пакетике, как подают в поездах.

- А ложку можно?
- Не слепая. Сейчас принесу.

Она сказала это без сердитости, спокойно, но ложку принести забыла. Он любил кофе без сахара, отглотнул сразу.

Кофе оказался такой же холодный, как яичница, без запаха и безвкусный. Макарецов отодвинул его с откровенной брезгливостью, поискал глазами подавальщицу, которая снова исчезла. Тогда он вынул из кармана рубль, поколебался, положил еще рубль и быстро пошел прочь. Неужели так трудно сварить обыкновенный кофе? Если бы они знали, кто я, наверняка не посмели бы обслужить так плохо!

Однажды на планерке зашел разговор о кофе. Редактор отдела фельетонов рассказывал, как он однажды задался целью сварить такой кофе, как подают в столовой. Он подогрел воды в большой кастрюле, невымытой после супа, слил туда остатки старой кофейной гущи, добавил старой заварки чаю. Сливки у него не было, он ополоснул банку из-под маринованных помидор и вылил туда же. Когда попробовал, все равно оказалось, что кофе получился вкуснее, чем в общепите. Столовский рецепт остался непостижимой тайной.

Конечно, один случай не дает типической картины. Но надо поднять в газете вопрос о повышении культуры обслуживания в связи с тем, что Москва должна стать образцовым коммунистическим городом. Сделать это солидно, с перспективой, дать слово министру торговли, специалистам. Правда, пока Игорь Иванович шел к машине, мысль его переключилась на предстоящее чтение готовых полос. Он вообще умел забывать второстепенное, что помогало ему помнить о главном.

- Давай, Леша, в редакцию, да поживей.

Мелкий мокрый снег валил валом. Машины оставляли за собой черные колеи. Дворники мерно дергались, словно отбивали время, и стекло залеплялось снова. Проходя в кабинет, он позвал секретаршу и пропустил ее вперед.

- Мне никто не звонил?

Локоткова задернула портьеры, зажгла ему настольную лампу.

– Звонили многие, но ничего серьезного, я все сделала. Полосы на столе... Чаю?

- Ага! – обрадовался он. – И покрепче.

– Не бойтесь покрепче? А сердце?

– Сердце у меня железное, – сказал он и погладил Локоткову по плечу.

Пальто повесил на плечики в шкаф, стряхнув с воротника капли от растаявших снежинок. Подождал, пока Анечка вышла, расстегнул пиджак и, расслабив ремень, подтянул брюки, заправляя в них белую рубашку, уже успевшую за день измяться. Животик, животик, – он увидел себя в зеркале. Пока пятерня его откидывала назад волосы, ноги уже устремились к столу, а глаза, еще ничего не видя, уже рыскали по полосам. Он сел, хлопнул ладонью по столу в том месте, где должны были лежать очки. Там они и лежали. Порядок расширяет мысль, – был его любимый афоризм. К сожалению, не удавалось следовать этой мудрости из-за суеты.

Очки лежали на чем-то, на возвышении. Макарец хотел отодвинуть это что-то, чтобы приняться за чтение. То была папка, пухлая серая папка с черными коленкоровыми боками, туго связанная зелеными тесемками. Он же подписал сегодня все бумаги бухгалтерии. Еще какой-нибудь годовой отчет? Никогда эти растеряхи не могут сделать сразу! Он отодвинул папку в сторону (черт! тяжелая!), надел очки и обратился к первой полосе. Он пробежал глазами шапку: «Коммунизм – светлое будущее всего человечества!» – и, подумав, выкинул слово «всего». Проглядел заголовки статей, даже мелких, отметил уже стоящий в полосе материал секретаря райкома Кавалерова. Все было в порядке. Макарец нажал на селекторе рычажки замредактора, ответсекретаря, его зама, ведущего номер, и выпускающего. В кабинет ворвался гул линотипов из наборного цеха, отделенного от столов верстальщиков стеклянной перегородкой. Всем четырем сразу редактор сказал в микрофон:

– Как дела? Докладывайте...

Из общего бормотанья он понял, что верстка идет по графику, отклонений нет.

– Но будут, – вдруг насторожил Полищук. – Только что ТАСС обещал. Генсека набрали вчера, а сегодня, после выступления, поправки...

– Большие?

– Блохи. Но много, в общей сложности сотни полторы. И еще идут... Снова те места, где мы уже поправили, переисправ-

ляют по-старому... Первую и вторую полосы задержим на час, не меньше...

– Ясно, – Макарецев удержал вздох. – Кстати, насчет первой полосы... Шапка – чья идея?

– Моя, – выдавил Полищук.

– Остроумно! Но уберите «всего»! Зачем пугать быков красным цветом? Сейчас не время! Остальные мои замечания в полосах. Все!

Загудел телефон – Анна Семеновна допустила к нему жену.

– Почему ужинать не едешь?

– Закрутился. Сам поел...

– Сегодня поздно?

– Думаю, нет... А ты что?

– Как всегда, телевизор смотрю...

– Борис дома?

– Нет еще... Ты договори с ним, ладно?

– Конечно, договорю. Только не приставай, Зина...

– Я не пристаю, Гарик, но время идет. Знаешь, он днем пьяный пришел, спал...

– Ладно, после. Некогда...

Зина избаловала сына, а теперь хочет, чтобы я исправлял. Он закурил, сгреб рукой полосы и вызвал Локоткову. Она унесла их в секретариат. Стол сразу освободился – порядок расширил мысль. Но взгляд снова уперся в толстую серую папку. Он перевернул ее двумя руками и увидел крупные черные буквы: «ДЕЛО №...»

Снова загудел телефон, Игорь Иванович снял трубку.

– Что за чертовщина? – раздраженно пробурчал он, придвигая папку ближе к себе.

– Какая чертовщина? Это Волобуев. Добрый вечер, Игорь Иваныч. Извините, что беспокою...

– Слушаю, – сказал он цензору.

– У меня жалоба на отдел спорта. Раз сто им говорил: в статьях по Московской области спортивные общества «Химик», кроме города Воскресенска, упоминать нельзя. Они с предприятий оборонной промышленности. А сегодня опять на четвертой полосе «Химик». Не хочу я выговоров получать!

– Приму меры... Всё?

– Не все... Есть новые ограничения в публикации некоторых материалов...

– Ладно. Освобожусь – ознакомите...

Он вызвал по селектору дежурного в отделе спорта, отчитал.

Руки его в этот момент развязывали тесемки у серой папки. Наконец он открыл ее и обнаружил рукопись, отпечатанную на пишущей машинке. «Россия в 1839-м», – прочитал он, приблизил глаза и увидел слово «Самиздат». Дальше шел текст.

– Бред! – произнес вслух Игорь Иванович.

По привычке всех людей, много читающих по обязанности, он перво-наперво заглянул в конец. В рукописи было свыше пятисот страниц. Макарец положил под язык таблетку валидола. Неожиданное появление Анны Семеновны заставило его не то чтобы вздрогнуть, но поежиться. Она ждала, пока он оторвет глаза и посмотрит на нее, а он принял ее неожиданный приход как акт посягательства на секретность его дел.

– Я занят!

Ему показалось, она силилась увидеть, что лежит у него на столе.

– Извините, Игорь Иваныч. Тут машинистке Нифонтовой плохо стало. Беременная она, а машины все в разгоне. Можно ее на вашей домой отправить?

– Смотря от кого беременна... – в шутку спросил бы он в другом, хорошем настроении, а тут кивнул, прибавив:

– Только велите Леше, чтобы возвращался быстрее, – он поколебался, спрашивать ли. – Без меня в кабинет никто не входил?

Он смотрел внимательно.

– Никто, Игорь Иваныч! – испугалась она. – Полосы я сама принесла... А что случилось-то? Не найдете чего-нибудь? Можно, я поищу? Я мигом...

Обычно такой выдержанный, он вдруг взорвался:

– Сколько раз я просил, Анна Семеновна, чтобы у меня на столе был порядок! Сколько раз?!

– Но вы же сами, Игорь Иваныч, запрещаете убирать. Говорите, что после не можете найти, что нужно. Тетя Маша, когда утром убирает, к столу не прикасается. Я вытираю толь-

ко след от чайного стакана да пепел стряхиваю... Что-нибудь пропало?

– Ничего не пропало! Но в таком бардаке может и пропасть. Заходят посетители, оставляют материалы вместо того, чтобы идти в соответствующие отделы. Если я буду заниматься частными вопросами, то...

– Я понимаю, извините...

Он выпустил пар и успокоился.

– Знаете, – вспомнила она и смутилась. – Я тут без вас в буфет бегала, там копченую колбасу выбросили. На пять минут, не больше. Но Леша в это время на моем месте сидел... Сейчас уточню...

Она выбежала, не закрыв двери.

– Леш! – донеслось до него. – Когда я уходила, в кабинет никто не заходил?

– Не, никто.

– Вот пойдя об этом сам скажи. И вези Нифонтову. Но скорей обратно, понял?

Леша в кабинет никогда не заходил. Он откашлялся и постучал о косяк кабинета редактора.

– Вы меня звали, Игорь Иванович?

– Да я уже слышал, слышал!

Анечка вернулась в кабинет, чтобы окончательно ликвидировать конфликт. Покраснев, она дышала от волнения чаще. Она стояла возле него, невысокого роста, ладно сложенная, чуть полноватая – но это даже ей шло.

## **7. ЛОКОТКОВА АННА СЕМЕНОВНА**

### **ИЗ АНКЕТЫ ПО УЧЕТУ КАДРОВ**

*Должность: технический секретарь редакции «Трудовая правда».*

*Девичью фамилию не меняла.*

*Родилась 16 декабря 1926 г. в Москве.*

*Русская.*

*Партийность: беспартийная. Ранее в КПСС не состояла, партийных взысканий не имеет.*

*Образование незаконченное высшее (семь классов, курсы машинописи, десять классов вечерней школы, два курса экономико-статистического института, один курс библиотечного института, полтора курса филологического факультета МГУ). В 1965 г. окончила вечерний университет марксизма-ленинизма при МГК КПСС.*

*Состав семьи: незамужем, детей нет.*

*Военнообязанная, рядовая. Военный билет – № ДЯ 5532843.*

*Окончила курсы медсестер. Занятия по ПВО посещает ежегодно.*

*Общественная работа: член месткома – оргсектор и касса взаимопомощи.*

*Паспорт: IV СН №422341, выдан 96 о/м Москвы 12 октября 1965 г. Прописана постоянно: Теплый Стан, микрорайон 8а, корпус 13, кв. 16. Тел. нет.*

## ГОРЕСТИ И РАДОСТИ АННЫ СЕМЕНОВНЫ

Все в редакции, даже студентки, приходившие на практику с факультета журналистики, звали Анну Семеновну Анечкой. Исключением был Макарецв и теперь еще новый его зам Ягубов, не позволявшие с ней фамильярности. А вообще Анечка ей больше подходило: она была женщина без возраста (уж сорок три-то точно не дашь!), тщательно ухоженная, одетая недорого, но со вкусом, косметики – в самую меру, скорее, плотненькая, чем полненькая, эдакий вкусный колобок – хочется попробовать, и незнакомые думают, что достанется колобок легко. Не тут-то было! Анечка умела постоять за свое женское достоинство, пожалуй, даже слишком резко, с перелестом, так что и сама себя не раз в жизни обделяла, но иначе поступить не могла.

Всем она казалась неунывающей («Анечка, ей что? Никаких забот, никаких огорчений!»), и никто не знал, что у Анечки вечный комплекс нелепых и неустраимых бабьих несчастий.

Разумеется, на работе она была исполнительна, иначе ее не было бы на этом месте. Макарецв ценил ее, и она ценила свое очень важное место, искренне (и справедливо!) уверенная, что кое в чем она может сделать больше самого редактора. Она

позволяла любопытства ровно столько, сколько ему было нужно, проглатывала его раздражительность, ничего, что поручал, не забывала. Впрочем, Макарец заблуждался: хотя Анна Семеновна ни единым движением этого не выдала, она была более любопытна касаясь его личной жизни.

Анечкин отец был слесарем высокой квалификации на заводе «Красный пролетарий». Из-за регулярных выпивок опустился он до разнорабочего и, торопясь из магазина к товарищам с поллитровкой, погиб под маневровым поездом. Мать Анечки работала уборщицей в школе, где была у них комната. Материных денег хватало на первые четыре с половиной дня месяца, и после семилетки пошла Анечка зарабатывать.

С тех пор, где бы она ни появлялась, губило Анечку простодушие (она-то считала – женская гордость), от которого она не избавилась и к нынешним сорока трем. Вскоре на новом месте у нее начиналась связь, для нее нервная и мучительная, и она была уверена – настоящая, до конца дней. Она-то сама не влюблялась, поддавалась чужой влюбленности, – так по крайней мере она себя уверяла. Она всегда любила одного человека, отца ее будущего ребенка, являвшегося к ней в разных ликах. Ради ребенка, который снился по ночам – маленький комочек, уступала она домогательствам, мечтая только об одном – скорей забеременеть, и тогда Его Величество Мужчина ей не нужен, расстанется она спокойно и даже не скажет, что в положении.

Но от искренности, однако, слишком рано начинала Анечка при новом знакомстве говорить, что любит детей, что никогда не сделает аборта, – это грех, ведь уже живой комочек.

– А ты любишь детей, Костя (Сергей, Адик, Петя, Егорушка, – в вечерней школе и трех институтах; Коля, он же Калимула, Федор, Игнатий Севастьянович, председатель месткома товарищ Прибура, старший инженер Эдуард Константинович)? – спрашивала она каждого из десяти мужчин, прошедших и переступивших через нее.

И каждый начинал говорить, что, конечно, но вообще с этим лучше не спешить, зачем об этом сейчас думать, давай просто любить. И она любила, и ее любили, но быстро наступало охлаждение, и отношения портились. Особенно пор-



тились после того, как Анечка начинала вслух размышлять о том, в какой позе надежнее забеременеть. И она, чтобы успокоить себя, начинала надеяться, что, видимо, у Кости (Сергея, Адика, Пети и т.д.) мало опыта, но уж обязательно получится от следующей встречи, конечно, если серьезной. Не со всяким-любим, нет (об этом и речи быть не может!), а с таким, кто будет подходящим отцом, чтобы был и лицом, и телом, и умом достоин. Остальные, недостойные, получали от ворот поворот.

И вот что Локоткова делала каждый раз: после расстроившейся любви она уходила работать в другое место. Обязательно в другое! Тут уже всем все известно, и другая любовь будет заранее обречена на кратковременность. Из-за этого все может произойти опять безрезультатно. Она приходила на другую службу, снова, как правило, секретарем – ладненькая, стройная, грудь торчком (лифчик только искажает). Шила она себе сама и не ленилась пороть и переделывать по десяти раз, чтобы сидело идеально. Туфли она покупала, хотя и ношенные, но обязательно импортные, отдавая за них три четверти зарплаты. А на остальные деньги сохраняла фигуру.

И наступала новая любовь после недолгого ее выбора, обязательно наступала. Хотя сверстников Анечкиных посекала война, ее поклонников она будто не коснулась. И старше, и моложе мужчины к ней ластились – она ведь без возраста! Одно слово – колобок – не трудно и на десяток лет ошибиться. Она любила, лежа в постели и отдыхая, загадку загадывать и вдруг смутить правдой. А чего ей скрывать – замуж ведь она не требует. Ей бы только ребеночка, маленький комочек!

Почему-то ребенка не получалось. В поликлинике районной сидела Локоткова в очередях, терпела боль несусветную, когда трубы ей продували. Четыре года подряд ездила на грязи в Кисловодск по профсоюзным путевкам: два раза бесплатно, а два – с пятидесятипроцентной скидкой. Все-то ей твердили про непроходимость труб. Старик один, профессор-частник, к которому ее записали по великому благу, взяв двадцать пять рублей, обещал, что, возможно, получится, главное – не терять надежду, сильнее стараться забеременеть.

Она старалась изо всех сил, но надежд на успех оставалось все меньше. Когда Анечка пришла в «Трудовую правду» на

место ушедшей на пенсию из-за глухоты секретарши Макарецва, она сразу сказала себе: «Игорь Иванович лучше всех, кого она знала. Он будет последним!»

Для этого она сразу постаралась сделаться для него незаменимой. Он без нее шагу шагнуть не мог. Если бы она хоть раз из-за простуды заболела, она уверена, газета бы в тот день не вышла. Локоткова горела на работе, не щадила себя. Он еще только палец к кнопке подносит, а она уже открывает дверь и смотрит с готовностью. Она безошибочно угадывала, когда он проголодался, или хочет пить, или болит голова, и тут же несла чай с бутербродом, боржоми или тройчатку, покупая все из своих скудных средств. Он не вникал – некогда ему о мелочах думать.

Его жена нисколько не смущала Анечку. Наоборот, Локоткова радовалась, что он и в ее отсутствие не без присмотра, накормлен и рубашка каждый день сменена. Конечно, она бы лучше погладила воротничок и про борта пиджака не забыла, и новую тесьму на брюки нашила (старая пообтрепалась, нитки на левой брючине видать).

– Зинаида Андреевна, – говорила она полушепотом, перед тем как соединить с мужем, – у Игоря-то Иваныча после обеда бок закололо, я ему на всякий случай аллохол дала. Вечером его жирным не балуйте!

Локоткова передавала жене Макарецва эстафетную палочку, чтобы снова взять ее в свои цепкие маленькие руки с утра.

– Вы какого года рождения, простите за нескромность? – поинтересовался Игорь Иванович, когда она решилась принести ему заявление на квартиру (давно бы надо, другие-то несли, не стеснялись!).

– Мы с вашей женой почти сверстницы, – едва порозовев, ответила она; не удержалась и добавила, чтобы обратил внимание на «почти». – Она мартовская, а я в декабре следующего...

А фактически Анечка была уверена, что и в душе, и физически она значительно моложе, и характер у нее мягче, и заботливей она.

Когда Макарецв засиживался, Локоткова оставалась допоздна и по первому намеку бежала в кабинет, плотно прикрывая обе двери. На работу ходила, как в театр, – с большим деколь-

те, а когда стало модно – в максимальном мини. Если он что-нибудь спрашивал, заходила за стол, как бы невзначай нагибалась, сдувала со стола пепел от его сигареты. И трепещет так, что голосовые связки сжимались в спазме, чувствовала, как он поворачивает глаза, заглядывая на ее шею и ниже. Она ждала, что вот рука прикоснется к ее талии, и тогда она, задрожав, скажет:

– Ой, что вы, Игорь Иванович! Я боюсь... здесь...

И слышала:

– Сбегайте-ка в наборный, пусть тиснут еще одну гранку!

И она бежала в наборный, потерявшаяся от непонимания и измученная отсутствием хоть какой-нибудь перспективы.

С одобрения Макарецва Локоткова в городской Дом политпросвещения стала ходить по вечерам и честно отсиживала на лекциях, когда другие, отметившись, смывались в магазин. Ей хотелось приблизиться к Игорю Ивановичу в понимании международного и внутреннего положения. А когда оттрубила два года в университете марксизма-ленинизма, он даже не похвалил.

Такое у нее в жизни было в первый раз, и это серьезно, и она была глубоко несчастна. Анечка даже гордилась тайно своим несчастьем. Все же такой человек, что и сравнить его не с кем, не то что променять. Ни на кого больше она и смотреть не может. Но ведь она стареет, неужели она зря четыре раза лечилась в санаториях? Ведь и проверить, помогли ли продувания и грязи, нельзя!

Так продолжалось семь лет, безо всякого движения. В позапрошлом году в приемную решительно вошел посетитель невысокого роста, с папкой под мышкой, и хотел проникнуть прямо в кабинет главного редактора. Анечка вскочила и решительно заслонила собой дверь.

– Игорь Иванович занят. Вы по какому вопросу, молодой человек?

– По вопросу непорядочности. Отойдите!

– Как это отойдите? Здесь я распоряжаюсь. Пока не скажете, для чего, не смогу доложить, а пока не смогу, он не примет... Из какой организации?

– Я литератор, – прокричал он. – Понимаете, что это такое? Доложите вашему редактору: я хочу сказать ему, что я о нем думаю!

– Скажите мне, я ему передам...

Он захохотал ей в лицо, забрызгал слюнями. Потом вдруг остановился. Анечка поняла, что понравилась.

– Ладно, – смирился он. – Только из уважения к тому, что вы...

– Это к делу не относится, – она опустила долу ресницы.

– Как знать... А если я женюсь?

– При чем здесь я?

– Женюсь-то я на вас!

– Послушайте, – проговорила она. – У нас вон сколько молодых девочек. Они все готовы дружить с молодыми людьми...

– Мне не нравятся молодые, – сказал он. – Они только берут, но ничего не могут дать взамен...

– А что вы хотите брать?

– Душу.

– Вы что, дьявол!

– Это ваш редактор – дьявол!

– Ну, это бросьте!

– Точно, дьявол! Заказали статью, сперва хвалили, потом заставили три раза переделывать. Все, что я хотел сказать, вычеркнули, что не хотел – вставили, а теперь морочат голову «завтраками»: завтра, завтра...

– Редактор не знает. Если бы знал, принял меры.

– Что вы-то его защищаете? – он посмотрел так, что Анечка покраснела. – Можно подумать, вам перепадает! Да он вам не пара!

– А... кто же мне пара?

– Я!

В тот день путеводная нить оборвалась. До Анны Семеновны вдруг дошло, что с Игорем Ивановичем у нее все как-то глупо. Да ведь, в сущности, и нет ничего! Она действительно ему не пара. Не такой он породы, чтобы заводить отношения. Это же ясней ясного, как она раньше не поняла? Поняв, она весь день и всю ночь думала: что же ей теперь делать? Уходить, как она делала всегда? Но, с другой стороны, ведь ничего не было! Да и куда ей пойти с незаконченным высшим образованием после такой солидной организации? Разве что на понижение. И нехорошо так – ведь недавно комнату ей дали от

редакции в Теплом Стане, и они с матерью туда переехали из школьной каморки. Далеко, конечно, у черта на куличках, но если б Игорь Иванович не позвонил в Моссовет, и этого бы не дали. Он еще пожалеет, что не получил от нее радостей за эти семь лет. Пожалеет, ан будет поздно.

И она осталась.

На другой день настойчивый молодой человек (он оказался, к невезению, на целых шестнадцать лет моложе Анечки) позвонил и предложил встретиться. Поскольку ее любовь к Игорю Ивановичу вчера окончилась, Локоткова дала согласие. Они сходили в шашлычную. Шашлыка там не было, съели люля-кебаб, выпили бутылку «Гамзы». И Сёма (надо же, его, по роковому стечению, звали Семеном, как Анечкиного отца) предложил зайти к нему в скромные апартаменты попить чайку.

Она поднялась с ним на четвертый этаж старого дома на улице Кирова, в коммунальную квартиру с длинным коридором, заставленным шкафами. Едва он закрыл дверь, как приоткрыл, не зажигая света, Анечку к себе и стал бешеными руками проверять у нее наличие то одного, то другого.

– У меня все на месте, – гордо сказала она, отстраняя и отстраняя его настырные руки. – Но так нельзя! Так я уйду. Сразу – нехорошо, потому что несерьезно. Чего доброго, подумаете, что я легкомысленная.

– Ни за что не подумаю! – говорил он, высвобождая свои руки из ее рук и опять принимаясь за свое нахальство. – И потом, я еще вчера понял, что это серьезно...

– А ты любишь детей, Сема? – уже дрожа и теряя холодный расчет, безо всякой надежды на честный ответ, прошептала она.

Все-таки семь лет воздержания, а ночью снились такие оргии, где она одна, а вокруг нее человек пять мужчин, и все проявляют намерения, и она такое им позволяет, что днем и себе самой страшно напомнить.

– Что же молчишь? Детей, спрашиваю, любишь?

– Люблю. Но больше – собак...

– Да подожди ты, не рви кофточку, лучше уж я сниму.

Анечка переехала к нему жить, и вскоре выяснила, что лечение опять не помогло. А Семен купил немецкую овчарку

и очень к щенку привязался. Щенок гадил везде, где мог, и ел дорогие Анечкины чулки. Она стала приходить пораньше и весь вечер приводила комнату в порядок, потому что Семе было некогда. Он возился с овчаркой, а в перерывах колотил на пишущей машинке киносценарии, которые никуда не брали. Он носил пижаму западного образца, с галунами и золотыми пуговицами, купленную в комиссионке. Курил трубку и десять раз на дню варил кофе, за которым для свежести каждый день ходил в соседний магазин «Чай». И на Анечке, как он ей объяснил, женился потому, что она соответствовала стандартам Бальзака.

Локоткова стала от этого соответствия счастлива. С Игорем Ивановичем была по-прежнему в оперативных отношениях, но делала многое уже без той души. Теперь она убедила себя, что всю жизнь хотела просто выйти замуж, как все, а ребенок – это так, неосознанное. Ей есть о ком заботиться, у нее муж, а у мужа собака. Одно только ее обижало: почему Семен не предложит ей сходить зарегистрироваться? Конечно, она скажет, что не надо, какая разница, была бы любовь, но все-таки почему? А с другой стороны, и в этом было свое утешение. После регистрации Локотковой придется сразу начать платить налог шесть процентов за бездетность, что при ее зарплате было бы очень глупо.

## 8. НОЧНОЕ ЧТЕНИЕ

Игорь Иванович порядком устал, хотя привык быть с утра до вечера на людях, принимать почти одновременно несколько решений, посещать несколько мест. Он растерянно стоял посреди кабинета, не зная чем заняться. Поколебавшись, вынул из кармана ключи, открыл сейф, в котором хранил секретные документы. На внутренней стороне дверцы сейфа была наклеена отпечатанная красным шрифтом бумага с грифом «С»<sup>1</sup>): «Порядок пользования постановлениями парторгана. Лицо, получившее выписку из протокола парторгана, не мо-

---

<sup>1</sup> «С» – секретно. Служебная тайна.

жет знакомить с ней других лиц, не имеющих прямого отношения к выполнению данного постановления. Выписку из протокола надлежит хранить в железном шкафу (сейфе). Приобщать выписку из протокола к советскому, профсоюзному и другому делопроизводству, снимать с нее копии запрещается. (Из инструкции ЦК КПСС по работе с секретными документами)».

Тяжелую серую папку он вложил в сейф на верхнюю полку, подальше. На этой полке у него лежал ТАСС, литеры А и АБ, предназначенные для редакторов центральных газет. Белый ТАСС для членов редколлегии он лишь просматривал, литеры читал. Его не обижало, что ему не полагается читать красный ТАСС. Такова дисциплина. Он подумал только, что накопилось много прочитанных бумаг, которые пора сдать. Заперев сейф, он позвонил домой.

– Мясо тебе, Гарик, поджарить? – спросила Зинаида.

– Поджарь. Или нет, ну его к шутам! Свари кофе.

– После не заснешь...

– Вари! И ложись спать, Зинуля. Мне придется дома поработать.

– Остынет – будешь холодный пить?

– Холодный.

Бросив трубку, он снова отпер сейф. Раз уж папка находится у него, надо по крайней мере знать содержимое. Может, после прочтения станет яснее, почему она тут оказалась. Портфелей Макарецев никогда не носил и завернул папку в старый номер «Известий». Надев пальто, он окликнул Лешу.

– Совсем? – спросила Анечка.

– Совсем. Если что, пусть звонят домой...

– А шапку, Игорь Иванович? Шапку-то забыли... Снег идет, мокрый...

Локоткова скрылась в кабинете и вынесла ему пыжиковую шапку. В коридоре Игоря Ивановича остановила курьерша. Она несла из цеха только что тиснутые полосы и думала, что редактор захочет, хотя бы на ходу, еще раз взглянуть.

– Отдайте Ягубову, – против обыкновения распорядился он.

В машине он механически положил сверток на заднее сиденье, но тут же снова взял его в руки. Он не раз слышал, как передают друг другу самиздат и как это опасно. Он всегда

посмеивался над этим занятием. Леша покосился на хозяина и промолчал.

Зинаида мужа не встретила, значит, спала. Последнее время она часто ложилась рано: говорила, что устает, хотя отчего ей особенно уставать? Борис тоже пребывал дома, музыка на этот раз слышалась божески тихая. Он не вышел, и Макарец к нему не заглянул: угомонился ребенок, и слава Богу.

Сдвинув на кухне в сторону невымытые тарелки, Игорь Иванович снял с плиты остывший кофейник и попытался налить себе кофе. Из носика накапало немного гущи. Сын успел к кофейнику раньше. Макарец матюгнулся больше для формы, чем по сути, подхватил сверток и ушел к себе в кабинет. Он вытащил из шкафчика бутылку экспортной «Кубанской», налил рюмку. Рядом оказался пузырек валокордина, которого не было в аптеках. Значит, Зинаида специально съездила за ним в спецполиклинику. Он накапал в водку двадцать капель валокордина, поморщившись, выпил, зажег ночник и улегся на диван.

Начинать читать ему не хотелось. Много лет Макарец бегал глазами по строчкам по обязанности. В статьях для своей газеты и в материалах для ЦК он заранее знал, о чем прочитает, и останавливал внимание только на том, что «отклонялось».

Он потерял вкус к чтению и любил свою газету как объект, независимый от содержания. Он был уверен, что даже обязательные материалы в ней привлекательнее, действуют сильнее, чем в других газетах. Известных советских писателей, которые дарили ему книги со щедрыми надписями, Макарец слегка презирал. Дефицитные зарубежные романы, которые ему откладывали в книжном коллекторе, привозил жене. Строго говоря, он вообще не читал, но – выполнял партийный долг. Читаемое он мог мерить на вес или на погонные метры. Он, как раб на цепи, обязан был перекачивать эти камни. Каждый раз он преодолевал себя, старался пробежать мельком, облегчить ношу, скорее заглянуть в конец, лишь бы убедиться в правильности и подписать.

Тем более не любил читать он *такие* книги. Они выбивали из колеи. Он ловил себя на том, что разучился спорить по принципиальным вопросам даже сам с собой. Десятилетиями



уверенный: все идет как надо и иначе быть не может, – он раздражался, читая, будто кое-что неправильно. Он просто выходил из себя, слыша, что все неправильно. В конце концов, разве это не свободное право – иметь те убеждения, которые у него давно есть? Он налил себе для бодрости еще рюмку водки и опрокинул в себя, не закусывая, только поморщился. Растянувшись на животе, повернул ночник, чтобы свет не резал глаза, и начал читать.

## 9. МАРКИЗ АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН

РОССИЯ В 1839. Самиздат, 1969.

(Рукопись из серой папки в отрывках,  
привлекших особое внимание И.И.Макарцева)

### ПРЕДИСЛОВИЕ САМИЗДАТЕЛЯ

*Тому, кто стремится понять настоящее, мы рекомендуем обратиться к прошлому. Прочтя книгу маркиза де Кюстина, император Николай швырнул ее на пол и крикнул:*

*– Моя вина! Зачем я говорил с этим негодяем?*

*Между тем он говорил с Кюстином, стремясь представить себя и Россию в выгодном свете.*

*Записки французского путешественника, побывавшего в Петербурге, Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде и Владимире, издавались много раз на всех европейских языках. В нашем отечестве их запретили сразу, и за последующие 130 лет полностью они так и не были изданы, хотя дважды такие попытки предпринимались.*

*В 1910 году был издан краткий пересказ книги, сделанный В.Нечаевым под названием «Николаевская Россия», с тщательным изъятием критики и добавлением лести по отношению к царскому двору. Под тем же названием в 1930 году издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев (вскоре снова посаженных) выпустило книгу тиражом 4000 экземпляров в переводе Я.Гессена и Л.Домгера, назвавших автора Адольфом. К сожалению, были изъятые «не всегда идущие к делу историчес-*

кие экскурсии» и философские размышления, а в критических местах перед словом «Россия» в текст вставлено «царская». Комментарий убеждал цензуру, что книга превратилась в вполне «исторический документ». Эти оправдания не спасли издательство от разгона.

Итак, Третье отделение передало эстафету ОГПУ: сочинение маркиза де Кюстина, которое Герцен назвал, без сомнения, самой замечательной и умной книгой, написанной о России иностранцем, недоступно.

Наша работа над переводом книги «*La Russie en 1839*» par Le Marquis de Custine идет медленно, учитывая условия и возможности, но мы спешим пустить для чтения первый черновой вариант. В известном смысле эта книга глубже запрещенных у нас трудов М.Джиласа, Р.Конквеста, Д.Оруэлла, А.И.Солженицына, поскольку рассматривает не слои пороков идеологии, ртутными парами которой мы дышим последние полвека, а глубокие исторические корни отечественного деспотизма. Часть мыслей Кюстина стала сбывшимися пророчествами, другая показала, что ничто в нашем отечестве не улучшается со времен Иоанна Баркляя (1582–1621), писавшего: «Это (москвиты) – народ, рожденный для рабства и свирепо относящийся ко всякому проявлению свободы; они кротки, если угнетены, и не отказываются от ига».

Впрочем, не будем навязывать свою точку зрения, дабы не уподобиться некоторым нашим согражданам. Предоставим слово самому де Кюстину.

Здесь Макарец зевнул. Он читал поверхностно, не вникая особенно в текст, перескакивая с абзаца на абзац и по привычке деля выхваченные фразы на «можно» и «нельзя». На «нельзя» у него был удивительный нюх. К концу предисловия Макарец поморщился: ну что может сказать этот старикашка, проехавший в экипаже по России, которой давным-давно нет!

– Есть! – раздался голос. – К сожалению, стало даже хуже.

– Кто здесь? – спросил Макарец, и горло у него сжало от страха.

Он повернул голову: перед ним стоял невысокий мужчина средних лет, странно одетый по нынешним временам. На нем был расстегнутый синий фрак и панталоны до колен, жилет в голубую полосочку, черные чулки и туфли на каблуках с праж-

ками и со шпорами. Белоснежную рубашку с обильными кружевами и бриллиантовыми запонками украшал большой голубой бант на шее. Сбоку свисала шпага. Макарцев вдохнул дурманящий запах сильных духов.

– Простите, что вторгаюсь к вам без приглашения, – сказал маркиз де Кюстин. – Но вы мне любопытны как мужчина умный и при том состоящий при власти. Вот почему я решил разделить с вами чтение моей книги.

– Да вы же иностранец! – возмутился Игорь Иванович. – Я завтра же должен доложить, что вы были у меня в квартире, иначе...

– Ах, не волнуйтесь, месье Макарцев, – успокоил его Кюстин. – Никто не знает, что я здесь. Наученный горьким опытом, я на этот раз проник в вашу страну через озоновую дыру в атмосфере. А там нет ни пограничных ищеек, ни жуликов-таможенников. Если позволите, я присяду, а вы читайте. Не бойтесь, читайте... Мне интересна ваша реакция, только и всего.

Кюстин уселся в кресло, сделав руками нечто вроде пасса, успокаивающего Макарцева, прикрыл веки и, казалось, задремал. А Макарцев послушно стал читать рукопись.

*Первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на русских царедворцев, было какое-то исключительное подострастие и покорность. Они казались своего рода рабами. Впечатление было таково, что в свите царского наследника господствует дух лакейства, рабское мышление, не лишённое в то же время барской заносчивости. Эта смесь самоуничтожения и надменности показалась мне слишком малопривлекательной и не говорящей в пользу страны, которую я собрался посетить.*

*На следующий день карета моя и весь багаж были на борту «Николая I», русского парохода, «лучшего в мире». Русский вельможа, князь К., происходивший от потомков Рюрика, обратился ко мне, назвав меня по имени, и развил свои взгляды на характер людей и учреждений своей Родины.*

– Беспощадный деспотизм, царящий у нас, возник в то время, когда во всей остальной Европе крепостное право было уже уничтожено. Со времени монгольского нашествия славяне, бывшие прежде самым свободным народом в мире, сделались рабами сперва

своих победителей, а затем своих князей. Крепостное право настолько унизило человеческое слово, что последнее превратилось в ловушку. Правительство в России живет ложью, ибо и тиран, и раб боятся правды. Наши автократы познали когда-то силу тирании на своем собственном опыте. Они хорошо изучили силу деспотизма путем собственного рабства, срывают злобу за свои унижения и мстят неповинным. Думайте о каждом шаге, когда будете среди этого азиатского народа...

Религиозная нетерпимость является главным рычагом русской политики. То, что могло иметь место в Европе лишь в средние века, в России случается в наши дни. Россия во всем отстала от Запада на четыре столетия.

Иностранцев продержали более часа на палубе без тента, на самом солнцепеке. Затем мы должны были предстать перед трибуналом, который заседал в кают-компании.

- Что, собственно, вы желаете делать в России?
- Ознакомиться со страной.
- Но это не повод для путешествия!
- У меня, однако, нет другого.
- С кем думаете вы увидеться в Петербурге?
- Со всеми, кто разрешит мне с ними познакомиться.
- Сколько времени вы рассчитываете пробыть в России?
- Не знаю.
- Но приблизительно?
- Несколько месяцев.
- Быть может, у вас какое-нибудь дипломатическое поручение?
- Нет.
- Может быть, секретное?
- Нет.
- Какая-нибудь научная цель?
- Нет.
- Не посланы ли вы вашим правительством изучать наш социальный и политический строй?
- Нет.
- Нет ли у вас какого-нибудь торгового поручения?
- Нет.
- Значит, вы путешествуете исключительно из любознательности?

- Да.
- Но почему вы направились для этого именно в Россию?
- Не знаю...
- Имеете ли вы рекомендательные письма к кому-нибудь?

*Меня заранее предупредили о нежелательности слишком откровенного ответа на этот вопрос. Ищейки русской полиции обладают исключительным нюхом, и, в соответствии с личностью каждого пассажира, они исследуют их паспорта с той или иной строгостью. Какой-то итальянский коммерсант, шедший передо мною, был безжалостно обыскан. Он должен был открыть свой бумажник, обшарили все его платье и снаружи, и внутри, не оставили без внимания даже белья. Стали рыться в моих вещах и особенно в книгах. Последние были отняты у меня почти все.*

*Россия – страна совершенно бесполезных формальностей.*

Тут Макарец оторвал глаза от рукописи и вздохнул.

– Ну, как? – спросил его тотчас маркиз де Кюстин.

Он элегантно сидел в кресле, перекинув одну ногу на другую, и наблюдал за Игорем Ивановичем.

– Конечно, вы, французы, многого не понимаете, – сразу начал объяснять ему Макарец. – Почему мы, русские, должны подстраиваться под ваши традиции? У нас же совершенно иные условия! И все же не исключено, что мы перегибаем палку, не умеем с уважением отнестись к иностранцам. А вы нас встречаете хорошо.

Подобие одобрения проскочило в черных глазах Кюстина, он кивнул и вдруг спросил:

– А к своим?

– Что? – не понял Игорь Иванович.

– Я хочу сказать: к своим уважения не требуется?

Макарец не нашелся что ответить, пробурчал нечто вроде «ну, знаете ли...» и продолжал читать. Он не заметил, как равнодушие к чтению сменилось у него любопытством и как он в рассуждении перескочил из девятнадцатого века в двадцатый безо всякого затруднения. Впрочем, ему, конечно, помогал маркиз. Игорь Иванович незаметно привык к его присутствию и читал теперь добровольно, ведь никто его не принуждал. Мог бы отложить – ясно ведь о чем! – а читал. Сердце не болело, голова тоже, спать не хотелось. Он читал с

интересом, и скепсис, давно в нем живший, только усиливал этот интерес.

– Постойте-ка, – вдруг прервал себя Макарецв, заколебавшись, и посмотрел на Кюстина. – А вы меня не обмишуриваете?

– Обми... что? – спросил маркиз.

– Я говорю: да это же просто мистификация! Кто вам поверит, что вы написали это сто лет назад?!

– Сто тридцать, – поправил Кюстин.

– Пускай сто тридцать, черт с вами! Ведь это же явная антисоветчина!

– Но позвольте, месье Макарецв! Я написал это за сто лет до большого террора Сталина! Это же исторический факт...

Макарецв не нашелся, что возразить, и молча уткнулся в рукопись.

То, что привык он читать, говорить, слышать, здесь начисто, без всяких компромиссов, отсутствовало. А то вредное, осужденное раз и навсегда, мешающее нам шагать вперед, то, что он великолепно умел обходить и отсеивать, умел не слышать, – вылезло. Макарецв стал читать возмущеннее и потому активнее. Возвращался назад, забегал в нетерпении вперед. Последовательность рассуждений его не интересовала. Он был уверен, что умеет выхватить главное быстрее, чем его удавалось изложить автору.

А сам маркиз де Кюстин между тем тихо сидел в кресле, наблюдая за своим читателем.

*Всякий иностранец, прибывший на русскую границу, трактуется заранее как преступник. Здесь можно двигаться, можно дышать не иначе, как с царского разрешения или приказа. Все мрачно, подавлено, и мертвое молчание убивает всякую жизнь. Кажется, тень смерти нависла над всей этой частью земного шара.*

*Скудость, сколь тщательно она ни прикрывается, все-таки порождает унылую скуку. Нельзя веселиться по команде. Драмы разыгрываются в действительной жизни – в театре господствует водевиль, никому не внушающий страха. Пустые развлечения – единственные, дозволенные. Слова «мир», «счастье» здесь столь же неопределенны, как и слово «рай». Беспробудная лень, тревожное безделье – таков неизбежный результат автократии.*

*В угоду власти все стараются скрыть от иностранца те или иные неприглядные стороны русской жизни. Никто не заботится о том, чтобы искренне удовлетворить его законное любопытство, все охотно готовы обмануть его фальшивыми материалами. Все, проживающие в России, кажется, дали обет молчания обо всем, их окружающем.*

*В день падения какого-нибудь министра его друзья должны стать немыми и слепыми. Человек считается погребенным тотчас же, как только он окажется попавшим в немилость.*

*У русских есть названия всего, но ничего нет в действительности. Россия – страна фасадов. Прочтите этикетки – у них есть цивилизация, общество, литература, театр, искусство, науки, а на самом деле нет даже врачей: стоит заболеть, и можете считать себя мертвецом!*

*Русский двор напоминает театр, в котором актеры заняты исключительно генеральными репетициями. Никто не знает хорошо своей роли, и день спектакля никогда не наступает, потому что директор театра недоволен игрой своих актеров. Актеры и директор бесплодно проводят всю свою жизнь, подготавливая, исправляя и совершенствуя бесконечную общественную комедию. В России каждый выполняет свое предназначение до последних сил.*

– Это кто же директор театра? – невольно вслух спросил Макарец.

– Неужели вы не поняли? – вопросом на вопрос ответил Кюстин и засмеялся.

– Вам, критиканам, советовать легко. Вам подавай коммунизм на блюдецке! А где нам его взять готовым?

– Нам не надо вашего комизма, – грустно сказал Кюстин, не поняв слова. – И я вообще не знаю, чего вам надо. Я просто писатель и высказываю свое мнение, правду, как я ее понимаю, только и всего.

Макарец сердился и оттого увлекался еще больше. Он не мог не признать, что это умная книга, потому что не было в ней дешевой брани. Тут не упрекался лично он, Макарец, представитель руководящей партии и, значит, ответственный в какой-то мере за величайшие события века.

– Да ведь я, если хотите знать, – сказал Игорь Иванович, – всегда стараюсь смягчить, сделать культурнее, быть

справедливее, человечнее, то есть быть настоящим коммунистом.

– Вижу, месье, – кивнул Кюстин. – Поэтому я и пришел к вам.

– Имей я больше власти, и система была бы не такой, как она есть. Но что я могу поделать один?

– Ведь я вас не сужу, – вздохнул Кюстин. – Да вы читайте дальше...

*В России нет больших людей, потому что нет независимых характеров, за исключением немногих избранных натур, слишком малочисленных, чтобы оказать влияние на окружающих. Самый ничтожный человек, если он сумеет понравиться государю, завтра же может стать первым в стране. Каждый поступок, возвысившийся над слепым и рабским послушанием, становится для монарха тягостным и подозрительным. Эти исключительные случаи напоминают о чьих-то притязаниях, притязания – о правах, а при деспотизме всякий подданный, лишь мечтающий о правах, – уже бунтовщик.*

*Приезжайте в Россию, чтобы воочию убедиться в результате страшного смешения духа и знаний Европы с гением Азии. Оно тем ужаснее, что может длиться бесконечно, ибо честолюбие и страх – две страсти, которые в других странах часто губят людей, заставляя их слишком много говорить, здесь порождают лишь гробовое молчание.*

*Величественный проспект доходит, постепенно становясь все безлюднее, некрасивее и печальнее, до самых границ города и мало-помалу теряется в волнах азиатского варварства, со всех сторон заливающих Петербург и расходящихся во все стороны от нескольких почтовых шоссе, постройка которых только начата в этой первобытной стране. Город окружен ужасающей неразберихой лачуг и хибарок, бесформенной гурьбой домишек неизвестного назначения, безымянными пустырями, заваленными всевозможными отбросами – омерзительным мусором, накопившимся за сто лет жизни беспорядочного и грязного от природы населения.*

*Русские заимствовали науку и искусство извне. Они не лишены природного ума, но ум у них раздражительный. Все православные церкви похожи одна на другую. Живопись неизменно византийского стиля, то есть неестественная, безжизненная и поэтому одно-*



*образная. Не люблю я искусства в России. Коллекцию Эрмитажа особенно портит большое количество посредственных полотен. Собирая галерею Эрмитажа, гнались за громкими именами, но подлинных произведений больших мастеров немного, подделок гораздо больше.*

*Самый воздух этой страны враждебен искусству. Все, что в других странах возникает и развивается совершенно естественно, здесь удастся только в теплице.*

*Презрение к тому, чего они не знают, кажется мне доминирующей чертой русского национального характера. Их быстрый и пренебрежительный взгляд равнодушно скользит по всему, что столетиями создавал человеческий гений. Они считают себя выше всего на свете, потому что все презирают. Их похвалы звучат, как оскорбления. Вместо того чтобы постараться понять, русские предпочитают насмехаться. Ирония выскочки может стать уделом целого народа. Влияние татар пережило свергнутое иго. Разве вы прогнали их для того, чтобы им подражать? Недалеко вы уйдете вперед, если будете хулить все, вам непонятное.*

Игорь Иванович остановился. Он снял очки и надавил двумя пальцами на веки, чтобы дать глазам отдохнуть. Кюстин, казалось, дремавший в кресле, молча посмотрел на него.

– Какая разница, – не обращаясь к нему, вслух сказал Макарцев, – сейчас это написано или в 1839? Это наблюдательно подмечено!

– Вы находите? – удовлетворенно заметил маркиз.

– Да, черт побери! Если быть с вами откровенным, то все эти мерзости у нас есть! Это все давно пора менять. Чего мы боимся? Почему не хотим ничего слушать?

– В самом деле, почему? – спросил Кюстин и захохотал.

– Не вижу ничего смешного, – сухо отреагировал Макарцев и продолжил чтение.

*Народ топит свою тоску в молчаливом пьянстве, высшие классы – в шумном разгуле. Этому народу не хватает одного очень существенного душевного качества – способности любить.*

*Путешественник с величайшими усилиями различает на каждом шагу две нации, борющиеся друг с другом: одна из этих наций*

– Россия, какова она есть на самом деле, другая – Россия, какую ее хотели бы показать Европе. Наилучшей репутацией пользуются те путешественники, которые легче других поддаются обману. Всюду и везде мною ощущается прикрытая лицемерная жестокость, худшая, чем во времена татарского ига: современная Россия гораздо ближе к нему, чем нас хотят уверить. Везде говорят на языке просветительной философии XVIII века, и везде я вижу самый невероятный гнет. Мне говорят: «Конечно, мы хотели бы обойтись без произвола, мы были бы тогда богаче и сильнее. Но, увы, мы имеем дело с азиатским народом». И в то же время говорящие думают: «Конечно, хорошо было бы избавиться от необходимости говорить о либерализме и филантропии, мы стали бы счастливее и сильнее, но, увы, нам приходится иметь дело с Европой».

Все сводится здесь к одному-единственному чувству – страху.

Что представляет собой эта толпа, именуемая народом? Не обманывайте себя напрасно: это – рабы рабов. Человек в России не знает ни возвышенных наслаждений культурной жизни, ни полной и грубой свободы дикаря, ни независимости и безответственности варваров. Тягостное чувство, не покидающее меня с тех пор, как я живу в России, усиливается оттого, что все говорит мне о природных способностях угнетенного народа. Мысль о том, чего бы он достиг, если бы был свободен, приводит меня в бешенство.

Если пробежать глазами одни заголовки – все покажется прекрасным. Но берегитесь заглянуть дальше названий глав. Откройте книгу, и вы убедитесь, что в ней ничего нет: все главы лишь обозначены, но их еще нужно написать. Сколько лесов являются болотами, где не найти ни вязанки хвороста. Сколько полков в отдаленных местностях, где не найти ни единого солдата! Сколько городов и дорог существует в проекте! Да и вся нация, в сущности, – не что иное, как афиша, расклеенная по Европе, обманутой дипломатической фикцией.

Политические суеверия составляют душу этого общества. Самодержец, совершенно безответственный с политической точки зрения, отвечает за все. До сих пор я думал, что истина необходима человеку, как воздух, как солнце. Путешествие по России меня в этом разубеждает. Лгать здесь – значит охранять, говорить правду – значит потрясать основы.

– Смотрите, не проговоритесь! – неизбежный припев в устах русского или акклиматизировавшегося иностранца.

Русский народ – нация немых. Русский получает на своем веку не меньше побоев, чем делает поклонов. И те, и другие применяются здесь равномерно в качестве методов социального воспитания народа. Дрожат до того, что скрывают страх под маской спокойствия, любезного угнетателю и удобного для угнетенного. Тиранам нравится, когда кругом улыбаются. Благодаря нависшему над головами всех террору, рабская покорность становится незабываемым правилом поведения. Жертвы и палачи одинаково убеждены в необходимости слепого повинования.

– Что за преувеличения! – воскликнут русские. – Какие громкие фразы из-за пустяков!

Я знаю что вы называете пустяками, в этом вас и упрекаю! Ваша привычка к подобным ужасам объясняет ваше безразличное к ним отношение, но отнюдь его не оправдывает. Вы обращаете не больше внимания на веревки, которыми на ваших глазах связывают человека, чем на ошейники ваших собак. Умерьте ваше рвение, откажитесь только от лжи, которая всюду господствует, все обезображивает, все отравляет у вас, – и вы сделаете достаточно для блага человечества.

Среди бела дня на глазах у сотен прохожих избить человека без суда и следствия – это кажется в порядке вещей. В цивилизованных странах гражданина охраняет от произвола агентов власти вся община; здесь должностных лиц произвол охраняет от справедливых протестов обиженного.

Адвокатов не может быть в стране, где отсутствует правосудие. Откуда же взяться среднему классу, который составляет основную силу общества и без которого народ превращается в стадо, охраняемое хорошо выдрессированными овчарками?

Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру – они надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести – и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится. Русские не столько хотят стать действительно цивилизованными, сколько стараются казаться таковыми. В основе они остаются варварами. К несчастью, эти варвары знакомы с огнестрельным

оружием. Это – нация, сформированная в полки и батальоны, военный режим, применимый к обществу в целом и даже к сословиям, не имеющим ничего общего с военным делом.

Из подобной организации общества проистекает такая лихорадка зависти, такое напряжение честолюбия, что русский народ теперь ни к чему не способен, кроме покорения мира. Мысль моя постоянно возвращается к этому, потому что никакой другой целью нельзя объяснить безмерные жертвы, приносимые государством и отдельными членами общества. Очевидно, народ пожертвовал свободой во имя победы.

Возникает серьезный вопрос: суждено ли мечте о мировом господстве остаться только мечтою, способной еще долгое время наполнять воображение полудикого народа, или она может в один прекрасный день претвориться в жизнь? Скажу лишь одно: с тех пор как я в России, будущее Европы представляется мне в мрачном свете.

Участь России, уверяют меня, – завоевать Восток и затем распасться на части. Научный дух отсутствует у русских. У них нет творческой силы, ум по природе ленивый и поверхностный. Если они и берутся за что-либо, то только из страха. Народ, не могущий ничему научить те народы, которые он собирается покорить, недолго останется сильнейшим. Государство, от рождения не вкусившее свободы, государство, в котором все серьезные политические кризисы вызывались иностранными влияниями, такое государство не имеет будущего.

Я стою близко к колоссу, и мне не верится, что провидение создало его лишь для преодоления азиатского варварства. Ему суждено, думается мне, покарать испорченную европейскую цивилизацию новым нашествием с Востока. Нам грозит вечное азиатское иго, оно для нас неминуемо, если излишества и пороки обрекут нас на такую кару.

Эта милая страна устроена так, что, не имея непосредственной помощи представителей власти, иностранцу невозможно путешествовать по ней без неудобств и даже без опасностей. Вы решаете лучше не видеть многого, чем без конца испрашивать разрешения – вот первая выгода системы. Вы всегда будете под пристальным наблюдением, вы сможете поддерживать лишь официальные контакты со всевозможными начальниками, и вам представят лишь одну свободу – свободу выразить свое восхищение

*перед законными властями. Вежливость, таким образом, превращается в способ наблюдения за вами. Все занимаются здесь шпионством из любви к искусству, чаще не рассчитывая на вознаграждение.*

*Я делаю записи и тщательно их прячу. Меня, быть может, ждет в лесу засада: на меня нападут, отберут мой портфель, с которым я не расстанусь ни на минуту, и убьют меня, как собаку. А мне предстоит еще многое осмотреть в России, где я отнюдь не собираюсь зимовать. Соберу все заметки, написанные мною, хорошенько запечатаю всю пачку и отдам на сохранение в надежные руки (последние не так-то легко найти). Если же вы обо мне не услышите, знайте, что меня отправили в Сибирь.*

*Набережные Петербурга относятся к числу самых прекрасных сооружений в Европе. Тысячи человек погибли на этой работе. Не беда! Зато мы будем иметь европейскую столицу и славу великого города. Оплакивая бесчеловечную жестокость, с которой было создано это сооружение, я все же восхищаюсь его красотой.*

– Наконец-то! – воскликнул Макаревич.

– Что именно? – поинтересовался маркиз де Кюстин.

– Наконец вы нашли, что похвалить! Я ведь родился в Питере и люблю этот город.

– Мне приятно вас обрадовать, – усмехнулся маркиз, – но вряд ли это надолго. Я могу добавить: к сожалению.

*Только расстояния и существуют в России. На каждом перегоне мои ящики по крайней мере раз двадцать крестились, проезжая мимо часовен. Искусные, богобоязненные и вежливые плуты неизменно похищали у нас что-либо. Каждый раз мы не досчитывались то кожаного мешка, то ремня, то чехла от чемодана, то, наконец, свечки, гвоздя или винтика. Словом, ящик никогда не возвращался домой с пустыми руками.*

*Политические верования здесь прочнее и сильнее религиозных. Настанет день, когда печать молчания будет сорвана с уст народа, и изумленному миру покажется, что наступило второе вавилонское столпотворение. Из религиозных разногласий возникнет некогда социальная революция в России, и революция эта будет тем страшнее, что свершится во имя религии. Свирепость, проявляемая обеими сторонами, говорит нам о том, какова будет*

развязка. Вероятно, наступит она нескоро: у народов, управляемых такими методами, страсти бурлят прежде, чем вспыхнуть. Опасность приближается с каждым часом, но кризис запаздывает, зло кажется бесконечным.

Несчастливая страна, где каждый иностранец представляется спасителем толпы угнетенных, потому что он олицетворяет правду, гласность и свободу для народа, лишенного всех этих благ. Это ужасное общество изобилует контрастами: многие говорят между собой столь же свободно, как если бы они жили во Франции. Тайная свобода утешает их в своем явном рабстве, составляющем стыд и несчастье их родины.

Кремль стоит путешествия в Москву! Он есть грань между Европой и Азией. При преемниках Чингисхана Азия в последний раз ринулась на Европу; уходя, она ударила о землю пятой, – и отсюда возник Кремль. Жить в Кремле – значит не жить, но обороняться. Иван Грозный – идеал тирана, Кремль – идеал дворца для тирана. Он попросту – жилище призраков. Культ мертвых служит предлогом для народной забавы. Слава, возникшая из рабства, – такова аллегория, выраженная этим сатанинским памятником зодчества.

В Москве уживаются рядом два города: город палачей и город жертв последних. Москва за неизменением лучшего превратилась в город торговый и промышленный. Она гордится ростом своих фабрик.

Общество здесь, можно сказать, начало со злоупотреблений. Однажды прибегнув к обману для того, чтобы управлять людьми, трудно остановиться на скользком пути. Новая кампания – новая ложь. И государственная машина продолжает работать.

Совершенное единообразие подавляет здесь во всем, замораживает педантичность, неотделимую от идеи порядка, вследствие чего вы начинаете ненавидеть то, что, в сущности, заслуживает симпатии. Россия, этот народ-дитя, есть не что иное, как огромная гимназия. Все идет в ней, как в военном училище, с той лишь разницей, что ученики не оканчивают его до самой смерти.

В целом русские, по моему мнению, не расположены к великодушию. Они работают не для того, чтобы добиться полезных для других результатов, но исключительно ради награды. Творческий огонь им неведом, они не знают энтузиазма, создающего все великое. Лишите их таких стимулов, как личная заинтересован-

ность, страх наказания и тщеславие, – и вы отнимите у них всякую способность действовать. В царстве искусства они тоже рабы, несущие службу во дворце.

*Русские – первые актеры в мире. Вас забывают, едва успев распрощаться. Все они легкомысленны, живут только настоящим и забывают сегодня то, о чем думали вчера. Они живут и умирают, не замечая серьезных сторон человеческого существования.*

*Нигде влияние единства образа правления и единства воспитания не сказывается с такой силой, как в России. Все души носят здесь мундир. Климат уничтожает физически слабых, правительство – слабых морально. Выживают только звери по породе и натуры сильные как в добре, так и в зле.*

*Испорченность в России смешивают с либерализмом. Только крайностями деспотизма можно объяснить царствующую здесь нравственную анархию. Там, где нет законной свободы, всегда есть свобода беззакония. Отвергая право, вы вызываете правонарушение, а отказывая в справедливости, вы открываете двери преступлению. Происходит то же, что с таможенной, которая только способствует ввозу разрушительной литературы, потому что никому нет охоты рисковать из-за безобидных книг. В других странах даже бандиты держат слово, и у них имеется свой кодекс чести. Зло торжествует именно тогда, когда оно остается скрытым, в то время как зло разоблаченное уже наполовину уничтожено.*

*Подъяремное равенство здесь правило, неравенство – исключение, но при режиме полнейшего произвола исключение становится правилом. Между кастами, на которые разделяется население империи, царит ненависть, и я напрасно ищу хваленого равенство, о котором мне столько наговорили.*

*Дабы правильно оценить трудности политического положения России, должно помнить, что месть народа будет тем более ужасна, что он невежествен и исключительно терпелив. Правительство, ни перед чем не останавливающееся и не знающее стыда, скорее, страшно на вид, чем прочно на самом деле. В народе – гнетущее чувство беспокойства, в армии – невероятное зверство, в администрации – террор, распространяющийся даже на тех, кто терроризирует других, в церкви – низкопоклонство и шовинизм, среди знати – лицемерие и ханжество, среди низших*

классов – невежество и крайняя нужда. И для всех и каждого – Сибирь.

И с таким немощным телом этот великан, едва вышедший из глубин Азии, силится ныне навалиться всей своей тяжестью на равновесие европейской политики и господствовать на конгрессах западных стран, игнорируя все успехи европейской дипломатии за последние тридцать лет. Наша дипломатия сделалась искренней, но здесь искренность ценят только в других.

Как это ни звучит парадоксально, самодержец всероссийский часто замечает, что он вовсе не так всесилен, как говорят, и с удивлением, в котором он боится сам себе признаться, видит, что власть его имеет предел. Этот предел положен ему бюрократией, силой страшной повсюду, потому что злоупотребление ею именуется любовью к порядку, но особенно страшной в России.

У русских такой печальный и пришибленный вид, что они, вероятно, относятся с одинаковым равнодушием и к своей, и к чужой гибели. Жизнь человеческая не имеет здесь никакой цены. Существование окружено такими стеснениями, что каждый, мне думается, лелеет тайную мечту уехать, уехать куда глаза глядят, но мечте этой не суждено претвориться в жизнь. Дворянам не дают паспортов, у крестьян нет денег, и все остаются на месте, сидят по своим углам с терпением и мужеством отчаяния.

Дело здесь идет не о политической свободе, но о личной независимости, о возможности передвижения и даже о самопроизвольном выражении естественных человеческих чувств. Покой или кнут! – такова дилемма для каждого.

Что за страна! Серые, точно вросшие в землю лачуги деревень, и каждые тридцать-пятьдесят миль – мертвые, будто покинутые жителями, города, тоже придавленные к земле, тоже серые и унылые, где улицы похожи на казармы, выстроенные только для маневров. Вот вам, в сотый раз, Россия, какова она есть.

Зима и смерть, чудится вам, бессменно парят над этой страной. Северное солнце и климат придают могильный оттенок всему окружающему. Спустя несколько недель ужас закрадывается в сердце путешественника. Уж не похоронен ли он заживо, мерещится ему; и он хочет разорвать окутавший его саван, бежать без оглядки с этого сплошного кладбища, которому не видно ни конца ни краю.



– Что это за отряд? – спросил я фельдъегеря.

– Казаки, – был ответ, – конвоируют сосланных в Сибирь преступников.

Люди были закованы в кандалы. Чем ближе мы подъезжали к группе ссыльных и их конвоиров, тем внимательнее наблюдал за мной фельдъегерь. Он усиленно убеждал меня в том, что эти ссыльные – простые уголовные преступники и что между ними нет ни одного политического.

Все приносится в жертву будущему. В этой могильной цитадели мертвые кажутся более свободными, чем живые. Тяжело дышать под немymi сводами. На всем лежит печать уныния и какой-то неуверенности в завтрашнем дне. Терпимость не гарантируется ни общественным мнением, ни государственными законами. Как и все остальное, она является милостью, дарованной одним человеком, который завтра может отнять то, что он дал сегодня.

Если преступников не хватает, их делают. Жертвы произвола могил не имеют. Дети каторжников – сами каторжники. Вся Россия – та же тюрьма и тем более страшная, что она велика и так трудно достигнуть и перейти ее границы.

«Государственные преступники...» Если бы эти страдальцы вышли теперь из-под земли, они поднялись бы как мстители призраки и привели бы в оцепенение самого деспота, а здание деспотизма было бы потрясено до основания. Все можно защищать красивыми фразами и убедительными доводами. Но, что бы там ни говорили, режим, который нужно поддерживать подобными средствами, есть режим глубоко порочный. Всякий, кто не протестует изo всех сил против режима, делающего возможным подобные факты, является до известной степени его соучастником и соумышленником.

Если бы удалось устроить настоящую революцию силами русского народа, избиение было бы регулярно, как военные экзекуции. Деревни превратились бы в казармы, и организованное убийство, выходя во всеоружии из хат, повело бы наступление стройно, в полном порядке; словом, русские пошли бы на погром от Смоленска до Иркутска.

– Э, голубчик, – усмехнулся Макарецев, – да тут вы просто наивны!

– Любопытно узнать, в чем? – спросил маркиз.

– Вы не понимаете прочности и неизбежности нашей идеологии. Хотя потрясение двадцатого съезда было сильным – но это была сила партии, а не сила реабилитированных из лагерей! Все это легко советовать со стороны, отпускать дешевые смешки. Попробовали бы сами руководить нашей огромной страной!

– Ни в коем случае! – испугался Кюстин. – Я только предполагал, что так будет, а теперь говорю: меня удручает то, что вижу. Читайте дальше, месье!

*Современное политическое положение в России можно определить в нескольких словах: это страна, в которой правительство говорит что хочет, потому что оно одно имеет право говорить. Так, правительство говорит: «Вот вам закон – повинуйтесь», но молчаливое соглашение заинтересованных сторон сводит на нет те его статьи, применение которых было бы вопиющей несправедливостью. Таким образом, ловкость и смысленность подданных исправляет грубые жестокие ошибки власти.*

*Обычное русское лукавство: закон обнародован, и ему повинуются... на бумаге. Этого правительству довольно. По этому образчику деспотического мошенничества вы можете судить о том, как низко здесь ценят правдивость и как нельзя верить высокопарным фразам о долге и патриотических чувствах. Чтобы жить в России, скрывать свои мысли недостаточно – нужно уметь притворяться. Первое – полезно, второе необходимо.*

*К исторической истине в России питают не больше уважения, чем к святости клятвы. Подлинность камня здесь так же невозможно установить, как и достоверность устного или письменного слова. В уменье подделывать работу времени русские не знают себе соперников. Как выскочки, у которых нет прошлого, они эфемерными декорациями заменяют то, что по самой своей природе внушает мысль о длительном существовании. Манья смотров, парадов и маневров имеет в России характер повальной болезни.*

*Спокойствие государства в общем не нарушается, глубоких потрясений нет и, вероятно, еще долго не будет. Я уже говорил, что необъятность страны и усвоенная правительством политика замалчивания способствуют успокоению. Прибавьте к этому слепое повиновение армии: «надежность» солдат основана глав-*

ным образом на полнейшем невежестве крестьянских масс. Однако это невежество является, в свою очередь, причиной многих язв, разъедающих империю. И неизвестно, как выйдет нация из этого заколдованного круга. Можете себе представить, какая расправа уготована для виновников! Впрочем, всю Россию в Сибирь не сослать! Если ссылают людей деревнями, то нельзя подвергнуть изгнанию целые губернии.

Русские довольствуются пухлыми папками с оптимистическими отчетами и мало беспокоятся о постепенном оскудении важнейшего природного богатства страны. Их леса необъятны... в министерских департаментах. Разве этого недостаточно? Можно предвидеть, что настанет день, когда им придется топить печи ворохами бумаги, накопленной в недрах канцелярий. Это богатство, слава Богу, растет изо дня в день. Видя, с какой быстротой исчезают леса, поневоле задаешь себе тревожный вопрос: а чем будут согреваться будущие поколения?

Когда солнце гласности взойдет наконец над Россией, оно осветит столько несправедливостей, столько чудовищных жестокостей, что весь мир содрогнется. Впрочем, содрогнется он не сильно, ибо таков удел правды на земле. Когда народам необходимо знать истину, они ее не ведают, а когда наконец истина до них доходит, она никого уже не интересует, ибо злоупотребления поверженного режима вызывают к себе равнодушное отношение. Мысль, что я дышу одним воздухом с огромным множеством людей, столь невыносимо угнетенных и отторгнутых от остального мира, не давала мне ни днем, ни ночью покоя.

Никогда не забуду я чувства, охватившего меня при переправе через Неман. Я могу говорить и могу писать что угодно!

– Я свободен! – восклицал я про себя.

Не я один, конечно, испытываю такие чувства, вырвавшись из России, – у меня было много предшественников. Почему же, спрашивается, ни один из них не поведал нам о своей радости? Я преклоняюсь перед властью русского правительства над умами людей, хотя и не понимаю, на чем эта власть основана. Но факт остается фактом: русское правительство заставляет молчать не только своих подданных – в чем нет ничего удивительного, – но и иностранцев, избежавших влияния его железной дисциплины.

Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю

*свободу, предоставленную народам в других странах Европы, какой бы ни был принят там образ правления.*

*Если ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый близко познакомившийся с Россией, будет рад жить в какой угодно стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором невысказано счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы.*

– Ну, что вы теперь думаете? – лукаво прищурившись, спросил маркиз де Кюстин. – Не кажется ли вам...

– Вы водку пьете? – перебил его Макарецев.

– Нет! – испугался гость. – Я бы предпочел бургонское. Но мне, к сожалению, вообще пора, как у вас говорят, смысываться. Я понял, что вы думаете о моей книге. Не понравилось бы – не читали б до утра.

Макарцев между тем кряхтя поднялся с дивана, пошел к холодильнику и, вытащив бутылку, налил себе треть чашки, стоявшей на столе. Он поморщился от запаха и залпом выпил. Когда он поставил чашку и решил ответить Кюстину, кресло было пусто. Маркиз исчез также незаметно, как и появился, – по-видимому, через озоновую дыру.

## 10. БЛИЖЕ К УТРУ

– Так... – пробормотал Макарецев.

Он будто вспомнил, кто он такой и как должен читать. Кандидат в члены ЦК КПСС, он задумался по-государственному. Слабость автора в его беспартийной, внеклассовой позиции. Отказываться от того, что мы сами же приняли в семнадцатом году? Неумно. Беспринципно. Никаких колебаний он больше не испытывал. Никаких симпатий к прочитанным мыслям у него не осталось. Он как бы отстранился от автора, к которому еще минуту назад чувствовал симпатию. В нем опять пробудился главный редактор. Он снова думал партийно, как надо.

Завязывая тесемочки у папки, он проникался сознательным негодованием. Как может человек смешивать с грязью

все самое святое для всех нас? Дело не в критике. Рукопись эта в целом идеологически чужда нам. Она мешает идти вперед. За это полагается по закону... Кстати, а что там полагается?

Он взял с полки маленькую книжицу и отыскал статью семидесятую: «Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти... распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания – наказывается... до семи лет и со ссылкой до пяти лет...»

Вдруг он обратил внимание на слово «хранение». В моем случае тоже *хранение*? Но ведь я же держу рукопись для дела! Нет, это не должно меня касаться! Возбужденный открытием, Макарецв глянул на часы: около четырех утра.

Он вышел на кухню, захватив рукопись. Постелил на стол газету, чтобы не доставать тарелок. Заметил, что разложил «Трудовую правду», заменил «Социалистической индустрией». Он отрезал ломоть черного хлеба, открыл холодильник и увидел банку с маринованными помидорами. Он наклонил ее и, пролив на пол немного рассола, выкатил помидор. Морщась от кислоты, он проглотил его и, пошатываясь, направился в спальню. Папку он взгромоздил на тумбочку возле кровати, а под папку – очки, чтобы утром, когда будет искать очки, не забыть и папку. Зинаида, почувствовав, что он рядом, положила руку ему на плечо, поближе к шее. Он потерялся о ее руку подбородком с отросшей щетиной, коснулся ее груди. Зинаида убрала его руку и повернулась спиной.

– Спи, Гарик, ты сейчас ничего не хочешь...

Он вздохнул, не стал настаивать, полежал некоторое время, глядя в потолок, стараясь рассеять мысли. Сон не шел. Игорь Иванович открыл наощупь тумбочку, вытащил таблетку импортного снотворного, которое всегда ему помогало. Пилюля была горьковатая, он елозил по ней языком до тех пор, пока она не растаяла. Вскоре он заснул и проспал часа четыре. Утром, накинув халат, но не застегивая его, он пошел по квартире. Радио передавало обзор центральных газет. Упомянули статью в «Трудовой правде».

Бориса уже не было. Зина возилась на кухне.

– У тебя что-то случилось...

Произнесла она это не в виде вопроса, утверждением. Она вряд ли посоветует, а послушает, и уже будет легче. Но Макарец давно отучился говорить ей о своих неприятностях. Сообщал только хорошее, считая, что от этого вырастает его авторитет в ее глазах. Он понимал, что это глупо, но так привык.

– Запарка, – сказал он. – Как всегда, запарка...

Он встал под душ – под горячий, как только мог стоять, чтобы прошла голова. Жена подсказала ему то, чего он не хотел сформулировать сам: ведь действительно случилось. Ну и сотруднички у меня! Хорошо, что забыли не где-нибудь еще. Сейчас изорву все на мелкие части и спущу в мусоропровод, будто и не было.

Теперь, когда он стоял под душем голый и вода лилась с него, обтекая его слегка впалую грудь и округлый живот, до Макареца дошла другая сторона дела. Почему же случайно забыто у меня в кабинете? Не они, а я растяпа, сохранивший наивность до седых волос. Конечно, подсунули с весьма определенным замыслом! Знаю ведь, какой треп стоит в отделах, когда нет посторонних. Все ходят по острию ножа. Фотолаборатория размножила портрет Солженицына – я возмутился, потребовал негатив и сжег при них! Даже на планерках реплики бросают. Когда я добрый – либерал, а чуть что не так – сразу сталинист. Самое время меня просветить. Но не учитывают времени. Ведь это же подлость с их стороны! Подлости делать мне не за что. В конце концов, я не просто редактор, но старый товарищ многим из них. В их интересах я закрываю глаза на некоторые вещи, на которые не стоило бы закрывать. Как же поступить в этом случае?

Погодите-ка! А стал ли бы кто-нибудь так рисковать ради того, чтобы просвещать мою особу? Ведь рукопись может оказаться и не у меня. Вот скомпрометировать меня – тут желающие найдутся.

Мысли завертелись вокруг этого варианта. Положил тот, кому это поручено. Поручено людьми, специально этим занимающимися. Неужто все возвращается на круги своя – и снова слежка за преданными партийными кадрами? Или просто маленькая проверка – бдительности, оперативности, принци-

пиальности, – только и всего. А если так, уничтожить папку не годится, не поверят, что сжег. Наоборот, будут думать, что спрятал или дал кому-нибудь читать, то есть *распространяет*. Ведь сам не сообщил!

Однако затей проверку органы, они обязаны это согласовать. Впрочем, почему бы и не согласовать? Кто-то непосредственно дал указание. Если это так, он, Макарец, будет на высоте. Они затеяли игру, которая им выйдет боком. Сопляки! Он их проучит на более высоком уровне, чем они думают. Да он самому худощавому товарищу расскажет! Пускай как следует накажет тех, кто перестарался. Он делает партийную газету, которую читают в ста двух странах мира. Не на того замахнулись! Пока Игорь Иванович одевался, он уже твердо решил, что, приехав в редакцию, для начала немедленно позвонит по ВЧ одному из заместителей председателя Комитета госбезопасности.

Макарец ободрился, растерянность миновала. Надевая галстук, он уже посвистывал.

## 11. С КЕМ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ?

Редакционное утро началось ссорой с Ягубовым. Едва Анна Семеновна, закрыв после проветривания форточку, вышла, Макарец спрятал серую папку в сейф. Он решил, что сейчас наметит тон разговора и позвонит по ВЧ туда, куда решил позвонить. Но тут секретарша соединила его с секретарем райкома Кавалеровым.

– Игорь Иваныч, я уже велел десять экземпляров газеты купить, а статьи нету...

– Черт знает что! Погоди...

Бегло просмотрев свою газету, Макарец по селектору соединился с Ягубовым. Сейчас он ему объяснит, кто главный редактор газеты.

– Куда исчезла статья Кавалерова, которую я вчера поставил в номер?

– Извините, Игорь Иваныч. Я не знал, что это вы поставили, и распорядился снять. Мне показалось, был более важный материал... А она вам лично нужна?

– Что значит – лично? – Макарецва покоробила проницательность зама. – Очевидно, причины были, по которым я ее поставил. И давайте договоримся, Степан Трофимыч: распоряжения редактора обязательны для всех двухсот сорока трех сотрудников, в том числе и для вас...

– Разумеется! Просто я думал, что тоже имею в газете право голоса...

– Имеете. Но поскольку единоначалия ЦК еще не отменял, потрудитесь распорядиться, чтобы сегодня же статью Кавалерова поставили в номер!

– Будет выполнено! Кстати, сегодня вы сами дежурите.

Макарцев выключил селектор и сказал Кавалерову:

– Извини, недорозумение...

– Уж я слышу голос Ягубова!

– Маленькое самоуправство.

– Ой ли! Думаю, не сам он...

– Чепуха! Завтра утром читай!

Положив трубку, редактор раздраженно поморщился. Он с грустью подумал, что в редакции с каждым годом увеличивается процент балласта. Уволить бы двести бездельников, занимающихся сбором партвзносов, выпуском стенгазеты и просмотрами новых фильмов и ничего не делающих непосредственно для полос, а увеличить зарплату тем, кто, как волю, тянут всю работу.

Вот и Ягубов, к сожалению, балласт, да еще с характером! Кто там над ним стоит? Да чей бы он ни был, ставить палки в колеса – не позволю. Сейчас раздувать не буду. Но постепенно посажу его на место, и не пикнет! Плохо, что день начался наперекосяк, с испорченного настроения, причиной которого было уязвленное самолюбие. Макарецв подавил в себе раздражение: глупо расстраиваться из-за ошибки подчиненного. И ведь Макарецв сам уже исправил ее. Он нажал кнопку.

– Анна Семеновна, где машина?

– Леша еще не вернулся из КГБ.

У Локотковой на столе под стеклом лежал квадрат бумаги с надписью: «Тов. Козицкий А.С., Кузнецкий мост, 24, КГБ». Каждое утро она брала из пачки свежий номер «Трудовой правды», засовывала в конверт, надписывала этот адрес и, когда Леша привозил Макарецва, отправляла конверт. Конечно,



данное учреждение, как и любое другое, могло бы подписаться на «Трудовую правду», и утром ее доставлял бы почтальон. Но так было заведено. Не послать ли серую папку с Лешей? Но тут же раздумал. Ведь уже решил *звонить*.

Он положил руку на трубку ВЧ, однако внимание его отвлекла пачка готовых снимков на письменном приборе. Какабадзе утром принес Анечке, та положила их на видное место. Игорь Иванович сгреб фотографии ладонью на середину стола и рассеянно глянул на свое изображение, размноженное двадцатикратно, для выбора. Открыв средний ящик стола, он смахнул туда фотографии, чтобы не мешали. Не до них.

Итак, ход разговора следующий: хотя я и очень загружен, но этот вопрос, для меня второстепенный, не могу оставить без внимания. Ко мне в кабинет подкинута рукопись определенного содержания. Если хотите – поручите разобраться. В конце концов, вашим молодцам за это и деньги платят. Нет – я ее выброшу. У меня более важные партийные и государственные дела.

В боковом ящике лежал красный номерной телефонный справочник. Макарец отыскал в нем четырехзначный номер и снял трубку ВЧ. Но опять положил ее на рычаг. После звонка они приедут сразу. Еще бы: звонит кандидат в члены ЦК. Будут нудно разговаривать с ним, корчить из себя детективов, оторвут от работы на полдня. Потом начнут искать источник. Для этого в редакции появятся финансовые ревизоры, комиссия партийного контроля по работе с письмами трудящихся, слесари и полотеры. Начнут проверять всех людей, которых он сам брал в штат. Попросят взять временно их сотрудников на должность корреспондентов. Телефоны не выборочно – сплошь подключат на прослушивание. А в редакции такое несут! Да если не найдут ничего в столах у сотрудников (а ведь найдут!), все равно постараются доказать, что работали не впустую, будут докладывать в ЦК, трепать его имя. Нет уж, звонить *им* – увольте! Капать на собственную газету, что бы в ней ни произошло, – на это он не пойдет. В чем в чем, а в отсутствии порядочности его не упрекнешь!

Итак, не звонить... Ну, а если рукопись специально положили в виде манка и сами хотят посмотреть, как он будет реагировать? Что, если они знают о его сотрудниках больше

него? Завтра зайдет к нему на прием Беспакбаев из районного отдела: «Кстати, не находили серую папку? Тут к вам, по нашим данным, один антисоветски настроенный читатель пытался пробиться на прием...» Или просто позвонит, поинтересуется...

До чего все глупо! Он ударил кулаком по дверце сейфа, в котором лежала папка. Удар получился глухой. Сейф не качнулся, не задрезжал, никак не отреагировал. А ведь действительно могут позвонить. Что ответить? Тон, конечно, должен быть спокойный, уверенный – это прежде всего.

Загудел телефон. Так и есть.

– Гарик!.. Извини, что я с утра отрываю...

Это был голос жены. Попросила машину. Если ему сейчас не нужно, Леша свозит ее навестить заболевшую подругу.

– Да, конечно, – облегченно вздохнул он. – Пришлю...

Он вызвал секретаршу.

– Анна Семеновна, отправьте Лешу ко мне домой. Меня больше ни с кем не соединяйте, кроме ЦК, ко мне никого, кроме тех, кого сам вызову. Я готовлюсь к пленуму.

– А вопросы по номеру?

– Все решу вечером.

Он смотрел ей в глаза. Не ей ли поручили положить? Слишком примитивно. Может, Леше? Этот годится, но тоже мелок. Вечером в моем кабинете разрешается сидеть «свежей голове» – у селектора. Но подложили-то до того, как я совсем уехал, – то есть мне! И, может, уже заметили, что я брал ее домой? Проклятье! Какая чепуха занимает мне голову!

Макарцев остался один и, потирая щеки, напряженно думал, с кем посоветоваться.

Ягубов – человек не проверенный в совместных делах, а после сегодняшней истории – неприятный. Он, может статься, постарается использовать информацию в своих целях, если не сейчас, так после, и, стало быть, отпадает. Полищук? Он, конечно, никому не скажет. Ну что он может посоветовать со своим комсомольским задором? Тут должен быть найден простой ход. Простой, но точный, как попадание шара в лузу. Иначе – недоверие. А что может быть страшнее, чем недоверие?

Но ведь вовсе не обязательно советоваться именно в редакции. Мысль стала завиваться по более широкой спирали. Пер-

вый, о ком он подумал, был Фомичев. Он выслушает, покурит – и, возможно, скажет дело. Но Фомичева нет. То есть вообще он есть, но сперва надо преодолеть отчуждение, а это потребует времени. Кто еще?

Сравнительно недавно Макарецва нашли школьные товарищи, и он, тряхнув стариной, поехал в Ленинград на вечер встречи, который организовали в банкетном зале гостиницы «Московская». Больше трети класса собрали, остальные исчезли в тюрьмах и на войне. Крепко выпили, стали по очереди, выхваляясь перед пожилыми одноклассниками, рассказывать кто чего достиг. Вышли в деятели, позащищали докторские, кто полковник, кто директор, у многих машины. Один даже до руководства Тем Светом добрался: командовал похоронами ответработников Ленинграда. Но, конечно, выше Макарецва никто не сиганул. Поэтому он говорил скромнее всех. Все материки объехал, повидал экзотики. Вот книжку уговаривают написать, да некогда. Завидовали. Не знают, как тяжела шапка Мономаха. Отужинали тогда, и кто-то тихо запел:

*Уходят, уходят, уходят друзья,  
Одни в никуда, а другие – в князья.*

И, улыбаясь, на него посматривали. Нашли место, где это петь. Им что! А у Макарецва – идеология в руках. Из одноклассников только Володя Безруков ничего не добился, молчал, сидел в потрепанном пиджачке. А ведь за одной партией просидели шесть лет! Безруков блистал эрудицией, одно время учился в университете с Макарецовым, дважды сидел за ревизионизм, был приговорен к расстрелу, после лагерей работал токарем на заводе, сейчас живет по Шопенгауэру: счастье внутри, внешние блага суть ублажение мелкого честолюбия. Макарецв приглашал Безрукова в Москву, обещал помочь. Тот отказался наотрез... Жить по Шопенгауэру – не всякому под силу. Пьяные одноклассники договорились встречаться регулярно и тут же об этом забыли. Какие от них советы?

Зато товарищей по партии у Игоря Ивановича было огромное количество. Со всеми он так или иначе был связан, делал для них, и они – для него. Но в отношениях всегда соблюда-

лись нормы партийной этики: первым звонит, кто ниже по должности. Кто выше, отвечает «я подумаю», кто ниже – «будет сделано». Переступить в личные дела некорректно до тех пор, пока ты твердо на своем месте. Решил посоветоваться, значит, плохи твои дела.

Ни с того ни с сего он пожалел, что нет у него подруги, умной женщины, настоящей, тихой, верной, чтобы посочувствовала. Зинаиде его волнения кажутся чепухой, она человек рациональный. Тайной любви у него нет. Когда желания играли и подогревали поступки, ему было некогда или боялся огласки. А теперь поздновато. Мысль вернулась к тому, с чего он начал, но вертелась по кругу не зря. Теперь он пришел к выводу: самое лучшее – осторожно прощупать, что известно в редакции. Он глянул на сейф, словно хотел убедиться, что папка в надежном месте. У Анны Семеновны загудел зуммер, она вскочила и вошла к редактору.

– Кашин на месте? Ко мне его!

## **12. КАШИН ВАЛЕНТИН АФАНАСЬЕВИЧ**

### **ИЗ АНКЕТЫ ДЛЯ СПЕЦКАДРОВ**

*Заведующий редакцией «Трудовой правды», помощник редактора. Родился 11 декабря 1932 г. в Москве.*

*Русский.*

*Социальное происхождение – рабочий.*

*Член КПСС с 1952 г., партбилет №04465742. Ранее в партии не состоял. Партийное взыскание: выговор с занесением в учетную карточку (1964). Выговор снят (1966).*

*Образование среднее специальное: окончил спецшколу КГБ в 1962 г.*

*Иностранными языками практически не владеет (забыл английский и испанский).*

*Пребывание за границей – о. Куба с 1962 по 1963 г. (служебная командировка).*

*Семейное положение: женат два раза, разведен два раза, детей нет.*

*Невоеннообязанный (временно). Комиссован в 1964 г.*

*Паспорт III ЕИ №392068, выдан 39 отделением милиции г. Москвы 18 ноября 1964 г. Прописан постоянно по адресу: 111250. Москва, Краснокурсантский проезд, д. 16. кв. 21. Тел. 267-02-44.*

*Дополнения к анкете: рост 171 см, глаза зеленые, цвет волос – блондин, имеется седина.*

*Общественная работа: член редколлегии стенной газеты «Трудовой правдист»; член правления Всесоюзного общества филателистов.*

## ПАРАБОЛА ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВИЧА

Кашин всегда здоровался левой рукой, и все в редакции к этому привыкли и не обижались. Встречным он приветливо улыбался, просьбы выполнял охотно, приговаривая простецкие шуточки-прибауточки, легко все успевал.

Сперва думали, что с правой рукой у него не в порядке (прихрамывает же он на правую ногу). Оказалось, однако, что в правой руке зажата связка ключей. Ключи были нужны ежеминутно – от телетайпной, от склада, от сейфа. Какой ключ понадобится, неизвестно, но обязательно срочно, и класть в карман некогда. К счастью, Валентин был левшой и в документах расписывался левой. Говорил, что труднее подделывать. Чтобы поздороваться правой, ключи он перекладывал только для Макарецва и Ягубова – и то не из подхалимства, а из чувства уважения к руководству.

По штатному расписанию Макарецову полагалось пять помощников: первый, третий и четвертый – замы ответственного секретаря, посменно наблюдавшие за выпуском газеты, пятый – завредакцией, а фактически завхоз, и, наконец, Кашин, второй помощник – начальник отдела кадров. Однако по традиции второй помощник выполнял одновременно функции пятого и назывался завредакцией, хотя прежде всего, конечно, являлся кадровиком. Зарплата же пятого делилась по разрешению райфинотдела между директором зимней дачи в Переделкине для однодневного отдыха членов редколлегии (50 процентов) и двумя старыми большевиками (по 25 процентов), которые числились якобы бесплатно работающими в подмосковном колхозе «Заря коммунизма», благодаря чему газета не

отрывала сотрудников для работы в поле, но всегда показывала пример другим организациям. Это была хитрость Макарецва, контроль за которой также осуществлял Кашин.

Он знал в редакции каждый уголок, даже женский туалет, куда ему было тоже необходимо регулярно заходить по долгу службы – то для проверки правильности подвески зеркала, то для составления акта на текущий (в прямом смысле) ремонт унитазов.

Если завредакцией не сидел с документами в своем маленьком кабинетике (стол, сейф, шкаф и место ровно для одного посетителя), не бегал, припадая на правую ногу, по редакции, побрякивая ключами, и не ездил с Лешей на редакторской «Волге» покупать по безналичному расчету кубок победителям велогонки вокруг Кремля на приз «Трудовой правды», значит, он сидел в машбюро и в который раз рассказывал сердобольным машинисткам о неудачах семейной жизни. Исповеди завершал один рефрен:

– Вот и верь после этого женщинам!

Машинистки соглашались, хотя замечали, что бывают отдельные случаи, когда и мужикам верить нельзя. Но в данном контексте, конечно, бабы кругом виноваты. Такого человека бросали: он и не пьет, и хозяйственный. С женщинами ему упорно не везло, в остальном же на свою жизнь он не жаловался, даже относился к ней с юмором, хотя ни с кем этим юмором не делился.

В школьные годы больше всего любил он играть во дворе в хоккей. После седьмого класса отец привел Валентина на свой завод. Завод был военный, и после проверки Валентин стал учеником радиомонтажника. Он вскрывал американские радиоприемники, отпаивал детали и сортировал их по характеристикам, чтобы использовать в советской продукции. Вступил он в комсомол, потом, уже монтажником восьмого разряда, в партию. Предлагали сделать мастером, но он отказался: заработок будет меньше, а мороки – до ночи, и еще отвечай за украденные детали.

Неожиданно его вызвали в спецотдел. Там сидели двое незнакомых среднего возраста. Они поговорили с ним о жизненных планах и, поглядев друг на друга, предложили учиться в спецшколе с последующей работой за границей.

– Нам нужны зрелые люди, понимающие что к чему. И в радиотехнике вы разбираетесь. Рекомендации у вас хорошие. Жена возражать не будет?

– Партия велела – комсомол ответил «есть», как говорится.

– Все же посоветуйтесь...

Он тогда был первый раз женат на копировщице из конструкторского бюро Зое, но жили с обидами. Зоя дулась по три дня без видимой причины. И Валентин даже обрадовался, что придется расстаться. Отец, с которым он советовался, сказал:

– Они дают оклад хороший и квартиру вне очереди – это главное. Второй раз не предложат, а на заводе сгниешь, как я.

Училище готовило кадры для технической работы в легальных советских учреждениях за границей. Кормили хорошо, натаскивали в разговоре на испанском и английском, шифровальное дело осваивалось легко. Почти до конца проучившись, он вдруг нелепо вышел из строя: во время тренировки по стрельбе в полной темноте на звук пуля рикошетировала от стального листа и задела ему колено, раздробив чашечку. Он лежал в госпитале, дважды оперировали; но хотя и остался хромым, с военного учета не был снят.<sup>1</sup>

Валентин подлежал отчислению с подпиской о неразглашении полученных им знаний под уголовную ответственность. Выручил его Фидель Кастро, который как раз в это время решил, что его временное революционное правительство будет называться постоянным. В советское посольство на Кубу в связи с увеличением там числа наших военных специалистов и намечаемым строительством баз межконтинентальных баллистических ракет, нацеленных на Соединенные Штаты, срочно потребовались кадры для спецсвязи. Младший лейтенант госбезопасности Кашин в виде исключения был направлен на сидячую работу в Гавану.

Счастлив он был недолго. В город поглядеть на красивых кубинок сотрудников спецслужбы выпускали редко, только группой и под охраной вооруженного гебиста. Денег давали

---

<sup>1</sup> Согласно законодательству, все инвалиды, в том числе имеющие число рук или ног менее нормы, подлежали периодической переаттестации медкомиссией райвоенкомата для проверки, не отрасли ли у них новые конечности. Отменено в середине 80-х гг.

мало. Работы тоже почти не было. Шифровальщики сидели в сырой и душной комнате без окон. Чтобы держать в постоянной готовности спецсвязь, шифровальщики тренировались, зашифровывая отрывки из Шолохова и других замечательных советских писателей. А заместитель начальника шифровой группы Центра подполковник Виноградов сличал в Москве расшифровку с оригинальным текстом, не прощая ни единой ошибки.

Однажды после нагоняя за мелкие неточности (в которых был виноват Шолохов, стремившийся выражаться слишком художественным языком) Кашин в сердцах написал в журнале регистрации шифровок сбоку и совсем мелко: «Виноградов – кадум». Через день Валентин про это забыл, но подполковник Виноградов вскоре прилетел на Кубу с инспекционной проверкой. Слово «кадум» он сумел разобрать без шифровальщика, прочитав его от конца.

В Москву младший лейтенант Кашин был доставлен тем же рейсом ИЛ-62, который вез подполковника. Виноградов поставил вопрос об удалении Кашина В.А. из органов разведки и исключении из партии. Пострадал и московский напарник Кашина шифровальщик Утерин, которому, как выяснилось на очной ставке, Кашин передал характеристику подполковника незашифрованной, и ее могли перехватить разведки империалистических держав. Кашина и Утерина лишили офицерских званий, права работать за границей. Но, учитывая чистосердечное раскаяние обоих, ограничились строгими выговорами по партийной линии и перевели в десятый отдел «Семерки» – 7-го оперативного управления – в службу внешнего наблюдения.

Однако в службе этой Кашин не проработал ни одного дня. Когда новый его начальник увидел, как Валентин шагает к столу, он сказал, не скрывая раздражения:

– Только хромых топтунов мне не хватало.

Ниже топтунов должностей в органах не имеется, и его направили на гражданскую кадровую работу в редакцию «Трудовой правды». Он жалел, что удален из органов: год стажа там засчитывался за два, а работа не пыльная. Утешало только то, что однокомнатную квартиру он уже получил, а скромная прибавка к зарплате регулярно продолжала идти. Обстоятельства изменятся, и он туда вернется.



Зоя оставила Кашина, еще когда он учился в спецшколе, и вышла замуж за инженера, поэтому, вернувшись с Кубы в Москву, Кашин женился на своей соседке. Лидия оказалась намного старше его и сперва всем была довольна, но потом стала жаловаться, что не видит от него ни возможности хорошо заработать (одни только расходы на марки да на аквариумы), ни радостей, на которые он ей намекал в устных беседах. Не поистрепался ли он на Кубе, где, говорят, Фидель Кастро разрешает свободную любовь? И если деньги за любовь там сдают государству, то хоть удовольствие оставляют себе. Эти взгляды шли вразрез с убеждениями Валентина. Даром или недаром, но Лидия стала изменять ему безо всякого стеснения, и он предпочел расстаться, поскольку взгляды на счастье у них разные, не говоря уж о кровати жизни.

С Кубы Валентин привез небольшую коллекцию красивых почтовых марок и, снова начав холостую жизнь, стал собирать их с двойной энергией. В Обществе филателистов его уважали как работника печати и выбрали в правление. Кроме того, с Кубы же был им привезен аквариум с полосатыми тропическими рыбками. Он кормил рыб, приучал, строил на дне гроты. Когда он прочитал в журнале, что смотреть на рыб полезно для повышения производительности труда, он завел аквариум на службе. О характере, повадках и размножении рыбок он говорил с охотой, показывал, как рыбки приучены спешить на корм. Насыпая из пакетика сухую дафнию, Валентин даже ненадолго клал на стол ключи, чтобы освободить вторую руку.

Злые языки в газете говорили, что для завредакцией рыбки важнее людей. Ведь рыбы – это фауна, часть природы, которую надо любить и беречь, а люди – всего-навсего кадры. Но это было преувеличение. К сотрудникам редакции Кашин относился не хуже, чем к рыбам.

### **13. У КАЖДОГО СВОИ ФУНКЦИИ**

– Вызывали, Игорь Иваныч?

Готовое к улыбке, круглое, доброе лицо Кашина просунулось в приоткрытую дверь.

– Присядь, Валя.

Редактор дружески пожал ему руку. Пока Кашин садился, Макарецв разглядывал его, будто знакомился впервые, обдумывая, как лучше вести разговор. Валентин ходил в неизменных темных брюках и американском клетчатом пиджаке, привезенном с Кубы и уже слегка поизносившемся. На нем всегда была одна, но чистая финская белая нейлоновая рубашка с красными запонками. Он стирал ее сам каждый вечер и сушил в ванной на плечиках. Галстук с мертвым узлом застегивался крючком сзади, под воротником. Узел чуть сбился набок, и, севши, Валентин его подправил, со вниманием ожидая, что спросит редактор. Лицо его, простое и открытое, располагало к полной откровенности. Такой человек просто не смог бы хитрить, если б и захотел.

– Как дела с машбюро? – спросил Макарецв, ничего не придумав.

– Вы имеете в виду приказ о шрифтах? – Кашин пригладил волосы, откашлялся, готовый доложить. – Ну и возни было! Пока все документы проверил, семь потов спустил. Все закончил. Я бы не ждал, отвез, но ваша подпись требуется... Вот тут...

Валентин раскрыл скоросшиватель и положил перед редактором стопку листов.

– Почему так много?

– На каждую машинку отдельно. Для экспертиз, я полагаю. Чтоб порядок был...

– Оставь, я позже подпишу... Вот что... – он испытующе смотрел на Валентина. – Договоренность нашу не забыл?

Уже давно Макарецв, уверенный в том, что Кашин собирает в редакции информацию, просил его ненавязчиво присматривать за поведением сотрудников: как себя ведут в бытовом отношении, кто злоупотребляет выпивкой. Ведь мы на виду, центральная газета, так чтобы у нас внутри все было в порядке. Задание партийное, но между нами. Подобный метод Игорь Иванович в принципе отрицал категорически, но это была дипломатия. Завредакцией все равно обязан был заниматься этим помимо желания редактора. К тому же Макарецв мог хотя бы держать руку на пульсе, чтобы в случае чего успеть вмешаться, предотвратить перегибы. Прямо потребовать сообщать ему, редактору, о чем Кашин докладывает *там*, нельзя. А вот попросить кадровика быть в курсе личных дел сотрудни-

ков, то есть способствовать укреплению трудовой дисциплины, – просто обязанность хорошего руководителя. Кашину ведь, в принципе, тоже хочется быть во взаимопонимании с редактором.

– Вы имеете в виду насчет обстановки? – уточнил он. – Значит, так. Отдельные случаи выпивки в служебное время имеют место. Я вызывал, предупреждал. Меры без вас не принимал. Пьют, правда, без шума, а повод всегда найдется: то день рождения, то еще чего. Особенно, конечно, молодежь в цехах – наборщики, верстальщики. Но у этих свое начальство, я его предупреждаю о каждом случае. А в редакции тоже есть... Теперь насчет аморалочки, так сказать... Ухаживают, конечно! А вот разговоры!

– Разговоры?

– Всегда есть, Игорь Иванович. Сейчас вроде потише. Или все уже высказали... Я, правду сказать, проинформирован, что ходят кое-какие материалы, связанные с Солженицыным. «Раковый корпус», кажись, и мелкие рассказы называют. Еще стенограммы судебных процессов... Этого добра много при обысках изымается. Но у нас не видел... Анекдоты рассказывают, но о бабах больше, это вас не интересует...

– Нет, отчего же?

– Рассказал бы, да у меня дара их рассказывать нету. А вот политический один свежий про Ленина... В отдел комвоспитания к Якову Маркычу старый друг заходил, гривастый такой, фамилия ему Сагайдак, на весь отдел рассказывал. К какой, дескать, дате американцы свой «Аполлон» на Луну готовятся запускать...

– К какой же?

– К столетию со дня зачатия Владимира Ильича.

– Неужели девять месяцев?

– Точно! Сам по календарю проверил!

– Да... – Игорь Иванович вздохнул. – Все-таки недостаточно мы с тобой работаем над повышением идейно-политического уровня сотрудников, как считаешь?

Ответа не последовало, но все равно это верный ход: сделать завредакцией не просто доверенным лицом администрации, а соучастником недоработок, чувствующим ответственность не только за слушанье анекдотов, но и за их рассказыва-

ние. Макарец как бы уравнивал в этой ответственности Кашина с собой.

– Значит, машинописную литературу никто в редакции не читает? – в упор спросил он.

– Никто. Уж я бы точно знал! Это сейчас самое... Я хочу сказать, для органов.

– Хорошо, что ты, Валя, это понимаешь. Мне обещали премии ко Дню печати, и нужно заранее решить, кому давать. Чтобы кандидаты были стопроцентные. Подработай списочек...

– Будет сделано, Игорь Иванович.

– Что касается премии тебе самому, то не беспокойся.

– Что вы, Игорь Иванович!

– Тебя я включу в список с администрацией. Кстати, – Макарец сменил тему и вновь умело, со вторым расчетом, – как мой новый зам справляется с делами? С сотрудниками нашел общий язык? Если что, помочь надо, подсказать. У нас в газете свои традиции, пусть привыкает, чтобы не наломать дров...

Важно, чтобы кое-что до Ягубова дошло через Кашина, как бы минуя главного редактора.

– Ягубов – наш человек, – успокоил Макареца Валентин.

– У него хватка крепкая. Знакомится. Полдня читал личные дела. Говорит, надо знать, с кем имеешь дело...

Все теперь говорят «наш человек», и все вкладывают свой смысл.

– Это правильно, – заметил Макарец вслух. – Надо знать функции и способности каждого. У меня все!

Валентин поднялся со стула, кивнул, молча вышел, стараясь не волочить ногу. Макарец подождал, пока дверь закрылась, достал из сейфа серую папку и, открыв рукопись на одной из первых страниц, решил сличить шрифты редакционных машинок, собранные Кашиным, с текстом маркиза де Кюстина. Он не знал, как это делается, и сам придумал способ: находить у каждой машинки изъян – поломанную или подпрыгивающую букву и сверять эту букву с такой же в рукописи. С какими буквами лучше всего это сделать, подсказала таблица, аккуратно заполненная Кашиным.

Редактор перебрал все листки, на которых в рамочках требовалось выбить определенные буквосочетания, но подходящего шрифта не подобрал. Значит, рукопись перепечатывали

не у него в машбюро. Это уже легче. Спрятав папку в сейф, Игорь Иванович подписал таблицы там, где было обозначено «Подпись руководителя предприятия (учреждения)» и вызвал Анну Семеновну, чтобы та отнесла листки Кашину. Макарецв понял, что зря успокоился. Раз Кашин не знает о рукописи (вряд ли скрыл), то она может быть подброшена не Московским управлением КГБ, а из центрального, что гораздо хуже. В редакции наверняка есть еще несколько человек, осведомляющих органы независимо и выполняющих свои задания, но Макарецв, как ни пытался выяснить кто именно, точно не знал.

Большие напольные часы со сверкающим маятником, стоящие в углу кабинета, пробили полдень. Еще немного – и будут сутки, как эта чертова папка лежит у него, а он так и не придумал что предпринять. А *там* придет в голову мысль, что он дал ее читать, или испугался, или растерялся. Если спросят, нужно хотя бы заготовить достойный ответ. Кому в этом щекотливом вопросе довериться? И сделать это немедленно, пока не поздно. Редактор решил, что дельный практический совет он может получить только у одного человека, и не где-нибудь, а у себя в редакции, – у Раппопорта.

Не пойти ли самому к нему в отдел? Вызвать в коридор и поговорить. Но такой контакт привлечет нежелательное внимание. Лучше здесь – обычный производственный разговор. Тут же Макарецв подумал в который раз, а не прослушивается ли его кабинет. Вряд ли, однако, станут так просто прослушивать своих, преданных партии людей. Пока это не может повториться. Поколебавшись, вызвать ли Раппопорта через Анну Семеновну или соединиться по селектору, редактор поднял трубку городского телефона.

– Яков Маркыч, – с неловкостью, которую (глупо, конечно!) не смог скрыть, произнес он. – Ты бы не мог подняться ко мне?

## 14. РАППОПОРТ ЯКОВ МАРКОВИЧ

### ИЗ АНКЕТ, ЗАПОЛНЕННЫХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

*Должность: исполняющий обязанности редактора отдела коммунистического воспитания трудящихся газеты «Трудовая правда».*

*Литературный псевдоним: Я.Тавров.*

*Родился 13 (26 по новому стилю) января 1917 г. в Бердичеве.*

*Национальность: индейский еврей.*

*Социальное происхождение: служащий.*

*Партийность: член КПСС с 1958 г. Партбилет №61537813.*

*Состоял ли ранее в КПСС: состоял с 34-го по 38-й и с 44-го по 51-й. В других партиях не состоял. Колебаний в выполнении линии партии не имел.*

*Преследованиям до 1917 г. не подвергался. В войсках белых правительств не служил. Преследованиям после 17-го подвергался с 38-го по 41-й и с 51-го по 56-й. Полностью реабилитирован.*

*В плену или интернирован в период Отечественной войны не был.*

*За границей не был. Родственников за границей нет. Знание иностранных языков – немецкий (чтение и возможность объясниться).*

*Правительственные награды: медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Японией».*

*Военнообязанный, состав офицерский, младший лейтенант. Годен к нестроевой службе.<sup>1</sup> Военный билет № ТК 1683774.*

*Партийная и общественная работа: член партийного бюро редакции «Трудовой правды», член месткома редакции (культмассовый сектор).*

*Семейное положение: женат. Жена Рабинович Ася Исааковна. Сын Константин, рождения 1947 года.*

*Паспорт III НМ №844283, выданный 104 о/м г. Москвы 18 июня 1956 г. Прописан постоянно по адресу: Москва, 3-я Парковая ул., д. 59, корпус 3, кв. 94. Тел. 269-13-44.*

## БЕСКОНЕЧНЫЕ ПАДЕНИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА

Вы, может, и не поверите, но абсолютно все ответы на вопросы из доброй сотни, а может, и большего количества анкет, которые Якову Марковичу приходилось заполнять, он

---

<sup>1</sup> На второй день первой мобилизации должен явиться в Наро-Фоминск, в райвоенкомат, а в случае его уничтожения – в г. Волоколамск, средняя школа. (Вклейка в военный билет Я.М.Раппопорта.)

помнил назубок. Это было очень важно, чтобы, не дай Бог, в каком-нибудь пункте случайно не описаться.<sup>1</sup> Он утверждал, что эти ответы каждый советский человек должен помнить и после кончины, поскольку неизвестно, берут ли русского, не говоря уже о еврее, без анкеты в ад, а уж в рай, так это совершенно точно, нет.

Хорошенько помнить свои записи в анкетах ему приходилось еще и потому, что ни на один вопрос, даже вовсе простой, Яков Маркович не мог ответить «да» или «нет». В каждом «нет» было все-таки немножечко «да», а в каждом «да» – какой-то процент «нет». Наиболее истинным он считал то, что было написано в предыдущей анкете, а об остальном мог только догадываться, известно остальное или неизвестно в каких-либо организациях лучше, чем ему самому. С уверенностью он мог лишь указать свой нынешний псевдоним, хотя и тут, конечно, имелся один процент туда и один сюда.

Его мама Сарра Раппопорт была родом с Украины, из самой что ни на есть черты оседлости. Она рассказывала сыну, что в молодости, когда за ней, активным членом РСДРП, после ссылки нелегально проживавшей в Петербурге, стала следить полиция, она уехала в Берлин и там познакомилась с настоящим немецким коммунистом. Возможно, он тоже был еврей, но может быть, что и нет. Сарра Раппопорт вспоминала, как в берлинской синагоге, по настоянию ее родителей (отец Сарры имел часовую мастерскую), раввин сделал обрезание ее мальчику 13 января 1917 года и записал его рождение этим днем в книге под именем Янкель.

– И вот с тех пор, с легкой руки раввина, – жаловался Яков Маркович, – мне делают обрезание все кому не лень.

Получая в 33-м в Москве паспорт, он записался Яковом. Бывшего своего мужа Сарра звала Марком, товарищи – Мером. Настоящее его имя никогда не употребляли. В синагоге Янкеля записали по фамилии отца, но пока мальчик был маленьким, отца у них в доме не поминали; он остался в Германии, а Сарра, вернувшись после революции в Россию, боялась, что сын проболтается! Она предполагала, что раз его отец не

---

<sup>1</sup> Сам Яков Маркович в этом слове почему-то всегда ставил ударение в начало, хотя имел в виду исключительно истечение слов.

пишет, значит, он в подполье. И поэтому фамилию сыну она написала свою.

Однажды к ним пришел иностранец. Мать в это время работала машинисткой в Совнарком. Говорил он почти по-русски, передал привет и посылку. Он уговаривал мать уехать к отцу, который, оказывается, давно переселился в Соединенные Штаты и имеет там свой маленький бизнес.

– Возможно, он забыл, что он коммунист! – разнервничавшись, кричала Сарра на гостя. – Но передайте ему, что я своих убеждений не переменю ни за какие коврижки!

– И не надо менять, – уговаривал ее американец. – Вы будете коммунист у нас в Америка. Здесь коммунист много, у нас мало. И потом... Он все-таки отец на ваш ребенок... Он вас любит!

– Если любит, пускай приезжает сюда строить коммунизм!

Больше Яков ничего о своем отце не слышал, не интересовался им во избежание недоразумений, и в анкетах писал, что родственников за границей нет. При получении паспорта, не имея свидетельства о рождении, вместо Берлина назвал другой хороший город – Бердичев, потому что он тоже начинался с Бер. И, как впоследствии сам убедился, он поступил весьма дальновидно. Что из документов он мог предъявить в милиции? Только старый паспорт Сарры, с которым она до революции ездила за границу и обратно. И когда предъявляешь какой-нибудь документ, сразу начинается путаница. В паспорте было записано: «Вероисповедание иудейское».

– Это кто же такая твоя мать? – спросил начальник милиции.

– Еврейка.

– А из чего это, спрашивается, видно?

– Иудеи – это евреи.

– Не врешь? – начальник смотрел недоверчиво.

– Честное комсомольское!

– А разве «иудей» хуже, чем «еврей»?

– Вообще-то нет, не хуже...

– Давай тогда для точности запишем «иудей».

Паспортистка, выписывая это красивым шрифтом, написала вместо «иудей» – «индей». А когда он удивился, успокоила:



– Да тебе не все ли равно, сынок? У нас все нации равны.

Таким образом, можете себе представить, что Яков Маркович Раппопорт не был ни Яковом, ни Марковичем, ни Раппопортом. Он родился неизвестно точно когда и абсолютно точно не в Бердичеве. Он не примкнул ни к одной из существующих национальностей, и ему оставалось стать в СССР родоначальником и представителем новой нации – индеев.

Когда в 35-м товарищ Сталин изучал после убийства товарища Кирова представленные ему списки ответственных и не очень ответственных работников аппарата, отмечая некоторых галочками, возле Сарры Раппопорт он поставил синим карандашом точку, задумался и даже пососал трубку. Сарру он знал очень хорошо. Они часто виделись до революции. Он принимал ее за грузинку и слегка за ней ухаживал. Тогда она была почти девочка, тоненькая, как виноградная лоза, с черной косой, а в 19-м вернулась в Россию после родов похорошевшей, разве что самую малость располневшей. Сталин встретил ее в ЦК, по-товарищески положил руку на плечо и предложил работать у него в Рабкрине.

– Хорошие кадры пад нагами не валяются, – сказал он.

Сарра Раппопорт стала машинисткой у заместителя председателя Рабоче-крестьянской инспекции Варлаама Аванесова, работавшего в тесном контакте с Дзержинским. Своего заместителя Сталин, однако, не любил за его бесконечные возражения, без которых тот никак не мог обойтись. Поговаривали, что к этому примешивалась и нелюбовь грузина к армянам вообще, но это была неправда. Пристроив Сарру к Аванесову, Сталин стал приглашать ее к себе на дачу в Барвиху, гулял с ней в лесу. Однажды на тропинке, когда Сталин как бы случайно положил Сарре руку пониже талии, им навстречу попался Владимир Ильич. Он остановился и со свойственной ему прямоотой и лукавством пригрозил пальцем:

– По-моему, у председателя Рабкринна с секретаршей Аванесова мелкобуржуазные отношения, а? Надо натравить на них Рабоче-крестьянскую инспекцию!

Поняв, что просто так не получится, Сталин сделал ей предложение, обещая в случае согласия развестись с женой. Но Сарра почему-то ему отказала. Больше Сталин ее на пикники не приглашал.

– Это надо подумать! – размышлял позже Яков Маркович. – Ведь Сталин мог меня усыновить! И я бы звал его «товарищ Папа».

Поставив синим карандашом точку, Сталин первым делом вспомнил, что у Сарры Раппопорт в молодости была очень красивая кожа. А затем – нанесенную ему обиду. И вспоминал Аванесова, который к этому времени умер. Аванесов был очень эгоистичным человеком. Когда в 18-м к нему пришел комендант Кремля Мальков и спросил, что делать с Фаней Каплан, которая ранила Ленина, Аванесов сам дал распоряжение ее расстрелять, даже не посоветовался. Не иначе как он хотел выслужиться перед Лениным, а его, Сталина, оставить в стороне. Между прочим, Фаня была еврейкой. И кажется, Сарра говорила, что до революции была с ней знакома. Товарищ Сталин еще немного подумал, поставил в списке возле фамилии Раппопорт галочку и наискосок приписал: «Не связана ли с покушением на Ленина?»

Яшину маму арестовали. Из Лубянской тюрьмы она написала Сталину возмущенное письмо: «Коба! Я требую, чтобы ты немедленно меня освободил. Ведь это же гнусно – сводить личные счеты с женщиной!» За слова «гнусно» и «требую» Сарру Раппопорт расстреляли.

В это время Яша Раппопорт учился себе на ваятеля. Он мечтал стать скульптором-монументалистом. Его дипломная работа называлась «Ленин и Сталин в Горках». Сталин приехал, они сидят на скамье, и Ленин вдохновенно рассказывает о будущем, а Сталин вдохновенно развивает положения Ленина. В этом была совсем маленькая историческая натяжка: в период времени, остановленный Раппопортом для вечности, Ленин был уже немым. Но зато с точки зрения социалистического реализма все было правильно.

В институте Якову удалось скрыть, что его мать посадили, и все сошло благополучно. Жаль только, что он, сын революционера и революционерки, писать об этом не мог, сперва как сын заграничного отца, потом как сын репрессированной матери, а впоследствии – чтобы не упрекнули, что раньше скрывал правду. Яков Маркович не хуже других усвоил, что анкета есть донос на себя, и не спешил вписывать подробности. Но перестал он спешить, уже когда обжегся.

Из института он был направлен ваять стометровую скульптуру Ленина для крыши Дворца Советов. Дворец строился на берегу Москвы-реки, на месте взорванного храма Христа-Спасителя. Скульпторы рабоче-крестьянского происхождения стали подтрунивать над индейцем Раппопортом, в результате чего в Якове Марковиче первый и последний раз в жизни разыграло национальное чувство. И он подал в милицию заявление об изменении своей национальности, чтобы в паспорте было написано «еврей», но если это нельзя, то был согласен на любую другую национальность, лишь бы такая существовала.

– Как это – на любую другую? – спросил начальник отделения милиции. – А в действительности ты кто?

– Еврей, жид...

– Точно – еврей?

– Да вы на меня взгляните.

Ему пообещали выяснить и дали заполнить новую анкету. Ночью за ним приехали. На допросах он узнал, что занимался шпионажем в пользу Индейской республики. Его даже не били. Ему дали отдохнуть от пищи и воды два дня, а потом покормили селедкой. Еще через два дня, скучая по воде, он вспомнил, что действительно является резидентом службы госбезопасности буржуазной республики Индия. Яков Маркович боялся только, что заставят показать Индею на карте. Но этого не потребовалось.

– Ты не резидент, – поправил его следователь, – а завербован резидентами, понял?

Это все-таки было лучше. Остальные скульпторы из мастерской, как выяснилось на следствии, специально ваяли тяжелую скульптуру. Дворец строился на болотистом месте, и Ленин должен был рухнуть на Дом правительства, стоящий напротив. Так что Яков Раппопорт легко отделался. Приговоренный ОСО без суда, получил он причитающиеся ему за измену Родине десять лет, усугубленные высказываниями против дружбы народов Советского Союза (назвал себя жидом), и из Лубянской тюрьмы был отправлен в Краснопресненскую пересылку, а оттуда – в пересыльный лагерь на Второй Речке под Владивостоком.

В лагере Якова Марковича испугали сразу и надолго. В первый же день, когда он стоял в очереди за пайкой, на него

навалили что-то тяжелое. Раппопорт не удержался, а сзади загоготали. Упал на него человек, затвердевший на морозе, которого держали сзади двое уголовников, но не удержали. Раппопорт поднялся и поддерживал мертвого до самого окошка раздачи, из которого, не разобравшись, придурки выдали неживому человеку пайку, ловко подхваченную уголовниками.

Два дня неживой получал рацион, а на ночь уголовники его прятали. Раппопорту стало казаться лицо мертвого зека знакомым. Он не сомневался, что это еврей. Предположение подтвердилось на третий день, когда охрана обнаружила труп и по номеру выяснила фамилию. Это был зека Осип Мандельштам. Поговаривали, что его убили уголовники с благоволения начальства. Мандельштам-поэт и этот Мандельштам слились для Якова Марковича в одно целое не сразу. Раппопорту оставалось только жалеть, что познакомились они немного поздно.

О том, что он сидел вместе с Мандельштамом, Яков Маркович рассказывал сам, но, возможно, этого не было, или было не совсем так, или то был другой Мандельштам, однофамилец великого русского поэта. Ибо талантливый актер Раппопорт всегда немного играл в своей собственной жизни и немного переигрывал.

Конечно, он хотел остаться жить и искал в лагере лучшие пути, учитывая реальные возможности. Он оформлял стенную газету «За ударный труд», писал в нее заметки, по его собственному выражению, о том, как труд ударял по зекам. Кроме того, он вылепил из глины бюст начальника лагеря, но глина треснула, и начальник потрескался.

Однажды зеки мылись в бане. Раппопорт оставался последним, весь в мыле. В это время в баню запустили женщин. Спасло Раппопорта только то обстоятельство, что он растерялся. По инерции шевеля руками, будто моется, он сидел весь в мыле, когда из двери крикнули, что началась война. Если бы не мыло, Яков Маркович мог обзавестись гаремом. И мог бы в нем геройски погибнуть, обнаружив его изголодавшиеся женщины.

Из лагерных воров комплектовали штрафные батальоны на фронт. Как политический, Раппопорт не мог заслужить такого доверия, но молодых воров до нормы недобрали. И по-

сколько личный представитель штаба Рокоссовского знал, что штрафбатчики, обвешенные бутылками с горючей смесью, будут брошены под немецкие танки, его больше интересовали не их взгляды, а как они умеют бегать. Политических строили в шеренги и давали команду: «Бе-егом марш! Яков Маркович прибежал к финишу в своей шеренге третьим, брали же по трое, и он попал на фронт.

Рядовой Яков Раппопорт получил сто граммов спирта внутрь и литр керосина в двух бутылках в руки, лег под танк и ждал. Но танк, на него прущий, остановился в двух метрах: у танка горючее кончилось чуть раньше, чем у Раппопорта. Яков встал и хотел идти к своим, но был пристрелен нашими автоматчиками, которые шли шеренгой сзади для подбадривания штрафников.

И снова Раппопорту повезло: у него оказалось всего два легких ранения, и его даже не отправили из полевого госпиталя в тыл. Хирург тоже оказался евреем и велел выпустить в госпитале газету «За снова в строй!». Газету эту увидел лечившийся тут уколами от случайно прихваченной легкомысленной болезни адъютант начальника Политуправления фронта. От адъютанта требовалось подготовить статью для газеты «Правда». Лежа на кровати, с гарантированным трехразовым питанием, Раппопорт написал эту статью за один день, а уже через неделю читал ее в «Правде» за подписью Рокоссовского.

Якова должны были вернуть на передовую, но адъютант начальника Политуправления прикинул в уме, что, возможно, начальству понадобится писать и другие статьи. Выяснив, что рядовой Раппопорт понимает по-немецки, он забрал его с собой в штаб фронта. Старую вину списали. Раппопорт был направлен в распоряжение Седьмого отдела.<sup>1</sup>

В кабине звуковки место диктора оказалось рядом с шофером. Машина, оснащенная рупорами, подъезжала возможно ближе к границе, маскировалась на опушке леса и призывала немцев сдаваться, поскольку война для них все равно проиграна. Голос бывшего зека, наймита контрразведки буржуазной республики Индея, был хорошо слышен в наших частях и при

---

<sup>1</sup> Седьмой отдел Политуправления фронта – по работе среди войск и населения противника.

попутном ветре долетал даже до врага. Но в анкете знание иностранного языка было указано не совсем точно: инструктор по разложению войск противника Яков Раппопорт говорил на немецком с некоторым акцентом. И немцы в окопах воспринимали его призывы как юмористические передачи, что повышало боевой дух немецкой армии.

На территории, оккупированной врагом, Раппопорт тоже случайно все-таки оказался, хотя в анкетах этого не писал. Части Рокоссовского отступали для выравнивания фронта, а МГУ<sup>2</sup> застряла ночью на глинистой дороге из-за дождя. В маленькое окошко, такое же, как в воронке, Яков Маркович увидел, что он окружен взводом немецких солдат. К счастью, они были под хорошим градусом. Раппопорт включил громкоговорители на полную мощность:

– Kameraden! Achtung! – торжественным голосом произнес он, стараясь говорить без акцента. – Wir sind von der PK. Sonderauftrag des Oberkommandos. Eingehender darf ich nicht sagen. Wir müssen noch heute im Rücken der Iwans sein... Doch diese verdammten Landstrassen! Los! Greift alle zu! Feste! Der deutsche Soldat muss mit dem russischen Strassendreck fertig werden. Hei-Ruck!..<sup>3</sup>

Мотор взревел, солдаты стали подбадривать друг друга криками. Колеса вязли в бурой жиже, но до булыжника было недалеко. Почувствовав под колесами твердую основу, Раппопорт опять взял в руки микрофон:

– Danke, Kameraden! – крикнул он. – Sieg heil!

– Heil! – закричали солдаты, выбросив вперед руки.

Домой вернулись как ни в чем не бывало. Никто не заметил их отсутствия, а сами они об этом не распространялись. Им все равно бы не поверили, и пришлось бы Якову получить от СМЕРШа еще червонец за новую измену Родине.

Честно говоря, многим в редакции эта история кажется неправдоподобной, но так ее рассказывал Яков Маркович, а

---

<sup>2</sup> Мощная Говорящая Установка. Пользуясь случаем, автор приносит благодарность Л.Копелеву за консультацию в данной области.

<sup>3</sup> Товарищи! Мы из роты пропаганды. Особое задание Верховного командования. Подробнее я не имею права сказать. Мы должны еще сегодня быть в тылу у Ивана... Но эти проклятые дороги! Давай! Все беритесь! Крепче! Немецкий солдат справится с русским дорожным дерьмом! Раз-два!..

кому же еще верить, если не ему? За год до великой победы в качестве награды его восстановили в партии.

Всю войну он переписывался с однокурсницей Асей Рабинович, с которой у него никогда ничего не было, но которая носила ему передачи после ареста. Асю эвакуировали на Алтай, и она жила в Бийске, сделавшись учительницей рисования в школе. После конца войны с Германией части, в которых воевал Яков Маркович, перебросили на Японский фронт. Довезли их туда накануне окончания и этой войны, а вскоре демобилизовали. С Дальнего Востока он поехал, конечно, в Бийск, но по дороге, в Барнауле, встретил однокурсника – Васю Купцова, ставшего тут главным режиссером драмтеатра. Он помог Якову Марковичу устроиться в краевую газету «Алтайская правда». Ася переехала в Барнаул, и они, так сказать, поженились.

Фронтовик Раппопорт ходил в офицерском кителе без погон и быстро вырос в газете до заведующего отделом литературы и искусства, когда началась борьба с безродными космополитами. Яков Маркович охотно писал статьи об этих низкопоклонниках перед Западом.

– Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом, – объяснял он дома Асе генеральную линию партии в этой области.

В газете Яков Маркович вел рубрику «А сало русское едят», взяв ее из известной тогда басни и насыщая живыми примерами из жизни космополитов Алтайского края. Сала на Алтае не было, но рубрика звучала хорошо. Несмотря ни на что, Раппопорт еще оставался наивным и не подозревал, что статьи, стихи и даже устные высказывания – это, как и анкеты, тоже доносы. И уже не только на самого себя.

Вести борьбу с безродными космополитами на Алтае приехал из Москвы замечательный поэт Александр Жаров в сопровождении искусствоведа в штатском. По плану космополитами должны были оказаться все работники культуры и искусства в Алтайском крае, принадлежащие к известной национальности. Первый секретарь крайкома партии Беляев вместе с обоими гостями просматривал подготовленный список. Когда очередь дошла до Раппопорта, секретарь обкома почесал немножечко щеку и его вычеркнул.

– Не может быть! – возразил Жаров. – Наверняка и этот – космополит. Печенкой чувствую!

– Думается, товарищи, мы лучше знаем, кто у нас в крае космополиты! – отрезал Беляев.

Раппопорт писал для секретаря все его речи и выступления.

– А как же быть с количеством? – спросил Жаров.

– Есть у нас настоящий космополит, хотя он и русский. Это режиссер драмтеатра Купцов. Его мы и впишем на пустое место...

Дочь Беляева еще год назад окончила театральное училище, а Купцов упорно не давал ей играть в главных ролях.

Вскоре космополитов отправили строить Байкало-Амурскую магистраль (она тогда уже, оказывается, строилась). Но теперь все знакомые стали думать, что раз Раппопорта оставили, значит, это неспроста, и начали его остерегаться.

– Да вы не бойтесь, – оправдывался он. – Скоро меня посадят!

– Типун тебе на язык! – восклицала Ася. – Пускай уж лучше плохо думают.

Неприятности оттянулись меньше чем на год. В одной из статей он упомянул, что слово «товарищ» – тюркского происхождения. Где он это прочитал, и сам точно не помнил, кажется, в этимологическом словаре. А главное – зачем прочитал? И черт дернул лезть в эти филологические изыски! Его вызвали повесткой. На столе у молодого симпатичного следователя лежала эта статья и уже начатое дело за высказывание против слова «товарищ». В статье, между прочим, говорилось, что русский язык – самый великий, могучий, правдивый и самый свободный в мире, но как раз это следователя не заинтересовало. Передачу на этот раз не стали принимать, а весьма грубо Асю вытолкнули.

Поскольку секретарь обкома Беляев к этому времени тоже был арестован, заодно припомнили, что ранее Яков Раппопорт пытался скрыться от справедливого возмездия, будучи безродным космополитом. А осведомитель из редакции дополнительно сообщил, что куплет известной песни обвиняемый прочитал так:



*Наш паровоз, вперед лети!  
И хоть бы мать его эти.*

– У нас ничего не теряется, все к делу подшивается, – пошутил следователь, тоже стихами.

Во время обыска была найдена коробочка с немецкими орденами, которую Яков привез с фронта. Коробочку забрали, и в деле появился полный перечень железных крестов всех степеней, которыми обвиняемый, бывший младший лейтенант Раппопорт, был награжден за шпионаж, на это раз в пользу фашистской Германии. Рецидивист во всем, конечно, опять сознался, а следователь спросил:

– Анекдоты знаешь? Рассказывай...

Анекдотов он пуще всего боялся. Ну зачем ему еще это надо?

– Ну и дурак! – сказал следователь. – Кто знает хорошие анекдоты, я даю десять, а кто не знает – двадцать пять. Эх ты, а еще космополит!..

Схватив свои двадцать пять, Раппопорт попал в Караганду, где досиживали военнопленные немцы. Разумеется, ему поручили вести среди них пропаганду на немецком языке, чтобы они оставались в Казахстане навсегда и строили здесь коммунистическое общество. Кроме этого, он снова выпускал стенную газету, на этот раз называвшуюся «За досрочное освобождение!». Политическим досрочного не предоставлялось, но с точки зрения воспитания нового человека писать об этом было необходимо. Впрочем, отсидел он на этот раз всего четыре года. В 55-м его выпустили, сперва на поселение с волчьим паспортом, который дорог ему как память:

*МВД СССР. Комендатура 134  
4 января 1955.*

### **СПРАВКА**

*Дана гражданину Раппопорту Я.М., 1917 г. рожд., уроженец г. Бердичева, нац. индей, в том, что он работает в качестве немецкого языка и что ему как спецпоселенцу разреше-*

*но прожить только в пределах Караганды и ст. Май-Кудук, Карагандинской ж.д. Раппопорт Я.М. прописан по адресу: ст. Май-Кудук, барак 18. П/пр.<sup>1</sup> не имеет. Действительно по 31 декабря 1956 г.*

*Пом. оперуполномоченного отдела МВД  
Казахской ССР Шкуров*

Первым делом Яков пошел в библиотеку и там раскопал, что тюркское слово «товарищ» происходит от слов «товар» и «ис» – «скот» и «друг». Раз так, это в корне меняет дело. Значит, товарищи – это те друзья, которые поступают по-скотски. «Настоящий друг – тот, – говаривал Яков Маркович, – кто сперва все про тебя узнает и лишь потом сообщит».

Ася приехала к нему, и вместе они дождались реабилитации.

– Это что же за нация такая – индей? – снова спросили его в милиции, разглядывая лагерные документы.

– Индейский еврей, – хмуро объяснил он.

Так и записали это после реабилитации.

Раппопорты начали жизнь сначала. В Москве им удалось прописаться и со временем получить однокомнатную квартиру. Ася, расплывшаяся, сильно постаревшая, пошла работать воспитательницей в детский сад. Яков Маркович, придумав себе псевдоним, стал делать статьи для газет и журналов. Про старое не вспоминал, и только когда садился писать, сперва нарезал на ломти батон белого хлеба, на каждый ломоть клал колбасу и сыр и все это раскладывал в шахматном порядке вокруг себя на столе. Он писал несколько строк, потом говорил: «Шах!» И ходил бутербродом с колбасой себе в рот. В лагерях ему приходилось выгребать из помоек лопатой картофельные очистки и на лопате жарить над костром. Годы спустя чувство голода не оставляло его даже после обильного обеда.

– Я Тавров – на мне тавро! – говаривал он.

Печатали его статьи охотно, везде разрешали заполнить анкеты, но в штат не брали даже в плохонькие многотиражки.

---

<sup>1</sup> П/пр. – поражение в правах.

Макарцев, только что назначенный главным редактором «Трудовой правды», еще более энергичный и смелый, чем сейчас, предложил ему должность литсотрудника. Это был мизерный, но постоянный кусок хлеба, и Яков Маркович немедленно согласился. В это время он тщетно добивался восстановления в партии.

Дело осложнялось тем, что он сидел дважды, и решение по его вопросу партийная комиссия оттягивала. Помог опять Макарцев, но с новым партбилетом весь партийный стаж исчез. Это-то и было обиднее всего: Раппопорт мечтал дожидаться времени, когда он станет старым большевиком и получит персональную пенсию.

Его хорошо знали в газетном мире, и никого не удивило, что он вскоре стал исполнять обязанности редактора отдела комвоспитания. Такие отделы в период развернутого наступления коммунизма по всему фронту решено было создать во всех газетах. Это необходимо, думал Тавров. Ведь партия устами Хрущева торжественно предупреждает, что уже нынешнее поколение советских индеев будет жить при коммунизме. Задача отдела подготовить старых людей для новых трудностей. Без подготовки им будет-таки туго.

Журналист Тавров фактически давно был редактором отдела. Шли годы, а его не утверждали. Русский на его месте давно бы обиделся и ушел. Но Раппопорт был хотя и индейский, а все же в основном еврей, и швыряться местом ему не приходилось.

– Да Макарцеву выгодно держать тебя и.о.! – возмущались товарищи.

– Он думает, что временность меня тонизирует, – кисло улыбался Раппопорт. – Мой друг Миша Светлов говорил, что его любимые слова – «сумма прописью»...

К Макарцеву он относился хорошо, помнил добро и тянул лямку. Только вот командировок он не терпел.

– Все, что там увижу, я не напишу, – объяснял он. – А придумать могу и здесь.

Больше всего Яков Маркович обожал отклики. О, это был Король Отклика! После каждого события, когда сверху давалась команда выразить в газете всенародные чувства, он садился к телефону и быстро отыскивал подходящие кандидату-

ры директоров и маляров, артистов, академиков, таксистов. Скороговоркой он зачитывал им по телефону то, что они должны сказать, и говорил:

– У нас все культурно. Никакой, вы же понимаете, липы!

И выписывал себе гонорар – 5 рублей за одно мнение.

– Отклики – я вам скажу! Это голос народа, – объяснял он практикантам с факультета журналистики. – Что, ответьте мне, пишут наши замечательные советские писатели? Правильно! Роман-отклик, повесть-отклик. Стихотворения – само собой! Да эти ваши любимые советские поэты – профессиональные откликуши. Я бы, конечно, мог написать лучше, но звоню им, чтобы дать ребятам подработать... И что приятно: выступаешь от имени народа, а ни за что не отвечаешь! Но должен вам сказать, что писать за других – это надо внутри иметь настоящее искусство. За себя писать каждый дурак умеет. А тут приходится войти в роль. Нет, отклики – это, ребятки, большая литература. Вот смотрите!

И показывал художественные образцы. «Единодушно одобряем (осуждаем, протестуем, клеймим, требуем)». По поводу запуска нашего спутника, пуска атомного ледокола, выступления того, кого надо и где надо, суда над писателями у нас или над коммунистами где-нибудь, а также агрессии американских империалистов или Израиля. На этот, последний, случай у Раппопорта были специальные люди – дважды евреи Советского Союза.

Иногда он таинственно исчезал из редакции. Только Маркцев знал, что Раппопорт сидит в райкоме или в ЦК. Если нужно было писать за человека низшего звена, говорили: «Нужно помочь ему написать». Если среднего, то: «Поезжай, он тебе поможет написать». То есть даст указание написать так, как написал бы он сам, если бы умел. Если же писалось для высшего звена, то Тавров писал как бы для среднего, там это кастрировалось и уж оттуда поступало вверх.

Раз утром его срочно вызвали в Кремлевский Дворец съездов и поручили написать народные частушки для коллектива «Ярославские ребята», который понравился Хрущеву. Вечером ярославские ребята уже выступали. К огорчению Раппопорта, его лучшую частушку выкинули:

*У ракетчиков есть мнение,  
На луну ракетой чтоб.  
Нынче наши достижения  
Видно только в телескоп.*

Он выражал мысли передовых рабочих и партработников, доярок и свинок, директоров заводов и магазинов, партийных и профсоюзных работников, военачальников и героев, лауреатов и депутатов, писателей и композиторов, а также ветеранов, приветствовавших молодежь, и юных пионеров, которым поручалось приветствовать ветеранов. Он писал за секретарей компартий стран Африки и Азии. Он мог бы написать и за президента республики Индия, если бы такой объявился. Гонорар получали сами ораторы и принимали его как должное. А Яков Маркович иногда получал рукопожатия.

Читая не себя в газетах, он по диагонали пробегал знакомые столбцы, хмыкал, если что-нибудь было исправлено, и швырял газету в мусорную корзину.

– Видали? – ворчал он. – Это что же они себе думают? Переделали. Считают, что они партийнее меня!

Он собирал домики из детских кубиков. «Два абзаца из свинок, три абзаца из доярки – вот вам к празднику подарки», – мурлыкал он, работая ножницами в преддверии очередного собрания, встречи, совещания, совета, митинга, заседания, форума, семинара, симпозиума, коллоквиума, конгресса или даже съезда. Выдавал он на-гора доклады, выступления, речи, обращения, коллективные письма, резолюции, приветствия всех видов, наказания потомкам и т.д., и т.п., и пр. Если кто-либо полагает, что не было партийных конференций, совещаний актива и пленумов, которые целиком шли по сценарию, написанному Яковом Марковичем, такой товарищ – антисемит. Разве что в конце председательствующий без бумажки спрашивал: «Кто за? Принято единогласно». Но потом он снова заглядывал в утвержденный мыслеводитель: «Разрешите, товарищи, от вашего имени горячо поблагодарить Центральный Комитет нашей родной партии и лично...»

– Я вам так скажу, котятка, – говорил редакционной молодежи Раппопорт. – Если на земном шаре есть люди, за кото-

рых Тавров никогда не писал, так знайте, что нам с ними не по пути! А если и по пути, то недолго!

Как все особенно великие люди, он иногда говорил о себе в третьем лице. Обычно, когда его участие требовалось срочно, ему шли навстречу, создавали условия. И если позволяли пользоваться закрытым буфетом, он готовил выступления быстро и точно то, что надо. А что когда надо, он всегда знал лучше тех, кто заказывал. Но ежели пробовали звонить по телефону и просили принести готовый доклад, он отвечал, что, конечно, будет стараться написать, но тут, в редакции, совершенно нет условий для такой ответственной работы. Вы же понимаете – газета! Шум, гам, тарарам... И тянул до последнего, пока ему не выписывали пропуск. Внутри он сперва шел в буфет и покупал для Аси баночку крабов, кусочек белой рыбки, копченую колбаску, зимой – свежие помидорчики и бананы. Набив портфель дефицитом, он вынимал коробку, в которой лежала ИКРА. ИКРА, или Идеологический Конструктор Раппопорта, представляла собой набор слов, фраз, цитат и целых абзацев, вырезанных из газет и разложенных по темам в картонной коробочке из-под духов «Красная Москва».

Получив задание подготовить статью или доклад, Яков Маркович метал ИКРУ, то есть вынимал из коробки мысли на нужную тему, освежал номера съездов партии и, если приходилось, с большой неохотой вставлял пример, взятый из жизни по телефону. Авторские права Я.М.Раппопорта не зарегистрированы, и использовать его метод и материалы без ссылки на источник разрешается всем.

Однажды за ним прислали машину. Идеологическое совещание в Колонном зале, посвященное работе с молодежью, уже начиналось, а часть докладов предложили срочно заменить. И все же сперва он разыскал буфет. А зал сидел и ждал. Но буфет, оказалось, был закрыт. Тавров вошел в комнату отдыха президиума, положил портфель поближе к себе (на всякий случай, чтобы его не увели), вынул коробку со своей ИКРОЙ и, выяснив тему совещания, стал диктовать машинистке вступительное слово председателя. Тавров закончил – председатель начал. Дальше пошло гладко: чей текст он заканчивал, тот оратор просил слова и громоздился на трибуну.

В конце совещания приехал почетный гость Гагарин. Ему уже пришлось выступать на двух других митингах, и он задержался. Яков Маркович устал не меньше Гагарина, но пока зал, стоя, аплодисментами встречал жизнерадостного космонавта, увешанного орденами всех стран от органа говорения до органа размножения, Раппопорт успел продиктовать первую страницу: «От имени моих товарищей летчиков-космонавтов и от себя лично... Как сейчас, помню свой первый полет в космос... Орлята учатся летать...» Эту страничку дежурный с красной повязкой отнес Гагарину, и, пока тот читал ее с трибуны, Раппопорт диктовал вторую, но не успел. Гагарин договорил раньше и поглядел на президиум. В зале захлопали.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников лично вышел в кулуары, чтобы выяснить в чем дело. Он остановился возле Раппопорта, бубнившего что-то машинистке, и с интересом наблюдал за процессом.

– Запарка? – спросил Тяжельников.

– Не мешайте, – отогнал его Яков Маркович. – Идите в президиум!..

– Хорошо, хорошо! – смутился тот и вернулся обратно.

Зал продолжал хлопать до тех пор, пока дежурный не принес Гагарину вторую страницу. «Сейчас, когда наша партия и весь советский народ...» Зал, так сказать, затаил дыхание. Раппопорт в это время лихорадочно диктовал третью. «Вы сегодня, наверное, прослушали много интересного и полезного, но устали. Поэтому разрешите мне быть кратким... Желаю вам...»

После заседания, бурча под нос ругательства, он собирал в портфель копии продиктованных выступлений (они пригодятся для ИКРЫ). У злости его была причина. Распоряжением сверху буфеты и киоски с дефицитными вещами на совещаниях закрыли, поскольку никто не хотел сидеть в зале, а все толпились у прилавков. На дефицит участникам стали выдавать талоны для получения товаров после митинга. Тавров участником совещаний не был, и талоны ему не полагались.

Мимо него прошел Гагарин, остановился, вернулся.

– Это ты писал мне выступление?

– Ну, я.

– Главное, хорошо, когда коротко. Раз-два – и уже аплодисменты.

– Будет коротко, когда в буфете ни хера! – Яков Маркович думал о своем.

– Да ну?! Пойдем-ка со мной!

Гагарин провел и усадил Раппопорта рядом с собой за банкетный стол. И сам налил ему по первой. Вокруг восседал весь бывший президиум. Тосты произносили по субординации. Раппопорт со всеми чокался и вставал, когда все вставали, но сам не пил. Желудок его был в лагерях доведен до отчаянного состояния. Если бы не Ася, которая каждое утро варила ему отвар из овсяной каши и на ночь жидкий кисель, Яков Маркович со своей блуждающей язвой желудка, холециститом, вечными запорами и таким геморроем, который не дай Бог во сне увидеть, не вылезал бы из больницы.

– А чтобы у нас лечиться, – говаривал он, – это надо иметь железное здоровье.

Многие цитируют теперь эту мудрость, не зная, что автор ее не кто иной, как сам Тавров. К счастью, все за длинным столом, обильно уставленным вкусной снедью, пили хорошо, и на Величайшего Трезвенника нашей эпохи никто не обращал внимания. Стараясь по мере возможности избегать острого, он мог всласть поесть дефицитных продуктов, которых не завезли в буфет. Но у космонавта, прошедшего специальный отбор и предполетную подготовку, глаз оказался острее, чем Яков Маркович предполагал.

– Ты что же – не пьешь? – спросил Гагарин, обняв его за плечи. – Сейчас выпьешь до дна. Установка сверху, понял?

Он встал, случайно икнул, рукой успокоив говорящих, произнес:

– Товарищи! Разрешите предложить тост за самого скромного человека, сидящего за нашим столом. Мы его не знаем, а он нас знает: он всем нам писал выступления. Это... Как тебя?

– Тавров, – буркнул Раппопорт.

– За нашего товарища Таврова! Ура!

– Без бумажки можешь? – удивился Яков Маркович.

– А ты что думал? Может, я прикидываюсь. Ну, пей, как договорились, до дна!..

В тот вечер, благодаря Гагарину, Якову Марковичу стало легко и весело. Как правильно делают люди, что пьют! А то дожил до абсолютной седины, и это счастье пролетело мимо.



Все стали разъезжаться. Персональная машина не ждала только Таврова. Его, поддерживая под руки, вывел на улицу Гагарин. Таксисты сразу его узнали. Машины ринулись вперед, на ходу распахивались дверцы. Первому же шоферу Гагарин сказал:

– Слушай, друг! Довези этого космонавта до дому. Он немало перебрал. Держи-ка вот!..

И Гагарин протянул шоферу смятую пятерку. Сам он тоже был в послеполетном состоянии.

– Эх, Тавров, Тавров!.. – мечтательно произнес он, трижды целуя Якова Марковича, – послать бы тебя ко мне на родину, в село Клушино, Гжатского района, то есть теперь Гагаринского.

– За что?

– Из тебя получился бы хороший председатель колхоза: ты не умеешь пить, но умеешь брать людей за жабры.

– Хорошо, что ты не Хрущев, Юрочка, а то бы послали!

– Ну, прощай, Тавров! – Гагарин снова обнял Раппопорта и поцеловал. – Ты меня уважаешь? Вот тебе, друг, на память!

Он сорвал с груди, положил что-то в лапу Раппопорту и сам закрыл его пальцы. В полутьме Яков Маркович поднес ладонь к глазам.

– Это же орден Ленина! – испугался он, ибо уже отсидел один раз за ордена. – Ты спятил!

– Держи, держи! У меня этого хлама в коробках по сто штук каждого. Не веришь? Приезжай в Звездный городок, пропуск выпишу, покажу... Как куда еду, толпа обнимает, радуется. После смотрю – орденов не хватает... Так мне по решению Верховного Совета наделали фальшивых. Оторвут – Валька, жена, новые мелом надраит да навинчивает.

– А иностранные?

– И иностранные наделали – медь да стекляшки. А ты что думал? Алмазы?.. Ну, бывай!

В этот момент Якову Марковичу не жалко было отдать Гагарину свою настоящую медаль. Но правительственных наград, которые Раппопорт указывал в анкетах, он не имел: обе медали были отобраны при втором аресте вместе с фашистскими крестами.

Ася Исааковна услышала странный шорох. Ее муж сидел на ступеньке с орденом Ленина на груди и скреб ногтями стен-

ку. До кровати больная Ася донесла его на себе. Очень умная, очень некрасивая, толстая и добрая Ася была единственным человеком на земле, преданным Якову. Она сгорела за полтора года от рака молочной железы. Операция, которую сделали поздно (Ася боялась сказать, что у нее опухоль), не только не помогла, но ускорила исход.

После ее смерти Яков Маркович незаметно для себя опустился. Он все реже стирал рубашки, а брюки не гладил вообще. Пуговицы ему пришивали женщины в машбюро, а носки он не снимал до дыр и тогда покупал новые, переодевая их под столом на работе.

Но однажды он в магазине спросил меховую шапку. Старая шапка села и не лезла на его большую голову, а в кепке было холодно. Шапок в магазине, конечно, не было, но завезли импортные английские шляпы больших неходовых размеров; Яков Маркович встал в очередь и купил, потому что все брали. Он не подозревал, чем это кончится. «Трудовая правда» широко обсуждала новую шляпу Таврова. К нему заходили, шупали, просили надеть и пройтись. Серая шляпа с черной лентой была предназначена в Англии для траурных случаев, но в Москве все были в восторге.

Из-за новой шляпы стали бросаться в глаза недостатки в остальном туалете Раппопорта. Ему советовали купить новый костюм (сейчас есть недорогие польские), рубашку (бывает из ГДР). С ним предлагали пойти в магазин, одолжить денег. Кончилось тем, что он купил себе по блату еще и серое югославское пальто. А женщины в машбюро скинулись по два рубля и подарили ему ко дню рождения корейский зеленый шарф в клеточку. Двух рублей не хватило и их взыскали с именинника.

– Теперь Яков Маркыч, вам можно куда хотите. Хоть за границу, хоть жениться.

– За границу меня не пустят, девочки. А жениться я сам себя не пушу. И вообще, это все я купил в последний раз в жизни, чтобы было меня в чем похоронить... Успеть бы только вернуть долги! И зачем я вляпался в эту шляпу? Теперь я должен думать об одежде. А когда же работать?

Но скоро шляпа от суровых морозов покоробилась, пальто в метро обтрепалось, костюм залоснился, ботинки стоптались,

а рубашку из ГДР, отрезав жесткий воротник, Тавров стал носить вместо нижнего белья, надевая на нее непачкающийся темно-серый свитер. И все вошло в свою колею.

Прошло три года, как Раппопорт похоронил жену, а он все не мог прийти в себя. Это же надо, он ее продолжал любить и в анкетах упрямо писал, будто она жива. И тот факт, что ему ни разу на это не указали, свидетельствует о том, что людям у нас доверяют. А ведь и в том, что касалось сына, была неправда в его анкетных сведениях.

Костя был на самом деле сыном Асиного и Яшиного однокурсника, театрального художника Вани Дедова, и его жены Риты, актрисы, похожей на мадонну, арестованных раньше Раппопорта. И вместо того чтобы сразу отправить мальчика в детприемник НКВД, маленького ЧСИРа<sup>1</sup> забыли одного в квартире. Раппопорты решили сделаться его опекунами, но не усыновлять, чтобы, не дай Бог, не покалечить его судьбу, ведь мало ли что!

Теперь Косте шел уже двадцать второй. Он жил отдельно от отца, к которому, однако, часто приходил. За комнату, что Костя снимал, платил Яков Маркович. Точнее, за кухню в однокомнатной квартире: хозяйева уехали на три года на Север, вещи заперли в комнате, а отдельную кухню с кушеткой и газовой плитой сдали за 35 рублей в месяц. И опять неприятность поджидала Раппопорта. Заканчивая институт со специальностью строителя плотин, Константин Иванович Дедов вдруг резко изменил крен своей молодой жизни.

Его компания изредка появлялась в доме у Якова Марковича. Ни в коем случае не хулиганы, как вы подумали. Все из хороших семей. Переписывая друг у друга упражнения, они учили иврит. Недавно Костя заехал к отцу и с порога спросил:

– Па, ты не дашь четыреста рублей? Соберем – отдадим. Ребята достали еврейскую энциклопедию...

– Сынок, а где я их возьму? Ты же знаешь, мы все израсходовали на подарки врачам, когда болела мама. А завтра не будет поздно? Тогда я возьму в долг. Но зачем тебе энциклопедия? Когда настанет Пурим, я тебе и так скажу...

---

<sup>1</sup> ЧСИР – член семьи изменника Родины.

– Странный ты человек, па! Неужели ты до сих пор сохранил наивность и думаешь, что с первого апреля указом отменят антисемитизм? Если даже так произойдет, это будет первоапрельская шутка...

– Я этого совсем не думаю, мой мальчик. Но тебе-то какое дело? Твой отец и мать, к счастью, были русские.

– Кажется, я уже объяснял, отец: они не мои родители. Они только портреты, и больше ничего!

– Пусть так! Но ты комсомолец, будешь инженером. Все-таки это чище, чем идеология. Ну, вступишь в партию, если, конечно, тебя еще не сфотографировали возле синагоги. Или не знаешь, что за учебники иврита тянут как за антисоветчину? Или хочешь попасть в сети международного сионизма?

– Видишь ли, батя, это трудно объяснить... Мама говорила, что русские жены еврейских мужей чувствуют себя еврейками.

– Ты собрался замуж, сынок?

– Не в этом дело! Мне стыдно, что я русский. Лучше бы ты меня усыновил!

– Не лучше! Поверь, в этой стране лучше быть только русским.

– А если я не хочу быть в этой стране? У моих друзей есть хоть надежда выехать. Вы с мамой, записав меня русским, даже надежду отняли!

– Прости, сын... Разве я виноват? Прошу только об одном: будь осторожен. Если на минуту забудешь об опасности, пойдешь по моему пути. Вот, смотри!

Рывком Яков Маркович задрал рубаху и, повернувшись к Косте, показал кривые красные рубцы.

– Это меня немножечко побил ремнем с железной пряжкой начальник КВЧ<sup>1</sup> за то, что в стенгазете, перечисляя все дружные народы нашей страны, я упомянул среди других – евреев...

– Эти твои рубцы я уже сто раз видел, – Костя похлопал отца по спине и опустил рубашку. – Но ведь теперь и ты сам...

– Да, я треплюсь и плюю на них, сынок, потому что мне терять нечего. Мне шестой десяток, а я дряхлый старик. Я не

---

<sup>1</sup> Культурно-воспитательная часть.

человек даже с маленькой буквы. Если разобраться, так я даже не еврей.

– Еврей!

– Ладно, пускай еврей! Где я кончу – с той стороны лагерной проволоки или же с этой – мне все равно. С вышки стреляют в обе стороны. Но ты...

– Сейчас сразу не сажают!

– Он знает! Пускай сажают не так много. А что из этого следует? Следует то, что режим на воле стал чуточку более тюремным, только и всего. Так вот, слушай сюда: лучше тебе сидеть и...

– Сидеть и не чирикать? Ну, спасибо!

– Разве я тебя отговариваю, Костя? Просто умоляю... Все-таки сидеть – это совсем не то, что ходить!

– Ладно! Не бойся, еврей ты мой родной!..

Раппопорт утверждал, что если бы за написанные им анкеты, автобиографии и характеристики, сочиненные на самого себя, ему заплатили гонорар по средним ставкам «Трудовой правды», то на эти деньги он бы купил дачу. И, однако, при всей нелюбви к анкетам на некоторые вопросы он отвечал с радостью. Так, он, не колеблясь, писал, что судебным преследованиям до 17-го года не подвергался и в войсках белых правительств не служил, ибо примерно тогда только родился.

– Я – ровесник Октября, – представлялся Раппопорт, знакомясь. – Я возвестил начало Новой Эры. А вы? До или только после?

И в других партиях он не состоял, поскольку их не могло быть. Он очень жалел, что в последнее время в анкетах исчезла графа: «Были ли колебания в выполнении генеральной линии партии?». Ибо на этот вопрос коммунист Раппопорт с гордостью и абсолютно твердо мог ответить в любое время дня и ночи, в любой период истории: «Никогда!» Если он и колебался, то, как говорится, только вместе с генеральной линией.

Все же прочие графы бесконечных анкет тяготили его, принуждали к сожительству с неправдой. Не неправда его тяготила. Просто за всю прочую ложь, которую он писал, его только хвалили. А за ложь в анкете могли прижать. Один раз Яков Маркович ошибся – в графе «Партийность» написал: «Не под-

вергался». Ночь он не спал, утром небритый вбежал в кабинет завредакцией Кашина, успел исправить и весь день после держался за сердце.

– Будь человеком, Рап! – говорили ему, что-нибудь прося.

– Я прежде всего коммунист, – говорил он, – а потом уже человек!

– Скажи по совести, Яков Маркыч!

– По какой? – мгновенно реагировал Раппопорт. – Их у меня две: одна партийная, другая своя.

– Скажи по своей!

– Скажу, но учтите: своя у меня тоже принадлежит партии.

Поступков он старался избегать вообще, тянул до последнего, пока решать уже не надо было. Вот другим советовать, как поступить, это он умел делать, как никто. Но тут же прибавлял:

– О том, что я посоветовал, никому!

Таков был Яков (Янкель) Маркович (Меерович) Раппопорт, известный читателям «Трудовой правды» под вывеской «Тавров».

## 15. ИГРА ПО ПРАВИЛАМ

– Извини, что оторвал тебя, Яков Маркыч, – Макарецв немного привстал, пожимая протяную вялую руку.

Пнув ногой дверь и брезгливо глядя вперед, Раппопорт грузно ввалился в кабинет, не произнося при этом ни слова. Он вообще был невежлив и угрюм, а в общении с вышестоящими с некоторых пор особенно это подчеркивал. Так он боролся с собственной трусостью.

– Сигарету? – предложил Макарецв, пошел и прикрыл внутреннюю дверь, оставленную открытой.

– За кого надо писать?

Макарецв закурил, усмехнувшись. Вынув из кармана конфету «Белочка», Раппопорт развернул ее, бросил фантик под кресло, сунул конфету целиком в рот и стал медленно сосать.

Все всех в редакции звали на «ты». Исключение составляли некоторые. Игорь Иванович звал на «ты» многих по старой партийной привычке, но ему говорили «вы». Яков Маркович

был единственным сотрудником «Трудовой правды», кто звал редактора на «ты».

– Да ты не очень стесняйся, – сказал Раппопорт, жуя. – Или ты думаешь, я головой эти речи пишу? А там у меня мозоли. Одним подонком на трибуну больше выйдет? Ну и что? Трибуна дубовая, выдержит. Она и не такое слышала!.. Вот если бы порядочному человеку доклад написать, я бы, наверно, отказался...

– Почему? – простодушно поинтересовался Макарцев.

– А порядочный может сам сказать, что думает. Но таких не осталось.

Услышав это от кого-нибудь другого, Макарцев, возможно, прореагировал бы. Но Яков Маркович равнодушно констатировал очевидный факт. Разозлиться было бы глупее, чем промолчать. И редактор, отнеся сказанное к неизбежным недостаткам собеседника, только махнул рукой на стул.

– Разговор есть...

– Хороший или плохой?

Раппопорт всегда нервничал, если ожидание затягивалось, и спешил узнать финал. Он все еще сопел: запыхался, пока поднялся по лестнице. Лифта на средних этажах никогда не дождешься. Он сел в кресло и тупо смотрел своими катастрофически слабыми, навывкате, глазами, увеличенными толстыми стеклами очков, в стену, мимо Макарцева, понимая, что хорошего все равно не будет, а от плохого не скроешься.

Макарцев разглядывал Раппопорта, будто давно не видел. Лицо у него было всмятку. Морщины избороздили кожу даже там, где могли и не быть. Под глазами мешки, длинный нос, нависающий над ртом, плохо выбритые щеки и вокруг гигантской лысины остатки серых волос, не стриженные после смерти жены ни разу. Раппопорт не переносил парикмахерских. Ася сама его иногда сажала на кухне на табурет и подравнивала. Сутулился Яков Маркович так, что казался горбатым. Пиджак промежуточного цвета, весь в перхоти на плечах и спине, он никогда не застегивал, и полы свисали вниз, прикрывая широченные брюки. Когда тело двигалось, полы развевались, закрывая руки. Что-то было в нем от потрепанного и больно-го орла с обломанными крыльями, который летать уже не мог и потому был выпущен в зоопарке гулять на свободе.

Игорь Иванович хотел сразу начать с папки, но сперва заговорил о другом, чтобы Тавров не понял, что вопрос для Марцеева жизненно важен.

– Что там с Катуквым? Уладилось?

Собеседник пожал плечами. Незадолго до Дня Советской армии в комнату Раппопорта вошел, печатая шаг, офицер, отдал честь и спросил:

– Вы – заведующий отделом коммунистического воспитания?

– А что вам угодно?

– Вот воспоминания маршала бронетанковых войск Катуква. Напечатайте их 23 февраля.

Адъютант положил на стол рукопись и, отсалютовав, удалился. У Якова Марковича лежали горы воспоминаний о войне. Все маршалы, генералы и даже мелкие чины хотели остаться в истории. Все мемуары были похожи друг на друга. Сверху, не читая, Раппопорт бросил и мемуары маршала Катуква. А когда ко Дню армии не оказалось подходящей статьи, Тавров взял из стопы то, что лежало сверху и, сделав резекцию, то есть сократив в пять раз, заслал в набор. Однако ответственный секретарь Полищук удивился:

– Катуква? Да вы что, Яков Маркыч! Цензура не пропустит. Он же психически больной после автомобильной катастрофы. Знаете, какую ему должность придумали? Военный инспектор – советник группы генеральных инспекторов Министерства обороны. Веселая компания выживших из ума маршалов.

Раппопорту пришлось подготовить другие воспоминания. Но 23 февраля утром дверь открылась, и перед Яковым Марковичем предстал офицер. Он отдал честь, щелкнув каблуками, и гаркнул:

– Сейчас к вам войдет маршал бронетанковых войск Катукков.

И офицер встал по стойке смирно, приветствуя входящего в дверь маршала.

– Это Раппопортов? – уточнил маршал у своего адъютанта.

– Так точно, – доложил офицер.

– Товарищ Раппопортов! – Катукков навалился на стол огромной грудью, увешанной орденами. – Почему не напечатана моя статья?



Стоит маршалу вынуть пистолет и выстрелить, и некому будет вечером покормить кошек, с нетерпением ожидающих возвращения Якова Марковича.

– Видите ли, – стал искать выход он. – Ваши материалы были уже подготовлены к печати, вот гранки, но...

– Что – но? – рука маршала потянулась к кобуре, или это только показалось заведомо комвос.

– Но... руководство газеты решило... что воспоминания столь интересны, что... их оставили на День Победы, девятого мая. Это же еще почетнее!

– Ладно. Но учтите: если девятого мая статьи не будет, я введу сюда танки!

Маршал повернулся через левое плечо и, печатая шаг, вышел в сопровождении адъютанта...

– Как думаешь, Тавров, будет он жаловаться? – спросил теперь Макарцев, не получив ответа.

– До девятого мая не будет. Я же пообещал.

– Вот и правильно. А там видно будет...

Игорь Иванович опять замолчал и подумал, что Яков Маркович истолкует это молчание не иначе как дань бюрократической привычке. Подчиненный чувствует унижение, ждет, что ты будешь его прорабатывать или дашь поручение, которое и давать-то противно, а уж делать – просто тошнота. И редактор решил похвалить, сказать приятное.

– Ты не обратил внимания: у нас в редакции распространилась необязательность? Говорим «сделаю», тут же забываем. Распоряжения спускаются на тормозах, поручения не выполняются, сроки срывают, это уж как факт! Прямо болезнь! Единственный деловой человек с чувством ответственности, умеющий работать оперативно, – это Тавров.

Раппорт медленно перевел взгляд со стены на редактора.

– Ты что, собираешься меня уволить?

– С чего ты взял?

– Тогда у тебя личные неприятности. Чего бы тебе иначе самому звонить мне по телефону да извиняться, что оторвал.

– Телепат ты, Яков Маркыч!

– Я просто апартаид...

– То есть?

- Партийный еврей.
- Жаль, что я понимаю только по-русски...
- Чепуха! Разве мы выпускаем газету на русском языке?
- А на каком?
- На партийном. Говори дело, не тяни...

Опять Игорь Иванович заколебался. Ну почему он меня так презирает, ведь я же ему делал только хорошее! Он очень изменился. Был журналистом первоклассным, умел живо подать любую скучную, но важную для руководства тему. Он был интересным собеседником, Макарец до сих пор помнил рассказы о лагерях, в которых Раппопорту пришлось, к сожалению, посидеть. Но постепенно юмор его становился все более желчным, а журналистский талант упал до откровенной халтуры. Тавров растлевал всю редакционную молодежь. Сам ни во что не верил и потешался над теми, у кого не было такого подхода, как у него. Реплики Раппопорта, брошенные вскользь, не раз пугали редактора. Конечно, это шелуха, отголоски пережитого, а в душе Тавров – коммунист настоящий. Но надо все же думать, что говоришь! Первым встречным он рассказывает жуткие анекдоты. И обиднее всего – сам насмехается над своими статьями. Он и Макарецу не раз приводил цитаты из старых высказываний нынешних руководителей, которые теперь звучат так, что лучше не вспоминать.

Макарецу приходила мысль: а не избавиться ли от греха подальше от Таврова? Но хваля его за деловитость, редактор не кривил душой. Макарец знал: когда выдвигается какой-нибудь вопрос на партбюро, Тавров, не колеблясь, поддерживает линию редактора, в отличие от тех журналистов, которым ничего не стоит уволиться. Больше того, именно благодаря циничности он безотказен. Что в нем еще оставалось, так это порядочность в том конкретном преломлении, из-за которого и решил он получить совет именно Раппопорта.

– Яков Маркыч, хочу посоветоваться под партийное слово, что между нами...

Раппопорт и бровью не повел. Он продолжал смотреть мимо, в неизвестную точку на стене. Макарец тоже туда глянул, но ничего не увидел.

– Чего молчишь? Дашь слово?

Плечи Таврова чуть поднялись вверх и опустились.

– Зачем? А дав, я не могу также продать тебя? Решил – говори. Раздумал – я уйду.

– Нет, все-таки дай слово коммуниста!

– Ладно, – Яков Маркович причмокнул губами. – Возьми. Отступить было поздно, и Макарецв подробно изложил ему историю с серой папкой и свои подозрения.

– И все?

Опять возникла нелепая пауза.

– Что же, не считаешь это серьезным?

Раппопорт немного посопел.

– Ну откуда я знаю, – наконец выдал он, – серьезно это или нет? Спроси *там!* Или боишься?

– Там, там! А если бы тебе подложили?

– Мне? Смотри что! Дай-ка взглянуть.

Поколебавшись, Игорь Иванович открыл сейф и вытащил папку. Яков Маркович раскрыл ее на коленях, бегло глянул на заглавие, отогнул большим пальцем первую страницу, прочитал имена Джиласа, Оруэлла, Солженицына. Макарецв смотрел на него и терпеливо ждал. Лицо Раппопорта ничего не выражало. Он перелистал еще с полсотни страниц и снова углубился в текст. Засопел, хмыкнул.

– Что там?

– М-м-м, – помычав, Тавров вдруг прочитал вслух: «Кто скажет мне, до чего может дойти общество, в основе которого нет человеческого достоинства?»

– Видишь? – воскликнул Макарецв. – А я тебе что говорил?!

Яков Маркович захлопнул папку, аккуратно связал тесемочки и протянул назад.

– Ты ее тоже держал?

– Нет! – отрезал Тавров. – За слово «держал», которое можно истолковать как «хранение», – до семи лет.

– Знаю!

– А за слово «тоже» добавят нам с тобой строгий режим – групповое дело. И еще по рогам – пять.

– Как – по рогам?

– Не будешь иметь права выбирать депутата Макарецва в Верховный Совет... Мне-то чихать! Ну, вернусь в зону, потеряв две сотни зарплаты, на которые все равно ничего не купить! А тебе...

– Хорошо, Тавров, допустим, мне действительно больше терять... Как бы ты поступил на моем месте?

– На твоём? – Раппопорт захохотал. – Но ты все равно так не сделаешь!

– Сделаю, скажи!

– У тебя есть друг? Ну, редактор какой-нибудь газетенки?

– Есть, и не один...

– Так вот... Поезжай к нему, поговори о чем-нибудь, а уходя, случайно забудь папку на столе.

– Шутишь! – разозлился Макарецев. – А я серьезно. Выходит, сидел, а мудрости не набрался.

– Посмотрю, чего ты наберешься, посидев с мое!

– Я? – глаза у Макарецева стали злыми.

– Ладно! – смягчился Раппопорт. – Все просто: отдай папку мне.

– Тебе?

– Конечно! Я, в случае чего, признаюсь, что без разрешения взял в кабинете почитать. А ты ее в глаза не видел!

Макарецев изучающе смотрел на Якова Марковича, пытается понять степень серьезности предложения на этот раз.

– И не боишься?

– В третий-то раз меня, авось, не посадят...

– Чушь! – произнес редактор, понимая, что его согласие, очень удобное, неприемлемо. – Исключено!

– Пожалуй, ты прав, – согласился Раппопорт. – Все равно это распространение антисоветской литературы через твой кабинет, та же семидесятая статья... А ты, Макарецев, лучше, чем я думал...

– Неужели? – усмехнулся тот, польщенный.

– Seriously! Я ведь редко кого хвалю. Только ты всегда боишься: вдруг подумают, что ты и в самом деле лучше, чем ты есть. Ты в положении собаки в известной загадке.

– Какой?

– Как заставить собаку съесть горчицу? Если дать – она есть не станет. А если помазать ей горчицей зад, слижет без остатка. Слизывай!

– Если так, – нахохлился Макарецев, – то правильно делают, что этих мазателей горчицей сажают.

– Вон как запел! Речь-то о собаках. А люди – любят лизать горчицу. Ты что ли будешь решать, что им есть и от чего воздерживаться? А кто хочет горчицы – того, значит, сажай! Сейчас стесняются. Но погоди! Вот-вот начнется новый культ, и тогда...

– Постой-ка! Почему начнется?

– А культы у нас всегда начинаются на крови. Культ Ленина – после гражданской войны. Сталина – после уничтожения кулачества, а второй цикл – после войны. Кукурузника – после подавления танками Венгрии. Нынешнего...

– Думаешь – после Чехословакии?

– Само собой!

– Тогда можешь считать, что культ начался, – нахмурился Макарцев. – Размер фотографий рекомендовали увеличить и давать их чаще.

– Понятно! Я все думаю: чего тебе, Макарцев, не хватает, чтобы стать настоящим тиранозавром? Не любишь крови? Чепуха, полюбишь, когда понадобится... Они все из глухомани – во владыки мира, а ты – интеллигент, петербуржец? Нет, и не такие курвились! Ты не антисемит? Неантисемиты делятся на две категории. Одни не замечают, еврей или нет, другие ждут погромов, чтобы помочь евреям. Ни к той, ни к другой категории тебя не причислишь, поскольку ты ответработник. Если партия прикажет – станешь и антисемитом.

– Я?! Да я ни одного еврея не уволил!

– Не кипятись. А сколько взял?.. Считаешь себя на девяносто процентов честным? Но это значит, ты лжив на все сто!

– Чего ж мне, по-твоему, не хватает, Тавров?

– Если догадаюсь, срочно сообщу. Ты успеешь: тиранозавры миллион лет вымирают.

– Ладно, не будем об этом, – кисло улыбаясь, прервал его Макарцев. – Думаю, все же из ЦК виднее, чем снизу. Оттуда на многое смотришь иначе. И не так все просто. Давай лучше думать о конкретных вопросах жизни.

– Конкретные вопросы? Игра!

– Но большая игра, Тавров! И пока такие правила игры, будем играть по этим правилам. Правила изменятся, будем играть иначе.

– Кто же, по-твоему, должен изменять правила?

– Видишь ли, что касается меня, то я, между нами говоря, готов проводить любую демократизацию и зайти как угодно далеко. Но пусть мне позвонят и скажут, что это можно. И хватит об этом... Лучше скажи, что делать сейчас?

Он и раньше чувствовал: Яков Маркович презирает его. Утешало только то обстоятельство, что Раппопорт презирает всех, в том числе и себя.

– Слушай, Тавров! А что, если мне просто сделать вид, что я папку не заметил?

– Не поверят.

– Сам знаешь, каково на крючке. Ты просто обязан уметь поступать в подобных случаях!

– Вот пристал, ей-Богу! Ну ладно, скажу, чтобы отпустил. А то работы много. Не мудри, сделай просто. Значит, так...

И в нескольких словах Раппопорт растолковал редактору, что тот должен сделать.

– А ведь действительно хороший ход! – обрадовался Макарцев. – Я и сам должен был сообразить. Ай да Тавров!

Редактор повеселел, напряжение спало. Раппопорт взялся руками за подлокотники, чтобы помочь своему немощному телу подняться. Макарцев жестом остановил его.

– Погоди еще минуту. Все не хватает времени спросить про личное. Живу, как лошадь на цирковом манеже. А как твоя жизнь? Чего одиночествуешь? Мог бы жениться... Тебе и ребенка снова еще не поздно завести... С жильем я бы помог...

– В порядке компенсации за совет? Нет уж, я-таки доживу в своей старой норе вдвоем со «Спидолой», слушать которую мне ничто не мешает, кроме глушилок. Что касается детей, то поздно.

– Да что ты корчишь из себя старика, Яков Маркыч? Я старше тебя – и то чувствую себя молодым!

– А я чувствую себя старым. Евреи вообще старятся рано. Ты русский – тебе повезло!

– Хм... Ну ладно – жены, дети... А мечта у тебя, Яков Маркыч, есть?

– Что?.. – переспросил Раппопорт и уставился на Макарцева, будто тот действительно стал цирковой лошадейю.

– Мечта, спрашиваю, – Макарцев откинулся на спинку кресла, снял очки, плавно кинул их на стол и по-детски за-

моргал глазами. – А я вот последнее время мечтаю. И только об одном...

– О чем, интересно?..

– Мечтаю жить на озере, где-нибудь далеко... Чтобы дороги туда не было. Чтобы в траве стояла лодка. И туман... А на крыльце кринка молока. Кто-то ее приносит каждое утро. Кто, не знаешь. Может, молодая стеснительная женщина. Принесет и сразу уходит, не догнать. Да я и не гонюсь. Главное, озеро, нет дороги...

– И туман? – уточнил Тавров.

– Да, обязательно туман... Как считаешь, реальная мечта?

– Нет. Для тебя – нереальная.

– Нереальная, – согласился Макарецов. – А знаешь, как мечтать приятно!.. Неужели ты ни о чем не мечтаешь?

– Только об одном. Чтобы не писать и не читать дерьма.

– Ну! Это уж совсем нереальная мечта!

– Совсем нереальная...

Тавров резко поднялся, будто вдруг оказался моложе, и, не глядя на редактора, вышел, оставив открытой внутреннюю дверь. Макаров потянулся, расправив затекшие части тела, и нажал кнопку. Вбежала Локоткова.

– Принесите мне большой плотный конверт. Самый большой, какой найдете в отделе писем.

Она выбежала. Он потер руки, придвинул к себе папку, развязал ее, поглядел, полистал. Взгляд его остановился вдруг на абзаце, который показался ему раньше, ночью, оскорбительным для чести его страны. Теперь он перечитал его снова. А ведь правда это, если честно, то правда. Но это ненужная правда – вот в чем дело!

Анечка появилась снова и положила на стол белоснежный конверт с крупной надписью сверху «Трудовая правда. Орган ЦК КПСС».

– Планерка будет у вас?

Она положила на стол план очередного номера газеты, им уже утвержденный. Он взглянул на часы – до планерки осталось десять минут.

– Конверт срочно отправить, Игорь Иванович?

– Спасибо, не нужно. Можете идти...

Конверт вздулся, плохо закрылся, но папка влезла. Макарец взял ручку и не очень крупно написал на конверте: «Сообщить в Комитет госбезопасности, посоветоваться о принятии мер». Надписанный конверт он взвесил, слегка подбросив, на руке. Тяжелая ноша, а выход придуман легкий! Если что – я был готов проявить инициативу. Правда, дела отрывали – более важные партийные, государственные дела... А если свои положили папку, пусть она полежит. Он, Макарец, доносить не собирается. Выдвинув средний ящик стола, вынул оттуда старую газету и, положив в ящик тяжелый конверт, сверху газетой прикрыл. Будто он случайно позабыл сообщить о серой папке в суете.

Макарец откинулся на спинку кресла, вдохнул как можно больше воздуха и, закрыв глаза, стал медленно его выпускать. Он где-то прочитал, что это лучший способ успокоиться.

– Я хочу похвалить вас. Решение правильное!

Игорь Иванович вздрогнул, открыл глаза: к нему приближался маркиз де Кюстин. Он был, как и прежде, элегантен и распространял запах дорогого одеколона.

– Это опять вы? – с изумлением и испугом спросил редактор.

Шпага Кюстина брякнула, задев о паркет, и маркиз придержал ее пальцами, а садясь на стул, поставил ее между колен и облокотился на рукоятку.

Макарец подумал, что сейчас зайдет секретарша, увидит странного посетителя, и весть о нем разнесется по редакции. Кюстин, казалось, читал его мысли.

– Я забеспокоился, месье, что у вас могут быть неприятности. Вы уж извините меня...

– Нет, это вы меня извините! – повысил голос Игорь Иванович, чувствуя себя в редакторском кабинете значительно более уверенно, чем прошлый раз ночью дома. – На каком основании вы, маркиз, меня преследуете? Чего вы хотите?

– Может быть, вам пришло в голову, – спросил Кюстин, – что это я подбросил вам папку?

– Вы?!

– Вот уж не стал бы я раскручивать подобные интриги, месье! Вас персонально я тогда почувствовал, потому что вы стали меня читать, приняв за современного автора. Это делает



мне честь, но, увы, сто двенадцать лет назад я умер. Остается гордиться тем, что мысли мои живы.

– И вы решили меня обратить в свою веру? Убедить меня, что вы правы?

Кулаки у Игоря Ивановича произвольно сжались, будто он готовился к драке.

– Ни в коем случае! – успокоил его Кюстин. – Мне нечего устно добавить к тому, что я написал в 1839 году: подробности своего путешествия за прошедшие с тех пор сто с лишним лет я напрочь забыл. Спорить с таким компетентным человеком, как вы, я не в состоянии.

Маркиз потянул шпагу за рукоятку и защелкнул ее обратно.

– Зачем же тогда вы, как говорится, на меня вышли? – недоумевал Игорь Иванович.

Кюстин усмехнулся.

– Мне подумалось, вам понадобится моя моральная поддержка. С тех пор как вы прочитали мою книгу, здесь у вас запрещенную, мы с вами, так сказать, скованы одной цепью, даже если вы и не разделяете мои мысли. Прошлый раз я хотел сказать вам, что был бы весьма благодарен, если бы вы закинули эту папку кому-нибудь из правителей государства, вы ведь туда вхожи.

– Да вы с ума сошли! Закидывайте сами, если у вас есть такие возможности...

– Вот-вот! Другого ответа я и не ожидал, – улыбнулся Кюстин. – Забудьте об этой нелепой идее. Теперь я вижу, вы поступили с этой таинственной папкой наилучшим образом. Если имеешь дело с полицейскими ищейками, жизненно необходимо хитрить. Ведь никогда не знаешь, чего от них ждать. Не хотел бы я стать причиной ваших неприятностей. От души желаю вам благополучия!

Шпага брякнула о паркет, маркиз де Кюстин поднялся со стула, поклонился Макарцеву, сделал несколько шагов по направлению к двери и исчез, не открывая ее.

Макарцев некоторое время сидел не шевелясь и растерянно смотрел в ту точку, где исчез непрошенный французский гость.

## 16. ПЛАНЕРКА

К двенадцати тридцати просторный кабинет главного редактора стал заполняться редакторами отделов, членами редколлегии, сотрудниками секретариата. Входили по одному и по двое. Кто не виделся, здоровались, вполголоса переговаривались, рассаживались на любимые места. Макарцев, не глядя, кивал всем. Он бегло просматривал план завтрашнего номера, отмечая на полях опорные пункты, в которых необходимы коррективы. Настроение его поднялось, растерянности как не бывало. Просмотрев, он отложил план и весело поглядывал на сотрудников, ожидая, пока соберутся все.

Появился замредактора Ягубов. Он со всеми вежливо поздоровался и, положив перед Игорем Ивановичем переработанный сводный план газеты для ЦК, сел неподалеку от главного. Вбежал худой и длинный, с прыщавым лицом, редактор отдела иллюстраций Икуненко с ворохом фотографий, которые он бросил возле своего стула на пол. Заглянул, улыбаясь приветливо, завредакцией Кашин, взвешивая на руке связку ключей. Последним, чуть-чуть опоздав, сопя, ввалился и.о. редактора комвос Тавров, с развевающимися полами пиджака, держа руки сложенными сзади. Он устался в угол с мрачным видом, будто ждал очередного нагоняя. За ним, убедившись, что все, кто должен быть в кабинете, уже сидят там и дополнительно звонить никому не надо, тихо вошла с блокнотом и ручкой Анна Семеновна. Она закрыла плотно обе двери тамбура и села подле редактора за низенький столик с телефонами. Редакторы отделов ждали, когда Макарцев, чиркнув зажигалкой, закурит. Это сигнал к разговору. Курить на планерке разрешалось только главному.

– Все в сборе?

Разговоры стихли. Поднялся худой и длинный, как жердь, заместитель ответсекретаря Езиков. Он откашлялся, поднял красный фломастер, как указку, и нацелил на первый из четырех макетных листов, красиво заштрихованных и наколотых на острые гвозди специальной панели на стене.

– Номер на четверг, 27 февраля, – Езиков откашлялся. – Первая полоса – шапка на всю ширину полосы, над плашкой «Трудовая правда», наберем деревянным шрифтом: «Идеям великого Ленина побеждать в веках!» Далее...

Игорь Иванович кивал, но слушал вполуха. Все, о чем говорилось, было привычным, незыблемым. То, что происходило в жизни, могло стихийно меняться. То, о чем писала газета, менялось только по указаниям. И это давало уверенность в правильности действий. Отдельные недоработки, упущения, даже ошибки могут быть, но всегда есть на что опереться. Поэтому Игорь Иванович не боялся говорить на планерках кое-что сверх положенного, в частности почему надо (или не надо) то или иное публиковать. Больше того, действительные события могли, по мнению редактора, помочь газете правильно обойти острые углы. Макарец по-своему любил говорить правду. Правду он делил на *широкую*, *узкую* и *абсолютную*.

Вернувшись из трехнедельной поездки в США, главный редактор, сказавшись больным, неделю не появлялся на работе. Он обдумывал и сортировал правду по рубрикам. А все обдумав, появился, как всегда оптимистический и авторитетный в редакции, сдержанный и деловой – в ЦК.

Для коллектива рядовых сотрудников редакции была проведена беседа о поездке и встречах в США. Каждый эпизод Макарец предварял словами: «Америка – больное общество. Тяжело больное, товарищи. Оно разъедается противоречиями. Судите сами...» И приводил мрачные примеры преступности и нищеты. «Хотя в магазинах есть товары, покупательной способностью обладает далеко не все население». Статья Макареца (он уже давно не писал, но если бы написал) тоже была бы заполнена *широкой* правдой, но без первой половины последней цитаты.

*Узкая* правда имела значительно больше градаций. Члены редколлегии и редакторы отделов слышали его более конкретный отчет. («Автомобили, дороги – это у них действительно лучшее в мире, и нам до этого далеко». «Наркотики – реальная язва капитализма». «Коммунистов, к сожалению, у них мало, особенно молодых».) Небольшая группа доверенных людей из редакции в частной беседе слышала добавление к последней фразе: «Говорят, среди коммунистов у них 51 про-

цент – работники ФБР. А вообще, говорить они ни о чем не боятся, абсолютно ни о чем. Ругают своего президента вслух, в метро. Газеты делают политику, а не политика – газеты». Узкая правда была у Макарцева многоликой: для иностранных коммунистов, для коллег-журналистов, для коллег-партийцев, для инструкторов ЦК, секретариата там же, художавого товарища, предпочитающего оставаться в тени, для жены... Кому какую узкую правду выдать, а какую нет, сколько вслух, а сколько умолчать, Игорь Иванович никогда не путал. Это стало частью его профессии – не договаривать, понимать, когда сказать *совсем* не то, что знаешь, *почти совсем* не то, *не совсем* то или *уже почти совсем* то, но все же не до конца. В качестве награды подчиненному можешь сказать чуть больше, а в качестве наказания обделить. Узкая правда была валютой.

*Абсолютной* правдой Макарцев считал сведения для самого себя, мысли, не доверяемые никому. Они касались некоторых моментов личной жизни, в частности непонимания женой некоторых его поступков, неуправляемости сына. Но это была второстепенная абсолютная правда. Более важная сводилась к размышлениям об истинах, которые иногда решались в его сознании, требуя пересмотра. Это были ценности, которые в предыдущую жизнь Макарцев полагал незыблемыми.

Подчас ему хотелось думать какими-то другими категориями. Но он запрещал себе это. Он убеждал себя, что он не философ, а практик, партийный работник, что пересматривать убеждения поздно. Взвалил на себя, теперь не выкручивайся. Да и столько завоевано, что глупо терять. Ну ее к шутам, такую абсолютную правду, которая, возможно, завтра опять станет иной. А может, ее и вообще на свете нет? Если же и есть, то она каждый раз так тесно смыкается с проявлениями буржуазной идеологии, что даже он, Макарцев, не способен ее отличить. Пускай уж идет, как шло...

– По первой полосе – все? – остановил он любившего поговорить Езикова. – Значит, по промышленности, кроме конвейера, работающего под музыку, ничего? А где у нас рабочий класс, Петр Федорыч, где массовое соцсоревнование?

Алексеев, редактор отдела промышленности и транспорта, виновато вздохнул и хотел ответить, но закрыл отечные глаза и ждал, пока начальство выговорится.

– Почему не ведем почины, которые охватывают народ? – продолжал редактор. – О новых не будем говорить. Но сколько раз решали, что почины надо вести из номера в номер, не забывать?!

– Наша вина, Игорь Иванович.

– Мне от ваших покаяний не легче. Речь-то о престиже газеты! А вы едва начнете – сразу провал: ваших передовиков только и видели. Читатель что подумает? Они уже не передовики...

– Макарецев учит, что газетное сердце должно биться аритмично, – изрек Езиков, и все заулыбались, кроме редактора.

– Имеется в виду наличие интересных материалов, «гвозди»... Почины – совсем другое. Где, например, Галина Арефьева? Жива?

– Замуж вышла, – мрачно сказал Алексеев, покраснев, будто это была его вина, – фамилию сменила на мужнюю...

– Вот-те на... – только и смог произнести Игорь Иванович. – Чего ж прохлопали?

– А что поделаешь?..

Монтажницу Галину Арефьеву Алексеев поднял несколькими своими статьями. Она сама и ее подруги взяли обязательство выпускать лишние электронные приборы без брака. Как практически это сделать, Алексеев, который придумал почин, представлял смутно, но наверху почин понравился. Галина Арефьева, вносящая достойный вклад в материальную базу пятилетки, глядела со многих фотографий. После статей в «Трудовой правде» Арефьеву сделали делегатом съезда комсомола, статьи о ней замелькали на страницах других газет. Писали уже о тысячах молодых патриотов, развивающих почин электролампового завода. Алексеев из рядовых, так сказать верхом на Арефьевой, въехал в кабинет редактора отдела. И вдруг – Арефьевой нет, а есть какая-то Кириллова!

– Может, поменять фамилию назад? – спросил замредактора Ягубов. – Ей-то какая разница?

– Уговаривали ее, – махнул рукой Алексеев, – уперлась! Я, говорит, мужа люблю!

– Что ж у нее – честолюбия нету?

– Вот что, – нашел выход Игорь Иванович. – Бросать почин нехорошо, но называть ее теперь Кирилловой – не пой-

мут. Пишите о ней пока в прошедшем времени, а в настоящем зовите просто Галиной.

– Это как? – удивился тертый калач Алексеев.

– А так! Пишите: «Почин, который начала Арефьева», «бригада Арефьевой» – и тому подобное. Главное для нас – лезть не вглубь, вперед. Не она сама нам теперь нужна, а почин ее, который уже пошел по стране, так ведь?

– Так-то оно так, – закричал Петр Федорович, – но все же...

«Починами починаем экономику», – пробурчал Яков Маркович, но так тихо, что никто не расслышал.

Никаких шуток на планерках не допускалось. Лексикон был принят сугубо партийный. Иронию лучше было придерживать, сохраняя каменное лицо, учитывая, что на планерке стукачи присутствовали непременно.

– Решили, – отрезал Макарецв. – И не будем тянуть резину. Давайте, Езиков, что там на второй полосе?

Замсекретаря, вращая журавлиной шеей, называл темы, делая после каждой небольшую паузу на тот случай, если Макарецу захочется уточнить или возразить. Игорь Иванович прервал Езикова, когда тот назвал статью «Стрелка качается».

– Кто засылал материал? О чем он?

– Отдел торговли. Продавцы обвешивают покупателей, – ответил Езиков сразу на оба вопроса. – Автор – народный контролер.

– В каком магазине обвешивают, указано?

– Не помню точно.

– А фамилия директора магазина есть? Проверьте. Если нет – вставьте. А то читатель не будет знать, кто виноват в обвесе, и может подумать, что виновата советская власть. Кстати, этот момент конкретной вины всегда надо иметь в виду, когда критикуем. Огула нам не надо. И вот еще что, Езиков: не ставьте рядом обе критические статьи – о плохой работе ЖЭКа и обвесе покупателей. Это может произвести гнетущее впечатление. По второй полосе – всё? Пошли на третью.

– Ино, – сказал Езиков.

Так в газете для краткости именовали всю иностранную информацию, поставляемую телеграфными агентствами мира и отобранную для советского читателя в ТАССе. Кроме того,

большие газеты вроде «Трудовой правды» держали в крупных странах и своих собственных корреспондентов.

– В центре полосы международный фельетон нашего собкора Овчаренкова, принятый по телефону: «Грозят большой дубинкой». Милитаризация Западной Германии продолжается: в ФРГ выпустили почтовую марку с самолетом Гитлера.

– Не густо, – сказал Макарец. – Редко пишет, да еще поверхностно. Давайте дальше...

Узкая правда о собкоре Овчаренкове, которую произнес Игорь Иванович, была предназначена только для тех, кто сейчас присутствовал на планерке. Большая часть собкоров «Трудовой правды» за границей – вообще ни разу не была в редакции и не писала ничего. Иногда, впрочем, статьи за их подписью привозил в конверте фельдъегерь. Завотделом корреспондентской сети знал телефоны и координаты лишь некоторых собкоров за границей. Овчаренков в Бонне относился к их числу и действительно присылал материалы. Однако в редакции критиковать работу собкоров за границей было не принято. Один Макарец мог себе такое позволить. Степени этой его правды были такие.

Для читателей газеты собкор в Бонне разоблачал западно-германский империализм (широкая правда). Для редколлегии и завотделами (как Макарец и заметил) Овчаренков мелко пишет, надо глубже. Для начальства Овчаренкова в КГБ: «Не подозрительно ли для Запада, что собкоры «Трудовой правды» неумело и мало пишут? Дайте им указание не забывать о газете. Например, нам очень нужна статья, разоблачающая махинации западных политиканов (узкая правда)». Для ЦК: «Собкоры за границей дороговато обходятся газете, съедают всю валюту, отпускаемую редакции. Нельзя ли немного увеличить фонды?» Для своих коллег-приятелей: «У тебя жена едет в ФРГ? Я позвоню нашему собкору Овчаренкову, он ее встретит, кое-что покажет, чтобы она не ходила в толпе со своей тургруппой». Для жены: «Этот Овчаренков – бездельник. Переписывает из немецких газет то, что у меня здесь, в международном отделе, могут перевести. Я ему плачу одну зарплату, вторая автоматически идет ему на сберкнижку из органов, а ни черта не делает, паразит!»

Для себя же Макарецов имел общее представление о функциях своих собкоров: денежное снабжение коммунистических и террористических организаций за границей, тайная пропаганда и дезинформация печати и дипломатов о событиях внутри нашей страны, вербовка иностранцев, связи с «кротами» – нашими резидентами в компартиях, других партиях и редакциях газет и издательств, связи со специалистами по политическим убийствам, особые поручения Центра. Вся эта абсолютная правда нужна для государственной большой политики, понимал Игорь Иванович, и глубже не вникал. Пусть болит голова у тех, кто за это отвечает.

Тем временем Езиков доложил о спорте, литературе, разном и умолк.

– Предложения? – спросил Макарецов. – Вопросы?

Он напомнил об указании не ставить больше одной фотографии на страницу, чтобы эффективнее использовать газетную площадь для пропаганды. Езиков кивнул: он это уже учел. Макарецов сделал еще несколько общих замечаний, в частности о том, как важно сейчас все серьезнее отражать подготовку к столетию Владимира Ильича, не повторяясь при этом, находя новые краски.

– Давайте подумаем, товарищи! Что если ввести такую рубрику: «До столетия остается столько-то дней»? Скромно, значительно и постепенно будет нарастать напряжение. У меня все!

Первым удалился Раппопорт, молча, по-зековски сложив руки назад. За ним, переговариваясь, потянулись остальные. Последней поднялась Локоткова.

– Анна Семеновна, – спросил Макарецов. – Какая у меня остается текучка? А то я скоро в ЦК...

Она принесла папку с бумагами, которые ждали подписи: две командировки, характеристика для райкома заведующему отделом спорта Скобцову на хоккейный чемпионат мира в Швецию. Скобцов был политически грамотен, идейно выдержан, морально устойчив и пил не больше других. К тому же за границу Скобцов уже ездил. Макарецов подписал. Ягубов принес гранки статьи, по поводу которой он хотел посоветоваться.

– После, – отложил редактор. – Еду в ЦК.

Леша побежал греть мотор, и Макарецов уехал. Он пообедал в цековской столовой, успел поговорить с нужными людьми.



ми и пошел с планом газеты в сектор печати. Сердце не болело. О серой папке он не вспомнил ни разу ни во время планерки, ни после нее. А теперь, в больнице, у него закралось подозрение, что виновата эта проклятая папка. Что же еще, если не она?

– Зачем вы это сделали? – прошевелил губами Макарецв, хотя в палате никого не было. – Если я для вас плох – кто же лучше?

Он тут же вспомнил, что ему нужны положительные эмоции. Но их не было. Размышления его неожиданно прервали врачи, набившиеся в палату. Они окружили плотным кольцом кровать. Игорь Иванович стал отвечать на вопросы консилиума, еле ворочая языком, а мысль не отступала от папки. Раньше он никогда не был таким мнительным. Верно он поступил, засунув эту чертову рукопись в конверт. Вроде бы мелочь, но единственное спасение, особенно теперь, когда он лежит тут, а она лежит там.

Но то ли он не мог забыть маркиза де Кюстина, то ли Кюстин не забывал его, мысли о прочитанном въелись в память и периодически всплывали в сознании, накладывались на собственный опыт Макарецва и факты жизни, его окружавшей. И это удручало. Он уверял себя, что ничего измениться не могло, но чувствовал, что после чтения книги «Россия в 1839» он уже не мог думать только так, как думал раньше. Трещина во льдах разошлась, полынья стала шире. Разлад с самим собой злил его, прыгать в полынья он не был готов, страх его не проходил.

Игорь Иванович обвел глазами комнату, ибо ему показалось, что кто-то появился. Он догадывался, кто мог появиться, но тут же подумал, что уж в Кремлевскую больницу охрана посторонних не допустит.

Действительно, маркиз де Кюстин не появился. А Макарецв его ждал.

## 17. СТРАСТИ ПО РАППОПОРТУ

Вход в редакцию «Трудовой правды» был свободным, без пропусков. Вохровец требовал удостоверение при переходе в

типографский корпус. А в редакционном подъезде пожилая вахтерша, имени которой никто не знал, дремала за старым письменным столом возле лифта. Ее будили случайные посетители, авторы, жалобщики, спрашивая, как пройти в такой-то отдел, ей оставляли конверты с фамилиями сотрудников. Вахтерша на свое усмотрение делила входивших на серьезных и несерьезных. Первых направляла в отделы редакции, вторых – в общественную приемную на консультацию.

Планерка в кабинете Макарцева кончилась без десяти два, и Яков Маркович ощутил срочную необходимость перекусить. Он держал под столом электрическую плитку, на которой кипятил чайник. Раппопорт бросил в стакан щепотку чаю и залил кипятком, а потом перелил чай в другой стакан, чтобы заварка осталась в первом. От откусил кусочек сыру, тщательно прожевал вставными челюстями (зубы у Якова Марковича, те, которые ему не выбили в лагере, прожевала цинга), пососал кусок сахара и запил чаем, когда в дверь постучали.

– Войдите! – гаркнул он.

Дверь медленно приоткрылась, и в нее просунул узкую, бритую голову посетитель.

– Что у вас за отвратительная манера – стучать? – пробурчал Раппопорт. – Вы что – ко мне в спальню? Это учреждение, время рабочее. Что угодно?

Посетитель виновато стоял у двери, держа под мышкой тощий портфель.

– Вы будете товарищ Тавров, редактор отдела коммунистического воспитания? Я не ошибся?

Яков Маркович продолжал методично жевать сыр с сахаром, а прожевав, рявкнул:

– Сядьте на стул!

– Видите ли, – проговорил вошедший, послушно сев и положив на колени портфель.

– Пока я ничего не вижу.

– Я хотел предложить статью на жизненно важную, я бы сказал даже – актуальную тему.

– Кто – вы?

– Я Шатен. Евгений Евгеньевич Шатен. Не брюнет, а Шатен! Так вам легче будет запомнить...

– Допустим... Ну и что?

– Может, вы слышали, я изобрел электронный музыкальный инструмент, который звучит, когда вы к нему приближаетесь. У меня есть авторское свидетельство... Вот...

Раппопорт не взглянул на лист с гербом, положенный перед ним.

– И что?

– Представляете, – мечтательно произнес посетитель, – люди могут балетировать вокруг моего инструмента, и он будет звучать вслед за их движениями. Называется мой инструмент «Танцшатен».

– Танцшатен? Оригинально!

– Еще бы! Совершенно новое искусство... Правда, пока это никому не нужно...

– И вы думаете, балетирование нужно «Трудовой правде»?

– Нет! Написал я о другом. Заходил в отдел промышленности, но они послали к вам. Я расскажу...

Допив чай, Яков Маркович свернул бумагу с корочками сыра и швырнул в корзину. Желудок перестал ныть от голода, и настроение улучшилось.

– Я сам прочту, без рассказа, – Раппопорт облизал губы. – А то я на отбитое ухо плохо слышу.

– Нет, позвольте все же, я кратко изложу суть. Я – человек одинокий, детей нет. Сын погиб на фронте, и где похоронен, не знаю. Два года назад я похоронил жену, а в этом году умерла моя мать. Ей было, вы не поверите, девяносто четыре. Я решил, что оставаться совсем одному мне будет слишком тяжело, и сделал над кроватью нишу. Установил в ней лампы дневного света, чтобы было красиво, поставил две урны: с прахми матери и жены. Теперь они всегда со мной!

– И вы считаете, так удобнее? – Раппопорт внимательно посмотрел в глаза собеседнику.

– Конечно! Если у вас, не дай Бог, кто умер, поставьте в комнату урну и убедитесь! Когда у меня минорное настроение, я подхожу к «Танцшатену», делаю пассы руками, и звучит музыка. И мама, и жена слышат ее вместе со мной. Возможно, и мой сын, убитый на фронте, прилетает к нам. Я имею в виду его душу.

– Пошли бы вы лучше... в соседнюю школу, к юным техникам. Научили бы их конструировать ваш инструмент!

– Ходил! И что? Вы думаете, дети понимают мою музыку? Нет! Они смеются! А мама и жена понимают! В последнее время я усовершенствовал систему: свет в нише загорается, только когда музыка. И чем сильнее она звучит, тем ярче освещаются вазоны с пеплом жены и мамы... Может, вы согласитесь посмотреть? Живу я, правда, в коммуналке, шестеро соседей, но зато недалеко.

– Не сейчас!.. Значит, ваша статья – о восприятии музыки прахами жены и матери?

Он уже наострил слух, сплавить посетителя в отдел литературы и искусства.

– Не совсем, дорогой товарищ Тавров! Это было бы слишком интимно. Видите ли, я хочу поднять в газете вопрос о нецелесообразности существования кладбищ вообще. Они занимают много земли, похороны обходятся трудящимся дорого. Лучше не хоронить!

– Вообще? – уточнил Яков Маркович. – А как?

– Прахи должны держать родственники. Тогда, кроме крематориев, государству никаких забот иметь не надо. Ни кладбищ, ни могил, ни колумбариев. Своего соседа я уже уговорил. Они с женой выделили дома полку в серванте и уже купили вазоны.

– Для кого?

– Себе, конечно. Товарищ Тавров! Я знаю, вы всегда выступаете в газете с ценными починами. Их подхватывает вся страна. Что, если мы с вами начнем новый почин: «За не занимать места на кладбищах»?

– «Трудовая правда» выйдет с шапкой на всю полосу «Держите покойников дома»? Вам что, нужен мой прах?

– Ни-ни! Зачем покойников? Только пепел... Посмотрите: в масштабах нашего государства, я прикинул, будет экономия в два с половиной миллиарда рублей. А главное, с точки зрения нашей коммунистической морали – как раз и осуществится то, о чем вы пишете, – о верности заветам героев-отцов.

– Так ведь то же героев!

– Простите, товарищ Тавров, тут я позволю себе с вами не согласиться. У нас героем становится любой!

– Давайте статью! – проскрипел зубами Раппопорт.

Он бегло пробежал глазами по строчкам, чувствуя, как внимательно следит автор за выражением его лица. Если предложить доработать статью, он припрется опять. Если похвалить и взять, а после тянуть, он не отстанет, пока сам не превратится в прах. Нет, тут надо рубить сразу. И, отложив статью в сторону, он сказал:

– Вот что, Шатен! Другие бы, менее принципиальные люди, с вами крутили, я скажу откровенно. Все то, что мы печатаем в газете, – это дерьмо. То, что вы написали, – тоже. Но это не то дерьмо, которое мы печатаем!

– Позвольте!

– Не позволю! Чтобы вы начали почин, у меня лично возражений нет. Но валяйте в другой области! Мы пишем только о героическом настоящем и светлом будущем. И никаких покойников!

Обиженный автор взял со стола статью, сунул ее в портфель и ушел не простившись. Посетители не давали Таврову вздохнуть. Вокруг стола уже сидели трое круглолицых молодых людей и, не сводя глаз, следили за каждым его движением. Двое были одеты в черные костюмы, при галстуках, третий – в серый костюм с красной прожилкой и тоже в галстуке. Раппопорт поежился.

– Что угодно, молодые люди?

– Ваша газета, – начал без предисловий тот парень, что был в сером, – должна осветить один вопрос. Когда вы можете это сделать?

– А вы, собственно, откуда?

– Мы из ЦК комсомола...

– Так у вас, коллеги, есть своя газета! И ей нужны молодые авторы!

– Свою газету мы уже подключили, – сказал молодой человек в сером. – Если надо, надавим.

– Давить не надо, я не клоп. А в чем, собственно, дело?

– Вы, конечно, знаете, что альпинизм – спорт мужественных.

– Как же! Видел по телевизору.

– Однако восхождения проводятся без высоких целей. Вернее, просто с целью покорять вершины.

– Верно! – согласился Раппопорт. – И вы?..

– Мы организуем восхождение в честь столетия Владимира Ильича. Группа комсомольцев во главе с мастером спорта Степановым понесет на вершину пика Коммунизма бюст Ленина и там его установит. Навечно. Я политрук группы. Мы хотели бы, чтобы ваша газета регулярно рассказывала читателям о подготовке беспримерного похода.

– А бюст тяжелый?

– Скажи, Степанов! – приказал политрук.

– Двадцать четыре и семь десятых килограмма...

– А вы, политрук, тоже понесете свой бюст?

– Нет, по плану я буду координировать штурм с базы.

– Понял! Кто же понесет?

– Степанов.

– А остальные?

– Мы – ответственные организаторы восхождения, – объяснил политрук, – занимаемся пропагандой мероприятия. Ведь поход высшей категории трудности! Ну, а политическое значение...

– Все ясно! – засопел Раппопорт. – Я приветствую ваше начинание, молодые люди! Только давайте, ребятки, договоримся так. Я уже целиком на вашей стороне. А вдруг не донесете бюст? Ну зачем вам вляпываться? Я уверен, что все будет в порядке. Донесете – немедленно сообщим... Даю слово советского газетчика!

Не ожидая, пока трое найдутся, что возразить, он поднялся и начал всем им сердечно трясти руки.

– Желаю успеха! Хорошее дело задумал комсомол! Подумать только: двадцать четыре и семь десятых килограмма, а?..

Похлопывая альпинистов по плечам, он вытолкнул их за дверь.

– Слышал, Яков Маркыч? – спросил, пробегая мимо, редактор отдела промышленности Алексеев. – У Макарецва инфаркт!

– Шутишь!

– Упал, выходя из ЦК. Но влез обратно на четвереньках. Железная воля! Вот так, живешь-живешь и не ведаешь, где прихватит...

Весть о главном с быстротой электричества распространилась по редакции. Из отделов сотрудники повалили в коридо-

ры узнать подробности. У каждого нашлись информация, предположения, опасения за будущее. Впрочем, именно информации было недостаточно. Кто уже слышал кое-что, от многократного пересказывания обзавелся подробностями.

– За ответственность приходится платить здоровьем, – философски изрек Алексеев. – Страна даром денег не платит.

– При чем тут ответственность? Да ему, небось, вlepили за «Королеву шантеклера», и он с катушек долой, – говорил фотокор Саша Какабадзе. – Помните звонок? Критическую рецензию дали, а художавому товарищу фильм понравился... Разве редактор мог такое предположить?

– Что понравилось-то?

– Да там у героини груди большие, в его вкусе.

– В его бывшем вкусе, – холодно уточнил Ивлев, спецкор секретариата.

– Потише, Славик, – осадил его Яков Маркович и оглянулся. – Понравилась не груди, а то, что режиссер – испанский коммунист.

– А по-моему, – сказал замответсекретаря Езиков, – Макарец сам виноват. Все смягчал: и нашим, и вашим. Буфера между вагонами часто летят – на них нагрузка большая...

Раппопорт слушал. Он вообще не любил говорить для такого большого количества ушей. Он оглядывал стоящих. Кто мог подложить папку? Кто довел хорошего человека до инфаркта?

– Сам, говоришь, виноват? – Раппопорт приблизился к Езикову. – И в чем же ты его обвиняешь? В мягкости?

– Не обвиняю я его! – отступил Езиков. – Какая там мягкость? Смешно!

– Тебе смешно, – вмешалась в разговор машинистка Светлозерская. – У тебя ее нет и никогда не будет. А Макарец – мужик хоть куда! Он не виноват, что не получалось.

– Чего не получалось? – уточнил Езиков.

– Ничего! Помните историю со столовой?

– Как же! – сказал Какабадзе. – Я сам принимал участие в рейде от комитета комсомола.

Однажды Макарец спросил на планерке, почему нет Алексеева. «Он отравился, – ответили ему, – что-то съел в редакционной столовке». Днем Макарец сам спустился в столовую.

Он постоял в очереди с подносом, сел за столик, понюхал первое, отставил его в сторону, ковырнул котлету вилкой. Его чуть не стошнило, а ведь он обязан беречь себя для партии. Он вызвал Кашина.

– Черт знает что! Почему так невкусно?

– Воруют, видимо, – предположил Кашин.

– Что ж мы молчим? А еще журналисты! Чего требовать от других, когда у себя наладить не можем?

– Вы – главный редактор, Игорь Иванович. Можете попробовать.

– И пробовать не стану! Просто возьму и сделаю!

Редактор позвонил по вертушке начальнику ОБХСС города. В тот же день у выхода из редакции «Трудовой правды» появился корректный молодой человек, скромно одетый. Каждую женщину, спускавшуюся по лестнице с тяжелой сумкой, он вежливо спрашивал:

– Простите, вы не в столовой работаете? Она кивала, и он просил ее пройти в соседнюю комнату. Там дежурили возле весов двое сотрудников милиции и представители народного контроля. Они вынимали из сумок украденные продукты, взвешивали и составляли акты. На следующий день коллектив столовой был полностью, от судомоек до директора, заменен, и сотрудники редакции ходили обедать по два и по три раза, до того было чисто и вкусно. Через день суп стал менее вкусным, через два – второе. Через неделю все стало по-старому. Макарец ездил в цековскую столовую и к этому вопросу больше не возвращался.

– Наше дело петушиное, – сказал Ивлев, – прокукарекал, а там хоть не рассветай!

– Игорь Иванович не виноват, – обиделась Анечка.

– Конечно! – успокоил ее Раппопорт. – Зачем обвинять человека в том, что у него были благие порывы? Другие и порывов не имеют.

– О чем спор, товарищи?

В коридоре появился Кашин.

– Да вот, Валентин Афанасьевич, – сказал Езиков, – размышляем, как работать без головы.

– Руководство тоже этим озабочено, – Кашин оглядел всех.

– Я звонил в больницу. На Игоря Ивановича нельзя рассчиты-



вать месяца два, а может, и все три. Что касается временной замены, то в ЦК уже дали добро Степану Трофимычу.

В комнате у Якова Марковича, дверь в которую оставалась полуоткрытой, зазвонил телефон.

– Товарищ Тавров, Кавалеров беспокоит из райкома. Мне уже доложили, что у вас с редактором неприятность... Вы ведь мою статью курируете... Как она теперь?

– Не от меня зависит. Макарецв-то что обещал?

– Он обещал! И нет его. Кто вместо редактора? Ягубов?..

У-у...

Послушав короткие гудки, Раппопорт пожал плечами и аккуратно положил трубку на аппарат.

## 18. ЯГУБОВ СТЕПАН ТРОФИМОВИЧ

### ИЗ АНКЕТЫ ПО УЧЕТУ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

*Занимаемая должность: первый заместитель главного редактора газеты «Трудовая правда».*

*Родился 12 сентября 1920 г. в станице Нагутская, Ставропольского края.*

*Русский. Отец русский, мать русская.*

*Социальное происхождение – крестьянин.*

*Член КПСС с 1939 г. Партбилет №0177864. Взысканий не имеет.*

*Образование высшее, окончил ВПШ, и специальное (копии документов об окончании прилагаются в анкете).*

*Специальность: партийный работник.*

*Полный список всех родственников, живых и умерших, их места проживания и захоронения – указаны в приложении к анкете.*

*Знание языков: английский, немецкий, венгерский – владеет достаточно свободно.*

*Пребывание за границей (список служебных командировок прилагается).*

*Воинское звание – подполковник запаса, спецучет.*

*Участие в выборных органах: член Московского горкома КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР, член правления Союза журналистов СССР, член правления Агентства печати Новости, зам-*

*председателя Общества дружбы СССР – Венгрия, член партбюро редакции.*

*Правительственные награды: орден Красной Звезды, медали.*

*Семейное положение: женат. Жена – Ягубова (Топилина) Нина Федоровна, государственный тренер по теннису. Дочь Валентина 16 лет, сын Трофим 13 лет.*

*Паспорт ХХХI СА №510408, выдан 123 о/м Москвы 12 января 1966 г.*

*Прописан постоянно: Бережковская набережная, 4, кв. 186.*

*Дом. тел. 240-22-31. (Адрес и телефон в справочниках отсутствуют и адресным бюро не выдаются.)*

## ПОДЪЕМЫ И СПУСКИ ЯГУБОВА

Степан Трофимович, хотя и был невысокого роста, но смотрелся человеком спортивным и выглядел значительно моложе своих сорока восьми. Он следил за собой, тщательно и с удовольствием брился утром и вечером (утром для себя, вечером для жены), делал зарядку, два раза в неделю, даже после дежурства, ездил плавать в бассейн ЦСКА на Ленинградский проспект. Там отводилось время для генералитета Министерства обороны, и Ягубов нашел канал, чтобы плавать вместе с ними. Он никогда не болел и не простужался. Отдыхая осенью в санатории ЦК на Рижском взморье, купался не в бассейне – в ледяном море, – и хоть бы хны – ни радикулита, ни даже насморка. Когда при нем жаловались на головную боль, он участливо, и притом искренне, спрашивал:

– А это как?

Голова его с аккуратно подстриженной черной шевелюрой без единого седого волоска не болела ни разу в жизни. Когда было необходимо, он выпивал ровно столько, сколько пили другие, чтобы не возникало ни мысли, что прикидывается, будто не пьет, ни что перебирает. Макарецев посмеивался:

– В праведники торопитесь, Степан Трофимыч?

Ягубов вежливо улыбался, стараясь при этом не коситься на изрядное редакторское брюшко.

Отец его, Трофим Ягубов, отчества своего не знал. В зажиточной казацкой станице Нагутской родни он не имел, считал-

ся пришлым, хотя на кусок земли и дом пожаловаться не мог. Человек он был сухой и немногословный, ходил с костылем: ногу переломило тележным колесом, и кости неправильно срослись. Жили Ягубовы неплохо. Детей было сперва трое, потом двоих похоронили в эпидемию. Не хотел Трофим Ягубов, чтобы его раскулачивали. Он записался в колхоз, вступил в партию и стал помогать в деле коллективизации. Оставшиеся в живых после организации колхоза соседи боялись Трофима Ягубова и кланялись ему издали. Семья голодала. Степан, когда подрос, во всем помогал отцу. Он любил не без гордости рассказать при случае, как отец его, старый уже, повторяет:

– Партия велела – Трофим ответил: «Есть»!

Но для подъема Ягубова на нынешнюю высоту решающим фактором оказалось не его великолепное происхождение и даже не качества, воспитанные им в себе, а рост.

Степан с юности страдал оттого, что наделен высотой всего 149 сантиметров. И хотя на издевки он неизменно отвечал поговоркой «Сам маленький, зато хуй большой», все же болезненно переживал насмешки товарищей, носил ботинки на толстых подошвах, которые сам прибавал, но это мало помогло.

Окончив десятилетку, Степан, резвый на ум и сметливость, раздобыл справку и уехал из колхоза. В Москве он поступил в авиационный институт. Но после первого курса его отчислили: он научился лишь отличать мат от сопромата и не смог сдать на «удовлетворительно» ни одного предмета, кроме истории партии, которую отец когда-то читал сам себе по вечерам вслух. Брат отца, выбившийся в люди, помог устроить Степана постовым милиционером. Если бы не нажим дяди и не его связи, такого низкорослого не взяли бы ни за что. Ягубов попал на работу в НКВД.

Стоя на посту, Степан переставал чувствовать себя неполноценным. Напротив, у него появилось ощущение превосходства над людьми, которыми он может повелевать. Они – просто граждане, а он – Советская власть. Захочет – остановит, проверит документы, захочет – отведет в милицию. Все, кроме начальства, обязаны его уважать, да и начальство тоже, потому что он уважает начальство. У него были все данные, чтобы расти вопреки невозможному, и он был готов расти.

Степан не подозревал, что его рост (все те же 149 сантиметров) зарегистрирован в специальной картотеке. Как отличника политической подготовки после дополнительной проверки Ягубова отправили в училище под Москву. Здесь курсантов учили стрелять из пистолета по движущимся силуэтам людей и говорить по-английски и по-немецки. Кроме того, Ягубов совершил около шестидесяти прыжков с парашютом, подтрунивая над теми своими товарищами, которые бледнели, едва самолет начинал набор высоты. Вскоре Степан узнал, что курсы подчиняются другому ведомству того же НКВД – Главному управлению ГБ. Однако обстоятельство, что их обучали всех вместе, а не по одному на секретных квартирах, предсказывало: готовят Ягубова вовсе не в разведчики, как ему мечталось.

Войны курсанты не ощущали. Жизнь текла размеренно, прерываясь только для прохождения практики. Такой практикой была посылка курсантов на охрану спецобъектов или мероприятия по ликвидации или переселению враждебно настроенных нацменьшинств. Так, Ягубов с товарищами выселял из Поволжья немцев, которых не любил с детства. Подталкивая автоматами толпу женщин с орущими детьми и стариков, курсанты заполняли ими крытые машины, освобождая дома для настоящих советских людей.

В общежитии на тумбочке возле койки Степана всегда стоял в рамке портрет Сталина. Раз училище подняли по тревоге и привезли на аэродром. На поле стояли два самолета, двигатели которых, говорили, работают круглосуточно. Прошел слух, что сам Сталин полетит в эвакуацию на восток. Курсантов продержали в цепочке охраны около трех часов, собрали и увезли. Говорили, Сталин улетел с другого аэродрома. Но после стало известно: вождь остался в Москве. Степан надеялся, что училище выведут на парад 7 ноября или 1 мая. Товарища Сталина он увидит сразу. Величайший вождь всех времен и народов будет выше всех стоящих на мавзолее. И это представление соответствовало действительности.

Сталину, рост которого был сто шестьдесят сантиметров, на мавзолее подставляли особую, крытую многослойным ковром тумбу с двумя невысокими перильцами по бокам, чтобы не оступиться. Комплекс роста Сталина волновал больше, чем

Ягубова, потому что он был Сталин. Фотографии в газетах, где вождь мирового пролетариата стоял с людьми выше него, в ТАССе по неписаному указанию разрезали и части сдвигали так, чтобы товарищ Сталин оказывался чуть-чуть выше. Швы тщательно ретушировались. Сталин не терпел, чтобы прислуга была выше его ростом. Поэтому со времен начальника личной охраны Сталина латыша Салпетера, посаженного еще в 38-м, сохранился порядок подбирать телохранителей, секретарей, поваров, официантов, банщиков, садовников, шоферов и весь остальной персонал ростом не более ста пятидесяти пяти сантиметров. Что делать со своими соратниками, которые выше ростом, товарищ Сталин решал сам.

Тем временем среди преподавателей Ягубова появился всегда улыбающийся и безукоризненно одетый человек с тонкими, подбритыми сверху усиками и галстуком-бабочкой.

– Допустим, вы будете меня звать Кудреватых...

Курсанты улыбались: Кудреватых был лысым. Они слышали, что это бывший резидент нашей разведки в Берлине. Служил он официантом в ресторане, куда часто ходили чины рейха, провалился, но его удалось переправить обратно. Кудреватых преподавал хорошие манеры, учил, как накрывать стол «на три хрустала» и «на семь хрустала». А заодно показывал, как, стоя вполборота и делая специфически индифферентное лицо, удобнее слушать, о чем говорят гости. Курсанты могли только гадать, куда и зачем их готовят.

Неожиданно был зачитан приказ о производстве их в чины младших лейтенантов и выдана новая форма: черные жилеты с черными брюками, белоснежные манишки и галстуки-бабочки. Когда учащиеся переоделись и были вновь построены, их ознакомили с задачей: на правительственном приеме обслуживать иностранцев. Следует улыбаться и делать вид, что ничего не понимают. В случае затруднений звать на помощь метрдотеля, который переведет и снова уйдет. В задачу входит слушать, о чем говорят между собой иностранцы, не упуская деталей, и, выйдя на кухню, быстро и точно пересказывать метрдотелю – подполковнику, руководителю группы официантов. Гостей следовало называть по номерам.

Автобус с занавесками на окнах, отодвигать которые было запрещено, въехал в Москву. Кое-что, когда автобус тормозил

и занавески качались, все же можно было разглядеть. Стекла в домах, заклеенные бумагой крест-накрест, мешки с песком у витрин и зенитные батареи. Автобус подошел к воротам, и занавеска качнулась. Степан мгновенно сообразил, что их везут в Кремль. Сердце курсанта радостно забилося: вот куда ты взлетел, Ягубов! Видели бы тебя сейчас станичные девки. Степан скосил глаза на соседей. Те сидели с суровыми лицами и смотрели прямо перед собой, как велит строевой устав. Ягубов тоже стал смотреть вперед.

Прием начался. Степан четко выполнял свою работу, стоя позади толстого англичанина №14 – нового пресс-атташе, больше похожего на жонглера, которого Ягубов мальчишкой видел в цирке. Англичанин болтал с соседом-американцем всякую чепуху о женщинах и не спешил раскрывать государственные тайны. Вдруг по залу пронеслось волнение, и все встали. Ягубова не предупредили, как в этом случае себя вести, и он тихонько спросил соседа, обслуживавшего американца №15:

– Петя, почему встают?

– Дубина! Не видишь – Сталин?! Тот, сопровождаемый соратниками, шел, засунув правую руку между пуговицами и оттопырив большой палец. Левой рукой он время от времени разглаживал орден на груди нового мундира с источающими сияние золотыми погонами. Степан видел Сталина только на портретах, и его удивило, что живой он был в брюках, а не в галифе и сапогах.

В сапогах Сталин действительно ходил всю жизнь с малолетства и другой обуви не признавал. Значительный процент планируемого выпуска обуви по всем фабрикам страны составляли поэтому сапоги. Ноги вождя привыкли к рабству и долгие годы терпели. А потом вдруг сдались сразу. На левой ноге второй и третий пальцы, сросшиеся от рождения, болели особенно. Врачи долго обсуждали причины болей и во избежание тромбоза осторожно порекомендовали надеть более легкую обувь, чтобы конечности могли дышать.

Сталину сшили особые ботинки из кожи, привезенной из Сванетии. Они шились на колодках сапог, как всегда с высокими каблуками, только верх в виде ботинок – без шнурков, с растягивающейся резинкой по бокам. Сталин попросил снять

о себе хроникальный фильм, чтобы увидеть, как он выглядит в брюках и новых ботинках. Фильм понравился, и пленку приказали уничтожить. 17 января 43-го был издан приказ о введении новой формы для армии – мундиров и брюк.

Сегодня Сталин первый раз вышел на прием в ботинках. Ему казалось, без сапог он лишился уверенности в абсолютной правильности каждого шага. Он понимал, что чувствует это только сам; соратники не подозревают о его душевной травме. Они думают, вождь просто первым подает пример. Никто не мог так умело менять местами причины и следствия, как он.

С этого дня на миллионах фотографий и портретов, распространяемых ТАССом по всему миру, Сталин будет стоять во френче и брюках. Само собой, ботинки и брюки вместо сапог и галифе наденут милиция, железнодорожники, прокуроры, летчики, шахтеры. Страна приравняется к облику вождя. Все это будет после, а сегодня Сталин молил Бога о том, чтобы никто в мире не догадался о причине смены сапог на ботинки. Враги партии только и ждут, чтобы у него что-нибудь заболело. Он не позволил себе расслабиться. Он думал о народе, который надо бы спасти. Ему нужно получить от Запада продовольствие, военную технику, уговорить их открыть Второй фронт, припугнуть, что в случае победы мы захватим Европу.

Сталин прошел так близко, что Степан мог прикоснуться к нему рукой. Он заметил, что туловище его было коротким, узким, а руки чересчур длинными. Зубы неровные и плохие. Сталин боялся зубной боли и не лечил их. К войне он отрастил большой живот – много ел, но мало двигался. Волосы стали редкими, щеки дряблыми, – кремлевский цвет лица от ночного сидения в кабинетах. Ягубов возликовал. Оказывается, Сталин был не намного выше его! Великий вождь сел наискосок от ягубовского пресс-атташе №14. Позади сталинского стула стоял неизвестный официант. Сталин указал пальцем на свой бокал, и тот мгновенно наполнился сухим вином.

– Cold water, please, – сказал четырнадцатый англичанин.

Ягубов стоял, замороженный Сталиным.

– Воды! Воды налей! – прошептал неизвестно откуда взявшийся метрдотель.

Только тут до Ягубова дошло. Он схватил бутылку боржоми, обмотал ее белой салфеткой и налил англичанину полбокала. Тот кивнул и залпом выпил.

– Вы заметили, дружище, – тихо сказал англичанин №14 американцу №15, – что русские немеют, когда видят Сталина? Он их гипнотизирует своими крашеными усами. Взгляните на этого болвана-официанта!

«Вот сволочь, империалист проклятый, – обиженно подумал Степан. – Полагает, я по-английски не понимаю. Погоди; гад!»

Сталин откашлялся, слегка согнувшись (левая рука и плечо плохо слушались с детства из-за несчастного случая), поднялся с бокалом в руке. Ягубов вытянулся по стойке смирно. Но метрдотель тронул его за локоть и велел следовать на кухню.

– Ну, что? – спросил он по дороге.

Ягубов решил чуть-чуть сгустить краски, чтобы отомстить английскому империалисту.

– Номер четырнадцать критически отозвался о товарище Сталине...

– Эти сведения не нужны, – сухоотреагировал метрдотель, глядя в сторону. – Цифры и факты не сообщал?

– Пока нет, – ответил Ягубов, чувствуя, что допустил оплошность, и, чтобы исправиться, спросил:

– Какие новые указания?

– Клади на поднос тарелки с горячим!

Он вернулся в зал, когда аплодировали. Сталин спокойно слушал иностранцев, покуривая свою данкилловскую трубку. Вдруг он посмотрел цепкими маленькими глазами на английского пресс-атташе и спросил:

– А вы, господин, что пьете?

– Боржоми, – ответил англичанин №14 по-русски. – А теперь, пожалуй, попробую коньяк...

– Коньяк?.. – задумался Сталин. – Армянский или грузинский?

И он опять пристально глянул на англичанина, проникая в его мысли. Тот не знал что ответить и виновато улыбнулся.

– Хотя я грузин, – сказал Сталин, – армянский коньяк лучше. Как видите, для коммунистов не существует нацио-



нальных привилегий. Например, все мы, советские люди, любим советское шампанское крымского разлива.

Пресс-атташе подумал, что он слишком доверял английским газетам. В действительности Сталин гораздо демократичнее, и лицо его вовсе не так сильно обезображено оспой, как пишут на Западе. Надо будет об этом сказать журналистам.

А Сталин между тем продолжал:

– Лучше всего, считаем мы, шампанское из крымских погребов, разлитое в конце прошлого века греческими виноделами для русской аристократии. Теперь у нас его пьет рабочий класс и трудовое крестьянство. И вы пейте, не стесняйтесь!..

Сталин указал глазами на бутылку и щелкнул пальцами. Степан и двое других официантов бросились выполнять указание. Ягубов оказался расторопнее. Он первым схватил бутылку и уже хотел налить в бокал товарищу Сталину. Но Сталин указал на бокал англичанина. Когда Степан налил и снова повернулся, официант Сталина уже держал в руках другую такую же бутылку, отлил из нее глоток в маленькую рюмку, попробовал, а затем налил Сталину.

Шампанское чуть зашкотало в ноздрях англичанина, оказалось не приторным и легким. Он не стал ставить бокал на стол, а не глядя протянул Ягубову, чтобы тот долил еще. Степан стоял боком, как его учили, чтобы лучше слышать застольный разговор. Спohватившись, он взял бокал, но то ли взял не очень цепко, то ли англичанин рано разжал пальцы. Бокал упал на ковер.

Ягубов краем глаза оглядел сидящих, не заметил ли кто его оплошности, и пнул бокал носком ботинка под стол. Он быстро взял с подноса чистый бокал и налил шампанского. Англичанин отпил и, обратившись к Сталину, похвалил крымское вино и вкус простого советского народа, который знает что пить.

– Я же говорил! – удовлетворенно заметил Сталин и разгладил большим пальцем усы.

Когда на следующий день Берия докладывал Сталину о том, что говорили между собой дипломаты, тот что-то рисовал у себя в блокноте. Берия вытянул шею и увидел, что Сталин рисует футбольный мяч. Неожиданно он прервал Берию на грузинском:

- Кстати, Лаврентий, как фамилия того футболиста?
- Из какой команды, Иосиф Виссарионович?

Никто не называл Сталина по имени и отчеству. Он этого не терпел. Все обращались к нему, называя «товарищем Сталиным». Только для Берии он делал исключение.

– Не отворачивайся, смотри мне в глаза. Футболист из твоей команды, Лаврентий!

– «Динамо»?

– Зачем «Динамо»? Ты стал рассеянным в последнее время... – Сталин взял со стола трубку, пошевелил пальцем золу, разжег спичкой, попыхтел. – Как фамилия футболиста, который отпасовал бокал под стол?..

Оказалось, никто ничего не заметил. А Сталин любил поражать наблюдательностью. Фамилию Берия сообщил немного позже по телефону.

– Должен заметить, что официант из этого Ягубова никудышный, – сказал Сталин. – Нервный какой-то... Может, он слишком способный для этой работы, а?

– Уберем.

– Удивил! Я и без тебя знаю, что уберете. Меня давно волнует, как легко вы убираете людей... Люди – это наши кадры.

Берия услышал, как Сталин на другом конце провода чмокает, разжигая трубку.

– Вот что, – посоветовал Иосиф Виссарионович. – Поручи-ка этому футболисту работу с учетом его профиля.

Лаврентий Павлович, поморщившись, вспомнил кровожадного карлика Ежова, которого Сталин сам нашел в провинции и выдвинул. Он вообще любит действовать по поговорке «Взят из грязи да посажен в князи». Значит, этот Ягубов интересуется его сейчас не случайно. И с этим мальчиком надо быть осторожным. Начальник канцелярии Лаврентия Павловича генерал Чернов получил указание, и Степана сделали директором стадиона НКВД «Динамо». На другой день он уже принимал дела, и бывший директор рассказывал Ягубову, стоя перед ним, сидящим в кресле, чем Степану предстоит заниматься. Старого директора отправили на фронт. У нового директора работы было немного. Спортивные залы и раздевалки под трибунами стадиона были заняты. В них размещалась школа

подготовки диверсантов, забрасывавшихся в тылы врага. Школой командовали другие.

Больше Сталин не вспомнил об этой своей шутке, хотя вообще любил время от времени проверять последствия. Вождя отвлекло строительство подземного тоннеля, по которому он мог ездить из своего дома в Кунцево в Кремль. Метрострой завершил проходку тоннеля. Сталин осмотрел дорогу, но ему показалось, что в тоннеле можно задохнуться, если случайно или преднамеренно произойдет обвал. Он еще немного подумал и дал указание пустить по тоннелю метро. Газеты стали писать про новую заботу великого вождя о благе народа.

Так Ягубов никогда и не узнал, кто немножко поруководил его судьбой. Всех прочих, занимавшихся его трудоустройством, позже расстреляли, не из-за Ягубова, конечно. В должности директора стадиона Степан почувствовал вкус не только к подчинению. Он стал номенклатурой. Вскоре он познакомился с Ниной, дочерью Топилина, заведующего отделом ЦК. Нина пришла на стадион «Динамо» играть в теннис. Она была не намного выше Степана. Ягубов создал ей особые условия, прикрепил лучшего личного тренера. Он сам приходил наблюдать, как идут у Нины тренировки, и в процессе наблюдения Нина Топилина ему понравилась. Некоторое время спустя ему удалось заполучить Нину, что облегчило женитьбу.

Из директоров стадиона тесть, решив вопрос с Берией и с отделом пропаганды ЦК, сумел перебросить Степана, к этому времени окончившего Высшую партшколу, на укрепление газеты «Советский спорт». Так Ягубов сделался журналистом. Теперь он получил возможность объяснять широким массам, что спорт – дело партийное, дело политическое, могучее средство воспитания советского патриотизма. Спорт также идейно закаливал многомиллионную армию болельщиков. Ягубовского тестя Топилина отправили на пенсию. Тот пытался подавать Ягубову советы, как вести себя наверху или с подчиненными, но Ягубов обрезал его, с улыбкой похлопывая по плечу.

– Ваши старые методы, папаша, не годятся. Нужны люди, которые умеют не болтать, а работать. Посмотрите, сколько ошибок вы наделали – теперь помалкивайте!

Но и сам Степан повис на волоске. Среди других, кого на всякий случай отправили из Москвы подальше, Ягубов по

направлению Берии попал на работу в Венгрию. Этим решением Берия убивал двух зайцев. Он отодвигал тех, кто при Сталине был в фаворе, чтобы показать, что он сам против Сталина. Но отодвигал так, чтобы старые кадры, как только ситуация переменится в его пользу, можно было бы быстро вернуть.

Тридцатитрехлетний маленький здоровяк Ягубов прибыл в посольство СССР в Венгрии и предстал пред очи посла Кегельбанова вторым секретарем посольства. Жена осталась с родителями в Москве.

– А мы с вами земляки, Егор Андронович, – поспешил обрадовать Кегельбанова Ягубов.

Кегельбанов с личным делом нового сотрудника уже ознакомился. Он не мог не оценить деловитости второго секретаря и его исполнительности. Ягубов наблюдал за сотрудниками посольства и прибывавшими в командировки советскими гражданами: инженерами, спортсменами, артистами, партийными и комсомольскими работниками. Скромный опыт в этой области у него имелся: он умел слушать вполоборота. Посол Кегельбанов был с Ягубовым крайне обходителен не потому, что они родились в одной станице. Он знал: земляк наблюдает за ним тоже и как земляк может знать больше других. Понимая это, Степан старался делом доказать послу, что он, напротив, умеет ценить заботу о себе и своих не выдаст.

Когда Берия был расстрелян, Степан уже чувствовал себя кадром Кегельбанова. И не ошибся: в списке работников госбезопасности, секретно награжденных орденами за умелое руководство подавлением контрреволюции в Будапеште в 56-м, первым стоял Кегельбанов, а последним Ягубов. Вскоре посла Кегельбанова, про которого западные газеты писали, что у него руки в крови, пришлось забрать из Венгрии. Ягубов занимался более скромным делом и к тому же ночью. Он руководил очисткой улиц от трупов. О нем западные газеты не писали. Он остался служить в посольстве, однако тоже мечтал вернуться в Москву.

Ягубовский тесть хотя и гулял на даче, пребывая на пенсии, однако дача эта была не очень далеко от дачи Хрущева, и они оставались товарищами. Он рассказал Хрущеву, что его дочь скучает без мужа. Чистка партийного аппарата, столь необ-

ходимая Никите Сергеевичу, проходила со скрипом. Свои люди были нужны. Хрущев позвонил Кегельбанову выяснить, кто такой Ягубов, – фамилия вроде знакомая. Кегельбанов в это время уже заведовал отделом в ЦК и напомнил про список награжденных за Венгрию.

– Помню, – сказал Никита Сергеевич. – А что за человек?

– В деле проверен. Наш! – заключил Кегельбанов, которому тоже нужны были свои люди.

Через три дня Ягубов был отозван «в связи с переводом на другую работу» и приземлился в Москве. Здесь вместо Информбюро организовалось агентство печати «Новости». Хрущев включил в состав правления своего зятя Аджубея, а заодно топилинского зятя Ягубова. В АПН Степан Трофимович смог проявить свой опыт организатора. Издательство АПН начало бесплатно рассылать пропагандистскую литературу во все страны. На местах под руководством советских посольств создавались пункты АПН, кадры в которые направлялись Комитетом госбезопасности и подбирались из местных коммунистов.

Пребывание за границей, хотя всего лишь в Венгрии, и руководящая работа не могли не изменить внешнего облика и кругозора Степана Трофимовича. Некоторая простоватость полностью исчезла. Понимание жизни стало более значительным. Он скромно и хорошо одевался, был приятным собеседником, чувствовал юмор, знал во всем меру. Он никогда не ошибался, кому звонить лично, а кому через секретаршу, и в каком тоне разговаривать. Он стал личностью, в которой мнение о себе и реальные достижения, хотя и не уравнивались полностью, но сблизились. Он понимал, что от результатов пропаганды его дальнейший рост зависел косвенно, от взаимоотношений с руководством – прямо. У Степана Трофимовича появились и преданные ему подчиненные. Дети росли здоровыми, послушными и хорошо учились. Жена после окончания института физкультуры работала мало, но с удовольствием играла с детьми в теннис. Он любил детей, играл с ними вечерами, летом отправлял с женой к старикам на Кубань, чтобы с малолетства приучались к труду. Словом, Ягубов с полным основанием мог считать, что все у него в жизни складывается как нельзя лучше.

Единственное, что его огорчало, это торопливость, происходившая, возможно, из его мелкого роста. Он говорил и

ходил слишком быстро. Поспешность умаляла солидность. Ему приходилось останавливать себя, делать паузу, а затем говорить и двигаться медленнее, без суеты, в соответствии с его теперешним положением. И все чаще он задумывался о том, что ему пора уже совершить новый прыжок. Не забыли ли о нем?

Когда приподнялась Чехословакия, удобнее всего было бы срочно направить туда послом Кегельбанова, имевшего большой опыт работы в подобной ситуации в Венгрии. Но это вызвало бы нежелательную реакцию. Политбюро назначает Кегельбанова председателем Комитета госбезопасности, и профилактические мероприятия в Праге под его командованием начинают организовывать из Москвы. Егору Андроновичу понадобились дополнительные кадры. Список награжденных орденами за Венгрию лежал перед ним на столе. Кегельбанов учитывал не только опыт работы в Венгрии, но и последующую работу товарищей – ведь прошло двенадцать лет.

Ягубов позвонил помощник Кегельбанова Шамаев, с которым они в Венгрии были на «ты», и предупредил, что он может понадобиться.

– Всегда готов! – просто и даже весело ответил Ягубов пионерским приветствием, слегка привстав.

– Вы в отпуск не собираетесь?

– Это будет зависеть от указаний.

– Придется отпуск пока отложить.

– Слушаюсь, – ответил он, не догадываясь зачем нужен.

События развивались, а на Лубянке обходились без него. Впрочем, слова «Лубянка» Ягубов не уважал. Он говорил обычно «аппарат» – скромно и по делу. 21 августа утром Ягубов услышал по радио сообщение ТАСС об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи.

Шамаев опять позвонил ему, сказал, чтобы он доехал до площади Ногина, остановился возле Китайгородской стены. Едва Ягубов подъехал, к нему подошел человек и попросил пересесть в другую машину – с занавесками. Через пять минут машина нырнула в главное здание «аппарата», в ворота, что напротив гастронома. Они молча поднялись на лифте на третий этаж и пошли по длинному пустынному коридору со свет-

ло-зелеными стенами. В углах стояла охрана. Ягубов ни о чем не спрашивал. Он заметил табличку «Председатель», когда они вошли в дверь.

В огромном предбаннике за громадным столом с разноцветными телефонами сидел пожилой секретарь в форме майора. Сопровождающий Ягубова человек исчез. На пульте загорелся красный сигнал. Секретарь молча встал и открыл дверь. Далеко в просторном кабинете со стенами из красного дерева, украшенными восточными коврами еще Берией, Ягубов увидел за столом знакомое лицо в тонких золотых очках. Владелец кабинета поправлял манжеты. Кегельбанов поседел, волосы прижались, очки не скрывали мешков под глазами. Егор Андронович поднялся, сдержанно поздоровался, спросил о самочувствии. Степан Трофимович, как уже говорилось, был всегда здоров. У Ягубова мелькнула мысль, что его пошлют в Чехословакию для профилактической работы, с которой он успешно справился в Венгрии. Но тут же сообразил: раз его привезли прямо в аппарат, за границу не пошлют.

– Я тебя рекомендовал, товарищ Ягубов, – сказал Кегельбанов, глядя ему в глаза, – чтобы подготовить обращение группы членов ЦК КПЧ, правительства и национального собрания ЧССР с просьбой о помощи. Помощь, как ты знаешь, мы прошлой ночью оказали...

– Я в курсе, – кивнул Ягубов, хотя он был не совсем в курсе. – Когда приступить?

– Сейчас.

Кегельбанов надавил кнопку и, когда в дверях появился пожилой майор, вытянувшийся по стойке смирно, добавил:

– Дай ему материалы...

– Одна загвоздочка, Егор Андронович, – произнес Ягубов виновато, дождавшись, когда майор вышел. – Я ведь чешским не владею...

– Знаю, – в голосе Кегельбанова Ягубову почудилась ирония. – Переводчика, я думаю, мы найдем. Садись и работай.

Председатель открыл своим ключом потайную дверь и ушел. Степан потоптался, не решаясь сесть за стол председателя с шестью телефонами. Он примостился рядом, за длинным, покрытым зеленым сукном столом для совещаний. На Ягубова

пристально смотрел с портрета Дзержинский. Солнце слепило, ложась через огромные окна длинными прямоугольниками на потолок, и заставляло шуриться.

Находясь в возбуждении, Ягубов не терял способности рассуждать. Он не думал о том, почему именно на него пал выбор в столь ответственном поручении. В своей незаменимости он не сомневался. Он умеет работать оперативно. Тогда в Будапеште Ягубов не дал солдатам спать, подогнал грузовики, и к рассвету все трупы погрузили, вывезли и закопали в ямы. Даже улицы помыть успели. Ягубов и сам не спал – носился на газике из Буды в Пешт и обратно, хотя из окон еще стреляли. Нет, дело не только в оперативности, важно тут, что он еще и журналист. Но разве у Кегельбанова мало своих кадров, способных выполнить такую задачу? Тут важно еще и то, что он, Ягубов, в стороне. Свой и в то же время не свой. Надежный, но не из аппарата. Решение привлечь именно его было не только логичным, но и единственно правильным. Сомнениями он не страдал, Ягубов! Но в этом был и плюс: уверив себя, он тверже выполнял работу.

Майор принес подшивку «Правды» за июль и половину августа текущего, 68-го. Ягубов придвинул стопочку чистой бумаги. Задача осложнялась тем, что он никогда в жизни, если не считать школьных диктантов, ничего не писал. И даже не пробовал. Все, что ему нужно было, за него писали по его указаниям. Он был способен на большее, чем просто написать: он знал, что должно быть написано и зачем. Он мог создавать множество статей одновременно, заполнять текстом целые газеты, выпускать десятки книг. Самому писать было так же нелепо, как подметать свой кабинет. Для того, чтобы писать, имелись холуи.

Ягубов вздохнул, стал листать «Правду». В июле Чехословакия исчезла со страниц газеты. Опасались решений чрезвычайного съезда КПЧ и уговаривали. Дубчека по-хорошему звали в Москву, но пришлось выезжать в Чиерну-над-Тиссой. Какой же он коммунист, Дубчек, если сомневается? На что они намекали, чехи, говоря о социализме с человеческим лицом? Докатались до того, что открыли границу и можно свободно въезжать и выезжать! Коммунисты, а ведут себя, как дети! А вот и то, что Ягубову сейчас нужно: письмо чехословацких



рабочих с завода «Авто-Прага» – факсимиле девяноста девяти подписей. Под его письмом факсимиле не будет. Вот – это важно: «Священный долг всех коммунистов» – теоретическая статья. Фундамент обращения к нам чехов со своей большой просьбой.

Ягубов все помнил и так, но долистал «Правду» до последнего номера, до заявления ТАСС. Партийные и государственные деятели ЧССР, говорилось там, обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой... Уже обратились, а текст не готов – вот какая недоработка! Теперь главное – начать. Вдруг в памяти само всплыло обращение: «Братья и сестры!»

Такое начало ему понравилось. Так обратился Сталин к народу в начале войны. После, когда Ягубов открыл «Правду», он увидел, что его обращение поправили, написали: «Мужчины и женщины!» И все же он остался при своем мнении, что у Сталина и у него было написано лучше.

А пока чувствовал: не надо давить на политику, надо нажимать на национальную гордость чехов. Уговаривать лучше вежливо, без насилия, чтобы они решали как бы самостоятельно. Тем более, что войска уже введены и можно не беспокоиться. «Мы обращаемся к вам, уважаемые граждане», – написал далее Степан Трофимович. К готовым формулировкам он подошел творчески. «Гнев и возмущение всего советского народа», «бешеные наемники», «подстрекатели», «реваншисты», «разгул реакции» – это все он отбросил, выбрал более мягкие слова, сохранив лишь твердую партийную позицию. После первых мучительных поисков писать стало легче, перо заскользило. Закончив писать, Ягубов позвал майора и сказал, что ему нужна машинистка.

– Грамотная! – прибавил он.

Майор кивнул, удалился и через минуту вошел обратно с машинкой в руках. Он действительно тархтел, как пулемет, и вскоре текст лежал на столе. Вверху было написано: «Без распространения из кабинета». За ворота Ягубова вывез тот же сопровождающий. Когда Степан Трофимович пересел в ожидавшую его «Волгу», шофер только плечом повел.

– Устал, небось? – спросил Ягубов. – Ничего! Человек – существо выносливое.

Настроение у Ягубова было праздничное. Он принял участие, выражаясь языком газет, в спасении социалистической страны от позора – выхода из коммунистического лагеря. Позже и сами чехи это осознают. Ягубов войдет в их историю, станет национальным героем. Когда-нибудь это узнает все прогрессивное человечество, пока не знала даже жена.

Понадобился Степан Трофимович снова на следующий день. Он был назначен редактором выпускаемой чешскими патриотами газеты «Праци», которая начала выходить в Дрездене и бесплатно разбрасываться в Чехословакии, освобожденной советскими войсками. Газету чешских патриотов делали в Москве, в агентстве печати «Новости», по месту основной работы Ягубова. Тираж из Дрездена возили на военных вертолетах. На вертолете разбился журналист Карл Непомнящий – погиб, раздавленный пачками газет. Хоронили его в Москве, скрыв причину смерти. Ягубов работал день и ночь, лично проверяя и согласовывая каждую строку. Он побледнел, похудел. Чехи читать газету не хотели.

Когда положение в Чехословакии нормализовали, надобность в этом оперативном органе чешских патриотов отпала. Выполнив историческую миссию, Ягубов был уверен, что он заслуживает награды. Но секретность операции столь велика, что наградить его прямо нельзя. Он пришел к выводу, что можно ждать повышения. Ожидание получилось недолгим. В октябре ему разрешили поехать отдыхать. В аэропорт он отправился с женой и новым назначением: после отпуска приступить к работе первым заместителем редактора «Трудовой правды».

В анкетах Ягубов не указывал, что служил постовым милиционером. Он писал: занимал пост в системе НКВД. У всех настоящих чекистов в душе скрытое презрение к милиции. Степан Трофимович понимал, что ему везет в жизни, но считал, что это везение закономерно и является следствием его собственных качеств. Поэтому каждое место службы рассматривалось им как временное, ступенька, с которой можно подняться на следующую. Он стремился к наиболее ответственной работе, хотел быть выше других и, если бы ему дали руководить всеми, стал бы это делать умнее и правильнее тех, кто руководит сейчас. Ягубов не отрицал и често-

любия. Он смог бы принимать почести, видеть свои портреты, подумывал в шутку о том, как станицу Нагутскую переименуют в город Ягубов и поставят монумент в его честь. Однако будущее занимало его мысли гораздо меньше, чем настоящее.

Конкретный вариант был в том, чтобы уйти помощником к одному из членов Политбюро или секретарей ЦК, лучше всего к ведущему международные дела, где он, Ягубов, проверен. Но на такой пост не назначают, а выбирают. В выборах участвует один избиратель. В помощники берут в расчете на то, что у хозяина при помощнике прибавится еще одна извилина. Она у Ягубова имелась. Быстрому росту мешал только один серьезный недостаток – отменное здоровье. Люди слишком здорового вида не нравились членам Политбюро, и, чтобы попасть наверх, Ягубову еще предстояло поболеть и состариться.

Но и нынешнее назначение в «Трудовую правду» было серьезным повышением. Главными редакторами и их заместителями назначают только лиц, поработавших до этого в ЦК, чтобы знать их в работе лично. Для Ягубова, учитывая его заслуги, было сделано исключение. Видел он и опасность: Макарецв раньше работал в аппарате ЦК и, следовательно, имел там связи. Ягубов мог превратиться в мальчика для битья. Однако когда-то он хорошо прыгал с парашютом и кольцо выдерживал вовремя.

А и на старуху бывает проруха. Вскоре после перехода в «Трудовую правду» Ягубов, по звонку из ЦК, принимал в Союзе журналистов гостя – нового, после чешских событий, заместителя редактора «Руде право». Были они примерно одного возраста, чех – на четверть метра повыше. Маршрут поездки лежал в Среднюю Азию. Достопримечательности Самарканда они рассматривали вдвоем – с переводчицей Мариной, высокой крашеной блондинкой, хорошо сложенной и импортно одетой. Ужинали в ресторане интуристовской гостиницы «Самарканд». Чех морщился от мух и говорил, что ему здесь очень нравится. Выпили по две рюмки. Марина не спеша допила бутылку водки одна. Когда расходились в коридоре, Степан Трофимович заметил: переводчица вошла в номер к чеху и, оживленно с ним поговорив, вышла.

Замредактора «Руде право», приехавший в Советский Союз в соответствии со своими убеждениями, а также очень боявшийся недостаточно их показать, от дальнейших услуг Марины, судя по всему, отказался и пожелал ей спокойной ночи. Марина не ожидала подобного оскорбления и, войдя к Ягубову, чтобы взять сигарету, спросила:

– Хочешь посмотреть?

– Чего? – не понял он.

Она разделась и постояла, дав ему время вникнуть в суть дела.

– Ну как?

Ягубов хотел вытолкнуть ее в коридор, но она со смехом увертывалась, и он не смог заставить ее одеться. К тому же она оказалась недурна, а он не из мрамора. Оказалось, высокая женщина (он их всегда боялся) вела себя превосходно. Это занятие Ягубов любил, но старался сдерживаться. Через полтора часа, опомнившись, он стал уговаривать Марину уйти.

– Ты мне нравишься, – возразила она и уснула у него на руке.

Утром он выглянул в коридор и, выпустив ее, вздохнул. В Москве Марина позвонила Ягубову на работу. Он такой ответственный, что даже не вспомнит некоторых знакомых. А у нее ключи от новой кооперативной однокомнатной квартиры, и она приглашает Ягубова ее посмотреть. Он говорил с ней сухо и квартиру смотреть вежливо отказался, сославшись на загруженность работой. У Марины на столе в это время лежал отчет о поездке заместителя редактора «Руде право» в Среднюю Азию. Положив трубку, Марина немного подумала и в конце, после краткой положительной характеристики чешского коммуниста, приписала: «Тов. Ягубов С.Т. в поездке был политически выдержан, но морально неустойчив».

Знай это, Ягубов наверняка поехал бы посмотреть новую квартиру. Политически же он действительно был выдержан безукоризненно. Когда редакцию «Трудовой правды» посетили шведские журналисты, в связи с болезнью Макарцева их принял Степан Трофимович. Анна Семеновна побежала в закрытый буфет, принесла кофе, пирожные. Шведских журналистов очень волновали некоторые вопросы.

– Скажите, господин Ягубов, почему советские газеты периодически травят отдельных писателей?

Он тут же ответил:

– Мы не можем запретить газетам высказывать свое мнение. У нас тоже свободная печать, господа!

– А как вы поступаете, если ваши убеждения расходятся с очередным постановлением вашей партии?

– Видите ли, – объяснил Ягубов, – мои мысли принадлежат партии. Она распоряжается мной, поэтому у меня с ней расхождений быть не может.

– Но с отдельными людьми в партии – могут быть? – уточнил один из журналистов и отглотнул кофе, чтобы дать возможность Ягубову подумать.

Степан Трофимович удивился, что шведский коллега не понимает элементарных вещей, но объяснил спокойно.

– Если эти члены партии выше меня по должности, – сказал он, – то расхождений быть не может. Ведь их указания – для меня и есть указания партии.

– Вы сказали, что были простым крестьянином, господин Ягубов. Как вы делали карьеру?

– В нашей стране нельзя сделать карьеру. Можно только вырасти, – терпеливо уточнил Степан Трофимович. – У нас в стране быстро растут все, кто предан партии и нашим идеалам.

И Ягубов улыбнулся своей очаровательной улыбкой – простой, открытый русский человек со Ставрополя.

– Ваши родители – кто они? – спросил другой швед.

– Я же говорил, крестьяне, – засмеялся Ягубов. – По-нашему, колхозники. Я их очень люблю. Каждую весну летаю к ним на день-два, везу много продуктов, копаю огород, чиню крышу, старикам это тяжело... Не удастся поехать только в том случае, если я дежурю на майские праздники... Дело прежде всего, господа!

## 19. ВЫШЛИ МЫ НА ДЕЛО

Исполнять обязанности редактора Ягубов начал мягко, но без панибратства. Он решил внедрить вежливый и деловой

западный стиль взаимоотношений с подчиненными. Если забывал и переходил на «ты», то, вспомнив, возвращался в наменное русло. Журналистов он делил на две категории: безответственных, которые пишут, и ответственных, которые подписывают. Ягубов приходилось подписывать. Теперь, в отсутствие редактора, бремя ответственности ложилось на него в полной мере.

– Что бы ни произошло во Вселенной, – заявил Ягубов на планерке, проведенной им без Макарецца, – подписчик должен прочитать, что у нас в стране все в порядке.

Новый человек в редакции, он понимал: все приводные ремни сходятся к Макареццу. Предстояло выяснить, на кого опереться, чтобы отдельные ремни перетянуть к себе временно, а некоторые после оставить навсегда. Перед ним лежало штатное расписание редакции с указанием должности, стажа работы и зарплаты. Глаза соскальзывали с фамилии на фамилию. Он припоминал, что слышал о том или другом сотруднике и какое мнение начинало складываться у него самого. После беглого осмотра заместитель редактора отметил точками две фамилии: Кашина и Раппопорта. Обоих из противоречивых соображений.

Завредакцией Кашина Макарецц явно недолюбливал, хотя не вслух. Напротив, отметил его исполнительность, уравновешенный характер. Но по проскользнувшей иронической нотке Ягубов вывел, что Макарецц его презирает. Видимо, чувствовал себя настолько твердо, что опора на Кашина ему была не нужна. Считал его завхозом и забывал о том, что не он поручил Кашину заниматься в редакции кадрами, а органы. Чувствуя опору, люди обычно стараются работать лучше, и такую поддержку Ягубов решил Кашину оказать.

Что касается Раппопорта, то тут мотивы были сложнее. Лично ему неряшливо одетый, плохо выбритый и всегда ворчащий исполняющий обязанности редактора отдела комвоспитания был несимпатичен. И эта антипатия была, по-видимому, взаимной. Постоянная манера Раппопорта возражать, затягивать выполнение распоряжений, которые ему не понравились, несомненно, объяснялась отсутствием в нем главного качества журналиста – внутренней партийности. Если бы Ягубов был редактором, то в отдел комвос он давно посадил бы человека

более выдержанного идеологически, не говоря уж о привлекательности биографии.

Однако Макарецев не раз нахваливал Ягубову Раппопорта: ум, профессионализм, безотказность в выполнении тонких поручений. Не исключено, что у Раппопорта имелись и свои связи. Через посредство Якова Марковича Ягубов сумел бы узнать слабые стороны временно отсутствующего редактора. Раппопорт пользовался авторитетом. Особенно это касалось той части сотрудников, которая изображала из себя интеллигентов и рассуждала больше, чем можно. То обстоятельство, что Ягубов установит контакт с евреем, на эту часть коллектива действует благотворно и устранит возникшие слухи. Он попросил пригласить к нему сперва Кашина.

– Степан Трофимыч, – Локоткова задержалась на мгновение. – Вы разве не пересядете к Игорю Ивановичу?

Ягубов ждал этого предложения, но удивленно поднял брови.

– Это зачем же?

– Да мне, – Локоткова засмушалась, – в тот кабинет ходить ближе.

– Ничего, Анна Семенна. Не мы с вами такие вещи решаем. А Игорь Иванович скоро вернется. Пока придется вам походить... Давайте Кашина!

Она понятливо кивнула, выбежала. Ягубов подумал, что оттуда и впрямь удобнее руководить газетой. Там просторнее, да и ВЧ в кабинете редактора. Ягубову, когда нужно позвонить, приходится ходить туда. Но Макарецев сам должен был бы предложить пересесть в его кабинет.

– Разрешите, Степан Трофимыч?

Кашин вошел маленькими шажками, стараясь незаметно волочить ногу, отчего его хромота только выпячивалась. Под мышкой он держал тонкую красную папочку с тисненной золотом надписью «К докладу».

– Прошу! – Ягубов указал на стул и ловко перекатил языком сигарету из одного угла рта в другой.

– Вот ведь как бывает. Встал к вам идти, а тут Анна Семеновна вызывает. Телепатия! – Валентин улыбнулся и заботливо оглядел кабинет заместителя редактора. – Я дал команду штормы у вас в кабинете заменить. А то темновато...

Ягубов кивнул, курил, не торопясь спрашивать. Валентин чувствовал, что, исходя из биографии Ягубова, с ним удастся установить более тесный контакт, чем с Игорем Ивановичем. Теперь Кашин выжидающе посматривал на заместителя редактора, колеблясь, самому ли начать разговор или подождать, пока будет соответствующее предложение.

– Какой у вас вопрос? – придавив в пепельнице сигарету, спросил Ягубов.

Он не хотел сковывать инициативу заведующего редакцией.

– Степан Трофимыч, – начал Кашин, получив разрешение говорить. – По новой инструкции я обязан поставить вас в известность: по редакции ходит рукопись, самиздат.

– Вы ее нашли?

– Сам я ее в руках не держал. Говорят, она в серой папке. Содержание обсуждают – но о чем она, я пока толком не уловил... Одним словом, антисоветское.

Ягубов помолчал, подумал. Потом сказал:

– Я, собственно, почему спросил, нашли ли рукопись. Мне уже доложили, так что я в курсе...

Никто ничего не сообщал, но Степан Трофимович сразу давал понять, что он, Ягубов, на своем месте.

– А Макаргецу, – спросил, выждав, он, – вы об этом докладывали?

От ответа зависело последующее доверие между ними. Кашин это понял.

– Доложить не успел. Но Игорь Иваныч эту работу считает второстепенной. Ему видней, конечно. А может, и недооценка?..

Вот так осторожно, полувопросительно закончил Кашин, передав новому руководству решение вопроса.

– Игорь Иваныч – чистый партийный работник. Он считает, что достаточно одной идеологической работы. А мы с тобой, – он разрешил себе перейти на доверительное «ты» и подчеркнул паузой это «мы с тобой», – в курсе другой стороны вопроса. Так что эта часть ответственности будет на нас. Макаргец будет нам только благодарен, если поможем ему в той части руководства газетой, где у него не хватает времени.

– Понял, – кивнул Валентин.



– Но, – Ягубов опять сделал паузу, подчеркивая важность следующей мысли, – конечно, суетиться, паниковать не нужно. Организм редакции, надеюсь, здоровый. А понадобится – к отдельным товарищам присмотримся. Ты вот что, Валентин... Погляди кто этим занимается. Я имею в виду чтение, ну, там, как говорится, левые разговоры... Иначе, какие же мы с тобой руководители, если людей не знаем?

– Насчет этого я понял, Степан Трофимыч, буду в этом направлении... – он замялся, не зная, говорить ли. Но решил, что доверие установлено и надо его развивать. – Макарецв давал мне два задания. Одно касается премий ко Дню печати. Списочек – отдать вам?

– Оставь, я посмотрю.

– А второе – дело деликатное. Игорь Иваныч просил данные насчет нравственности. Ну, проще говоря, кто с кем живет. Так вот, составил списочек... Не всех, конечно... Только про кого говорят...

– Игорь Иваныч просил? – не показывая удивления, повторил Ягубов. – Видимо, у него были соображения...

– Тут, кто выпивает, отмечено звездочками.

– Копию-то, надеюсь, не подшивал?

– Нет. К чему подошьешь?

– Молодец!

– Да чего там!

– Ну, рад, что у нас полное взаимопонимание. Можешь рассчитывать на мою поддержку.

– Спасибо, Степан Трофимыч!

– Да, вот еще... Закажи мне жесткую подушку на сиденье – я так привык.

Ягубов проследил глазами, закрылась ли дверь за Кашиным, брезгливо взял листок с фамилиями, аккуратно выписанными Кашиным попарно, не читая, с возмущением смял его и швырнул в корзину. Такого он от Макарецва не ожидал. Нет, он, Ягубов, на такое не пойдет! Ну, влюбился человек, возникли личные отношения, бывает! Если работе не мешает, скандала нет, незачем и вторгаться. Кашин больше не поднимет этого вопроса. Макарецву с его инфарктом будет не до нравственности. Зачем ему, интересно, такое понадобилось? Для какой корысти? Ревновал кого и хотел счета свести? А может,

еще какой-нибудь ход? Так или иначе с этим вопросом покончено!

Решив так, Степан Трофимович резво нагнулся и вынул из корзины скомканную бумажку. Он разгладил ее на стекле и стал просто так, для проверки своей интуиции и наблюдательности, смотреть, кто же все-таки в редакции с кем живет. Он заложил ладонью правую колонку, читал мужские фамилии слева и старался угадать, какие могут быть под ладонью женские. Но из примерно двадцати перечисленных фамилий определил он двоих и еще двоих, отношения которых были и без списка у всех на виду. Список был неполноценный. Что значит «живет»? Постоянно или случайная связь? Есть семьи или нет? Имеет ли связь с кем-либо еще одновременно? Где встречаются? Часто ли меняют эти женщины мужчин и мужчины женщин? Хоть бы с социологией познакомился Валентин, прежде чем браться за работу! Дурак Кашин, услужливый дурак. Надо учесть это и его не переоценивать. Видимо, не только из-за травмы и частных ошибок перевели его из органов на гражданку. Запомнив фамилии, Ягубов тщательно разорвал листок на мелкие клочки и выбросил в корзину. Он вызвал Анну Семеновну. Ее в списке не было.

– Попросите Раппопорта, пожалуйста.

Она кивнула, убежала, чуть заметно вильнув задиком. Степан Трофимович опять закурил. Он обязан был поднять свой авторитет в редакции в сжатые сроки. Люди же типа Раппопорта, называемые в социологии неофициальными лидерами, представляли для него наибольшую опасность. Авторитет неофициального лидера, да еще такого иронического циника, будет противиться авторитету Ягубова, надо попытаться направить Якова Марковича в желаемое русло. Жаль, что его не было в списке Кашина.

– Здравствуйте, Яков Маркович, – первым приветствовал Степан Трофимович вошедшего к нему Таврова. – Прошу садиться...

Ступая большими, тяжелыми шагами по паркету, тот грузно рухнул в кресло в дальнем углу кабинета.

– В чем дело? – недовольно пробурчал он, не здороваясь и глядя на Ягубова вполглаза, а вполглаза – на портрет Ленина над Ягубовым.

Степан Трофимович проглотил это спокойно, будто так и должно быть.

– Газета осталась без головы, Яков Маркович.

– А при чем здесь я?

– Мы с вами члены партбюро редакции, – напомнил Ягубов. – Главное для нас, чтобы уровень газеты во время отсутствия редактора не снизился. Вы согласны?

Раппопорт совсем перестал смотреть на Ягубова и внимательно вглядывался в окно, хотя за переплетами, еще оклеенными на зиму полосками бумаги, ничего не было видно, кроме сероватого неба. Не чувствуя контакта с собеседником, Степан Трофимович еще больше напрягся, но продолжал говорить, не повышая голоса.

– Игорь Иваныч считает вас одним из самых опытных журналистов в газете, а я – человек новый. Могу я на вас опереться?

– На меня? – поднял брови Тавров. – Я сам-то еле стою!

– А на кого, по-вашему?

– Найдите что-нибудь помоложе...

– Нет возражений, – усмехнулся Ягубов, поняв, что сразу Раппопорта на крючок не нанижешь. – Можно привлечь и молодежь. Но вы – мозговой центр!

Губы Раппопорта искривились, готовясь выдать нечто сатирическое. Но мгновенно зчключилась внутренняя цензура и запретила произнести то, что родилось в мозгу.

– Я, возможно, сгущаю краски, но чувствую: в последнее время мы играем в бирюльки. Выступаем по мелочам. Наверху нас за это ругают и, будем самокритичны, справедливо. Давайте подумаем, посоветуемся.

– О чем?

– О том, чтобы начать большую кампанию. Такую, чтобы о «Трудовой правде» заговорили и вверху, и внизу! Я ведь знаю, что это вы предложили Макарецеву начать движение за коммунистический труд.

Раппопорт пожал плечами. Он снова хотел что-то ответить, но удержался. Он только посопел, как старые часы, которые хотели пробить время, но шестеренки не сцепились и боя не произошло.

– Когда вы хотите начать вашу кампанию? – сразу спросил Тавров. – После возвращения Макарецева или до?

Ягубов с обидой проглотил слово «вашу». Но вопрос был поставлен деловой.

– Немедленно! – ответил он. – Если будет идея, зачем ей висеть в воздухе, а нам ждать, пока ее перехватят другие газеты?

Ответив, Ягубов понял, что в вопросе Якова Марковича содержался подвох. Осознав подвох, он поспешно добавил:

– Конечно, все наши начинания будут идти через Макарецва и от его имени, это само собой.

– Так я и понял, – сказал Раппопорт.

Ягубов разозлился на себя, что ему не удастся одолеть этого человека, который корчит из себя черт-те что. Однако идти на обострение нельзя.

– Игоря Иваныча я уважаю не меньше вас, Яков Маркович, – он располагающе улыбнулся. – Хотя знаю, что у вас с ним старые дружеские отношения.

– Нет у меня с Макарецовым никаких отношений! – отмежевался на всякий случай Раппопорт. – Я хотел только уточнить как технический исполнитель, не расхочется ли ваше поручение с позицией редактора, чтобы мне не вкалывать зря...

– В каком смысле?

– Последнее время Макарецв, хотя и говорил о гвоздях, но считал, что шумной газета быть не должна. Вы меня поняли? Другими словами, старался не высовываться. Мы делали газету не хуже, но и не лучше других. Вы предлагаете – чтобы о нас заговорили. А если заговорят не там или не так?..

– Понял! – насторожившийся было Ягубов облегченно откинулся на спинку. – Кампания, которую мы поднимем, будет, как я представляю, не только тщательно разработана, но и тщательно согласована с Большим домом. Это я беру на себя. Поэтому для беспокойства у вас не должно быть причин.

– Я не за себя беспокоюсь, – Тавров с шумом выпустил воздух через нос. – За вас...

Ягубов не понял, серьезно это произнес Яков Маркович или опять поиздевался. Но решил лучше посчитать это серьезным.

– Значит, договорились? – он поднялся из-за стола. – Людей, как только понадобится, я вам выделю из других отделов столько, сколько скажете. Главное – идея!

– Зачем людей эксплуатировать? – Яков Маркович тоже поднялся. – Я уж как-нибудь сам...

Степан Трофимович развел руками, дескать, его устраивает любой вариант, а затем крепко пожал вялую, корявую руку Якова Марковича. В дверях Раппопорт столкнулся с Локотковой, вбежавшей по вызову.

– Яков Маркыч, – прошептала она, – у вас профвзносы не плачены уже месяца три...

Тавров не ответил, испарился.

– Анна Семеновна, – сразу спросил Ягубов. – Как вы думаете: к Макаргецу я смог бы пройти посоветоваться? Врачи пустят?

– Думаю, нет, Степан Трофимыч! Игорю Иванычу, жена мне говорила, доктора слова сказать не велят, полный покой! А вам очень нужно? Тогда, может, я еще позвоню его жене, спрошу?

– Не стоит. Я сам поеду в больницу. Если в редакции будут меня спрашивать, отвечайте, что я у Макаргеца. Полосы – что уже набрано – пусть мне тиснут. Возьму с собой. Да, оттуда заеду в Большой дом, так что задержусь...

В Кремлевке Ягубов пробыл минут десять. Написал записку, мол, заезжал навестить, в газете все нормально, коллектив ждет скорейшего выздоровления своего редактора.

Уехал он с чувством исполненного долга и неприятным ощущением того, что на свете существуют больницы. Он был уверен – не для него. Ему было жаль Макаргеца. Стать запасным игроком – шутка рискованная. После травмы не так просто войти в основной состав. Макаргец, без сомнения, был честным партийным работником, но слишком чувствительным. Играл в интеллигента, то есть просто отставал от времени. Болел за дело не в меру, вот и заболел сам.

Ягубов поймал себя на том, что думает о редакторе в прошедшем времени, и решил, что это неправильно. Игорь Иванович поправится.

Он поехал в Большой дом согласовывать планы. Шишки, которые валились на голову Макаргеца, теперь будут падать на него. Но он был уверен, что перенесет это легче, а пользы извлечет больше. Не подвели бы только кадры. Впрочем, не все же такие расхлябанные, как Раппопорт. А Степану Тро-

фимовичу, несомненно, удалось втянуть и его в нужное русло.

Выйдя из кабинета Ягубова, Яков Маркович, втянутый в нужное русло, медленно топал по коридору, задевая встречных фалдами расстегнутого пиджака. Мозговой центр журналиста Таврова уже отсеял шелуху разговора, выделил главное и включился в работу, хотя внешне Раппопорт казался, как всегда, сонным, думал о случайных вещах, не имеющих отношения ни к газете, ни к нему самому. В последние дни он, прочитав заметку в Большой советской энциклопедии, размышлял об островах Фиджи. Это была райская страна. Там всегда тепло, и спины не ноют от сырости. Там все есть в магазинах. А главное, там рано выходят на пенсию. Хорошо бы еще, чтобы на Фиджи не было письменности, думал Яков Маркович. Так он отдыхал на ходу, бредя к своему отделу. Желудок у него поднывал, требуя наполнения. У самой двери Таврова окликнули. Он оглянулся. К нему спешила Надя Сироткина из отдела писем.

– К вам можно, Яков Маркыч?

– Почему же нет? Зайди, Наденька!

Он пригласительно махнул ей рукой и первым ввалился в дверь.

## 20. СИРОТКИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

### АВТОБИОГРАФИЯ ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА

*Я, Сироткина Н.В., родилась 10 апреля 1946 г. в Москве. Моя мать, Сироткина А.П., русская, работала заместителем начальника Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства, умерла в 1962 г. Отец, Сироткин В.Г., русский, генерал-майор.*

*В 1953 г. поступила в среднюю школу №110, в 1963 г. окончила эту школу с серебряной медалью. Параллельно окончила музыкальную школу по классу фортепьяно.*

*В 1960 г. вступила в комсомол. По окончании школы пошла работать в редакцию газеты «Трудовая правда» – сначала машинисткой, затем учетчицей отдела писем и массовой работы. Тог-*

да же поступила на факультет журналистики МГУ (вечернее отделение).

*Общественной работой занимаюсь: в школе работала пионервожатой в младших классах, в редакции – машинисткой в стенгазете.*

*В 1965 г. ездила в туристическую поездку за границу (Польша).*

*Мой адрес: Москва, Староконюшенный пер., 19, кв. 41, тел. 249-41-14.*

*Личная подпись: Сироткина*

## НИ ВЗЛЕТОВ, НИ ПАДЕНИЙ У НАДИ СИРОТКИНОЙ

Когда в редакции появлялась новая машинистка, у сотрудников мужского пола возникала острая необходимость немедленно диктовать срочную статью. Кому первому удавалось получить в секретариате визу «Срочно в номер!», тот потом и становился обладателем первоначальной информации о новенькой. Если он ошибался или машинистка оказывалась не в его вкусе, все равно это мнение надолго определяло отношение мужской половины редакции к новенькой.

Не повезло Надежде. Хотя ей, когда она пришла в машбюро, было восемнадцать с половиной, от нее разило такой тринадцатилетней наивностью, что даже смеяться не было сил. В первый день, когда Сироткина появилась утром в машбюро, толстая заведующая Нонна Абелева, которую вся редакция звала полковник Абель, что ей очень шло, посадила ее за стол и сама сняла чехол с «Континенталя».

– Ой, девочки, еле доехала! – сказала Надя соседкам, которые наводили марафет после дороги. – В метро духота жуткая, тесно, локтями бьют в живот! А главное, ехать стыдно!

– Это почему же стыдно?

– Все смотрят и думают: беденькая, у нее денег на такси нет!

Среди редакционных машинисток были всякие, кроме разве что счастливых и обеспеченных. Беззаботная фраза Надежды облетела редакцию еще до того, как самый любознательный мужчина получил визу «Срочно в номер!». Никому не хотелось связываться с генеральской дочкой.

Сироткина была невысокого роста, худая, пожалуй даже – слишком худая. От этой худобы груди ее, расходящиеся в стороны, казались больше, чем это было в действительности, что придавало ее внешности некоторую сексуальность. Лицо ее было приятным, лоб и нос прямыми, щеки и губы свежими, почти детскими. А тонкие руки с длинными пальцами и длинные ноги просто можно было считать красивыми. В ней ощущалась легкость и простота. Что касается образа мыслей Нади, то он напоминал одуванчик. Но еще никто не дунул.

Надина мать была волевым человеком и воспитала дочь в следовании программе, в которой сама никогда не сомневалась. Школа – быть только отличницей, музыка – играть каждый день четыре часа и выступать на воскресных концертах. Для культуры – консерватория, для здоровья – дача и питание. Если читаешь – скажи что. Если подруга – скажи кто. Единственный раз мать отпустила почти взрослую Надю с отцом в Москву, а сама осталась еще на неделю в санатории. Она написала дочери по дням расписание, собираясь через неделю проверить. Но у самолета, которым мать возвращалась, отказало шасси. Надин отец поднял на ноги лучшие медицинские силы, но Алевтина Петровна скончалась, не придя в сознание. Надя ходила в девятый класс. Отец всегда много работал, а теперь перестал щадить себя.

По мечте матери, которую Надежда должна была осуществить, ей предстояло поступить в консерваторию или училище Гнесиных. На одноклассников она все еще смотрела глазами матери: теряют даром время, не стремятся к цели. Однако эти качества постепенно наполнялись для Нади очарованием, гуляние по улице без смысла было в сто раз интереснее пассажей. А она четыре часа в день брэнчала на рояле. Материнская воля продолжала руководить Надей после смерти Алевтины Петровны, и Надя подала документы в консерваторию, но на творческом экзамене провалилась. Она попыталась счастья в училище Гнесиных, но не вышло. Отец, пользуясь связями, мог бы помочь в другом вузе. А тут отказался.

Надежда вставала поздно, слонялась по квартире целые дни. Стремиться куда-то ей надоело. Она жила в благополучном мире, в самой передовой стране, могла на будущий год



снова поступать в любой вуз. А сейчас был вакуум. Она Зо-лушка, гадкий утенок, глядеть на себя в зеркало – нет против-ное занятия. Она держала дверцу шкафа в своей комнате от-крытой, чтобы зеркало было обращено к стене.

Однажды утром Надя, бродя по квартире в поисках ис-точника странного запаха, заглянула в комнату отца. У него на тумбочке стоял флакон духов с резким запахом. Рядом на диване лежал цветной журнал. Надежда сразу разглядела на обложке обнаженную женщину в позе, не оставляющей со-мнений в ее намерении, и двух мужчин, готовых ей помочь это намерение осуществить. Надя отшвырнула журнал. У нее закружилась голова, и, не сядь тотчас на отцовскую кровать, она упала бы без сознания на ковер. Посидев немного, Си-роткина опять взяла в руки журнал и, чтобы проверить закравшееся подозрение, сразу стала искать у отца такие же. В тумбочке их лежала целая стопка. Вот чем развлекается отец, – как ему только не стыдно! Мама бы такое никогда не про-стила! Принеся стопу журналов к себе, Надя снова забралась под одеяло. Сердце у нее трепетало, голова не переставала кружиться, она дрожала, никак не могла согреться. Вдруг она представила себя на месте этой женщины, обхваченной воло-сатыми руками. Ей захотелось крикнуть, но она заплакала. Надю трясло, журнал дрожал мелкой дрожью, но она пере-листывала страницы. Ей восемнадцатый год, а никто даже не целовал ее в губы, не говоря уж о поцелуях, которые здесь, в журналах. От одного-единственного такого поцелуя Надя умрет, не сумеет жить. А вдруг она останется в живых? Это еще хуже. Ведь она не сможет жить, как раньше.

Надежда перелистывала страницы в каком-то гипнозе. Она заснула, проспала немного, потом встала и долго разглядыва-ла себя в зеркале по деталям, будто в первый раз познакоми-лась сама с собой. Она отнесла журналы к отцу. Голова раска-лывалась от боли. Надя прожевала таблетку анальгина, потом сварила чашку кофе. Постепенно она успокоилась, но мысли о том, что она еще не женщина, а жизнь идет, пронзили теперь все остальные ее помыслы. Как же она могла оставать-ся ребенком до взрослости? Она ведь стареет. Надя броди-ла по улицам, не зная зачем, разглядывая мужчин и жен-щин. Она позвонила школьным подругам, но те были заняты.

Впрочем, через день с одной из них, Катей, Сироткина встрети-лась, поделившись тревогой. Они пошли в кафе «Космос» на улице Горького и взяли по мороженому и бокалу шампан-ского.

– Ты что, с луны свалилась?

Оказалось, Катя давно все попробовала и не раз. Заговари-ли о работе. Катина мать работала корректором в редакции «Трудовой правды».

– Иди туда. Мама говорила, у них машинистки нужны. Там мужчин полно – всяких, – Катя захохотала.

Вечером Надежда сказала отцу, что собирается пойти ра-ботать.

– Зачем тебе это, Надежда?

– Я хочу быть журналисткой, папа! Я все обдумала. Это мое призвание.

Отец посмотрел на нее внимательно.

– Но ты же ничего не умеешь!

– Научусь! У меня пальцы разработаны – а в газете «Трудо-вая правда», я узнала, машинистки нужны. С улицы не возь-мут, но если ты...

– Ладно, попробую...

Заведующему редакцией Кашину позвонили и попросили взять на работу машинистку без опыта, но грамотную и с хо-рошей анкетой. Надя быстро повзрослела от разговоров женщин в машбюро, но оставалась теоретиком. Легкость отношений оказалась для нее возможной только на словах. В действитель-ности ей хотелось привязаться к человеку, думать о нем, гово-рить с ним. За ней ухаживали, хотя продолжали побаиваться ее наивности. А она думала, что, раз несерьезно, значит, в ней чего-то не хватает. Постепенно ее перестали называть гене-ральской дочкой, хотя иногда шофер отца завозил ее на ма-шине на работу.

По рекомендации газеты она поступила на вечернее отде-ление факультета журналистики. Могла бы уйти на дневное, но жалко было расставаться с редакцией. Ее перевели на долж-ность учетчицы писем, и она стала зарабатывать на десять рублей в месяц больше. Зарплаты хватало на чулки, которые она рвала каждый день. Она их выбрасывала, тогда как другие отдавали поднимать петли.

У Надежды сложились взгляды. Политика – то, о чем писали и говорили вокруг нее, – ее не волновала. Она жила логикой бабочки: прожить день! Какая радость была сегодня? Кто тебе понравился? Кому понравилась ты? В заботе об этом Надежда похорошела, стала больше требовать от отца хороших вещей. Она сдерживала свои желания и ждала. Но так не могло продолжаться бесконечно.

Имя его Надя боялась произнести даже себе самой. Самое глупое, что в нем не было ничего особенного. Он относился к ней по-приятельски, но без всяких особых знаков внимания. Он посоветовал Сироткиной поступить на журфак, но потом даже не спросил, поступила ли она. Надя знала, что он женат, что у него шестилетний сын. Он мог, разговаривая, пройти с ней пешком пол-Москвы, а после не замечать ее в коридоре две недели.

Теперь она больше не открывала журналов, лежащих в тумбочке у отца. «Так можно только с ним!» – говорила себе Надежда. Она давно была готова и к взлету, и к падению. Но ни к тому, ни к другому никто не приглашал.

## 21. СЕКРЕТ ОДНОГО ФОКУСА

Сироткина вошла следом за Яковом Марковичем и остановилась возле двери в нерешительности.

– Что, Наденька? – спросил Раппопорт, усаживаясь в скрипучее кресло.

– Письмо... все смеются, никто не хочет брать. Я подумала, может, на вас расписать? Для статьи пригодится...

– Что за письмо, детка?

– Десятиклассница пишет, мечтает стать журналисткой...

Тавров, протянув к Наде ладонь, будто прося подаяние, вытащил из кармана пиджака очки, глянул на обратный адрес, вписанный Надей в учетную карточку.

– Ох, Надя, Надюша, купеческая дочь! Мне бы, мадемуазель, ваши заботы!

Ворчал Раппопорт ласково, мимоходом, мысли его были сосредоточены не на письме. Тем не менее он расправил тетрадный листок и стал читать вслух.

«Дорогая редакция! Посоветуйте, как стать настоящей журналисткой. Что меня влечет к этой профессии? Я хочу видеть жизнь, хочу любить людей, хочу писать для них. Ни дня без строчки, нужной людям! Многие скажут, что это романтика юности. Но я люблю запах только что полученной газеты, люблю шуршание ее всезнающих страниц. И мне кажется, я сумею вынести правду из жизни и подарить людям то, что сумела вобрать в себя, читая вашу газету. Валя Козлова».

– Наивно, да? – спросила Надя.

– Почему же?

Раппопорт отложил листок и, сняв очки, внимательно разглядывал Сироткину – ее худоватые коленки, слишком острые плечи, несоразмерно большую грудь и симпатичную головку, обрамленную распущенными волосами.

– Вы же смеетесь, Яков Маркыч!

– Да, ей-же-ей,нисколько! Очень умное письмо. Разве мы с вами, Наденька, не хотим видеть жизнь и любить людей? И не хотим писать для них? Надо ей сообщить, что если она станет журналисткой, она действительно очень скоро вынесет из жизни всю правду, а подарит то, что сумеет вобрать в себя. И насчет запаха газет эта Валя Козлова права. Запах есть, да еще какой!.. Как будущая журналистка вы, Наденька, вполне можете ответить сами.

– Я давно хотела вас спросить, Яков Маркыч, – Надя забрала протянутое ей письмо. – Разве вы не верите в то, про что пишете? А как же пишете?

– Надежда Васильевна, вы – прелесть!

– Как же вы можете это делать, все понимая?

– Вот именно, *все* понимая, я понимаю, что должен делать, как делают все! Вас удивляет то, что пишу. А меня удивляет, что люди стоят в очереди за газетой и читают то, что пишу! Дайте слово, что вы не расскажете вашему ответственному папе то, что я вам сейчас скажу.

– Я ему ничего не рассказываю! – Надя обиженно сложила губы.

– И умница! Так вот: как сказал один мой друг, я был большевиком, а стал башлевиком!

– Как это?

– А так. Вроде этой вашей Вали Козловой я люблю шуршание. Только не страниц, а дензнаков.

– Это неправда! Вы на себя наговариваете. Или вы принимаете меня за дурочку?

– А что такое газета? Вам говорили на журфаке?

– Вообще-то...

– Вообще-то слово «газета», кажется, в восемнадцатом веке и, кажется, в Италии означало «мелкая монета». А кто делает газеты – мелкомонетчики. А кто пишет письма в газету?

– Ну, жалуются... – стала перечислять Надя. – Еще не очень умные просят совета как им жить. И малограмотные пенсионеры, которым делать нечего, горячо поддерживают и одобряют...

– Да вы, Сироткина, почти социолог! – похвалил Раппопорт. – Я вас недооценил!.. А что вы делаете с письмами, критикующими э... нашу родную советскую власть?

– Я их не регистрирую и сдаю редактору отдела.

– А он?

– Кажется, он их относит заместителю редактора...

– Кажется? Вы прелесть, Надя! А помните письмо о том, что нашему вождю пора на пенсию? Где автор письма? Сидит, Надя. Кто его посадил, вы подумали?.. А доцент из ярославского института, который написал в нашу газету предложение продукты из обкомовского буфета пустить в детские сады? Мы переслали письмо в обком, а обком исключил бедного доцента из партии за клевету на обком. Студенты пошли в обком объяснить, что их преподаватель хороший, их заперли в комнате и вызвали наряд КГБ. Они больше не студенты, Надюша... А вы говорите – кажется...

– Что же мне делать?

– Вам? Не знаю. Вам нужен мужчина, Надя.

– Как это? – она мгновенно покраснела.

– А вот так. Нормальный циничный мужчина вроде меня. Только лет на двадцать помоложе. Он вам все объяснит. Письма читателей не способствуют вашему созреванию. Правда, наивность компенсируется. Тот, кто вами овладеет, получит бездну наслаждения...

– Я старая дева.

– Этот недостаток, Сироткина, преодолевается в самый короткий срок, поверьте! Один субботник – и порядок! Целую в шейку.

Проводив Надю глазами до двери, он подумал, что и сам бы занялся этой чистой, как стеклышко, и симпатичной девушкой. Препятствие не в том, что она молода и годится в подружки его сыну. А во внутренней равнодушии. Старость – не возраст. Старость – когда спрашиваешь: «А зачем это мне?» Яков Маркович сладко потянулся, заложив руки за голову. Взгляд его упал на перекидной календарь на столе. Нет ли какой-нибудь даты, за которую можно зацепиться? Степан Трофимович жаждет вырваться вперед, пока Макарцев прикован к постели. Как не помочь партайгеноссе Ягубову?

В связи с полным отсутствием свежих идей Раппопорт начал листать календарь. Остановился он на дате Парижской Коммуны. Может, призвать советский народ к небольшому восстанию в знак солидарности с французским пролетариатом? Идея неплохая, но спина еще не очень отдохнула от лагерных нар. Может, всем 12 апреля улететь в космос в честь первого полета моего друга Гагарина? Но если здесь нечего жрать, там ведь даже дышать нечем! А это что? В ночь с 13-го на 14-е апреля 1919 года двенадцать коммунистов депо Москва-Сортировочная ночью бесплатно чинили паровозы. Состоялся первый субботник. Пойдите-ка! Прошло ровно пятьдесят лет. А что, если... Надя, золото, надоумила! Вверху первой полосы утренней «Трудовой правды» на огромном снимке советские руководители обнимали новых чешских лидеров, бывших в Москву.

– Родные мои! – ласково сказал им всем Яков Маркович. – Я и вас приглашу поработать в субботу.

Вынув из бумажника червонец, он переложил его в карман. Это был аванс, который Раппопорт немедленно уплатил сам себе за идею. Материалы, призывающие к субботнику, будут идти на первой полосе, вне очереди. Надо договориться с Ягубовым, чтобы платили по максимальным расценкам, учитывая оперативность. Субботник-то бесплатный, поэтому лучше заработать побольше, пока он еще не начался.

Опытный специалист по развертыванию починов, Раппопорт знал, что подготовка к ним состоит из трех актов. Акт

первый – выдумать новый почин и согласовать с партийными органами. Второй акт требует скрытно определить кандидатуры сперва тех, кто выступит с лозунгом, будто это их собственная инициатива, а затем тех, кто с громадным воодушевлением подхватит патриотический призыв первых. Затем наступает третий акт. Газета выступает открыто, а партийные органы публично одобряют народную инициативу.

Изобретателем очередного свинства, подложенного советскому народу, журналисту Таврову числиться не хотелось. Он решил отвести себе скромную роль очевидца. Поэтому он порылся в записных книжках и нашел телефон Балякина, секретаря парткома железнодорожной станции Москва-Сортировочная.

– Слушай! Нам тут стало известно про вашу задумку: провести субботник в честь пятидесятилетия ленинского субботника. Так я хочу сказать: газета вас поддержит. Держи меня в курсе!

У секретаря парткома Балякина не было этой задумки. Но он уже два года находился на этой должности и мечтал уйти в райком. Идею «Трудовой правды» он воспринял как руководство к действию и стал подбирать людей. Через час он позвонил Таврову сам. Договорились, что партком подготовит план мероприятий и согласует его в горкоме. А Яков Маркович пришлет корреспондента.

– Только вот в какую субботу? – спросил Балякин.

Раппопорт полистал перекидной календарь у себя на столе.

– Давай, Балякин, в ближайшую к юбилею – 19 апреля. Готовьте бревно!

– Какое бревно?

– А Владимир Ильич на субботнике лично носил бревно. Не исключено, что и к вам приедут самые ответственные товарищи!

Раппопорт постучал по рычагу пальцем и тут же набрал другой номер.

– Закаморный?.. Разбудил?.. Хорошо, старина, что я тебя тут застукал. Говорил, деньги нужны? Приезжай-ка, брат...

## 22. ЗАКАМОРНЫЙ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ

### ИЗ АНКЕТЫ, ЗАПОЛНЯЕМОЙ В ПЕРВОМ ОТДЕЛЕ ДЛЯ ДОПУСКА ПО ФОРМЕ 2

*Старший научный сотрудник Лаборатории экспериментальной генетики Академии наук СССР.*

*Фамилии, имени и отчества не менял. Родился 13 сентября 1928 г. Место рождения – мыс Беринга.*

*Национальность – русский. Отец украинец, мать эскимоска.*

*Партийность – нет.*

*Состоял ли ранее в КПСС? Состоял до 1968 г. Исключен за поведение, недостойное члена партии.*

*Ученая степень – кандидат биологических наук.*

*Научные труды имеет.*

*Какими иностранными языками владеет? Английский, немецкий, французский – владеет свободно. Итальянский, испанский – может объясняться. Японский, польский, чешский – читает без словаря. Латинский, древнегреческий – читает со словарем.*

*К судебной ответственности привлекался с 1950 по 1956 г.*

*За границей не был. О родственниках за границей не знает. В плену не находился.*

*Семейное положение – женат (юридически), детей нет.*

*Общественная работа, указанная в автобиографии, – агитатор.*

*Военнообязанный. Не служил. Военный билет № РН 2716049.*

*Паспорт ХХХ НИ №864712, выдан 17 о/м. г. Воркуты.*

*Прописан временно, сроком на 6 месяцев, по адресу: Москва, Малая Грузинская, 14, кв. 7. Телефон 252-04-19.*

*Личная подпись (неразборчива).*

### СПРАВКА

*Тов. Закаморному М.П. предоставлено право доступа к работам и документам распоряжением П-РБ 261107 от 17.VII.67 г.*

*Начальник первого отдела Жмуров.*



## ЭЛЛИПС МАКСИМА ЗАКАМОРНОГО

Поскольку в конце 68-го Максим Петрович не прошел по конкурсу на замещение вакантной должности в своей лаборатории, вышеуказанная анкета стала иметь чисто символическое значение, сходное со значением той анкеточки, которую он сочинил для себя и показывал близким друзьям. В анкеточке значилось, что его основная профессия – пополизатор. Фамилии его меняются регулярно. Он З.К.Морный, Заков, Морин, Ромов, Максимов, Петропавловский-Камчатский и т.д. В графе «Партийность» тут написано «Антипартийный». В графе «Находились ли в плену?» – «Нахожусь в настоящее время». А в графе «Семейное положение» было обозначено – «Нестабильное». Закаморный был человек со странностями. Это наблюдалось за ним с детства.

Отец его, Петр Закаморный, призванный в армию из-под Винницы, благодаря уму и энергии дослужился до звания комиссара погранвойск ОГПУ и был направлен с особым заданием на Дальний Восток. Из самой дальней точки страны, отдаленной от Аляски узким Беринговым проливом, поступали донесения, что местные жители – эскимосы, промышленяющие рыбной ловлей и охотой, несмотря на агитационно-пропагандистскую работу, проводимую в красных чумах, самовольно переправляются через пролив на Аляску к своим родственникам и возвращаются обратно. Пресечь нарушение советской границы, которая должна быть на замке, предстояло комиссару Петру Закаморному.

Однажды моторный катер погранохраны, организованной на месте комиссаром, погнался за лодкой с эскимосами. Те рассердились, что посторонние вмешиваются в их личную жизнь, ведомую по традициям предков, и начали отстреливаться. Комиссар Закаморный был сильно ранен. Но он оказался единственным, кто остался на погранкатере в живых. Эскимосы мимо стрелять не умели. Комиссара, потерявшего сознание от кровотечения, эскимосы подобрали и привезли на Аляску. Там его выходили, а когда он поправился, привезли обратно. Началась полярная ночь. Суда, редкие в тепло, теперь и вовсе ходить перестали. Ухаживала за Петром дочка хозяина

чума. Она привязалась к нему и не отходила от него ни на шаг. Вскоре родился мальчик – Максим. Эскимосы предлагали Петру остаться, но долг звал комиссара в ОГПУ. Добравшись за месяц с небольшим с женой и сыном до Москвы, он всей семьей отправился доложить своему начальству о пережитом. Максиму было около двух лет.

На Лубянской площади Максим дернул папу за руку. Отец расстегнул ему штанишки, приставил сына поближе к стене, чтобы не мешать прохожим, и тонкая струйка побежала на тротуар. Мгновенно рядом очутился человек в темном пальто и кепке. Он сказал:

- Вы что делаете? Не знаете, какое это здание?
- Знаю, – сказал Закаморный. – Но мальчик не мог терпеть.
- Знаете и делаете? Пройдемте...

Забрали их всех троих. Петр Закаморный был не робкого десятка. Он потребовал, чтобы его связали с начальством. Руководители погранвойск удивились, что комиссар Закаморный жив. Его немедленно освободили, но когда комиссар, ничего не тая, рассказал правду-матку, небо помрачнело. Оказалось, вояжи эскимосов за границу продолжаются, и недавно ими был сбит самолет береговой охраны. Выходило, что комиссар Закаморный не только не выполнил задания, но сам бежал с преступниками за границу.

Комиссар ОГПУ Петр Закаморный (заодно выяснилось, что он сын кулака) был приговорен к расстрелу, а его жена – к заключению сроком на десять лет, к которым потом прибавили еще десять, и она умерла где-то в Воркуте. В спецдетдоме, в маленьком городке Архангельской области, куда отправили Максима, из трех сотен сирот он оказался самым состоятельным: у него были собственные фамилия и имя. Еще родители оставили ему доброе физическое и духовное здоровье, которое помогло ему преодолеть не только голод и рахит, но и умственное убожество воспитателей. Детдомовский выкормыш, Максим писал в документах, что он бывший беспризорник, поставленный на честный путь жизни советской властью. Благодаря этому, он смог после войны поступить в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию.

Тут он по случайности за год до окончания академии попал на одну вечеринку, собранную, как впоследствии оказа-

лось, товарищами из МГБ, которым предстояло раскрыть студенческую антисоветскую организацию. Во время следствия он узнал, что, сидя за столом и выпивая, когда другие танцевали, он, оказывается, договаривался о покушении на товарища Лысенко и других представителей передовой агробιологической науки. Доказательство было неопровержимым: в компании все были с любимыми девушками, а он – без. Всплыла и его биография. Шестеро получили по десять лет, Закаморный как руководитель организации, а к тому же и вейсманист-морганист, – двадцать лет. В воркутинских лагерях Максим Петрович вглядывался в лица встречаемых женщин: искал свою мать.

Когда наступила амнистия, ему выдали документ следующего содержания, который он бережно хранит, несмотря на свою рассеянность.

*Военный Трибунал Московского  
военного округа №Н-879/ос  
Москва, Арбат, 37*

*Видом на жительство  
служить не может*

### СПРАВКА

*Выдана гр. Закаморному М.П., 1928 года рождения, уроженец мыса Беринга, русский, до ареста студент 4-го курса Московской сельскохозяйственной академии, в том, что он был осужден Особым Совещанием при МГБ по статьям 17-58-8, 50-10 Уголовного кодекса к 25 годам ИТЛ,<sup>1</sup> срок наказания в ИТЛ п/я Ж-175 частично отбыл 4 января 55 г. и с этого времени находился в ссылке на поселении. В работе показал себя с положительной стороны.*

*Постановлением Прокуратуры, МВД и КГБ дело в отношении Закаморного М.П. прекращено, мера наказания снижена до пяти лет ИТЛ, за отсутствием состава преступления и в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» он считается не имеющим судимости по настоящему делу.*

*От ссылки на поселение Закаморный М.П. освобожден.*

*Председатель Военного Трибунала  
генерал-майор юстиции М.Харчев.*

---

<sup>1</sup> Исправительно-трудовой лагерь.

Выпущенный из ИТЛ, Максим Петрович оставил здоровье на строительстве шахт для подземных ядерных испытаний (в справке тоже была секретность: в указанном в ней почтовом ящике Ж-175 заключенные копали уголь). Но облучить его не успели, испытания начали позднее. Максим Закаморный построился в поселке шахты №40 комбината Воркутуголь директором танцплощадки для вольнонаемных рабочих. У сосланного попа раздобыл он Библию и читал ее вечерами под звуки фокстрота и танго, сидя в своей камерке, отрываясь только для того, чтобы сменить пластинку.

Еще более свободное время у директора танцплощадки было ежедневно до 19.00. От нечего делать он стал читать учебники английского языка у хозяйкиного сына и скоро заговорил по-английски сам с собой. Максим ходил по комнате, перекладывая из кармана в карман бумажки со словами, и в последующее время выучил французский и немецкий. Дальше пошло быстрее – язык за языком. Иероглифы он писал на руках.

Из газет Максим узнал, что посмертно реабилитирован его отец. Он сделан теперь героем Гражданской войны, освободителем от белых Украины. Как сказано у Луки, «И последние будут первыми». Максим Закаморный, или З.К.Морный, как он называл себя, двадцати девяти лет от роду оказался сыном героя. Он решил вернуться из «мерзости запустения» в «землю обетованную» – в Москву, с трудом поступил и без труда закончил академию, из которой его ранее взяли.

С Воркуты бывший директор танцплощадки привез с собой маленькую слабость. Там научился он пить стаканами плохо очищенную «Московскую водку» производства Воркутинского ликеро-водочного завода. Пил он ее с вейсманистами-морганистами. Те из них, кто остался в живых, понемногу отряхивались, вылезая из-под лысенковского пресса.

В Москве под видом организации, новой по существу, возрождалась старая лаборатория экспериментальной генетики. Максима взяли туда, но у него не было прописки и квартиры. Ему сказали, что защитить диссертацию и получить прописку ему будет легче, если он вступит в партию. И правда, он легко защитился, устроил грандиозный банкет в ресторане «Прага», о котором теперь, когда банкеты запрещены, генетики вспоминают с особой нежностью. Сам Закаморный об этом не

помнит: от счастья и голода он напился в начале торжества, упал возле писсуара, и приятели увезли его домой.

Тема Максимовой диссертации касалась его лично. По Закаморному выходило, подтверждалось статистикой и теорией вероятности, что в результате массового уничтожения в стране лучших представителей культуры, искусства, науки, а также наиболее трудолюбивой и с развитым рефлексом цели части народа – крестьян, рабочих, администрации и военных были уничтожены генотипы, наиболее целесообразные для развития и процветания государства. Осталось худшее, и оно начало воспроизводить себе подобных, заполняя вакуум. Состав столкнули с рельсов, и он катится к обрыву. Общество вырождается ускоренными социалистическими темпами.

Впрочем, в диссертацию все это, конечно, не попало. Работа носила чисто академический характер, сухо повествуя о размножении и вырождении мушки дрозофилы, что, как говорилось в предисловии, способствует выполнению задач, поставленных перед наукой недавно состоявшимся съездом.

Закаморный между тем отрастил бороду и жил, каждые полгода продлевая за взятку временную прописку. Он снимал в коммунальной квартире на Малой Грузинской, неподалеку от Тишинского рынка, треугольную комнату с окном, выходящим в узкий двор. За отсутствие постоянной прописки хозяйка брала на десятку больше и делила ее с участковым оперуполномоченным.

«В том же городе, – говорится у Луки, – была одна вдова». С ней нашего генетика-полиглота познакомила его собственная лаборантка. Валерия, новая знакомая Закаморного, замужем была недолго, можно сказать почти не была, муж ее утонул в пьяном виде вскоре после свадьбы. А работала Валерия манекенщицей в Центральном доме моделей на Кузнецком мосту и готовилась стать художником-модельером. Длинноногая и немножко манерная, что в общем-то ей даже шло, она лучше всего смотрелась издали и чуть снизу, будто ее родили специально для подмостков Дома моделей. Максима она называла великим ученым.

В каморке, куда Максим приводил ее после ресторана «Якорь», расположенного неподалеку от дома, Валерия сидела на краешке кровати с намертво стиснутыми коленка-

ми. Едва кандидат биологических наук пытался сделать пасс руками в ее воздушном пространстве, Валерия отодвигалась.

– Вы все испортите, Макс! Расскажите лучше о себе...

Она чувствовала в нем кандидата в мужа. А в нем проснулся поэт. Максим Петрович опускался на колени и шепотом, чтобы не слышала хозяйка, читал:

*– В волнении смотрю вперед –  
Передо мной твой нежный рот.  
Стыдливо я смотрю назад,  
И вижу твой волшебный зад.*

– Замечательно, – звонко смеялась Валерия. – Вот только слово «зад»... Разве его можно вставлять в стихи?

– Ваш, Валерия, можно!

Он ложился на пол и любовался ею снизу, в том ракурсе, который ей особенно шел. Они сходили в ЗАГС и счастливые уехали проводить медовый месяц дикарями в Пицунду. На третий день Валерия, лежа на песке у моря, вынула бумагу и ручку и стала писать письмо подруге.

– Не отвлекай меня, Макс! – она отворачивалась. – Когда ты так смотришь, у меня рассеиваются мысли.

– Ну, не буду, не буду, – улыбаясь, говорил он, и уплывал в море.

Вечером пляжные знакомые пригласили их в ресторан. Максим сказал, что забыл почистить ботинки, и вернулся. Он открыл Валерину сумку и вытащил письмо. «С погодой нам повезло, – прочитал, в частности, он. – Что касается Максика, ты оказалась права: он ничтожество. С Гариком муженька моего не сравнишь, а уж об Эдике-то вспоминать – только расстраиваться...» В застолье Максим Петрович был весел, читал новые стихи, потешая честную компанию, а в конце сам разлил всем и торжественно сказал:

– Леди и джентльмены! Прошу поднять бокалы. Выпьем за наш с Валерией развод!

Он достал из кармана письмо, подержал в руках, прочитал в глазах Валерии испуг и читать вслух не стал, а разорвал письмо и опустил в пепельницу.

– «Но и некоторые женщины из наших изумили нас», – грустно процитировал он из Луки, тихо вышел и улетел в Москву.

Разуверившись в женщинах, Закоморный стал, по его выражению, «пополизатором». Он написал забавную популярную книжку о генетике, получил за нее Первую премию и пропил вместе с гонораром за месяц.

Когда Максим, обиженный на всю прекрасную половину человечества, познакомился в гостях с Шурой – травести из Центрального детского театра, – спичкой, похожей на мальчика и загорающейся от прикосновения, он попытался ее избежать, но она сама ему позвонила. «И все мое – твое», – сказала она. Чуть было не приобретший комплекса неполноценности, с помощью травести он понял, что вовсе не лишенец, а мужчина. Они встречались днем, между ее репетициями и спектаклями. С ней он помолодел, самоутвердился и решил, что не будет больше жениться, чтобы не заботиться о разводе. Он выработал формулу, по которой женщины ему нужны зимой толстые, а летом худые. Зимой для тепла борода, а летом можно бриться. Зимой сорокаградусная, а летом можно и портвейн, ибо еще Гиппократ говаривал, что летом вино добавляют в воду, а зимой – воду в вино. Все остальные установки отменяются, поскольку они сковывают свободу желаний.

В лаборатории, где старшему научному сотруднику Закоморному платили необходимую для осуществления некоторых его желаний зарплату, происходили между тем перемены. Шеф помирился с лысенковцами, прошел в академики и был назначен директором института. Лабораторией стал руководить бывший парторг, нацелившийся в члены-корреспонденты. Он поднял старую тему Максима Петровича и вставил ее в план, сформулировав так: «Генетическое обоснование советского человека, строителя коммунизма, как вершины генотипического ряда человечества».

– Генотипы – твоя тема? – спросил новый завлаб у Максима.

– Тема-то вроде бы... Да выводы...

– Выводы – не твоя печаль! Давай закладывай фундамент! А выводы и без тебя найдется кому сделать. Тему мы включили в шестую позицию, чтобы буржуазные ученые не смогли исполь-

звать твои открытия для совершенствования своих генотипов.<sup>1</sup> Заполний анкету, будем оформлять тебе допуск к твоей теме.

После четырехмесячной проверки Максима Петровича допустили к его собственным материалам, на которых теперь стоял гриф «СС».<sup>2</sup>

Но работать он не начал. В тот день в лаборатории состоялся митинг, посвященный единодушному одобрению трудящимися братской помощи чехам. Максим, сидя в последнем ряду, еще переживал судьбу своих генотипов и не заметил, как все научные сотрудники начали единодушно голосовать за одобрение.

– Кто воздержался? – спросил бывший парторг, а ныне завлаб только для того, чтобы сразу объявить: «Принято единогласно!»

А Максим механически поднял руку, и получилось, что он один как бы воздержался, а значит, как бы не одобрил. Честно говоря, он и сам испугался. Но парторг решил, что он, как человек более идейно-убежденный, лучше доделает работу о генотипах советского человека и Максим Петрович только мешает. Воздержание Закаморного стало известно инстанциям, после чего он был исключен из партии и уволен с работы и лишен звания кандидата биологических наук.

Осталась ему собственная порядочность. Максим Петрович пришел к выводу, что неприятности навалились как нельзя более кстати. Ему даже стало казаться, что он специально воздержался при голосовании и тем самым доказал, что лично в нем, в М.П.Закаморном, генотип полноценный. А прочие – «торгующие во храме». Свобода от обязательства посещать научное присутствие открывала перед ним два пути: доспиться или уйти в теологию. Он решил идти по обоим путям. Увлекающийся и быстро остывающий Максим Петрович был попеременно христианином, буддистом, йогом, сионистом, ницшеанцем, адвентистом седьмого дня, смешивал философии Шо-

---

<sup>1</sup> 6-я позиция – секретная часть плана исследовательских работ Академии медицинских наук, включающая разработку средств бактериологической войны, распространение эпидемий в зарубежных странах. В генетике – опыты по массовому изменению наследственности.

<sup>2</sup> «СС» – Совершенно секретно. Государственная тайна.



пенгауэра, Леонтьева, Бердяева. Чьи книги ему удавалась достать из-под полы, тем он и поклонялся.

– В сущности, я марксист-антикоммунист и верующий атеист, – объяснял он друзьям за бутылкой. – Больше всего я благодарен партии за то, что меня выгнали из партии. В принципе, жизнь не так уж сложна: с утра выпил – и целый день свободен.

Закаморному нравилось тратить время на занятия, абсолютно ненужные. Он скисал от принудиловки. Вкусы его колебались. Еще вчера он требовал для России новой революции, а сегодня носился с идеей поставить памятник разоблаченному товарищу Сталину.

– Подумайте! Ведь никто так не способствовал дискредитации идеи, как он!

Идеей, которая его посетила, он, боясь забыть, спешил поделиться немедленно. С соседом в метро он обсуждал вопрос, не написать ли письмо с предложением ввести новые знаки отличия? На погонах офицеров госбезопасности вместо звездочек поместить маленькие замочные скважины: майор – одна замочная скважина, полковник – три.

– Тебя скоро посадят, – предостерегали друзья.

А он вслед орал:

– Все вы зайцы! Из-за вас такое и творится!

В результате друзей у него стало меньше, потом совсем мало и в конце концов не осталось.

В столовой, поликлинике и магазине, где его обругали, Максим Петрович вынимал из кармана и наклеивал на стенку листок: «Здесь работают хамы». Это ему сходило с рук. Но однажды он вышел на улицу, сбрив бороду, усы и волосы с левой половины головы и оставив на правой, что, с его точки зрения, могло провозгласить новую двуличную моду, сугубо отечественную. Его забрали в милицию, добрили, упекли за мелкое хулиганство на пятнадцать суток и грозили выслать из Москвы к сто первому километру за тунеядство. Хозяйка отказалась сдавать ему комнату. Он ночевал у приятельниц, составляя список на месяц вперед и предупреждая подруг, когда у кого спит.

Деньги у Максима Петровича кончились, и он приходил в газету «Трудовая правда» написать кое-что или перевести что-

либо с иностранного на советский. Печатал это Яков Маркович под одним из многочисленных псевдонимов Закаморного или без подписи вообще. От генетики Максим Петрович ушел, от политики ушел, в модную теорию деятельности не верил. Вчера вечером на животе новой любимой женщины он вывел зеленым фломастером пониже пупка: «Лучше быть не может». Она поняла это по-своему и была счастлива.

### 23. ШКОЛА КЕНАРЕЙ

– Посторонних нету?

Закаморный просунул в щель плосковатую голову. Показалось, что он прищемил ее, и голова сплющилась. Войдя, облокотился о косяк. Яков Маркович снял очки и устало протер глаза. Он вдруг сообразил, что серая папка, подложенная Макарьеву, вполне могла быть делом рук Максима Петровича. Все подходит: и наивность, и нахальство, и знание французского. Может, прямо спросить? Но Максим – человек с закидонами, не ответит. Захотел бы – сам сказал... И вообще, зачем Якову Марковичу знать лишнее?

– Входи, дружище, – ласково произнес Тавров. – Есть возможность заработать.

– Ассенизатор предложил ювелиру кооперироваться...

– Погоди! – Яков Маркович глянул на часы. – Никудышнее здоровье – это единственное, что у меня еще осталось. Он вынул из портфеля сверточек с сыром, в две чашки бросил по щепотке заварки. Налил кипятка, разрезал кусок сыру пополам.

– Выпить не найдется? Голова со вчерашнего похмелья хрустит.

– Здоровая голова, раз терпишь. Потерпи еще немного, старче, зарабатываешь – напьешься.

– Напиться? Я вообще бросаю пить! Говори, где деньги?

– Поможешь организовать субботник.

– Субботник – это бесплатно. А я спрашиваю серьезно.

– Для других – бесплатно. А для нас с тобой – серьезно.

Со мной в лагере, Максик, сидел начальник пожарной охраны. Однажды ему позвонили из газеты и сказали, что горком партии отметил хорошую работу пожарной службы и постановил

осветить ее в печати. Корреспондент придет фотографировать пожарных за работой. Пожарник им:

– Пожалуйста, мол, приезжайте. Но у нас пожаров нет.

– Почему нет?

– А потому, что мы хорошо работаем.

– Ладно, – отвечают из газеты. – Подождем. Загорится, сразу нас вызывайте.

Через день те звонят:

– Вам повезло: пожар, выезжаем.

– Выезжайте на здоровье, – говорят из газеты. – Но до нашего прибытия не тушите. Помните: указание горкома!

Пожарные посмеялись. Приехал корреспондент, а дом уже погасили...

– За что же начальнику дали срок?

– За срыв решения горкома партии – за что же еще! Так что поезжай с Богом, пока горит, и раскручивай.

– Сколько наклебздонить?

– Чего? – не понял Тавров.

– То есть написать...

– Сам придумал? Беру на вооружение... Строк двести, не меньше... Митинг я уже для тебя организовал.

– Я раньше не понимал, – проговорил Максим, – как это полуграмотные люди с трибуны шпарят готовыми кусками все, чего от них ждут. Как их выучила Софья Власьевна?

– И понял? – с ухмылкой спросил Раппопорт.

– Понял. Знаешь, как учат петь молодых кенарей? Их сажают в одну клетку с опытными, умеющими петь. И юнец начинает повторять за старшими. Наши журналисты – типичные кенари. Наслушаются и твердят, не вникая в смысл. А сходят с трибуны и говорят: «Шумит, как улей, родной завод, а мне-то нулик и прямо в рот». Но я-то, Яша, не кенарь!.. «Никто не может... служить Богу и мамоне».

– Это было раньше, Макс, а теперь – теперь мы можем. Да, насчет твоих генотипов... Проследи, чтобы на станции Сортировочной было поменьше евреев. Они меня уже подвели с движением за коммунистический труд.

– Мало им революции? – загоготал Закаморный. – Нет, все же Павлов рефлекс должен был изучать не на собаках.

– В противном случае Ягулов все материалы зажмет.

- Разве он уже у власти?
- А то! Макарец залег с инфарктом.
- Не так страшен черт, как его Малюта. Ты задумывался, Рап, откуда берутся ответработники?
- Небось, опять биологические ассоциации?
- Раньше на кораблях уничтожали крыс так. Сперва моряки ловили в клетки четырех крыс, сдвигали клетки попарно и открывали дверцы. Крысы бросались друг на друга, и те две, что злее и сильнее, загрызали тех, что слабее. Тогда ловили еще двух крыс и подсаживали в клетки. А потом еще. Оставшихся двух самых кровожадных и агрессивных выпускали на волю, поморив голодом. Они исчезали в норах и догрызали крыс, не готовых к борьбе.
- От твоей биологии тошнит! – проворчал Раппопорт.
- Он опять подумал о серой папке. Ну, держишь Самиздат в надежном месте. Зачем же вылезать? Всех ведь начнут тормозить.
- Макс, не слыхал, у нас рукопись читают?..
- Не слышал, – отрезал Максим. – Если достанешь, дай. Я поехал на твой субботник.
- погоди! Как ты сказал?
- Клебздонить...
- Во! Наклебздонить успеешь. А фотарь? Без снимков не прозвучит! Звоню Какабадзе.

## 24. КАКАБАДЗЕ АЛЕКСАНДР ШАЛВОВИЧ

### ИЗ АНКЕТЫ ПО УЧЕТУ КАДРОВ

*Фотокорреспондент газеты «Трудовая правда».*

*Родился 2 июня 1941 г. в Тбилиси.*

*Национальность: грузин. Отец грузин, мать армянка.*

*Родной язык: русский.*

*Беспартийный. Ранее в КПСС не состоял. Член ВЛКСМ с 1955 г. Членский билет №13484167.*

*Образование: среднее.*

*Судебным преследованиям не подвергался. За границей не был.*

*Знание иностранных языков и языков народов СССР: отсутствует.*

*Семейное положение: холост. На иждивении числится мать – Какабадзе Аида Тиграновна.*

*Общественная работа: выполняет разовые поручения.*

*Военнообязанный, рядовой, воинское звание солдат. Военный билет № НМ 1493874.*

*Паспорт XIX ЕА №707241, выдан 6 отд. милиции г. Тбилиси, 7 сентября 1962 г.*

*Прописан постоянно по адресу: Москва, ул. Юных ленинцев, 51, корпус 2, кв. 3. Телефона нет.*

## ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА САШИ КАКАБАДЗЕ

В прошлом году Какабадзе провел отпуск на Кавказе, в Гаграх. Когда кончился курортный сезон, вдвоем с матерью они сняли маленькую комнату у моря, и рано утром Саша ходил со спиннингом на причал. Он стоял на волнорезе в темно-красном тренировочном костюме, пока не становилось жарко. Ничего не ловилось, но забрасывать было приятно. Раз возле Саши остановился пожилой грузин с брюшком в дорогом костюме. Он молча стоял и смотрел, иногда тихонько выбивал лакированным ботинком какой-то ритм. Простояв около часа, грузин не выдержал:

– Зачем ловить, если ничего не ловится, а?

– А зачем стоять и смотреть, как ничего не ловится?

Человек усмехнулся и ответил что-то по-грузински.

– Извините, – сказал Саша, – по-грузински я не понимаю...

– Какой же ты грузин? Одна видимость...

– Я плохой грузин, обрусевший.

– А по-русски говоришь с грузинским акцентом, – засмеялся человек. – Тяжелый случай, а? Давай познакомимся. Ты, наверно, живешь в Москве, я по отдельным приметам чувствую...

– Угадали! Меня Саша зовут. Александр.

– Красивое имя! А я Георгий. Тоже ничего, да? Знаешь, кто я? Я – главный технолог Самтреста. Понимаешь?

– Еще бы! Самтрест – на всех бутылках грузинских вин написано.

– Да, это так. Я здесь отдыхаю, но мне никто не нравится. Сегодня я повезу тебя в горы, в ресторан...

– Но я тут не один, с мамой. Она у меня армянка. И мы снимаем комнату с питанием. Так что спасибо!

– При чем тут мама-армянка, при чем тут питание?! Ты понимаешь кто я?! Послушай, сколько ты зарабатываешь?

– Сто десять.

– В день?

– Нет, в месяц. И еще гонорар – но не больше половины оклада. Больше нельзя. Если больше, работаешь бесплатно. Ну, еще халтура подворачивается...

– Как же ты живешь? Да у нас дворник больше зарабатывает! Раз в месяц проходит по квартирам, и все дают дворнику по десятке. Ты кто по профессии?

– Фотокор.

– Очень интересно! Ты можешь напечатать в газете, кого хочешь? А кого не хочешь – можешь не напечатать? Да если бы я сидел на таком месте, я бы твою маму-армянку купал в золотой ванне!

Саша намотал леску на катушку и ушел. Не захотел поехать гулять в горный ресторан с главным технологом Самтреста. Днем они с мамой ходили на рынок, и Какабадзе с опаской обходил бочку с вином, у которой торговал бойкий азербайджанец. Рядом был привязан ослик. В день приезда Саша подошел к этой бочке попробовать стаканчик настоящего деревенского вина. Очередь двигалась неспеша. На бочку был наклеен портрет Сталина. Каждый, кто получал вино, сперва чокался с Иосифом Виссарионовичем, ударяя в лоб портрету краем стакана, и только потом выпивал. Саша поднес к губам стакан.

– Ты почему со Сталиным не почокался? – закричал продавец. – Грузин не уважаешь, да?

– Я сам грузин, – сказал Какабадзе. – А ты не грузин.

– Я азербайджан, да. Это тоже Кавказ. Тебя Россия испортил. Кто Кавказ живет, должен Сталин любить!

Пожав плечами, Саша чокнулся остатком вина с портретом и выпил за упокой его души. Но больше этого делать не хотел из-за отца. Шалва Какабадзе-отец был искусствоведом.

В тридцатых годах он первым предложил убрать из Музея изобразительных искусств в Тбилиси полотна тех художников, которые не отразили в своих произведениях образа самого верного ученика Ленина.

По счастливому совпадению музей находился в том самом здании, где раньше была Тифлисская духовная семинария. В ней, как стало известно из биографии великого вождя всех народов, написанной им самим, пока семинаристы молились, вождь организовывал марксистские кружки. Музей заполнили полотна, изображавшие товарища Сталина в разных возрастах. Правда, от ареста Шалву Какабадзе это не спасло. Саше было около года, когда отца его посадили.

Аиде, его тщедушной жене, которая тоже работала в музее, родственники помогли устроиться в торговлю. Аида стала хорошо зарабатывать, но ей было мало. Она действовала энергично: обвешивала, торговала левым товаром, научилась не давать сдачи. Сашина мать скопила целое состояние и – чего только не бывает? – поехала в лагерь, где находился муж, и выкупила его. По документам значилось, что заключенный Какабадзе Шалва убит при попытке к бегству. А сам Шалва Какабадзе с паспортом Павла Коркиа, отбывшего срок за мошенничество и убитого ворами, был выпущен на свободу. В Тбилиси паспорт этот, опять за большие деньги, заменили на паспорт с другим местом рождения. Сашина мать зарегистрировала брак второй раз.

Они уехали из Грузии на Урал, чтобы не встретить знакомых. А после войны перебрались в Москву, и отец даже преподавал в театральном техникуме историю советского изобразительного искусства. Когда Саша вырос, отец ушел и женился на своей студентке. Саша же не собирался жениться, хотя Аиде Тиграновне очень этого хотелось.

– Посмотри, сколько в Москве девушек, – говорила она. – Даже твой отец не выдержал. А ты? Уж если я его уговаривала от меня уйти, так тебе и подавно пора! Твой отец, когда был молодой, имел целый гарем, и я никогда не возражала, потому что знала: меня он любил больше всех! Ну что ты за Какабадзе, если девушку соблазнить не можешь?

– Успокойся, мама, – урезонивал ее Саша. – Я могу, но нету времени.

Сашино время улетало странно. Этот совершенно непрактичный, тихий грузин вдруг заявлял в редакции, что он может поднять штангу весом сто килограммов.

– Не верите – давайте спорить!

Спорили с ним охотно трое, а то и четверо! Условия такие: если Какабадзе не поднимет штанги указанного веса, он каждому платит по десять рублей. Все садились в такси и ехали во Дворец тяжелой атлетики. Входили прямо к директору, показывали редакционные удостоверения. Тот смеялся, узнав в чем просьба, и вел всех в зал. Здоровые спортсмены надевали на штангу нужный вес и расходились. Щуплый Саша оставался на помосте со штангой один на один. Он храбро брался за нее тонкими руками, рывком отрывал и, тужась, пытался положить на грудь. После двух-трех попыток, он, в красных пятнах, молча сходил с помоста.

– Деньги, ребята, в зарплату отдам...

И потом честно раздавал всем по десятке. Матери не говорил, чтобы не расстраивать, подрабатывал, чтобы отнести ей денег. А сам жил впроголодь до следующей полочки. Но через три дня после зарплаты обнаруживал, что может читать мысли на расстоянии. От него отмахивались, жалея его. Он не отставал:

– Честное слово, каждую вторую мысль отгадаю. Хотите на спор?.. Проиграю – с меня пять рублей каждому.

Фотарем Саша Какабадзе стал случайно. После десятилетия его забрали в армию, и он взял с собой фотоаппарат. У него была любимая шутка: он фотографировал, не вставляя пленки. Но командир дивизии приказал ему сфотографировать свою семью, и тут за обман он сел бы на губу. Пришлось вставить. К удивлению самого Саши, снимки получись вполне сносные. С тех пор у него отбоя не было от офицеров. Его снимки стала печатать дивизионная газета. В редакции этой газеты побывал корреспондент «Трудовой правды». Ему не разрешили фотографировать внутри воинской части без специального допуска. А у Саши были готовые снимки, уже прошедшие военную цензуру.

Теперь к военным праздникам «Трудовая правда» стала помещать снимки рядового Какабадзе. После демобилизации его взяли на «фикс» в отдел иллюстраций. «Фикс» означал, что он



будет работать без зарплаты, а за прошедшие в печать снимки получать гонорар.

Он легко научился снимать то, что требовалось. Передовых рабочих, которые, улыбаясь, смотрели на станок или отвернулись от станка (третьего варианта быть не могло), строителей, колхозников он привозил из командировок километрами, печатал пачки, не жалел об отвергнутых, готов был ехать снова куда угодно. Но как только Александр выучился своей профессии, ему это надоело. Он бы печатал снимки из жизни, которых у него скопилось много. Уличные сценки, нищих, убогие базары в маленьких городах, тупые лица пьяных рабочих, которые, гогоча, окружали во время съемки образцового передовика, выдвинутого парткомом. Но снимки из жизни Саша мог смотреть только в иностранных журналах. Для развлечения фотарь Какабадзе стал собирать лица ответственных деятелей партии и правительства, которых ему приходилось фотографировать на различных съездах, церемониях и во время встреч глав иностранных государств. Саша отбирал самые выразительные, те, что полагалось уничтожить немедленно.

– Зачем они тебе? – спрашивали его. – Неужели на них смотреть не надоело?

– Очень надоело! – весело отвечал он. – Но это – для потомков. Один человек посоветовал их собирать.

– Кто?

– Это неважно... Вдруг потомки, сказал он, захотят устроить Нюрнбергский процесс в Москве? Захотят – и вот, пожалуйста.

## 25. Я — РЫБА

Завидев в конце коридора Надю Сироткину, Саша опустил на пол тяжелый кофр с аппаратурой, остановился и расставил от стены до стены худые руки. Стоял и ждал. Надежда, бледненькая от долгого отсутствия солнца, казалось, могла прошмыгнуть везде. Но только не мимо Какабадзе. Поэтому ее шаги становились все вкрадчивей, и она остановилась.

– Пропусти, пожалуйста, – сухо попросила она. – Я спешу...

– Надя! – с упреком проговорил Саша.

– Что? – она устало взглянула на него.

– Надя!.. Сегодня уже восемь месяцев и четыре дня, как ты мне нравишься.

– И ты мне. Пусти!

– Опять пусти, куда пусти, всегда одни пусти! Пожалуйста! Никто тебя не держит! Но почему? Сколько тебе лет?

– Двадцать три.

– А мне?

– Кажется, двадцать восемь.

– Вот видишь! Идеальное соотношение сил.

– Ну и что?

– Как это что?! Давай вступим...

– Куда?

– В брак, куда же еще?

– А потом?

– Потом?.. Ты заставляешь меня краснеть, Надя. Потом у всех бывает одно и то же.

– Вот видишь! А я не хочу одного и того же...

– Ну хорошо, согласен! У нас будет наоборот. У всех так, а у нас не так. Только об одном тебя прошу: чтобы дети у нас были, как у всех. Мне надо два. А тебе?

– Мне тоже два.

– Всего четыре. Согласен, Надя! Пошли!

– Куда?

– Опять куда! В ЗАГС.

– Не хочу.

– Хорошо, давай без ЗАГСа. Просто напишем на стенке «Надя плюс Саша равняется любовь». Ну!

Какабадзе протянул Надежде руку. Она отвела ее.

– Ой, Саша, больше не могу. Ладно, давай напишем, только не приставай! Ты слишком серьезно смотришь...

– А это что – плохо, да?

Он поджал губу, обидевшись, как ребенок. Прислонился к стенке, сложив руки на груди. Склонил голову – длинные, курчавые волосы упали на лицо.

– Проходи, – сказал он, не глядя на Надю. – Я знаю, ты мной брезгуешь. Потому что я грузин, да?

Она засмеялась.

– Ты, как маленький. То, что ты грузин, – самое большое твое достоинство.

Александр посмотрел на нее с недоверием.

– Между прочим, ты знаешь, Ягубов – антисемит: он грузин не любит. Я сказал это Рапу, он ответил: «Антисемит – это звучит гордо!» Так вот, если у тебя есть сомнение, прямо скажи!

– Что ты, Сашенька! Я сама мечтала бы быть грузинкой! Но чтобы что-то было, я должна к тебе относиться.

– Как – относиться?

– Просто относиться, и все. А сейчас – не отношусь. Я рыба, понимаешь? Мороженая рыба. Филе. Зачем я тебе? Ты меня придумал, а я – вобла. Видишь, кости торчат. Она провела пальцами по ключицам.

– Филе, вобла, рыбный магазин! – Саша пнул ногой тяжелый кофр. – Я люблю тебя, Надя. И ты будешь меня любить.

– Нет, Саша, нет!

– А вот увидишь! Поедем в Тбилиси, устроим скромную свадьбу, только для самых близких друзей – человек на семьсот, не больше.

– Опять, Саша?

– Ну ладно, ладно! Ждал восемь месяцев и четыре дня – еще подожду...

Какабадзе поскрипел зубами и поднял тяжелый кофр, забитый аппаратурой, три четверти которой никогда не надобилось и носилось для солидности. Распахнув дверь, он ввалился в отдел к Раппопорту.

– Ты, Саша, – приветствовал его Тавров, – наиболее деловой человек в редакционном борделе.

– Вы меня всегда хвалите, Яков Маркыч. За что?

Не стал Раппопорт растолковывать. Вместо этого коротко объяснил что и где снимать. Лучше всего просто сфотографировать работу на тех участках, где идет подготовка к ленинскому субботнику. Снимки пойдут и потом, будто они сняты на субботнике. Желательно сзади видеть плакаты, призывающие туда, куда надо.

– Между прочим, Саша, по редакции ходит рукопись. Ты не видел?

– Ну и вопрос! Прямо так, в лоб, по-стариковски? Если бы я не знал вас, Яков Маркович, я бы подумал, что вы простой стукач, а может, даже осведомитель!

Он приветливо помахал рукой и исчез. Сироткина между тем добежала до конца коридора. Там она едва заметно оглянулась, не смотрит ли Саша ей вслед, и остановилась у двери с надписью «Спецкоры». Она перевела дыхание, поправила кофточку и замерла в нерешительности: входить к Ивлеву или не входить?

## 26. ИВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

### ИЗ АНКЕТЫ ПО УЧЕТУ КАДРОВ

*Спецкор при секретариате газеты «Трудовая правда».*

*Родился 7 января 1935 г. в Москве.*

*Русский.*

*Партийность – член КПСС с 1956 г. Партийный билет №6753844. Ранее в КПСС не состоял и не выбывал. Партийное взыскание – строгий выговор с занесением в учетную карточку.*

*Окончил философский факультет МГУ в 1958 г. Диплом № р-364771.*

*К судебной ответственности не привлекался. За границей не был, родственников за границей не имеет. Избирательных прав не лишался.*

*Правительственных наград нет.*

*Военнообязанный, мл. лейтенант запаса. Билет № НК 4117826.*

*Семейное положение: женат. Жена – Ивлева А.Д., 1939 г. рождения, сын Вадим 6 лет.*

*Паспорт VII КН №1521462, выданный 27 ноября 1965 г. 96 отделением милиции Октябрьского района г. Москвы. Прописан постоянно: Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 4, кв. 31. Тел. 230-01-92.*

### ПОСТУПКИ И ПРОСТУПКИ ИВЛЕВА

– Ма, как ты думаешь, что делать, если твой товарищ говорит не то?

– Надо его поправить, сынок.

– А он смеется. И повторяет!

– Да что повторяет-то?

– Ну, понимаешь, страшные вещи – про Сталина, и вообще...

– Кошмар какой! Уж не Хохряков ли? Конечно, полагается по закону сообщить, иначе ты тоже виноват. Но сообщить тоже страшно. Время такое... Заставят дать показания... А на носу экзамены!

– Что же делать, ма?

– Может, перевоспитать его в коллективе? Поговорите на комитете... Слышал от кого-нибудь да повторил...

– Такое – повторил?!

*Умерли Сталин и Готвальд Клемент,  
Настал исключительно трудный момент.*

*Замерли лица стальные:*

*Когда же умрут остальные?*

– Замолчи! – мать побледнела. – И дай мне честное комсомольское, что никогда – понял?! – в жизни не повторишь! Я и отцу передавать не буду.

Весной 53-го любимец и надежда учителей Вячеслав Ивлев заканчивал десятый класс. Отличник, комсорг, капитан баскетбольной команды, лучший знаток международного положения, которому директор доверял читать на большой перемене по школьному радио газету. Семья благополучная, родители оба коммунисты. Словом, золотая медаль обеспечена. Колебание только в одном: в университет поступать на исторический или на философский? Вячеслав взял Хохрякова за жабры.

– Слушай, насчет того стихотворения. Ты его еще кому-нибудь читал?

– А что?

– А то, что лучше заткнуться. И вообще смерть Сталина – трагедия для всего человечества, а ты?

– И поговорить нельзя? Пошел ты, знаешь куда!

– Хочешь, чтобы поставили вопрос на комитете?

– Ставь где хочешь. Это тебе надо выслуживаться за медаль.

Вячеслав не поставил вопроса на комитете не из принципиальности. Мать права: это может повредить ему самому. К

тому же другие события заполнили внимание секретаря комитета Ивлева. На первомайской демонстрации десятиклассники, отправившиеся купить мороженого, столпились вокруг милиционера, и кто-то крикнул:

– Да здравствует советская милиция!

Постового бережно подбросили вверх. Он взлетел, держась за кобуру, и так же мягко опустился.

– Ну что вы, ребята, я на посту!

Все это видел директор школы Крестовский. Он подбежал, вернул учеников в колонну, а после праздников вызвал с урока Ивлева и велел на комитете поставить вопрос об исключении участников «качания» из комсомола, что означало белый билет для поступления в вуз и призыв в армию. Среди исключенных оказались лучшие ребята. И Хохлаков, конечно, вляпался. Крестовский назвал его злостным зачинщиком, Ивлев получил указание исключить его из комсомола.

– Ну вот, ма, золотая медаль в кармане!

– Я решила: иди на философский, сынок. Марксизм-ленинизм – это самое прочное. Ты будешь теоретиком, и я буду спокойна.

Слава привык подчиняться авторитету матери. Ей трудно было не подчиниться. Отец тоже ее всегда слушался, показывая тем пример сыну. Это была красивая женщина, слегка расплывшаяся. Она тщательно скрывала, что когда-то была неистойвой богомолкой. Семья была благородных кровей, а она в рубище пешком ходила в Загорск за святой водой в Надкладную церковь. Ей было тогда семнадцать, уже три с лишним послереволюционных года прошло, когда она решила податься в монастырь совсем. Долго в монастыре она не пробыла. Его разграбили при содействии соседней воинской части. Монашек изнасиловали, игуменью поставили к стенке.

Немного спустя Татьяна Савельевна стала комсомолкой, такой же неистойвой и верующей в Ленина. Она активно пропагандировала свободную любовь, такую, какая записана в Манифесте коммунистической партии и какая будет при коммунизме. Сергей Сергеевич Ивлев женился на ней, когда ей было уже под тридцать. Она была весьма хороша собой, уходила от него, но вернулась. Отец Ивлева был инженером, сидел в конструкторском бюро энского почтового ящика, занимающегося

атомной энергией, и никогда не рассказывал чем занимается. Он жил размеренной жизнью: дом, работа, чтение «Правды». Говорить Славе с отцом было не о чем.

Вячеслава должны были оставить в аспирантуре. Уже вытанцовывалась тема диссертации: «Борьба коммунистической партии против пережитков культа личности за укрепление ленинских норм партийной жизни». Правда, нормы собственной жизни Ивлевых не изменились. Ивлев, как и мать, считал, что иностранные продукты, появившиеся в магазинах, есть опасно: они могут быть отравлены. Некоторые дальние родственники Сергея Сергеевича между тем вернулись из мест заключения. Татьяна Савельевна уверяла, что партия знает кого сажать, и, видно, грехи у них были. Отец с нею соглашался, но сын вдруг начал спорить.

Незадолго до этого Слава встретил Хохрякова. Зашли в пивную, взяли по кружке. Хохрякову удалось скрыть исключение из комсомола и поступить в пединститут. Он учился на английском отделении, слушал иностранное радио и рассказал об этом сокурсникам, за что был исключен из института. Понытарившись с полгода, пристроился в библиотеку.

– Скоро буду выдавать твои труды, партийный философ! Но ты вроде уже не такой голубоглазый...

Теперь Ивлев иначе воспринимал его. Они стали встречаться. С Хохряковым было интересно. В одну из встреч Ивлев сказал:

– Хохряк, ты прости школьную дурость. Я понял. Прости!

– Простить не могу, – отрубил Хохряков, будто ответ был заранее готов. – Да и на что оно тебе, прощение? А если понял, молодец. Раньше я думал, что такие, как ты, вообще не способны уметь.

Хохряков выбирал забавные штуки из иностранных журналов, переводил и носил их по редакциям, немного подрабатывая к скудному библиотечному прокорму. Он привел Ивлева к Раппопорту. Философа Ивлева взяли литсотрудником в «Трудовую правду». Вокруг шаталось, бродило. Ивлев не мог понять что. Резьба у винта снашивалась постепенно, колечко за колечком, пока гайка не соскочила. Этому способствовали и спецкоровские командировки. Накануне Дня Советской армии его послали на учения Северного флота.

– Славик, что с тобой? – первой спросила машинистка Инна Светлозерская, когда после командировки он диктовал ей материал. – У тебя виски поседели...

– Да я на ученьях был военных...

– На ученьях ведь, не на войне!..

Эсминец, на котором спецкора Ивлева вывезли на учения, получил сообщение, что условный противник находится в зоне досягаемости.

– Ракетными снарядами – огонь!

Выстрела, однако, не последовало. Снаряды заклинило. Ничего нельзя сделать, кроме как выбивать их кувалдой.

– Кто пойдет добровольно? – спрашивает командир.

Желающих не нашлось.

Взял он сам в руки зубило и кувалду. Мгновенно вся команда легла на палубу. Ивлев тоже лег со всеми.

– Чего вы боитесь, кретины? – обернулся командир. – Если взорвется, все равно никого не останется!

Он начал легкими ударами осторожно выбивать ракеты, застрявшие в полозьях.

Все обошлось. Эсминец, так и не приняв участия в учениях, вернулся на базу. Здесь выяснили, что взяли ящики с ракетами другого калибра.

– Кто грузил? Судить!

– Как же так! – удивлялся Ивлев в разговоре с командиром. – А случись настоящая война?..

– Наивный вы человек! А в овощной магазин идешь – там капуста гнилая бывает?

– Ну, бывает...

– Почему же на овощной базе может быть бардак, а на военной нет? Люди-то те же!

В очерке Ивлева «На страже наших рубежей» все было написано как надо: эсминец, наголову разгромив условного противника, с победой возвращался к родным берегам. Могучие советские ракеты готовы в любую минуту поразить любого врага. Слава съездил в военную цензуру на улицу Кропоткина и поставил штамп «Печатать разрешается». Материал хвалили на летучке. А спецкор Ивлев долго не мог забыть железный пол палубы эсминца, на котором он лежал, закрыв руками голову.



Над сомнениями Славы Яков Маркович только посмеивался. Он дал Ивлеву Солженицына. Раппопорт довел до кондиций то состояние, которое пошатнул Хохряков. Слава отряхнулся от гипноза прошлого, который мать тщательно поддерживала в нем, от философского факультета. Он увлеченно уверял друзей, что Солженицын – это настоящая литература, все остальное – вода в ступе. Узнав, что 12 декабря 68-го Солженицыну исполняется пятьдесят, Вячеслав отправил телеграмму в Рязань: «Поздравляю Вас, надежду и гордость русской литературы. Ивлев». Он рассказал об этом Раппопорту. Тот похвалил его, но как-то вяло. «Климу Ворошилову письмо я написал, а потом подумал – и не подписал», – продекламировал он.

– Я подписал! – возразил Ивлев.

– И зря, дружище...

Недели через три Ивлев получил повестку явиться на улицу Дзержинского, дом 16, в Управление КГБ по городу Москве и Московской области. Особняк был старинный, с лепкой на стенах и потолках. В кабинете, куда его провели, сидел приятный молодой человек комсомольского возраста, радушно улыбающийся. Спросив некоторые анкетные данные у Славы, он поинтересовался:

– Вы знаете Солженицына?

– Знаю...

– Давно знакомы?

– Не знаком.

– А встречались?

– Нет, не встречался.

– Тогда назовите общих знакомых.

– У меня нет с ним общих знакомых.

– Неправда! Незнакомым не посылают поздравительных телеграмм.

– Он известный советский писатель, поэтому...

– Что вы читали?

– Я читал... – Вячеслав Сергеевич сразу отсек то, что он читал в рукописях, – читал «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»...

– «Раковый корпус»?

– Нет...

– Но вы знаете, что Солженицын ведет деятельность, которая на руку врагам нашей партии. Выходит, вы его поддерживаете?

– Возможно, я неясно выразился, – сказал Ивлев, стараясь незаметно сжать руки в кулаки, чтобы не дрожали. – Солженицына печатает «Новый мир». Я полагал, что печатается, то можно читать, и это может нравиться или не нравиться.

– Вы не хотите понять, – продолжал следователь. – Дело не в том, нравится или не нравится. А в том, что вы, журналист, работник идеологического фронта, поддерживаете писателя, которого хвалит буржуазная пресса. Вы подумали, кого и почему хвалят враги? У нас есть данные, что вы с ним знакомы...

– Я сказал: лично не знаком, никогда не видел.

– А портрет – он вам подарил?

– Какой портрет?

– Тот, который висит у вас в квартире.

Портрет этот переснял с маленькой фотографии Саша Какабадзе и сделал по экземпляру в подарок Ивлеву и Раппопорту.

– Что же замаялись? Говорите!

– Этот портрет я купил... Купил в подворотне возле букинистического в проезде МХАТа...

– У кого купили?.. Опишите внешность.

– Такой маленький парень, с бородой, вроде студент...

– Допустим... И все же вы могли бы рассказать больше.

Его отпустили, предупредив: будут вызывать еще. Он был очень напуган. Он никому не сказал о беседе, даже жену решил не волновать. Но на следующий день его вызвали к редактору. С глухо бьющимся сердцем он вошел к Макарцеву.

– Садись! – Игорь Иванович сразу оторвался от дел. – Ну, чего натворил, излагай!

Ивлев пожал плечами, рассказал.

– Дурак! – Макарцев даже поднялся со стула. – Мальчишка! Нужны Солженицыну твои поздравления! А вот нас всех ты поздравил, ничего не скажешь! И неохота, а видно, придется увольнять. Иди, буду советовать. Иди, говорю, чтоб глаза мои тебя не видели!..

– Разве этого не следовало предположить, Слава? – увидев Ивлева, сказал Раппопорт. – Солженицына, естественно, хотят уничтожить. Только не сразу. Сперва его будут травить, ку-

сать, смешивать с грязью, пока он не останется один. Тогда его линчуют публично, заявив, что он один против всего народа. Вы вляпались!

– Но ведь...

– Тише, тише, не ерепеньтесь. Вы послали телеграмму, полагая, что это смелость. А Солженицын получил ее? Предположим, да. Он и без вас знает, что он фигура. Его, ничем не рискуя, поддерживает весь мир. Что ему ваше поздравление? Оно только заставляет его думать, что за ним будут следить еще больше, раз он так популярен. Но в действительности вашей телеграммы Солженицын и не получил. Ее накололи на шило в органах. Так?

– Допустим. И что же?

– Представьте, что я полковник КГБ, которому поручено этим заниматься. Я раскладываю телеграммы по кучкам. Срок штук – от писателей. Ясно! В Союзе писателей есть его единомышленники, будем следить, чтобы не печатать их и не давать им выступать. Добавим в Дом литераторов стукачей. Двести телеграмм от интеллигентов. Выгоним с работы, исключим из партии, чтобы никогда не поднялись. Двести от студентов. Этих юнцов исключим публично – чтобы студенческая масса все это намотала на ус.

– Ясно!

– Погодите, старина, я не кончил. Откуда вообще, думаю я, полковник КГБ, такая популярность у этого Солженицына? Значит, поздравленцы читают Самиздат. Копнуть это дело! Не поможет – сажать... Выходит, Славик, своей телеграммой вы помогли составить списки подозрительных, чтобы за ними легче было следить. И телеграмма – провокация, а вы – провокатор...

– Да вы что!

– Я уж не говорю, Ивлев, что вы подводите друзей: за ними тоже начнут следить. Если вы такой герой, действуйте другими способами.

– Какими?

– Удерите за границу или тихо пишите Самиздат. Только не впутывайте товарищей!

– Все так: молчат, а потом спрашивают, почему вокруг подлость?.. Иногда мне кажется, что Солженицына нет. Ми-

раж, фантазия людей. Ну как может один стоять против машины?

Ивлев умолк и глядел на Якова Марковича.

– Что ж, Славик, не буду спорить, – сказал тот и отвернулся к окну, сделав вид, что дальнейший разговор ему неинтересен.

– Если рассуждать, как вы, Яков Маркыч, никогда у нас не сдвинется!

Тавров обернулся, пристально посмотрел на Ивлева.

– Сдвинется? И что вы хотите сдвинуть своей телеграммой? Советую каяться и ругать Солженицына изо всех сил. Спасетесь – помните: это сигнал. Не вляпайтесь-таки второй раз! Если не можете молчать, говорите, но в узком кругу. А уж совершать поступки – это, брат, пережиток какой-то. По моему, вы слишком хорошо изучали Маркса и Ленина и поняли их революционность слишком буквально.

По делу коммуниста Ивлева Макарцев увиделся с Кавалеровым. Поехать к нему было не по рангу, встретились на нейтральной почве, на просмотре нового фильма в ЦК. Когда-то Макарцев оказал Кавалерову услугу, когда тот был секретарем парткома автозавода. Теперь просьбу Макарцева исполнявший секретарь райкома Кавалеров встретил настороженно.

– Молодой еще! – убеждал Макарцев. – Хороший коммунист, добросовестный работник. Ну, бес попутал! Талант. Талантливые люди нам нужны.

Секретарь райкома слушал, молчал. Но усмехнулся:

– Талант? Просто таланты партии не нужны. Партии нужны таланты, которые понимают, чего мы от них хотим.

– Он понимает, поверь! Ивлев много делает для газеты. В конце концов, кто теперь решает: мы или органы?

– Решаем мы вместе, – сразу уточнил Кавалеров. – Это не мальчишество, а чехословацкие рецидивы. У них либеральничали – и вот до чего довели.

– Между прочим, – сказал Макарцев, – Ивлев делал полезные материалы о твоём заводе...

– Вот-вот – на завод его, к станку!

– Если не погубим, будет верным работником, пригодится. Давай накажем по партийной линии, чтобы другим неповадно

было, но не до конца. Что же мы – хуже органов знаем свои кадры? Если что, я в ЦК поговорю...

Кавалеров не ответил. Воцарилась пауза.

– Ладно, – наконец сказал он, отведя взгляд в сторону. – Из уважения к тебе, Макарецв... А в органы сам звони.

Макарецву показалось, что у Кавалерова опять проскользнула усмешка. Впрочем, конечно, только показалось: секретарю райкома редактор газеты еще ой как понадобится! Когда Игорь Иванович вернулся в «Трудовую правду», он снова вызвал Ивлева. Тот вошел хмурый, готовый к худшему.

– Вот что, – сказал Макарецв. – Считаю, что ты родился в рубашке. Коллектив тебя отстоял. Партийное собрание соберем на днях. Что говорить – знаешь?

– Понимаю.

– Еще бы ты теперь не понимал! А что касается работы, тут уж придется делом... Принимайся-ка за толковую статью о непримиримости двух идеологий. Автор – секретарь райкома Кавалеров. Напиши с душой, зря что ли тебя философии учили?

Ивлев спустился к Раппопорту счастливый.

– Поздравляю! – оживился Яков Маркович. – Собрание – это для профформы. Честно говоря, не думал, что так легко отделаетесь. Я в свое время...

– Времена меняются, Яков Маркыч!

– Возможно...

Это произошло накануне нового 69-го. А в первых числах января, перед партсобранием, Ивлеву снова позвонил следователь и вежливо просил прийти опять на улицу Дзержинского. Пропуск заказан.

– Значит, подумали и поняли, что Солженицын – просто приманка для слабых? – спросил он. – Ну и правильно. Сами посудите – для чего вам портить себе биографию? Мы и не сомневались, что телеграмма случайность. Но поскольку сделали ошибку, придется вам как коммунисту доказать, что вы ее осознали. Вы журналист, умеете писать, вам это нетрудно...

– А что я должен?

– Дело несложное, и вы сами убедитесь, что Солженицын – личность ничтожная, целиком продавшаяся за немецкие доллары...

– Марки, – уточнил Ивлев.

– Вот именно, – усмехнулся следователь. – Вы ведь пишете рассказы.

– Плохие... Сам их забраковал...

– Это не страшно. Возьмите рассказы и поезжайте в Рязань к Солженицыну.

– Я?!

– Чего вы испугались? Дорогу мы оплатим. Скажете, что пришли посоветоваться как начинающий писатель... Можете и поругать кое-что, если надо.

– И что?

– Ничего! Познакомитесь с надеждой русской литературы, как вы в телеграмме выразились. А вернетесь, позвоните мне.

Ивлев молчал, наклонив голову. Из-под бровей осторожно поглядывал на следователя. Он ждал чего угодно, только не этого. Он кивнул, чтобы не рассердить следователя, а сам судорожно думал о том, что сейчас отказаться нельзя.

– Согласны?

– Простите, я не понял. Для чего мне знакомиться с Солженицыным?

– Вы коммунист? Вот и считайте это партийным поручением... А мы вас в состав совещания молодых писателей включим.

– Видите ли, у меня есть недостаток. Я, бывает, рассказы-ваю лишнее, не то, что надо.

– Это не страшно.

– Я проболтаюсь...

– Нельзя говорить, что мы просили поехать!

– Дело в том, что я невзначай... Знаете, я не могу взяться!

Никак!

– Ладно! Значит, все ваши раскаяния – одна видимость. А партийное собрание еще не состоялось...

Капля пота стекла со лба на переносицу и потекла по щеке.

– Вы меня не так поняли, – сказал Вячеслав. – Я бы согласился, но испорчу дело.

– Ну, вот что. Подпишите бумагу, что за разглашение нашего разговора вам грозит наказание по статье 184 УК. Пока можете идти!..

Партийное собрание, как и обещал всемогущий Макарецев, объявило Ивлеву строгий выговор с занесением в учетную кар-

точку и предупреждением, что при еще одном нарушении он будет исключен из партии. Что касается поручения, от которого он отказался, пока его не тревожили. Возможно, подобрали более достойную кандидатуру.

## 27. ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ?

Надя стояла перед дверью с надписью «Спецкоры». За ручку она взялась не сразу. Снова взглянула на письма, которые держала в руке, перебрала их, поправила волосы и, решившись, отворила дверь. Ивлев, сидя за столом, что-то подсчитывал, переворачивая листки календаря. На Сироткину даже не взглянул.

– Вы заняты, Вячеслав Сергеич? – тихо спросила она. – Тогда я потом...

– Письма? – он не повернул головы. – Оставь...

Просто оставлять их Наде не хотелось, потому что после не будет повода снова зайти. И она будет опять считать дни. Сироткина переминалась с ноги на ногу. У него сейчас плохое настроение, уговаривала она себя, уйди. Все испортишь, не навязывайся... Я и не навязываюсь. Просто он сейчас такой одинокий и беспомощный, как никогда. Подойди к нему. Положи руку на голову. Или хотя бы скажи что-нибудь. Ну, найдись!

– У вас дел много? Может, помочь?

Она сама испугалась того, что сказала. Сейчас он засмеется, и тогда лучше никогда в жизни ему не попадаться.

– А как помочь?

Он перестал листать календарь и, заложив пальцем страницу, посмотрел на нее внимательно, приподняв брови, будто первый раз увидел. Она была слишком тоненькая. Но все же кое-что было, и теперь, когда он разглядел это кое-что, оно – Надя сразу поняла – его заинтересовало.

Надя спокойно ждала, пока он оглядит ее, и не боялась этого. Прическу она сегодня сделала в парикмахерской, из-за чего опоздала на работу. Ресницы тщательно покрасила в уборной французской тушью. Замшевая юбка ей шла, это все девочки говорили. А из кофточки со стоячим воротником, круг-

лым вырезом на груди и дырочками вокруг выреза шея ее, тонкая и длинная, видна была вся, и любознательный зритель мог усмотреть даже больше, чем положено для первого раза. Он хмыкнул, и она поняла, что понравилась. Наконец-то!

– Не смотрите на меня так! – надув губы, сказала она, чтобы по его ответу убедиться в своей победе.

Она кокетничала изо всех сил.

– Нельзя?

– Нельзя! – вынесла приговор она и теперь могла себе позволить покривляться и сменить тему. – Что это вы считаете?

– Возраст.

– И что выходит?

– Выходит, мне остается еще пять лет на то, чтобы помучиться.

– А вам сколько?

– Тридцать три.

– Как Иисусу Христу! Всего-то! Вы старше меня только на девять лет. А я думала...

– Что?

– Вы выглядите старше.

– Десять лет в школе и пять в институте забивают голову, чтобы отучить думать. А чтобы забыть все, нужно еще пятнадцать. Мне осталось пять.

– Зачем вам еще умнеть? Будет только трудней.

– А легче – скучно.

– Завидую! А я кончу журфак, мне переучиваться не придется: во мне ничего нет.

Она посмотрела на него и вдруг, не осознавая до конца что говорит, тихо произнесла:

– Я уйду, если я вам не нужна.

– Ну почему же?

Надежда покраснела и повернулась к нему спиной, чтобы хоть как-то спастись. Голос стал ватным, непокорным.

– Хотите, книжки вам буду приносить? Не наши... У отца хорошая библиотека. Могу кормить или стирать...

– Для этого у меня есть жена.

«Не заметно», – подумала она, но не сказала. Надя не хотела обидеть его жену.



– Ей ведь некогда, у нее ребенок. Вашему сыну сколько?

– Шесть.

– Жаль! Долго ждать, а то бы вышла за него замуж. Прогоните меня, я идиотка!

– Ну что ты!..

Она все еще стояла к нему спиной. Он поднялся из-за стола и, чтобы успокоить ее, положил руки ей на плечи, и, ощутив под тонкой кофточкой горячую кожу, повел руки вверх, к шее. Ивлев почувствовал, как у него под пальцами пробежал комок, – она глотнула и резко повернулась, уткнувшись носом ему в плечо.

– А дверь! Дверь, сумасшедшая девка! – проговорил он, целуя ее в шею, в ухо, в щеку.

– Заприте! – она развела его руки и стояла, закрыв глаза, не шевелясь, только улыбалась рассеянной, нагловатой улыбкой.

Повернув ключ в скважине, он потряс головой, чтобы прийти в себя. Зачем это ему? Для чего добровольно нарываться на сплетни? Она прилипнет, не отвяжешься, будет ходить хвостом. С таким простодушием, как у нее, с ней просто страшно. Нет! Только сделаю это без хамства, чтобы не обидеть.

– Надя, – выговорил он твердо.

Она сделала вперед три неуверенных шага, будто сошла с карусели, и положила ладони ему на уши.

– Вы кричите, как в лесу. Я вот...

Ее дыхание согрело ему шею.

– На кой я тебе? Вон Какабадзе – холостой, красавец, двадцать восемь, дети будут – загляденье! А я без пяти минут лысый!

– Не кокетничайте, – строго сказала Надежда Васильевна. – Мне с вами можно, чтобы завлечь, а вам со мной – нет. Чего вы боитесь? Я вас совершенно не люблю. Я быстро схожусь, но мне становится скучно. Мне ваша любовь не нужна. Только вы сами. И ненадолго. Я вам тоже нужна, я чувствую, нужна!

– Ты поэтому дрожишь? Что же делать?

Сироткина пожалала плечами. Но теперь все его предыдущие соображения перепутались, слились, отпали, как не заслуживающие внимания. Вячеслав притянул ее к себе за локти резким движением, будто, опоздай он на секунду, она упала

бы, потеряв равновесие. И она упала на него, подчинившись его рукам, став мягкой, податливой, бескостной. Она изогнулась, из последних усилий стараясь не потерять губами его губ, будто без них она задохнется. Он отодвигал ее, ища ее грудь, а она не понимала и прижималась к нему, мешая ему и пугаясь, что он отрывает ее от себя.

– Вы меня целуете, будто я голая, – когда губы наконец оторвались, прошептала она.

– Хочешь быть голой?

– Хочу, – она засмеялась. – Девчонки все уши прожужжали. И вот...

– Что – вот?

– Жду, что вы будете делать.

– То же, что все.

– А что делают все?

– Послушай! На роль просветителя я не гожусь.

– Годитесь! Вы на все роли годитесь!

– Ты чокнутая!

– Ага. А вы? Вы разденетесь?

Одежды на ней осталось не больше трети, когда в дверь постучали.

– Ивлев! Вы здесь? – послышался голос Раппопорта. – Впустите-ка меня...

Надя прижала ладони к пылающим щекам. Вячеслав стал застегивать пряжку, она звякнула. Яков Маркович постучал еще раз, кашлянул и угрюмо произнес:

– Освободитесь – зайдите...

Надя присела на корточки позади стола, чтобы Слава не видел ее, полуодетую, и поспешно натягивала колготки. Более неудобное положение для этого дела представить себе было трудно.

– Я не смотрю, не мучайся...

Он отвернулся, стоял, ждал. Зазвонил телефон, нагнетая нервозность, заставляя думать и поступать быстрее. Ивлев снял трубку.

– Славик, почему не открыли? Вы нужны!

– Сейчас зайду...

Он отпер дверь и выглянул. Надя проскользнула мимо, незаметно проведя пальцем по его щеке, на которой за день

успела отрасти щетина. Остался едва уловимый запах очень хорошего мыла, который вдруг стал Ивлеву необходим.

## 28. НЕТЛЕНКА

- Что у вас происходило, Славик?
- Я работал...
- Так я и подумал...
- Что-нибудь случилось?
- Ничего значительного. Дома у вас все в порядке?
- Конечно! Почему вы спрашиваете?
- Да так... Может, прогуляемся? А то голова трещит.

Через три минуты они, одетые, вышли на бульвар напротив редакции. Тут можно было поговорить с меньшей степенью опасности. Солнце по-весеннему слепило глаза, и оба жмурились, как коты, вылезшие из чулана.

– Вам, Слава, нравится Ягубов? – с ходу спросил Раппопорт, выходя на сухую дорожку.

– Ответить однозначно? – спросил Ивлев, беря его под руку, чтобы обвести вокруг лужи. – Поживем – увидим... А что?

– Я уже давно завел две амбарные книги и вписываю в них людей. В одну – хороших, в другую – сволочей. Куда мне вписать Ягубова?

- А куда вы записали меня?
- В хороших. Но это не значит, что навсегда.
- А вы сами, Яков Маркыч? В какую книгу вы внесли себя?
- Я записан первым в обеих книгах. Думаю, это не будет нескромно, а?

– Ну что вы, учитель! Вы же знаете, как я к вам отношусь! Хотя и допускаю, что у вас могут быть грехи, за которые вы себя казните.

– Грехи есть у всех, Ивлев, – развивать тему Раппопорт не стал. – Я вписываю не за наличие или отсутствие грехов, а за жизненную позицию. Личность – человек или-таки слизь.

– Вы – в любом случае личность!

– Разумеется, Славик! Если бы в природе было разлито чуть больше разумности, я был бы редактором этой газеты, а Макарец и Ягубов – у меня на побегушках.

– Это карьера! А вы – просто человек. И уж после – журналист! Ваше слово читают миллионы!

То ли посмеялся, то ли серьезно сказал. Раппопорт зыркнул на него из-под очков и поморщился.

– Я не знаю, что это за профессия – журналист, Славик, – пробурчал он. – Лично я по профессии – лжец. И других, как вы изволили выразиться, «журналистов» у нас не встречал, а в другие страны меня разве пускали? Но я не стыжусь, что я лжец, а горжусь этим.

– Гордитесь?

– А что? Допустим, я бы хотел писать, что вижу и думаю. Нельзя! Не могу делать то, что люблю, но люблю то, что делаю. Я работаю творчески, с самоотдачей, творю нетленку. Мое вранье чистое, без малейшей примеси правды. Доктор Геббельс утверждал, что ложь должна быть большой, тогда ей поверят. Это не совсем так. Дело не в количестве, Ивлев, а в возможности сравнить. Если у читателя не будет повода для сопоставлений, значит, и сомнений не будет. Как гласит индийская мудрость, человек, который не понимает, что видит сильнее, его и не видит. Газетная философия должна быть доступна дуракам. По указанию сверху я выдумываю прошлое, высасываю из пальца псевдогероев и псевдозадачи современности, вроде субботника, а потом сам же изображаю всенародное ликование. На этом липовом фундаменте я обещаю прочное будущее. Или не так?

– Кстати, как с субботником?

– Вы хотите песен? Их есть у меня. Горком партии одобрил почин станции Москва-Сортировочная. Мой субботник решено сделать общемосковским. Профессора будут скалывать лед на тротуарах. Писатели – чистить клетки в зоопарке. Артисты убирать во дворах помойки. Все гегемошки города выйдут работать задарма!

– Не все, Рап.

– Большинство! Ибо пропитываясь пропагандой, Славочка, народ становится еще хуже своего правительства. Труженики пишут письма с требованием посадить Солженицына, хотя ни строки его не читали. Я только заикнулся, а персональные пенсионеры звонят, что именно они участвовали в первом субботнике. Мы приучили людей, что они согреты солн-

цем конституции, под жаркими лучами статей которой зреет богатый урожай. И они считают, что настоящее солнце хуже.

– Бывают ведь и проколы.

– Бывают. Вот погорячились и объяснили, что Сталин немножко ошибался. И, думаете, все поверили? Наоборот! Обвиняют Хрущева в клевете. А почему? Потому что правда мешает верить слепо, как раньше. Уяснили, что врать надо сплошь, а не время от времени. Никаких отдушин!

– Но вы же, Яков Маркыч, понимаете, что врете?

– Я другое дело. Я лжец профессиональный. Я преобразую старую ложь в новую и таким образом закапываю истину еще глубже.

– Значит, истина есть! Конечно, средства замарали себя, но цель, мне кажется, – благая. Только вот переход к ней...

– Бросьте! Истина и цель нужны только нам с вами, профессионалам, чтобы понимать, зачем мы врем. Наивный, как вы изволили выразиться, журналист, пытающийся уладить конфликт совести с партбилетом, будет врать искренне ради преодоления неувязок на пути к светлым вершинам. Ну и что? Да этим он только замарает и вершины, и себя.

– Стущаете! – возразил Ивлев. – Сейчас даже те партийные работники, кто еще десять лет назад, услышав анекдот, кричали, что надо сообщить куда следует, потихоньку, прячась от жены в уборной, слушают Би-би-си. Пытаются понять.

– Не понять, а стали еще циничнее. Поймите, мальчик: культ и диктатура выгодны и верху, и низу. Снимается личная ответственность. Выполняй и не беспокойся.

– Но общество не может жить без морали. Оно деградирует. Где же прогресс?

– Верно, старина!

– Стало быть, безраздельная преданность, о которой мы ратуем, превращает человека в барана!

– Кто же спорит? Конечно, пропаганда – одно из самых аморальных дел, известных человечеству. Само существование ее свидетельствует только об одном: лидеры соображают, что добровольно люди за ними не попрут. Да, гнусно навязывать свои взгляды другим. А я? Я ведь навязываю другим не свои взгляды. И это как-то легче. Я вру, не заботясь о соблюдении приличий. Я пишу пародии, но их воспринимают серьезно.

– Вы талантливый, Рап. Не жаль вам себя?

– Такого таланта мне не жаль. Правые мысли я пишу левой рукой, левые – правой. А сам я абсолютно средний.

Они дошли до конца бульвара, до трамвайного круга, и повернули обратно. В глазах Ивлева блеснуло озорство.

– А вы можете, Яков Маркыч, написать статью, чтобы в ней не было ни единой своей мысли?

– Чудак! Да все мои статьи именно такие! Основной закон Таврова-Раппопорта: «Ни строчки с мыслью!» Я создаю море лжи, купаю в ней вождей. Они глотают ложь, прожевывают и снова отрыгают. Я их понимаю, я им сочувствую. Чем больше их ругают вовне, тем сильнее хочется услышать, что внутри их хвалят. И вот, читая, что их ложь – правда, они сами начинают думать, что не врут. И, успокоившись, врут еще больше, начисто отрываясь от действительности. Заколдованный круг: вверху думают, что ложь нужна внизу, а внизу – что наверху. И я им нужен: сами-то они врут полуграмотно. Вот я и числюсь в хороших партийных щелкоперах.

– Как говорил Никита, подручных партии...

– Подручные... Это слово меня, Слава, принижает. Нас нельзя употреблять, как уличных девок, прижимая к стенке в парадном. Хорошие лжецы входят в партийную элиту, если они, конечно, не евреи... Впрочем, наша эпоха создала принципиально новый тип еврея.

– Еврея-антисемита?

– Ага! Такие своих же соплеменников готовы топить... Чур, это не я. Я только лжец.

– А ваши собственные убеждения?

– Собственные?! Во-первых, у меня их отбили железной пряжкой. Но тех убеждений мне, честно говоря, и не жаль.

– А другие?

– Хм... У людей нашего ремесла, старина, убеждения, если есть, то всегда только другие.

– Достоевский говорил, есть люди, которые с пеной у рта доказывают, стараясь привести в свою веру. А сами не верят. «Зачем же убеждаете?» – «А я сам хочу себя убедить».

– Сынок! Я бы хотел кончить дни на такой каторге, где отдыхал Достоевский, выковывая свои взгляды. Мне осталось одно убеждение: надо думать в унисон с руководством. Пускай

борются такие, как вы, Слава. Что касается меня, то принципы я израсходовал на обстоятельства. Одно меня утешает: мы игнорируем истину, стараемся ее ликвидировать. Но ложь затягивает, как тряпина.

– И вас тоже! Утонете! Может, лучше тонуть в истине?

– Что? Писать правду для себя? Да для себя я ее и так знаю. А писать для других – опять посадят.

– А если появится щель?

– Щель, чтобы гавкнуть и спрятаться? Щель... Да и где она – правда? И чья она? Твоя? Моя? Их? Фейхтвангер объяснил миру, что нацисты превращают Германию в сумасшедший дом. Но вот он приехал в страну, где диктатура была изощреннее фашистской, и стал пускать пузыри... Вы же знаете, Слава, как я отношусь к Солженицыну. Но разве в том, что он, а не кто-либо другой стал выразителем нашей лагерной эпохи, заслуга его таланта? Нет, дело случая. Я знаю старого писателя, у которого есть повесть, похожая на «Один день Ивана Денисовича», только написана раньше. И с точки зрения правдолюбцев вроде вас, гораздо более сильная и мрачная. Повесть не попала к Твардовскому и выше. А и попала – ее бы не напечатали, потому что герой повести – еврей, и его убивают зверски, а когда тело вывозят из лагеря, охранник для проверки протыкает ему сердце, как положено, штыком. Оптимизма не получилось. В щелочку просунулся Александр Исаич, и слава Богу. Но многие другие остались, а дверь захлопнулась.

– Кто этот человек?

– Вопрос нетактичный, мальчик.

– Извините, – смутился Вячеслав. – Я имел в виду, что я автора, возможно, знаю.

– Если знаете, догадайтесь. Давайте посидим, вот пустая скамейка, а то я устал маршировать.

Яков Маркович вынул из кармана сложенную «Трудовую правду», расстелил, уселся, сопя.

– Ладно! – Слава присел рядом. – Допустим, убеждений нет, но честность – простая человеческая честность еще есть?

– Хе! Честность... Кому она нужна? Разве может желчь разлиться по телу и сделать его здоровым? Нет, я хочу утонуть в тряпине лжи вместе со всеми, на кого я израсходовал жизнь.

Твердя изо дня в день всю эту чушь о светлых идеалах, я изо всех сил тяну их в омут. Честность только тормозит.

– А как же совесть?

– Совесть?.. – Раппопорт умолк, глаза его стали злыми. Он поморщился от боли, вытащил из кармана конфету, развернул, пососал. Желудочный сок устремился на конфету. Яков Маркович рыгнул, и ему стало легче. – Вы, Слава, моей совести не видели, и сам я тоже. Если она и была, ее давно направили в нужное русло. Мать моя в царской ссылке сидела за то, чтобы я был свободен. А я? Мне велели рассказать побольше, не то посадят жену. Там я кончил университет совести. А от сына я теперь слышу, что это я виноват в том, что наша свобода хуже тюрьмы, и обвиняю в этом свою мать. Цепь замкнулась. На кой ляд мне маяться с совестью? Остатки сил я потрачу на доказательство, что наш советский паралич – самый прогрессивный.

– Ну, Рап, вы Мистификатор!

– Я? Да это век такой. Если потомки обзовут нашу эру, то не атомной, не космической, а – Эрой Великой Липы. А я, ее сын, даром хлеб не ем. Я нужен. Макарец держит меня, потому что со мной он спокоен. Сам он ничтожество, хотя и корчит из себя порядочного. И Ягубов без меня червяк! Не на Ленина, а на меня надо молиться. Да Ленина, с его путаницей мыслей, я бы в «Трудовую правду» литсотрудником не взял. У нас его давно бы посадили за левизну и правизну. Данный строй может существовать только благодаря таким червеобразным, как я. Вопросы есть?

Ивлев обратил внимание на молодую женщину с коляской, поглядел на ее длинные ноги в ботинках, сказал:

– Чепуха, конечно, но спрошу. А что если бы произошло невероятное?

– Интересно! Через сколько лет – через пятьдесят или пятьсот? Эта земля, дружище, может, как никакая другая, страданиями и терпением заслужила от Бога более порядочную власть. И прессу... Но...

– А вы?

Раппопорт прикрыл ладонью глаза, задумался.

– Я? Я часть этой системы и этой страны, винтик. Куда же мне деваться, поскольку я еще не умер? Я думаю одно, говорю другое, пишу третье. Какая богатая интеллектуальная жизнь!



Нет, атмосфера нашей прессы уникальна, и только в ней я дышу полной грудью.

– Что же вы тогда будете делать?

Старичок-пенсионер, постукивая клюкой, подошел к скамье, покашлял и осторожно сел на край. Раппопорт не отвечал, поднялся, сложил газету и спрятал в карман. Они снова пошли вдоль бульвара, и только тогда Яков Маркович прохрипел:

– Что буду делать лично я? Это вы серьезно? Знаете, тогда ведь границу откроют. Я, пожалуй, тогда эмигрирую, если, конечно, доживу.

– Вы? Побежите от свободы? Но куда?!

– А что? На Западе принято считать, что данная идеология привлекает нищие народы. В действительности она привлекает только честолюбивых насильников, своих и чужих. Эти ребята понимают, что отсталых легко обмануть. Кроме того, на свете еще немало наивных людей, которые просто устали от благоденствия.

– Разве их ничему не научил наш зоосад?

– Клетку можно почувствовать только изнутри. А у них руки чешутся по цепям. У них сладостное предчувствие зуда от кнута. Погаси свет – и тараканы лезут из всех щелей. Уж они уговаривать себя не заставят, схавают все, что плохо лежит. А схватив, первым делом отгородятся от мира колючей проволокой и начнут выпускать – что? Конечно, «Правду».

– «Трудовую правду»?

– Не возражаю! В любом случае, сразу понадобятся профессиональные лжецы.

– Но вы же не знаете других языков!

– И не нужно. Я понадоблюсь тогда, когда их уже заставят кукарекать по-русски. Моя функция – оболванивать массу, развивать стадные инстинкты, науськивать одних людей на других, ибо человек человеку друг, товарищ и волк. На мой век работы хватит. Без лжи, Вячеслав Сергеич, люди почему-то забывают, что есть на свете истина. Выходит, хотя у меня самого совести нет, именно я временно исполняю обязанности совести прогрессивного человечества. Вот такие дела, старина. Вы уж извините за откровенность. И вообще, поменьше меня слушайте, я ведь не врать не умею. Надеюсь, все останется между нами?.. Тем более, что есть причина, чтобы помалкивать...

– Причина? Она всегда была!

Яков Маркович погладил вращательным движением занывший опять желудок.

– Следователь Чалый, век его не забуду, был милейший человек. Говорил ласково, с пониманием. Про детей своих рассказывал – очень их любил. И чтобы лучше меня в доверительной беседе видеть, направлял мне в лицо настольную лампу – вплотную к глазам. И держал эту лампу часов по шесть. Это было как десять солнц, которые вы бы видели сейчас. Если я закрывал глаза, он колот меня пером в шею, отрываясь от протокола. Вот они, синие пятна!.. Не того мне жаль, что зрения осталось в одном глазу пятьдесят процентов, а в другом – двадцать пять. И не того, что очки для меня заказать – никто не хочет шлифовать линзы. Жаль, что глаза теперь болят заранее. Кто-нибудь только еще идет к выключателю свет зажечь, а у меня – как удар током. Ничего не могу поделать! Свет стараюсь зажигать сам и отвлекаю внимание разными способами.

– Вы это к чему?

– К тому, что на шмон у меня такое же предчувствие. Руки тянутся назад и вкладываются пальцы в пальцы: сейчас поведут... По редакции рукопись ходит, не слышал?

– Пока нет. Надеюсь, меня не минует?

– Поосторожней, Славик, не нравится мне это...

– Что вы! Сейчас не пятьдесят второй.

– Но и не пятьдесят седьмой! По-моему, они копошатся... Кстати, почему бы вам не мотнуть в командировку?

– Хотите меня спрятать? Но мне бояться нечего!

– Таких людей нет... Что вы все время оглядываетесь на женщин, будто никогда их не видели? Да, хотел вам сказать: совокупляться лучше дома, Вячеслав Сергеич.

Ивлев почесал нос, пробормотал:

– У кого дома?

– У меня. Понадобится, не стесняйтесь, берите ключи.

## 29. ШАБАШ

По вечерам каждый, кто по графику под стеклом у Анны Семеновны был «свежей головой», вместо того, чтобы выиски-

вать в полосах блох, читал серую папку. И каждый, сделав для себя открытие, приходил к выводу, что лучше об этом не распространяться: почти наверняка рукопись в конверте в стол главного редактора положена специально, чтобы ловить на этот примитивный крючок. Если бы Макарец сам оказался леваком, он не держал бы Самиздат в кабинете. Впрочем, и другие мысли приходили в голову. Что, если Игорь Иванович придумал новый способ воспитания сотрудников и рассчитывает поднять свой престиж? А может, наверху что-нибудь слышно и есть надежда на послабления? Никаких иллюзий не было только у Якова Марковича. Он колебался между доверием редактора и необходимостью предупредить друзей.

А на «Трудовую правду» сыпались ошибки, и Ягубов не мог понять в чем дело. У секретаря парткома и директора автозавода поменяли инициалы. Народного артиста СССР оскорбили, назвав заслуженным. Перепутали счет в двух хоккейных матчах, состоявшихся в разных городах, и к Анечкиному телефону пришлось посадить сотрудника отдела спорта, который не отходил до одиннадцати вечера. Некоторые читатели угрожали, что из-за ошибки в хоккейном счете перестанут выписывать «Трудовую правду». Это было опасно: тираж газеты был установлен сверху и зависел от бумаги, покупаемой в Финляндии. Уменьшение подписки увеличивало розничную продажу, и только. Однако за ошибки по головке не гладили. В подписанной полосе Ягубов попросил портрет обрубить так, чтобы Ленин смотрел вдаль, а не вниз. Верстальщик обрубил цинк, но отсек часть ленинского затылка, и Ягубов ездил объясняться в ЦК. Верстальщика уволили, дежурные получили выговора.

Приказы Ягубова о выговорах Кашин вывешивал на видном месте, однако что ни день проскакивали новые ошибки. Очередная «свежая голова», зачитавшись рукописью в кабинете Макареца, небрежно просматривала полосы. Хорошо еще, Бог миловал от крупных идеологических ляпов – тут звонков читателей не было бы, но от звонка сверху не поздоровилось бы всем.

Яков Маркович пыхтел над материалами по субботнику. Каждый день шли в номер статьи, информация. Ягубов требовал широты охвата и, что раздражало Таврова больше всего, творческого подхода. Поэтому, когда Анна Семеновна вошла к Раппопорту, он сам спросил:

– Опять к Ягубову? Вы думаете, он мне не надоел?

– У вас внутренний телефон все время занят. Может, не исправен?

– Исправен! – пробурчал Раппопорт, вставая.

В действительности он вытаскивал один проводок от этого телефона из розетки, предполагая, что Ягубов или кто-то другой слушает, что происходит в отделах. Следом за Локотковой, бесцеремонно разглядывая ее ноги и то, что находится выше, Тавров побрел к замредактора. На лестнице он не удержался и слегка погладил Анну Семеновну по симпатично выступающей сзади части тела.

– Что это вы, Яков Маркыч? – строго спросила она.

– Ох, Анечка... Воспоминания молодости...

Локоткова хихикнула, но для порядка назидательно произнесла:

– Уж кому-кому, а вам это совершенно не к лицу...

– Не к лицу, не к лицу, – тотчас согласился он. – К другому месту.

Ягубов расхаживал по кабинету, преисполненный возбуждения. Увидев в дверях Таврова, радостно улыбнулся.

– Входите, входите, Раппопорт, – потирая руки, сказал он.

– Для вас у меня новость.

Ругать не будет, мгновенно сообразил Яков Маркович. А с чего же он так радуется?

– Звонили сверху по поводу субботника?

– Уже знаете? И знаете, кто звонил?

Раппопорт мог бы, конечно, догадаться и об этом (велика мудрость!), но Ягубов не дал ему времени подумать.

– Только что звонил по ВЧ товарищ Хомутилов. Он просил передать, что его шефу доложили о нашем почине, а он сообщил... вы сами понимаете кому, – Ягубов сделал внушительную паузу. – И оттуда приказано поздравить коллектив редакции. Большая честь! Мы на правильном пути – Политбюро на днях решит сделать субботник всесоюзным.

– Я рад за вас, – Яков Маркович с шумом выпустил воздух через нос.

Ягубов не обратил внимания на его последнее слово.

– Все это большая честь, но и ко многому нас обязывает.

Тираж газеты – девять миллионов, нас читает вся страна!

– А конкретнее? – перебил Тавров.

– Конкретнее? Давайте трудиться так, чтобы оправдать доверие.

– Мой субботник уже идет.

– Вот именно! – подхватил Ягубов. – Это вы хорошо сказали. Член Политбюро (пока не сказали кто) лично выступит у нас в газете со статьей по поводу субботника, и статью подготовите вы.

– Вот это уже конкретнее, – похвалил Тавров.

Ягубов подождал, пока Раппопорт осмыслит свою ответственность, подошел к столу и взял гранки.

– Да, чтобы не забыть! Насчет юбилея Парижской коммуны... Подправьте гранки, пожалуйста. Не надо никаких баррикад, поменьше о восстании и толпах народа на улицах. Ведь все это имеет чисто исторический интерес. И добавьте о новой сильной власти, которая была необходима. Ясно?

Раппопорт опять кивнул, молча забрал из рук Степана Трофимовича статью и сразу, не заходя к себе, отправился в справочную библиотеку. Там сидел Ивлев.

– Ключули?! – воскликнул Ивлев и перешел на шепот. – Им просто нечего делать. Разобраться в политике или экономике образование не позволяет. А субботник – тут они при деле. Но потомки... Потомки будут вас презирать, Тавров, за эту подлость.

– Потомкам, поскольку вы моложе и у вас есть шанс с ними встретиться, передайте, что в статьях членов Политбюро я использовал только нацистскую терминологию: «борьба за наши идеалы», «великая победа» и прочая. Пустячок, а приятно.

– Вот они где! – раздался крик на весь читальный зал.

В дверях красовалась борода Максима Петровича.

– Тише, Макс, – урезонил его Тавров, – что за оргия?

– Оргия впереди.

– Уже знаешь?

– «День тот был пятница, и настала суббота». Евангелие от Луки. С вас причитается...

– Но ты же не пьешь, завязал.

– Я бросил не пить. Пошли!

Закаморный, Раппопорт и Ивлев гуськом вылезли из двери библиотеки и направились в отдел коммунистического воспи-

тания. Яков Маркович изнутри повернул ключ, чтобы не лопались посторонние, и тут же на столе оказалась бутылка водки, извлеченная Максимом из кармана потрепанного пальто.

– Какая оперативность! – восхитился Раппопорт. – Ну-с, распределим обязанности: я разливаю, вы – пьете.

Он выплеснул остатки чая из одного стакана под стол, взял с подоконника еще стакан и наполнил оба.

– Налейте и себе глоток, Яков Маркыч, – попросил Вячеслав.

Тавров посмотрел на часы.

– Как говорил мой друг Миша Светлов, от без пяти четыре до четырех я не пью.

Максим поднял стакан и почесал им кончик носа.

– Ну, выпьем за то, во имя чего мы, несмотря ни на что...

– И чтоб мы всегда гуляли на именинах, а наши враги гуляли на костылях, – подхватил Раппопорт.

Это был ритуал, молитва и дань времени в одночасье. Ивлев не допил, поперхнулся, на дне немного осталось. Он оторвал кусок чистой бумаги на столе у Якова Марковича, пожевал и сплюнул в угол. Закаморный, хлебнув одним глотком до дна, задышал усиленно и глубоко, по системе йогов, закусывая кислородом.

– Ну что? Заводная лягушка запрыгала? – спросил Максим.

– Разве может быть иначе? – удивился Яков Маркович. – Три этапа выпуска газеты по закону Раппопорта. Первый этап – всеобщий бардак и неразбериха. Второй – избиение невиновных. Третий – награждение непричастных.

– Мы непричастные?! – возмутился Ивлев. – Не вы ли втянули нас в авантюру с субботником?

– Я никого никуда не втягиваю, Славочка. Я плыву по течению, обходя омуты. В данном случае я просто назвал вещь своим именем. – Раппопорт указал пальцем на телефон и договорил шепотом. – Я открыто сказал, что труд у нас рабский, а они почему-то орут «ура».

– Это же надо! – пробормотал Ивлев. – Заставить двухсотпятидесятимиллионный народ вкалывать задарма, да еще в субботу, когда по всем еврейским законам работать грех! И это сделал наш простой советский Раппопорт!

– В Библии сказано, – заметил Максим, – не человек для субботы, а суббота для человека. Рап исправил Библию: человек – для субботы!

– Погодите, еще не то будет! – мрачно сказал Тавров. – По субботам будут субботники, по воскресеньям воскресники. Праздники присоединим к отпуску, отпуск – к пенсии. Пенсию потратим на лечение.

– Как тебя народ терпит, Рап? – спросил Закаморный.

– Народ? Народ меня любит, – он ласково погладил телефон.

– Гвозди бы делать из этих людей, больше бы было в продаже гвоздей! – продекламировал Ивлев.

– Вы повторяетесь, Вячеслав Сергеич, – заметил Закаморный. – Я налью еще, если позволите...

Он поднес к глазам бутылку, прикинул объем и двумя резкими наклонами горлышка точно разделил оставшееся содержимое между Ивлевым и собой.

– Субботник – ограбление века! – театрально произнес Максим. – Выпьем же, Славик, за автора дерзновенного проекта, который скоро вытащит из народного кармана миллиарды. Жаль, не для себя. Сам он останется нищим. Ему даже нечем заплатить партвзносы. За Якова Марковича Тавропорта, нашего вождя и учителя!

Он выпил, послонялся по комнате. Ивлев отглотнул, закурил.

– Не будешь допивать? – спросил Максим у Ивлева. – Тогда я...

Он допил остаток из ивлевского стакана.

– Быть алкоголиком – это тебе не идет, Макс, – заметил Раппопорт. – Опускаешься...

– Чепуха! Я делаю то же, что и вы, Яков Маркыч, только в другой форме. Мы, алкоголики, ускоряем агонию и, значит, способствуем прогрессу.

– Прервись, Макс! – попросил Яков Маркович. – Уж больно настойчиво звонит.

Тавров перегнулся через стол и, сделав знак рукой, чтобы все умолкли, снял трубку.

– Это Яков Маркович? – спросил грудной женский голос.

– Ну и что? – ответил он несколько раздраженно.

- Я Макарецва.
  - Кто?
  - Зинаида Андреевна, жена Игоря Иваныча...
  - Ах, простите... Я сразу немножко не сообразил... Тут у нас небольшое совещание... Как себя чувствует?..
  - Он чуть не назвал имя, но прикусил язык.
  - Ему лучше. Уже разрешили разговаривать. Он просил, чтобы вы заехали к нему. Он просил, чтобы в редакции не знали... Зачем-то вы ему очень нужны. Его сегодня перевезли с Грановского на Рублевское шоссе...
  - Ясно! Завтра буду.
  - Спасибо. Пропуск уже заказан. Машина вам нужна?
  - Нет уж, сам как-нибудь...
  - Раппопорт некоторое время стоял в раздумье.
  - Макарецвская жена? – спросил Ивлев.
  - С чего вы взяли?
  - Допереть нетрудно... Что ей нужно?
  - Шеф хочет меня поздравить.
  - Только-то!
  - Разве этого мало? По коням, чекисты! По-русски говоря, шабаш!
  - «Шабаш» – русское слово? – удивился Максим Петрович. – Ничего подобного! Это слово древнееврейское и означает «суббота».
  - А в словарях – оно русское. И это скрывают от народа.
  - С твоей помощью, Рап, оно обрусело.
  - Давайте расходиться, дети, пока пьянку не застукал Кашин.
- Закаморный взял со стола пустую бутылку и сунул во внутренний карман пальто.

### 30. ХОЛОДНОЕ СТЕКЛО

В тот вечер «свежей головой» была Сироткина. Дежурить по номеру было для нее мучением. Надежда была обшительна, а редакция к вечеру пустела. Приходилось накапливать информацию внутри себя, держать новости до следующего дня. И потому ей было скучно. После того как Ягубов подписал номер в печать, все уехали, и в редакции осталась Надя одна.



На подписанных полосах в цехе кое-что доисправляли, потом полосы увозили снимать матрицы. Полосы, теперь уже ненужные (если не произойдет ЧП), привозили обратно и наутро, когда они уже не могли понадобиться, рассыпали. Матрицы шли в стереотипный цех. Чумазные стереотипёры отливали в металле полукруглые щиты, и написанное на хлипкой бумаге хлипкое слово обретало металлический звон. Крюки транспортера несли стереотипы в ротационный цех. Там их ставили в ротации, подгоняли, просовывали между валами бумагу, пробовали пускать машины. Краска ложилась неровно. Машины останавливали, стереотипы снимали, подкладывали обрывки газеты под те места, где краска легла плохо, снова ставили стереотипы на место и опять пускали машины. Потом начиналась возня с совпадением второй, красной краски, которой был помечен лозунг или рамка вокруг особо важного сообщения. А драгоценное ночное время, когда надо видеть розовые сны или веселиться, пропадало.

Сироткина сидела в пустом ожидании. Даже позвонить некому, излить душу. Все давно спят. Она сидела в просторном кресле за столом редактора. Демократ Макарецев считал, что такое доверие «свежей голове» увеличивает чувство ответственности сотрудника. Двери во второй, личный, кабинет Макарецева и его комнату для отдыха с отдельным выходом были, естественно, закрыты. Слева стоял мертвый пульт селектора: какой отдел ни нажимаешь, хотя и раздастся сейчас пронзительный звонок в отделе, но там никого нет. Маятник часов медленно толкался то в одну сторону, то в другую. Надежда старилась в кабинете, и никому не было до этого дела.

Она стала выдвигать из стола ящики. В них лежали телефонные справочники ЦК, горкома, Моссовета с грифом «Для служебного пользования», будто нашелся бы на свете человек, который читал бы их для личного наслаждения. Пачки буклетов и рекламных проспектов туристских фирм многих стран, в которые ездил редактор, лежали тут, и Надежда без особого интереса полистала их. Потом пошли копии отчетов бухгалтерии о расходовании газетой средств, перемежаясь с поздравлениями редактору к Новому году и Дню Советской армии, еще не выброшенные Анной Семеновной. Это все Надежда отложила целой пачкой.

Вдруг взгляд ее упал на толстый конверт, который она вынула из стола. Узнать, о чем редактор хочет советоваться в КГБ, она решила немедленно. Она извлекла маркиза де Кюстина и тут же начала читать его, позабыв обо всем остальном. Оторвалась она, когда было около часу. До пуска ротационных машин оставалось чуть-чуть. Надины мысли вернулись к Ивлеву. Она покраснела, вспомнив, сколько глупостей наделала днем, и твердо сказала себе, что этого больше не повторится.

– Поклянись! – сказала она себе.

– Клянусь! – ответила себе она.

Тут отворились обе двери, составлявшие тамбур макарцевского кабинета, и появился Ивлев. В первое мгновение зрачки у Нади расширились, и она снова почувствовала, что краснеет. Казалось, появишься сейчас Иисус Христос, Сироткина изумилась бы меньше. Но сегодня Ивлев значил для нее больше Христа. Христос был для нее бестелесен, а Ивлеву она уже принадлежала, хотя ничего не было.

Вячеслав еще держался за ручку двери, когда Надя нашла. Только женщине дана эта сообразительность: превратить неожиданную ситуацию в обычную и даже будто бы ясную ей заранее.

– Вам кого? – невозмутимо спросила Сироткина, и лишь глаза ее лукаво блеснули под настольной лампой. – Я вас не вызывала. Вы по какому вопросу?

Он пришел сам, и наконец-то у нее есть возможность сделать вид, что он ей вовсе не нужен, что она к нему абсолютно равнодушна. Подумать только! Несколько часов назад она должна была быть и женщиной, и мужчиной, преодолевать себя и его, стыдясь, добиваться... А теперь он стоял, внимательно на нее глядя и даже вроде бы волнуясь.

– Я помешал?

Она не ответила, похлопала глазами, проверяя, не сон ли это.

– Вы устали и хотите спать?

Он, оказывается, глупый. Она закрыла глаза вовсе не потому!

– Ммяу!.. – она, потянувшись, замурлыкала. – Так по какому вопросу вы пришли ко мне на прием?

– По личному, – объяснил он. – Можно?

Вячеслав приблизился, перегнулся и положил свои руки на ее, лежащие на холодном стекле макарецевского стола. Она почувствовала гнет его рук и мгновенно стала безропотной, как днем у него в комнате. Все предыдущие намерения испарились, сердце застучало чаще. Она ждала. Отпустив одну ее руку, он надавил пальцем кнопку настольной лампы. Стало темнее. Из окна падал рассеянный свет, делая лицо Нади нерезким в желтоватом сумраке. Он потянул ее за пальцы к себе. Сироткина поднялась с кресла и плавно проплыла вокруг стола, словно ведомая в неизвестном танце.

– Да? – спросил он.

Это «да» донеслось до нее издали, будто долго летало по редакторскому кабинету, отражаясь от стен и потолка, прежде чем попасть ей в уши.

– Что – да? – переспросила она беззвучно, одними губами.

– Не передумала?

Усмехнувшись краешком губ, она медленно покачала головой, осуждая его за эти сомнения, и, склонив голову, подставила ему приоткрытый рот. Вячеслав поцеловал краешки рта, все еще опасаясь запрета. А она, испугавшись, как бы он не принял ее стеснительность за отсутствие желания, и вспомнив, что он делал с ней днем, провела руками у него по спине, потом перевела их к нему на грудь, отодвинула в сторону галстук, растегнула одну за другой пуговицы рубашки и просунула руки внутрь, потом резко поднялась и начала снимать с себя одежду; аккуратно отделяя от себя каждую часть, она протягивала ее Ивлеву и целовала его после каждой отданной ему детали.

– Сейчас я люблю тебя, – сказал он.

Она кивнула, что могло означать: само собой разумеется, сейчас ты меня любишь. Сейчас меня нельзя не любить. Но она не пошевелилась, стояла в шаге от него, растерзанного и навьюченного ее вещами. Он оглянулся, ища куда бы деть ее одежду, и положил на узкий длинный стол, за которым редакторы отделов собирались на планерку. Потом он взял Надю за локти, приподнял и посадил на стол Макарецова.

– Босиком простудишься, – объяснил он.

– Думаешь, стекло на столе теплей пола? – спросила она, пожившись.

Он попытался подложить руки так, чтобы отделить ее от стекла, на котором она сидела. Из этого ничего не получилось. Тогда он пододвинул толстую серую папку, лежавшую на столе. На папке Наде сразу стало теплей. Он грубо ощупал Сироткину, теперь ему безропотно принадлежащую, притихшую, ожидающую, и начал действовать. Надя вдруг испуганно подняла глаза:

– Ой, он смотрит! Я боюсь.

Над столом Макарецова висел портрет чуть улыбающегося Ленина, увеличенный фотарем Какабадзе по специальной просьбе редактора.

– Смотри на меня, а не на него, – предложил Ивлев.

Он схватил из кипы белья Надины трусики, влез на стол и надел их на верхнюю половину лица вождя.

– Так хорошо?

– Да, так лучше...

Он стал целовать ей колени, живот, шею... Она сжалась от боли, стараясь не застонать, и у него ничего не вышло.

– Разве ты?.. – он был этим удивлен.

– Никогда, – объяснила она. – Ты меня презираешь? Только не уходи, стекло уже согрелось. Мне тепло...

Он снова прикоснулся к Надежде, когда зазвенел звонок. Не поднимаясь, Надя дотянулась до телефона.

– Да. Сейчас приду...

Она положила трубку.

– Жаль, если это не повторится, – сказала она.

– А тебе не больно?

– Больно. Но все равно, жаль...

– Повторится, – он усмехнулся. – Почему же не повторится?

– Только не сегодня.

– Не сегодня? – обиделся он. – Почему же не сегодня? А когда?

– Всегда, когда захочешь... Пусти меня! Я замерзла. И потом, я должна подписать номер...

– Трусики не забудь!

Владимир Ильич в мерцающем уличном свете подмигнул им, и улыбка застыла на его губах. Сироткина моментально оделась, зажгла лампу, выдвинула средний ящик, спрятала конверт с серой папкой.

– Что это?

Надя подумала, говорить ли Ивлеву о папке, и решила не отвлекать его внимания от себя.

– От скуки рылась в столе, – небрежно сказала она. – Может, тебе тоже одеться? Или ты решил перевестись на должность Аполлона?

Стоя посреди кабинета, он изучал ее.

– Я все еще люблю тебя! – сказал он.

Она подбежала к нему, опустилась на колени и поцеловала.

– А знаешь, маленький – он даже симпатичней! Похож на ручку от унитаза.

– А меня! – сказал он. – Поцелуй меня тоже!

– Ты тут ни при чем! – лукаво прошептала она.

В лифте она глянула на себя в зеркало и отшатнулась: кофточка расстегнута, волосы взлохмачены, на щеках красные пятна, губы опухли от поцелуев. За те несколько секунд, что лифт опускал ее в печатный цех, она успела застегнуться, повернуть юбку, чтобы молния оказалась точно сзади, пригладить волосы и сделать пальцами массаж лица, хоть немного уравнив румяные пятна и остальную бледноту.

В печатном уже работали все ротации, гул растекся по закоулкам, лестничные перила, двери, оконные переплеты вибрировали, ноги ощущали мелкое дрожание бетонного пола. Надя оглохла сразу. Гул вращающихся валов навалился, придавил, лишил рассудка. Между валами со скоростью, которую не способен уловить глаз, выливаясь из-под пола, текла река бумаги. Внезапно и мгновенно она заполнялась текстом и фотографиями, резалась, складывалась и уползала наверх, в щель в потолке, готовыми номерами «Трудовой правды». Восемь немецких ротаций, вывезенных в 45-м из Германии в качестве платы за победу, вот уже двадцать четвертый год выполняли свою функцию в другой пропагандистской машине и делали это с аккуратностью, свойственной их создателям. Тридцать тысяч в час, миллионный тираж за четыре часа десять минут. В четыре сорок утра по графику все должно быть кончено, и в пять тридцать последние почтовые грузовики покидают двор типографии. Докладная о выполнении графика, подписанная начальником печатного цеха, ежедневно к десяти утра кладет-

ся на стол секретарше редактора. Если ночь по графику, Анна Семеновна просто подшивает эту бумажку в папку. Если график был сорван, Локоткова красным карандашом подчеркивает виновного и относит на стол редактору.

На сей раз все шло по графику. Тщательно обходя ящики с мусором и огнетушители, Сироткина дошла до стола мастера цеха. Грузный мастер, одетый в промасленную спецовку, равнодушно кивнул ей, вытер руки тряпкой, смоченной в бензине, и ловко выдернул из-под лапок конвейерной ленты номер газеты. Кончиками пальцев Надежда развернула страницы и, разложив их на столе, осторожно придавила край текста мизинцем, чтобы проверить, высохла ли краска. Буквы отпечатались у нее на коже. Надя стала смотреть заголовки, стараясь вникнуть в их смысл и попытаться обнаружить (после десятков других людей, которые это делали весь день и более тщательно) ошибку, несурязицу, ляп. Она проверила, как положено, не перевернуты ли вверх ногами клише, соответствуют ли подписи под снимками тому, что изображено, одновременно думая о том, подождет ее Ивлев, пока она тут копается, или уйдет.

Мастер стоял рядом с Надеждой и, глядя на нее с ухмылкой, ждал. Не дождавшись, он вынул из ящика бумажный пакет с молоком, зубами оторвал угол и стал пить, запрокинув голову так, что капли падали на газету. Допив, он отшвырнул пакет в угол. Сироткина, не спрашивая, вынула у него из нагрудного кармана авторучку, написала мелко «В свет», расписалась и, посмотрев на мастера, поставила время: 0.30, как полагалось по графику, хотя было уже 0.45. Она сунула ручку обратно ему в карман и побежала к лифту. Когда створки захлопнулись, она облегченно вздохнула – от тишины, от возможности вернуться к себе самой. Слава Богу, отмучилась!

Ивлева не было. Сироткина заперла кабинет, спрятала ключ в столе Анны Семеновны, спустилась по лестнице. Комната спецкоров тоже была закрыта. Надя вздохнула, сказала себе, что именно этого она и ждала, накинула шубейку, напудрилась и подкрасила губы, чего почти никогда не делала, хотя и носила французскую пудру и помаду с собой. Ее ждала разгонка – последняя редакционная машина, чтобы отвезти домой. Усевшись в теплую машину рядом с шофером, Сироткина увидела Вячеслава Сергеевича. Он сидел на мокрой скамье в сквере,

под корявым старым кленом, освещенный тусклым фонарем, покачивающимся от ветра. Воротник поднят, и поза старушечья – всунув руки в рукава. Совсем замерз, бедненький, ожидая. Шофер поднял голову от руля, потянулся рукой к ключу, другой рукой протирая глаза.

– Я не поеду, – вдруг сказала Сироткина. – Мне тут недалеко, пройду пешком.

Он кивнул, вытащил путевку и протянул ей расписаться.

– Время поставь попозже, – попросил он.

Сироткина быстро расписалась, он сам захлопнул дверцу и уехал. Она тихо подкралась к Ивлеву сзади, отогнула воротник, подула ему в ухо. Не оборачиваясь, он сильно сгреб ее рукой.

– Мне больно, больно! – захрипела она. – Голову оторвешь!

– Ты где живешь? – спросил Славик, обводя ее вокруг скамейки и ставя между колен.

– На авеню Старых Кобыл.

– Это, простите, где?

– Так один приятель отца говорит. А вообще-то Староконюшенный переулочек...

– Арбат? За час дойдем.

– Дойдем... А жена? Она будет беспокоиться...

– Она привыкла...

Ивлев взял Надю за руку, и они вышли на полутемную улицу. Большая часть фонарей для экономии электричества была погашена. Возле тротуара лежали сугробы, черные от копоти, в окружении больших луж. Прогромыхал грузовик – строительные детали по Москве возили и ночью. Милицейская патрульная машина проехала мимо, задержавшись. Наряд подозрительно оглядел Ивлева и Надю, но вылезать и проверять документы поленился.

– А я люблю Москву ночью, – мечтательно сказала она. – В ней нет толкучки, очередей, хамства. Особенно люблю, когда выпал снег: все становится чистым.

– Снег похож на стиральный порошок...

– Нет! На белые простыни!.. – она повернулась к нему, идя спиной вперед, поцеловала в щеку. – Знаешь, я всегда думала, что это будет в двухспальной кровати, как в заграничных филь-

мах. Простыня – с мелкими цветочками. А утром раздвинешь занавес – за окном солнце и лес – весь в снегу!

– У редактора на столе – приятнее.

– Газета – публичный дом, ты сам говорил.

– Запомнила?

– Я все запоминаю, что говоришь ты. Я такая счастливая сегодня! Добилась все-таки тебя. Получила!

Вячеслав усмехнулся, хотел что-то произнести, но передумал.

– Знаешь, даже не верится... – продолжала она. – Скажи, теперь я женщина?

– Нет еще.

– Нет? А я думала... Ну и когда же?

– Что – когда?

– Когда стану женщиной?

– Откуда я знаю? Наверно, когда не будешь спрашивать у меня.

– Газета – публичный дом, – мечтательно произнесла Надя. – У нас в отделе два социолога материалы для диссертации собирают. Вчера один, когда мы вдвоем в комнате остались, подходит и кладет руку на талию. «Наденька, – говорит, – у меня к вам просьба...» «Пожалуйста», – говорю. Снимаю его руку с талии и кладу в нее пачку писем... «Я попрошу письма антисоветского содержания откладывать, чтобы нам не приходилось просматривать всю почту».

– А раньше?

– Раньше я эти письма начальству сдавала, как велели... Я же не знала... А сегодня поняла.

– Почему сегодня?

– А я у редактора в столе Самиздат нашла; когда будете дежурить, Вячеслав Сергеич, обязательно почитайте серую папку. Только никому! Я сказала вам, потому что... у меня никого нет. Вот мой Староконюшенный... В том подъезде живет Хрущев.

– Его охраняют?

– В нашем доме все подъезды охраняют. Зайдите, не бойтесь...

Они постояли немного в темноте, подождали, пока лифтер отошел к своему столу в углу холла. Дверца лифта захлопнулась, и сквозь решетку просунулись тонкие пальцы. Он стал целовать их, все по очереди.



– Пожалей меня! – прошептала она. – А то умру от неисполненных желаний.

### 31. СВИДАНИЕ В КРЕМЛЕВКЕ

Опасность миновала настолько, что Игоря Ивановича перевезли в новый корпус в сосновой роще на Рублевском шоссе. Но он все еще лежал на спине. Первое время он вздрагивал от пронзительных звонков, периодически раздававшихся во всех палатах.

– Да вы не волнуйтесь, – ласково успокаивала хорошенькая сестра.

– А в чем дело?

– Звонки – просто предупреждения медперсоналу. Пока звенит, выходить в коридор нельзя: член Политбюро лечиться приехал. А пройдет он – и опять можно...

И Макарец действительно привык. Ему даже было приятно, когда звенел звонок: вот и здесь, в больнице, Игорь Иванович находился поблизости от руководства. Вчера после очередного консилиума профессор Мясников пообещал, что вот-вот разрешит вернуться на правый бок.

– Еще месяц, ну, от силы полтора, и будете, как огурчик, правда, пока еще маринованный...

– Мне нужен телефон, – потребовал Макарец.

– Телефон? Нет! Никаких дел! Вам нужны положительные эмоции...

В качестве таковых ему разрешили немного читать. Он уговорил сестру принести из библиотеки «Трудовую правду». Он читал свою газету, как все читали, утром, а не накануне. Внимательно просмотрел все номера, вышедшие в его отсутствие.

– Нет, ты только подумай, Зина! – возмущенно сказал он жене, едва она присела возле него. – Чем заполнены полосы? Мышиная возня, когда я сотни раз им твердил: поднимайте значительные вопросы! Не мельтешите!.. Зачем только я согласился взять Ягубова?

– Не волнуйся, Гарик, – успокаивала она его, ласково вынимая из рук «Трудовую правду». – Ягубова ведь не ты выбирал. Конечно, ты нашел бы своего человека... Но скоро вый-

дешь, и этот Ягубов опять будет выполнять твои распоряжения.

Ягубов, так сказать, пришел вместе с должностью. Газете дали еще одного заместителя редактора, и кто-кто, а уж Игорь Иванович не мог не понять, чем это пахнет. Все замы были двойного подчинения – ему и ЦК. Ягубов, без сомнения, предназначался в фигуры тройного подчинения – еще и КГБ. К чему этот сверхконтроль? Недоверие, закулисные шашни... Ведь покончили с этим – и вот опять. Чего-то я не понимаю... Я всегда сам делал газету, можно сказать вдохновлял людей. А теперь второстепенные работники решают вместо меня и меня же считают старомодным за то, что я приезжаю вечером посмотреть полосы. Это, видите ли, атавизм – вникать в конкретные дела. Ведь прав был Ленин, говоря: если что и погубит советскую власть, так это бюрократизм. Теперь узнаете, какво без меня.

– Ты позвонила Таврову? – нетерпеливо спросил он жену.  
– Где же он?

– Конечно, позвонила! Сказал, придет... Сейчас протру тебе спину. Надеюсь, я сделаю это аккуратней сестры, хотя тебе, может, и приятней, чтобы протирала она и хлопала при этом ресницами.

– Не говори глупостей, Зинуля.

Он прикрыл глаза в полудреме, а Зинаида протерла ему спину до самого копчика ваткой со спиртом от пролежней. Она опять села, раскрыла «Трудовую правду» и просматривала ее. Иногда она это делала, но только при Игоре Ивановиче. Думала она о том, как удачно ей удалось сделать дорогой подарок палатной врачихе. На доллары, оставшиеся от последней заграничной поездки мужа, она купила в валютной «Березке» джинсовый костюм и японские часы, узнав, что у врачихи сын-подросток. Та была очень рада и тут же сообщила, что ей уже обещали по великому благу новый швейцарский препарат, которого тут, в Кремлевке, днем с огнем не найти, и она его израсходует на Макарецва. Зинаида Андреевна пообещала ей японский зонтик и заодно спросила размер ее обуви, после чего они расстались довольные друг другом. Мужу, разумеется, рассказывать это было ни к чему.

Хорошенькая сестра приоткрыла дверь и тихо произнесла:

– К вам гость, Игорь Иванович. Можно пропустить?

– Давайте, давайте, – сказал он.

Сестре этой Зинаида недавно подарила флакон французских духов. Вопрос, только что заданный сестрой, Макаrcеву понравился, и глаза у него заблестели. Сами давали разрешение медперсоналу пропускать к себе те больные, у кого дело шло на поправку, кто снова становился ответственным работником. В палату медленно и неуклюже вошел Яков Маркович, придерживая белый халат у шеи рукой, более волосатой, чем его голова. Он замахал руками, затопал на месте, брызгая слюной.

– Макаrcев, Макаrcев! Ты с кем-нибудь свою болезнь согласовал? Ведь по всем данным в больницу должен был захотеть я...

– Почему ты? – слабо улыбнулся Игорь Иванович.

– Я в больницу всегда готов, как юный пионер.

– Не очень ты похож на юного пионера, правда, Зина?

Она вежливо улыбнулась.

– Я выходил строиться на линейку в другом лагере, вот и выгляжу не очень свежо. У меня сто болезней, а ты взял мой процент на себя!

– Будет считаться! Рад тебя видеть, старина. Познакомься, моя супруга. Зина, это Тавров, ты о нем слышала.

– Раппопорт, – представился Тавров.

– Мы уже знакомы, – Зинаида Андреевна протянула руку.  
– Заочно.

– Заочно я воспринимаю только партийные постановления. А красивых женщин, вы знаете, так мало, что их надо посмотреть.

– Муж не ценит, – она погладила Игоря Ивановича по голове.

– Зинуля! – Макаrcев хлопнул ее по руке. – Хватит здесь отсиживать. Борька придет обедать, а тебя нет. За меня не волнуйся. Мы тут с Яковым Маркычем чуток потолкуем о газетных делах – тебе это неинтересно...

Он притянул жену за руку к себе и поцеловал в щеку. Зинаида кивнула Якову Марковичу.

– Умоляю, недолго. Ты должен меня слушаться. Это я говорю как врач.

– Ты не врач, Зинуля, а жена ответработника.

Она с показной обидой надула губы и тихо притворила за собой дверь.

– Что там творится, рассказывай! – жадно набросился Маркарцев на Якова Марковича, едва жена исчезла за дверью. – Кстати, я на досуге прочел твою статью «Писатели – идеологические бойцы». Дельно, и главное, правильные обобщения. Чего ты смеешься?

– Писатели, – пробурчал Раппопорт, – бывают двух категорий: те, за кого пишут, и те, кто пишет за других.

– Но есть ведь и настоящие писатели?

– Боюсь, они не бойцы идеологического фронта...

– Ну их к Богу! – Макарецев сделал вид, что понял иначе.

– Нам хватает хлопот с нашими писателями. О них и будем думать...

– Если так...

– Вот что, Тавров. Расскажи лучше о субботнике. Какой план действий дальше?

– Что рассказывать?... Соцстраны нас, конечно, поддержали. Весь наш лагерь выйдет с лопатами. Куда уж дальше?

– Да, это размах! Ай да жилу раскопал! Вот это, я понимаю, журналистика! От души поздравляю! Погоди вот, выйду из больницы, поставлю вопрос о том, чтобы представить тебя к премии Союза журналистов...

– Не надо. Не надо премии, – замахал руками Раппопорт.

– Ты лучше Ягубова умерь...

– Мешает? Вот сукин кот! Не понимает важности мероприятия. Ну и кругозор у моего зама!

– Не об этом. Он понимает!.. Я знаю, антисемитом быть необходимо...

– Чепуха!

– Но нельзя же так в лоб...

– Вот сволочь! Не бойся, Яков Маркыч! Пока я главный редактор этой газеты, тебя никто пальцем не тронет, так и знай!.. Вот что... Готовь-ка доклад к очередному партсобранию о требованиях идеологической работы в новых условиях.

– Я – свой доклад на собрании?

– Ты, ты! Ягубову дам указание. Тебе это важно для партийного авторитета. На собрании будут представители райкома, горкома, ЦК.

– Пожалуйста, мне что – жалко?

В разговоре возникла пауза, и Яков Маркович снова подумал, зачем он все же понадобился Макаргецу. Не для того же, в конце концов, чтобы поздравить с рождением идеи юбилейного субботника! И уж тем более не для того, чтобы поручить доклад на партсобрании. Неужели опять он беспокоится о той папке?

– Кстати, чтобы не забыть, Тавров, – Макаргец прервал молчание, поморщился от боли. – Помнишь о папке?

В больнице Макаргец то и дело возвращался к ней мыслями. Маркиз де Кюстин не давал ему покоя. Разумеется, Игорь Иванович правильно поступил тогда. Но теперь обстоятельства изменились. В его столе может что-либо понадобиться, будут искать. Не исключено, что это станет делать Кашин или посторонние... А вдруг кто подумает, что Макаргец доносит на сотрудников? От этой мысли у Игоря Ивановича заболела грудь.

– Так вот, о папке, – сердясь на самого себя, повторил он, глянув на дверь. – Что-то у меня душа не на месте. Должность обязывает, сам понимаешь! Раз у меня лежит, значит, я вроде как с ней связан. Глупость, считаешь?

– Надеюсь, ты меня не заставишь добровольно нести ее на Лубянку?

– Плохо же ты обо мне думаешь! Просто, пока я болен, надо ее, от греха подальше, спрятать, чтобы не валялась в кабинете. Мало ли что!

– Разумно, – тряхнул головой Яков Маркович. – Вынесу – никто и не заметит.

– Она в среднем ящике стола.

– В среднем так в среднем... Спрячу ее вне редакции, так?

– Вот именно, – глаза у Макаргеца заблестели. – Нет ее – и все. А на нет и суда нет!

– Суд-то есть! Но зачем лишние улики?

– Вот именно! Значит, сделаешь?

– А как же! – Тавров протянул Макаргецу руку. – И не думай ты больше об этой папке. Держи, Макаргец, хвост морковкой! Я ушел, и меня здесь не было.

Спустившись в мраморный вестибюль, Яков Маркович отдал гардеробщице халат и, крихтя, натягивал пальто, когда к нему подошла Зинаида Андреевна.

– Вы? – удивился Раппопорт. – Разве вы не уехали?

– Я ждала вас... Скажите, о чем просил Игорь Иваныч?

– Откуда вы взяли, что он меня просил? А если это я его просил?

– Нет! Он... Сюда бы никто к нему с просьбой не пошел! Я бы не допустила...

– Ну хорошо. Допустим, он. Разве вам это интересно? Женщины от этих проблем далеки. И нужно долго объяснять, с самого начала...

– Долго? Ничего! Знаете, я ведь чувствовала, что он от меня что-то скрывает... Спрашиваю, а он отшучивается...

– Ваш муж слишком близко принимает к сердцу престиж газеты, вот и нервничает... Мы начали кампанию в масштабе всех соцстран.

– Субботник?

– Он самый! И есть реальная опасность – она-то и тревожит Макарецва больше всего. И, честно говоря, я думаю, не без оснований...

– Опасность?

– Опасность, что инициативу, мягко говоря, присвоят себе другие газеты или партийный аппарат.

– Чем это пахнет?

– Тогда и работа будет оценена не наша.

– Ну и что?

– И из кандидатов в члены ЦК переведут не Макарецва, а другого. Хотите что-то спросить?

– Вы сказали, что я красивая женщина, Яков Маркыч. Вы имели в виду, что я дура?

– Что вы, как можно?

– Тогда о чем вас просил Игорь Иваныч?

– С завтрашнего дня во всех материалах мы будем подчеркивать, что почин начала «Трудовая правда». Это не совсем тактично и может не понравиться в ЦК. Но пока там сообразят, мы уже застолбим свое первенство и почин из-под Макарецва будет выбить-таки трудней...

Она не поверила, и он стал уважать ее чуть-чуть больше.

– Вы в редакцию? – сухо спросила Зинаида Андреевна. – Я доведу вас...

Он представил себе, как сейчас потащится к автобусу, долго будет мерзнуть на остановке, потом спустится в сырое мет-

ро «Молодежная» и будет с полчаса сидеть на ледяном клеенчатом сиденье, пока доедет до центра, а там снова пересадка... «Волга» у Макарецва теплая и чистая. Но Яков Маркович, идя в больницу, уже обошел ее стороной.

– Знаете, я в лесу не был уже десять лет, – сказал Раппопорт, указав рукой за окно. – Забыл, как он пахнет, а сейчас, говорят, все-таки весна. Пойду прогуляюсь, если вы не возражаете...

– Как угодно.

Зинаида Андреевна гордо вышла, широко распахнув стеклянную дверь.

## 32. МАКАРЦЕВА ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА

### АВТОБИОГРАФИЯ, ПРИЛОЖЕННАЯ К АНКЕТЕ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ В КАПСТРАНУ

*Я, Макарецва З.А., девичья фамилия Жевнякова, фамилия по первому браку Флейтман, русская, родилась 3 февраля 1925 г. в Ростове-на-Дону в семье служащего. Отец умер в 1927 г., мать учительница. В комсомол вступила в 1940 г., беспартийная. В 1943 г. поступила в Ташкентский медицинский институт, окончила его в 1949 г. со специальностью врача-педиатра. Направлена на работу в детскую поликлинику №1 спецсектора Мосгорздравотдела, лечила детей работников МК и МГК партии. Оставила работу в связи с рождением сына. Являюсь военнообязанной, ст. лейтенант запаса.*

*Мой муж, Макарецв И.И., кандидат в члены ЦК КПСС, главный редактор газеты «Трудовая правда».*

*Личная подпись – З.Макарецва.*

### СУЩЕСТВОВАНИЕ ЗИНАИДЫ АНДРЕЕВНЫ

Эту свою автобиографию Зинаида Андреевна написала впопыхах: муж стоял над душой и торопил. Едва расписалась, схватил и уехал в ЦК, ничего не объяснив. Только вечером она выяснила, что ее, возможно, пустят за границу вместе с ним.

Получилось так, что первые свои поездки в разные страны Хрущев совершал с Булганиным, а западные руководители являлись на эти встречи с женами. Во время деловых встреч глав государств жены собирались отдельно, и Булганин невольно оказывался с женами. Возвращаясь в Москву, он жаловался Никите Сергеевичу на свою судьбу. Он, конечно, сознает, что это его партийный долг, но, с другой стороны, и в его положение войти надо. Хрущев поступил в соответствии с духом демократических веяний и поставил вопрос на Политбюро: ездить с женами или без? Члены Политбюро высказывались осторожно! Есть, мол, в этом свои плюсы и свои минусы. После этого Никита Сергеевич подвел итоги дебатам. Он сказал историческую фразу:

– С волками жить – по-волчьи выть!

И в очередную поездку вместо Булганина взял Нину Петровну, которой в срочном порядке привезли несколько платьев из Парижа, Брюсселя и Рима. Тем временем прогрессивное постановление было спущено ниже – изучалось заведующими отделов ЦК. Тут, видимо, не обошлось и без давления самих жен. Намечался государственный визит в Великобританию. Тогда-то Игорь Иванович вместо столовой ЦК неожиданно приехал обедать домой и заставил Зинаиду быстро написать автобиографию. Но решение вопроса взяла на себя супруга Никиты Сергеевича.

– Я-то еду по обязанности. А другим зачем отрываться от семей, да государственные деньги швырять на ветер?

Исключение сделали только для супруги министра иностранных дел Громыко, да и то ненадолго. Некоторые жены, правда, позже стали ездить в туристические поездки за границу. Зинаида же особенно никуда не стремилась. Биография ее осталась в служебном досье мужа.

Хотя Зинаида Андреевна этого никому, даже Игорю Ивановичу, никогда не говорила, родилась она в семье графа Андрея Андреевича Жевнякова, получившего великолепное образование в Сорбонне и Гейдельберге и имевшего угоды на юге России, подаренные его предкам императрицей Екатериной Второй. Молодой ростовский адвокат и землевладелец после революции потерял все, что ему принадлежало, титулы скрыл и пошел служить в суд, когда советской власти понадобились



адвокаты. Защищая других, он сумел защитить и себя, чудом уцелел, женился по любви на учительнице, но вскоре умер, оставив двух дочерей.

Сестры выросли красавицами в умеренно-южных, смуглых тонах, но было что-то холодное в их красоте. Мать потихоньку называла их графинюшками. Жили в Ростове трудно, голодно. В войну попали в Среднюю Азию. Зина кончила десятилетку и поступила в эвакуированный туда медицинский институт. Профессор Флейтман, читавший студентам курс общей терапии, сразу обратил внимание на красивую студентку, к тому же интеллигентную. Жена Флейтмана погибла в самом начале войны. Она была хирургом и добровольно ушла на фронт. Флейтман сделал Зине предложение, отказываться было глупо. Она окончила институт, и профессор через коллегу, который тогда работал в Четвертом управлении Минздрава, устроил ее в спецполиклинику.

Неожиданно профессор Флейтман заявил Зине: у него есть предчувствие, что им лучше разойтись. Она ничего не поняла и гордо ушла от него. Уже будучи женой Макарецва, Зинаида узнала, что Флейтман был отстранен от всех постов, а позднее посажен по делу врачей. Разведясь, профессор Флейтман спас ее. Он ее любил.

Макарцев берег ее от неприятностей с той же тщательностью, что и первый муж. Она давно оставила службу и больше к ней не возвращалась. О благополучии ей тоже не приходилось думать: оно было всегда, даже когда Макарецв был на волоске от гибели. Зинаида привыкла к трудной должности жены ответственного работника и мужественно несла это бремя. Хотя ей пошел сорок пятый год, время, казалось, не коснулось ее: лицо, фигура, походка – все было в полном порядке. Когда она шла, держа под руку сына, дистанция чувствовалась, конечно, но не реальная. Игорь старел гораздо быстрее, а ведь вполне могло бы быть наоборот.

Он гордился тем, что жена у него такая красивая, и радовался, если им удавалось побывать где-нибудь вместе. Но это случалось редко. Едва она начинала говорить, что соскучилась без природы, он отправлял ее на госдачу; едва намекала, что устала, он спустя час звонил ей и говорил, что заказал для нее путевку. Она любила отдыхать в Грузии, в Ликани, в закры-

том санатории ЦК возле Боржоми. Старый дворец царей Романовых в сказочно красивом лесу, мало людей, целебная вода. Семейное прошлое будто вставало перед ее черными очами.

Санаторные нравы Зинаида Андреевна не принимала. Ее возмущала невоздержанность мужчин и особенно женщин, легко сходящихся на один вечер. В этом было что-то кошачье, она брезгливо морщилась, старалась не заводить знакомств, чтобы не слышать: «Выпили коньяку, а потом...» Иногда она пыталась пожалеть этих женщин, понять их. Но тут же с брезгливостью думала: «У нас с Гариком тоже ведь немало трудностей, но ни я, ни он не стали бы вот так...»

Игоря Ивановича она поднимет, поправит, все сделает, чтобы он стал здоров. Другие по два и по три инфаркта переносят, а работают, хоть бы хны! Единственный, кто ускользал из ее логики жизни, был сын. Но, с другой стороны, сейчас у всех с детьми проблемы. Боренька вырастет, поумнеет. Если бы муж помог, почаще вмешивался, и она нервничала бы меньше. А он полагался в этом вопросе на жену. Зинаида Андреевна не раз просила всерьез заняться сыном, проявить мужской характер. Макарецв обещал, подолгу собирался, обдумывал, пытался это сделать, откладывал. А теперь, когда он заболел, она думала: «Ну вот, теперь у Игоря Ивановича больше будет времени подумать о сыне, а мальчик станет терпимее к отцу. И все наладится».

### 33. ВСЕ РАВНО Я ТЕБЯ ПОЦЕЛУЮ!

Сироткина была уверена, что теперь, когда Ивлев, хотел он сам того или нет, а все же принадлежит ей и хоть изредка она обретает полную власть над ним, – она успокоится. Ведь ей от него ничего не надо, а то, что было надо, получено. Любовь до тех пор приносит состояние дискомфорта, вычитала где-то Надя, пока эта любовь не удовлетворена. А теперь, поскольку уже *все* было, а ничего большего не может быть, потому что это не входило в ее планы, интерес к спецкору Ивлеву должен пойти на убыль. Она уже отбыла свой срок в тюрьме у Ивлева. Но амнистия для Нади не наступила.

Пройдет, твердо говорила она себе. Достаточно будет его видеть, хотя бы изредка, и больше ничего. Ну, еще слышать, что он говорит, – пусть не ей, другим. Главное, переключиться на что-нибудь другое: ведь все позади! Но какая-то новая власть распорядилась теперь Надеждой. Если раньше в мыслях, на работе или дома, за полночь ложась в постель, она говорила с ним, слушала его, они гуляли по улицам, и этого было достаточно, то теперь во рту было кисло, яблоко хотелось откусить еще раз. Она стыдилась, уверяла себя, что долго играть в современную активную женщину выше ее сил. А это была не игра.

Останавливало ее лишь то, что это отпугнуло бы его совсем. Она металась. С вечера говорила себе, что завтра подойдет к нему и пригласит в кино. Она брала билеты, но утром видела его в редакции, устремленного к целям, содержание и глубина которых были ей непонятны или казались второстепенными, когда между ними произошло такое. Он спорил с кем-то в коридоре, отчаянно матерясь, и она спешила пройти мимо, хотя безо всякой неприязни слушала эти жуткие и сочные слова. Ему было не до нее. Она убежала в туалет, рвала там билеты и, спуская воду, уносившую клочки, плакала, и потом долго стояла, глядя в окно на корпус печатного цеха, в котором гудели ротационные машины, ждала, пока спадет краснота с глаз. Наконец Сироткина решилась.

– Слушай, – весело прощebetала она, как бы случайно остановив Вячеслава в коридоре.

– Привет!

Ивлев глядел на нее рассеянно и ждал, что она скажет дальше. А она задохнулась, слова смешались, легкости хватило только на одно слово.

– Ты чего? – удивленно спросил он.

Она сжимала кулаки. Длинные ногти впились в ладони. После паузы, такой затянутой, она наконец вспомнила что заранее придумала сказать. Шепотом, медленно выдавливая слова и заставив себя опять беззаботно улыбнуться, Надежда произнесла:

– Между прочим, я подсчитала: у меня сегодня юбилей.

– Поздравляю? А какой?

– Ровно три года, как мне вырезали аппендикс.

- Надо сказать Рапу. Пусть напишет передовую.
- Не надо. А вообще, если хочешь, можем отметить. Ну, например, сходим в Дом журналиста... Деньги у меня есть.
- Понимаешь... – замылся он. – Я ночью улетаю.
- Куда?
- В Новосибирск. Рап просил накатать статью секретаря обкома о субботнике. Сам Рап в Сибирь не любит ездить – надо же выручить старика.
- Надолго?
- Неделька.
- А вечером?
- Что – вечером?
- Ничего!

Надя вспыхнула, внезапно возненавидев его. Ей захотелось немедленно резко ответить или ударить Ивлева, чтобы точка была поставлена. Но она улыбнулась опять и ушла, стараясь шагать легко и независимо. День тянулся нудно, как пленка в магнитофоне с подсевшими батареями. А вечером Сироткина взяла у Инны Светлозерской в машбюро перламутровую помаду, накрасила губы и поехала в Дом журналиста. Одна. С твердым намерением наперекор приличиям выпить за светлую память о своем аппендиксе.

Войти в ресторан Надя все же не решилась. Она взяла у стойки кофе и рюмку коньяку. Сироткина высмотрела пустой столик у стены, заполненный обертками от конфет. Она села спиной к проходу, чтобы никого не видеть. После глотка коньяку стало тепло. Ивлев передумает и заедет сюда перед отлетом на полчаса. Она глотнула еще, и Ивлев стал более расплывчатым. Надежда вынула сигарету, рассчитывая, что остатки этого негодяя улетучатся вместе с табачным дымом – единственным (если не считать алкоголя) наркотиком, почему-то разрешенным в ее родной стране. У нее не было спичек, она оглянулась.

- Разрешите?

Худой и длинный парень в клетчатом свитере поднес к ее лицу красивую иностранную зажигалку, ловко повернул ее пальцами и чиркнул, осветив ее чистый лоб. Сироткина прикурила, кивнула.

- А за это, – спросил он, – вы не дадите мне сигарету?

– За это я ничего не дам. Просто так – пожалуйста.

Без лишних церемоний он присел к ней и закурил. Мальчик был моложе Надежды и никакого практического интереса не представлял. Надо было сразу вежливо сказать ему, что сейчас к ней подойдет муж. Но Ивлев, оказалось, не улетучился, и ей хотелось отомстить ему. На роль роковой соблазнительницы Сироткина не годилась, но когда ее уговаривали отомстить, можно было согласиться.

– А я вас здесь уже не раз видел.

Он сказал то, что должен был сказать, и ничего другого.

– У вас хорошая память, – сказала Надя.

– Это даже родители признают.

– Почему «даже»?

– Потому что их все во мне раздражает. Представляю, как мать подпрыгнула бы, если бы узнала, что я хочу жениться.

– Поздравляю! – Надя произнесла это слово с интонацией Ивлева и рассердилась сама на себя.

– Спасибо!... Только невесты еще нет...

– Ну, это не проблема!

– Проблема! У меня жесткие требования: вес 45, рост 160, размер бюста четвертый. В общем, похожа на вас.

«У меня размер третий», – сказать это у Нади чесался язык. Но она решила, что неприлично растлевать малолетку пошлостью, которой в нем и без ее поддержки достаточно. И она произнесла:

– Вы прямо-таки восточный султан!

– Давайте выпьем!

– По чашке кофе.

– И по коньяку!

– Вы разве не пили?

– А вы? – удачно парировал он. – Я всего четыре рюмки – грамм двести, не больше.

– А можете сколько?

– Семьсот пятьдесят пил, – скромно сказал он. – Больше не пробовал. Попробуем?

«Не рассердятся ли папа с мамой?» – могла бы спросить она. Но не стала его унижать.

– Нет, это слишком дорого. Но, по одной, малюсенькой... Они выпили.

– Вы мексиканскую водку пили? – спросил он. – У них к бутылке привязан мешочек перца, а внутри плавает за-спиртованный червяк. Он придает особый аромат, понимаете? На стол ставят лишнюю рюмку и на закуску червяка целуют...

Выпили они еще по три рюмки, и Надя подумала, что уже одно то обстоятельство, что она пьяна одна, без Ивлева, хорошая месть ему за его эгоизм. Новый знакомый не очень ловко помог ей надеть шубу. При этом он как бы случайно прикоснулся к ее шее и волосам, а она как бы случайно отклонилась. На улице он взял ее под руку и подвел к бежевому «Москвичу». Остывший мотор долго не хотел запускаться, и похоже было, что не заведется вообще. Надежда сидела в холодной машине, уткнув нос в пушистый меховой воротник. Мотор завелся, и ее новый знакомый, не грея двигателя, резко выехал. Непрогретый мотор дергал, чихал. Машин, пешеходов и милиции на Никитском бульваре было мало; падал легкий, сухой снежок, разбегающийся от машины по асфальту в разные стороны. Выскочив из тоннеля, «Москвич» тормознул на перекрестке: горел красный свет.

– Есть идея. Прокатимся в лес?

– Ночью?!

– Что мы – дети? Погуляем.

– В такой-то холод?

– Печку включим, – он сдвинул рычаг.

Вентилятор заверещал, гоня теплый воздух к ногам.

– В другой раз, ладно? – ласково сказала Сироткина. – Отец ждет, будет сердиться... Мне вот сюда.

– Провожу.

– Не надо, я сама.

– Провожу! – упрямо сказал он и вошел за ней в подъезд.

Лифтер внимательно оглядел его, но, поняв, что он с Надей, ничего не сказал, только проследил за ними глазами, пока они поднимались по лестнице.

– А поцеловать? – спросил он, когда она протянула ему руку.

– Кого? – она подняла удивленные глаза.

– Тебя.

– Не рано ли?..

Он неловко притянул ее к себе. Надя отвернулась и попыталась освободиться.

– Пустите, сэр. Я не мексиканский червяк. Нельзя!

– Почему нельзя? – он вдруг поглупел. – Можно!

– А я говорю – нельзя!

Она наклонилась, прошмыгнула у него под рукой и стала искать в сумочке ключ.

– Когда же будет можно? – спросил он, качнувшись.

Надежда пожала плечами и вставила ключ в дверь.

– Давай еще постоим тут. Домой неохота...

– Лучше в другой раз. Запомните телефон?

Он записал номер на пачке сигарет.

– А может, прокатимся?

Но она уже открыла дверь.

– Ты меня по телефону с другим Борисом не путаешь? У тебя другого знакомого Бориса нету? Я Макарецев. Макарецева знаешь, моего отца? Его все знают.

– Макарецев? – переспросила она. – Кто это?

– А как же ты прошла в Домжур? Ты где учишься?

– Я работаю, – сказала она, – в ателье. Портнихой. А в Домжур знакомые провели...

– Мне очень хочется тебя поцеловать.

– Я же сказала: нет!

Она поспешно затворила за собой дверь. Он прижал рот к замочной скважине и проговорил:

– Все равно я тебя поцелую, вот увидишь! В губы!

Борис Макарецев запрыгал вниз по лестнице через пять ступенек сразу и чуть не свалился на повороте. В последний момент он ухватил рукой перила.

## **34. МАКАРЦЕВ БОРИС ИГОРЕВИЧ**

### **ИЗ АНКЕТЫ ПОСТУПАЮЩЕГО В ВУЗ**

*Родился 29 октября 1950 г. в Москве.*

*Русский. Беспартийный. Член ВЛКСМ.*

*Образование среднее. Окончил французскую спецшколу №109 Ленинградского района Москвы. Аттестат зрелости №9836457.*

*Специальности нет.*

*Знание иностранных языков: французский (читает, может объясниться).*

*Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, участие в партизанских отрядах и работу по совместительству): не работал.*

*Ближайшие родственники: Макарец Игорь Иванович – отец, Макарец Зинаида Андреевна – мать.*

*Военнообязанный призывного возраста. Приписное свидетельство №741374К, выданное Тимирязевским райвоенкоматом Москвы.*

*Состояние здоровья: практически здоров. Основание: справка спецполиклиники Мосгорздравотдела для поступающих в вузы – форма №281.*

*Паспорт: VIII МХ №381014, выдан 63 о/м Москвы 11 ноября 1966 г.*

*Проживает: Петровско-Разумовская аллея, 18, кв. 84. Телефон 258-71-44.*

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СОПУТСТВУЮЩИЕ И МЕШАЮЩИЕ БОБУ

Игорь Иванович не сомневался, что его сын, как все дети партработников его положения, поступит в Институт международных отношений и посредственный аттестат зрелости – не столь уж существенный изъян при возможности нажать где надо. Одновременно Макарецу хотелось, чтобы Бобочка тоже стал журналистом, но никаких позывов у него в этой области не обнаруживалось. Впрочем, как и в других областях. Оставалось надеяться, что мальчик поумнеет. Захоти он поступить на факультет журналистики МГУ, Макарецу достаточно позвонить декану факультета Загульскому, разоблачительные статьи которого «Трудовая правда» печатает после каждой его заграничной поездки. Все пойдет само собой, только правильно занять исходную точку. А уж в эту точку Макарец поставит сына, будьте уверены!

Так думал отец, пока Бобочка кончал школу. А окончив, заявил родителям, что аттестат зрелости дарит им на память, сам же он хочет отдохнуть. Ни в какой международный он не



пойдет, поскольку там учатся одни маменькины сыночки-тряпичники, а шмотки его не волнуют.

– Зачем же ты учил французский? – спросил Игорь Иванович.

Оказывается, французским языком Боб и его приятели овладевали для того, чтобы трепаться по телефону, оставаясь непонятыми родителями.

– Выходит, ты считаешь мою жизнь неинтересной?

– Да любой гегемон-работяга счастливей тебя в сто раз! Отвкальвал восемь часов, принял стакан водки – и никаких забот. А ты по ночам трясешься, не ошибся ли вечером и не снимут ли тебя утром.

– Разве тебе не хочется жить за границей? – попытался купить его отец. – Интересные развлечения, фильмы, которых мы не покупаем?

– Думаешь, не знаю, за какие коврижки живут? Антохинского отца директором института сделали. А за что? За то, что в Англии, на стажировке, он в какой-то фирме несколько ампул украл...

– Это крайности!

– Это – промышленный шпионаж. Это твоя внешняя торговля... А журналистика?! Да сам ты напечатаешь о том, что видел за границей? Сто раз вымажешь дегтем, а потом тиснешь.

– Обычную идеологическую игру ты воспринимаешь сердцем.

– А вот и нет! Принимаю тем местом, для которого она годится.

– Ладно, Боря, иди работать на завод.

– Еще чего! Пусть быдло работает!

– Выходит, в армию?

– Не пойду. Позвонишь – мне запишут шум в сердце и оставят в покое.

– Не буду звонить, Боря. Клянусь!

– Мать надавит – позвонишь!

– При матери говорю. Слышишь, Зина? Сын – тунеядец? Этого не допущу! Осенью сам позвоню в Министерство обороны. Приедут и заберут. Во флот пойдешь – там служба на год дольше! Но есть и еще вариант. – Макарецв поколебался, но

решил попытаться предложить сделку. – Поступишь в институт – покупаю тебе машину. Подождемся с матерью, но куплю. И учти! Мое слово твердое.

– Твои слова – в дерьме!..

Через месяц, однако, Борис сообщил матери, что, так и быть, поступит в институт.

– В какой, Бобочка?

– Иностранных языков имени Мориса Тореза. Слыхала? Буду толмачом.

– Кем-кем?

– Переводчиком, мать.

– Почему же именно в этот институт? Отец ведь предлагал поселиднее...

– Агентура сообщила, в этом девчонки смотрибельные, поняла? Но если отец будет проталкивать, уйду, так ему и скажи!

– Ладно, ладно, Бобочка! Он и пальцем не пошевелит...

Макарцев хотел позвонить ректору, но жена отговорила. Не дай Бог, Бобочка узнает – все испортишь! Настроение у родителей поднялось. Боря переутомился, у него был нервный спад, и вот все входит в норму. Сын Макаргева и не может быть другим, ясно! Пусть, в конце концов, кончит любой институт. А перебесится – отец всегда найдет пусковую установку для его выхода на настоящую орбиту. Когда они узнали, что Борис стал студентом, Макарцев привез шампанское и сказал, что уже звонил директору завода и тот обещал выделить один автомобиль из своего лимита вне всех очередей. Словом, к восемнадцатилетию будет обещанный «Москвич».

Машину студент воспринял как нечто разумеющееся. Ни его жизнь, ни отношение к родителям не изменились. Учебники лежали на столе. Он по-прежнему приходил ночью. Если мать еще не ложилась, она издали чувствовала, что он опять пил. Иногда, явившись рано, он заглядывал в кухню:

– Фашиста нет?

– Не смей называть отца фашистом!

– Пардон, мадам, забыл! Буду звать его «наци»...

Он заваливался с ботинками на тахту и названивал приятелям. В телефонную трубку вперемешку с французским летела матерщина, от которой у Зинаиды Андреевны начиналась мигрень.

Вскоре собиралась компания человек из пяти-шести. Новые парни, которых в прошлый раз не было. Борис забирал на кухне стаканы и закрывал дверь. Из обрывков разговоров, которые долетали до Зинаиды Андреевны, она ничего, кроме мата, понять не могла. Они не разговаривали ни о девушках, ни о политике, ни о своих институтских делах, ни о хоккее. Ей казалось, что они просто дымят и пьют. Иногда она приносила им еду. Они отказывались, но все уничтожали, оставляя на полу грязные тарелки. Куда они стремятся? Что для них свято? Слушают часами эту идиотскую музыку, и им нечего сказать друг другу.

– Бобочка, скоро месяц, как папа в больнице. Неужели у тебя нет времени навестить его?

– К нему не пускают, сама говорила...

– Уже давно пускают. Отца надо поддержать...

– А выпишут когда?

– Врачи говорят, сейчас и думать нечего. Возможно, через месяц...

– Вот и увидимся. Пускай от меня отдохнет. А я от него.

– Я устала врать, что у тебя семинары, лекции, коллоквиумы...

– Ничего, мать! Ври дальше! Он к вранью привык.

### 35. В ПЯТНИЦУ, В ШЕСТЬ УТРА

Зинаида Андреевна не ложилась. Она поздно приехала от Игоря Ивановича, увидела, что ужин, оставленный Бобочке, не тронут, и поняла, что домой он не заходил. Она досмотрела конец телепрограммы – спорт и последние известия, накинув платок, вышла на балкон. Иногда Боб стоял с компанией возле беседки во дворе. Но там никого не было.

В половине второго Зинаида наконец разделась. Она стояла перед большим зеркалом в спальне, надеясь отвлечься, сосредоточившись на себе. Она скептически потрогала излишки на животе и бедрах, впрочем небольшие. Она все еще была хороша собой и думала не без гордости, что нет в мире ничего гармоничнее женской фигуры. Зинаида теперь совсем мало ела и перепробовала все диеты, но вдруг это перестало помогать. Еще можно было испытать голодание в клинике очень

модного врача Николаева, к которому попасть, говорят, невозможно. Конечно, Игорь устроил бы ее в два счета. Но голодание ей казалось жестокостью по отношению к себе самой. Ведь только в обнаженности видно, а когда она затянута – ни-ни!

Она приподняла пальцами груди, которые были предметом особой гордости Игоря, но теперь сохраняли форму только во французских лифчиках. Груды потеряли свой вид из-за этого шалопая Бобочки, который, похоже, вообще не явится ночевать и даже не позвонит. Надев английскую шелковую ночную рубашку, всю в кружевах, Зинаида Андреевна легла на свою половину широченной финской кровати. Она еще почитала немного какую-то чепуху в «Роман-газете», погасила лампу и, рассчитывая услышать топот Боба, задремала.

Ее разбудил телефон на тумбочке со стороны Игоря Ивановича. «Позвонил все-таки! – сразу проснувшись, подумала она. – Есть в нем сыновний долг. А сколько же теперь времени?» На ее любимых золотых часах, подарке матери к свадьбе, было десять минут седьмого. Она сняла трубку.

– Попрошу отца Макарецва Бориса, – сказал хрипловатый мужской голос.

– Его нет.

– Где он?

– Он в больнице, разве вы не знаете? В чем дело?

– А вы ему кто?

– Жена.

– Вы будете мать Макарецва Бориса Игоревича?

– Да. С ним что-нибудь случилось?

– Капитан Утерин, старший инспектор МУРа, беспокоит. Ваш сын Макарецв Борис Игоревич ночью на Кутузовском проспекте, будучи в нетрезвом состоянии, сбил двух пешеходов. Одного насмерть, второй скончался в больнице.

– А Боря? – спросила она, плохо поняв то, что услышала.

– Он как?

– Он-то жив-здоров, отсыпается у нас в КПЗ.

– Где-где?

– В камере предварительного заключения.

– Спасибо, что позвонили. Сейчас я приеду и заберу его! –

Зинаида Андреевна уже совсем проснулась, будто она заранее была готова к этому случаю.

– Забрать?.. Да нет... Будет следствие...

– Следствие? Скажите... – она замялась, понимая, что важно сохранить достоинство, не показать, что ты испугалась. В конце концов, с твоим мальчиком, что бы ни случилось, не смогут сделать ничего против твоей воли. Но она хотела скорее узнать, что все это может означать, против чего бороться. И она договорила. – Скажите, а это как, серьезно?

– До десяти лет лишения свободы по статье 211 УК плюс отягчающие вину обстоятельства – еще лет пять. Но это будет суд решать...

– Суд?

– А вы как думали? Можете сейчас к нам приехать? Возьмите с собой паспорт. Фамилию мою записали? У-те-рин...

Не вставая с постели, Зинаида Андреевна оглядела спальню, будто впервые в нее попала. До пятнадцати лет? Бореньке?! Чепуха какая-то! Он еще раскается в своих словах, этот капитан Утерин, пожалеет, что угрожал мне... Игорь, как назло, в больнице. Он бы позвонил куда надо и сразу все уладил. Ладно, она поедет сама. Зинаида Андреевна прикрыла пальцами рот, пытаясь сосредоточиться, затем повернулась и перелистала телефонную книжку, лежавшую у Игоря Ивановича на тумбочке. Она позвонила в диспетчерскую и, когда ей ответил заспанный голос, сухо произнесла:

– Машину жене Макарецва Игоря Иваныча.

– Когда?

– Сейчас. Срочно.

– Ладно, – ответил голос.

Послышались вздох и короткие гудки. Зинаида поднялась и начала быстро одеваться, выбрасывая из ящичков на пол то, что не подходило. Она причесалась, не глядя в зеркало, вышла на кухню, поколебавшись, вынула из холодильника несколько баночек черной и красной икры, которые держала, чтобы класть в карман санитаркам. Теперь икра могла пригодиться. Она подумала, что понадобятся деньги. Но их дома было мало, а в семь утра сберкасса закрыта. Надев сапоги, шубу, меховую шапочку, которая ее молодила и очень шла, и заперев квартиру на все три замка, она хотела вызвать лифт, но он был занят. Она нервно постучала по двери, торопя едущего. Лифт остановился на ее этаже, и из него вышел Леша Двоенинов.

- Вызывали, Зинаида Андревна?
- Вызывала, Леша. Поехали, да побыстрей.

Когда сели в машину, Леха закурил и молча посмотрел на Макарецеву, ожидая указания. Зинаида поколебалась, говорить ли куда она едет, но решила, что все равно не скроешь.

- Ты знаешь, где МУР?
- Петровка, 38. Кто ж не знает? Туда?
- Туда, Лешенька... На-ка вот, пока не забыла...

Она порылась в сумочке и протянула Двоенинову баночку черной икры.

– Спасибо, – сказал он, завел мотор, тронулся и потом на ходу ловким движением закинул баночку в бардачок. – Как самочувствие Игоря Иваныча-то? Уж пора его выпустить. Все без него соскучились...

- Не говори, Леша! Сама не дождусь...

Зинаида Андреевна ответила механически. Она вынула из сумочки листок с криво написанной фамилией «Утерин». Леха подумал, не попросить ли напомнить Игорю Ивановичу, что тот обещался позвонить насчет его, Лешиной, работы в «Совтрансавто». Но лучше потерпеть еще немного, пока сам выйдет, а не просить через третьи руки. Двоенинов не стал мешать Зинаиде Андреевне своим обычным разговором о том, о сем и погнал по пустым улицам на Петровку.

## **36. УТЕРИН ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ**

### **ИЗ АНКЕТЫ ДЛЯ СПЕЦКАДРОВ**

*Старший инспектор МУРа, капитан милиции.*

*Родился 29 января 1932 г. в деревне Знаменка, Смоленской области. Русский.*

*Член КПСС с 1952 г., партбилет №3453211.*

*Образование специальное и высшее: окончил спецшколу КГБ в 1963 г., юридический факультет МГУ. Иностранными языками не владеет. За границей не был.*

*Семейное положение: женат. Жена, Утерина Н.П., работает лаборанткой в научно-техническом отделе МУРа. Сын 9 лет.*

*Военнообязанный. Запас ВВ (Внутренние войска), спецучет.*

*Паспорт IV HE №651127, выдан 114 о/м г. Москвы 14 июля 1967 г. Прописан постоянно: просп. Вернадского, 15/14, кв. 26. Тел. 130-92-81.*

*Сведения о трудовой деятельности, родственниках, справки о состоянии здоровья находятся в личном деле.*

## КАРЬЕРА КАПИТАНА УТЕРИНА

Вернувшись вместе с шифровальщиком Кашиным из Гаваны, замначальника шифровальной группы Центра Виноградов поручил младшему лейтенанту Утерину попытаться дешифровать слово «кадум», что и было Утериним сделано без всяких дешифровочных таблиц. При этом Утерин усмехнулся, и подполковник сделал вывод, что ему об оскорблении известно. Владимир Кузьмич Утерин, пониженный в звании, был переведен, как и Кашин, в Десятый отдел «Семерки» – в службу внешнего наблюдения. Немногословный и исполнительный, он получил тут номер 43-85 и прижился. Работа оказалась более живой, требовала сноровки, а эти качества у Владимира были от природы.

Топтунов привозили к объектам небольшими группами. Старший распределял точки, раздавал фотографии, объяснял кто кому передает объект в случае преследования. Объектами были в основном иностранцы и советские граждане, которые с ними встречались. Сотрудники запоминали, с кем они говорили, фотографировали встречи микрокамерами через грудное отверстие в плаще. Владимир не допускал ошибок в работе и вскоре был назначен на должность старшего оперативной группы. Второй прокол произошел снова не по его вине.

Сотрудников внешнего наблюдения, отменив все текущие задания, собрали в управлении. Обратился к ним седой полковник в гражданском костюме, до этого в лицо топтунам, как ни странно, неизвестный.

– Наша разведка, товарищи, сообщила, что в Шереметьево из Франкфурта-на-Майне под видом туриста прибывает некий господин Зигмаринген, скромный немецкий бизнесмен, большой любитель живописи и симфонической музыки. В действительности этот Зигмаринген, он же Майер, он же Люттгенс, – крупный западногерманский агент. Мы изучили

его дело (в нем свыше трехсот документов) и запросили у нашей службы в ФРГ дополнительные данные. К сожалению, ответ не успокаивает. Поездка настолько засекречена разведслужбой, что нам остается быть начеку. Принято решение не препятствовать во въезде Зигмарингену, выдать визу, не отказывать ни в каких просьбах, даже если они выйдут за пределы установленных для Интуриста маршрутов. Багаж его официально не будет досматриваться. Надеюсь, понимаете, какая ответственность ложится на вашу службу? Только в Москве мы поднимаем по готовности №1 456 человек и на время операции подключаем вас к 12-му отделу.<sup>1</sup> Необходимое количество ваших ребят будет занято во всех городах по маршруту Зигмарингена. Все наши люди в службе сервиса в гостиницах, аэрофлоте, общественных местах, где он может появиться, оповещены. Дальнейшие инструкции поступят после его приземления... Теперь о вас... От вас требуется чистая работа. Господин Зигмаринген и в мыслях не должен иметь, что за ним следят. Пусть наслаждается полной свободой. Если что, немедленно связь со мной!

Это были трудные две недели для Утерина. Когда бизнесмен и знаток симфонической музыки господин Зигмаринген, невысокого роста седеющий господин в дешевом сером пальто, сияя сердечной улыбкой, сбежал с трапа и к нему направилась переводчица, старший группы наблюдения из машины доложил по рации:

– Приняли объект. 21-14 начала. Пошло-поехало!

А гость как ни в чем не бывало ходил в Москве на симфонические концерты, гулял по Тбилиси, отправился в Ташкент и Самарканд и за две недели ни единого раза не остановился на улице, чтобы заговорить с прохожим, ни единого раза не поинтересовался химией, специалистом в которой себя называл.

– Зачем он приехал? – гадали на всех ярусах советской разведки.

– Я хотел бы продлить визу еще на две недели, – сказал он переводчице. – Если это, конечно, не трудно...

---

<sup>1</sup> 12-й отдел 7-го оперативного управления КГБ: специальные операции по слежке.



– Вы что-нибудь не успели сделать? Я могу помочь?

– Да, я не успел осмотреть Эрмитаж и Русский музей.

Визу продлили. Утерина вызвали на новое совещание: этот чертов господин Зигмаринген будет их мучить еще две недели!

– Удвойте бдительность! – предупредил полковник. – Не исключено, что он, как матерый волк, путает следы, усыпляет нашу бдительность, а в конце попытается что-либо натворить. Тщательное изучение содержимого его чемоданов, к сожалению, не дало никаких результатов. Вся надежда на вас!

Получив объект от своего коллеги, 43-85 смотрел за ним во все глаза. К счастью, гость не имел манеры оглядываться, хотя и ходил, глаза по сторонам. Иногда он бегал, хватая под руку переводчицу, так что Утерину и его коллегам удавалось перевести дух лишь в машинах.

Уехал Зигмаринген не по графику, а на день раньше, внезапно поменяв билет на ночной рейс и подняв с постелей топтунов. У трапа гость поцеловал в губы переводчицу 21-14 и вручил ей в подарок сто долларов, которые она после сдала под квитанцию в бухгалтерию «Интуриста».

– Теперь все ясно! – резюмировал седой начальник. – Зигмаринген постарел и решил порвать с преступной жизнью. У нас в стране он отдыхал. Мы хорошо поработали, товарищи, сделали все, что могли!

Однако спустя две недели наша разведка переправила домой из Израйля копию сообщения об иллюстрированном отчете, разосланном Зигмарингеном разведкам всех стран, дружественных ФРГ. Изучая советское искусство, гость сфотографировал большую часть сотрудников службы внешнего наблюдения, чтобы они были известны заинтересованным сторонам.

В течение месяца коллег Утерина пересортировывали и раскидывали. И его вызвали на собеседование.

– Как у вас с дикцией? – спросил один из членов комиссии. – Стихи в школе учили?

– Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, – продекламировал бывший номер 43-85.

– Для начала неплохо! Остальное дотянем!

Утерина перевели в группу скандирования, и тут ему сразу понравилось. Работающие в группе лучше одевались, всегда ходили в белоснежных рубашках и при галстуках, некоторые

даже с платочками в нагрудных карманах. Начальник группы скандирования представил им Прова Царского, народного артиста СССР, секретаря партийной организации Малого театра, на которого возложили почетную общественную нагрузку подготовить пополнение к работе. Царский всю жизнь играл Чацкого, но в остальной жизни был со всем согласен. Он начал с дикции, заставил Утерина раз двадцать повторить скороговорки «Ехал Грека через реку» и «Карл у Клары украл кораллы». Затем подошел к пианино и взял аккорд.

– Ну, а теперь красиво и раскатисто споем: «Слава коммунистической партии!»

Утерин крикнул. Царский поморщился.

– Поттише, голубчик! Слава – интонация вверх – Коммунистической партии – интонация вниз. И больше чувств, искренности, страсти! Вот послушайте...

Он прожурчал своим бархатным профессиональным голосом. Интонация ушла вверх, повисела там немного и торжественно опустилась. Далеко было бывшим топтунам до народного артиста.

– Понятно? – спросил Царский, счастливый своим талантом. – Давайте-ка хором, друзья: «Да здравствует – интонация вверх, пауза – наше родное – маленькая пауза – советское – пауза еще меньше – правитель-ство-о-о!»

Пианино подтвердило правильность этой мысли величественным мажорным аккордом.

– Не басите, не басите! Нежнее, душевнее! Так, чтобы всем, сидящим вокруг вас в зале, захотелось повторить вместе с вами. Ну, давайте, – артист заглянул в бумажку, – «Слава могучему авангарду нашей партии, ее ленинскому – и раскатисто, как эхо, – По-лит-бю-ю-юро-о-о-о!»

После уроков актерское мастерство Утерина продвинулось. Но и старый опыт не пропал. На съездах и партийных конференциях членов группы скандирования равномерно распределяли по залу с таким расчетом, чтобы каждый сотрудник отвечал за определенную группу депутатов или делегатов. Владимир наблюдал за движением рук закрепленных за ним зрителей. Локтем он мог незаметно определить содержимое кармана проходящего мимо человека, надавить бедром на портфель, выясняя твердость и вес лежащего в нем предмета.

Тексты для скандирования сотрудникам выдавали заранее, отметив галочками, после каких слов в докладе какую здравицу произносить, когда аплодировать, когда аплодировать бурно, после какого абзаца долго не смолкать, а когда вставать и устраивать овацию. В обязанности входило также вовлекать окружающих в аплодисменты и крики «ура!» Делалось это так. Когда приближались слова, после которых должны были следовать аплодисменты, Утерин поворачивался к своим соседям справа и слева и, восторженно улыбаясь, говорил:

– Здорово сказано, правда? Гениально! Давайте похлопаем!..

Тут как раз докладчик прерывался (у него в тексте тоже стояла галочка), и Утерин мгновенно принимался хлопать, вовлекая сидящих вокруг личным примером. И разницу между теми, кто аплодирует от избытка чувств, кто из вежливости, а у кого такая работа, установить было невозможно.

Организация окончания речи вождя была самой сложной и ответственной задачей. Требовалось особое мастерство, чтобы поднять весь многотысячный зал единым порывом восторга. Ведь начальник не подавал сигнал, когда аплодисментам пора вдруг перейти в бурную овацию и когда во время овации всему залу встать. Поэтому на специальных тренировках участники группы, начав аплодировать, отсчитывали в уме двадцать секунд (два хлопка в секунду) и переходили к бурным аплодисментам (четыре хлопка в секунду), вовлекая зал. Затем ими отсчитывалось еще ровно двадцать секунд, и начиналась овация, во время которой раздавались как бы случайные, разрозненные крики «Ура!», «Слава!». Наконец, еще через двадцать секунд (восемьдесят хлопков) все сотрудники группы скандирования поднимались с мест, продолжая бурно аплодировать, но теперь – над головой. Одновременно они жестами приглашали встать соседей и кричали выученные заранее здравицы в честь вождя. Это был апофеоз, после которого сотрудникам оставались только рутинные мероприятия по слежке за сидящими вокруг.

Работал Владимир Кузьмич добросовестно, но вечерами у него теперь оставалось время. Он решил сделаться следователем, и после второго курса юридического факультета был переведен в группу борьбы с нарушениями советской морали. Работа в группе была разнообразной. Сотрудники группы де-

журили возле церквей в праздники и, отводя в сторону, били молодых людей, пытающихся войти в церковь. В парадных избивали евреев, желающих поехать в Израиль. По указаниям смежного отдела поджидали студентов, вынимали из портфелей Самиздат и били кастетами. Но били без увечий, поскольку это были меры чисто воспитательного характера.

Потом была работа в группе заполнителей. Заполнители заранее занимали все места на открытых политических процессах. Каждый желающий мог в принципе тоже попасть в зал судебного заседания, но мест не было. Если же кого-то требовалось впустить, один из заполнителей как бы случайно поднимался и уходил, освобождая ровно одно место. Утерину пришлось заполнять залы, когда перед студентами выступали американский сенатор и член Политбюро итальянской компартии, которые могли сказать не совсем то, что нужно; он заполнял зал Библиотеки иностранной литературы, когда там выступал социолог из ФРГ, залы выставок иностранной живописи, а также заполнял с плакатами улицы перед посольствами вместе с группой скандирования, а если требовалось бить стекла, то и с группой борьбы с нарушениями советской морали, выражая гнев и возмущение советского народа.

Настал день, когда Утерин доложил начальству о том, что он окончил университет и его образование может считаться законченным высшим. Он был произведен из младшего лейтенанта госбезопасности в капитана милиции и назначен на должность старшего инспектора МУРа.

С Петровки Владимир Кузьмич и сейчас частенько ходит домой пешком до метро, замедляя шаг возле Лубянки. Топтуны, прогуливающиеся вдоль здания, делают вид, что они просто прохожие. А прохожие делают вид, что об этом не догадываются. Утерин идет медленно, подмигивая каждому из бывших своих коллег.

– Как дела, Володя? Сколько платят?

– Дела идут, контора пишет, – тихо отвечает Утерин, делая вид, что разглядывает бронзового Дзержинского.

– А ты все топчешься?

– Да вот, понимаешь, никак не переведут в группу скандирования.

– Понятно! Ну, будь!

И Владимир идет дальше. А топтун очаянно трет уши и вдруг, чтобы согреться, бросается к мальчику из провинции, который сфотографировал памятник Дзержинскому.

– Здесь фотографировать запрещено! – сурово выговаривает он, отбирает фотоаппарат и засвечивает пленку.

### 37. НАДО ИСКАТЬ КАНАЛЫ

Около получаса Зинаида Андреевна ждала в бюро пропусков, пока ее позвали к окошечку и вернули паспорт с вложенным в него листочком бумаги. Сердце у нее колотилось, и мысли сновали в беспорядке. Но она старалась не позволить себе расслабиться и думала о том, как подать новость Игорю Ивановичу и можно ли ему вообще при нынешнем его состоянии услышать такое.

Макарцев не раз упрекал ее в том, что она живет, как у Христа за пазухой. Умру – как будешь справляться? Она смеялась и отвечала ему, что надо будет – научиться, а вообще она уверена, что он с его энергией переживет ее и еще женится. Конечно, ей не хотелось бы этого, но сие не в ее власти: все мужчины одинаковы. Вот и представился Зинаиде случай доказать, что самостоятельной она быть умеет. Лучше бы только не было этой необходимости. За что прогневался Бог? Она вспомнила Бога механически, в связи с навалившейся бедой. В остальное время был он ей не нужен.

Ей объяснили, как пройти к старшему следователю Утерину. Дверь оказалась запертой, и Зинаида Андреевна остановилась в коридоре, прислонясь к стене. Мимо нее деловито сновали люди в милицейской форме и штатские. Одного она попыталась спросить, он отрицательно качнул головой, как немой, и она снова стояла, ждала. Защитить ее от невнимания, прийти на помощь было некому. В ней никто здесь не нуждался, но от всех от них она сейчас зависела, и это ее унижало. Минут через сорок (а может, и час минул) к двери подошел спортивного вида мужчина, немного простоватый, с погонами. Он вытащил из кармана связку ключей, нашел подходящий и открыл дверь.

– Вы – Макарцева? – не подняв глаз, с хрипотцой спросил он. – Зайдите.

Он вошел в кабинет первым, позвякивая ключами. Зинаида Андреевна не привыкла к такому обращению и готова была разреваться от обиды. Но ей предстояло заменить Игоря, быть мужчиной, и она плотно сжала губы.

– Присаживайтесь.

Утерин так и не взглянул на нее. Он не торопясь закурил, ловко швырнул спичку в форточку и молча углубился в папку. Дым дешевых сигарет доплыл до нее, и она закашлялась.

– Макарец Борис Игоревич, рождения 1950-го, русский, комсомолец – ваш сын? – он наконец-то посмотрел на Зинаиду Андреевну.

– Мой, мой, конечно! – она напряглась так, будто у нее собрались отобрать сына.

– Та-ак... Он выпивал?

– Нет, – помедлив, ответила Зинаида Андреевна. – Только сок – томатный очень любит.

– Томатный любит... Это хорошо.

– Ну, может быть, на праздник рюмочку с отцом...

– С отцом? Вот протокол первого допроса... «Вечером 15 марта я встретился с Котловым, моим бывшим школьным другом... Купили бутылку водки и сели у него дома поговорить по душам. Пришел еще один друг, Демченко. Остатки водки мы вылили ему. Потом я поехал в Дом журналиста, где познакомился с девушкой, имя не помню...» Кто это – Демченко?

– Котлов – Борин одноклассник. А Демченко – первый раз слышу...

– Имя девушки тоже не знаете?

– Не знаю, – закрыв глаза, тихо ответила Зинаида.

– Так... «Я угостил ее коньяком и предложил проехаться за город. Она отказалась, так как ей надо было домой. Тогда я поехал за город сам. Двоих людей, переходивших Кутузовский проспект, заметил, только когда они уже были перед самым радиатором, так как было темно. Я нажал на тормоз и резко повернул вправо, но они тоже побежали вправо, и я их сбил. Хотел затормозить, но пока думал, останавливаться или нет, отъехал уже далеко и тогда еще прибавил газ. Выехав на Минское шоссе, я одумался и остановился. И сам вышел на дорогу, навстречу Госавтоинспекции...»

– Он на себя наговаривает, – сказала Зинаида. – Хвастается!

– Посмотрим, – проговорил Утерин, листая бумаги. – Вот заключение медицинской экспертизы... Спустя 1 час 40 минут после происшествия... Сильная степень алкогольного опьянения.

– Он не мог много выпить!

– Стакана два водки или коньяку, не меньше!

– Но ведь как он сбил, никто не видел! Это кто-то другой, а вы сваливаете на него!

Утерин в первый раз усмехнулся.

– Вот показания свидетелей: таксист Мамедов, автомашина 13-77 ММТ. Следовал за «Москвичом» Макарцева на расстоянии ста метров. Видел, что произошло, и из ближайшего автомата позвонил в милицию. После этого патрульную машину направили в погоню. Шофер уборочной машины 91-54 МОР Окунь двигался по левой стороне навстречу... Акт дорожного происшествия... Превышение скорости до 95 километров в час. На правом крыле и капоте «Москвича» следы ударов, кровь.

– А те двое? – она замялась, не зная как их назвать и как спросить. – Они... что?

– Как раз принес заключение патологоанатома. Вскрытие показало у обоих наличие алкоголя в крови – в средней степени.

– Значит, они сами виноваты!

– Больше того, они переходили улицу в неполюженном месте.

– Вот видите, я же говорю! Сами и поплатились...

– Сами-то сами, – Утерин почесал затылок. – Это смягчает вину вашего сына. Но много остается. Пьяный за рулем – раз. Превышение скорости – два. Оба пострадавших со смертельных исходом – три. Не остановился, чтобы оказать помощь, – четыре... Решать будет суд...

– Суд? Подождите, – глаза Зинаиды Андреевны наполнились слезами, и вся ее твердость рухнула. – Объясните, что я должна сделать, чтобы суда не было?

Утерин смотрел на нее внимательно. Вопрос можно было понимать по-разному, но сама постановка его свидетельствовала о том, что его собеседница имела определенные возможности.

– Таких советов давать не могу. Лучше вам самой решить этот вопрос.

– Я должна посоветоваться с мужем. Но он сейчас в больнице. Вы знаете кто он?

– Знаю. Это узнать нетрудно.

– Я тоже так думаю... Скажите, а могу я увидеть сына?

– Вы просите свидания?

– Да, да! Свидание!

Утерин тщательно погасил сигарету о каблук ботинка, бросил в корзину для бумаги, медленно поднялся, дело положил в сейф, запер его и вышел. Зинаида успела заплакаться, вытереть слезы и тщательно привести себя в порядок. Только глаза остались вспухшими и красными. Еще никогда она не чувствовала себя такой старой.

– Учítывая, что вы – жена Маканцева, свидание разрешили, – произнес Владимир Кузьмич с порога, – но ваш сын отказался.

– Не может быть! – воскликнула Зинаида Андреевна, пораженная этим больше, чем всем предыдущим. – Неправда!

– Если хотите, – сухо сказал Утерин, – можем привести его.

– Насильно? Нет уж!.. Я могу быть свободна?

Она гордо поднялась.

– Я отмечу ваш пропуск.

Утерин глянул на часы, проставил время и расписался. Он посмотрел вслед Маканцевой. «Самых красивых женщин отбирает для себя начальство», – промелькнуло у него. Но зависти в этой мысли не было.

Зинаида вышла из ворот, не чуя под собой ног, остановилась, не зная куда двигаться, что предпринять, к кому обратиться. Второй удар, после инфаркта Игоря, обрушился на нее. Но мужу она ничего не скажет. Она будет бороться сама.

Игорь Иванович болен, но с его положением не могут не посчитаться. Она не имеет права расслабиться, позволить несчастью взять власть над ее нервами. Она будет рассуждать, как обычно делает Гарик, начиная с основного, а не второстепенного, и действовать так, будто это не ее сын, а чужой, будто это лишь ее общественный долг – спасти ребенка, попавшего в беду. Придумав эти слова – общественный долг,



она решительно подошла к машине. Двоенинов безмятежно подремывал за рулем. Он вложил руки в рукава, чтобы не стыли, и добирал невзятое у сна ночью.

– Я не поеду, Лешенька. Мне рядом. Можешь быть свободен...

– Понял. А тут, на Петровке, случилось что?

– Общественные дела, – она беззаботно усмехнулась. – Поезжай в редакцию.

Было утро, светлое и веселое. Начинался рабочий день, мимо нее спешили люди, на ходу переговариваясь. Из подъездов выкатывались коляски. Все вокруг знали куда они идут, что и зачем делают. Зинаида Андреевна, уже решив действовать, все еще, однако, судорожно пыталась направить мысли по одному руслу. Но они растекались, а выползала другая, ненужная, отчаянная: что же теперь будет? Эта мысль только сбивала, мешала другим, создавала в душе панику.

Ей нужен квалифицированный советчик. Не приятельница, которая станет ахать, а после обзвонит всех знакомых: «Слыхали, а у Макарецовых-то сын!..» Юрист, вот кто необходим! Надо немедленно разыскать Корень.

Самуил Аронович Корень, один из заместителей председателя Московской городской коллегии адвокатов, был старинным другом ее первого мужа. Посадили их в одно время. После реабилитации он звонил Зинаиде несколько раз, был готов поддержать старые дружеские связи, но ей не хотелось воспоминаний о первом муже, да и положение Игоря Ивановича обязывало думать об уровне знакомств. Теперь, раздобыв несколько двухкопеечных монет, она дозвонилась до Самуила Ароновича без особого труда. Корень искренне, как ей показалось, обрадовался, начал расспрашивать о жизни. Но узнав, что у нее дело, сказал, что ждет ее немедленно.

Макарецева остановила такси у старого, обшарпанного особняка, вошла не раздеваясь в комнату, забитую столами и людьми, и сразу отыскала грузного и сутулого Корень. Он поднялся ей навстречу, обнял ее и по-старому поцеловал в обе щеки, а после усадил на стул в сторонке и попросил чуток подождать. Самуил Аронович постарел, лысина расплзлась во все стороны, синеватые щеки с красными прожилками и дряблый подбородок обвисли, черный костюм, обсыпанный

перхотью и пеплом, не сидел на нем, а висел. Зинаида Андреевна подумала, что у него плохо работают почки, да и сердце плохо тянет. Евреи раньше созревают и раньше старятся. Это касается не только женщин, но, как ни странно, и мужчин. Она удивилась, что думает сейчас не о Бобочке, но так уж плавали мысли, не подчиняясь ей.

– Ну, теперь я весь ваш, мадам! – отряхивая пиджак от пепла, галантно произнес Самуил Аронович. – Надеюсь, Зиночка, ваш муж не собирается с вами разводиться?

В свое время Корень, по просьбе Флейтмана, быстро провёл через суд его развод с Зинаидой. Шуток она сейчас воспринимать не могла и оглянулась, не слышит ли кто.

– Не беспокойтесь, – он прикоснулся корявыми пальцами к ее плечу. – Здесь каждый занят своим делом...

– Бобочка сбил двоих, – сразу выпалила она. – Насмерть...

Зинаида Андреевна стиснула рот, чтобы сдержаться, но слезы полились, будто прорвало. Вынула платок, мокрый. Корень, не утешая, подождал немного.

– Он совершеннолетний? Права есть? На своей машине? Трезвый? Скорость?

Вопросы сыпались один за другим, она только мотала головой, соглашаясь или отрицая.

– Не остановился?.. Ну, это не самая страшная оплошность! Что? Он делал неверные шаги один за другим, один другого хуже! Это естественно в его положении... Где он был до этого? С кем? Что делал?.. Как – вы еще ничего не знаете?! Ладно, все это мы сможем выяснить. Но факт остается!.. Нельзя на него все валить – он мальчишка! Был бы старше – сообразил: раз уж это случилось, надо бросить машину и бежать. Да! Позвонить в ГАИ и сказать, что машину угнали. Еще неизвестно, доказали бы или нет... Кстати, а что муж, Зиночка?

Она объяснила ситуацию. Самуил Аронович схватился за голову.

– Зачем вы приехали ко мне? Допустим, я найду самого лучшего адвоката... Шансов никаких.

– Что же делать? – едва слышно произнесла она.

– Ищите каналы. Но без мужа вы не обойдетесь. Попробуйте, конечно, хотя маловероятно. Но не падайте духом, делайте все от вас зависящее...

– Что от меня зависит? Что?

– В любом случае, надо познакомиться с семьями погибших. Придется как следует помочь, делать все, что они пожелают. Сколько у вас в запасе денег?

– На книжке тысячи полторы, не больше.

– Так мало?!

– Да мы никогда не копим, а расходов много...

– Придется вещи подбросить этим семьям. Ведь жены будут давать показания!

– Как же я их найду?

– Дело еще в МУРе? Какой инспектор им занимается? Попытаюсь узнать. Позвоните мне... Я даже не сказал вам ни одного комплимента. Такая стала жизнь – прямо сумасшедший дом. Встречаемся, когда что-то случилось, а без дела никто никому не нужен. У меня, поверите, даже родственников не осталось. То есть они живы, но встречаемся, когда кто-нибудь умрет. Может, на том свете соберемся? Ну, не падайте духом, Зиночка!

Выйдя, она взглянула на часики на руке. Пора в Кремлевку. Не появившись она там вовремя, Игорь заволнуется. Она искала такси и поехала на Рублевское шоссе, дав зарок улыбаться как ни в чем не бывало. Из холла, еще не поднявшись в палату, она позвонила в гараж и вызвала машину.

Игорь Иванович чувствовал себя лучше, ему включили телефон, и он воспрянул духом. Она пристрастно расспрашивала его о самочувствии, поворчала по поводу телефона и вообще охотно разговаривала на разные темы, лишь бы только он не стал расспрашивать о Бобе. И все же он заметил.

– Что с тобой, Зина?

– Ну чего пристал, Макарец? Женский календарь... Вечно ты пытаешься вывернуть меня наизнанку!

Она преувеличенно ворчала, чтобы отбить у него охоту спрашивать. И действительно, благополучно уехала. Только дома Зинаида почувствовала, что ни крошки не ела и уговорила себя поесть, чтобы были силы. Пока она автоматически жевала, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, она обдумывала, имеет ли смысл звонить друзьям Игоря Ивановича, не сделается ли от этого хуже. Но ведь скрыть все равно не удастся. А кто же еще поможет, если не они? Ведь и он им всегда готов прийти на

помощь. Она знала, что Игорь Иванович редко обращается с просьбами к цеховским работникам, а использует друзей в министерствах и ведомствах. Зинаида решила действовать так же.

Она принесла телефон на диван, и позвонила Дерюгиным. Павел Лукьянович был одним из заместителей председателя Госплана. Вот уже много лет Макарецвы и Дерюгины проводили вместе праздники, дачи у них были рядом, дети вместе росли. Наталья Степановна, услышав голос Зинаиды Андреевны, обрадовалась.

– Что это вас не слышно? – произнесла она раскатисто, по-простому, почти по-деревенски. – Как там наш Игорь Иваныч? Скоро его врачи отпустят?

– Скоро. Но у нас несчастье, Наталья Степанна. С Бобочкой...

– А что такое?

Макарецва стала рассказывать в чем дело, поворачивая таким образом, что милиция вроде бы ждет указания и если звонок такой поступит, Бореньку выпустят...

– А убийство-то как же? – прошептала Наталья Степановна. – И потом, как вы предполагаете, кто позвонит?

– Я думала, Павел Лукьяныч. Он ведь по ВЧ может позвонить Щелокову. Не давить, нет, просто намекнуть, что решается не у них, а выше...

– Я, конечно, передам Павлу Лукьянычу, – после паузы решила Наталья Степановна. – Но вряд ли он согласится. Ведь это совершенно не по его профилю.

– Может, мне ему позвонить?

– Да какая разница? Я все равно сейчас звонить ему должна, напомнить, чтобы он боржоми выпил. У него ночью изжога была. Если он согласится, я вам перезвоню. Ну, а если нет... Он, сами знаете, какой щепетильный в личных вопросах!.. А я вам сочувствую!

Посидев с минуту, держа палец на рычаге, Зинаида набрала еще номер. Риго Артемьевича Бадаляна, председателя Госкомитета по атомной энергии, Зинаида застала дома (вот какая удача!) самого. Риго Артемьевич искренне расстроился. Сын Макарецва – это все равно что его собственный сын. Он готов сделать что в его силах, а силы у него есть. Он занялся бы этим вопросом немедленно, но, к сожалению, у него через

полтора часа самолет. Он летит в Индию и будет в Москве только через месяц. Тогда можно будет вернуться к вопросу и подумать, кого лучше просить.

– Спасибо, Риго! Это поздно, но спасибо.

Она еще полистала телефонную книжку и нашла вписанный Игорем Ивановичем телефон Шапталы. Игнат Данилович Шаптала работал в Днепропетровском обкоме и в ЦК Казахстана вместе с человеком с густыми бровями, а теперь был заместителем заведующего отделом административных органов. Его звонок многое мог бы изменить. Шапталы бывали у Макарецевых в гостях. Игорь Иванович и Шаптала не раз ездили вместе за рубеж. С женой Шапталы Тамарой Богдановной, круглой, как колобок, очень молодящейся бабушкой с жизне-радостным украинским выговором, Зинаида Андреевна дважды отдыхала в санатории и очень подружилась.

Тамара Богдановна весело загуторила, рассказывая про своих ранних внуков, с которыми у нее дел невпроворот.

– Ну, а у вас как?

Зинаида Андреевна объяснила ситуацию. Тамара Богдановна умолкла, а потом вдруг спросила:

– Что же теперь будет с Игорем Иванычем?

– Он не знает. Я не хочу его беспокоить.

– Да я не о том, миленькая! Как это отразится на его положении? Сын – в тюрьме!

– Я этого не допущу! – воскликнула Зинаида Андреевна. – Если бы Игнат Данилыч мне помог, позвонил Щелокову...

– Ну как же он может? Ведь это ж подорвет его авторитет!

– Тамара Богдановна, родная, спросите его, умоляю!

– И спрашивать не буду! В его положении разве же можно такое? Да ведь кого он попросит, первый его потом и упрекнет. Не проси, Зинаида Андреевна. Это ж беззаконие...

– Пускай беззаконие! – в отчаянье воскликнула Макарецва. – Ведь один-единственный раз! Пускай неправда, нечестность, что угодно! Ведь сын! Другого не будет.

– Я сама мать, внуки уже. Но Игната Данилыча лучше не впутывать. Зинаида Андреевна, миленькая, сама понимаешь, не звони лучше нам, пока все не образуется. Мало ли что? Ты ведь тоже ради мужа от опасной дружбы отреклась бы.

Откинувшись на подушку, Макарецва некоторое время ту-по глядела в потолок. После встрепенулась. Нет, она не сдас-ся! Она будет действовать сама. Она позвонила Кореню.

– Зиночка, я кое-что выяснил. Эти двое убитых – разнора-бочие, хронические алкоголики. Оба состояли на учете, один подвергался принудительному лечению. Жена в семье второго вроде бы даже рада, что муж погиб. Говорит, наконец-то вздох-нет. Там ребенок шести лет, в другой семье – двое. Один – умственно отсталый. Может, дебильного в детский санаторий устройте? Задабривайте, обещайте, голубушка. В общем, запи-шите адреса...

### 38. НОЧЬ В НОВОСИБИРСКЕ

В гостинице Ивлев медленно поднялся по лестнице в свой номер. Весной в Сибири еще и не пахло. В демисезонном паль-то, прозванном семисезонным, в сорокадвухградусный мороз Вя-чеслав почти час тащился в холодном автобусе, забитом людьми так, что ногами не пошевелишь. А ноги эти были обуты в ботинки на резиновой подошве, и мех внутри отсутствовал. Ивлев ходил по городу, опустив у шапки уши, подвязав тесемочки под подбородком, и тем отличался от закаленных местных людей.

Сегодня он закрутился со статьей за подписью секретаря обкома по агитации и пропаганде Данилова, нужной Раппор-ту. Данилов рассказывал в своей статье о том, как трудя-щиеся Новосибирской области, сплоченные вокруг родной пар-тии, с нетерпением ждут, когда можно будет выйти на все-союзный субботник. Помощник секретаря дал Ивлеву старые доклады, из которых Вячеслав вырезал три куса (местные цифры и факты). Остальное дабавил. Визируя, Данилов читал статью, недовольно оттопырив губу. Иногда он морщился, да-вая понять, что искажены те мысли, которые он хотя и не высказывал, но подразумевал. В одном месте Данилов вычерк-нул абзац критики: «Это не надо». В конце расписался и про-тянул статью Ивлеву, сказав по-деловому:

– Можно печатать.

Никаким воспоминаниям Данилов не позволил всплыть, а ведь мог бы. Слава знал, что два года назад у «Трудовой прав-

ды» назревал конфликт с обкомом, и Макарецв потерпел поражение. В Новосибирске у редакции был тогда собкор – молодой, энергичный парень с выразительной фамилией Предыбайло. После первой же критической статьи, опубликованной в Москве, его пригласили к Данилову. Тот ласково пожурил:

– Ну зачем же ты, дорогой, сразу позоришь нас на всю страну? Мы не против критики и даже любим ее, но критика нужна глубокая, со знанием дела. А это просто злопыхательство. Ты человек новый, не все знаешь, не все тебе видно. Пришел бы сперва в обком, поделился сомнениями, мы бы подсказали, что да как... Ведь ты парень с головой, можешь действительно помочь области. А строчишь – читать страшно!

После второй критической статьи Данилов снова вызвал Предыбайло.

– Значит, хочешь выносить сор из избы? Такая, говоришь, у тебя профессия? Ладно! Ты нам не хочешь помогать, и мы тебя, в случае чего, не поддержим. Да, кстати: сигнал поступил. Вчера вечером ты нецензурно выражался в ресторане «Обь», при женщинах. Пьяным тебя видели...

– Не может быть! Не пил я. И не ругался.

– Ты в «Оби» вчера не был?

– Был! Один был и ни с кем не разговаривал. Поужинал и ушел.

– Вот видишь! А в каком состоянии ушел и не помнишь! А тебя видели – драться хотел... Смотри, опозоришь свою газету! Хороший ты парень, Предыбайло, вроде и неглупый. Да не хватает в тебе реального ощущения...

– Ощущения чего?

– Пространства и времени – вот чего! Лично мне ты даже нравишься. И фамилия у тебя красивая. Мы, сибиряки, народ гостеприимный. Квартиру тебе дали, машину, все хорошо. Но у милиции, сам знаешь, закон для всех один...

Теперь, после второго предупреждения, Предыбайло надо было понять, что он тут не приживется. А собкор оказался по молодости принципиальным и сделал третью критическую статью. Обком, конечно, не задел, но облисполкому досталось. «Трудовая правда» статью напечатала, потому что московские газеты любят замечать недостатки на периферии. Областное

управление внутренних дел уже получило устное пожелание обкома поинтересоваться Предыбайло. С паспортом, свидетельствующим о судимости, ему бы потом никогда не разрешили не то что писать статьи хоть для стенгазеты домоуправления, но и просто жить в определенных городах. Макарец убрал Предыбайло, решив отступить.

Вот почему собкоры обычно больше хвалили местные органы. Когда московской газете поручали выступить с критикой местных кадров, выезжал спецкор.

Статья Данилова была готова. Остальное время командировки принадлежало Славику. Раньше любимым его состоянием в чужом городе было лежать в гостинице, укрывшись теплым одеялом, думать, писать и спать. В последнее время он стал более любопытен. Тут, в Новосибирске, Вячеслав ходил по незнакомым учреждениям, вытаскивал замусоленный блокнот и отрезок карандаша. Он специально нарезал карандаши на короткие кусочки, затачивал и рассовывал эти отрезки по всем карманам, чтобы всегда были под рукой. Он исписал уже третий блокнот, а когда вечером, лежа в номере, перечитывал записи, самым интересным оказывалось то, что ему рассказывали, прибавляя: «Это не записывайте» или «Это не для печати». Он понимающе кивал и тут же спрашивал: «А какие у вас успехи? Что похвалить?» И когда ему начинали рассказывать про успехи, он записывал то, что не надо и не для печати.

Ивлев дошел до своего номера и замерзшими пальцами стал шарить в кармане, ища ключ.

– Вячеслав Сергеич... – тихо окликнули его.

В маленьком холле, под пальмой, гниющей в деревянной кадке, на стуле, прижимая к груди перчатки, сидела Надя.

– Ты сошла с ума! – проговорил он, еле открывая окоченевшие губы.

– Ага, – согласилась Сироткина, счастливо улыбаясь, но не решаясь к нему приблизиться.

– Заходи, – он пропустил ее в номер. – Как это тебе взбрело в голову?

– Сама удивляюсь. Ты один?

– Нет, вдвоем. Но соседа вроде нету. Дежурная тебя видела?



– К сожалению... Пришлось ей подарить английские колготки. Не бойся, я на минутку. Сейчас обратно улечу. Есть рейс, ночной...

– Слушай, ты действительно того... – крутил пальцем у виска Ивлев. – Пятьдесят четыре рубля сюда, столько же обратно – и не поцеловаться?

– Вот еще! – возразила она и, скинув шубу, бросилась к нему, обняв за талию. – Ты потолстел здесь.

– Это я надел все, что было... Я кусок льда...

– Растопить лед у меня энергии не хватит. А душ есть?

– Если течет горячая, есть.

– Тогда немедленно под душ, а то простудишься!

В ней проснулось нечто материнское. Он был ее сыном, великовозрастным и непрактичным.

– Скорей, скорей, – подгоняла она, стаскивая с него пальто, пиджак, рубашку, брюки. – Да не ступай на холодный кафель босиком...

Поеживаясь, он влез под шуршащие струи и зажмурил глаза. Надежда Васильевна вошла за ним следом. Водяная пыль достигала ее и садилась на волосы, на одежду. Она разглядывала Ивлева, будто ей предстояло запомнить все его пропорции и потом по памяти воспроизвести на бумаге.

Под душем, от которого клубился легкий пар, застилая тесный санузел, стоял чужой человек. Только такая дура, как она, могла почти шесть часов лететь из Европы в Азию ради того, чтобы на него взглянуть, жалкого и окоченевшего. И вот она смотрит на него – и ничего интересного, никаких чувств. Можно лететь обратно. Впрочем, ладно. Раз уж она загнала его в душ, так и быть, она будет ему матерью до конца.

Сироткина взяла на полке мочалку, намочила и обильно намылила. Она немного вытянула Ивлева из-под дождя. Он подчинился, не открывая глаз. Она стала намыливать его мочалкой, начав с головы, не щадя носа, и губ, и ушей. Ивлев был выше ее, и она встала на цыпочки, развернула его, растерев докрасна спину, снова повернула и так же сильно растерла живот. Только в одном месте, боясь сделать ему больно, она отложила мочалку, намылила руки и мыла ими, наощупь, глядя на его лицо, которое стало быстро оживать. Она подтолкнула его под душ обмыть пену и решила, что сейчас тихо вый-

дет, наденет шубку и поедет обратно в аэропорт. Туда добраться из города больше часа, и она может опоздать на последний рейс в Москву.

Надя повернулась уйти, но Вячеслав поймал ее за конец юбки и тянул к себе.

– А ну, отпусти сейчас же, хулиган!

Он продолжал упрямо тянуть ее к себе.

– Пусти немедленно! Если ты не намочишь мне юбку, то уж наверняка порвешь! А запасной нету...

– Порву! – сказал он.

– Я тороплюсь! И вообще, ты меня не достоин. Пока!

– Не достоин, – согласился он и обеими руками втащил ее под душ.

Пытаясь вырваться, она ударила его сначала по руке, потом по щекам. Но было уже поздно: она промокла насквозь. Даже сапоги хлюпали. По спине, под одеждой, текла река, волосы сбились, закрыв половину лица.

– Ты что, озверел в Сибири? Отстань, дикий кабан!

Она укусила его в плечо, но Ивлев даже не прореагировал. Он опустил на колени, нащупал молнию на юбке и открыл ее. Мокрая юбка, отяжелев, рухнула вниз. Надя попыталась ударить его коленом в челюсть, рвала ему волосы, но боли он не чувствовал. Он приник к ней лицом. Надя перестала драться и держала его за волосы. Глаза у нее остановились. Она глотнула и почувствовала, что ее собственное тело ей больше не принадлежит. Он стал хозяином этого тела, а не она. Кусая губы, чтобы не закричать, она глотала воду, текущую в рот.

– Все! – вдруг хрипло сказала она, будто обрадовалась освобождению.

Тело ее снова стало независимым и принадлежало ей одной. И чтобы окончательно вернуться на землю, она закрыла кран с горячей водой. Полилась ледяная. Как ошпаренный, Ивлев рванулся в сторону. Надя с трудом стянула остатки одежды, стала развешивать на батарее. Вячеслав ушел одеваться и вернулся.

– Сосед пришел, – шепотом сообщил он. – Одетый спит. Вроде пьян...

– Что же делать?

– Не обращай внимания!

– Дай твою рубашку. Все мое мокрое.

Не зажигая света, они забрались под одеяло. Надя то и дело оглядывалась на кровать в противоположном углу, где похрапывал человек.

– Он кто?

– Инженер, говорит. Вроде ничего парень...

– У тебя все ничего, спецкор ты мой! Господи! Если бы ты знал, какое счастье спиной тебя чувствовать! У меня главный орган – спина. Когда вода за шиворот потекла, думала, сознание потеряю – так было хорошо.

– Выходит, я не при чем?

Сироткина повернулась к нему, закрыла ладонью рот.

– Знаешь, я думала, после того что было в кабинете у Макарецва, все пройдет, а мне нравится. Я женщина, скажи?

– Уже почти!

– Что же будет, когда я стану настоящей женщиной? Я с ума сойду от счастья!

– Выдумываешь ты все!

– Конечно! – охотно согласилась Сироткина. – Скажи, а почему ты со мной матом не ругаешься? Ты мужчина, это твой основной язык.

Утром разбудил их сосед. Он фырчал и плевался, умываясь. Потом вернулся в нижнем белье и стал одеваться.

– Извини, старина! Видишь, как получилось, – зевнув, сказал Ивлев.

– Бывает, чего там!

Надя предпочла сделать вид, что еще спит. Сосед понизил голос до шепота.

– Ну а баба-то как? В порядке?

– Что к чему, разбирается, – похвалил Ивлев.

Осторожно проведя руку под одеялом вниз, Надя так сжала ему это самое «разбирается», что Ивлев ойкнул.

– Ты чего? – спросил парень.

– Язык прикусил, – ответил Вячеслав.

Надежда хихикнула.

– Девушка, а у вас подруги нет?

– Есть, – охотно ответила Надя, приподняв голову из-под одеяла. – Но она с убеждениями.

– С какими, если не секрет?

- Не секрет, наоборот: сперва – в ЗАГС.
- Не подойдет, – сказал парень. – Ну, я ушел. До вечера!
- Счастливо поработать, – Слава помахал ему рукой.
- И тебе того же!

Надя вылезла из-под одеяла и слонялась голая по комнате.

– Скажи, а ты меня не ревнуешь к Саше Какабадзе?

– Нет!

– Почему? – она обиделась. – Я, между прочим, с ним в театр ходила...

– На здоровье!

– Ты странный! Ну хоть бы сделал вид, что ревнуешь...

Она подошла к окну, отодвинула штору, открыла ивлевский блокнот и стала пролистывать.

– Слушай, а почему тут, в Новосибирске, люди такие злые?

– А в Москве добрее?

Она стала читать из блокнота вслух:

«Для меня журналист есть высший идеал человека и благороднейшее существо... Впрочем, если обстоятельства заставят отправиться в места отдаленнейшие и бросить журналистику, то тут и плакать нечего...» Кто это сказал? Ты?

– Писарев.

– Но ведь бесполезно, Славик! Твой Писарев боролся сто лет назад, и что изменилось?

– А ты? Ты чего хочешь?

– Я? Я хочу, чтобы мне было хорошо и тебе. Что будет после – не все ли равно?

– Мне – нет.

– Господи, ребенок!.. Тому, кто понимает, что ты можешь объяснить? А кто нет – тому плевать. На тебя влияет Рап!

– Влияет! И я ему благодарен.

– Я тоже. Но будь осторожен...

Глядя на нее, он механически брился.

– Я улечу, улечу, не бойся!

Она собрала высохшую, но мятую и сморщенную свою одежду и, чтобы не являться пред очи Ивлева в таком виде, натянув все на себя, сразу надела шубу.

– В редакцию и к концу дня не доберусь – будет прогул...

Да, чуть не забыла. Я ведь прилетела посоветоваться. Сын Макареца сбил двоих насмерть.

– Ух ты! – Ивлев выключил бритву, и стало тихо. – Теперь ему будет, если не вытащат...

– А мне? С ним пила я...

Слава уставился на нее, по-бычьему выпятив глаза. Хотел еще что-то спросить, но не спросил, и Надя оценила его благородство.

– Наверно, это я виновата.

– Дуреха! Ты-то при чем?

– Они уже знают. У него нашли мой телефон на пачке сигарет. Скажу, что я его споила.

– И не вздумай трепаться!

Резко повернувшись, Надежда пошла. Возле двери она обернулась и указала пальцем на кровать соседа.

– Ночью, когда у нас спало одеяло, он нахально глазел на меня, я видела. Вызови его на дуэль!

– У тебя есть на что глазеть.

– Комплимент на его уровне. Прощай!

### 39. ЧАС ЯГУБОВА

– Товарища Кашина можно к телефону? Валь, ты? Голос что ль изменился?

– Кто это?

– Своих не признаешь? Утерин.

– Володя! Сколько лет, сколько зим!

– Я, Валя, посоветоваться, как к другу...

– Для тебя – все!..

– Тогда слушай. Макарецов Игорь Иванович – есть у вас такой?

– Не знаешь?!

– Как не знать? Жена его говорила: «Вы знаете, кто мой муж?!»

– А в чем дело-то?

– Дело?.. Да сынок их у меня подследственный. Что молчишь? Вот и звоню тебе по дружбе. С одной стороны, чтобы тебя подготовить, а с другой – чтобы самому не вляпаться. Зачем мне лезть на рожон? У тебя свое начальство, у меня –

свое. Но есть ведь еще и общее, так? А куда оно повернет – к нашему или к вашему?

– Трудный вопрос, Утерин. Надо обмозговать... Я думаю, нужно прежде всего своему подчиняться. А сверху твое начальство поправят, если надо. Тогда ты опять ему подчинишься. Держи меня в курсе, а я тебя, правильно?

Положив трубку, Кашин некоторое время сидел, вперив взгляд в аквариум. Борю Макарецва он видел два раза, когда завозил домой Игорю Ивановичу срочные бумаги, которые тот забывал подписать перед отъездом за границу. Парень был как парень, ничего подозрительного. Как же теперь будет складываться ситуация? В любом случае Ягубов должен быть срочно поставлен в известность именно им, Кашиным.

Ягубов что-то листал, слушал не очень внимательно, но при словах «двоих насмерть» встал и приподнялся на цыпочки, покачался. Брови у него сошлись на переносице.

– Вот беда-то, Валентин! Можно сказать, трагедия... Что за это, не выяснял?

– До пятнадцати...

– Так... Трагедия для всего коллектива редакции... Ты кому об этом говорил?

– Никому! Как из МУРа друг позвонил, прямо к вам.

– Одобряю! Не будем бить по воде, чтобы круги разбежались...

– Понял, Степан Трофимыч...

Оставшись один, Ягубов почесал подбородок и подошел к окну. Он приблизил лицо к стеклу – из форточки проникал холод и помогал успокоиться. То, что произошло, нельзя было предвидеть. Не везет! Эх, как не везет Игорю Иванычу! И с инфарктом, и с ребенком! Остается надеяться, что наверху это так и поймут.

А с другой стороны, ведь будут и люди менее сентиментальные, которые решат, что предвидеть было можно. Кандидат в члены ЦК мог серьезнее отнестись к воспитанию сына. Он давно от рук отбился, Игорь Иванович сам не раз жаловался. Беда бедой, а вина виной. И тогда в Большом доме посмотрят на ситуацию по-иному.

Инфаркт? Не хочется думать, но будем объективны: образ жизни Игоря Ивановича не был идеальным. Физзарядку, гово-

рил, он всю жизнь собирался делать. А после как-то сказал, что станет ее делать, когда отвезут его на Новодевичье кладбище: будет вставать пораньше, когда нет экскурсий, и бегать вокруг собственной могилы. В наших условиях, учитывая напряженность партийной работы, отсутствие крепкого здоровья – существенный недостаток. Такой работник может быть заменен с пользой для дела.

Будут смотреть, распространялся ли макарцевский стиль на коллектив. И придется честно сказать: есть разболтанность, отсутствие оперативности, расшатана дисциплина. В таких условиях и политическая бдительность усыплена. А где есть сытость, там будет плесень. Сегодня это беспокоит его, Ягубова, завтра – горком, послезавтра заговорят в Большом доме. Случай с сыном Макарцева – тревожный сигнал, и мы ошибемся, если не сделаем оргвыводов. Это будет и в интересах самого Игоря Ивановича.

#### **40. И НЕ ХОЧЕШЬ ВОРЧАТЬ, А ПРИХОДИТСЯ**

В то время, когда Зинаида Андреевна выходила из проходной МУРа, Раппопорт проснулся. Он проснулся на два часа раньше, чем обычно, долго стонал, сопел и кряхтел, пока поднялся. А поднявшись, полчаса бродил полуодетый по комнате и кухне, бурчал под нос, что эта власть не дает ему покоя даже во сне. При всем при том он приплелся в редакцию на полтора часа раньше обычного.

Здание «Трудовой правды» было построено в начале тридцатых годов, когда еще существовал в московской архитектуре конструктивизм и влияние Корбюзье. Поэтому спустя треть века дом выглядел современнее, чем корпуса послевоенного сталинского барокко. Сперва Раппопорт собирался сразу взять у вахтерши внизу ключ от приемной редактора. За взятый ключ надо было расписаться в журнале. Конечно, можно было вписать любую фамилию, но вахтер мог позже вспомнить – а это в планы Якова Марковича не входило. Поэтому он просто глянул на часы, поднялся к себе и стал ждать.

– Уже сидишь? А я смотрю – не запёрто. Убирать иль не надо?

Маша, грузная баба в черном халате, приспущенных чулках в резиночку и мужских ботинках, ожидая ответа, стояла в дверях с ведром и тряпкой. Сотрудники редакции были уверены, что уборщица больше пачкает, чем убирает, и звали ее не иначе как тетя Мараша. Происхождение клички было связано с термином «марашка»<sup>1</sup>.

– Убрать, обязательно убрать, тетя Мараша, – сказал Яков Маркович. – У меня тут грязи полно!

– Пили, небось, опять? Бутылки есть? Погодите, сообщу на вас!

Регулярная выручка от собранных бутылок была серьезным довеском к скромной зарплате Маши, и, ворча, что люди пьют, она хотела бы, чтобы пили больше.

– Может, и есть, поищи, – подыграл Раппопорт. – Я уйду, мешать не буду...

Лифт поднял Якова Марковича в коридор, где была приемная редактора. Дверь в приемную стояла открытой. Сперва уборщица проходила по всем коридорам со связкой ключей, отворяла все двери редакции (кроме опечатанных, конечно), опоражняла мусорные корзины, ссыпая их содержимое в большие бумажные мешки из-под почтовой корреспонденции, и только потом мокрой тряпкой, намотанной на щетку, протирала паркетные полы. Паркет от этого был грязно-серого цвета, трескался, но Маше протирать было удобнее, чем натирать. Опечатанные комнаты она убирала днем, в присутствии ответственных лиц.

Оглянувшись, Яков Маркович вошел в приемную. В ней было непривычно тихо. Стулья и кресла, расставленные вдоль стен для посетителей, пустовали, молчали телефоны. Уродливо торчал желтый тамбур с дверью, обитой темно-красным дерматином: на двери – черная стеклянная планка с надписью: «Макарцев Игорь Иванович».

Не теряя времени, Тавров отворил в столе Локотковой дверцу левой тумбочки, которая не запиралась. В тумбочке верхние ящики были заполнены пачками бумаги, бланков, конвертов. В нижем ящике стояли туфли Анны Семеновны, в которые она переобувалась утром, мыльница, ножницы, отвертка, фла-

---

<sup>1</sup> Марашка – грязь от пробельного материала, вставлявшегося в набор.



кончик с лаком для ногтей, крем для рук, пачка чаю. Позади всего этого, под старым журналом мод «Силуэт», лежала коробочка скрепок. Яков Маркович выдвинул пальцем коробку. Вместо скрепок в ней (и об этом знали все сотрудники редакции, которым приходилось дежурить) лежал ключ. Кабинет Маша убирала уже при Анне Семеновне.

Шторы в кабинете Макарцева были задернуты, и стоял полумрак. Яков Маркович медленно обошел вокруг большой редакторский стол и сел в кресло. Он выдвинул средний ящик, заглянул в глубину, стал осторожно приподнимать бумаги. Серой папки не находилось. Тавров выдвинул ящик до конца, положил на колени, начал все перерывать более тщательно. Папки, которую он держал собственными руками в этом же кабинете в присутствии Макарцева, ни в конверте, ни без оно-го сейчас не было.

Раппопорт приподнял бумаги на столе, осмотрел содержимое боковых ящиков, тоже не запертых. Папка отсутствовала и здесь. И не хочешь ворчать, а приходится: обстоятельства вынуждают. Опытный зек чувствовал, что больше оставаться в кабинете нельзя. Он огляделся, не оставил ли следов, запер кабинет, положил на место ключ, осторожно выглянул в коридор и, расслабившись, вялой походкой пошел к лифту. Лифт был занят, поднимался, остановился на этаже. Чтобы не столкнуться с выходящим, Тавров забрался по лестнице вверх на несколько ступенек. Из лифта вышла Анна Семеновна и торопливой походкой засеменила к приемной. Дождавшись, пока она скроется, Яков Маркович ввалился в лифт и поехал к себе. Маша кончила уборку и шла по коридору, волоча швабру и запирая одну за другой двери.

– Мою не закрывай, тетя Мараша! – крикнул он.

Она молча кивнула и побрела дальше, громыхая большими ботинками.

## 41. ГАЙКИ ЗАТЯГИВАЮТСЯ

В середине дня Анна Семеновна перебегала по редакции от двери к двери. Каждому встреченному и каждому сидящему она протягивала ручку и список:

– В шестнадцать ноль-ноль совещание у Ягубова. Явка строго обязательна! Расписывайтесь.

Схватив лист, она бежала дальше. Раньше на совещания так никого не собирали. И дело вовсе не в том, что ты карьерист, мчишься по первому звонку, садишься и смотришь, кто опоздал, а кто обошел тебя, уже сидит ближе к руководству и проявляет активность. Все спешили: ведь твое положение в редакции зависит от того, насколько ты информирован. Чем больше знаешь о том, что происходит, тем больше твоя власть. Кого ругали? Кто погорел? Кого похвалят? Как без литургии неполон христианский обряд, так без совещаний нет партийной газеты.

– Под расписку? – спрашивали Анечку. – А в чем дело, не знаете?

– Понятия не имею!

– Может, с Макарцевым что?

– Нет, уж я бы знала!

– Может, о сыне его хотят объявить?

Весть о сыне Макарцева еще с утра облетела редакцию и была обсосана до косточек. Расписавшиеся терялись в догадках, отменяли встречи, переносили междугородние переговоры. Те, кто собирался смыться, переигрывали планы. Локоткова тем временем открывала следующую дверь:

– В шестнадцать ноль-ноль... Распишитесь...

– Ради вас, Анечка – сказал Раппопорт, – я подпишу все что угодно.

– Ох, Яков Маркыч, вы все шутите!..

– Нисколько!

Ивлев прилетел и позвонил Раппопорту, когда до совещания оставалось полчаса.

– Статья для вас готова.

– Догадываюсь... Когда появитесь?

– Яков Маркыч, вы мне предлагали ключи.

– Намек понял. Хоть сейчас....

– Тогда я сажусь в такси.

– Отлично. Только учтите, что тут скоро совещание... Ягубов затягивает гаечки. Так что вам, Славик, надо или явиться, или считаться еще в командировке. Я выйду на улицу – остановите такси шагах в двадцати от подъезда.

Когда, отдав ключи, он вернулся в редакцию, народ уже двигался к приемной. Анечка металась, носила стулья из кабинета Игоря Ивановича в кабинет Степана Трофимовича. У дверей толпились сотрудники. Ягубов возвышался за столом, на новой дерматиновой подушке, перед самым совещанием принесенной Кашиным. Он красиво курил и время от времени двумя пальцами, держащими сигарету, и второй рукой указывал на свободные места, где можно потесниться.

– Почему не в зале, а здесь? – осторожно спросил кто-то.  
– Тесно ведь...

– Рабочее, деловое совещание, – объяснил Степан Трофимович, ловко перекатив сигарету по губе из одного угла рта в другой. – В тесноте, да не в обиде. Верно я говорю, Яков Маркыч?

Раппопорт в это время стоял в дверях, держа в руках очки и ища плохими своими глазами свободное место.

– Садитесь вот сюда! – показал Ягубов. – Это место просил забронировать Полищук, но поскольку наш ответственный секретарь безответственно опаздывает, мы его бронь снимаем...

Сидящие заулыбались. Полищuku пришлось скромно присесть на край стула возле двери. Ягубов постучал карандашом по столу.

– Что ж, будем начинать? – спросил он и, приняв стихнувший гул за одобрение, распорядился. – Анна Семеновна, закройте, пожалуйста, двери и проследите, чтобы за дверью никаких посторонних не было... Так вот, товарищи! – он погасил сигарету. – Не будем сегодня говорить высоких фраз о том, что происходит у нас в стране. Все мы живем ради высоких целей. Давайте сегодня говорить по-деловому о том, что нам мешает, что тормозит наш путь к вершинам, которые теперь близки, как никогда.

«Опять близки?» – в испуге подумал Яков Маркович.

При этом он кивнул Ягубову в знак одобрения и засопел.

– Думаю, вы согласитесь со мной, – продолжал Степан Трофимович, – что наша газета должна не только смело говорить о хорошем, но и смело критиковать недостатки. Разумеется, ни то, ни другое нельзя делать без чувства ответственности. Мы служим партии и будем вести войну не только с вредными нам идеями, но и вредными фактами, если они мешают

идти вперед. Ведь когда газета выходит, печатное слово тоже становится историческим фактом!

«Он мой единомышленник, – думал Раппопорт. – Почему же я его недолюбливал? Может быть, потому, что он говорит это слишком серьезно?»

– Вы сами знаете, – сказал Ягубов, – чем больше мы с вами становимся творцами исторических фактов, тем ближе светлые вершины.

«А он альпинист! – снова подумал Тавров. – И тянет нас, всех заставит карабкаться, ничего не попишешь. Вернее, попишешь, но уже на вершине».

Яков Маркович опять кивнул заместителю редактора в знак солидарности с его прогрессивными мыслями.

– В последнее время, – продолжал между тем Ягубов, – из отделов в секретариат поступают статьи, которые приходится возвращать. А разве самим отделам не пора понять уровень новых требований? Давайте подойдем к вопросу диалектически, по-государственному. Разве партийные органы не знают о недостатках? Знают! Стоит ли писать о временных трудностях, когда всем ясно, что эти трудности будут преодолены? Стоит ли вообще писать о недостатках, если в скором времени они станут далеким прошлым?!

«Недостатков стало так много, что не видно достоинств».

При этой своей мысли Яков Маркович отрицательно качнул головой, соглашаясь с Ягубовым, что писать о недостатках не имеет никакого смысла.

– Ну, а если необходимо поставить принципиальный вопрос, – у коммуниста должно быть развито чувство предвидения: а что скажут наверху? Давайте говорить реально. У нас с вами два хозяина – Большой дом и читатель. Но ведь читатель нас с работы не снимет!

Яков Маркович заморгал глазами, снял очки и, закрыв глаза, стал протирать стекла. «Как умно и точно говорит замредактора! Я его недооценивал. Неужели он умней меня? И хитрей, это точно. Ведь при Макарецеве был тише воды, ниже травы. И вот расцвел. Как быстро растут люди в нашей стране!»

– Будем откровенны, – улыбнулся Степан Трофимович. – Иногда мы хотим поговорить о недостатках в той или иной сфере, но для того, чтобы сделать статью проходимее, начи-

наем с достоинств. В Большом доме мне показали статью английского журналиста. Он пишет, что статьи в советской печати надо начинать читать с того места, где встречается слово «однако». Не будем потрафлять вкусу буржуазной прессы. Слово «однако» прошу не употреблять.

– А слово «но» – можно? – спросили сзади очень тихо.

Ягубов расслышал.

– «Но» можно, – ответил он. – А вообще, я думаю, такого рода шутки неуместны. Сегодня мне звонили по поводу рецензии на спектакль. Мы его покритиковали, а его смотрели товарищи из Большого дома, и пьеса понравилась. Я вызвал редактора отдела: «С кем согласовывали?» Оказывается, ни с кем. А ведь всегда есть где и с кем согласовать заранее.

– Всё согласовывать? – спросил Алексеев.

– Если хотите работать без ошибок, – всё!

– С кем?

– Подумайте – и всегда найдете с кем. Если трудно, вместе посоветуемся. Пресса может быть подлинным оружием только в сильных руках. Допустим, позиция автора вам не годна – не мне вас учить, что делать. Сперва вы ему объясняете, что статья дельная, но в ней нужно убрать выводы, которые умный читатель и без подсказки поймет. Автор перерабатывает. Затем вы просите смягчить название и начало, чтобы не было слишком в лоб. А потом немного изменить середину, чтобы статья выражала не только частное мнение, но и мнение газеты. Позиция автора стала более партийной. Теперь вы поручаете опытному правщику дотянуть ее. И мы можем быть спокойны, и у автора не возникнет неприятностей... Шатания, намеки – вещи опасные. К чему привели послабления в чехословацкой прессе? Мы все, конечно, любим Игоря Иваныча, но он, мне кажется, приуменьшал опасность аполитичной критики. К тому же ситуация за время его отсутствия изменилась. В частности, будем давать меньше литературы и искусства, меньше спорта и больше пропагандистских материалов. Зачем нам, к примеру, занимать газетную площадь кроссвордами?

– Это, как спорт, – для увеличения подписки, – сказали Ягубову.

– Пятьдесят процентов почты – решение кроссвордов, – сказал Полищук.

– Простите, – Степан Трофимович извинился тоном обвинителя. – Позволю себе не согласиться. Спорт нужен для обороны страны. А кроссворды? Надо воспитывать вкус читателя, а не идти на поводу. Да если на месте кроссворда будет стоять боевая статья о соцсоревновании – конечно, сделанная с огоньком, – читатель нам скажет только спасибо.

– Верно! – вслух сказал Тавров, подумав при этом: «Хотя слово «однако» запрещено, Ягубов сунулся, однако, не туда. Это его первый промах».

Кроссворды печатались по субботам с фамилиями трех читателей, первыми приславшими решение предыдущего. Содержание кроссвордов было идейно выдержано. Готовили кроссворды, выбирая их из обширной читательской почты, трое стареньких большевиков из «стола добрых дел и советов», существовавшего при газете на общественных началах. О том, что кроссворды пользуются популярностью, свидетельствовали, в частности, ошибки, иногда в них проскакивавшие. Читатели требовали опровержения, грозили сообщить в ЦК. Трудно представить, что было бы, если б в одну прекрасную субботу кроссворд не появился.

«Этот промах свидетельствует, что вы недостаточно знаете газету, Степан Трофимыч, – думал Раппопорт. – Кажется, я вас переоценил. Вы не понимаете, что никаких реформ провести у нас не удастся, потому что мы лишь заводь одного большого болота. Но по неопытности и в поспешности рвения недолго и шею сломать».

– Я уже дал распоряжение секретариату, – продолжал Ягубов, – победителей в решении кроссвордов не печатать. Мало ли кто окажется победителем?! Вы это взяли на заметку, Полицук?

– Взят! – отозвался ответсекретарь.

– Вот и хорошо! – похвалил Ягубов. – Теперь я хотел бы перейти к оргвопросам и трудовой дисциплине. Речь идет, если хотите, о партийности в жизни и быту. Я бы не хотел никого упрекать конкретно, полагаю, что все сотрудники – люди сознательные. Но всем предстоит мобилизоваться.

В кабинете и без того было тихо, а теперь тишина сгустилась, стала урюмее.

«Будет война с Китаем», – подумал Яков Маркович.

– Наша задача – привлекать для газеты ярких, интересных авторов. Но, бывает, самотеком приходят неизвестные люди, никем не рекомендованные. Некоторые из них даже печатаются на первой полосе! Скажем, в отделе комвоспитания подвизается некий Закаморный. Это ученый-неудачник, исключенный из партии, а фактически – тунеядец, проживающий в Москве без прописки. Не слишком ли мы с вами сердобольны, Яков Маркыч?

– Чуть-чуть есть, – уныло усмехнулся Раппопорт.

– Но ведь нам эта сердобольность боком выйдет!.. Знать авторов – просить их заполнить анкеты и лично проверить кто где работает, на каком счету – наша прямая обязанность. Есть утвержденный порядок, сколько процентов рабочих, сколько колхозников, сколько партийных работников должно у нас выступить в течение месяца. На них должно приходиться шестьдесят процентов гонорара. Штатным сотрудникам, которые пишут их статьи, получать за это деньги нескромно...

«Ой-ё-ёй, – засопел Тавров, – вот и еще рискованный шаг! Да если перестать платить за негритянскую работу, кто же станет писать все это дерьмо?! Ох, Ягубов, Ягубов! Опять перегибаете!»

– Кстати, о сердобольности, – Степан Трофимович поднял палец. – Партбюро готовит отчет «стола добрых дел и советов». Не скрою, у нас есть намерение удалить этот придаток редакции. Для удовлетворения жалоб и заявлений трудящихся есть советские и хозяйственные органы. Газета должна выполнять свою основную функцию...

«Опять промах! Уже третий, – подумал с тревогой Яков Маркович. – Но теперь меня не проведешь. Уверен, что и этот вопрос уже получил добро где надо».

– Относительно «стола добрых дел», – продолжал Ягубов, – мы уже вентилировали вопрос у руководства. Нас поддержат... Зачем посторонним лицам, да еще неопрятно одетым, проникать в помещение редакции?

«Стол добрых дел» был детищем Макарецва. В нем работали восемь пожилых юристов, все пенсионеры с солидным партийным стажем. Сюда шел поток посетителей с жалобами и заявлениями, с просьбами помочь. Разбирая эти жалобы, юристы находили темы для выступлений газеты, поднимая пре-

стиж «Трудовой правды» в местных органах власти. К юристам попадал разный люд, в том числе много амнистированных, но не реабилитированных, не могущих из-за этого устроиться на работу, немало оборванных (Ягубов был прав) старух и стариков, хлопочущих о пенсии или жилплощади. Ничего не выпросив в «столе добрых дел», они пытались жаловаться на юристов, добиваясь через Локоткову приема у руководства газеты. Макарецев принимал таких людей, расспрашивал, иногда помогал. Ягубов же составил для Анны Семеновны перечень организаций, куда направлять этих посетителей, разяснив, что он не имеет права тратить время на десятых читателей в ущерб миллионам других.

– Валентин Афанасьич, – Ягубов повернул голову к Кашину. – Что это вы притихли в сторонке? Теперь вам слово!

Кашин поднялся, слегка смутившись, потоптался на месте раненой и с тех пор более нервной ногой, оперся руками на спинку стула, стоящего впереди.

– Значит, так, – сказал он, виновато улыбаясь. – Вопрос дисциплины, конечно, у нас имеется... Сотрудники позволяют себе приходиться на службу позже положенного, уходить раньше, а то и не приходят вообще без оправдательных документов. А где их искать, когда срочно надо? Бывают случаи распития спиртных напитков... Так я говорю, Степан Трофимыч?.. На лица указывать не буду, кто захочет, догадается... С завтрашнего дня в редакции по решению администрации вводится книга ухода и прихода. Если сотрудник с утра, к примеру, на задании, он должен накануне написать куда и кем он послан, когда прибудет. Остальные утром поднимаются к Локотковой и расписываются в книге.

По кабинету Ягубова пронеслось легкое гудение и стихло.

– Дальше... – Кашин опять виновато улыбнулся. – Вводится пропускная система, и все штатные сотрудники при входе и выходе обязаны предъявлять охране служебные удостоверения. Остальные заказывают пропуска по телефону. При выходе пропуск подписывает редактор отдела, проставляя время. А штамп ставит лично секретарь Локоткова, как это принято в других организациях. Еще вот что... Сотрудникам предлагается навести порядок в столах, содержимое которых раз в месяц будет проверять комиссия из трех человек...



– Под руководством завредакцией Кашина, – договорил Ягубов. – Это, товарищи, тоже мера необходимая, так как некоторые забывают, что у них есть партийные документы, которые положено хранить в сейфах.

– И комнаты за собой запирайте, когда выходите, – закончил Кашин.

– Как любит повторять наш главный редактор, – улыбнулся Степан Трофимович, – порядок расширяет мысль.

– Новый порядок... – прошептал Раппопорт, но так тихо, чтобы никто не услышал.

В конце совещания Яков Маркович нервничал, незаметно поглядывая на часы. Ивлев ждет его дома и не может уйти. Возможно, ему там нескучно, но не может же семейный человек не заспешить.

Ягубов между тем оглядел всех, сделал паузу, как бы колеблясь, говорить ли о такой деликатной мелочи, однако решился:

– И еще есть просьба, товарищи. Мы с вами не на стадионе, поэтому попрошу мужчин являться на работу в пиджаках и галстуках, а женщин – в более строгой одежде, чем сейчас. Я имею в виду, так сказать, длину юбок... Будем брать пример с Большого дома. Да, кстати, Кашин. Вот список для явки на это наше совещание. Проверьте, почему некоторых сотрудников нету. У нас в стране, как вы знаете, демократия, а это значит, дисциплина для всех одна: и для членов редколлегии, и для тети Маши. Вывод один: усилим бдительность – к себе и другим.

– Усилим... – пробурчал Тавров, ни к кому не обращаясь, и на этот раз достаточно громко и смело.

Наконец-то всех отпустили, и, оттолкнув двух немолодых сотрудниц, он протиснулся к двери и спустился к себе. Раппопорт бегло оглядел стол, не стал ничего убирать, вынул из шкафа и нахлобучил шляпу, обмотал шею протертым до дыр шарфом и протянул руку за пальто. Пальто на вешалке не было. Яков Маркович с удивлением оглядел вешалку, посмотрел вниз (может, упало?), заглянул за шкаф. Он даже не выругался, настолько был изумлен.

По коридору расходились с собрания. Останавливались, чтобы договорить, и скрывались за дверями.

– Коллеги! – завопил Тавров проходящим. – Не видели, кто заходил в мою комнату? Пальто мое, понимаете ли, тю-тю!

– А хорошее пальто?

– Не столько хорошее, сколько единственное.

– Я бы такое пальто не украл, – сказал Алексеев. – А если бы у меня украли, только радовался.

– Но у меня же нет другого, – растерянно моргал Яков Маркович.

– Что за день сегодня – с утра до вечера радуют новостями! – проговорил замсекретаря Езиков, вращая маленькой головкой на длинной шее. – А почему у тебя нет другого? Намечаешь на то, что гонорары все время урезают?

– Ватник, правда, есть, в котором я из лагеря вернулся...

– В ватнике тебя в ЦК не пустят.

– Как же я без пальто на холод? – приуныл Яков Маркович. – У меня ведь спина болит!

– Это она в преддверии субботника, – не унимался Езиков.

– За субботник ты, Тавров, получишь премию – на нее купишь новое пальто.

– Не купит, – возразил Алексеев. – Премия – не больше пятидесяти рубчиков. А Рапу ее с Лениным пополам делить надо. Идея-то субботника обоим пришла!

– Шучу я и сам, Петр Федорыч, – сказал Раппопорт. – А пальто нету!

– Больше ничего не украли? – сообразил Езиков. – Ну-ка посмотри! Они втроем вошли в комнату.

– Портфель! – крикнул Яков Маркович.

– Ну вот! А ты пальто, пальто! Что там у тебя ценного?

Обычно у Якова Марковича в портфеле всегда лежало кое-что почитать не для посторонних. Он сразу подумал об этом. Но сегодня, к счастью, ничего такого не было. Хорошо еще, папку в кабинете Макарецва он не нашел!

– Ценного? Да так... Ничего...

Яков Маркович недавно купил в киоске свежие речи вождей и собирался нарезать их для своего конструктора. А потом решил эту книгу оставить как историческую реликвию – последнее воспоминание о коллективном руководстве. Носил он ее всегда в портфеле на тот случай, если портфель где-нибудь забудет, чтобы перекрыть другое, бесцензурное. Книгу эту он

вынимал в метро, а в редакции клал на стол, чтобы все посторонние видели название. И вот книга осталась на столе, а портфель украла.

– Надо сообщить Кашину, – решил Алексеев. – Пускай заявит в милицию. Что творится! Не помню такого, хотя в редакции с сорок пятого года. А вот и Валентин Афанасьевич. Легко на помине!

В комнату заглянул Кашин, подтянул отстающую ногу, тихо прикрыл за собой дверь, улыбнулся.

– Что тут у вас случилось?

– Пальто и портфель, – Тавров развел руки, не продолжая дальше.

– Ясенько! – кивнул Кашин. – Прошу ко мне...

Из своего кабинета он вынес портфель Якова Марковича и пальто, аккуратно сложенное подкладкой наружу.

– Что за спектакль, Валентин?

– Спектакль? Вы систематически оставляете отдел незапертым. А я – материально ответственное лицо. Почему же вы не хотите беречь собственное имущество?

– От кого беречь, Валентин? Что за идиотские установки?

– Установки не мои, Яков Маркыч. Я ведь исполнитель. А уж какие они – не мое дело. Хотите – жалуйтесь.

– И пойду! Не пойдешь – тебе сядут на шею!

Яков Маркович решительно взял из рук Кашина пальто и портфель и в гневе направился прямо в кабинет Степана Трофимовича.

Анна Семеновна, заметив Таврова, бросилась ему наперерез.

– Разве Ягубов вас вызывал?

– Он – меня?! – не понял Раппопорт.

Анечка понизила голос.

– Ягубов приказал пропускать к нему только тех, кого он сам вызвал...

– Еще чего он придумает?!

Раппопорт оттолкнул Анну Семеновну и решительно рванул двери ягубовского кабинета.

– Вот! – крикнул он с порога, показывая Ягубову пальто и портфель.

– Что случилось, Яков Маркович? – с готовностью спросил Ягубов.

Он стоял у окна, держа в одной руке блюдечко, в другой чашку с чаем. Отхлебнув глоток, поставил чашку на блюдце.

– Безобразие! – заявил Раппопорт. – Форменное безобразие!

– Успокойтесь, – Степан Трофимович поставил чашку на подоконник, вынул из кармана чистейший носовой платок, вытер губы. – Призыв к бдительности – общее распоряжение по редакции и касается всех сотрудников, в том числе и меня, и вас. Скажите спасибо, что это сделал Кашин, а не посторонние.

– А просто сказать он не мог? Не мог? – жаловался Раппопорт. – Сегодня вещи берет, а завтра будет шарить в карманах?

– Ну, не думаю, – усмехнулся Ягубов. – В карманы он, вероятно, не заглядывал. Впрочем...

– Что впрочем?

Ягубов заколебался. «Впрочем, если вам не нравится работать в «Трудовой правде», редколлегия и партбюро, я думаю, пойдут вам навстречу...» Нет, Макарецва такой шаг рассердил бы, да и в горькоме, и в ЦК найдутся люди, которым Раппопорт пока еще нужен для подготовки докладов. Если бы он не был уверен в своей силе, он не стал бы говорить со мной в таком тоне. Услышав «впрочем», Яков Маркович понял, что Ягубов хотел сказать. «Он меня ненавидит, это ясно. Но теперь я ему скажу что я о нем думаю. Мне терять нечего!»

– Так что же – «впрочем»? – решительно повторил Яков Маркович, израсходовав на этот вопрос весь запас гнева.

– Впрочем, – после некоторого размышления произнес Степан Трофимович, – Кашин погорячился... У всех есть свои слабости. Вот и вы тоже нервничаете. А зря!

– Зря? – Раппопорт сменил гнев на жалобу. – Да как же я могу работать в условиях, когда меня не уважают как человека. Может, кому-нибудь не нравится мой пятый пункт? У нас в редакции раньше этого не ощущалось...

– А разве сейчас есть? – рассмеялся Ягубов. – Или вы имеете в виду конкретно меня? Подумайте, Яков Маркович, неужели мы, партийные работники, можем быть антисемитами? Для нас главное – убеждения. Мы с вами, хотя и разных национальностей, но в одном лагере, так ведь? Хотя отдельные ваши соплеменники и плохо рекомендуют себя.

– А кто делал революцию?

Ягубов не ответил. Евреи участвовали в революции, но для чего? Раппопорт просто не знает последних веяний наверху. Они шли в революцию, чтобы захватить власть и начать последовательно насаждать в России сионизм. Хорошо, что партии и Сталину удалось вовремя пресечь эту опасную тенденцию. Но до конца довести эту линию пока не удалось. Не фашизм опасен для человечества, а евреи. Они рвутся к власти, и в США им это уже удалось. Они хотят править миром. И поскольку коммунисты выражают интересы всех народов, наша историческая миссия – спасти человечество. Так что антисемитизм в целом, если его понимать с прогрессивных позиций, – это гуманная политика в интересах передового человечества. Между нами говоря, Маркс портит всю историю коммунистического движения. Ее теперь, по существу, приходится начинать с Ленина и не лезть в глубокие дебри средневековья.

– Революцию делали не только евреи, Яков Маркович, – вежливо улыбнувшись, заметил теперь Степан Трофимович. – Должен сказать, что я лично не люблю только тех евреев, которые борются по другую сторону баррикады. Но не люблю я и таких французов, англичан, испанцев и даже русских. Я думаю, что и вы, Яков Маркович, не любите таких?

– Разумеется, – поперхнулся Раппопорт. Наконец-то он понял, что нужно заткнуться, ибо в любом случае прав будет Ягубов. И вообще, Яков Маркович устал, и у него болел живот от голода. – Я, Степан Трофимыч, только потому обижен, что я же член партии с тридцать четвертого года!

– Знаю! – Ягубов решил полностью отвести от себя подозрения. – И поверьте, люблю евреев, и у меня есть друзья-евреи. Есть партийцы, которые считают: евреи трудолюбивей и настойчивей. Они быстрее пробиваются и занимают все ответственные посты. Ведь так уже было в тридцатые годы! Разве это правильно, если русскими будут управлять евреи? Странники такой точки зрения спрашивают: а что, если бы у них в Израиле правили русские? Еще раз повторяю: это некоторые так считают, я с ними решительно не согласен!.. Давайте я помогу вам одеться, Яков Маркович.

Ягубов взял из рук Раппопорта пальто и, раскрыв его, держал, ожидая, пока Тавров суетливо просовывал руки в рукава.

Яков Маркович был на голову выше и значительно толще. Зато Степан Трофимович был спортсменом.

– Между прочим, – вспомнил Ягубов, – я давно собирался с вами посоветоваться... Мне тут предложили написать диссертацию в Высшей партшколе. Тема: «Роль печати в коммунистическом воспитании трудящихся по материалам газеты «Трудовая правда». Это ведь близкая вам тема. Не будете возражать, если я к ней прикоснусь?

– Почему я должен возражать?

Яков Маркович понял, что за неувольнение ему придется написать Ягубову диссертацию.

– Не откажетесь помочь подобрать кое-какие материалы? От работы я вас на это время освобожу.

– Ленин сказал: «Партия – это взаимопомощь», – процитировал Яков Маркович.

Эти слова Ленина он придумал сам только что.

– Вот именно! – подтвердил Ягубов. – Значит, договорились.

Продолжая стоять посреди кабинета, Степан Трофимович вдруг подумал: не провоцировал ли его Раппопорт разговором на высказывания? Не исключено, что он был осведомителем в лагерях, и нить тянется за ним. А сейчас, когда руководство газетой передано ему, Ягубову, органы не прочь поинтересоваться. Он вспомнил весь разговор и пришел к выводу, что ничего лишнего не сказал.

Токая по коридору, Яков Маркович размышлял о том, что Ивлев клянет его на чем свет стоит и теперь ничего не остается, кроме как разориться на такси.

– Я извиняюсь, вы – Тавров?

Перед ним вырос мордастый молодой грузин в клетчатом пальто, большой замшевой кепке и игривом шелковом шарфике с цветочками.

– Ну, – сказал Раппопорт. – Я невероятно спешу!

– Дело в том, – продолжал молодой грузин с тяжелым акцентом, – что меня зовут Зураб Макашвили. Мне надо сказать вам несколько слов. Зайдем в комнату, дорогой!

– А здесь нельзя?

– Нет, здесь никак нельзя! Я долго не задержу.

– Что, насильник? – спросил Яков Маркович, входя в свой отдел.

Комната была открыта, он ушел бы, опять забыв ее запереть.

– А вы точно Яков Маркович?

– Клянусь покойной матерью. Дальше!

Зураб тщательно затворил дверь, расстегнул пальто, пиджак и вынул прижатую ремнем брюк к животу серую папку. Яков Маркович сразу узнал ее, ту самую папку, которую показывал ему Макарец и которую он сегодня утром безуспешно искал у него в кабинете. Морщины у Таврова углубились, губы сжались. Он пытался не показать вида, что узнал папку.

– Что это за бухгалтерия?

– Не узнаете?

«Влип. Влип совершенно глупо, не по своей вине. Пока буду все отрицать, отрицать до последнего. Только бы не били по позвоночнику. Этого второй раз я не перенесу, расколуюсь, утоплю всех...»

– Понятия не имею, – глухо сказал он.

– Не волнуйтесь, я вам объясню, – сказал Макашвили.

– Сашка Какабадзе – мой старый друг, мы с ним сидели на одной парте до четвертого класса. Вчера я позвонил ему и сказал, что прилетел из Тбилиси в командировку на одни сутки утвердить проект, и он вечером приехал ко мне в гостиницу «Россия». Я всегда останавливаюсь в гостинице «Россия»: кладу в паспорт двадцать пять рублей – и никаких забот! Саша приехал, мы немножко выпили чаи, и он мне показал эту папку. Он сказал, что у вас в редакции все ее читают с большим интересом. Я попросил оставить мне ее на ночь, но утром он мне не позвонил. Мне надо улетать в Тбилиси. Я искал его весь день – дома он не ночевал.

– А при чем тут я? – спросил Раппопорт, несколько успокоившись, но все еще осторожно.

– Вы? Он мне вчера рассказывал про субботник – я очень смеялся. Он показывал мне фотографии: профессора из какого-то института скалывают лед возле шашлычной. Это годится для любой китайской газеты. Вы – гений, Яков Маркович! Саша вас очень хвалил.

– Что еще он клеветал?

– Меня не надо бояться, Яков Маркович. Зураб Макашвили – могила, ясно? Я их ненавижу! Вот скажите, как вы относитесь к Сталину?

– Видите ли, Зураб, я должен уважать ваши грузинские чувства...

– Бросьте! Сталин был подонок, фашист! Он вырезал три четверти нашей семьи только за то, что мой дедушка кое-что знал. Они учились вместе в духовной семинарии. Дедушка был коммунистом, а Джугашвили они звали «кинто».

– Что это – кинто?

– Кинто? Бродяга, подзаборник... Мой дедушка хоронил его мать, она умерла перед войной. «Кинто» даже не приехал ее проводить. Грузин так не может поступить! Так что Зураба Макашвили не надо бояться. Где же Сашка? Говоря по секрету, он взял эту папку у редактора... Как бы не хватились...

– Вы – наивный провинциал, – пробурчал Раппопорт. – Ладно, черт с вами, давайте!

## 42. ДОМА У РАППОПОРТА

Когда все уселись и Ягубов постучал карандашом по столу, начиная совещание, Ивлев и Сироткина сидели в такси. Вячеслав позвонил Надежде сразу после звонка Раппопорту.

– У меня есть ключ, – сказал он ей. – Смыться можешь?

– Сейчас?

– Естественно...

– А совещание у Ягубова?

– Авось, не заметят. А заметят – у тебя болел зуб. В общем, я сижу в такси – в двадцати шагах от редакции.

Теперь они ехали, и Надя не спрашивала куда. Он позвонил, и вот она с ним. Таксист ехал быстро, дергал и резко тормозил. На поворотах Надя хваталась за ивлевское колено, чтобы не улететь в сторону, потом смущенно убирала руку. Но едва отодвинувшись, она успокаивалась, потому что он всем этим мелочам, казавшимся ей такими важными, не придавал никакого значения.

– Измайлово? – удивилась она, выглянув в окно, будто рассчитывала, что он везет ее на остров Фиджи. – А ты обедал?

– Голодный кобель, – сказал он, усмехнувшись ее логике.



– Тогда надо купить поесть.

– И выпить... Старина! – обратился Ивлев к шоферу. – Останови возле гастронома!

В магазине Надя встала в очередь в кулинарию, а Ивлев – в винный отдел. Встретились они у выхода. Сироткина держала в руке ромштексы, а он – четыре бутылки пива.

– Теперь хлеба, – сказала Надя и продолжила с немецким акцентом. – Русские любят очень много хлеб...

Они зашли в булочную.

– А масло? Там, куда ты меня везешь, масло для ромштексов найдется?

Они проехали еще два квартала.

– Не суетись, я заплачу, – она вытащила из сумочки трешку.

Ивлев поставил возле двери бутылки и долго ковырялся, не зная в какую сторону поворачивать ключ, и оглядывался, не идет ли кто по лестнице. Наконец, они вошли в коридор. В темноте перед ними засветились две пары зеленых глаз.

– О Господи! Хорошие вы мои!

Две кошки, одна серая, другая черная, потеревшись у Надяных ног, охотно забрались к ней на руки, и Сироткина вошла с ними в комнату. Вошла она осторожно, будто боялась обнаружить там кого-нибудь еще. Убедившись, что никого нет, Надежда двинулась вдоль стен, как в музее, разглядывая фотографии, книги на полках, посуду в серванте. На книгах лежала пыль, на тарелках тоже.

– А хозяйничать можно? – спросила она.

– Делай что хочешь.

Ивлев с деловым видом направился к шкафу.

– Ай-яй-яй! – покачала головой Надя. – В чужих вещах рыться...

– Выполняю приказ, – объяснил Вячеслав и извлек из шкафа чистую простыню.

Сироткина, стараясь не оскорбляться этой мужской деловитостью, склонилась над газовой плитой. Аккуратно покрыв тахту простыней, Ивлев придвинул журнальный столик и постелил на него «Трудовую правду». Надежда внесла сковородку с дымящимися ромштексами, нарезала хлеб на тарелочке, взбила какой-то соус, поставила два стакана, положила, протерев салфеткой, ножи и вилки. Кошкам она опустила на пол об-

щую тарелку, отрезав им по кусочку мяса, и глазами пригласила к столу Ивлева.

– Сперва разденься, – попросил он.

– Совсем?

– Совсем.

– Стыдно! Что кошки о нас подумают? И вообще, сперва – ты!

Она подождала, пока он снял пиджак, повернулась на каблучках, ушла в кухню. Вячеслав вдыхал аромат ромштексов, от которого у него начала кружиться голова.

Сироткина явилась из кухни в сапогах на босу ногу и остановилась в дверях, любуясь произведенным эффектом. На тонкой цепочке свисал, укладываясь в паз между грудей, маленький серебряный крестик. Ивлев осматривал ее постепенно, не в силах отвести глаз. Наконец, она, ощущая свою власть, великодушно снизошла к нему. Он взял ее за пальцы и усадил на тахту рядом с собой. Она едва заметно дрожала от него или от холода.

– Пиво! – вспомнил он. – Где пиво?

Пиво они забыли на лестничной клетке.

– Пол холодный, простудишься!

Ивлев выскочил в коридор и, прислонив ухо, прислушался. За дверью было тихо. Он отпер замок и выглянул. Никого. И пиво на месте. Слава радостно схватил в каждую руку по две бутылки и голой пяткой затворил за собой дверь.

– А если бы дверь захлопнулась? – она сощурила глаза.

– Ты бы впустила.

– И не подумала бы! Лежала бы на тахте с кошками и ждала хозяина.

Открывая бутылку, он молчал, ухмыляясь, а открыв, резко плеснул в Надю, облив ее пивом крест-накрест.

– Псих! – захохотала она, инстинктивно прикрываясь руками. – Ненормальный! Обои испортишь.

– А тебя?

– Меня ты уже...

Он отпил немного, еще раз плеснул в нее пивом, поставил бутылку на пол и упал на Сироткину, собирая языком с ее кожи капли горьковатой пенистой влаги.

– Делай со мной что хочешь! – проговорила она. – Все, что хочешь, только скорей!

Она изо всех сил старалась помочь ему и вдруг, забыв о нем, задрожала, замотала головой, заметалась по тахте, изогнувшись и откинув голову назад, издала гортанный крик, похожий на птичий.

Она быстро стихла и, полежав несколько мгновений, убрала слабой рукой волосы, закрывшие ей глаза, и виновато потерлась носом о щеку Ивлева.

– Что это я?

– Ты молодец! – похвалил он ее снисходительно.

Она усмехнулась еле-еле, как больная.

– Теперь я женщина? – спросила она, не открывая глаз, и сама ответила. – Да, женщина!

– Настоящая женщина, – удостоверил он. – Могу выдать тебе диплом.

– Не надо себя связывать.

Они сели и стали уничтожать жесткие, как резина, ромштексы, запивая их пивом. Сироткина отрезала куски от своей порции и незаметно подсовывала ему.

– Как хорошо на простыне и одним, – сказала она. – На стекле тоже, и с этим парнем на соседней кровати ничего. Но на простыне одним лучше... Мне стыдно от того, что я тебя совершенно не стесняюсь. Знаешь, я поняла, что такое любовь. По-моему, любовь – это обнажение души.

– И тела тоже...

– Я знаю, чья это квартира, – она указала на конверт с адресом, лежащий возле тахты.

– Он называет ее пеналом: узкая и длинная...

– По-моему, ты засыпаешь.

– Я ночью летел к тебе.

– Знаешь, поспи, а я пойду в ванную.

Мгновенно расслабившись от того, что не надо быть вежливым и внимательным, Вячеслав уснул, как провалился. Кошки дремали на коврикe на полу. Войдя в маленький совмещенный санузел, Сироткина вздохнула, погляделась в зеркало и осталась собой недовольна. Открыв краны и отрегулировав воду, она забралась под душ. Повернувшись спиной к зеркалу, она увидела на крючке старые кальсоны Якова Марковича и стыдливо отвела глаза. Но заметила серые выцветшие буквы и осторожно двумя пальчиками расправила, чтобы прочесть. На зад-

ней их части стоял штамп, гласивший: «ГУЛАГ МВД СССР. Карлаг, больница №1».

Поскольку полотенце оказалось сомнительной свежести, вытираться Надежда не стала. Ивлев спал, раскинувшись по диагонали. Она тихонько пристроилась возле него.

– Он очень симпатичный, Яков Маркыч, – сказала она ему в самое ухо. – У него в уборной наклеены на двери счастливые номера «Спортлото»: 13, 19, 25, 31, 41 и 49.

– Дуреха, – пробурчал Ивлев сквозь дрему, – это волны Би-би-си.

– А где его жена? Я никогда о ней не слышала...

– Три года назад мы ее отсюда вынесли. В больницу ее не брали, чтобы не увеличивать процент смертности от рака.

– У него много книг. Какие?

– Тебе все надо знать! Он собирает партийную литературу, в основном старую, изъятую из библиотек. Роемся у старьевщиков, меняет на модные издания.

– Зачем?

– Наверно, ему интересно.

– Можно, я открою книжный шкаф?

– Нельзя. Он не любит, когда книги трогают.

– А почему он пишет такие трескучие статьи? Читать невозможно.

– Он и не читает. Он их склеивает.

– А о других он думает, когда склеивает? Он же этому не верит.

– А ты – веришь? – Ивлев внимательно посмотрел на нее.

– Я-то? Я – другое поколение! Мне хоть стыдно. А ему – нет!

– Откуда ты знаешь?!

– Ему? Ему не стыдно! У него ирония. Ирония – это равнодушие, я где-то читала.

– А у меня чувство вины перед Рапом. Подумай: я учился в школе, трепался о смысле жизни, поступил в МГУ – он сидел. Я любил – он сидел. Эти люди отсидели свое, мое, твое, наше – за всех. У Рапа нет сил, он устал.

– И стал прислужником? Рап – раб. Раб по убеждениям!

– Глупенькая! Раб на цепи – это не прислужник. Попробуй сама пойти наперекор!

– У меня короткий ум, бабий. Я могла бы только помочь другому. Кто горит... Уголек пошел через реку... Хочешь, буду соломинкой? – она встала и босиком подошла к нему, уткнулась лицом в грудь. – Иди по мне...

– Уголек сжигает соломинку и тонет. Сгоришь!

– Ну и пусть! Под тобой сгореть не страшно.

И Сироткина поцеловала его в шею.

Вячеслав дотянулся до брюк, вынул ремень и, надев его на Надю, затянул пряжку у нее на животе. Она молча следила за его движениями.

– Разве так красивее?

– Не в этом дело! Будет за что держаться... Он притянул ее за ремень к себе.

– А это что? – немного погодя спросил он, отодвинувшись, впервые заметив у нее на животе небольшой, ладно зашитый рубец.

– Аппендицит. Некрасиво?

– Красиво! – он стал целовать шов.

– Странно, – задумалась она. – Странно, что ты меня любишь после... Или ты для вида? Тогда не надо. Я уйду.

– Боишься увидеться с Рапом?

– Не хочу, чтобы видел тебя со мной.

– Чепуха!

Ивлев лежал на диване и читал. Надя, чтобы не надоедать ему, оделась, села в кухне на табуретку и курила сигарету за сигаретой. Раппопорт позвонил в дверь, и Надя ему отворила.

– Разве я сомневался, что у Ивлева хороший вкус?

– Спасибо, – вежливо ответила она.

– По-моему, пахнет жареным, – весело сказал Тавров, проходя в комнату в сопровождении обеих кошек, которые встретили его в коридоре и вились вокруг.

Рап втягивал воздух большим ноздреватым носом.

– Сейчас приготовлю, Яков Маркыч. – Надежда обрадовалась, что у нее нашлось дело, и побежала на кухню. – Мужики – чревоугодники!

– Чревоугодники? – переспросил Раппопорт. – Ивлев, вас оскорбляют!

– Ну конечно! – щебетала Сироткина. – Вам бы только пожрать да женщину...

– А еще лучше, – мечтательно произнес Раппопорт, проходя на кухню, – пожрать и поговорить! Надежда юношей питает, отраву старцам подает. Правильно сделали, котятка, оставив мне пожрать!

Сев на тахту, он тихо, чтобы не было слышно Наде, прибавил Ивлеву:

– За амортизацию оборудования надо платить пивом! Хотя пива мне никак нельзя! А почему вы не спрашиваете, что было на собрании?

– Ян Жижка, чешский герой, требовал, чтобы после смерти его кожу натянули на барабан. – Ивлев прищурился. – Не иначе как Ягубов решил натянуть кожи не только у чехов, но и у нас!

– Да, новая метла чище метет, – сказал Раппопорт. – Закоморному не дал печататься. Придется его деньги выписывать на других. Гайки затягиваются, ребятки.

– Что Макарецв, что Ягубов – оба сталинские соколы!

– Боюсь, Славик, разница есть: один действительно сталинский сокол, а другой-то – сталинский ворон.

– Оба хороши...

– Ну, первым выдающимся нацистом был, как известно, Иван Грозный, – проговорил Яков Маркович. – Когда русские захватили Полоцк, там обнаружили евреев. Спросили царя, как с ними быть. Он велел: «Обратить в нашу веру или утопить в реке». Для простоты дела утопили...

– Ох уж эти евреи! – сказал Вячеслав. – Основали христианство, сочинили коммунизм. Зачем? Протест у них в крови. И сами потом страдают.

– То ли дело москвиты! – в тон ему продолжал Раппопорт. – У меня за стенкой пять лет назад умер сосед. А фамилия на дверях – висит. Новому жильцу все равно. Апатия...

– Надя, пора! – сказал Ивлев, когда Сироткина поставила перед Раппопортом дымящийся ромштекс и пиво. – Поговорить и на работе можно...

Сунув в рот кусок хлеба, Яков Маркович вскочил и, жуя, помог Надежде надеть пальто.

– Ну и как в моем склепе?

– Я здесь была счастлива.

– Деточка... – вздохнул Яков Маркович и продолжать не стал. – Между прочим, ребятки, Какабадзе пропал.

– Как?! – с тревогой прошептала Надя. – Он на съемке. Или в командировке...

– Э, нет... Заходил его приятель. Саша ушел от него ночью и домой не добрался.

– Подумаешь! – сказал Ивлев. – Перепил и недоспал...

– Он так не пьет.

– Утром выясним у Светлозерской, – успокоил Ивлев. – Пошли!

– Почему у нее? – удивилась Надя.

– Не задавай глупых вопросов!..

Раппопорт затолкал в рот кусок мяса побольше и по ломтику бросил кошкам. Они забрались к нему под бок, пригрелись, замурыкали. Он вытащил из портфеля тяжелую серую папку. Открыл и, продолжая жевать, начал неторопливо перечитывать «Россию в 1839-м», сочинение маркиза де Кюстина, заеда маркиза ромштексом и запивая вредным для своей печени пивом. Но поскольку сочинение это было еще более вредным, опасность пива уменьшалась. Тавров жевал медленно, лениво, наслаждаясь запретными пивом и чтением, а также пока еще разрешенной тишиной.

## 43. СВЕТЛОЗЕРСКАЯ МАРИЯ АБРАМОВНА

### ИЗ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

*Старшая машинистка машинописного бюро «Трудовой правды».*

*Девичья фамилия Пешкова, фамилия по первому браку Вередина, по второму браку Грязнова, по третьему Светлозерская.*

*Родилась 9 ноября 1934 г. в городе Балахна, Горьковской области.*

*Русская. Социальное происхождение – крестьянка. Беспартийная.*

*Образование незаконченное (шесть с половиной классов).*

*К судебной ответственности привлекалась первым бывшим мужем Верединым и вторым бывшим мужем Грязновым за отказ дать развод. (Привлечение к суду по гражданскому иску в анкете можно не указывать. Примечание завредакцией Кашина В.А.).*

*Родственников за границей и внутри не имеет. Муж – Светлозерский Альфред – старшина-сверхсрочник Внутренних войск МВД. В браке фактически не состоит. (Записано со слов. – Кашин В.А.).*

*Выполняемая работа с начала трудовой деятельности: доярка комсомольского призыва «Все на фермы!». Машинистка штаба в/ч 60307 Внутренних войск МВД. Дворник-машинистка газеты «Красная звезда». Машинистка «Трудовой правды» – по настоящее время.*

*Военнообязанная. Состав – рядовой. Годна к нестроевой службе. Военный билет ШН 3 №812467.*

*Прописана временно (сроком на 6 мес.) по адресу: гор. Киржач, Владимирской области, дом Грязновой. Действительно проживает: 123826 Москва, Ново-Хорошевское шоссе, 27, кор. 2, кв. 44. Тел. 255-21-54.*

## СТУПЕНИ СВЕТЛОЗЕРСКОЙ

Она пришла по объявлению, что требуется машинистка, и завредакцией Кашин оформил ее без рекомендаций, забыв даже в приказе указать месячный испытательный срок. О такой решительности и смелости Валентина Афанасьевича можно было только строить догадки.

А получилось так. Она открыла дверь маленького кашинского кабинетика и замерла на пороге, держа за спиной сумочку. Кашин вопросительно на нее посмотрел, но она молча дала ему возможность разглядеть ее, стоящую напротив окна, получше. Не шибко красивое, слишком грубо слепленное и простоватое лицо с излишне сплюснутым носом и маленькими, как их ни подводи, глазами, лишь слегка компенсировалось светлой и безмятежной улыбкой. Но фигура! Назвать ее Венерой – значило бы обидеть, поскольку Светлозерская имела основания для демонстрации собственного стандарта красоты. Фигура ее, от ног до шеи, дышала здоровьем, гармоничной отточенностью линий и неповторимым сочетанием неподкупного целомудрия с немедленной готовностью. Сдержанный Кашин глотнул воздух и чуть не захлебнулся. Он просто присох к ней, заставил себя глянуть в окно, но то и дело пробегал глазами по вошедшей сверху вниз и снизу вверх и снова как бы равнодушно отворачивался. Теперь, после паузы, поняв, что она победила, Светлозерская скромно произнесла:



– Я машинистка, по объявлению...  
– Вы где работали? – Кашин использовал вопрос, чтобы более основательно прогуляться глазами по вошедшей.  
– В газете «Красная звезда».  
– А почему хотите перейти?  
– Мне ваша газета больше нравится.  
– А зарплата?  
– Девочки сказали, такая же...  
– Ну, что же? – заведующий редакцией вскопился со своего места значительно проворней, чем обычно. – Сделаем так: садитесь за мой стол, заполняйте анкету.

Присев на край стула, Светлозерская протянула вбок длинные ноги. Валентин подошел к аквариуму так, чтобы ему было видно эти ноги и выше, и начал сыпать рыбкам корм. Они устремились к его руке.

– Ой, какая прелесть! – она хлопнула ресницами от радости.

– Это верно, – согласился польщенный Кашин.

Он плохо умел переходить с женщинами с официального языка на личный; а с личного на интимный – и еще того хуже. Красивых женщин он панически боялся, терялся и краснел. Отсюда он делал вывод, что некрасивых добиться легче. Лицо у новенькой было некрасивое, и завредакцией мгновенно решил, что это очень удачно: с одной стороны, она ему понравилась, а с другой – она некрасива. Стало быть, не будет чересчур много о себе воображать и оценит глубину будущего чувства его, Кашина.

– Так-с, – он взял анкету и ходил вокруг, время от времени поглядывая то в анкету, то на Светлозерскую. – Значит, Мария Абрамовна?..

– Только по паспорту, – строго сказала она. – Я прошу, чтобы меня все звали Инной.

– Почему, Маша?

– Никаких Маш! Имя Маша я терпеть не могу, Мария – тем более, а за Марусю просто готова глаза выцарапать, – она с улыбкой показала, как она это сделала бы. – Я и с мужем-то последним разошлась частично из-за этого.

– Хорошо. Пусть Инна... – он вдруг придумал ход и доверительно склонился. – Сделаем так: я эту тайну оставлю в

сейфе, возьму грех на душу, как ответственный за кадры... Только вот отчество у вас странное... для русской...

Инна, как впоследствии выяснилось, очень любила, когда ее принимали за еврейку. Была она патриархальной славянской, и от имени ее отца Абрама Пешкова, дальнего родича великого писателя Алексея-Максима Пешкова-Горького, ничем не веяло, кроме православной волжской дремучей старины. Инна привезла с Волги русые волосы, стянутые в старомодный узел, который ей шел, и хромоту оканья, которую евреям, при всей их переимчивости, освоить не дано.

Зацепок в анкете Светлозерской было более чем достаточно, но Кашин уже так настроился ее взять, что некоторые изъяны (например, неудачливую семейную жизнь) оценил как плюс лично для себя, а другие (вроде отсутствия московской прописки) принял как выгодный шаг для последующего. Он, Кашин, сможет пробить ей прописку, если она хорошо себя зарекомендует.

У Инны-Марии была своя причина временной прописки во Владимирской области. Решив развестись со своим вторым мужем Грязновым, она начала новую жизнь и приехала в столицу. Тут, на улице Горького, Инна приняла свою излюбленную позу статуи современной Афродиты с сумочкой за спиной. К ней сразу стал клеиться итальянец, вышедший с Центрального телеграфа, как оказалось, технический представитель фирмы «Оливетти», заключившей контракт на поставку специальной мебели для ЦК КПСС. Инна встречалась с Альдо у него в номере гостиницы «Берлин» дважды в неделю в течение трех месяцев, и хотя он плохо говорил по-русски, а Светлозерская ограничивалась в итальянском одним «чао!», она чувствовала, что он открыл ей мир страстей, до этого никем ей не объясненный. Инну взяла на учет служба внешнего наблюдения. Прошлого у нее не было, итальянец поставлял оборудование в ЦК, и обижать его не было указаний. Предполагалось, что после его отъезда Инна будет встречаться с другими иностранцами. И тогда органы решат, что с ней делать. Но едва Альдо уехал, Инна из Москвы исчезла.

Появилась она в Киржаче, под Владимиром, в доме матери Грязнова. Тут она родила итальянцу сына, честно все сообщив грязновой матери. Бабка, однако, привязавшись к мальчику,

немедля после отъезда бывшей снохи ухитрилась в местном ЗАГСе черноволосого худенького мальчика усыновить за поднесенную курицу и два десятка отборных яиц. А с Инны теперь в каждый ее приезд требовала денег только на поддержание временной прописки, за которую надо давать взятку трояк в месяц участковому оперу.

Освободившись от итальянца и его ребенка, Инна не могла найти себя, и от скучности окружающей ее действительности согласилась выйти замуж за сержанта-сверхсрочника Альфреда Светлозерского: его имя напоминало ей Альдо. Других точек соприкосновения не нашлось. Долго возле него продержаться она не смогла. Он был ей физически противен, а его глупые шутки заставляли ее морщиться, будто от зубной боли.

Она уехала в Москву, решив начать сызнова, и устроилась машинисткой, числясь на должности дворника, так как только на эту должность ее взяли без прописки. Работала она в окружении таких же туповатых, как ее последний муж, полувоенных-полужурналистов. Она продолжала одеваться в шмотки, подаренные ей Альдо, и от офицеров не было отбою. В газете ей нравилось, но хотелось более интеллигентного окружения. В расцвете своих физиологических сил она очутилась в «Трудовой правде».

В машбюро говорили только о тряпках и мужчинах, а в перерывах между разговорами печатали. Языкастая умница Светлозерская прижилась сразу. На вопрос, сколько у тебя, Инна, было мужчин, она немедленно ответила вопросом: «Когда? Сегодня?» Ибо до вчерашнего дня у нее был в жизни четыреста восемьдесят один мужчина. Первые сотни имен стали выкрашиваться из памяти, но счет не нарушался.

– С какой стороны ни глянь, у Инки фигура – лучшая в редакции, – говорили машинистки с гордостью. – Жаль, нельзя голой ходить. Любая одежда, даже импортная, такую фигуру только портит.

– Не портит! – успокаивала их Светлозерская. – Если сразу раздеться, то и пообещать нечего. А если мужик выпил, что ему ни подложи, все красиво. Так что, девки, не расстраивайтесь!

С такой житейской мудростью, да получи она хоть плохонькое высшее образование, Светлозерская могла бы шаг-

нуть ой как далеко! Так считали ее подруги. Но сама она уговаривала – не столько их, сколько себя:

– Да что вы, девахи! Мне не отсутствие диплома препятствует, а то, что я женщина: гормон так и прет.

– А у мужика разве не прет?

– Прет, да после отдых дает, – отстаивала свою точку зрения Инна. – А у нас без перерыва! Если б не гормон, я бы такие высоты взяла!..

В «Трудовой правде» ей поручали самую ответственную работу. Грамотность у нее была природная – откуда же ей взяться с шестью-то классами с половиной? А скорострельность выше всяких похвал, и пальцы никогда не болели, и не бюллетенила никогда, даже после абортв.

– Самые несчастные люди в редакции мы, машинистки, – философствовала она. – Мы должны вдумчиво переписывать двумя руками ту белиберду, которую в отделах, не задумываясь, строчат одной правой.

Жила Инна небедно за счет халтуры. Между делом она успевала пропустить в день две-три левых статьи. Из Балахны, из своего детства, она привезла умение гадать на картах, которое вдруг с тайным интересом потянуло к ней женщин. Она гадала всем – у всех были несчастья или неопределенные ситуации. Все мужчины в редакции от Макарецва до алкашей-печатников в цехах были перегаданы сотни раз, распределены по королям и валетам, скрещены с разными дамами. Много зная, Инна могла злоупотребить чьим-то доверием, но никогда этого не делала. Мужская часть редакции называла ее «своим парнем», хотя все меньше оставалось таких, кто лично не убедился, что она женщина.

#### 44. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

Утром Ивлев первым делом забежал к Светлозерской. Увидев его в дверях, она помахала рукой, чтобы не входил, мгновенно поднялась и, изогнувшись по-кошачьи, пробралась между столиками к выходу. У нее была особая манера разговаривать со всеми в коридоре, в углу: облокотиться одной рукой о стену, в другой держать сигарету и приближаться полуоткрыты-

ми губами к лицу собеседника так близко, будто все начнется прямо сейчас. Дверь машбюро то и дело хлопала, сотрудники отделов забирали материалы, оставленные с вечера, а в углу было тихо и темно.

– Куда дела Сашку? Не темни!

– С чего ты взял?

– Неважно. Его мать звонила, сходит с ума.

– Ой, Славачка! Не говори! – заокала Светлозерская. – Ей-Богу, ума не приложу!

– Прошлую ночь он был у тебя?

– Нет! Обещал приехать, это точно. Друг из Тбилиси очутился. Я ждала до часу, все к шагам за окном прислушивалась. Он любит приходить, когда я уже в постели, так что я заранее ложусь. Ждала, ждала, а утром просыпаюсь – одна... Я с тобой абсолютно откровенна, как ни с кем...

– У тебя с ним что – серьезно?

– Уж куда! Он сам говорил: «Ты мне идеально подходишь в смысле секса. Но жениться мамаша не разрешит». Да мне и не надо! Главное, он работает – криком кричу. Синяки по две недели не сходят. Вот это мужик!

Она двумя руками повернула лифчик, съехавший от того, что она слишком эмоционально объясняла руками Ивлеву.

– Ладно, Инка, – Вячеслав погладил ее по плечу. – Найдем твоего грузина. Иди, стучи...

– Я не стучу, а печатаю. Ну-ка, закрой меня от коридора, чулок подтяну.

– Сама, или помочь?

– Все вы такие! – она надула губы. – Сперва дай застегнуть, а после расстегнуть. Топай!

Стол был забросан нечитаными письмами и старыми блокнотами. Ивлев придвинул к себе телефон, взгромоздил на него телефонную книгу и стал думать, где ее открыть. Поколебавшись, он начал с моргов.

В тех пяти, где Какабадзе мог по случайности оказаться, среди опознанных трупов он не значился. К неопознанным можно будет вернуться, если другие ходы не дадут результатов. Если Сашка был жив, задача облегчалась.

Вячеславу пришло в голову, что Какабадзе рванул в свой Тбилиси, сидит с друзьями и потягивает «Изабеллу». Но он тут

же отказался от такой версии. Об этом знал бы тбилисский друг или мать. Можно сразу позвонить дежурному милиции города, но там разговор записали бы на пленку, а Ивлев не хотел преждевременно поднимать шума, чтобы не повредить Саше. С телефонной трубкой в руках он прогулялся по приемным покоям скорой помощи. Нет, такого не доставляли. По госавтоинспекции дорожного происшествия с участием такого-то не было. Впереди маячил тупик, когда затрещал телефон.

– Вячеслав Сергеич, – услышал он официальный тембр Раппопорта. – Зайдите не мешкая ко мне...

Тавров расхаживал по комнате, размахивая руками, что было признаком крайнего возбуждения. На краешке стула сидела миниатюрная старушка лет восьмидесяти. Лицо – сморщенный кулачок с глазами-бусинками. Она часто-часто моргала, загнипотизированно поворачивая голову следом за бродящим взад-вперед Яковом Марковичем.

– Садитесь, Ивлев, – Раппопорт сделал широкий жест рукой.

– Степанида Никитична, не могли бы вы повторить?

– Сначала?

– А что? Этот наш сотрудник тоже обязан послушать.

И, обратившись к Ивлеву, Тавров прибавил:

– Степанида Никитична – постоянная подписчица нашей газеты, бывшая учительница, любит искусство, в частности музыку и живопись. Она давно на пенсии, общественница ЖЭКа. Кроме того, она человек с принципами.

– Ах, не в этом дело, Яков Маркыч! А в том, что я живу на втором этаже.

– Запомните, Ивлев, на втором!

– А на первом, подо мной, милиция. Точнее, как я выяснила, КПЗ... Я живу одна, у меня всегда тихо. Телевизор я презираю! И ночью из-за бессонницы слышу каждый шорох. Я слышу, как внизу отпирают и запирают двери, что кричат. И удары, когда в КПЗ бьют кого-то, тоже замечательно слышу. Между прочим, они бьют каждую ночь, но обычно пьяных, хулиганов и тому подобную публику. У них там такой педагогический метод. А позапрошлой ночью я приняла две таблетки димедрола и уснула, потому что ездила к своей сестре в Загорск и очень устала. Но среди ночи проснулась: удары были такие, что дом вздрагивал.

– Внимание, Ивлев! – вставил Раппопорт.

– Человек, которого били, пытался объяснить, что его фамилия Какабадзе и что он из «Трудовой правды». Естественно, я не поверила, что может хулиганить человек, облеченный столь высоким общественным положением. Что-то тут не так! Я встала, пошла к телефону, позвонила 02 – в милицию и сказала дежурному по городу, что у меня терпение иссякло. Где это видано, чтобы в советской милиции пытали человека? А на что тогда вышестоящие органы? Я сказала, что если они не примут мер, завтра добьюсь приема у министра МВД.

– И помогло? – спросил Ивлев, до этого молчавший.

– Представьте, помогло! – гордо сказала Степанида Никитична. – Минут через пятнадцать приехал автобус с автоматчиками, и они ворвались в милицию. Я у окна стояла, видела. Что уж они там делали, не знаю, только внизу стало тихо. А немного спустя вывели несколько милиционеров в наручниках и увезли.

– Теперь, Степанида Никитична, – оборвал ее Раппопорт, – расскажите главное.

– Главное, что я после заснула. А утром проснулась оттого, что мне в дверь звонили. Вошел молодой человек, очень элегантный, в красивой форме, я даже сперва подумала, генерал. Но представился он майором милиции. Очень воспитанный молодой человек, лет пятидесяти, не больше. Вошел в комнату, ноги предварительно вытер и, представьте, даже фуражку снял.

– У Степаниды Никитичны, – вставил Раппопорт, – развито чувство юмора.

– А вы как думали? Я еще и не то сказать могу! Так вот этот генерал, то есть майор, красивый, как генерал, мне говорит: «Извините за то, что помешали вам спать. По вашему сигналу все меры приняты, больше никого тревожить не надо. Кто заслужил, понесет наказание, ни о чем не беспокойтесь». «Как же, – говорю, – не беспокоиться? А что с тем молодым человеком, которого били до полусмерти?» «До какой, – говорит, – полусмерти, – когда он живой и здоровый! Это матерый хулиган, и он понесет наказание в соответствии с законом». Тогда я ему говорю: «Знаете, я каждую ночь слышу, каких бьют людей. И у меня подозрение, потому что я знаю

кто это!» «Лучше, – говорит, – мамаша, не вмешивайтесь. А то вас привлекут к ответственности за разглашение».

– Так и сказал? – ухмыльнулся Ивлев.

– Меня не то задело, что он запугать хотел, а то, что мамашей назвал. Я считаю, что отдел коммунистического воспитания просто обязан вмешаться!

Старушка поднялась, протянула обоим тонкую сухую ладошку и юркнула в дверь.

– Ну, что скажете, Ивлев? – Яков Маркович остановился перед ним, широко расставив ноги и сунув руки в карманы.

– Да любая нормальная газета в мире рассыпала бы набор и на первой полосе дала бы об этом отчет!

– Не булькайте, Слава, вы не чайник. Подумайте лучше: если Сашу забрала милиция, так как он виноват, почему его не было в списке?

В список, который готовит Управление внутренних дел Мосгорисполкома и который каждое утро кладут на стол первому секретарю горкома, попадают партийные работники, актеры, журналисты и прочая элитарная братия, совершившая антиобщественные поступки в течение истекших суток. Если Какабадзе попал в список, Кашину уже сообщили бы для принятия мер.

– А что вы, Рап, предполагаете?

– Стало быть, у них была причина не включать его в список.

– Рыльце в пушку?

– И тогда, если они явно виноваты и скрывают это от горкома, для спасения Какабадзе мы можем вспомнить, что мы – центральная газета. И, так сказать, побороться за честь мундира. Правда, Ягубов – близнец. Но, может, удастся подключить Макарецва?

– Газета – против МВД?

– Во-первых, МВД – не КГБ, а видимость законности сейчас соблюдается. Во-вторых, это только Управление города, мы же городу не подчиняемся. Если всплывет щекотливое дело, министерству выгоднее будет отмежеваться. Ну, что, Слава, рискнете? Тогда с Кашиным лучше поговорить мне.

– Почему?

– Двоюродный брат моей покойной жены работает бухгалтером в «Зоообъединении».



Вошел он к Кашину торжественно, как входят для поздравления.

– Ну, Валентин, наверно, я тебя обрадую. Мальки дефицитных рыб нужны?

– А есть канал?

– И какой! Сможешь с черного хода получать редкие экземпляры. И главное, без спекуляции, абсолютно законно.

– Просто не верится! – Кашин поднялся со стула. – Я ваш должник, Яков Маркыч.

– Об этом не думай! Ну, я пошел... – Раппопорт повернулся к двери. – Да, Валя, кстати. Про Какабадзе не слыхал? Пропал парень, наш человек, комсомолец... В списке его не было?

– Я бы знал, – обиделся Кашин. – А что?

– Так я и думал. Значит, не виноват.

– А в чем?

– Да говорят, его ни за что избили в милиции. Надо это выяснить. У тебя в МВД есть людишки? Узнай... Мы ведь с тобой партийная газета – сильнее их!

Валентин задумался. Выяснить, что произошло с сотрудником редакции, было его прямой обязанностью. Он набрал номер Утерина и попросил навести справочку насчет Какабадзе. Кашин и Тавров поговорили о рыбах, когда Утерин перезвонил.

– Какабадзе Александр Шалвович – ваш? У нас! В тюремной больнице в тяжелом состоянии. Драка по пьяной...

– А почему в тюремной-то?

– Стало быть, виноват! Разберутся...

– Пока разберутся – меня начальство вызовет. Я что – глазами хлопать буду?

– Надо самим разобраться, – вмешался Раппопорт.

– Володя, – продолжал Кашин в трубку, – сделай пропуск, мы отправим сотрудника. Идет?

Раппопорт ввалился в комнату спецкоров.

– Кашин помог затолкать вас в МУР, Славик. Только будьте осторожны. Они и вас в два счета подошьют к делу.

– Я им не дамся!

– Тогда действуйте...

На ходу застегивая пальто, Ивлев сбежал по лестнице и остановил первую попавшуюся машину. Это был самосвал, гру-

женный снегом. За три рубля шофер согласился везти куда надо и действительно плевал на все и ехал на красный свет. Быстрая доставка, однако, не помогла: часа полтора ушло на оформление пропуска.

– Говорить разрешаю недолго, – с показной строгостью сказал хирург в офицерских погонах.

Он был худой и длинный. Плечи у него, казалось, вообще отсутствовали.

– А что с ним все-таки? – спросил Слава.

– Писать будете? – уточнил хирург. – Распишите покрасивее, это ваш брат умеет. Пьяная драка и прочее... Возишься с таким и думаешь, а стоит ли возиться-то? Трещина в основании черепа, сломано два ребра, уплотнение в правой почке, лицо всмятку.

Хирург повернулся, ушел. Шаги гулко уносились по коридору. Славик вынул из кармана четвертак, оглянувшись, протянул молодому и симпатичному охраннику.

– Я один поговорю. Не бойся, ничего не будет.

Охранник оглянулся, спрятал деньги за голенище сапога и остался в коридоре. В палате было коек двенадцать, дух смрадный, больные все тяжелые. У потолка два окна с намордниками. Потолок в желтых подтеках – где-то сочило сквозь перекрытия из канализации. Ивлев шел от кровати к кровати, ища Какабадзе.

– Ты? – Саша хотел улыбнуться и не смог.

Глаза его стали мокрыми, слезы потекли мгновенно. Ивлев опустился на колени на грязный пол, чтобы очутиться поближе к забинтованной, точно шар, Сашиной голове.

– Как тебе удалось... сюда? – губами еле слышно прошевелил Какабадзе. – Я думал, умру, никто не узнает...

– Чушь! Ты знаешь, мы – люди пробойные. Времени в обрез, тебе говорить нельзя. А суть? Можешь?

– Меня опять будут бить, если скажу... Больно...

– За что?

– Просто так... Садисты...

– Да кто?! Кто, старик?

– Я искал такси...

– Спешил к Инке?

– Она сказала?

– Она. Да Инка свой человек, последний кусок хлеба отдаст.

– Я знаю... Не говори Наде...

– Наде? Не скажу. Ты искал такси и...

– Ага! На тротуаре милиционер. Я голосую, машины не останавливаются. Он подходит: «Здесь остановка запрещена – никто не остановится. Пройди отсюда». Я рассердился: замерз, а он в валенках и ему делать нечего. Я говорю: «Давай спорить. Если остановится – червонец с меня, не остановится – с тебя! Сейчас остановится, вот увидишь!» А он говорит: «Точно! Остановится!» Смотрю, прямо возле меня раковая шейка. В ней двое. «Садись!» – говорят мне. Я говорю: «Это мне не подходит, мне такси надо». – «Садись, говорят!» Меня за руку втащили и сразу поехали.

– Куда?

– В райотдел милиции. Но это я уже на другой день понял, потому что бить они меня начали сразу, еще в машине, когда обыскали. Связали руки ремнем и били... Они думали, грузин, денег много. А когда привезли в милицию, к ним еще дежурный подключился. Я им: «Я не типичный грузин, я нищий». «Будешь, – говорит, – знать, грузинская морда, как наших русских баб хапать!» Они меня ногами били, и кастетами, и табуретку кидали из угла в угол, она мне по голове задевала. И опять спрашивали, где я деньги прячу. А когда я уже двигаться не мог, окружили и мочились на меня, все старались в рот попасть. Я захлебнулся...

Саша прикрыл глаза, сморщился то ли от боли, то ли от воспоминаний.

– Говорят, судить будут. А за что? Славик! Берегись их!

– Да ты успокойся, Сашка. Теперь мы вмешались. Если что, Макарцева попросим.

Дверь в палату открылась. Тощий хирург поманил пальцем Ивлева. Слава погладил Какабадзе пальцами по лицу, собирая его слезы, и вышел.

– Вы, значит, из «Трудовой правды»? – капитан в милицейской форме потянул Ивлева за рукав. – Рад познакомиться, старший инспектор Утерин. Мне поручено с вами побеседовать. Пресса о нас немало пишет, не жалуемся, да только не все понимают нашу специфику. Давайте поднимемся ко мне...

Они прошли узким подвальным коридором под лампочками, закованными в решетки, к лифту. Дважды у них проверили документы. В комнате Утерин указал Вячеславу на стул.

– Трудная у вас задача, – Владимир Кузьмич перешел к сути. – Сам я делом этим не занимался, полковник поручил вам объяснить. Улики против Какабадзе серьезные. У вас сомнения: дескать, в милиции его били. Между нами, случается иногда, бьют – люди разные у нас. Но тут драка. Свидетелей у него нет...

– Есть, – сухо сказал Ивлев.

– Нашли? – искренне удивился Утерин. – Вячеслав Сергеич, я насчет вас Кашину звонил, справился. Он вас рекомендовал как умного и опытного журналиста.

– Спасибо!

– Мы с вами оба – люди подчиненные. У меня свое начальство, у вас свое. С начальством лучше не ссориться, верно?

– Точно.

– Кстати, как там ваш Макарецев – все еще в больнице? Вот не повезло: инфаркт, а тут история с сыном. И рад бы найти смягчающие вину обстоятельства – так нет ничего! Мальчишке пятнадцать лет отсидеть – это будет конченный человек. Начальство считает, можно пойти друг другу навстречу. Посоветуйтесь. Официально такого, конечно, никто не скажет, понимаете?

– Я вас понял, – Ивлев поднялся.

Утерин тоже встал и виновато улыбнулся. Они крепко пожали друг другу руки, как старые друзья.

По тротуару холодный ветер мел пыль, закручивая ее в воронки. На Тверском бульваре дети играли между луж на сухих островках асфальта. «Согласись!» – скажет ему Раппопорт. «Никаких статей! – заявит Ягубов. – Критиковать милицию – значит критиковать власть. Разоблачать – дело карающих органов. Мы – пропагандисты». «Запашок в этой сделке есть, но это частный случай, – скажет Макарецев. – Речь ведь идет о жизни. Представь, что твой сын, Ивлев, попал в беду...» Интересно, а что скажет Полищук?

## 45. ПОЛИЩУК ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ

### ИЗ АНКЕТЫ ПО УЧЕТУ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

*Социальное происхождение – служащий. Дед, также Лев Викторович Полищук, – рабочий, участник трех революций, член партии с 1906 г., персональный пенсионер (из автобиографии).*

*Член КПСС с 1949 г., партбилет №02692311. Ранее в КПСС не состоял. Партийное взыскание (выговор с занесением в учетную карточку) снято год назад в связи с безупречным поведением.*

*Образование высшее, инженер, окончил Высшее техническое училище имени Баумана в 1955 г.*

*Имеет научные труды по социологии (статьи написаны в соавторстве).*

*За границей был в Швеции, Австрии, Саудовской Аравии, Бангладеше, Кувейте, ОАР, Корейской народной республике, Монголии (трижды), – туристические поездки по «Спутнику» руководителем молодежных делегаций.*

*Женат, один ребенок, 6 лет.*

*Член партийного бюро редакции, зампред Общества монгольско-советской дружбы.*

*Отношение к воинской обязанности – майор запаса, политсостав, спецучет.*

*Паспорт УП ФИ №283452, выдан 21 о/м Москвы 8 января 1960 г. Прописан постоянно по адресу: ул. Кондратюка, 10, кор. 3, кв. 67. Тел. 253-28-14.*

*Дополнение к анкете: рост 176 см, глаза зеленые, цвет волос – темный шатен, усы черные.*

### ВИРАЖИ ПОЛИЩУКА

В десятом классе Лев, человек целеустремленный, стал кандидатом в мастера спорта по стоклеточным шашкам. Когда он поступал в Бауманское училище, самая патриотическая кафедра института – спортивная – надавила на приемную комиссию, и Полищук был принят, хотя недобрал одного балла. На втором курсе он стал мастером спорта и учился меньше,

чем разъезжал по соревнованиям. Как человека общительного его выбрали членом комитета комсомола, а затем выдвинули на должность секретаря. Перед ним замаячила сверкающая перспектива выхода в дамки. Получив диплом инженера, молодой коммунист и румяный комсомольский лидер Лев Полищук, имеющий безукоризненную анкету (никто не знал, что у него бабушка – еврейка), был рекомендован ответственным в отдел науки ЦК ВЛКСМ. Он стал курировать молодежь в новых сибирских академгородках.

У Полищука был серьезный недостаток, который на студенческом уровне не очень ему мешал, а после стал обжигать: он верил людям. И они его подвели. Два раза он поддержал в Новосибирском академгородке нечто, похожее на дискуссии. Однако дискуссии быстренько переросли из чисто научных в социальные, и было дано указание закрыть комсомольско-молодежное кафе. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов вызвал Полищука и кратко объяснил:

– Стриптизов не будет.

Вслед за Семичастным и Шелепиным Павлов рвался в ЦК КПСС или, на худой конец, в КГБ. Полищук, как и все отработчики комсомола, понимал, что руководству страной требуется омоложение и лучшие кадры для этого есть в комсомоле, первом помощнике партии. Однако если Полищуку такое омоложение представлялось выходом из застоя, то для Павлова и его единомышленников цель была в том, чтобы взять свое. Так или иначе старейшины поняли, что стоит только пустить в Большой дом одного комсомольского лидера – за ним двинутся остальные, связанные веревкой, как альпинисты. И хотя оба серых здания стоят напротив друг друга, между партией и комсомолом был построен прозрачный и непреодолимый забор. Лев понял это окончательно, когда проворовавшего Павлова назначили Председателем спорткомитета, оставив ему спортивный Олимп, навсегда закрыв партийный. К этому времени Полищук и сам поостыл в оргработе.

Друзья его лепили диссертации, жили веселее. Во время перетряски, связанной со сменой руководства, Полищуку удалось уйти в институт, где после многолетнего перерыва возобновлялась социология. Но какую бы сторону жизни ни взяли изучать социологи, о публикации результатов не могло

быть и речи, поскольку они «не соответствовали». Руководство возило закрытые отчеты наверх, но там они тоже не нравились. У Полищука уже была готова диссертация на тему «Стремления советской молодежи и их реализация», когда пришло указание прекратить заниматься конкретной социологией. Впредь институт должен был следовать заданиям, в которых указывалось, какие выводы нужно получить.

К счастью, Лев Викторович уже прошел хорошую школу чутья и сумел до оргвыводов перескочить в Институт международного рабочего движения, в новый сектор футурологии. Тут готовили для компьютера сложную программу, цель которой – показать, как далеко уходит коммунизм по сравнению с загнивающим капитализмом. Работа продвигалась успешно, были почти готовы несколько докторских и ряд кандидатских диссертаций. Компьютер работал в торжественной обстановке, руководство института обещало верхам результаты к предстоящему съезду партии. Однако неожиданно машина заявила, что международное рабочее движение не имеет существенного значения, коммунизм не уходит вперед, а капитализм не загнивает. Больше того, идеология, с точки зрения футурологии, не играет роли в развитии экономики. В некоей точке пути капитализма и коммунизма сливаются. Временная роль идеологии в том, заявил компьютер, чтобы тормозить конвергенцию, мешать ей.

Наказать компьютер за антиленинский подход к науке было нельзя, но сектор футурологии ликвидировали. Полищук метнулся в поисках другого места работы и замешкался. Тут-то его и настиг выговор с занесением в учетную карточку за идеологическую халатность, хотя непосредственно с расчетами Лев связан не был.

В это время Макарецев, озабоченный омолаживанием кадров «Трудовой правды», подыскивал себе ответственного секретаря взамен старика Овсева, старого правдиста, которого с почетом проводили на пенсию. Макарецев понимал, что, не найди он сам нейтрального человека, ему пришлют из ЦК и тот станет усердно выполнять не его, Макарецева, волю, а тех, кто его посадил. Полищук, рекомендованный через знакомых, сразу понравился, – Макарецеву вообще сразу нравились или не нравились люди.

В новом деле мастер спорта по стоклеточным шашкам скоро почувствовал себя как рыба в воде. Весь прошлый организаторский опыт пригодился. Газетный механизм увлек Льва. Опасная система верить людям, так до конца Полищуком не изжитая, обеспечивала ему хорошие отношения со всеми сослуживцами. Единственное, что для него было хуже горькой редьки, – это частые поездки наверх. К счастью, Макарец любил это делать сам, а когда не мог, облегчал его участь, посылая своих замов. К этому времени карьерные соображения Льва Викторовича еще раз полиняли. Он будто ощутил макушкой свой потолок.

Ягубов очень удивился, когда услышал, что Полищук ездит на работу в метро с пересадкой на троллейбус, в то время как ему положена персональная машина, и обедает в закрытой столовой ЦК ВЛКСМ, куда его пускают по привычке, а не в столовой Большого дома. Замечание Полищук выслушал без возражений, признал правоту Ягубова, но ничего не изменилось. Когда Макарец отдал распоряжение печатать гневные отклики трудящихся на Солженицына, Полищук, сказавшись больным, просил заменить его на посту дежурного редактора и уехал. Номер подписал Игорь Иванович сам.

В кабинете у Полищука иногда собирались два-три человека поговорить. И он, печально улыбаясь, высказывал мысль, что улицы в Москве переименовывают по фамилиям отечественных и зарубежных вождей, им ставят памятники, и город становится похожим на кладбище коммунистов всего мира.

– Однажды, когда мы были в Швеции, – рассказывал он близким друзьям, – мэр Стокгольма бросился нас обнимать. «Я очень уважаю советских журналистов. Они такие умные! Наши журналисты – примитив по сравнению с вами. Ведь при той цензуре, которая у вас в стране, вы еще ухитряетесь что-то писать!»

Лев оставался в рамках, стараясь не делать гадостей. Чтобы идти наперекор, надо быть героем, а он – обыкновенный человек. Он будет делать дело, стараясь не участвовать в подлостях и добровольно не подливать масла в огонь. Впрочем, и на мелкой честности он мог нажать большие неприятности.

Когда Сироткина в связи с отсутствием Ягубова принесла Полищуку очередную пачку почты, тот просмотрел ее и некоторые слишком злые письма, а также открытые письма в за-



щиту политических заключенных вынул из стопы, порвал и бросил в корзину.

– Ты ничего не видела!

Сироткина кивнула, и больше они на эту тему не говорили. В редакции у Полищука в друзьях числилась Раиса Качкарева, редактор отдела литературы и искусства. Поговаривали всякое. Энергии у Раисы имелось хоть отбавляй. Рая заходила за сигаретой, оставалась, подолгу трепалась за жизнь, давала советы (как правило, умные) с кем и как себя вести, где быть левее, а где воздержаться, чтобы не погореть. Она понимала Полищука, как никто. Жена Полищука знала об этой дружбе и, стараясь не показать виду, ревновала.

Бывшие коллеги по комсомолу пристроились в разных организациях. Как-то начальник Полищука в ЦК ВЛКСМ, работавший теперь в органах, узнав, что Лев Викторович стал журналистом, поговорил о жизни, а после предложил:

– Слушай, не перейти ли тебе к нам? На два года – в спецшколу: языки, специальность. И поедешь от своей «Трудовой правды» или от другой газеты в загранку. Пошлем с семьей, не волнуйся. Будешь числиться корреспондентом и собирать информацию, которая нам нужна. В современных условиях делать это несложно.

– Заманчиво! – ответил Лев, но на другой день отказался: Райка отговорила.

– Ну и дурень! – сказал Макарец, когда ответсекретарь поведал ему эту историю, хотя сам органы недолюбливал.

Однажды Полищук не на шутку обидел редактора, и будь тот чуть глупее, не простил бы. Отдел информации подобрал подходящего парня и хотел взять. Газета хромала без хороших репортеров, нужны были оперативные материалы в каждый номер, и парень охотно бегал и быстро писал, а Макарец упирался, ссылаясь на то, что парень беспартийный.

– Примем его в партию, – уговаривал Полищук.

– Проще взять партийного, – возражал Макарец. – К тому же мы не детский сад, нам нужны люди из других газет, с опытом.

– Но ведь по деловым качествам он подходит!

– Да пойми ты, Лева: я за кадровую политику в целом отвечаю, а ты отрываешь одни деловые качества!

– Не знал я, что вы против пятого пункта! – выходя, процедил Полищук.

– Постой! – крикнул Макарецев. – Если так, нет уж, постой! Посмотри что у нас в редакции делается! И сравни с другими... Анонимки, что у нас слишком много евреев, на меня идут, а не на тебя! Знаешь что? Поезжай в ЦК и там скажи, что я антисемит. Громко скажи. Они меня меньше попрекать будут!

– Там не скажу, – возразил секретарь. – На том уровне этого, возможно, и недостаточно. А тут...

– Видали либерала? – засмеялся вдруг Макарецев. – Никак не пойму, чему тебя в комсомоле учили? Ладно! Где заявление? Оформим!

Больше они к этой теме не возвращались, но холодок оставался. Макарецев не злился. Просто неприятно, когда тебя обвиняют в том, чего в действительности нет.

#### 46. ЗА СПИНОЙ ЯГУБОВА

Ивлев не раздеваясь направился в кабинет ответсекретаря. У него с Полищуком была служебная дружба. Вне редакции они не встречались, но тут, чувствуя общность в оценке ряда проблем, проникались друг к другу все большим доверием, сближались и углублялись в такие дебаты, которые еще недавно были невозможны.

– Ну что там с Какабадзе? – Лев накрыл ладонью кипу гранок на столе, чтобы не разлетелись от сквозняка.

Вячеслав в пальто рухнул в кресло и кратко изложил ситуацию и предложение Утерина.

– Игоря Ивановича жалко, – проговорил Полищук. – Но плевать себе в морду мы тоже не нанимались. Речь идет даже не о Какабадзе – о газете. Я за то, чтобы выступить. Иначе мы становимся такими же уголовниками, как эти из МВД. Чего молчишь, Сергеич?

– Предположим, воздержимся от статьи и их обоих выпустят. Из-за макарецевского щенка Сашка Какабадзе должен ходить оплеванным всю жизнь?

– Считаю, договорились. Строчи.

– А кто поставит на полосу? Уж не Ягубов ли?

– Ягубову сегодня не повезло. Утром в редакцию приехал – вахтер требует удостоверение. Степан Трофимыч: «Я, папаша, Ягубов». Тот ему: «А мне все равно, Ягубов ты или нет, – давай удостоверение». Замредактора наш полез в карман и протягивает. Вахтер посмотрел: «Пропустить не могу – просрочено». – «Да ты понимаешь, кому говоришь?!» – «А мне и понимать не надо. Есть приказ Кашина – с непродленными удостоверениями не пускать». Ягубов потребовал удостоверение назад, ну, дернул, наверно. Вахтер психанул, разорвал документ пополам и вернул. Степан Трофимыч оттолкнул вахтера и, говорят, специальный прием применил, чуть шею тому не сломал, а сам пошел к лифту. Вахтер с пола вскочил, догнал его и схватил за воротник. Да так рванул, что воротник от пальто в руках остался.

– И чем же кончилось?

– Мне позвонили. Я заказал разовый пропуск. А у Ягубова, как назло, паспорта не оказалось. Провел под залог своего документа.

– Сам поставил мышеловку и...

– Ан, нет! Сказал, что правильное дело иногда искажают неосознательные люди. Анечка полдня воротник пришивала.

– Знаешь, Ягубов на статью может клюнуть.

– С какой стати?

– С той, – выпалил Ивлев, – что для него это способ подложить свинью Макаргецу. Газета выступит против МВД, а те устроят судилище его сыну.

– Ход! – осклабился Полищук и потрогал языком щеточку усов, словно проверяя, не отрасли ли; но идея тут же померкла в его глазах. – А если струсит?

– Ну а ты?

– Я?.. Я бы, пожалуй, рискнул, – Полищук поиграл пальцами по столу, оттягивая принятие решения, потом глянул на часы. – Ягубов уедет часов в восемь. К этому времени материал должен быть готов. И без шума. Строк двести хватит?

– Уложусь...

– Сын мой! – произнес Тавров, выслушав краткий отчет Ивлева и устало массируя пальцами глаза. – Если хотите довести дело до конца, никаких обобщений! Главное в статье –

что милиция у нас лучшая в мире, и только те три милиционера – случайное исключение.

Глядя ему вслед, Раппопорт вдруг подумал: а не Полищук ли положил на стол Макарецу серую папку? Пожалуй, все же не он. Полищук – весь в словах, а в поступках – гораздо умереннее. Впрочем, приятно, когда человек оказывается лучше, чем ты думал.

Запершись, Ивлев вытащил из карманов два блокнота и от обоих сразу оторвал обложки, распотрошив листки. Он освободил середину стола, чтобы было просторнее, и стал раскладывать пасьянс: что вольется в статью, что может пригодиться, а что не подойдет наверняка, но пригодится на после.

«Отделение милиции старается не регистрировать краж и ограблений, чтобы занять лучшее место в соревновании с другими отделениями». Это может пригодиться, но вряд ли. «Когда сверху поступает приказ поймать определенного убийцу, в данном преступлении сознается 60-80 человек». Это не подойдет наверняка. «В МУРе гордятся высоким процентом опознания трупов. В моргах порядок и чистота. В Лефортовском морге висит плакат: «Наш морг победил в социалистическом соревновании с другими моргами г. Москвы. Поздравляем с победой!» Из доклада руководителя этого морга: «Дело, товарищи, не в количестве, а в качестве обработки трупов. Родственники наших трупов всегда остаются довольны!» Это вообще записано просто так. А вот рассказ Какабадзе, диалог с Утериным, выписки из акта судебно-медицинской экспертизы – это так или иначе вольется в статью.

Построив в голове примерный план, Вячеслав положил посередине стопку чистой бумаги. Название пришло сразу, и он записал мелко, в уголке: «Мутная вода». Обкатанные критерии «можно» и «нельзя», то есть что пройдет и что не пройдет, помогали быстро обходить острые углы. Он скромно (помня завет Якова Марковича) изложил эпизод с Какабадзе в милиции. Ему приходило в голову, что статья не пройдет, ляжет в стопу других его статей, не напечатанных по тем или иным, а в основном по одной причине. Таких статей становилось у Славы все больше. Написанные по поводу сиюминутных событий, они быстро устаревали из-за отсутствия глубины и теряли исторический интерес из-за пристрастности. Раньше он мог

катать о чем угодно и с завидной легкостью. Но едва посерьезнел, стало трудно писать для газеты.

От размышлений его отвлекло шуршание под дверью. На паркете шевелился клочок бумаги. Слава поднял и прочитал: «Пусти на минуточку». Ивлев повернул ключ. Надежда, оглянувшись, не видит ли кто, проскользнула внутрь и сама за собой заперла.

– Ты занят? Только покажу новые брюки. Нравятся? А вот здесь не очень стянуто? Потрогай...

Вежливо он прикоснулся к ней, и она прыгнула на него, как кошка, обвив руками и ногами. Вячеслав качнулся, но устоял, подхватил ее, поднял и посадил на стол, перемешав тщательно разложенные листки из блокнотов. Сироткина сползла вниз, продолжая стискивать его руками и ногами.

– Пусти, змееныш!

– Работай, мешать не буду, – она разжала руки и ноги.

Плюхнувшись на стул, Ивлев положил голову на рукопись, пытаясь успокоить возникшее сердцебиение и собрать оставшиеся недописанными фразы. Он слышал скрип паркетин, потом почувствовал, как она по-кошачьи гладит ему колени и легонько брыкнул ногой. Не тут-то было!

– Теперь ты мой! – донесся из-под стола ее радостный голос. – Если будешь сопротивляться, оторву совсем.

Он прикусил губу, протянул руку под стол и погладил Сироткину по волосам. Комната закачалась, поплыла и вдруг остановилась. Еще несколько мгновений Надя сидела на полу, потом поднялась и, стараясь ступать неслышно, направилась к двери.

– Запри за мной, труженик.

Слава распахнул окно, и сырой вечерний холод потянулся в комнату. Листки на столе зашевелились. Сырость довела Ивлева до озноба, но привела в чувство. Он запер фрамугу, заставил себя сосредоточиться и дописать еще два абзаца.

Материалы без визы «Срочно в номер!» печатались дежурной машинисткой поздно вечером на завтра. Светлозерская, едва Вячеслав вошел в машбюро, не спрашивая, взяла листки, будто почувствовала о чем они. Не допечатав до конца страницы, она выдернула ее из машинки и впилась глазами в покатые линии ивлевского бисера. Дважды пулеметная дробь ее «Конти-

ненталя» прерывалась: не веря своим глазам, перечитывала, как Какабадзе били. Оба раза Инна вставала и выпивала по полстакана холодной воды. Отколотив в конце «В.Ивлев, наш спецкор», она прибежала к нему.

– Я поеду, – сказала она, положив на стол статью. – Сейчас!

– Никуда ты не поедешь, дуреха, – мягко урезонил он, положив ладонь ей на ухо. – Больница-то тюремная...

Она села на стул и заплакала. Он поднял ее голову обеими руками, посмотрел, как слезы стекают по краешкам носа в рот, и медленно поцеловал сперва в один глаз, потом в другой.

– Поеду, – упрямо сказала она.

– Не поедешь, – устало повторил он ей, как ребенку. – Максимум, что я могу предложить, – заменить его на время.

– Кретин! Все вы кретины...

Яков Маркович, оставшийся в редакции под предлогом, что у него завал самотека, выкинул в статье Ивлева один абзац в начале и две фразы в конце, молча кивнул и возвратил странички Вячеславу. Полищук, не читая статьи, включил селектор, тяжело при этом вздохнув.

– Анечка, Ягубов уехал?

– Только что.

Медленно читал Полищук «Мутную воду», то и дело вынимал платок, вытирая лоб. Он не заметил, как вошел Раппопорт и, сопя, сел рядом со Славой. Дождавшись, когда Полищук кончил чтение, он прошепелявил:

– Вы знаете, Лева, чем вы отличаетесь от Зои Космодемьянской? Вам памятника не поставят. Вас извиняют только добрые намерения и дилетантизм. Но все равно: из партии, и с должности, и затаскают. Вы этого хотите?.. Лучше сделать так, ребятки. Наберем, поставим в полосу и вызовем представителя МВД почитать статью. Вы ловите мою мысль на лету, да? Или – или. Полчаса на колебания и согласования. Скорей всего, они не захотят огласки и дело Какабадзе закроют. Им ведь не придет в голову, что вы не собираетесь печатать статью! А потом скорей-скорей все убрать!

– Шантаж? – прошептал Полищук.

– Но с благородной целью! И потом, с волками жить – не поле перейти...

Закрыв глаза, Полищук посидел в сосредоточении, взвешивая предложение Якова Марковича. Смелость и трусость образовали в нем такой симбиоз, что граница между ними вообще перестала существовать. Он посмотрел на Ивлева. Тот молча кивнул.

– Эх, мать-перемать! – в сердцах процедил Лев. – Вся жизнь – сплошные компромиссы. Все мы друг другу помогаем быть нечестными...

Яков Маркович промолчал. Полищук рванул рычажок селектора, соединился со своим замом в цехе и попросил набрать поскорей и подумать что снять, чтобы освободить на второй полосе место на 180 строк, когда по городскому телефону позвонил из дому Ягубов. Степан Трофимович заинтересовался, как дела с подписанием номера.

– Идем по графику, – весело отрапортовал Полищук, подмигнув Ивлеву. – Четвертая и третья полосы подписаны, с минуты на минуту жду остальные. Закругляемся...

– По ТАССу задержки нет?

– Ни строки. Скоро отбой. Спокойной ночи!

Повесив трубку, Лев перевел глаза на Таврова.

– Не нравится мне эта возня. Ох, как не нравится! – ворчал Раппопорт. – Поверьте травмированному в драках шакалу...

Ожидая чистую полосу, они вдвоем наметили, как вести разговор с представителем МВД.

– Пора вызывать, – сказал Полищук, заметно нервничая.

Вбежала Анна Семеновна, тараторя на ходу:

– Ну вот, Лев Викторыч, свеженькая вторая. Только осторожней: воды перелили, тиснули плохо, не запачкайтесь!

Едва она убежала, Полищук вытащил из сейфа справочник для служебного пользования, готовясь звонить в МВД, когда загудел селектор.

– Волобуев беспокоит. Добрый вечер! Что-то я в книге регистрации никак не найду... Там у вас на материалчик «Мутная вода» визочка, конечно, имеется?

– Частный случай. Зачем виза?

– Виза? А для порядка. Степан Трофимыч-то знает?

– А как же! Слушайте, Делез Николаич, сейчас я пришлю Ивлева, он вас успокоит...

Полищук в остервенении выключил селектор.

## 47. ВОЛОБУЕВ ДЕЛЕЗ НИКОЛАЕВИЧ

### ИЗ АНКЕТЫ ПО УЧЕТУ КАДРОВ ОБЩЕГО ОБРАЗЦА

*Занимаемая должность: старший уполномоченный Комитета по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлита).*

*Родился 21 января 1919 г. в Ташкенте.*

*Русский. Отец русский, мать узбечка.*

*Социальное происхождение – рабоче-крестьянское.*

*Член КПСС с 1941 года, партбилет №12108742. Ранее в партии не состоял, в других партиях не был, из рядов КПСС не выбывал, партийных взысканий не налагалось.*

*Окончил Военную ордена Ленина Академию бронетанковых и механизированных войск Красной армии имени Сталина в 1950 г. Диплом № х 8642.*

*Подполковник бронетанковых войск запаса, комиссован. Военный билет № ТБ 1722048. Код 012/001200.*

*Правительственные награды: Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда, других орденов и медалей 29.*

*Паспорт IV СЕ №764802 выдан 52 о/м Москвы 29 мая 1961 г. взамен воинского удостоверения. Действителен до 29 мая 1971 г. Прописан постоянно: Москва Б-232, Русаковская ул., д. 25. кв. 17. Тел. дом. 264-88-14.*

### ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ ДЕЛЕЗА ВОЛОБУЕВА

Ни единый штрих в генеалогическом древе и последующей биографии Делеза Николаевича не предсказывал, что он станет работать рядовым уполномоченным Главлита. Он опустил-ся в цензоры по недоразумению.

Отец его был хотя и малограмотным, но страстно преданным делу большевиком-ленинцем. Отсюда и взялось красивое имя его сына Делез, с одной стороны, похожее на пышные восточные имена, а с другой, означающее: «Дело Ленина завершим!»



Волобуев-отец был послан с красным отрядом на борьбу против басмачей и баев для установления советской власти в Средней Азии. В это время Бухарский эмир, ярый враг Советов, как раз сильно страдал от сифилиса. А в медицинской науке уже было совершено открытие, что все болезни происходят от нервов и только сифилис – от удовольствия. Дабы пресечь болезнь, придворный врач, немного недоокончивший не то Сорбонну, не то Махачкалу, рекомендовал эмиру полностью заменить контингент и набрать в гарем новых чистых девушек, посредством общения с которыми наступит у эмира выздоровление. Кадровики эмира, вооруженные винтовками, хватали соответствующих девушек и увозили в Бухару.

Прибыв на место, большевик Николай Волобуев решил, что лучшим способом агитации несознательных узбеков за советскую власть будет противодействие эмиру в выздоровлении за счет трудящихся женщин, ибо эти женщины должны принадлежать узбекским рабочим и крестьянам. Но когда четверо красноармейцев со своим смелым комиссаром отбили у эмирцев трех юных узбечек и разгладели их без паранджи, трое немедленно на них женились. Двоим, оставшимся неженатыми, стало понятно, что дрались они вхолостую. Среди женившихся был комиссар Волобуев.

После победы над эмиром Николай Волобуев занял пост заместителя Наркома просвещения и работал на этом посту до 37-го, когда был расстрелян в качестве врага узбекского народа «за попытку превращения республики обратно в Бухарский эмират». Делезу было восемнадцать, а рано овдовевшей матери его тридцать четыре. На руках у нее оставалось пятеро детей, и она носила шестого.

Когда началась война, Делез Волобуев решил кровью смыть со своей семьи позор отца, от которого они с матерью полностью отреклись. В танковых войсках он был механиком, водителем, командиром танка. Попадал в окружение и выходил, горел и шел на таран. Он с отчаянным упорством искал смерти, но таких, как известно, кося не берет. Ордена сыпались на него. Он получил бы вторую звезду героя, но ему со скрипом вручили первую из-за противодействия спецчасти, которую смущали дефекты его биографии. Однако фронтовая печать

освещала его подвиги охотно и даже приписывала их магическому смыслу его имени.

Всю войну Делез вырезал из газет статьи про свой героизм, надеясь числом хвалебных строк перевесить одну строку: «Сын врага народа». И, видимо, перевесил, поскольку был откомандирован учиться в бронетанковую академию. Герой Советского Союза подполковник Волобуев после академии командовал различными соединениями и служил в Генштабе, где занимался секретным сталинским планом полного освобождения Европы для окончательной победы коммунизма.

По вечерам ему нравилось доставать старые газеты и читать о своих подвигах. Жаль только, что об этом за пятнадцать послевоенных лет не написали больше ни разу. Делез решил, что он сам напишет книгу о себе – не хуже тех, что выходили. И еще ему, честно заработавшему звание героя, вдруг пришло на ум, что напишет он, как было, в отличие от тех звучных слов, которыми пенились известные ему книги.

Жена одна безропотно возилась с детьми, он писал. Написал много и стал носить по редакциям. Везде охотно брали почитать, но везде отказывали. Волобуев не понимал в чем дело. А дело было в том, что акценты у него переставлялись чуть-чуть не так, как нужно.

То, захватив немецкий город, наши части грабили местное население, то солдаты располагались ночевать в особняке, выгоняли хозяина, но оставляли его дочерей. То появлялись в воспоминаниях поляки и чехи, которые стреляли в наших солдат. И еще герои волобуевской литературы сражались с криками: «За родину! За Сталина!», а после 56-го в книгах сражались уже не за Сталина, а за партию. Наконец неудачливый автор разделил свою рукопись на две части: можно и нельзя. Оказалось «можно» так мало по сравнению с «нельзя», что от произведения Волобуева вовсе ничего не оставалось.

В это время он уже вышел на военную пенсию, поскольку год в армии засчитывается за два, и решил слетать на родину, в Ташкент. В самолете рядом с ним сидел человек маленького роста, лицо знакомое, но Делез его сперва не признал. А когда сосед языком ловко перекатил сигарету из одного угла рта в другой, Волобуев вспомнил. Этот человек командовал его танкистами и шоферами, когда в 56-м очищали улицы Будапеш-

та от трупов. Они даже разговаривали, стоя на мосту между Будой и Пештом, прикидывая, какой объем работы остается. Они были награждены орденами по одному списку.

Волобуев услышал, что Ягубов руководит теперь издательством агентства печати «Новости». Он решил, что это судьба и написанное им наконец-то увидит свет. В Ташкенте Волобуев привел Степана Трофимовича к бюсту, который поставили его отцу. Тут Ягубов и предложил Делезу протащить его на должность уполномоченного Главлита.

Теперь Волобуев зорко вглядывался в произведения других авторов, чтобы у них не проскакивало чего-либо такого, что было написано им самим. Внешне отношений со Степаном Трофимовичем они не поддерживали, поскольку находились на разных уровнях, но когда Ягубова перевели в «Трудовую правду», он перетащил Волобуева. Тут и начал разворачиваться по-настоящему цензорский талант Делеза Николаевича. Не печатать других оказалось даже интереснее, чем напечатать себя.

Начал он не просто с запрещений, а с кропотливых разъяснений сотрудникам, о чем и почему нельзя писать. Государственной тайной является точное расстояние между двумя городами, любые абсолютные цифры производства промышленной продукции (можно только проценты). Запрещено упоминание колхозов, выращивающих мак. Нельзя критиковать недостатки изделий, если они продаются за границу, ибо это подрывает нашу внешнюю торговлю. От разъяснений Волобуев перешел к воспитанию сотрудников газеты.

– Обязанность всего коллектива редакции, – говорил Делез Николаевич, выступая на летучке, – помогать Главлиту. Проявляйте инициативу: при отказе авторам ссылайтесь не на цензуру, а на ваше собственное решение.

В индивидуальных беседах Волобуев просил не называть его цензором. От этого слова веяло чем-то холодным.

– Я простой политический редактор...

Макарцева это раздражало. Но по свойственной ему деликатности он не вмешивался в решения лиц, ему не подчиненных. Однако в душе он считал, что не позволит Главлиту вступать в те вопросы, за которые он сам отвечает перед ЦК. Впрочем, и Волобуев никогда не доводил температуру до высокой.

– Мое дело – поставить на ваше усмотрение и доложить своему начальству, Игорь Иванович. – А решать, если это не касается конкретных государственных тайн и конкретных ограничений по спискам, – решать, конечно, вам!

Слово «конечно» успокаивало Макарецва, и он об очередном конфликте забывал. Деловая энергия Делеза искала выхода, но существовало и чувство опасности. Героизм в тылу только мешал, а его отсутствие только помогало. Войдя во вкус новой профессии, Волобуев размышлял о своем новаторском вкладе в деятельность Главлита. Он пришел к выводу, что его функция не дает полных результатов, так как он приступает к работе над уже готовыми материалами. Вот если бы цензор мог подключаться к автору на стадии замысла, тогда не возникало бы необходимости вынимать лишнее.

В январе 69-го Волобуеву исполнилось пятьдесят. Подготовить приветственный адрес юбиляру Ягубов поручил Кашину, а написал его, конечно, Яков Маркович Тавров. Кашин обошел с письмом отделы. Все сотрудники «Трудовой правды», включая Макарецва, подписались под словами: «Желаем Вам, добрый друг нашей газеты, крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной работы на ниве славной ленинской печати». Редакционный художник Матрикулов реализовал идею Якова Марковича и изобразил на обложке Волобуева, держащего в одной руке серп, а в другой молот. Яков Маркович пояснил друзьям, что молотом цензор бьет автора по голове, а серпом по...

## 48. НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ АССОЦИАЦИИ

На комнате маячила дощечка «Уполномоченный Главлита. Вход воспрещен».

– Ну что? – с порога спросил Ивлев, без особого усердия пожал Волобуеву руку и сел на стул.

Делез приветливо ему улыбнулся.

– Слушай, Вячеслав Сергеич! Объясни: почему у вас всегда спешка? Я тут человек новый, прошу, требую, чтобы материалы приносили заранее, ну хотя бы за неделю. Мне же надо согласовать с начальством. Нет! Норовите в последнюю минуту...

– Мы – газета! На кой нужно старье через неделю?

– Это – неправильное понимание. Я что ли ограничения придумываю? В Главлите не дураки сидят. Там специально создали группу подтекста – неконтролируемых ассоциаций. У меня инструкция: первый раз читать текст, второй – подтекст. Раньше главным был контроль и профилактика текстонарушений, теперь – подтекстонарушений. К примеру, автор рассуждает о средних веках, а читатель соображает, что у нас еще хуже. Текст укрепляет советскую власть, а подтекст расшатывает.

– И при чем тут «Мутная вода»?

– Сейчас поясню. Критикуете милицию, вроде бы ничего опасного. А читатель поймет, что мутная вода – это система в целом, понимаешь?

– Какая логика?! – Ивлев встал и, повернув стул за спинку, пристукнул им об пол.

– А ты не ищи логики. Что вчера можно было печатать, сегодня уже нельзя. Нынче можно карикатуры на глав одних иностранных государств, завтра на других. Я подчиняюсь последней инструкции, только и всего.

– Ладно, – Слава сделал вид, что уступил. – Ты, как всегда, прав, Делез Николаич. Снимем материал, не волнуйся!

– Не я волнуюсь – Степан Трофимыч.

– Он же уехал!

– Пришлось домой позвонить. Оказалось, он о статье-то понятия не имел. Разберется, если уже не разбирается.

– Дома?

– Зачем дома? Сюда покатыл...

Ивлев смотрел на Волобуева в упор, размышляя: сказать что он думает или просто плюнуть в лицо – круглое, здоровое, спокойное. Не сделал он ни того, ни другого, а просто вышел, аккуратно прикрыв дверь.

Теплые, только что отлитые, серебристые стереотипы третьей и четвертой полос, уже подписанных дежурным редактором Полищуком, пошатываясь на крюках и поскрипывая, давно приползли в печатный цех. Печатники, отрываясь время от времени пососать бесплатного молока из пакетов, снимали тяжелые блоки и устанавливали в ротационные машины. Шла приправка. Медленно прокручивая валы, рабочие подгоняли,

подпиливали, придавливали отливки, чтобы оттиск краски был равномерный.

ТАСС дал отбой, и пошла первая полоса. Отбой означал, что в номер не поступит срочного материала, в передаче которого газетам ТАСС сам является переправочным звеном. Где готовятся эти важные материалы, обязательные для всех газет, неизвестно. Но о возможности появления таких сообщений редакции уведомляются заранее. В наборном цехе все еще задерживалась вторая полоса, подвал которой занимала статья Ивлева «Мутная вода». Рабочие подходили и читали ее в зеркальном изображении. Такое бывало редко: свою газету печатники презирали, а информацию получали дома сквозь глушилки.

Стереотиперы задерживали печатный цех, а тот – экспедицию. Автомашинеры ожидали мешки с матрицами, чтобы везти на аэродромы. Там их растаскивали по самолетам и отправляли в города, где «Трудовая правда» печаталась и выходила утром вместе с местными газетами. Срыв графика на несколько минут задерживал доставку газеты в киоски по всей стране. Миллионы, идущие на работу, не успевали купить газету, и она шла в макулатуру.

В ожидании отбоя в редакции наступила тишина. Взрывы смеха доносились из комнаты Раппопорта, в которой, кроме хозяина, сидел Закаморный. Дверь в отдел писем была полукрота. Надя, прислушиваясь к шагам в коридоре, тихо регистрировала дневную почту, хотя спокойно сделала бы это завтра. Ивлев мог заметить, что она здесь, и тогда до метро они дошли бы вместе. Кашин кормил рыбок у себя в кабинете, решив оказаться по дороге домой с машинисткой Светлозерской, дежурившей до отбоя на случай, если дежурному редактору понадобится допечатать в номер. Между тем Ягубов стремительной походкой уже входил в наборный цех. Начальники печатного и стереотипного цехов едва за ним поспевали. Начальник наборного спешил навстречу.

– Где ближайший телефон?

Ему показали. Ягубов был бледен, немного взлохмачен. Пиджак, надетый впопыхах на голубую шелковую майку, был застегнут на все пуговицы, а не на среднюю, как обычно. Подойдя к телефону, Степан Трофимович набрал внутренний номер Полищука.

– Лев Викторыч! Прошу срочно спуститься в цех.

Не ожидая ответа, Ягубов положил трубку и, протянув руку вперед, потребовал:

– Полосу!

Ему протянули пахнущий краской лист. Ягубов сразу углубился в чтение, будто стоящих вокруг него и ждущих распоряжений людей не существовало. Дочитав до конца, он аккуратно сложил лист и стал рвать на мелкие части. Измельчив, он смял их, затем разжал пальцы и ссыпал обрывки в ящик для мусора.

– Сколько экземпляров тиснули? – спросил он.

Начальник наборного стал загибать пальцы:

– Дежурному редактору, цензору, «свежей голове», бюро проверки, в отдел спецкорров и в корректорскую, – шесть, как обычно.

– Соберите все шесть немедленно. За нехватку каждый из вас отвечает партийным билетом. Предупредите рабочих, мастеров, охрану...

– Ясно!

Подошел Полищук. Люди расступились, давая ему возможность говорить с Ягубовым. Полищук был явно смущен.

– Нехорошо получилось, Степан Трофимыч, – он попытался смягчить конфликт. – Не предупредил вас и взял ответственность на себя. Но печатать ведь и не собирались. Только для переговоров. Ведь с Какабадзе несправедливо...

– А со мной – справедливо, Лев Викторыч? – не дослушав, медленно проговорил Ягубов. – Или, может, я не ваш сотрудник? Но об этом потом...

Он повернулся к начальнику наборного цеха:

– Чего вы стоите? Ставьте в полосу загон. Или вы всю ночь тут проторчите?.. Лев Викторыч, пройдемте ко мне.

Ягубов нагнул голову, словно собрался бодать собравшихся, и ни на кого не глядя двинулся к двери. Он поднялся к себе в кабинет и открыл его своим ключом.

– Садитесь, Полищук, – теперь, когда меры были приняты, а ответсек у него в руках, Степан Трофимович успокоился и подобрел. Он просто сидел и курил в задумчивости сигарету за сигаретой. – Ну и дела! Как прикажете все это понимать? Ведь обманули-то не меня – я рядовой партийный работник. Вы обманули партию!

– Макарцев в этом вопросе меня поддержал бы.

– Опасная игра! Я думаю, что Игорь Иваныч поставил бы честь газеты выше личных симпатий.

– При чем тут личное? Наоборот! Это и есть защита чести газеты!

– Подмена понятий! Вы можете поручиться за Какабадзе, как за себя?.. Видите? Что же ставить престиж газеты на карту из-за одного сотрудника. К тому же, если говорить откровенно, я убежден: у нас в стране человек не может быть арестован, если он не виноват!

Полищук сузил зрачки и напруг губы, чтобы не возразить немедленно. И проглотил возражение.

– Согласны? – продолжал Ягубов. – Но допустим, фотокор Какабадзе действительно невиновен. Он не был пьян, не дрался. Допустим! Кто же так делает? Надо решать на высшем уровне. Тогда и я был бы «за»... Вы умный человек, Лев Викторыч. Мне жаль вас: ЦК такие вещи не прощает, сами знаете. Вы, с вашей хорошей анкетой – конченный человек. Знаете, я мог бы попытаться поговорить наверху со своими людьми, чтобы это дело замяли, взять часть вины на себя, уволить кого-либо из исполнителей. Но, прямо скажу, от вас тоже кое-что потребуется. Не сейчас и не мне – я человек без корысти. А тем, кто вас вытащит, рискуя замарать себя.

– Что потребуется? – глухо спросил Полищук.

– Мы ведь не купцы, – усмехнулся Ягубов. – Сам пока не знаю. Скажем, когда на партбюро будет решаться вопрос об оздоровлении редакции, вы должны быть за...

– За вас и против Макарцева? – уточнил Полищук, сжав пальцы в кулаки. – А если вы проиграете?

Жест этот не остался незамеченным. Улыбка мелькнула на устах Степана Трофимовича.

– Американцы считают, что тот руководитель хорош, без которого все идет нормально. А стиль Макарцева, между нами, – вчерашний день, аритмия. Подумайте, на чьей вы стороне. Зазвонил внутренний телефон.

– Сколько? – переспросил Ягубов. – Ладно, я сам займусь.

Положив трубку, он встал, подошел к Полищuku.

– Кстати, давайте посоветуемся. Хотя мы считаем, что «Мутной воды» не было, мне доложили, что собрали лишь



пять полос. Один наш сотрудник все же спрятал верстку со статей.

– Кто?

– Что делать с этим человеком? – не отвечая, продолжал Ягубов.

– Смотря с какой целью...

– Вот и я думаю: с какой? Цель может быть такая, что и не нам выяснять...

– Просто взял прочитать, – сразу сказал Полищук, подумав, что лучше предложить из двух зол меньшее. – Поставим вопрос на партбюро, товарищи решат.

– Тогда включите вопрос о коммунисте Раппопорте в повестку дня.

Степан Трофимович внимательно посмотрел на Полищука, пытаясь прочесть эффект от слова «Раппопорт», но Полищук повернулся и пошел к двери.

Из своего кабинета Лев позвонил Якову Марковичу.

– В комнате есть кто-нибудь, кроме вас?

– Ага.

– Тогда просто слушайте. Ягубов знает, кто взял верстку. Во избежание неприятностей немедленно отнесите ее Кашину. Скажите, что ее нужно передать Игорю Иванычу. Поняли?

– Значит, ничего-таки не вышло?

Но в трубке уже звучали короткие гудки. Яков Маркович мрачно оглядел сидящих рядом с ним Ивлева, Закоморного и Надежду, которая не дождалась, пока Слава к ней заглянет, и забрела к Якову Марковичу.

– Все логично, ребята! – Ивлев встал. – Это следовало предположить. Волобуева мы недооценили. Он – ягубовский сторожевой пес.

– Вот раньше были цензоры!.. – мечтательно произнес Максим, пустив кольцо дыма. – Гончаров, Тютчев, Аксаков, Лажечников... Интеллигенты! Но в данном случае, братья, вы сами виноваты!

– Интересно! – промолвил Яков Маркович.

– Есть такое полезное существо богомол, – Закоморный говорил красиво, поглядывая на Надю и вдохновляясь. – Он ловит насекомых. Зрение его устроено так, что он насекомых не видит, если они не шевелятся или ползут медленно. Раз-

дражение зрительного нерва наступает, когда объект промелькнет быстро. Тут богомол и хватает! Уполномоченный Главлита тоже замечает резкое движение. А если мелкими вкраплениями много раз, то для умного читателя можно написать даже антисоветчину.

– Эзоп ты наш! – Ивлев хлопнул его по плечу. – Представь себе: идут строчки, в которых ничего нет, кроме повторяющегося «ура!». Если раз уберешь восклицательный знак, богомол вздрогнет. И цап!

– Все гораздо проще, – Раппопорт потер спину. – Степан Трофимыч хочет заживо похоронить Макарецва. Для этого нужно доказать, что сейчас «Трудовая правда» стала более удобной для руководства. Макарецв сделал газету серой, Ягубов делает ее коричневой. В лагере, дети, я выпекал газету для зеков, которые мечтали стать свободными. А теперь я выпускаю газету для читателей, вполне довольных тем, что они сидят за колючей проволокой. Ягубов с автоматом – на вышке.

– Не расстраивайтесь, Яков Маркыч, – Надя погладила его кончиками пальцев по плечу. – У вас желудок заболит.

– Как всегда, женщина права, – засопев, согласился Тавров. – По домам, чекисты!

В коридоре Надю окликнул Кашин. Он тихо спросил ее о чем-то, она ответила и вернулась к компании, а Кашин прошел мимо.

– Чего он? – спросил Ивлев.

– Выяснил, что у меня день рождения. Спросил, почему его не приглашаю.

– Забавненько, – протянул Максим. – Его-то как раз не хватало!

Он выразительно постучал согнутым пальцем по стенке.

– Что ты ответила?

– Сказала, буду справлять в ресторане.

– В каком?

– Это надо знать ему, а не тебе. Ты, если захочешь, придешь ко мне домой. А он съездит к черту на кулички...

– Сироткина – умница, – заявил Тавров и, посмотрев на Ивлева, прибавил. – Некоторые этого не ценят.

Вячеслав пропустил замечание мимо ушей. В лифте Надежда просунула руку в карман Ивлеву, он в кармане сжал ее

руку в своей. На лестничной клетке им встретился Степан Трофимович. Замредактора сделал вид, что ничуть не удивлен этой ночной компанией, а так и должно быть. Он и не сомневался, что именно они ждали появления статьи. В чем-чем, а уж в людях он разбирался. Ягубов прошел мимо, чуть наклонив голову, и заглянул в комнату с надписью «Уполномоченный Главлита». Волобуев поднялся ему навстречу.

– Спасибо, Делез, – Степан Трофимович крепко потряс его руку. – Я твой должник.

– Да что там, чепуха...

Совершив этот краткий дружеский акт, Ягубов ушел так же быстро, как появился.

## 49. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Долговязая, чуть косолапящая Катя и юркая полненькая Люся, Надины школьные подруги, бегали с тарелками из кухни в комнату, а гости слонялись, перебрасываясь репликами. Все приехали прямо из редакции, голодные, и ворчали на тех, кто опаздывает. Чтобы побольше наготовить, Сироткина осталась дома. Катя и Люся самоотверженно помогали ей с утра. Генерал Сироткин обещал прийти домой не раньше часу ночи. Лифтеру было приказано пропускать гостей. Надежда обещала обеспечить подругам достаточное количество мужчин, но пока что выбор был небольшой.

– А Слава будет, Надь? – без посторонних ушей спросила Люся, несмотря на запрет упоминать это имя.

– Ну что привязалась! – Катя кинулась защищать ее. – Кажется, тебе объяснили...

– А чего я такого спросила? Мне хочется посмотреть, кому это наша независимая Надька все-таки уступила... Он красивый?

Надежда отрицательно мотнула головой. Благо, она резала лук, и плакать можно было в открытую. Она уже почти убедила себя, что не хочет, чтобы Ивлев у нее появился. Будут лишние разговоры, и только. Но, убедив себя, она все-таки надеялась, что он заедет. Пусть не заходит – она выйдет к нему на лестницу на минуту и возьмет веточку мимозы. Или позвонит,

что не может приехать. Пускай придумает любую причину, самую липовую, но пусть придумает!..

В дверь позвонили.

– Граждане, Закаморный, – вбегая в комнату, уверенно сообщила Сироткина, в душе надеясь, что Ивлев. Звонок повторился настойчивей, и она крикнула. – Бегу, бегу!

За порогом действительно стоял Максим, слегка набывчившись. Плащ на груди отдувался, выпуклость Закаморный поддерживал обеими руками, скрестив их на груди.

– Целоваться можно? – спросил он, не обращая внимания на сидящих по углам Раппопорта и Анечку с мужем.

– Сегодня можно, – Надя подставила щеку.

– А в губы? – он облапил ее ручищей, поцеловал и в щеки, и в губы, и в шею. – Это подарок...

Он расстегнул плащ и протянул мягкий живой комок.

– Собака? – только и произнесла Надя, не зная, радоваться или расстраиваться.

Щенок дрожал от холода, шерсть у него местами слиплась, лапы покрылись грязью. Тем временем Закаморный вытащил из кармана бутылку «Столичной» и поставил на столик под зеркалом.

– Это еще не весь подарок, Надя, – Максим указал на щенка. – Остальное подарю позже...

Кивнув, Строткина понесла щенка в комнату. Она пустила его на пол, он отбежал к буфету, наделал лужу и скрылся под столом.

– Не имела баба хлопот, – произнесла Раиса Качкарева, редактор отдела литературы и искусства, умеющая к месту вспомнить то, что всем и без нее хорошо известно. – Один щенок заменяет двух детей. Правда, это беспородный, с ним легче.

– Между прочим, – включилась Инна Светлозерская, сидевшая на подоконнике так, чтобы все могли видеть ее ноги. – Это кобелек или сучка?

– Разберемся в процессе размножения, – ответил Максим. – А, кстати, здравствуйте, суки!

– Фу, как неэстетично, Макс, – заметил полулежащий в кресле Яков Маркович. – Ну зачем же так в лоб?

– Он знает новый анекдот, – объяснил Сережа Матрикулов, молодой художник, отработавший на Сахалине три го-

да после окончания полиграфического института и теперь взятый в «Трудовую правду».

– Угадал! – сказал Закоморный. – Представляете, всех с работы выгнали. Остались Лоры, Доры, Жоры и суки. Лоры – это любовницы ответственных работников. Доры – дети ответственных работников. Жоры – жены ответственных работников...

– Прошу не оскорблять мою жену! – вставил Полищук.

– Жена молчит, – заметил Раппопорт. – Возможно, ее это не оскорбляет.

– И... – Максим выдержал паузу, – суки. Это Случайно Уцелевшая Категория Интеллигентов.

– Выпьем мы когда-нибудь? – застонала Раиса. – Или нас сюда заманили лечиться голоданием? Вон, щенку уже дали колбасы. Нам не останется...

Закоморный принял позу чтеца:

*– В стране все хуже дело с мясом,  
И партия сказала массам:  
«Опять шалит интеллигент –  
Собак развел в такой момент».*

– Я Максима боюсь, – сказала Качкарева.

– И правильно, Раиса Михайловна, делаете, – согласился Раппопорт.

– Хотя вообще-то, Яков Маркыч, я всех боюсь. На вид-то я мужик, а душа трусливая, бабская... Сегодня вызывает меня Ягубов, протягивает книжку. Смотрю, рассказы про милицию. Автор какой-то Сизов. «Быстренько, – говорит, Рая, – строчите рецензию, да на похвалы не скупитесь». «Ладно, читаю, – говорю. – А если мне не понравится?» «Понравится, Рая, – заявляет он, – если вам новая квартира нужна». – «То есть?» – «Сизов – зампред Моссовета, ведающий жилой площадью». Я в библиотеку – смотрю: на книгу Сизова уже вышло 52 рецензии. Какие только журналы о нем не пишут!

– Всем квартиры нужны, – сказала жена Полищука.

– Кроме меня, – заметил Максим, разливая водку. – А где, черт возьми, Надя? Или мы будем пить за ее подруг?

Он по очереди внимательно оглядел Катю и Люсю. Больше ему понравилась Люся, но легче достижима была Катя.

– А почему бы и нет? – озорно сказала она, и Закаморный улыбнулся, довольный своим ясновидением.

– Посмотрите, гости, – войдя, Надежда поставила на стол паштет из печени трески с луком и яйцом. – У меня сегодня потрясающие подарки. Целая выставка!

На пианино стоял подсвечник, вырезанный золотыми руками Льва из куска дерева необычной формы. Вот уже полгода Полищук, купив инструменты, резал вечерами по дереву, получая наслаждение от дел рук своих. Подсвечник напоминал скорчившегося от великой муки маленького человечка с огромным фаллосом, на котором человек, жонглируя, держал горящую свечу. Рядом с подсвечником стояла дощечка, сорванная в лифте: «При повреждении стенок кабины немедленно прекратите пользование лифтом и сообщите диспетчеру». Лишние слова на доске были выскоблены, осталось: «Немедленно прекратите и сообщите». Здесь же, между коробок с конфетами, лежал дар Якова Марковича: кусочек ржавой колючей проволоки, перевязанный розовой лентой с бантом.

– Я тоже хочу проволоку, – попросила Раиса.

– В крови горит огонь желанья, – пропел ей Раппопорт.

– Подарки замечательные, – повторила Надя, растерянно поглядев под ноги.

Там щенок выпустил со странным звуком порцию желтой слизи, которая растеклась по начищенному до зеркального блеска паркету.

– Это для аппетита, – пробурчал Яков Маркович.

– Эх, Надя! – мечтательно сказал Закаморный. – Ты не можешь догадаться, какова вторая половина моего подарка. Щенок нагадил, напустил блох. Это, конечно, приятно. Но подарок мой состоит в том, чтобы взять щенка назад и выпустить на двор, где я его нашел.

– Ход щенком, – сказал Полищук.

Максим поднялся из-за стола, вынес щенка за дверь, а после в ванной тщательно вымыл руки.

– Нблито? – спросил, вернувшись, он. – Все пьют водку? Тогда пора. За Надю, до дна! Стакановцы вы мои!

Выпили, поставили рюмки, молча навалились на жратву, сперва отмечая, что особенно вкусно, а потом поглощая все

подряд. Яков Маркович повесил пиджак на спинку стула, оглядел их всех.

– Я здесь самый старший, дети, – изрек он. – И скажу вам, что не верю я ни в близость людей по крови, ни по половому признаку, ни по расовому. Верю я только в близость по духу. И поглядите-ка, именно духовное родство запрещают, следят за единомышленниками.

– Телепатии боятся, – вставил Максим. – Вдруг окажется неуправляемой духовная связь людей?

– Слушайте! – перебила Качкарева. – Ягубов на прошлой неделе послал меня в Калугу, в обком. Подъезжаем к городу – щит с надписью: «Вперед к коммунизму!» А за щитом знак: «Осторожно, крутой спуск!» Проехали метров сто – указатель: «Дорога на свалку».

– Качкарева-то – символика, – засмеялся Полищук. – А что, если мир действительно катится к рабству?

– Мы всегда впереди, – сказала Надя.

– Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты, – пропел Максим. – Выпьем за вождей. Пускай они не устают хоронить друг друга!

Следом за коллегой Яков Маркович поднял рюмку к небу и поставил на скатерть. Он с грустью в который раз оглядел острые блюда, столь аппетитные (стол Сироткиной нисколько не напоминал о том, что с продуктами трудно). Раппопорт отломил кусочек хлеба, намазал его маслом и стал медленно жевать.

– Вы почему не пьете, Яков Маркыч? – к нему наклонилась Светлозерская. – Не пьют только стукачи...

– Успокойся, моя девочка, – невозмутимо и ласково ответил он. – Дай-ка лучше я тебе еще налью...

– Светлозерская инстинктивно укрепляет социалистический лагерь, – сказал Закаморный. – Кто не пьет, тот подрывает нашу экономику.

– Если память мне не изменяет, – заметил Раппопорт, – еще недавно Макс утверждал обратное: алкоголик расшатывает систему.

– Нормальное диалектическое противоречие, – сказал Лев.

– Постойте, постойте! – крикнула Инна. – Макс, ты между тостами успеваешь еще выпить? Переберешь!

– И разговаривали между собой обо всех событиях, как сказал Лука, – усмехнулся Максим. – Ты не беспокойся, Абрамовна, на моей потенции это не отразится.

– Мне все равно!

Сережа Матрикулов в это время прижимался коленом к ее ноге.

– Перебор – наша профессия, ребята, – твердил свое Яков Маркович. – Что такое обычная пресса? Эти три примитивные функции: информировать, просвещать и развлекать. У нас задачи посложней: дезинформировать, затемнять, озадачивать...

– По радио призывы к мирному сосуществованию, – пробурчала Качкарева, – дикторы читают голосом, будто начинается война.

– Согласно нашей философии материя первична, а сознание вторично, – стал рассуждать раскрасневшийся Полищук. – Но поскольку мы уверены, что наши идеи преобразуют жизнь, нам кажется, что слово преобразует материю. И значит, слово первично, главнее материи. Обещания заменяют материальные блага. И, стало быть, слово опаснее поступка. И чужое мнение мы давим танками.

– А что? – опять заговорил Раппопорт. – И наивные потомки, Лева, будут читать наши газеты (архивы-то уничтожат!) и думать, что мы были свободны и счастливы.

– Словесное счастье!

– А реальное – нам невдомек.

– Партайгеноссе Раппопорт прав, – повысил голос Максим, – нами никогда не двигали гуманные соображения, которые изложены в наших программах. Вождями руководят два обстоятельства: жажда власти и страх. Чехословакия – это жажда власти. Щель в железном занавесе с Западом – страх перед Китаем. Задача печати – прикрывать истинные намерения лидеров. Мы – иллюзионисты!

– Тс-с-с... – Яков Маркович поднял руки. – Вам не скучно, Катя, Люся? Вы приуныли... Одна политика, молодые люди. Никакого внимания противоположному полу. Выпьем за прекрасных дам!

– За бабей! – сказал Закаморный. – Я вот все думаю, как назвать наше общество...

– Тебе поручили, – поинтересовался Полищук, – или сам?



– Сам. Знаете, есть одноразовая посуда – из бумаги: поел и выбросил. Теперь делают полотенца, носовые платки, носки из бумаги. А мы – одноразовое общество. Пожили и умерли. У нас одноразовая философия: высказались и забыли. У нас нет прошлого и нет будущего: любого из нас можно сплюнуть в урну.

– В Одессе, говорят, есть секретный завод, – вспомнил Лев, – перерабатывающий макулатуру. Своеобразный Антиполитиздат. Вышедшие миллионными тиражами речи там превращают опять в бумагу.

– Народ жалко, – сказал молчавший до этого Анечкин муж Семен.

Яков Маркович усмехнулся, хотел возразить, но не стал. А Максим поддержал Семена.

– Народ замечательно деградирует. Уровень культуры – это не число книг, а число унитазов. У нас унитазами пользуются едва ли двадцать процентов населения. Остальные – очком при пятидесятиградусном морозе. Все облепились. Левша, который мог подковать блоху, теперь не способен починить кран.

– А говорят, у нас однопартийная система, – выкликнул, допив рюмку, Полищук. – У нас давно есть вторая партия – партия наплевилов. Наплевиловизм – массовая философия, всем на все плевать.

– К сожалению, коммунисты действуют, – вставил опять Семен, – а наплевиловы – терпят.

– Это не так, – мгновенно возразил Раппопорт. – У нас работал такой симпатичный парень по фамилии Месяц. Поехал он в Курск, в командировку, и вечером, когда зажглись фонари, вышел на балкон и стал делать пипи на прохожих. И описал инструктора отдела пропаганды обкома, культурно гулявшего с женой. Макарецеву пришлось Месяца уволить, как инакомыслящего. Так что наплевиловы совершают поступки! Со мной, правда, вопрос сложнее, поскольку я коммунист-наплевилов.

– Похоже, – сказал Закаморный. – История с субботником: наплевал в душу всем, Рап!

– И наплюю еще! Я вас не шокирую, юные леди?

– Вы что думаете, мы маленькие? Да мы... – Катя смутилась, не договорила.

– Во что же верить? – тихо проговорила Сироткина, ни к кому не обращаясь.

– Уж и не знаю, во что, Наденька, – печально ответил Раппопорт. – Я, деточка, верил в Сталина...

– Вы?

– Да, я. Мы верили в Сталина, а он на нас наплевал. За это мы его оплевали тоже. Посоветовал бы верить в Бога, но это для вас нереально. Верьте в людей, которым... вы верите. Что же еще остается?

Надя порозовела, поняв намек. Ивлев, однако, не пришел, не позвонил и теперь уж не придет.

– Послушайте, мужчины! – Анечка встала, потянулась и оглядела всех. – Нельзя же круглосуточно разговаривать. Давайте споем, что ли?

– Давайте! – радостно согласился Семен и вдруг затянул высоким тенором:

*От Москвы до самых до окраин,  
С южных гор до северных морей  
Человек проходит, как хозяин,  
Если он, конечно, не еврей.*

– Сёма, господи, ну разве нельзя без политики? – Локоткову вдруг прорвало. – Я так боюсь за этот ваш треп, так боюсь!..

– Перестань, Аня! – обрезал Семен.

– Ой, мужики! – закричала пронзительно Инна. – До чего вы все занудные! Я в новом платье. Ну хоть бы посмотрели, какое декольте! Ведь все видно до колен. Прекратите разговоры! Я буду раздеваться.

Светлозерская встала и, покачивая бедрами, пошла вокруг стола. Обошла всех и повалилась к Якову Марковичу на колени.

– Посмотрите, Рап, глядите сколько хотите! Правда, красиво. Вы один тут настоящий мужчина. Они все дерьмо! Потрогайте, какое у меня белье – итальянское. А итальянец исчез. Она подняла подол платья.

– Инка, ты что? – прошептала Надя.

– Лучше бы музыку завела. Давайте танцевать! Расшевелим мужиков, девочки! Если еще будет политика, я не знаю, что сделаю! Женщина готова распахнуться – и желающих нету! Ненавижу!

Поставив на проигрыватель пластинку, Надежда тихо села в уголке. Она тоже много выпила и сникла. Мужчины продолжали спорить за столом, за исключением Якова Марковича, которого Светлозерская вытащила на середину комнаты. Она танцевала вокруг него, опускаясь почти до полу и снова поднимаясь, а Раппопорт неуклюже топал вокруг нее, то и дело оборачиваясь, чтобы не пропустить разговора за столом.

Видя, что ей так и не удалось привлечь внимание Якова Марковича к своей особе, Инна резким движением ухватила подол платья, подняла его до плеч, проделавшись через отверстие и швырнула платье Раппопорту.

– Ты замерзнешь, деточка, – умоляюще сказал он, продолжая по инерции топтать ногами.

А она уже скинула коротенькую прозрачную комбинацию, отстегнула чулки, ловко прыгая то на одной ноге, то на другой, сняла их, набросив Раппопорту на шею. Лифчик полетел к нему в руки. Яков Маркович промахнулся. Кряхтя, он наклонился его поднять, а когда поднялся, Светлозерская держала в руках малюсенькие цветастые трусики и торжественно оглядывала помещение, убеждаясь, что теперь-то уж точно все мужики замолчали и смотрят только на нее.

– Когда в компании, – заметил Максим, – говорят «Девочки, давайте разденемся», есть два выхода: или все смеются...

– ...или раздеваются, – окончил Сережа Матрикулов.

– Лева, пора домой! – жена взяла Полищука под руку. – Вы извините, у нас ребенок один дома остался... Пойдем, Лева!

– Прошу тебя, не будь ханжой! – он потрогал языком усы.

– Не буду, но уйдем...

Полищуки исчезли в коридоре. Надя, Катя, Люся, раздетая Инна и Анна Семеновна взялись за руки и пошли хороводом вокруг Раппопорта, увешанного одеждой Светлозерской.

– Сиди-сиди, Яша, под ракиновым кустом!..

Максим, Матрикулов, Анечкин Семен и мужиковатая Раиса молча наблюдали за ними. Полищук, уходя, чиркнул выключателем, стало темно.

– Что-то вы все раскисли? Давайте выпьем. О плавающих, негодующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся... – запел Максим. Никто тоста не поддержал, и он выпил один. – А знаете, что сказал про вас Камю? Для

характеристики современного человека будущим историкам хватит одной фразы: он совокуплялся и читал газеты.

– Я больше не хочу читать газет! – крикнула Инна, раскрасневшаяся то ли от плясок, то ли от внимания, наконец-то ей уделяемого.

– Не хочешь газет, тогда пойдем, я тебя одену. Ты меня слушайся. Я бывший директор танцплощадки.

– А Какабадзе, Инка? – громким шепотом спросила Надя.

– Я его тоже люблю. Но его же нету!

Максим Петрович, пошатываясь, снял с плеч Якова Марковича Иннину одежду и, взяв Инну под руку, повел в ванную. Инна расставила руки, уперев их в косяки.

– Куда это ты ведешь меня, насильник?

*– О, дочь греха! Зри белый кафель ванны.*

*Есть ты, есть я. Стремления гуманны.*

*Прими меня скорей в таинственной пещере,*

*В которой страсть к своей приходит мере.*

Неизвестно, был то экспромт или старое сочинение Максима, уже неоднократно использованное в обращении. Конца его никто не расслышал, потому что Надежда включила ужающе громкий джаз.

Долговязая Катя, глядя, как Максим с Инной исчезли в ванной, повела плечами:

– Мужики гордые до тех пор, пока рассуждают о высоких материях. А увидят женское тело – и можно веревки вить.

– Свейте из меня веревку, Катя, – предложил Матрикулов, облапив ее за талию. – Потанцуем?..

Катя неуклюже пошла с ним, поглядывая сверху вниз, чуть иронически. За столом ей казалось, что ее заметил Максим, и она с ним переглядывалась. Но Закаморный скрылся в ванной и долго не выходит. В этой Инне ничего особенного нет и лицо вульгарное.

– Дайте кто-нибудь сигарету! – раздался вопль Максима из ванной.

Выскользнув из объятий Матрикулова, Катя схватила на столе сигареты, спички и побежала в ванную. Она открыла дверь и в слабом свете, доходившем сюда из кухонного окна,

увидела Инну, склонившуюся над ванной, и Максима, стоящего позади нее.

– Спасибо, Катюша, душа моя! – сказал Максим, когда Катя сунула ему в рот сигарету и зажгла спичку, стараясь глядеть только на сигарету. – Спасибо, душа моя! Дай поцелую!

Макс сунул зажженную сигарету Инне, но она уронила ее в ванну. Закаморный обнял Катю одной рукой и притянул к себе. Она без сопротивления подчинилась ему, а когда почувствовала, что Сергей тянет ее от Максима за руку, обвила руками Закаморного за шею, забыв об Инне. Сергей гладил Катю. Инна медленными ласковыми движениями расстегивала пуговички Сергею.

В комнате между тем Люся пригласила танцевать Семена. Анечка напряженно наблюдала, как Семен все крепче прижимает Люсю к себе и та не сопротивляется. Ну как это можно, как можно? Пускай он пьяный, ему все равно с кем, думала Анечка. Но Люся-то – она ведь женщина, видела, что я с ним пришла! Есть же какая-то женская солидарность. Или теперь уж ничего святого нет? Нехорошо это, нехорошо!

– Хочу пить! – сказала Люся.

Они направились на кухню.

– Семен! – позвала Локоткова. – Я тоже хочу пить!

– Случайные связи только укрепляют семью, Аня, – объяснил, обернувшись он. – Ты не бойся!

На кухне, пока Люся пила, Семен погасил свет. Из ванной доносились сопение, стоны, бессвязные слова.

– Нет, – говорила Люся, – нет.

– Почему же нет?

– Потому что нет! Закройте хоть дверь!

Семен притворил дверь и забаррикадировал ее столом. Анечка не выдержала, встала и последовала на кухню. Дверь в кухню оказалась запертой. Анечка открыла дверь в уборную и, присев на краешек унитаза, заплакала. Из ванной доносился хриплый женский голос: «О-о-о!» На краешке унитаза сидеть было неудобно, а ломиться в дверь на кухню – стыдно. Они там разговаривают, больше ничего не может быть. Но слезы капали, и Анна Семеновна их не вытирала.

Раиса Качкарева полулежала на диване и разговаривала с Надей. Раппопорт перед книжным шкафом сам с собой играл

в игру. В полутьме он угадывал, что за книга на полке, вынимал и убеждался, что выиграл сам у себя. Услышав звонки, он пошел открыть дверь. Но это звонил телефон в соседней комнате. Яков Маркович уселся во вращающееся кресло.

– С кем вы желаете говорить?

– Мне нужен Тавров.

– Игорь Иваныч?! – изумился ничему не удивляющийся Тавров и на всякий случай оглянулся. – Ты откуда?

– Все оттуда же, Яков Маркыч. К сожалению...

– Как ты меня нашел?

– Да просто: «свежая голова» в редакции подсказала... У вас там весело?

– Не знаю... – замылся Раппопорт. – В целом весело... Как твое самочувствие?

– Медленно все... Вот, выходить разрешили – двести метров в день. Ну, лечебная гимнастика – лежачая... Устал я...

– Болеть устал? Это мне понятно!

– Нет, Тавров, не болеть... Что Ягубов творит? И ведь его поддерживают! Надо бы задушить, да сил пока нет.

– Еще навоюешься!

Установилась пауза, которая заполнилась джазом, долетающим из столовой. Макаргецу трудно было, и Раппопорт его не торопил. Не добившись никаких результатов, Зинаида в отчаянии поделилась с мужем.

– Мой сын убийца? – крикнул ей Игорь Иванович. – Нет у меня сына! Вся жизнь кувырком...

– Есть, – холодно возразила она. – Твои позы никому не нужны и, тем более, мне. Ты обязан поправиться хотя бы для того, чтобы спасти Бобочку!

Такой бледной и жесткой Макаргецев жену никогда не видел. После того как она ушла, он мучился, скрипел зубами, кричал, не в силах совладать с собой, и наконец решился звонить Якову Марковичу. А позвонив, молчал.

– Может, мне о пенсии подумать, Тавров, как считаешь?

– Ты для этого звонишь?

– Нет, Яков Маркыч... Чего крутить? С сыном, брат, плохо.

– Понимаю...

– У тебя нет каналов – надавить? Был бы я здоров, мигом нажал. Но я временно вне игры...

- Попробовать могу...
- Попытайся. Ведь у тебя самого сын!
- Эмоций не надо.
- Ну, извини, Тавров, что оторвал от стола.
- Пустяки, я домой собрался. Поправляйся, все будет в

порядке.

- Думаешь?
- Уверен!

Дверь ванной открылась. Там происходила перемена декораций. Максим, застегивая рубашку, жестом пригласил Раппопорта:

- Присоединяйся к нам!
- Рад бы, ребята, да нечем...
- Вечно ты прикидываешься старше, чем есть, Яша!

Яков Маркович отечески потрепал Закаморного по шее, прошлепал по коридору и тихо притворил за собой дверь.

- Рап ушел, – рассеянно сказала Надежда.
- А ты все надеешься на Славку? – изрекла Раиса грубоватым прокурренным голосом.

Сироткина придвинула к себе подсвечник в виде человека и машинально гладила его выступающую часть, облипшую мягким стеарином, стекшим со свечи. Пламя покачивалось от движений рук.

– Гладь, гладь, – сказала Качкарева, – если больше гладить нечего.

Раиса обняла Сироткину за плечи, прижала к себе и стала гладить ей плечи и грудь. Надежда размякла, расслабилась, прижалась к Райке, и они поцеловались в губы.

– Счастливая ты, Надежда! Для твоего возраста их полно. А моих война да лагеря уволокли. Я одна росла – и за бабу, и за мужика. Только с подругами и целовалась.

– Я понимаю.

– По мне, так без мужчин даже лучше. Хоть бы они все передохли! От них радости – одни аборт...

Перевернув Надю набок, Качкарева подмяла ее под себя, задышала часто, прижала к животу ее бедро и стала остервенело целовать Наде шею и плечи.

– С ума сходишь, Райка, пусти.

Надежда вырвалась и села, поправляя кофточку.

– Я лучше, – сказала Райка обиженно.

Пошарив на столе, она нащупала пачку сигарет, но в ней было пусто. Качкарева смяла пачку и с остервенением запустила комок в противоположный угол.

## 50. ДОЖДЬ

Дожди в апреле в Москве редки, и мелкая водяная пыль, липнувшая на лицо и руки, заставляла Раппопорта цедить сквозь зубы несправедливые обобщения. К тому же освещение на улицах почти совсем погасло: сэкономили электроэнергию. Яков Маркович спотыкался на трещинах асфальта, ступал в выбоины, заполненные водой, и обобщения местами переходили в обычную брань.

Он шел по улице в поисках автомата. Стрелки близились к часу ночи. В будке первого автомата провод болтался, а трубка была оторвана. Яков Маркович протопал еще полквартила. Шляпа промокла, вот-вот отсыреют ботинки, и тогда заночует спина. У второго автомата трубка была на месте, но когда монета упала, раздались короткие гудки. Монету автомат не вернул. Третий автомат, рядом с предыдущим, признаков жизни не подавал. Несправедливые обобщения иссякли, остались одни ругательства. Тавров двинулся дальше, но теперь ему не попалось никаких автоматов, даже поломанных.

Он и при свете-то плохо видел, а теперь просто шагал наугад. Ориентиром служила огромная светящаяся надпись на крыше дома: «Мы придем к победе коммунистического труда!» Первые две буквы в «победе» отсутствовали. Поделиться открытием было не с кем, а беречь в памяти не имело смысла, ибо жизнь всегда своевременно подбросит нечто более остроумное, когда надо. И когда не надо, тоже. А вообще-то вверх, на крышу, задираТЬ голову было неудобно. Журналисты – кроты, вспомнил Раппопорт измышление Закоморного. На свет смотреть им нельзя, ослепнуть могут. Сидят в газетных норах до ночи, корябают подлости, ночью вылезают довольные собой, а утром спят сном праведников и, что делали вчера, во сне не вспоминают.

Автомат отыскался наконец. Двухшек больше не было, пришлось опустить гривенник. С третьего раза он застрял, и номер набрался.



– Сизиф? Не спишь?

– Кто это? – ответил голос. – Плоховато слышно! Перезвоните.

Мгновенно перевернув трубку, Яков Маркович стал орать в наушник:

– Сизиф! Алло, Сизиф! Не вешай трубки! Автомат, в рот его долбать, не фурычит!

Он снова быстро перевернул трубку и прислонил к уху.

– Рапик? Это ты, роднунелька? Откуда?

– Говорю же, из автомата, – он уже приспособился быстро передвигать трубку от рта к уху. – Надо увидаться, Антоныч! Дельце есть.

– Увидаться? Лучше бы безо всякого дельца. Но в крайнем случае можно и по делу. Приезжай!

– Сейчас? – Раппопорт покосился на часы. – А спать я когда буду?

– В нашем возрасте можно не спать.

– Это смотря кому...

– Что? Приезжай, говорю! Тяпнем по рюмке чаю!

– Еду! – гавкнул Яков Маркович и швырнул трубку в угол автоматной кабины с такой яростью, что пробил бы стенку кабины, если бы она не была сделана из обрезков танковой брони.

Опять он побрел пешком вдоль самого края тротуара, то и дело оглядываясь, не промелькнет ли такси. Он не любил ходить пешком. Я, ребята, уже находился, наездился, налетался и наплавался по самые завязки, говорил он. Ну, а путешествовать с моей анкетой, вы сами понимаете. Единственное, что мне еще приходится делать, так это кое-как передвигаться. Передвигаясь между огромных луж, он остановил такси.

## 51. САГАЙДАК СИЗИФ АНТОНОВИЧ

### ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

*Я родился на баррикадах 1905 года в семье пламенного большевика-ленинца. Мой отец, Антон Сагайдак, русский революционер, друг и соратник Ленина, погиб, защищая Советскую власть. В качестве представителя рабочего класса я был направлен учиться*

*в медицинский институт, по окончании которого стал сексопатологом. С тех пор вся моя жизнь посвящена борьбе с сексуальными болезнями трудящихся.*

*В Коммунистическую партию вступил, чтобы своим трудом способствовать быстрейшему строительству социализма. Будучи доктором медицинских наук, профессором, много внимания уделяю общественной работе и пропаганде среди населения марксистского сексуального образования.*

*Являюсь основоположником новой отрасли советской медицины – импотентологии, автором ряда исследований, используемых в народном хозяйстве, в частности фундаментального труда «Теоретические основы импотентологии» (Медгиз, 1967 г. Для служебного пользования).*

*Верный и преданный сын Коммунистической партии, считаю ее вдохновителем и организатором всех своих побед.*

**Примечание Сизифа Антоновича в домашнем экземпляре автобиографии:**

*Родился без баррикад. Отец – крещеный еврей, коммивояжер, убит при попытке перейти границу с Польшей. Была ли мама, неизвестно. Беспризорник. Воровал, затем за две буханки хлеба выменял диплом об окончании Саратовского медицинского института. Диссертаций сам не писал, но защищал лично. По профессии – зека. В партию вступить заставили: без этого не присуждали степень доктора. Знания пропагандирую только за личный расчет, хотя и не обязательно деньгами. Основоположником новой науки стал благодаря низкому уровню науки в стране. Однако то обстоятельство, что партия вдохновляет меня на исследования в области импотенции, – это святая правда.*

## КРИВАЯ САГАЙДАКА

Когда Сизифу Антоновичу исполнилось шестьдесят, он намеревался скромно отметить это событие в узком кругу друзей в ресторане «Арагви». Но Яков Маркович сказал ему:

– Не может такого быть, Сизиф, чтобы о тебе забыли!

И вправду, в день юбилея дома у Сагайдака раздался телефонный звонок.

– Поздравляю, Сизиф Антонович, от себя лично.  
– Спасибо, – обрадовался Сагайдак. – Большое спасибо!  
– Вы, наверное, уже знаете, – продолжал человек с густыми бровями, – что Президиум Верховного Совета наградил вас орденом Трудового Красного Знамени? Очень рад!

Сизиф Антонович понятия не имел об ордене, но в тот же день за ним прислали машину; Сам, улыбаясь, повесил ему на грудь «Трудовика» и долго тряс мужественную руку. Министерство здравоохранения засуетилось после этого, не зная как быть. Дело в том, что Сагайдак ни в каких научных учреждениях не работал, постов не занимал. Но рецепты выписывал на красивых бланках с фиолетовой надписью:

**Сизиф Антонович Сагайдак**  
**доктор медицины, профессор,**  
**Генеральный импотентолог**

Как отмечать юбилей такого специалиста, не было ясно ни в Минздраве, ни в Академии медицинских наук. А указаний не поступило. На всякий случай делегация Минздрава во главе с замминистра явилась к Сагайдаку на дом. Он встретил их в халате, заслушал приветственный адрес, угостил коньяком. В ответном слове Сизиф Антонович степенно сказал:

– Благодарю вас от Генерального секретаря и от себя лично.

– Чудила ты, Антоныч! – мягко упрекнул его Раппопорт. – Ты попросил, чтобы юбилей твой в Большом театре справили? Он бы не отказал. Думаешь, он позвонил бы кому-нибудь на свете, чтобы поздравить с днем рождения? Никогда в жизни! А тебе кланяется. Он боится только своих внутренних органов!

Нельзя сказать, чтобы Сизиф Антонович был без образования. Он действительно вник в содержание диссертаций, которые защищал, читал литературу, знакомился с народной медициной. Человек от природы умный, он из всего извлекал рациональные зерна и достиг в своей области высокого мастерства. В результате лечение распространенных болезней продвигалось у него лучше, чем там, где полы паркетные, а врачи анкетные, поскольку он лечить не боялся и ни с какими органами не согласовывал. К тому же к нему можно было попасть

тихо. И получилось, что Сизиф Антонович стал неофициально главнее главного уролога Минздрава СССР академика Лопаткина, с которым, впрочем, сосуществовал в великодушной дружбе. Возраст руководителей партии и государства был таков, что мало кто не лечился у Сагайдака.

– ... знаете? – спрашивал, ухмыляясь, Сизиф Антонович.

– Ну конечно! – отвечали ему.

– Предстательную железу я удалял, – небрежно говорил он. – ... знаете? Железу я удалял. Другим многим – тоже. А ... слышали? Ему не я удалял. Удалял доктор Рабинович из Риги... Вы понимаете, что это за правительство без предстательной железы? Они бы и половую любовь, а не то что сексуальную литературу запретили. Только пока не научились делать юных ленинцев другим способом.

Если Яков Маркович не может дозвониться к Сизифу Антоновичу, он знает, что наверху произошла задержка мочи. Если же Сагайдак дома, но просит позвонить через час, значит, он впери́л глаз в микроскоп, а рядом с ним, красный как рак, сидит высокопоставленный гебон<sup>1</sup>, обзаведшийся гонореей. Или министр, шепотом рассказывающий о том, что у него ничего не получается.

– В Англии смог, а дома не смог! – раздражающе громко шутит Сизиф Антонович.

– Я в Англии ничего себе не позволяю! – умоляюще говорит министр.

– Знаю! – успокаивает его Сагайдак. – Такой анекдот.

Все его больные меньше боятся разглашения государственных тайн, чем венерических. Это понятно: государственные тайны – государственные, а венерические – свои. Все тщательно скрывают друг от друга, что бывают здесь. Некоторые больные намекают, что в органах известно про его антисоветские анекдоты. Однако Сизифа Антоновича не испугать.

– Они у меня все здесь! – поясняет он друзьям, поднимая вверх указательный палец. – Я сам работаю в органах. И органы под моим руководством всегда работают лучше.

Эта мысль дошла до верхов и понравилась. Наверху посмеялись.

---

<sup>1</sup> Это слово – изобретение проф. Сагайдака. – Прим. автора.

– Ничего смешного не вижу! – немедленноотреагировал профессор Сагайдак. – Сталин следовал академику Павлову. Он верил, что у народа можно образовать условные рефлексы, приучить людей, как собак. Я иду дальше. Я считаю, настоящий ученый, такой, как я, вполне может образовывать условные рефлексы у вождей.

К сожалению, лечить высокопоставленных работников столь же почетно, сколь невыгодно. Всех их делает похожими уверенность, что их положение уже само по себе оказывает благодетельное влияние на здоровье. Но идейные побуждения, смешанные с проблемой престижа и личной неприкосновенности, заставляют Сагайдака лечить бесплатно руководителей на должностях не ниже членов ЦК. В деньгах Сизиф Антонович не нуждается. Каждое лето он уезжает на Черноморское побережье Кавказа и снимает дачу, в которой обычно в курортный сезон жило бы человек по двадцать в пять смен, платя пять рублей за койку на ночь. Работает Сизиф с утра до вечера, как Сизиф. Возле дома, под виноградной лозой, вьется очередь. В основном это мужчины среднего и пожилого возраста, но попадают иногда и молодые. Всем нужен генеральный импотентолог. Приемная плата профессора – 50 рублей за визит. А когда назначается курс лечения, пациент вносит еще 400–500 рублей. Медсестра может не регистрировать больного в книгу учета, и это обойдется еще в 100 рублей. Кроме того, Сизиф Антонович дает консультации насильникам о том, как уйти от справедливого суда, доказав, что все было добровольно, и превращает женщин в девушек путем хирургического вмешательства.

На деньги, заработанные летом, Сизиф Антонович живет зимой в своей московской кооперативной берлоге. Он лежит в халате на диване и смотрит по телевизору хоккей. У него роскошная библиотека. Он изучает непризнанных философов, читает хороших поэтов, запретную литературу, а также просматривает картинки в зарубежных журналах. Все это Сагайдаку тащат лечащиеся у него гебоны. Тем из них, кто приносит особо запрещенные книги, Сизиф Антонович читает краткий курс аутогенной тренировки и показывает некоторые упражнения из йоги, укрепляющие потенцию. Генералы, министры, полковники, осваивая упражнения, бегают по комнате на четве-

реньках, задержав дыхание и обливаясь потом, а Сизиф Антонович стоит на диване с хлыстиком и покрикивает:

– Живей! Кто хочет стоять, тот должен бегать. А ну резвей, кобелек!..

При этом он доверительно сообщает, что дуракам аутогенная тренировка не помогает.

Некоторые, особо любопытные больные интересуются, как у самого доктора обстоят дела с этим вопросом.

– Это у вас вопрос, – отвечает профессор, – а у меня восклицательный знак.

На седьмом лагпункте Карлага, куда он попал по доносу жены одного ответработника, которой отказался сделать аборт, профессор Сагайдак был избит сапогами и оказавшимся на столе глобусом за отказ стучать на другого зека по фамилии Раппопорт. Часть ударов попала в пах. Раны зажили, но потенция не восстановилась. Сизиф с грустью прощупывал себя, убеждаясь, что образовались спайки. Желания остались, но они были нереализуемы, что для специальности, обозначенной в деле зека Сагайдака, обидно вдвойне.

Два года спустя хирург Баумбах, вместе с которым Сагайдак работал в лагерной больнице, предложил Сизифу Антоновичу сделать операцию, над осуществлением которой Баумбах думал, еще когда был на свободе или даже раньше, когда учился в Берлине и Вене. Поколебавшись, Сагайдак согласился. Хирург вставил ему хрящ от только что умершего зека. Когда шов зажил, оказалось, что теперь Сизиф Антонович находится готовым к бою в любое время. Доктор Баумбах лично наблюдал за результатами своей операции в больнице, где установил к Сагайдаку очередь из зечек, с предварительной записью. И некоторые интеллигентные женщины просили книгу жалоб, чтобы написать благодарность. А поскольку такой книги в лагере не полагалось, они не раз устно повторяли Сагайдаку, что гениальный хирург Баумбах просто исправил ошибку природы, от которой, как говорил сам Мичурин, мы не можем ждать милостей.

Впоследствии Сизиф Антонович не раз подумывал о том, чтобы освоить операцию, придуманную его учителем. Сагайдак мог бы зарабатывать хорошие деньги. Но тогда он лишился бы собственной уникальности, а самолюбие свое он ценил

дороже денег. К тому же некоторые ответработники, получив такой орган, возомнили бы себя независимыми от Генерального импотентолога. И он реализовал другую идею Баумбаха о том, что Генеральный секретарь не может обойтись без Сагайдака. Сагайдак мечтал вставить эту важную должность в устав партии. Капитальный труд профессора Сагайдака «Теоретические основы импотентологии» был написан, разумеется, Яковом Раппопортом, тайно посвящен хирургу Баумбаху и напечатан по прямому указанию начальника Главлита СССР, железу которого массировал Сизиф Антонович. Таким же образом для издательства «Знание» была создана научно-популярная брошюра «У нас импотентов нет!». Яков Маркович накал ее с особым удовольствием. Сам он наотрез отказался лечиться, заявив, что лично ему так жить на свете гораздо спокойнее.

Подумывал Сизиф Антонович о том, что и ему хорошо бы съездить за границу, посмотреть кое-что. Но он понимал, что его ни за что не отпустят. Однажды Сагайдак прочитал в воспоминаниях Уинстона Черчилля, что у власти должны стоять люди, физически здоровые, иначе на решениях, принимаемых ими, могут отразиться их состояния. Генеральный импотентолог обладал в этой области слишком секретной государственной информацией.

## 52. ДЕСЯТЫЙ КРУГ

На Фестивальной улице, в двух кварталах от Речного вокзала, Яков Маркович выбрался из такси. Хотя он бывал здесь часто, он долго стоял, соображая, в какой из двух десятков домов-близнецов ему надо войти. Спросить в эту ночную пору было не у кого. Наконец он угадал подъезд и поднялся в квартиру на последнем этаже, владелец которой не терпел, чтобы у него ходили на голове. На звонки отозвался быстрый собачий лай, потом послышались размеренные шаги. Сизиф Антонович, мужчина гигантский во всех отношениях, с львиной гривой курчавых седых волос, в халате, наподобие старого арестантского, на который пошел, наверное, рулон махровой ткани, синей в белую полоску, сграбастал Раппопорта в объятия. Бе-

лоснежная болонка Киса, визжа от радости, скакала вокруг Якова Марковича, ухитряясь при каждом прыжке лизнуть ему руку.

– Здорово, сиделец! Чертовски рад, Рапик, тыр-пыр-тыр!.. – Сагайдак прибавил длинную тираду, понять которую посторонний человек мог бы только после перевода ее с блатного на лагерный, с лагерного на матерный, а уж с матерного на русский. – Раздевайся, в рот тебя долбать. Я сейчас...

Волоча шлепанцы, Сизиф Антонович протопал в комнату и поднял брошенную на диван телефонную трубку.

– Так вот, душа моя! – продолжил он разговор с неизвестным собеседником. – Отдельную квартиру для себя и молодой жены ты получишь только одним способом. Поверь, ничто так не действует на жилищную комиссию, как недержание мочи. Справку я дам... Опровергнуть? Не-воз-мож-но! Заставить твои мышцы крепче держать мочу не смог бы даже Ягода... Ну, что? Согласен?.. Тогда слушай. За несколько часов до прихода жилищной комиссии собери побольше ненужной одежды. Тщательно закрой форточки. И пусть ваша семья мочится только в тряпье, чтобы ни капли не пропало! Ты понял? И папа, и мама, и твоя молодая жена, не говоря уж о тебе! Дальше самообслуживание: помочившись, каждый берет свою тряпку и бежит ее развешивать на батарее. Да, и все пейте как можно больше чаю!.. Вы хотите новую квартиру или вы не хотите? Если хотите, и вам придется понюхать... Соседям скажи, что если они будут шуметь, ты их всех заразишь недержанием мочи, понял, в рот тебя долбать?

Развалившись на низком кресле, Яков Маркович полуприкрыл усталые веки, рассеянно скользя зрачками по знакомым предметам. Собака улеглась возле него, похлопывая хвостом о его грязную штанину. Квартира Сагайдака была полной противоположностью его собственной. Стену, диван, пол укрывали ковры. Старинные вазы, подсвечники, лампы, шкатулки, статуэтки, полу- и полностью обнаженные фигурки в фривольных позах – в хаосе заполняли плоские пространства на серванте, письменном столе и этажерках, красовались на полках перед книгами и между тускло мерцавшей в полутьме фарфоровой и серебряной посудой. Справа и слева от двери распластались два гобелена, японский и китайский. Хрусталь-



ная люстра на потолке могла конкурировать разве что со своей сводной сестрой в Большом театре.

– Прости меня, Яша, – Сизиф Антонович отнес телефон в угол и накрыл его грелкой для чайника – русской бабой, одетой в сарафан. Затем хозяин заходил по комнате, живописно останавливаясь то на фоне японского гобелена, то на фоне персидского ковра. – Ведь без моих рекомендаций они умрут в коммуналке. Ну, да ладно!.. Ты, Яша, удачно меня застал. Я вчера появился.

– Где был? – удивился Яков Маркович, зная, что профессор до лета никуда не сматывается.

Сагайдак подошел к Раппопорту вплотную и тихо сказал:

– Умер Великий Зека...

– Баумбах?! Но где?

– Там. Я был там, сиделец... Мне позвонила его родственница, старуха. Ей сообщили телеграммой, что он умер. Теперь они иногда сообщают... Я тут же молнировал им, что приеду и похороню его сам. Я должен был, ты же понимаешь, Яша...

– А где это?

– Где? Все последние годы он работал в лагере в Потье.

– Слышал. Сверхсекретная шарашка.

– Она! Еле попал... В конце концов они согласились выдать труп. Я спас старика от общей могилы. Труп я получил, но он уже начал разлагаться. Хорошо, я сообразил взять с собой заморозку.

– Он сам умер или помогли?

– Я произвел вскрытие и убедился, что он умер просто от старости. Я стал искать гроб и достать не смог. Гроб я сделал сам, украв ночью доски на лесопилке. Машину мне тоже не дают. Договорился в Саранске с таксистом за пятьсот рублей съездить туда и обратно. Но гроб везти таксист отказался наотрез. Тогда я посадил Баумбаха на заднее сиденье и всю дорогу его держал в обнимку. В Саранске, найдя ход через обком партии, сделал цинковый гроб и справку, разрешающую привезти труп в Москву. Прошлым утром я кремировал Великого Зеку.

– Почему не позвонил?

– Прости великодушно, но я хотел стоять в почетном карауле один. Он мой учитель. Я был доходягой – он меня спас.

– Он спас нас и пол-Караганды.

– Это был классный уролог. Слава его была столь велика, что однажды зека Баумбаха взяли, переодели в генерала медицинской службы и увезли на самолете. И он консультировал почечную колику у Усатого. А после консультации его раздели и столкнули в лагерь с подпиской молчать под угрозой расстрела. Не убили – вдруг опять потребуется. Все лагерное начальство его слушалось. Без него гебоны проржавели бы от люэса, в просторечье именуемого сифилисом! Я его жалкий подражатель!..

– Слушай, Антоныч, а почему он-таки упрямо не хотел на свободу? Ведь его двадцать пять давно кончились!..

– Просто был умней нас. Он понимал, что выйти некуда. Свободней, чем в лагере, не будет. Там его кормили, жилье было хорошее, нары без щелей, а жен восемь или девять, и все его обожали. А приварок он имел – дай Бог каждому. Что еще советскому человеку надо? Его чтили все: и уголовники, и политические. Все думали, что он еврей, а Баумбах – это случайно. Ему пришлось попасть в лагерь с паспортом одного вора, который, в свою очередь, украл документы у кого-то. Теперь это можно разгласить. Настоящая его фамилия Зиновьев, за что его и посадили. Чистый русский интеллигент... Он более настоящий Зиновьев, чем тот, который снюхался с Каменевым и Троцким. Но люди считают так: раз уролог, значит, еврей.

– До некоторой степени это ведь так и есть...

– Рапик, я с ним переписывался до последнего дня! Конечно, не по почте. Он постоянно консультировал меня в сложных случаях. Все-таки Берлин и Вена – это не Саратовский мединститут, особенно если ты в нем даже не учился.

– Теперь он отдохнет.

– На том свете? Ты уверен?

– За него – уверен! Это мне на том свете будет еще хуже.

– Разве может быть хуже?

– Может, старина! Сейчас докажу. Дай-ка вон тот пухлый том в роскошном переплете.

– Данте? Я думал, ты читаешь только их доклады.

– Заткнись! – Яков Маркович открыл тяжелый переплет.

– «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины»... Вот он, «Ад». Обратимся к поиску достойного меня круга.

– Ну и что тебе подходит? – ухмыльнулся Сизиф Антонович, зайдя сзади и разглядывая гравюры.

– В том-то и сложность, что мне все подходит. В любом круге Ада для меня есть местечко. Смотри, Антоныч: вхожу во врата Ада – сидят ничтожные. Могу я сесть рядом, как считаешь?

– Ну, допустим...

– Идем дальше... Спускаюсь в первый круг, правдоподобно и со знанием шарашечного дела описанный после Данте Александром Исаичем... Тут, между прочим, некрещеные и добродетельные нехристиане. Гожусь? Да с превеликим удовольствием! Ведь тут, в первом круге, компания какая, ты только глянь: великие философы – Сократ, Платон, Сенека, Цицерон. Карла Маркса, правда, не указано. Подгонять под него свой социалистический реализм Данте еще не заставляли. Может, с великими философами рядом? Нет уж! Меня столкнут ниже, в глубь чертовой воронки!

– А что там, ниже?

– Во втором круге? Тут сладострастники. Тоже компашечка, будь здоров! Ох, люблю о сексе поговорить!

– Любишь ты, Яша, свои слабости преувеличивать!

– Не преувеличиваю, Сизиф! Экстраполирую! А проще говоря, смотрю вперед! Третий круг – чревоугодники. Чем меньше ем, тем больше мне это нравится. Круг четвертый – скупцы и расточители. Ну, я не скупец, это проверено. А расточитель – факт. Расточаю всего себя, жизнь пускаю на ветер. Пятый круг: гневные. Ух, я и гневный, уролог! И готов метать икру тут, в пятом круге.

– Забавно, – процедил Сизиф Антонович.

– Идем дальше, брат Вергилий!.. Круг шестой – кто? Еретики! Душа не нарадуется, какая теплая шайка. Эпикур, между прочим, тут. Вот с кем чайку попить! Лучше зеленого – теперь на зеленый перешел, не так сердце трепещет... Опускайся, опускайся ниже! Круг седьмой: насильники над ближним и его достоянием – первый пояс. Самое место для журналиста с партбилетом! Второй пояс – насильники над собою и своим достоянием. Я могу сидеть одной жопой на обеих скамейках сразу. Да и третий пояс, то есть скамейка, прямо для меня – я насильник над божеством, естеством и существом!

– Потрясающе! – прогоготал Сагайдак. – Какой разрез прекрасной действительности!

– Оставь эмоции, дай договору. Круг восьмой: обманувшие недоверившихся! Спускаемся в первый ров восьмого круга: сводники и оболъстители...

– Ты не сводник!

– Тогда попробуй попроси у меня еще ключи!.. Второй ров: льстецы. Третий ров: святокупцы.

– Это кто?

– Те, кто звали других к светлому будущему, в которое сами и не собирались. В четвертом рве восьмого круга – прощигатели, в пятом – мздоимцы. А что же мне – задаром писать это дерьмо? Шестой ров – лицемеры. Ну, тут не опровергнешь, гожусь! Седьмой ров – воры. Я вор? Вор! Когда я пишу «победа коммунизма неизбежна», я ворую у людей последнюю надежду.

– Будет бить себя в грудь! Люди не такие дураки!

– Люди не знаю, а у Данте – точно сообразилровка работала! Поэтому лукавых советчиков он сажает еще ниже – в восьмой ров. А в девятом рве – зачинщики раздора. Тоже можно найти для меня местечко. Десятый ров – поддельщики металла. Данте – великий эзопонец! Черт знает, что он имел в виду! Во всяком случае в десятом рве восьмого круга маются поддельщики людей, денег и слов! Ну, уж это весь Союз журналистов встретишь!

– А кто в девятом круге? Не помню.

– Девятый круг, профессор, фантастически звучит: там обманувшие доверившихся.

– Доверившиеся – это читатели «Трудовой правды»?

– В частности, они. Ну, как? – и Рап гордо посмотрел на Сизифа, будто «Ад» написал он. – Так вот. Первый пояс девятого круга – предатели родных, второй – предатели родины и единомышленников, третий – предатели друзей и сотрапезников, четвертый пояс – предатели благодетелей.

– Сукой ты никогда не был, Яша!

– Откуда ты знаешь, кто был, а кто нет? Ну так вот... Ниже всего, в центре Земли, предатели величества Божеского и человеческого. Конечно, я пойду в тот круг, куда партия прикажет, но лучше, конечно, сюда, в девятый. А вообще, я

вот что тебе скажу, Антоныч: мне этих девяти кругов мало. Данте в двадцатом веке не жил, наивный был. Мне нужен десятый, такого у Данте нет. Данте не предвидел, а я его заслужил.

– Сгущаешь!

– Не сгущаю, Сизиф. В десятом круге сидят растлители не отдельных людей, но целых наций, целых народов, а может, и всего человечества. Знаешь, кто в десятом круге? Вижу там Ленина, Гитлера, Сталина, Мао, ну и мельче шавки, бесконтрольные политики и их журналисты. Авось и для меня кто на сковородке подвинется... Я всю жизнь для них гавкал. И наказание свое я наперед знаю: вечно читать вслух, с выражением, собственные статьи с утра до вечера... А может, доверят для Сатаны отчетные доклады писать? Лозунги сочинять: «Черти всех стран, соединяйтесь!», «Все дороги ведут к сковородке!». А что, если в аду еще о субботах не слышали? Помогу! Только бы в десятый круг попасть! Так хочется занять наконец свое законное место. Как думаешь, окажут доверие?

– Окажут, Яша, окажут...

– Если окажут, не пойду. Значит, они меня опять обмануть хотят, выжать больше, чем дать!

– С такой честностью, как у тебя, Яша, можно думать о раскаянии... А тогда есть шанс попасть в Рай!

– В Раю я уже пожил. Хватит с меня! О честности мне поздно думать, а раскаяние – на фига мне оно?

– Пожалуй! – согласился Сагайдак. – Раскаяться – значит, написать книгу «В круге втором». А потом «В круге третьем» и так далее. Одному человеку это не под силу. Тут надо коллектив здоровых авторов. А где их найти – здоровых?

Сизиф Антонович повалился на диван и воздел руки к потолку.

– Только в Ад! – твердил Яков Маркович. – Может, мне заявление написать? «Прошу послать меня в десятый круг Ада... И т.д.» Я ведь уже писал...

– Когда?! – испуганно спросил Сагайдак.

– Мальчишкой писал, чтобы меня в Испанию послали. Горел мировой революцией. Мать тогда уже сидела. Ради мировой революции я от матери отрекся. Верил, что она Сталина предала.

Сизиф Антонович поднялся с дивана.

– Прошу, Яша, хватит. Видно, у меня нервы после похорон Баумбаха сдали... Паскаль говорил, что есть два рода людей: грешники, считающие себя справедливыми, и справедливые, считающие себя грешниками. Всеми своими бичеваниями ты только доказал, что принадлежишь ко вторым, больше ничего. И забудем Данте! Ты чего пришел среди ночи?

– Дельце есть.

Но тут вдруг мягкая рука нежно обвилась вокруг шеи Якова Марковича. Ноздри ощутили волшебный аромат тонких духов. Золотой дождь волос прошелестел по его лицу и закрыл от него ковры, драгоценности и Сизифа Антоновича. К губам Раппопорта прижалась щека – нежная кожа, прозрачный силуэт. Яков Маркович чмокнул эту щеку два раза, почувствовав, как мягкие пухлые губы проскользили мимо его рта, едва коснувшись, и поцеловал другую щеку.

– Здравствуй, детка! – ласково сказал Яков Маркович, неуклюже облапив тонкую талию. – Ты еще не спишь?

– Она уже проснулась, – пояснил Сизиф Антонович.

Алла погладила Раппопорта по небритым щекам и тихо присела рядом с ним на египетский пуф, не запахивая яркого халата с раскиданными по всему полю золотыми хвостами жар-птиц. Полы халата свесились по обе стороны ее бедер, закрыв ботинки Якова Марковича, не чищенные с прошлой осени.

## 53. АЛЛА

### ЖАЛКИЕ КРОХИ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ РАЗУЗНАТЬ

*Занимаемая должность: Бабочка.*

*Отчество и фамилия: просит называть себя по имени.*

*Год рождения: меняла пять или шесть раз и, чтобы исключить возможность уточнения, название места, где родилась, изъела раз и навсегда.*

*Национальность: всегда такая же, как у мужчины, с которым.*

*Социальное происхождение: как и национальность.*

*Партийность: пишет, что комсомолка.*

*Образование и специальность: студентка мединститута, аспирантка философского факультета, солистка кордебалета театра оперетты, манекенщица, медсестра (в зависимости от обстоятельств).*

*Имеет ли изобретения: имеет, использует в повседневной практической работе.*

*Иностранными языками не владеет. Родным языком также.*

*Выполняемая работа с начала трудовой деятельности: трудовой книжки не имеет.*

*Правительственные награды: пока не имеет.*

*Почетное звание: будет сообщено позднее.*

*Отношение к воинской обязанности: если надо – да.*

*Паспорт утерян. Проживает с паспортом подруги.*

*Домашний адрес: непостоянный.*

## ИЗ ЖИТИЯ СВЯТОЙ АЛЛЫ

И когда родилась она из пены в неизвестном году, Голос сверху повелел:

– Быть ей красоты такой, что глаз не оторвать, здоровья отменного, и функция ее на земле – приносить мужчинам радость.

Росла она, как цветок в поле, не ведая ни рахита, ни бронхита. А выросла – не употребляла никакой косметической химии, пускай даже импортной. Вскоре достигла Алла возраста, для призвания ее достаточного, и с тех пор время ее остановилось. Стала она жить в предчувствии покоя и блаженства, слыша подле себя голоса небесных ангелов.

И встретился ей земным ангелом на Сретенке, возле кинотеатра «Уран», раб Божий Сагайдак, как раз тогда на волю по амнистии выпущенный. Сходили они в кино на комедию «Весна» за ее счет и стали жить как Муж и Жена.

Ходили, правда, по Москве одно время слухи, что до этого подрабатывала Алла с офицерами на Казанском вокзале, а после пошла на повышение к ресторану «Центральный» и стала известна в актерских кругах под кличкой Алка-зеркальница из-за своего интереса наблюдать некоторые процессы в зеркало. Но того, можно считать, не было.

Больные к Сагайдаку шли сплошным косяком, но прописываемые им инъекции синестрола, окстерола или сильбаэстрола, не говоря уж о питье жень-шеня или вытяжки из рогов пятнистого оленя – пантокрин, далеко не всегда благотворно воздействовали. И заметил наблюдательный Сизиф Антонович, что воздействие инъекций становится значительно эффективней, если делает уколы не он, а медсестра. Недюжинный ум аналитика и блестящего ученика самого Великого Зека Баумбаха почувствовал, что тут кроется порог Открытия Века.

И однажды, когда Алла, ласково улыбаясь, потерла Больному кожу ваткой со спиртом, готовясь ввести синестрол, Генеральный импотентолог тайно заменил шприц с синестролом на шприц с физиологическим раствором, а сам удалился из комнаты, сказав, что вернется через полчаса.

Ни Алла, ни Сизиф Антонович не догадывались, что это взнезменное существо явилось в образе Больного, чтобы Алла смогла наконец начать исполнять свое Предназначение. Чудо свершилось. Больной обрел желанную потенцию. Что касается Аллы, то она ощутила свою Возможность. Вскоре доктор Сагайдак разработал особую квазисекретную Методику.

Согласно плану Сизифа Антоновича, часть А – цикл уколов – продельывает доктор сам. Часть В Методики начинается с интродукции, цель которой – создание внезапной лавмеевой ситуации.<sup>1</sup> Когда надежды больного возгорятся, доктор исчезает. Больной садится на диван и замечает пачку фотографий. Он начинает перелистывать их и обнаруживает изумительные виды природы при участии юной Бабочки, что приводит Больного в состояние душевного трепета.

Тут в кабинет впархивает Бабочка, словно она сюда залетела случайно и ищет цветочек, на который можно было бы присесть, испить сладкого нектара. Появляется Бабочка ни в коем случае не в белом халате, а, напротив, в мини-юбочке и воздушной блузке с макси-декольте.

Больной смотрит то на фото, то на Бабочку и усматривает тождество и различие. Различие это – в количестве одежды на Бабочке и на девушке с фотографий. Согласно Методике, это создает у пациента (это слово сам профессор Сагайдак пишет

---

<sup>1</sup> Термин проф. Сагайдака.



через букву «о») особую жажду так называемого сексопознания. Алла, улыбаясь улыбкой №2, постепенно переходящей в №3, создает атмосферу душевной симпатии, которая укрепляется научно дозированным принятием алкоголя. Профессор Сагайдак, находящийся в это время за дистанционным пультом управления, включает тихую музыку и снижает освещенность в гостиной на 74,3 процента. При оставшемся свете наступает часть С.

В гостиной темно, но не настолько, чтобы совсем не было видно, до чего Алла хороша собой. Она влюбленно смотрит на пациента, осторожно прикасаясь своими неземными пальчиками к отдельным эрогенным зонам, указанным стрелками на схемах в Методике. Когда достаточный лавмейковый уровень достигнут, пациент, по условному сигналу профессора, переводится Аллой в ванную или остается на диване. В тяжелом случае Методистка в соответствии с пунктом D применяет теплпатический массаж отдельных органов и гипновозбуждение звериных инстинктов, а также некоторые другие способы, известные только ей как девушке и специалисту. Если Алле почему-либо не удалось добиться желаемого результата (диагноз: патология воздержания, страх и т.п.) от телемассажа, она переходит к массажу физическому. Сначала используется аппаратура. В случае, если она не помогла, Методистка приступает к личному воздействию, и с ней соперничать трудно. Не случайно по многочисленным ходатайствам своих пациентов Генеральный импотентолог присвоил Алле почетное звание Лучшей минетчицы Советского Союза.

При строго научном выполнении методических указаний А, В, С и D сеанс благополучно завершается пунктом Е. Алла всех любит первой любовью и для каждого следующего клиента является воплощением невинности и чистоты.

В соответствии с Методикой, Алла имеет в запасе (и носит с собой при посещении пациентов вне ее рабочего кабинета) еще одно научное пособие, обозначенное в инструкции как РДО – Резерватор Дополнительных Ощущений. В чемоданчике с дырочками сидит собачка Киса. Кису учила личным примером на основе условных рефлексов сама Методистка. Результаты работы Кисы, прежде чем доверить ей своих пациентов, проверил профессор Сагайдак на себе.

– Ах ты мой лизунчик! – сказал он.

В речи, нигде пока не произнесенной, профессор заявляет:

– Мои фундаментальные исследования дают Методистке возможность осуществлять процесс деимпотизации так, что в принципе она может возбудить мертвого, если, конечно, у него еще осталось что-либо, кроме скелета...<sup>2</sup>

Обычно нарушения в соблюдении Методики возникают в тот момент, когда курс лечения подошел к концу и Научный руководитель перебрасывает Методистку на другой Объект. Алла протягивает пациенту карточку, на которой написано: «Теперь вы совершенно поправились, любите других женщин на здоровье! Желаю Вам успехов в работе и личной жизни на благо трудящихся всех стран!»

Однако бывший пациент не хочет любить других женщин, поскольку, как догадывается доктор Сагайдак, другие еще не достигли лавмейкового уровня его Методистки. Больной настаивает на том, чтобы закрепить результаты лечения, продлив часть Е. Приходится снова вмешаться Сизифу Антоновичу лично.

– Пока нельзя, – разъясняет своим ответственным пациентам Генеральный импотентолог. – Вот когда будет осуществлена программа КПСС в области гармонического развития личности, такое время настанет для всех. Но это будет уже при завершении строительства развитого коммунистического общества, когда – вы знаете лучше. Я же, со своей стороны, делаю все возможное, чтобы высокий коммунистический уровень обработки клиента наступил уже сейчас. К сожалению, пока не для всех, а только для тех, кто Особо Достоин. Считайте, что у нас закрытый распределитель сексуальных наслаждений. Я не виноват: получено указание перебросить Методистку на товарища...

Тут Генеральный импотентолог делает многозначительную паузу, после чего крепко жмет бывшему пациенту руку.

---

<sup>2</sup> Когда роман уже был написан, стало известно о новой сенсационной гипотезе проф. Сагайдака. Пациентам в сверхклинически сложных случаях Алла может оказать содействие в состоянии полной невесомости, когда для поднятия какого-либо органа (например, руки) не надо преодолевать земное притяжение. Практическая проверка новой идеи Сагайдака отложена до отправки Методистки с пациентом на орбитальную космическую станцию.

У Аллы в ее плотном производственном графике образуется несколько минут, чтобы отдохнуть, заняться политическим самообразованием, ибо ее методический долг – духовно соответствовать своим клиентам. Больше всего она любит читать в газетах о том, как бурными продолжительными аплодисментами, стоя, собравшиеся встречают на торжественных заседаниях товарищей. Далее следует перечисление лучших ее пациентов. Всех их она мысленно называет по именам: Ник, Витя, Андрюша, Арвиденочек, Миша, Николая, Леша и др. Для всех она была незаменима. Одно имя комсомолка Алла хранит с особым вниманием и заботой – в связи с тем, что курс лечения этого главного пациента никак не удается пока довести до конца.

Ответственных товарищей так влечет к Алле еще и потому, что она немая, а точнее говоря, глухонемая. Возможно, Господь распорядился насчет этого специально, имея в виду явить Политбюро Идеальную Женщину, которая не пересказывает другим, что слышала. Ее глухота и немота способствовали развитию других способов общения – руками, губами без звуков, ногами и некоторыми другими частями Ее Прекрасного Тела. Кроме того, слова Научного Руководителя и клиентов она умеет понимать по губам, а в крайних случаях прибегает к пальцевой азбуке.

Было время, когда Сизиф Антонович держал целую компанию хороших комсомолок, обслуживавших очередного великого и мудрого пациента коллективно. Однако Алла одна превзошла возможности коллектива и к тому же оказалась выгоднее с экономической точки зрения.

Алла постоянно совершенствует свои знания и опыт, никогда не останавливается на достигнутом. Ее девиз: «Сегодня давать лучше, чем вчера, а завтра – лучше, чем сегодня».

– Халтурить она никогда не станет, что правда, то правда, – похвалил ее однажды Раппопорту Сизиф Антонович. – Если бы ты видел, как она горит на работе! Да она просто не щадит себя ради интересов Коммунистической партии!

И действительно, за долгие годы совместной жизни только один раз после трудного рабочего дня она возразила, да и то самому Сизифу Антоновичу. В переводе с пальцевого языка на русский Алла заявила:

– Я выдержала на себе таких мужчин, которых не потерпела бы ни одна женщина в мире! Я – святая. И вообще, граждане СССР имеют право на отдых!

Раб Божий Сагайдак настолько удивился этому возражению, что на следующий же день, использовав связи, достал ей путевку в санаторий Совмина СССР.

## 54. РЮМКА ЧАЮ

Сизиф Антонович тронул Аллу за плечо.

– Ну, вот что, детка, хватит голубиться. Сготовь чай, а мы поговорим.

Алла с усмешкой кивнула, поднялась, небрежным и красивым жестом забросила на плечи свои изумительные волосы. Полы халата закрылись, спрятав ее роскошные ноги, но зато поднялся тонкий и широченный рукав, обнажив до плеча лебединую руку. Вот я какая, смотрите, наслаждайтесь! Запомните, уносите с собой, вспоминайте меня ночью, в грезах, целиком и по частям, по деталям. Осознавайте, что я царица, а вы – мои рабы. Вы все, люди противоположного пола, готовы стать передо мной на колени и будете делать все, что я захочу. Мне же от вас ничего не надо. К вам я прихожу на работу, а живу совсем в другом, недоступном вам мире. Я слышу, как трутся друг о друга облака, вижу цветные сны. Я чувствую вас насквозь. А кого чувствуете вы, кроме самих себя?

Она ласково пронесла руку возле самых губ Якова Марковича. Он ощутил на миг неуловимый аромат, и что-то далекое, совсем забытое, едва всколыхнулось, защемило под ложечкой, опустилось вниз и погасло. Алла вышла.

– Чего тебе надобно, зека? – в упор спросил Сагайдак, остановившись перед Раппопортом.

– Вот что... Надо помочь Макаргецу.

– Ай-яй-яй! Подхватил трипперок?

– Нет.

– Ах, женилка перестала фурычить? Они все боятся не столько болезней, сколько регистрации в спецполиклинике. Это же ни с чем не сравнимое наслаждение – изучать болезни подчиненных.

– Тут дело особенное.

– Особенное? Если считаешь уговорить меня лечить его по спецметодике, ты зря притащился! Ведь твой Макарец только кандидат в члены ЦК. Алла ему не по рангу. Посоветуй ему побыстрее пролезть в ЦК.

– Дай срок, он будет кандидатом в члены Политбюро!

– Макарец? С его-то мнительностью? Как говаривал президент Кеннеди, я позволю себе заметить, не вступая, однако, в спор: если он и будет еще кем-нибудь, так только кандидатом на удаление простаты.

– Послушай, Антоныч! – взмолился Раппопорт. – Загни свои мысли в другом направлении! Макарец лежит с инфарктом.

– Вот как? Допрыгался?

– А его сын, напившись, сбил двоих. Если будет суд, дадут полтора червонца.

– Убийство? Сын ответработника? Пускай сидит на полную катушку! Не проси!

– А в принципе? В принципе можно? Учитывая, что законов нету.

– Нету? Наоборот, у нас их слишком много! Одни для массы, другие для верхушки, третьи для холуев, четвертые для иностранцев, пятые...

– Значит, можно? Так сделай! Не для Макареца, для меня...

– Да он соки из тебя пьет! Гнешь спину, а он наживает капитал. С неграми на плантациях так не обращались!

– Пусть так... Мы в возрасте, когда пора думать о Боге... Помоги!

– И твой Бог – Макарец? Ладно, в рот вас всех долбать! Только ради нашей дружбы, зека! – Сизиф Антонович в сердцах плюнул, и собака встревоженно посмотрела на хозяина.

– Хорошо, ради дружбы... Но учти, Макарец тебе тоже пригодится...

– Зачем?

– А Ленинскую премию получить хочешь?

– Под какое место я ее подсуну, твою Ленинскую? И зачем мне Макарец? Напечатает очерк под названием «Подвиг профессора Сагайдака»? Рекламы мне не надо. Если я захочу получить Ленинскую премию, я найду, у кого помассировать же-

лезу. Вот если бы мне напечатать статью о моем новом открытии! Но из этого ничего не выйдет.

– О каком открытии?

– Я открыл Основной Закон Сагайдака: у ответственных партийных работников сексуальная импотенция и импотенция политическая есть сообщающиеся сосуды. Одна перетекает в другую.

– Неужто? – поднял нестриженные брови Раппопорт. – Это ты открыл?

– Я! А кто же? За этот закон я сорвал бы Нобелевскую. Теоретически я уже разработал путь лечения, только никак не могу его проверить экспериментально. Я предлагаю лечить импотенцию путем отказа от политической карьеры. Но никто из тех, кому я намекал, не хочет отказаться. Как же я проверю?

– А на кроликах нельзя?

– На кроликах – нельзя. Боюсь, Нобелевскую мне не дадут.

– Ну как тебя утешить? – печально проговорил Яков Маркович. – Ты и сам понимаешь: эта клетка – клетка для всех...

Бесшумно вошла Алла с подносом. Она поставила на стол три малюсенькие чашечки из китайского фарфора, чайник и сахарницу. От чайника шел аромат. Алла опять уселась на пуф рядом с ними.

– Умница, – похвалил Яков Маркович. – Ах, умница!

– Сейчас я тебе налью, – сказал Сизиф Антонович. – Ромашечный чай на ночь очень хорош как снотворное, и никакой химии.

Молча они выпили чашечки по две. Яков Маркович пил с двойным удовольствием, любясь Аллой, сидящей напротив него. Допив, он кряхтя поднялся.

– Все, дети мои! Или завтра на работу мне не надо? И ты устала, детка... Прощай, божеество!

Он поцеловал Аллу в одну щеку, потом в другую, всю ее обслюнявив. Она обвила руками его шею, прильнула к нему. Яков Маркович, сутулясь, двинулся в коридор. Болонка устало поднялась и пошла следом за Раппопортом до двери. Сизиф Антонович подал ему пальто.

– Спасибо, сиделец, – Раппопорт ткнул его кулаком в живот. – Ты настоящий...

– Ладно! Сказано в Писании: не шаркай ножкой! Такой день сегодня. Вернее, теперь уже вчера... Разве я мог тебе отказать?

– А какой день?

– 17-е апреля! Нас в этот день родилось двое: Хрущев и я.

– Поздравляю.

Раппопорт открыл дверь. Сагайдак в халате высунулся на площадку, пошарил в отверстии почтового ящика. Все жильцы ходили за почтой вниз, кроме Генерального импотентолога.

– Он еще чего-то ждет, – заметил Яков Маркович. – А у меня, зека, чувство, что я сам живу в таком ящике. Иногда открывают щель, и в щель я вижу мир. А потом снова сижу в темноте... И читаю газеты, которые мне в него заталкивают...

– Иди ты знаешь куда? Спать!

– Намек понял, – кивнул Яков Маркович и стал медленно спускаться по лестнице.

Алла постелила постель и легла. Собака спала у нее в ногах, повизгивая во сне. Сагайдак принял душ, не надевая халата, прошлепал по комнате и плюхнулся в постель. Алла взяла с тумбочки банку с благовонным маслом и, налив немного себе на ладонь, стала растирать Сизифу Антоновичу тело, начав с ног и медленно поднимаясь до самой шеи. Изредка она щекотала его и целовала, а он морщился, делая вид, что ему неприятно. Дойдя до шеи, Алла, поднатужившись, перевернула свое недвижимое имущество на живот и, налив еще немного масла, снова прошла от ног до шеи. Когда процедура была закончена, Сагайдак открыл глаза. Алла тихо легла на спину рядом с ним и, опустив веки, ждала. Сизиф Антонович налил в ладонь масла и стал растирать тело жены в такой же последовательности.

После массажа они заснули, довольные друг другом, и спали спокойно, ровно и долго.

## 55. СУББОТНИК У НАДИ

Сироткина из последних сил боролась сама с собой. Но это каждый раз оказывалось бессмысленным, и она сдавалась.

Утром она вставала, варила кофе, приводила себя в порядок, забегала в парикмахерскую причесаться или положить бесцветный лак на ногти, потом спешила в редакцию. Она глядела на часы и говорила себе гордо: вот прошел еще час, а об Ивлеве я ни разу не подумала. Значит, проходит. Скоро я его вообще забуду, а встретив в коридоре, усмехнусь и подумаю: и чего в нем особенного? Зачем он был мне и я ему? Мужик как мужик, неряшливый, и рост не длинный, а мне нравятся длинные. И эгоист, каких свет не видывал.

Встретив его в коридоре, Надежда едва заметно кивала в ответ на его коротко брошенное «Привет!» и спешила пройти мимо, будто куда-то торопилась. Вечером у нее тоже всегда были дела: магазины, кино, подруги и, между прочим, лекции в университете, на которых тоже иногда приходилось показываться: летом Сироткиной предстояло наконец защитить диплом.

Усталая, она заглядывала в комнату к отцу. Он приходил поздно и долго сидел за столом, читал, ложился, опять вставал, ходил по комнате. Она заходила к нему перед сном, целовала его в полысевший затылок, спрашивала, не опоздал ли он утром в бассейн из-за того, что она проспала и не сварила ему кофе. Нет, в бассейн он не опоздал. Он любил дочь, после смерти матери любил, пожалуй, вдвойне. Он ласково хлопал ее по попке, как маленькую, и говорил: «Ну, ступай! Я еще повожусь...»

Надежда принимала душ, мазала лицо ночным кремом, мгновение с усмешкой любовалась на себя в зеркало (такой кадр пропадает!), надевала пижаму, недавно для нее привезенную старым приятелем отца из Брюсселя, и, швырнув на подушку недочитанный «Новый мир», проскальзывала под одеяло. Открыв журнал, она не читала его, а, положив на лицо, быстро вспоминала прошедший день – плюсы и минусы. И гордилась собой – ни разу надолго об Ивлеве не задумалась. А стоя вечером под душем, даже не вспомнила, как они стояли под душем в новосибирской гостинице. Значит, все проходит. День – как год, год – как вечность.

Она поднимала журнал, твердо решив вникнуть в читаемое, но, прочитав несколько строк, чувствовала, что рассеивается, засыпает и нет сил сопротивляться сну. Надя гасила свет, и тут появлялся Вячеслав Сергеевич. Нет, этого не будет!



– уверенно заявляла она ему. Но оттолкнуть его было выше ее слабых силенок.

Теперь она боялась пошевелиться, чтобы Ивлев не исчез. Ну, может, она позволяла себе чуть-чуть дофантазировать: он был ласковей и активней, чем на самом деле (так ей хотелось), а она – сдержанней и холодней (так у нее никогда не получалось). И еще он говорил ей слова, много бессвязных слов. Он непрерывно говорил ей про нее то, что она хотела бы услышать, но о чем он всегда молчал.

Потом он умолкал, и она почти слышала, как он сопит ей в ухо и начинает чаще дышать. Надя сжималась в комок, подтягивая колени к подбородку, и руки у нее непроизвольно помогали ему и заменяли его. И она сама начинала стонать, очень тихо, чтобы не услышал за стенкой отец. Теперь она поворачивалась на спину, готовая стать тонкой, как половичок у кровати. Через несколько мгновений она возвращалась в реальность. По инерции она благодарно целовала Ивлева в шею. Он приподнимался на руках, окидывая ее взглядом собственника, и говорил: «Мне пора».

Утром в редакции Надя сидела в состоянии анабиоза. Ивлев, конечно, еще больше, чем она, хотел бы побыть с ней. У мужчин это всегда сильнее. Молчит только потому, что деться некуда. В командировку его не пускают, к Раппопорту часто приходит сын. А если бы они виделись, то быстрее бы прошло.

Днем Надя шла по столовой с подносом, ища свободный столик. Заметив жующего Ивлева, она хотела, как всегда, пройти мимо и сесть отдельно, но он отодвинул стул и пригласил ее с иронической галантностью.

– Бурда! – он отставил тарелку. – Все разворовывают, хоть бы остатки готовили по-людски!

– Хочешь, накормлю настоящими котлетами? Сама вчера сделала. И соус из аджики с томатом – пальчики оближешь...

– Где?

– У меня дома. Глаза у него загорелись и погасли.

– Дома? Не хватало только напороться на родителя!

– Разве позвала бы, если б сомневалась?.. Сгоняем? Котлеты готовы...

Раздумывая, он с ненавистью поглядел на свиную отбивную, поддел ее вилкой и поглядел на свет.

– Видишь, прозрачная, как мыльный пузырь.

– А мои котлеты плотные, – завлекала она, – рентгеном не просветишь.

Он швырнул отбивную в тарелку.

– Поехали!

– Пить не будем, только котлеты с аджикой, – говорила она ему в ухо по дороге, в такси.

Пить доставляло ему все меньше удовольствия. Возбуждение быстро сменялось апатией, и это раздражало. Наде же хотелось, чтобы к тому, от чего у нее заранее замирало сердце, ничего не примешивалось, чтобы чувство было чистое, само по себе.

В громоздкой квартире, пока Ивлев оглядывался и снимал пальто, Надя прошмыгнула на кухню, зажгла газ и поставила сделанные вечером котлеты на плиту.

– Входи! Вот моя комната, – она вернулась, указала Ивлеву на дверь и стала снимать шубу и сапоги. – Кровать не успела убрать, извини. Хотя сегодня, между прочим, 19 апреля, суббота...

– Вот и поработаем!

Они легли сразу, и все было, как ей по ночам грезилось.

– О Господи, котлеты! – встрепенулась она, едва вернулась издалека.

На кухне все было в дыму. С виноватой ухмылкой Надежда внесла в комнату сковородку, и из сгоревших черных котлет они выкарабывали вилкой серединки, мазали хлеб красной аджикой и с аппетитом уминали. А потом снова забрались под одеяло. Ивлеву стало жалко Надю и немного себя. Она была такой ласковой и послушной от растерянности. Будто чувствовала, что в нем для нее места больше нет. Он понимал ее, но не мог ей помочь. Она догадалась.

– У меня такое чувство, будто мы лежим последний раз. Каждый раз – что последний...

– Вот и хорошо, – кивнул он. – Значит, каждый следующий – как подарок...

– Да. Но страшно...

– Наоборот, хорошо! Иначе – занудство! Жениться хочет Какабадзе, как только выйдет из больницы.

– А я хочу тебя задушить, – она обхватила его за шею и легла на него.

Приподнялась на руках так, что груди стали острыми, а потом сплющились о его грудь. Она стала целовать ему глаза.

– Хочу, чтобы ты ослеп и ни на кого не смотрел, кроме меня!

– Этого хотят все женщины. Им просто нужно рожать мужчин слепых, как котят.

– Я схожу с ума от желания!

– А ты положи на живот мокрое полотенце, как делают итальянки.

– Русская я, милый! Я кладу на живот бумагу.

– И что?

– И пишу заявление в партбюро: он меня любил непартийными способами. Говорят, по системе йогов женщина может усилием воли не забеременеть.

– Тогда закаляй волю.

– Закаляла! Пока не увидела тебя.

Она убежала в ванную, накинув халатик на одно плечо. Вячеслав поднялся с тахты, пошатался по комнате, разглядывая безделушки из разных стран и неизвестные ему флакончики. Он примерил на себя Надин лифчик. Сироткина не возвращалась, и он направился искать ее.

В большой Надиной квартире (сейчас таких и не строят) с лепными потолками и дверями с матовыми стеклами Вячеслав сориентировался без труда. Он босиком прошлепал в гостиную, заглянул в еще одну дверь – это был кабинет, какие теперь увидишь разве что в музее. Одну стену сплошь, от пола до потолка, занимали книги. Ивлев прошелся вдоль полок – множество роскошных альбомов репродукций, старые энциклопедии, тисненные золотом тома монографий прошлого века. Лесенка стояла раскрытая – и на ней две книги, снятые или не положенные на место. В обеих оказались стихи с ятем, имен поэтов Ивлев и не слышал. Поперек комнаты, изголовьем к полкам, стоял узкий диванчик; на полке, возле него, – пепельница с окурками, маленький транзистор, телефон. Лицом к окну распластался большой письменный стол резной работы на ножках-лапах, заваленный с одного бока книгами и журналами на английском, как выяснил тотчас Ивлев, и на немецком. Он полистал их. Переводы вложены в журналы – полный сервис. Психология, философия, психиатрия... Занимательный

набор. А это? Это оккультные науки, если Ивлев правильно понял, телекинез, телепатия...

Он корректно не стал читать рукописных листков, разбросанных по столу. Глаза, скользнув, вырвали из всего обилия три толстых тома, переплетенные нефабричным способом в ярко-красный коленкор. Ивлев открыл обложку, в углу страницы прочитал: «Совершенно секретно».

Тут уж он не смог удержаться, ознакомился с названием: «Сироткин В.Г., генерал-майор госбезопасности. К вопросу о возможностях управления мыслительными процессами в идеологической борьбе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук». Слава хмыкнул, хотел начать читать, но услышал в коридоре шаги. Он поспешно захлопнул обложку и двинулся к двери, но она сама открылась.

– Простите, я, кажется, помешал...

На пороге стоял плечистый человек лет шестидесяти в добротном сером костюме. Он намеревался войти, но, увидев обнаженного Славу, растерялся. Некоторое время оба они молчали, не зная как поступить и какой предложить другому выход. Они просто разглядывали друг друга. Наконец, человек произнес:

– Вы не могли бы мне объяснить, что это значит?

– Разрешите мне сперва одеться, – с достоинством выдал ему текст Вячеслав.

– Пожалуй! А где, черт возьми, Надя?

– В ванной... С подругой, – не моргнув, пробормотал Ивлев, боком проходя через коридор в Надину комнату.

– С какой подругой?

– Со своей. То есть с моей. Извините!..

Только Надиногo отца ему и не хватало! Очутясь в комнате у Надежды, Ивлев схватил в охапку белье, бросился в ванную.

– Отец!

– Где? – зрачки у Нади расширились. – Раньше он не приезжал днем!

– Не трать времени, одевайся.

– Знаешь, – прошептала Надя, – ему позвонила соседка! Она шизофреничка, на пенсии, бывший майор. У нее, когда в дверь позвонишь соли занять, свет вспыхивает. Стоишь, как на допросе. Она к отцу после смерти матери зачастила, а теперь за мной следит.

– Ясно. Я смоюсь, если смогу. Учти: я здесь с твоей подружкой. А ты почему молчала, кто он?

– Об этом все знают, кроме тебя. А ты что, мне меньше верил бы?

Он пожал плечами.

– Противно!

– Мне тоже. Но он – мой отец!

– А в смысле трепа дома?

– Наоборот, дурачок! Если уж придут к нему, так в последнюю очередь.

– Конечно, папочка тебя в обиду не даст.

Она прижалась к нему.

– Он хороший, – сказала она. – Меня любит и дает деньги. Презираешь? Застегни лифчик!

Слава погладил ее по голове и выглянул в коридор. Там было пусто, и он поспешно выбрался на лестничную клетку. Надя отправилась на кухню.

– Ты?! – она изобразила удивление, увидев отца.

Он хлопал крышками кастрюль.

– Приехал поесть котлет, которые ты мне вчера приготовила... Кстати, а где твоя подруга с этим нудистом?

– Они ушли.

– Так я и думал. Даже не познакомились!

– Не смейся! – сухо сказала Надя. – Им негде встречаться.

Отец смотрел на нее внимательно, колеблясь, взорваться или сдержаться. Он ощутил вдруг, что боится дочери... Нет, этого он допустить не может.

– Надо регистрироваться, – сказал он. – Тогда будет, где.

– Я им передам.

– Так где же котлеты?

– Мы их прикончили, извини.

– Я понимаю: за мое здоровье... Вот что, Надежда Васильевна! Нам давно пора поговорить. Я все откладывал, но сейчас есть повод. Правда, время у меня ограничено...

– О чем, папочка?

– Ты живешь таинственной, непонятной мне жизнью...

– Я? У меня всё на виду. Просто ты никогда не спрашиваешь. Это у тебя – все совершенно секретно.

– Ты же знаешь, какая у меня работа, и не будем об этом!

– Пожалуйста, не будем. Сам начал!..

– Начал, потому что ты – моя дочь. Хочу знать про твою жизнь...

– Ты и в роли отца не перестаешь быть кагебешником, папочка! Уверен, что должен знать о других все. А про тебя – никто, даже твоя дочь!

– Я чекист, дочка.

– Знаю, папа! Слышу двадцать лет... Но теперь мы оба взрослые, и мамы, которая примиряла, нет. И она, между прочим, просила за тобой присматривать. Давай играть так: хочешь знать про меня – рассказывай про себя, чекист! Нет – нет...

– Тебя кто-то настраивает на левые взгляды.

– Никто меня не настраивает, успокойся.

– А что говорят про нас в редакции?

– Хочешь, чтобы я стучала на своих знакомых?

– Нахвталась глупостей! Даже если это твое убеждение, надо быть терпимее.

– Не знаю, что говорят про твое учреждение другие, а я всем рассказываю, что в кабинете твоего начальника висит портрет Пушкина.

– Пушкина? – он усмехнулся краешком губ. – Почему?

– А он, папа, сказал: «Души прекрасные порывы!»

– Это я слышал, – засмеялся отец. – Неостроумно, я тебе скажу. Прекрасными порывами мы не занимаемся, руки не доходят.

– Вы занимаетесь тем, чтобы заставить человека перестать мыслить!

– Фу, Надежда... – он брезгливо поморщился. – Ты уже не ребенок! Во всех странах есть органы насилия. Вячеслав Рудольфович Менжинский, дочка, сказал очень точно: «Мы – вооруженная часть партии». Вот как! Лично мне никакие твои мыслители не мешают. Но у государства имеются определенные принципы, и если большинство народа им следует, наша задача – защищать большинство от выскочек. Общество не может жить без дисциплины. Да враги только и ждут, что мы разболтаемся. Нам приходится быть монолитом. Вода, пробив трещинку, может смыть гигантскую плотину, если щель не заделать вовремя. Я надеюсь, что доживу еще до того времени,

когда наши органы вообще будут упразднены. Но для этого необходима высокая сознательность общества.

– Чтобы все стали роботами...

– А, по-твоему, это нормально, когда выскочки и недоучки хотят, чтобы им разрешили писать и говорить все, что придет в голову? Если хочешь знать, не чекисты, а народ таких не любит и сам требует наказывать. Скажем, Солженицына нам приходится круглосуточно охранять. Он неглупый человек, а понять этого не может. Да все его критические идеи нужны нескольким сотням чувствительных интеллигентов, больше никому! Если бы его проекты были реалистичны и полезны, они давно пробились бы в жизнь. Я знаю в сто раз больше о всяких жестокостях и несправедливостях, чем он. Однако я укрепляю государство, а он его разваливает. Я служу народу, а он кому? Он что же – один умнее партии, в которой четырнадцать миллионов? Кто всерьез этому поверит?

– Те, кого вы преследуете!

– Ну, если не хочешь вписываться в существующие для всех нормы – пеняй на себя. Конечно, мы и таких пытаемся воспитывать, но не всегда удается.

– Особенно хорошо твой Сталин воспитывал!

– Сталин – не мой, Надя. Сталин как раз и был выскочкой, и очень опасным, поскольку сосредоточил в своих руках слишком большую власть. Если бы дать неограниченную власть, скажем, Солженицыну, еще неизвестно, какие бы законы он установил. Все нынешние борцы за права человека – допусти их к открытым действиям, начнут рваться к власти. У нас гуманные законы, но такого мы допустить не можем.

– А нынешний – это не такая же власть?

– Нынешний – исполнитель воли партии. Он подпишет все что угодно, если мы решим, дочка. Пойми правильно: не потому, что мы – органы, эти времена давно прошли. Мы – сила, потому что мы – среднее звено партии. Мы решаем, что Политбюро должно знать и что нет. Мы вынуждены были скинуть Хрущева, как только он зарвался. И уберем каждого, кто нам помешает, потому что мы коллективно выражаем волю народа, и нет никакой силы, которая могла бы нам помешать. Поняла?

– Еще бы!

– Ну, а если поняла, давай теперь узнаем про тебя, поскольку по твоей формуле про себя я тебе в общих чертах рассказал... Как его фамилия, нашего гостя?

– Зачем тебе?

– Разве отец не имеет права знать, с кем встречается его дочь?

– Его фамилия Куликов. Куликов Андрей. Андрей Александрович.

– Он с тобой работает?

– Нет, он инженер, работает в почтовом ящике, засекречен, как ты, и я не спрашивала.

– Что-то лицо мне его знакомо...

– Такое уж у него лицо. На многих похоже. Я и сама путаю... Знаешь что, папочка? Не вздумай его проверять, или следить за ним, или что-либо подобное. Если узнаю – уйду.

– Как – уйду? Что ты несешь, Надежда?!

– То, что слышал...

– Но куда?

– Уйду... Не найдешь!

## 56. СИРОТКИН ВАСИЛИЙ ГОРДЕЕВИЧ

ШТАМП: СС ОВ<sup>1</sup>

СПЕЦИАЛЬНАЯ АНКЕТА  
ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

*Звание: генерал-майор госбезопасности.*

*Занимаемая должность: начальник 5-го Главного управления, член Коллегии Комитета.*

*Он же, для служебных надобностей, Северов Гордей Васильевич и Гордеев Н.Н. .*

*Родился 3 октября 1910 г. в Туле.*

*Национальность: русский. Отец русский, мать русская, родители отца и матери русские.*

---

<sup>1</sup> СС ОВ – Совершенно секретно особой важности.



*Социальное происхождение. Отец рабочий, мать крестьянка.*

*Член КПСС с 1929 года. Партийный билет №00010907. Ранее в партии не состоял, не выбывал, партийных взысканий не имеет.*

*Образование и специальность по образованию: высшее. Академия КГБ (окончил с отличием).*

*Пребывание за границей: не был.*

*Ближайшие родственники: дочь Надежда. (Подробный перечень родных, близких, друзей и знакомых, живых и умерших, с местами жительства, работы и захоронения прилагается к анкете.)*

*В партийные, советские и другие выборные органы не избирается в связи со спецификой работы.*

*Правительственные награды: орден Ленина, ордена Красного Знамени и Красной Звезды, Знак Почета, медали. (Награждался без публикации указов в открытой печати.)*

*Отношение к воинской обязанности: учету по линии Министерства обороны не подлежит.*

*Паспорта имеет на указанные выше фамилии. Все подлинные документы сданы на хранение в Центр.*

*Домашний адрес: Москва, Староконюшенный пер., 19, кв. 41. Тел. 241-41-14. (Сведений в справочниках не имеется.)*

*Приметы: рост 171 см, глаза карие, цвет волос – седой.*

*Данные о состоянии здоровья: склероз сосудов 1-й степени, астматические явления. Практически здоров. (На учете в спецполиклинике КГБ.)*

## ВОСХОЖДЕНИЕ ВАСИЛИЯ ГОРДЕЕВИЧА

Все, чего добился в жизни генерал-майор Сироткин, было результатом его собственных деловых качеств и способностей. Если он чего-то не одолел, в этом ему помешали люди и обстоятельства.

Василий Гордеевич не любил вспоминать свое детство и тем более молодость. Там, в детстве и молодости, он был незначительным, ничем не отличался от других. А уже давно он привык, что к нему относятся с особым уважением даже тогда, когда он не в генеральской форме. Он привык говорить

медленно, весомо. И то, что он говорил, сразу принималось как приказания.

В минуты откровенности с подчиненными на работе генерал-майор Сироткин говорил, что все, чего он достиг, он достиг благодаря своей идейной убежденности, вере в правоту дела, которому он служит. Однако взгляды его, хотя сам он считал их незыблемыми как гранит, в течение жизни совершенствовались. В молодости люди делились для него на пролетариат, то есть хороших, и буржуазию – врагов. Сам он был хорошим. Идейный идеализм его юности сменился идейной практичностью, то есть использованием идейности для движения по службе.

Добившись положения, Сироткин стал невольно делить человечество иначе: на своих (работников органов) и чужих. Убеждения (коммунист – не коммунист) уже не играли такой роли. Сегодня ты коммунист, а завтра – изменник родины. А вот если работник органов, то это уж навсегда. Предателей родины клеймят позором и, если они возвращаются, дают им десять лет. Предателей органов сами органы уничтожают без суда и следствия, разыскивая их в любой стране. Преданность родине Сироткин считал своей главной опорой в жизни, но практически подразумевал под этим преданность органам.

Заняв ступеньку в среднем звене руководящего аппарата в то время, когда власть органов была несколько ограничена, Василий Гордеевич был этим удовлетворен. Его дело – выполнять свою функцию в общем пространстве руководства государством. Он даже говорил, что органы теперь нужны для защиты наших завоеваний от оголтелых сталинистов, добровольных доносчиков, требующих сажать всех, кто им не нравится. Но и в дальнейшем партия совершала ошибку за ошибкой в управлении страной, и эти ошибки могли исправить только такие люди, как Василий Гордеевич, приди они к власти. Однако по ряду причин это было невозможно. Тогда коллеги Сироткина заговорили о единении партии и органов, имея в виду, что после единения они окажутся сильнее. Что касается взглядов, то, поскольку теория помогает практике, задача убеждений – помогать человеку в осуществлении его планов. Василий Гордеевич продолжал ждать свое время, хотя шансов, он это понимал, оставалось все меньше.

За границей Сироткин не был ни разу. Еще в должности начальника отдела его пощемливало это обстоятельство, и он размышлял о переводе в другое управление, в разведку.

Препятствием оказались иностранные языки. Дважды принимался он их изучать на специальных курсах, где дело поставлено прочно, по-чекистски, и каждый раз безнадежно отставал от остальных. Фразы произносил столь ужасно, что строгие преподаватели из бывших резидентов иронизировали, и Василию Гордеевичу приходилось уходить, чтобы не подорвать своего авторитета.

Некоторые могут подумать, что Сироткина бросили на внутренние дела из-за неспособности к внешним. Но это неправда. Языков не знает большинство руководителей аппарата разведки. Просто здесь, в борьбе против проникновения буржуазной идеологии, Василий Гордеевич имел солидный опыт. После войны по его инициативе в крупных городах страны монтировались вывезенные из фашистской Германии глушилки иностранного радио. Впоследствии производство подобной аппаратуры было освоено и у нас. Василий Гордеевич не предчувствовал, что над ним самим нависает туча. Он пострадал при странных обстоятельствах, не ясных ему самому.

– Где Петров? Я пришел его арестовать.

– А он недавно ушел арестовывать вас!

Такие шутки были тогда в ходу. Местопребывание Сироткина не изменилось. Он лишь не вернулся домой. Его опустили в лифте на шесть этажей вниз, в тюрьму. Его не били, не пытали, не допрашивали. Он оставался своим. «Меня ненадолго законсервировали», – после шутил он. Он сидел в привилегированных условиях, читал книги.

Нельзя сказать, что после реабилитации он вышел из Лубянки. Когда первыми реабилитировали работников органов, Василий Гордеевич только сел в лифт и поднялся на шесть этажей вверх. Оттуда он позвонил домой. Сироткин не знал, что жена письменно отказалась от него, потому что она, имея чин капитана, тоже работала в органах. Поступок Алевтины Петровны он понял как разумный и даже необходимый: у нее на руках оставалась Надя. Отказавшись, как положено, жена была отчислена из органов, но устроилась на работу и ждала возвращения мужа. Когда Василий Гордеевич позвонил домой

и к телефону подошла Надя, он сразу понял, что это дочь. Дома Алевтина Петровна отреклась от своего отречения, и они стали жить дальше. Месяц Надя называла отца дядей, а потом привыкла.

Родилась дочь поздно, когда Василию Гордеевичу подходило к сорока. А когда она выросла, он остался без жены. Отцом он стал заботливым, хотя времени у него было немного. Он слишком много вложил в нее, а теперь у нее появляется своя жизнь, ему неведомая и потому представляющаяся сплошь неверной. Пытаясь предостеречь дочь, он, сам того не замечая, становился придирчивым. Он уверял себя, что это – желание делать ей добро, и не мог остановиться. Видимо, смерть жены оказала на него влияние. К подчиненным, наоборот, с возрастом он стал мягче относиться, реже наказывал за невыполнение приказа. Сентиментальность не распространялась, разумеется, на людей других убеждений. Но они ведь и не были в каком-то смысле людьми.

Много лет Василий Гордеевич руководил отделами Службы ПБ<sup>1</sup> и поднялся до заместителя начальника, когда в 69-м, в связи с опасностью брожения, наподобие чехословацкого, было создано специализированное Главное управление (5-е), и генералу Сироткину поручили осуществление функций части бывших отделов Службы ПБ.

Дела, поступавшие в новое управление, проходили по инстанциям через районные, областные и республиканские органы. Центральный аппарат отбирал самые интересные, имеющие важное значение, а остальные возвращал на доследование. Наиболее трудные объекты, связанные с границей и представляющие существенную опасность для государства, генерал-майор Сироткин передавал на исполнение начальнику отдела Шиرونину, человеку хотя и недалекому, но методичному и аккуратному. Товарищи из отдела Широнина обеспечивали слежку, подслушивание, выявляли посещаемые объектами адреса, интересы, связи, круг родных и знакомых, словом, накрывали объект колпаком.

---

<sup>1</sup> Служба политической безопасности – подразделение Второго Главного управления КГБ, осуществлявшего контроль за страной через многоступенчатую сеть осведомителей.

Широнину не хватало оборудования, кадров. Такие объекты, как Солженицын, требовали больше сил, чем возникающие время от времени антисоветские организации, быстрый арест членов которых позволял перебрасывать освободившихся сотрудников на следующую операцию. Широнин не раз вносил предложение изолировать Солженицына от общества. Сироткин докладывал выше, Кегельбанову. Но в Политбюро, которое вело двойную игру с Западом, это застревало. И все же трудности и особые условия работы 5-го управления наверху учитывали и подбрасывали дополнительные средства.

Дела в новом управлении протекали вовсе не так хорошо, как было написано в отчетах, представляемых Председателю Госкомитета. И хуже всего – отделе по борьбе с Самиздатом, возглавляемом Юданичевым. Сложность состояла в том, что Самиздат, несмотря на изъятия и специальные указания по выявлению лиц, его распространяющих, создавался. С этим предстояло покончить. Система профилактических мероприятий, препятствующих появлению какой бы то ни было информации, минуя Главлит, была тщательно разработана, согласована с партийными и административными органами. По предложению Сироткина, был проведен через Верховный Совет закон, карающий за процесс писания значительно строже, чем, скажем, за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Самиздат сопротивлялся, уплывал из рук, а Василий Гордеевич и без этого ждал неприятностей. В Министерстве обороны шло массовое комиссование офицеров, и Сироткин опасался, что омоложение коснется и органов безопасности. Это было бы несправедливо – опытные чекистские кадры заменять на зеленых юнцов. Он был абсолютно уверен, что еще очень много может сделать. Без его опыта не обойтись. Он взялся за диссертацию, отдельные части которой подготавливались во вверенном ему управлении. Осуществление мыслей Василия Гордеевича уже в ближайшее время дало бы значительный эффект в охране социалистического лагеря от проникновения тлетворных влияний Запада, а также утечки нежелательной информации за пределы страны.

К книгам Сироткин с детства относился с почтением, считая их источником знания. Любил он читать не только служебные инструкции, но и добытые сотрудниками клеветничес-

кие произведения Самиздата. Он частенько заходил в Книжную лавку писателей на Кузнецком мосту и покупал из-под прилавка старых русских поэтов, листая их по вечерам. Заинтересовался он также некоторыми литературоведческими и филологическими работами по стилистике.

Василия Гордеевича удивил абстрактный, беспартийный характер этих исследований. С его точки зрения, современная стилистика могла бы стать более точной наукой о способах определения авторов анонимных произведений, то есть наукой, помогающей партии вести борьбу за ленинскую партийность литературы. Между тем все работы по стилистике ограничивались рассуждениями о стиле классиков. У Сироткина возник замысел создать в управлении специальную группу филологов-стилистов, которая могла бы разработать четкие критерии оценки индивидуального стиля. Тогда, сколько бы автор ни пытался скрыться под чужой фамилией или печатать на незарегистрированной машинке, он мог быть обнаружен так же, как по отпечаткам пальцев. На филологическом факультете МГУ уже занималась специальная группа студентов, набранных из армии, которые по окончании университета направятся на работу в органы.

Были у Василия Гордеевича и такие мысли, которые по своей значимости выходили далеко за рамки вверенного ему управления. Партия поручила органам заботу об идейной чистоте рядов трудящихся, а партийная печать действовала подчас в разноречивой с органами. Когда нужно припугнуть – писала о развитии демократии. Когда целесообразно хвалить за единомыслие, рассуждала о разных течениях в партийной литературе. А главное, печать много пишет о мудрости партии и не повышает в народе авторитета органов, без которых партия – ничто. Вместо уважения воспитывается страх. Хвалят разведчиков, действующих в других странах, хвалят пограничников, а самая трудная забота сотрудников органов – работа среди своих, требующая такта, мужества и своеобразного артистизма. Эта почетная миссия остается безвестной. Сама программа КПСС по строительству нового общества быстрее осуществлялась бы, если бы средства информации: печать, радио, телевидение, кино – были переданы органам. Ведь именно Владимир Ильич писал, что газета – «самая первоначальная и самая насущная

отрасль нашей военной деятельности». Эту цитатку генерал-майор Сироткин приберегал до поры, до времени.

Организованный и умеренный человек, он и отдыхал организованно, как положено в его должности и в его организации. Отдых согласовывался заранее. В пятницу вечером четыре, а иногда шесть машин, не считая охраны, отправлялись в охотхозяйство, где к их прибытию уже готовились егери, прислуга топила финскую баню, а продукты завозили из Москвы с утра. Состав компании менялся – так было принято. Но чаще это были начальники управлений и их замы.

Сироткин знал охотничье дело. А что до охотничьего оружия, тут он был непревзойденным специалистом. Ружей у него в коллекции, в специальном шкафу, было больше двух десятков. Плохие не держал, дарил коллегам. Он вообще любил дарить – книги, сувениры, дорогую посуду. Еще жена-покойница на него за это сердилась. Себе он оставлял лучшие ружья, с именной гравировкой. На охоту брал двустволку с оптическим прицелом, подаренную ему за отличную работу к 25-летию Октябрьской революции Лаврентием Павловичем Берией. В связи с последующими обстоятельствами имя дарителя пришлось стравить царской водкой, а остальная надпись, ставшая началом сироткинской карьеры, осталась. Ружье это не подводило.

Стрелять без промаха, да еще на пересеченной местности, да еще в полутьме туманного утра, Сироткин научился в молодости, когда его призвали в армию, в войска НКВД. Он служил конвоиром на Севере, а потом был определен в поисковую группу. Группа ловила беглых зеков, стрелять приходилось в тяжелых условиях и бить наповал. А иногда, в соответствии с приказом, ранить в ноги или, как воспитательное наказание, в нижнюю часть живота или спины, чтобы неизбежная смерть была долгой и мучительной. Таких актировали как мертвых и оставляли в лесу еще живых на съедение волкам. В группах этих работал Василий Гордеевич пять лет, стал начальником поисковой группы, начальником лагеря, работал в областных аппаратах органов. Словом, выскочкой, какие сейчас иногда появляются благодаря протекции, он никогда не был.

Опозорился он только теперь, совсем недавно, в марте 69-го. С вечера в охотхозяйстве был приготовлен ужин и затоп-

лен камин. Выпили по маленькой, слушали органную музыку Баха. Заместитель Сироткина полковник Широ́нин был большим любителем Баха. Погода стояла весенняя, сырая. Велели егерю запустить в комнату собак. Собаки жили в сарае, плохо ухоженные, пахло от них псиной. Посовещавшись, руководители решили дать указание ввести в охотхозяйстве должность псаря. И разошлись по своим комнатам, памятуя, что завтра вставать до зари. Лось, для них предназначавшийся, уже был отловлен, безуспешно грыз и бодал изгородь.

Утром они надели японские спортивные куртки, натянули резиновые сапоги, сверху покрылись зелеными плащами с капюшонами, повесили ружья стволами в землю, чтобы не сырели, и двинулись в лес. Егери без ружей (поскольку егерям в таких хозяйствах носить оружие запрещено), выпустив лося и положив для него соль в специальном месте, разбрелись по лесу, чтобы криком мешать зверю уйти в нежелательном направлении. Сперва еще было спрошено, не привязать ли лося на веревку, чтобы сподручнее стрелять, но высокие гости это предложение отвергли. Стрелять со специальной вышки тоже отказались, чтобы все было по-настоящему.

Ночью на слякоть лег молодой снежок, и ранний утренний ветер гнал снежную пыль по-над кустами, мешая вглядываться в даль. Лося они увидели, когда рассвело. Стали по нему палить, ранили, а он резвый оказался, кровоточил и полз вперед по просеке. А патроны, как назло, кончились, последний остался у Василия Гордеевича.

– Ну, вот, – говорят ему. – Выдался тебе час подтвердить свое охотничье мастерство.

Без суеты выстрелил генерал-майор Сироткин, а когда попал, все высказали ему свое восхищение. Но подойдя к лося, увидели, что тот опять жив и, хоть двинуться не может, не подпускает егеря, чтобы дать прирезать себя ножом. Перебил лося Сироткин позвоночник, поближе к крупу, корячится зверь по земле, а добить нечем, и зверя жаль. Срочно послали егеря за патронами. Василий Гордеевич про себя переживал плохой выстрел, решил, что стареет. Товарищи его успокоили: поземка крутила, увлажняла глаза, влага исказила точность прицела. Лось притих от потери крови, смотрел на гостей отсутствующим взглядом. И только когда, зарядив ружья, они снова



приблизились, он стал метаться, хотя ему же было бы выгоднее, чтобы прекратились страдания. В упор, однако, стремительно перебирающего передними ногами лося они добились в четыре ружья.

Зная, что самое вкусное у лосей – печень, велели егерю вырезать ее горячую, чтобы вкусить дело рук своих. Остальную часть туши оставили. Ее потом егеря увезли на лошади. Сироткин пожалел, что не поехала с ним на охоту Надя. Василию Гордеевичу было бы приятно, что с ним дочь, и для других было бы женское общество. Но Надежда наотрез отказалась.

## 57. СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ

ШТАМП: СС  
БЕЗ ВЫНОСА ИЗ КАБИНЕТА

ПЯТОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КГБ,  
25 АПРЕЛЯ 1969 ГОДА

Повестка дня:

1. Указания ЦК КПСС и задачи органов безопасности в свете подготовки к столетию со дня рождения Ленина.

2. О дополнительных мероприятиях по борьбе с распространением информации, порочащей советский общественный и государственный строй.

3. Итоги коммунистического субботника по Управлению.

Присутствуют: генерал-майор т. Сироткин (председатель), зам. заведующего отделом административных органов ЦК КПСС, т. Шаптала, замминистра юстиции СССР т. Плюхов, зам. Генерального прокурора СССР т. Васинский, полковник т. Соколов, полковник т. Широнин, полковник т. Юданичев, подполковник т. Коляднец.

СИРОТКИН: Все в сборе? Разрешите начать, товарищи... В эти дни наша партия, весь советский народ и все прогрессивное человечество живут одним помыслом: достойно встретить наступающую через год сотую годовщину великого основоположника первого в мире социалистического государства Вла-

димира Ильича Ленина.<sup>1</sup> Вдохновитель и создатель органов госбезопасности, Ленин повседневно уделял огромное внимание их укреплению, и история подтвердила прозорливость и мудрость гениального вождя. В Постановлении ЦК КПСС о подготовке к столетию Ленина говорится (зачитывает цитату). Здесь намечена новая задача органов вообще и, в частности 5-го управления. Долг коммунистов, всех чекистов управления приложить усилия к тому, чтобы задача была выполнена полностью. У нас намечен список мероприятий, назначены ответственные. Часть операций проводится совместно с другими управлениями и ведомствами, как постановила Коллегия Госкомитета. С мероприятиями вас ознакомит полковник Соколов.

**СОКОЛОВ** (*встает, зачитывает*).

**СИРОТКИН**: Если вопросов и дополнений нет, товарищи, я думаю, мы можем перейти к обсуждению второго пункта повестки дня. Слово имеет начальник отдела полковник Широин.

**ШИРОНИН**: В функции нашего отдела, определенные руководством Госкомитета, входит...

**СИРОТКИН** (*прерывает*): Функции отдела присутствующим известны. Познакомьте товарищей с конкретными ошибками, допущенными чехословацкими органами безопасности до введения в Чехословакию войск стран Варшавского договора, и нашими мероприятиями.

**ШИРОНИН**: Вас понял, Василий Гордеевич. Анализ развития событий в Чехословакии показал, что малейшее послабление диктатуры пролетариата, малейшее отступление от ленинских норм внутривластной демократии чревато опасными последствиями. Мы, можно сказать, предвидели развитие событий в Чехословакии. Как только стало известно, что в среде реакционной части чешской интеллигенции начались разговоры о коммунизме с «человеческим лицом», нам было ясно, что под этой маской выступают идеологические диверсанты Запа-

---

<sup>1</sup> Сличение текстов показывает, что утром, готовясь к совещанию, В.Г.Сироткин изучил передовую статью в газете «Трудовая правда» и теперь повторял ее. В гонорарной разметке этого номера для бухгалтерии редакции на передовой синим карандашом поперек текста обозначен автор Я.М.Раппопорт и сумма 35 рублей.

да. Наши товарищи в Праге получили указание вести соответствующую контрпропаганду. Но к их голосам не прислушались. Когда в чешской печати появились материалы, которые до этого ходили по рукам...

**ПЛЮХОВ:** Вы имеете в виду антисоветские высказывания?

**ШИРОНИН:** Совершенно верно, Евгений Викентьевич! А также призывы к «свободе слова». Наше управление по указанию тов. Кегельбанова напрямую связалось с соответствующим управлением в Праге, но меры там принимать не спешили, ссылаясь на демократизацию в свете ленинских норм. Мы знали, что о каждом нашем посещении Праги докладывалось Дубчеку. В частности, во время одной из поездок в июле прошлого года, за месяц до того, как генерал армии Штеменко получил приказ о переброске войск на территорию Чехословакии, Дубчек, узнав о том, что полковник Соколов находится в Праге, пожелал с ним встретиться и уверял его, что для беспокойства оснований нет. А в газетах уже широко шли статьи националистического толка о том, что угроза для национального суверенитета идет якобы не с Запада, а с Востока.

**ШАПТАЛА:** Мы тоже читаем газеты, товарищ Широин... (Смех.)

**ШИРОНИН:** Короче говоря, мы представили руководству Госкомитета обстоятельный доклад. Он обсуждался в ЦК КПСС, и тов. Кегельбанов отдал распоряжение нашему управлению разработать систему мероприятий, которая позволила бы точно регистрировать отклонения в среде интеллигенции, а также тенденции недовольства среди несознательной части рабочего класса.

**ВАСИНСКИЙ:** А крестьянство?

**СИРОТКИН:** В основном идейно-политическая сознательность крестьянства не вызывает беспокойства. Отдельные отклонения выравниваются областными и краевыми управлениями Госкомитета местными усилиями, и пока что мы имеем указание их данные не обобщать.

**ШАПТАЛА:** Надеюсь, собравшихся ознакомят с мероприятиями?

**СИРОТКИН:** Несомненно, Игнат Данилович. Для этого и проводится совещание. Нужно самокритично сказать, что отделы службы ПБ, у которых мы приняли дела, изрядно подза-

пустили работу, результатом чего явились бесконтрольные отклонения в науке, литературе и искусстве. Дело дошло до того, что авторы анонимных книг и даже писатели, недовольные нашей идеологией, так развязали языки, будто наших органов не существует. Эти задачи бывшему десятому отделу Службы ПБ не хватило сил решать.

**ШИРОНИН:** Теперь решим, Василий Гордеевич!

**СИРОТКИН:** До аплодисментов нам еще далеко. В частности, предстоит выяснить, какие психические отклонения толкают людей на антиобщественную деятельность.

**ШИРОНИН:** Наш отдел мобилизовал усилия и перестроил работу с учетом ошибок органов безопасности Чехословакии. Увеличился штат в ряде подразделений, количество и качество информации, собираемой среди населения. Этому способствовало освоение современной техники, которую Госкомитет приобрел во Франции и Японии. Аппаратура размещена на объектах Министерства связи и охватывает практически все отрасли народного хозяйства, науки и культуры, а также, по согласованию, объекты Министерства обороны. Мы полагаем...

**ШАПТАЛА (перебивает):** Что конкретно делается по Самиздату?

**СИРОТКИН:** Слово имеет начальник отдела по борьбе с информацией, порочащей наш строй, полковник Юданичев.

**ЮДАНИЧЕВ:** Поток Самиздата, хотя и не опасен сегодня, но имеет тенденцию бесконтрольно развиваться. Тщательное изучение информации, предоставленной соответствующими отделами службы ЦБ, а также нашими сотрудниками, помогло составить достаточно точную картину распространителей взглядов, отличных от принятых и даже полностью противоречащих им.

**ВАСИНСКИЙ:** Каковы размеры этого явления на сегодня?

**ЮДАНИЧЕВ:** Данные пока что приблизительные... Нами зарегистрировано около ста восьмидесяти авторов порочных, заведомо ложных и клеветнических измышлений. Полагаем, – в действительности их число вдвое-втрое больше. Сюда мы не включаем, хотя и держим на контроле, авторов сочинений, которые не являются прямо порочащими наш строй, но по разным причинам не могут быть опубликованы, читаются в рукописях и в таком виде переданы нам из редакций и изда-

тельств. Отдельно учитываем распространителей, их на учете по стране в целом около двенадцати тысяч. Число же читателей, которое установить еще сложнее, колеблется в пределах от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч.

СИРОТКИН (*перевивает*): Последние цифры пока завышены нами сознательно, товарищи. Завышены примерно вдвое.

ШАПТАЛА: Это правильно.

СИРОТКИН: Мы тоже так считаем. Я хотел бы подчеркнуть, что мы прежде всего учитываем вопрос о политической опасности средств массовой информации – газет, радио, телевидения, как того потребовали от нас после Пражских событий руководители Партии и Правительства.

ЮДАНИЧЕВ: Разрешите доложить о проведенных мероприятиях. Благодаря внесению упорядочения в Уголовный кодекс РСФСР и других республик ликвидирован перехлест 56-го и последующих годов об отмене уголовного наказания за антисоветские высказывания. Проведена большая работа по регистрации всех типов множительных аппаратов, и прежде всего пишущих машинок, а также контролю за ними. Затраченные силы и средства позволили изъять соответствующих лиц, и поток Самиздата резко сократился. По последним подсчетам, на восемьдесят процентов. Совместно с органами таможни и погранвойск была разработана система мероприятий, препятствующих провозу каких бы то ни было рукописей, фотопленок или записей на магнитофонной ленте за границу и ввоз литературы из-за границы. Для предупреждения проникновения отрывков и текстов Самиздата в открытую печать даны соответствующие указания Главлиту. Следующий этап – выявление авторов нелегальных произведений и группировка их по величине социально-политической опасности. Списки уточнены и представлены вам и руководству Госкомитета для решения вопроса о мерах по проверке их психического здоровья и изоляции наиболее активных авторов с целью трудового перевоспитания.

ГОЛОС: Вопрос назрел!

ЮДАНИЧЕВ: А сейчас разрешите показать фотографии. Включите, пожалуйста, экран. (*Комментирует кадры.*) Это неизвестный Солженицын за работой по изготовлению своих сочинений. Его самого, шрифт его машинки, его машинисток,

знают практически все оперативные сотрудники отдела. Это Солженицын на вокзале передает своим друзьям рукопись, которая отправится в Ленинград. Все содержимое портфеля Солженицына нами сфотографировано, его квартира и посещаемые им объекты прослушиваются. Лица, имевшие с ним контакт в разных городах, также взяты на учет. Размах деятельности этого самиздатчика таков, что он посетил квартиру одного из кандидатов в члены ЦК КПСС.

ШАПТАЛА: Это кого же?

ШИРОНИН: Редактора «Трудовой правды» Макарецва.

ЮДАНИЧЕВ: Профилактическую работу с Солженицыным затрудняют его связи с представителями дипломатического корпуса, и окончательного решения по его вопросу руководством не выработано... Империалистическая же пропаганда делает на Солженицына большую ставку. А это – Амальрик, автор переправленной на Запад рукописи «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года»...

СИРОТКИН (*перебивает*): Все товарищи читали. Кто доложит о новых выявленных нарушителях уголовного кодекса?

КОЛЯДНЕЦ: Разрешите мне, Василий Гордеевич?

СИРОТКИН: Прошу! Замначальника нового отдела подполковник Коляднец.

КОЛЯДНЕЦ: В последнее время ликвидировано несколько крупных очагов Самиздата. В некоторых из них имелось по несколько сот рукописей антисоветского содержания. Практически мы можем доложить, что сейчас нет такого сочинения, которое не было бы известно органам. Часто мы имеем информацию о замыслах определенных лиц написать порочный материал.

ШАПТАЛА: Нельзя ли знать, что сочиняют такого рода писатели дома? Ну, устройство, которое передавало бы вам текст пишущей машинки? Я не инженер...

СИРОТКИН: Технически это пока, к сожалению, затруднительно осуществить, Игнат Данилович!

ВАСИНСКИЙ: Надо дать задание разработать.

КОЛЯДНЕЦ: Владельцы Самиздата, как правило, – ранее отбывшие заключение, и молодежь, чаще студенты. МВД по нашим указаниям их арестовывало, мы допрашивали, устраивали очные ставки, а затем выпускали, и это давало возмож-

ность выявить десятки их клиентов. В частности, в одной из квартир (*Показывает слайд.*) была обнаружена объемистая рукопись, анализирующая не только ошибки периода культа личности, но критикующая всю историю нашего государства, якобы неисправимые пороки нашего народа. Такого рода обобщения более вредны, чем солженицынские, но это мое личное мнение.

ШАПТАЛА: Автора нашли?

ШИРОНИН: Непростой орешек оказался, Игнат Данилович, но обнаружили.

СИРОТКИН (*помощнику*): Принесите дело. Да, и рукопись – на случай, если товарищи захотят ознакомиться, мы для вас размножили.

КОЛЯДНЕЦ: Чтобы запутать следы, автор укрылся под фамилией французского маркиза Кюстина, выдав сочинение за историческое. По инициативе Василия Гордеевича мы организовали филологическую экспертизу, поймали, как говорится, с поличным. Как раз в струе новых указаний – идеологический фронт! Фамилия Ивлев, по образованию историк, член КПСС, работник газеты «Трудовая правда». Вот он! (*Показывает кадры.*) На работе... Дома... С женой... С друзьями... Аморальная, надо сказать, личность...

СИРОТКИН (*перебивает*): С этим ясно!

ШАПТАЛА: Русский?

КОЛЯДНЕЦ: Так точно!

ВАСИНСКИЙ: Если нет профилактики, распояшутся еще больше! Им сколько демократии ни давай, все мало! Враг пробирается под самое сердце партии – в печать.

СИРОТКИН: Между прочим, в свое время были товарищи, которые упрекали органы за работу по профилактике Солженицына – а теперь... Мы подняли дело – оказалось, Ивлев этот был с ним связан. Как говорится, яблочко от яблони...

ЮДАНИЧЕВ: Позвольте шутку, Василий Гордеевич! На допросе один довольно известный писатель уверял нас, что «Хроника текущих событий» – листок, нами теперь почти выявленный, – якобы наша работа! Сведения о репрессиях, преследованиях распространяются быстро и запугивают чересчур активных, хотя действенных мер мы еще не предприняли.

ШАПТАЛА: Вы хотите сказать, полковник, что органы должны заняться выпуском Самиздата? (*Смех.*)

ЮДАНИЧЕВ: А почему бы и нет? И делать Самиздат такой, как нужно партии, государству, органам. И самим выявлять при этом граждан, слабых в идейном отношении. Но мы солдаты. Это – как прикажет руководство, Игнат Данилович!

ШАПТАЛА: Одна из новых задач органов – сглаживать противоречия в нашем обществе, а не обострять. Что конкретно делается по этому вопросу?

ШИРОНИН: Конкретно? Управление предлагает методы перевоспитания. Разрешите зачитать список лиц, отобранных для превентивной изоляции в местах лишения свободы. В список 5-е управление включило самых активных и, значит, самых социально опасных с тем, чтобы своевременно не допустить просачивания сведений о них за рубеж. (*Зачитывает список.*)

ШАПТАЛА: Это все придется еще согласовывать.

ШИРОНИН: Хорошо бы только побыстрее, Игнат Данилович.

СИРОТКИН: Да, тут промедление опасно. Проект решения мы подработаем и, если Егор Андронович дадут команду, сразу начнем. Правда, товарищу Кегельбанову на нас жалуются...

ШАПТАЛА (*улыбаясь*): Кто же?

СИРОТКИН: Товарищи, которые работают «наружу». Они считают, что мы недостаточно понимаем международную ситуацию и мешаем им, поскольку каждое наше действенное мероприятие вызывает отрицательную реакцию за границей. Но ведь если подходить с таких позиций, и они нам мешают. За границей работать легче, чем внутри. И средств отпускается больше. Мы не жалуемся. Просто, видимо, разумнее работать в контакте...

ШИРОНИН: Как на охоте: сообща на зверя навалиться и одолеть.

ЮДАНИЧЕВ: Тут главное не промахнуться, Василий Гордеевич.<sup>1</sup>

СИРОТКИН: Итак, товарищи, если вы нас в этом вопросе поддерживаете, будем просить санкции руководства. Тогда тов. Васинскому придется побеспокоиться о соблюдении законности.

---

<sup>1</sup> Воспоминания об охоте сокращены в стенограмме генерал-майором Сироткиным В.Г. – Прим. стенографистки.



**ВАСИНСКИЙ:** Постараемся. Очень затягивать не будем...

**ШАПТАЛА:** Вопросик, Василий Гордеевич. Есть данные о том, что среди инакомыслящих имеется значительный процент лиц еврейской национальности. Может быть, целесообразно войти с ходатайством о выделении у вас соответствующего отдела?

**СИРОТКИН:** Вопрос, как говорится, висит в воздухе. У данной национальности есть и ряд других отрицательных особенностей, которые беспокоят наше управление. Мы об этом уже советовались и получили «добро». Как только штатное расписание будет утрясено, начнем подбирать кадры. Позвольте теперь перейти к последнему пункту повестки дня – итогам ленинского коммунистического субботника. Слово имеет полковник Юданичев.

**ЮДАНИЧЕВ:** Коллектив нашего Управления хорошо потрудился, выполняя приказ руководства Госкомитета о субботнике. По предварительным итогам, на первом месте идет служба наружного наблюдения. Обыски и аресты в день субботника также проводились бесплатно, что сэкономило государству 32,7 тысячи рублей. Службы Управления, включая аппарат, работая безвозмездно в честь субботника, принесли государству экономию, которая в реальных рублях составила 298,1 тысячи рублей. А главное, в том, что ленинский субботник в целом по стране прошел организованно, без срывов и эксцессов, есть немалая заслуга органов, и наш коллектив вправе этим гордиться. Вмешательства спецвойск не потребовалось, хотя все дивизии находились в состоянии готовности №1. Можно сказать, что и опекаемые нами инакомыслящие граждане вели себя в рамках. Согласно данным радиоперехвата, никто из них не сумел в этот день передать на Запад клеветнических сведений по поводу субботника. Коллектив 5-го управления готов к выполнению новых заданий Партии и Правительства.

**СИРОТКИН** благодарит всех участников совещания и объявляет повестку дня исчерпанной.

*Отпечатано в двух экземплярах: 1-й – Председателю КГБ тов. Кегельбанову Е.А., 2-й – в архив 5-го Главного управления.*

*Стенографировала и обработала стенограмму ст. лейтенант Н.Матюкова (подпись).*

## 58. ПРИЕМ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ<sup>1</sup>

Держа под мышкой тонкую папочку, Сироткин мягко пересек по диагонали приемную перед кабинетом Егора Андроновича и молча пожал руку референту Шамаеву. Тот привстал, на мгновение оторвавшись от бумаг.

– Скоро должен быть...

– Я подожду...

Своих подчиненных Сироткин никогда не заставлял ждать. Он не стал садиться, а подошел к окну, рассеянно оглядывая колесо площади Дзержинского, замысловато расчерченное по весне свежими пунктирами белой краски. Поток машин с проспекта Маркса загибался вокруг памятника и растекался струйками по улицам. Так простоял Василий Гордеевич с полчаса, внешне не выказывая никаких чувств и опасаясь отлучиться, поскольку тогда мог пропустить шанс войти первым. В приемную заходили еще два начальника управлений, интересовались, когда будет Сам. Они пожали руку Сироткину, перебросились парой фраз о погоде и вышли.

Но вот регулировщики вокруг памятника стали энергично отгонять жезлами автомобили к тротуару, освобождая середину площади, и Сироткин понял, что ждать ему осталось недолго. Промчалась черная «Волга» с мигающими желтыми огнями, за ней еще две. «Остановитесь! Прижмитесь к тротуару!» Стараются! – усмехнулся про себя Василий Гордеевич. Доказывают шефу, что зарплату им платят не зря. А к Лубянке уже катил черный пятитонный ЗИЛ-114, весь из танковой брони с

---

<sup>1</sup> Биография члена Политбюро Председателя Комитета государственной безопасности Совета Министров СССР Егора Андроновича Кегельбанова в своей открытой части настолько широко известна из партийно-политической литературы, что ее повторение неуместно. Никаких падений, кривых и парабол в открытой части его биографии не было и не могло быть. Она пряма, как полет пули, и чиста, как родник ленинских идей. Что касается закрытой части, то она настолько засекречена, что мы не уверены, имеет ли он сам к ней допуск, учитывая имеющийся на ней гриф: СС ОВ ОП (Совершенно секретно Особой важности Отдельная папка).

пуленепробиваемыми стеклами. И сзади еще «Волга» с мальчишками в пуленепробиваемых жилетах. Сироткин губ не покривил, не вздохнул. Так и должно быть. Председатели приходят и уходят, а мы остаемся. Сегодня Егор Андронович есть, завтра сгинет, как все без исключения его предшественники: Ягода, Ежов, Берия, Серов, Семичастный, как железный Шурик. Нынешний долго держится, а все равно сгорит. Они меняются, а мы работаем. Командовать-то все умеют, а органам нужны думающие руководители с пониманием перспектив. Беда всех наших председателей в том, что им не хватает подлинной интеллигентности. Огорчает невозможность провести в жизнь достижения науки, усовершенствовать работу ведомства в целом.

Взять, скажем, консерватизм управления, работающего «наружу». Что за нелепая обособленность! Какие у них цели? Инакомыслие, с которым мы боремся вот уже несколько лет, идет с Запада. Только с Запада! Страдает основа наших основ – идеология. А управление по-прежнему твердит о промышленной разведке, о покупке на Западе нашими людьми фирм и банков. Да лучше бы органам специально готовить туда философов, писателей, журналистов, издателей, заполнить нашими людьми всю, не только коммунистическую, прессу, радио, телевидение, чтобы все больше свободной литературы на Западе выходило такой, как нам надо. Вот тогда и наступит истинное мирное сосуществование. А такие люди, как Кегельбанов, этого не понимают, говорят, что это очень дорого, а эффективность не очевидна. В действительности же авантюризм – тратить деньги на вооружение, на средства физического уничтожения, когда врага надо уничтожить духовно. И я расходую силы на мышиную возню для того, чтобы угодить руководству.

Шамаев заглянул в кабинет и вскоре вышел. Значит, председатель уже поднялся на своем лифте и через потайную дверь появился в кабинете.

– Егор Андронович просит вас немного обождать.

Понимающе кивнув, Сироткин забарабанил пальцами по лежащей на подоконнике папочке. Вскоре, однако, загудел зуммер.

– Теперь можно.

– Здравия желаю! – Сироткин по-военному вытянулся у двери.

– Заходи, товарищ Сироткин, – приветливо произнес Кегельбанов, безымянным пальцем тронув переносье золотых очков.

Он стоял в углу кабинета, возле телевизора, в ярком свете солнца из окна, расправляя в вазе красные гвоздики. Егор Андронович вытер платком руки и сел за стол.

– Извини, что заставил ждать. Докладывай, товарищ Сироткин, внимательно слушаю.

Василий Гордеевич вынул из папочки стенограмму и, нагнувшись, положил перед Кегельбановым, а сам устроился в кресле сбоку, оказавшись ниже, так что ему приходилось смотреть на председателя снизу вверх.

– Весна? – Кегельбанов кивнул в сторону окон, и глаза за очками весело сощурились.

– Так точно, весна, – сдержанно пошутил Сироткин.

Кегельбанов вздохнул и стал просматривать текст. В одном месте он, не отрывая глаз от строки, похлопал ладонью по столу, нащупывая карандаш, взял его и поставил на полях жирную красную галочку. Вытянув шею, Сироткин понял, какое место стенограммы привлекло внимание Егора Андроновича, и, вытащив, уже держал наготове другую бумажку, чтобы по окончании чтения положить на стол. Но Кегельбанов не стал читать до конца, спросил:

– А это?

– Список тоже готов, – доложил Сироткин. – Большая работа проведена, как было приказано.

Прочитав список, Кегельбанов посмотрел на букет красных гвоздик в дальнем углу комнаты.

– Все это так... – протянул он, думая о разговоре, который состоялся полчаса назад с человеком, предпочитающим оставаться в тени. – Значит, считаешь, что у нас полное единство?

– Это в каком смысле? – осторожно уточнил Василий Гордеевич, угадывая логический подвох, но еще не поняв какой.

– Я имею в виду диалектическое единство, – глаза Кегельбанова смотрели на него, как ему показалось, с насмешкой. – С одной стороны, политических преступлений в стране нет. А с другой? С другой – они успешно раскрываются, так что ли?

– Примерно так, – для виду согласился Сироткин, оценив юмор. – Но можно ведь и чуточку иначе подвести базу: преступления успешно раскрываются, благодаря чему их может не быть.

– Может не быть. Но – есть.

Василий Гордеевич был опытным службистом и промолчал, чтобы дать возможность руководству развить свои мысли.

– Конечно, с оперативной точки зрения, чем быстрее, тем меньше забот, – Егор Андронович встал, снова пошел к цветам и еще раз поправил их. От хрустальной вазы блики побежали по потолку. Сироткин тоже встал и стоя поворачивался вслед за ходящим председателем. – Да и дело небольшое, можно бы разрешить. Но перспективно – мы должны демонстрировать единство партии и народа в преддверии столетней ленинской годовщины, и не диалектическое, а полное! Как ты считаешь, Василий Гордеич, не помешают эти ваши превентивные мероприятия директиве о полном единении?

– Мы расхлебываем Чехословакию, – осторожно напомнил Сироткин. – Это ведь тоже...

Он замолчал, потому что почувствовал, что мыслит не в унисон с руководством. Доклада о выполненной работе не получается. Что-то изменилось, и предыдущее задание руководству уже неинтересно. В чем же дело? Какую сторону проделанного выпячивать, чтобы она была одобрена?

– Если я вас правильно понимаю, Егор Андроныч, открытые процессы сейчас не нужны?

– Открытые? Давай подумаем... Процессы делаете вы, а Запад обрушивается с нападками на Политбюро. Кого же тогда спрашивается, и от кого мы охраняем?

– Но ведь была политическая целесообразность, и она давала свои результаты...

– Ты вот что, Василий Гордеич, – мягко прервал Кегельбанов, – в рамках профессиональных действуй, проявляй инициативу. Мы тебя за это ценим. Но в политику не лезь. Оставь ее нам, партийным работникам. Не возражаешь?

– Я человек военный: приказано – выполняю.

– Вот и хорошо. Значит, ты понял, что ситуация изменилась. Хотя и не настолько, чтобы отдыхать. Воспитывать интел-

лигенцию необходимо, особенно связанную с идеологией. Но чем меньше вас видят, тем лучше.

– Можно попробовать новые методы? – осторожно и как бы вскользь спросил Василий Гордеевич.

– Если врачи одобрили, я не могу запретить... Но не всех сразу. Попробуйте одного, не больше. Такого, кого в Европе не знают.

– Найдем!

– Найдете-то найдете... Но не надо, повторяю, политики. Разнообразьте методы! Почему я должен вас этому учить? А остальных спустите пока в Московское управление, пускай примотрят, а там, после столетия, видно будет.

– Все понял, – кивнул Сироткин. – Дело я захватил. Желаете взглянуть?

Но Кегельбанов уже думал о других вещах, более государственных.

– Не будем топтаться на месте, – поморщившись, сказал он. – На днях будет обсуждаться вопрос о средствах, необходимых для расширения органов. Нужно заинтересовать значительными мероприятиями, оправдать внимание... У тебя есть предложения, товарищ Сироткин?

– Конкретно я не готов, а в общем, так сказать, виде нужны средства на экспериментальные исследования...

– Над людьми?

Сироткин молча кивнул. Кегельбанов думал с полминуты. Дужки золотых очков искрились от солнца.

– Это интересно, но пока рановато. Подработайте сперва теорию. А еще что? В общем, потребности управления изложи письменно, мы подумаем. У тебя все?

– Один вопросик, – Василий Гордеевич понял, что аудиенция закончена. – Звонили из МВД: в Москве убийца ходит по квартирам с напильником. Убивает женщин, некоторых мертвыми насилует. Около сорока жертв. Сами найти не могут, просят помочь.

– Помочь? Они что там думают – у нас много свободного времени? Или кадры лишние? Как сам-то считаешь?

– Я так и ответил, – сказал Сироткин и еще раз наклонил голову.

## 59. ТАКОВА ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ<sup>1</sup>

Только после восьми вечера человек с густыми бровями закончил подписывать бумаги и отправил из кабинета троих своих помощников. Сразу стало тихо, до тяжести в ушах. Он не любил такую тишину, она угнетала. Он подошел к окну, занавешенному плотной белой портьерой, и глянул в щель. Там тоже была тишь. Брусчатая площадь со сквером перед окном до самой царь-пушки была пустынна. Население в Кремль уже не пускали. Только внизу, у подъезда, стояли два автомобиля. Его нового ЗИЛа не было, чтобы не смогли определить, где хозяин сейчас. Охрана выдумывала свои хитрости.

Он устал. Глаза, переутомленные долгим напряжением, то и дело увлажнялись. Потягивало низ живота – неприятное ощущение, от которого он никак не мог избавиться уже давно. Но он улыбался, с непотерянным от возраста любопытством оглядывая площадь, и настроение у него было приподнятое. День прошел хорошо, он много успел, а ценность уходящего времени он чувствовал теперь острее, хотя не терял иронии по отношению к себе самому. Это помогало сохранить заряд оптимизма и твердость духа, которых большинство его сподвижников лишились.

Вот и теперь, вспомнив что-то, он хмыкнул, прошел к столу и, порывшись в нижнем ящике, вытащил небольшую цветную репродукцию с картины художника Налбандяна. Иосиф Виссарионович в военной форме стоял в этом самом кабинете. Мебель, правда, сменили. Края репродукции помялись, лежала она тут, конечно, давно. Осваиваясь в этих помещениях, он,

---

<sup>1</sup> Жизнеописание нижепоявляющегося героя тоже пропускается. О нем написаны тома, имеется множество его биографий, но события в его прошлой жизни появляются и исчезают в зависимости от зигзагов внутреннего и международного положения, приурочиваясь к каждому историческому моменту. Социнется все, включая должности и звания, потому что так надо. Таким образом, об ошибках своей жизни, если таковые были, герой понятия не имеет, ибо сам он имеет к собственной биографии весьма косвенное отношение.

новый хозяин, нашел ее в столе одного из референтов и принес к себе. Сталин чуть заметно улыбался.

Человек с густыми бровями вынул из среднего ящика стола ножницы и аккуратно вырезал голову Генералиссимуса, стараясь не задеть воротничка и маршальской звезды. Голову эту он, взяв двумя пальцами, аккуратно опустил в мусорную корзину. Затем, порывшись, вынул из ящика свою фотографию подходящего размера и положил под репродукцию. Голова оказалась чуточку больше, и ему пришлось еще подрезать края отверстия.

Он рассмотрел себя в форме Генералиссимуса и пришел к выводу, что форма эта ему идет. Если бы он получил эту власть, когда был моложе, он мог бы сделать гораздо больше, чем теперь. Он стал подсчитывать количество орденов и медалей у Сталина и у себя. Вычитал он столбиком, аккуратно ставя точки над уменьшаемым, если занимал десяток. Наград у Сталина оказалось больше на одиннадцать штук. Но ведь Сталин больше не получит орденов, а меня Родина может наградить еще, если я буду работать честно, с полной отдачей сил.

Эта мысль развеселила его. Сталин никогда не относился к побрякушкам серьезно, но того уверяли, что это важно. Против некоторых традиций невозможно бороться. И чем больше у тебя власти, тем меньше ты можешь сделать. Хозяином самого себя он был в молодости, на маленьких должностях. А тут все налажено, крутится помимо воли. И любой подчиненный помыкает им, а все вместе они делают что хотят. Иногда он еще не успел сообразить, а дело уже сделано. Зазвонил телефон. Он снял трубку, кашлянул.

– Вам не нужен товарищ Сагайдак? Можно соединить?.. Соединяю.

– Здравия желаю, Сизиф Антоныч! – приветствовал он. – Как ты себя чувствуешь?

– А вы? – спросил Сагайдак. – Если память мне не изменяет, настало время увидеться. Когда вы сможете выкроить полчаса?

– Давай завтра... Хотя нет, завтра среда – заседание Совета Министров... Тогда в четверг... В четверг у меня Политбюро. В пятницу тоже не получится: секретариат ЦК...

– Когда же?



– Знаешь что? Сейчас.

– Хм, – произнес Сизиф Антонович. – Я готов.

– Добро! Высылаю машину.

Он сгреб со стола репродукцию художника Налбандяна с вырезанным на месте головы отверстием и, разрывая на мелкие кусочки, отправлял ее в корзину, когда зазвонил другой, прямой телефон.

– Кегельбанов беспокоит. Вы не смогли бы принять меня для короткого доклада?

Товарищ с густыми бровями сопел в трубку, затрудняясь, что отвечать. Кегельбанова нельзя было не принять – видимо, что-то важное, о чем он не хочет говорить по телефону. Но надо будет отвечать, принять решение, а он устал, надо передохнуть.

– Сделаем так, – он нашелся. – Как только освобожусь, я позвоню. Ты где будешь? На даче? Добро!

Он глянул на электрические часы: минула половина девятого. Скоро должны привезти Сизифа Антоновича. Он прислушался к шагам за дверью. Возможно, это уже он.

По коридору в сопровождении заместителя коменданта Кремля, одетого в темно-голубой костюм, действительно шаггал степенной походкой здоровяк Сизиф Антонович в замшевом пиджаке цвета загорелой женской спины и хорошо отглаженных серых брюках, помахивая чемоданчиком «дипломат». Рядом с ним семенила сдержанной походкой миниатюрная Алла, время от времени касаясь плечом спутника.

Сагайдак немало удивился, будучи приглашен не на дачу, а в Кремль. Он вошел в лоджию, где Алла принимала воздушную ванну.

– Собирайся, детка, да побыстрей! – сказал Сизиф Антонович. – Выезжаю на одно дельце, и ты понадобишься. Только вот что: оденься поскромнее и не забудь комсомольский значок.

Теперь Алла шла по коридору в строгом костюме, чуть похожая на стюардессу международной линии Аэрофлота, в юбке всего на двадцать один сантиметр выше коленок. На одной из ее остреньких грудей красовался комсомольский значок, на другой – знак «Отличник социалистического соревнования». Мягко-зеленый цвет стен, на которые ложились едва

заметные тени от складок белых шелковых занавесей, всплошную закрывавших окна, создавал приятный полумрак. Чуть поблескивал под ногами светлый паркет идеальной чистоты. Мягкие дорожки глушили шаги. На каждом повороте стоял солдат в коричневой гимнастерке и коричневом берете, без оружия, глядя одновременно в обе стороны коридора.

Заместитель коменданта остановился, попросил подождать. Сизиф Антонович кивнул и, прислонив «дипломат» к дивану, утонул в мягком кресле. Алла, сложив руки на стиснутых коленках, скромно села рядом. Однако долго не пришлось ждать. Едва майор успел распахнуть створки дверей, человек с густыми бровями вышел, поспешая навстречу, и развел руки, готовясь обнять поднявшегося Сагайдака.

– Здравствуй, родной! – воскликнул он. – Очень рад! Спасибо, что не забываешь меня.

Гостю пришлось немного нагнуться, а хозяину – встать на цыпочки, чтобы их роста совпали, и они обнялись.

– Мадам! – повернувшись затем к Алле, молодежески проговорил хозяин и поцеловал ее узкую, как дощечка, руку.

Алла трогательно заморгала длинными ресницами. Стал красить брови, отметил Сизиф Антонович, продолжая улыбаться.

– Вы у меня здесь не бывали? – спросил хозяин. – Тогда пройдемте, покажу.

Он открыл дверь и движением руки пригласил их, заботливо пропустив вперед. В длинном помещении со стенами, обитыми красным деревом, вокруг бесконечного стола, крытого зеленым сукном, были аккуратно расставлены стулья, обтянутые зеленой кожей. На столе возле каждого места лежали аккуратно заточенные четыре карандаша и чистый блокнот.

– Здесь заседает Политбюро, – сказал хозяин. – Как пишут газеты, ленинская традиция, так что мы ее не нарушаем.

Сагайдак внимательно посмотрел на собеседника. В душе Сизифа Антоновича непонятным образом сочеталась заботливость с отвращением, человеческое неприятие отдельных людей с врачебным долгом лечить их. Как больной зуб сводит на нет пышное здоровье тела, это страдание было единственным изъяном в его счастливом, абсолютно циничном существовании. Разве этот твой больной виноват, который раз спрашивал

он себя, что на свете Божьем для него не нашлось должностенки помельче? Разве он не хочет спрятаться в деревне, нянчить внуков? Разве он не в трагическом положении?

– Извините, дорогой! – Сагайдак заставил себя отрешиться от этих неуместных раздумий, потому что хозяин что-то говорил ему. – Я не расслышал...

– Я говорю, вон там, во главе стола, сидит товарищ с густыми бровями... – он смеялся и приглашал смеяться над собой. – Здесь он выступает с докладом. А вот здесь проверяет и подписывает важные документы в присутствии членов Политбюро. Тут выясняется, кто может и кто не может ничего сказать.

– Ясно! – сочувственно улыбался Сизиф Антонович.

Хозяин тоже засмеялся, глаза его заблестели. От смеха он наклонялся вправо и влево, бриллиантовая заколка на его красном галстуке засверкала. Алла вежливо присутствовала. Она все понимала по губам, но обладала способностью пропускать мимо то, что ей было неинтересно.

– А эта дверь куда? – спросил Сагайдак.

– Это ореховая комната. Зайдите, не бойтесь. Тут сидят и обсуждают вопросы до заседания. Демократия!.. Ну, прошу в мой кабинет.

– Отсюда я руковожу, – устало произнес он и обвел рукой круг.

– А мне можно попробовать? – улыбнулся Сизиф Антонович и вежливо пробрался к креслу.

Часть письменного стола занимало стеклянное полушарие с вдавленными в него золотыми монетами. Рядом лежали «Известия», «Правда» и «Трудовая правда», а за ними шариковые ручки немецкой фирмы «Вульф».

– Что это? – Сагайдак ткнул в блок с телефонами на маленьком столе.

– Связь с любым пунктом страны.

– А кнопки? Их тут штук пятьдесят...

– Верхние – любой член Политбюро, ниже – секретариат ЦК, остальные – Совмин, Госплан, министры...

– Ясно! А вон тот красный аппаратик? – Сизиф Антонович повернулся во вращающемся кресле.

– Красный телефон – прямая связь с руководителями стран Варшавского договора.

– А это?

Под стеклом лежали две трубки – серая и красная. А ниже – раз, два, три... пятнадцать кнопочек. Хозяин замялся.

– У-у! – не обиделся Сагайдак. – Да вы, я вижу, имеете связь с самим Господом и его апостолами...

– Вот именно!

– Ну а я? Гожусь на это место?

– Сидеть в кресле – годишься, Сизиф Антоныч, – охотно согласился хозяин. – А дальше что? Как управлять? Что конкретно делать? Дома в кресле легко анекдоты про вождей рассказывать. А вот как крутить руль? Чуть что – сам знаешь... Пойдем-ка лучше выпьем по чашечке кофе, дорогой мой доктор!

Он раздвинул гардины и открыл потайную дверь, похожую на книжный шкаф. В соседней комнате по-домашнему стояли кровать, лакированные кресла, зеркало. Диван был застелен цветастым ковром. На коричневой тумбочке возле телевизора лежали зажигалка и сигареты. Алла взяла со стола цветную фотографию. На ней был изображен человек с густыми бровями в очках за рабочим столом. Он что-то писал.

– На фотографиях они меня омолаживают, – сказал хозяин. – Но ведь это неправда!

– Бывает! – неопределенно протянул Сагайдак.

– Бывает? Но кто их заставляет писать чепуху? Мы требуем, прорабатываем, а толку чуть! Ведь иной раз в газете и почитать нечего.

Осторожно постучав в дверь, вошел официант и стал быстро сервировать стол.

– Коньячок ставить?

– Ни в коем случае! Можешь быть свободен...

Хозяин проводил его глазами, приложил палец к губам и только тогда подошел к дверце сейфа, скрытой в стене.

– Пить не будем, – строго сказал он. – Но по глоточку, по случаю встречи... Ведь еще недавно много пил, много ел и был здоров, как бык. А ты смотришь на меня с укором: толстеть нельзя, сидеть целый день нельзя! А как же руководить страной?

Сизиф Антонович в тон собеседнику предложил:

– Может, руководить стоя?

Генсек усмехнулся и погладил ногу, в которой у него сидела пуля. Сагайдак знал о ее происхождении. На героической

Малой Земле полковника, у которого тогда еще не было таких величественных бровей, другой офицер застукал на диване со своей женой. Полковник хотел выпрыгнуть в окно, но пуля его догнала.

– Болит? – заботливо спросил Сизиф Антонович.

– Поднывает...

– Тогда перейдем от международных дел к внутренним.

– Сагайдак поднялся, открыл «дипломат» и вынул оттуда мятый белый халат. – Где тут у вас раковина? Помочитесь! Я проверю напор струи.

– Разве это важно? – с опаской спросил хозяин, покосившись на Аллу.

– Очень! Она отвернется. Так... Напор пока ничего, неплохой...

– Ну вот! Я говорю, я еще кое-что могу! Послушай, Сизиф Антоныч, скажи мне как другу: а какой напор у... ну, ты знаешь, того, который всегда в тенечке?

– Так ведь... – начал было Сагайдак.

– Знаю, знаю! Медицинская этика... Но мне-то, по дружбе, можешь сказать? Хуже или лучше? Я ведь никому!

– Что поделаешь? Конечно... – стал выкручиваться доктор. И наконец нашелся. – Должен прямо сказать: у вас у обоих с этим делом хорошо. Оба вы готовы хоть сейчас на субботник... Впрочем, посмотрим... Снимайте штаны – и на четвереньки, как всегда в позу лошадки. Алла, девочка, мне перчатку и вазелин.

Покорно спустив брюки, больной взобрался на диван. Верхняя его часть в рубашке и галстук все еще оставалась Генеральным секретарем, а нижняя, покрытая бледной кожей, оказалась обыкновенной частью рядового члена партии. Сизиф Антонович опытными движениями натянул на правую руку резиновую перчатку. Алла открыла баночку. Зачерпнув указательным пальцем порцию вазелина и пошлепав другой рукой больного, доктор заставил его подвинуться и присел на край дивана. Пальцем он провел по телу, разделяя его вдоль на две половины, будто намечая место для резекции, затем нащупал нужную точку и резким движением ввел палец.

– Ого!

– Тяжело в леченье – легко в гробу, – пошутил Сизиф Антонович. – Ну-с, поглядим, как там дела... Знаете анекдот?

Уролог говорит больному: «Прошу вас наклониться». А тот ему: «Слушай, дорогой! В такую интимную минуту говори мне «ты»!» Больно?

– Не очень...

– А так?

– Ох! Больно!

– Кстати, у меня к вам небольшая просьба. Есть такой Макарецев, редактор «Трудовой правды».

– Знаю, как же!

Врач ласково водил пальцем поперек предстательной железы.

– Так вот, его сын в милиции.

– У Щелокова?

– Ну, может быть, не лично у него... Нельзя ли дело закрыть и мальчика выпустить?

Сизиф Антонович нажал посильнее.

– Ой-ой! Больно же!

Доктор краем глаза глянул на телефон, соединяющий со странами Варшавского договора. Хорошо, что до него сейчас не дотянуться, а то еще неизвестно, чем бы этот массаж кончился!

– Понимаю, что больно, – вдруг жестоко сказал он. – Но массаж необходим, дорогой! Будет лучше работоспособность и общий тонус. Так как насчет мальчика Макарецева? И нажал еще сильнее.

– Постараюсь...

– Вот и хорошо, – палец Сагайдака обмяк и ласково заходил поперек. – Ну, на сегодня хватит... Девочка моя, сделай укольчик новокаина.

Кивнув, Алла быстро извлекла шприц, отбила головку у ампулы. Потерев кожу чуть пониже спины ваткой, смоченной в спирте, она ловко сделала укол и поцеловала потертое место.

– Можете одеваться, – сорвал резиновые перчатки Сагайдак. – Я доволен.

– Спасибо, Сизиф Антоныч, министерский ты ум. Послушай, раз речь пошла о Макарецеве. Ведь это он поднял идею, и сейчас все ведомства хотят получить деньги от субботника. А ты бы куда их использовал?

– Если не шутите, давайте на импотентологию, а? Ведь будущее человечества от этого зависит!

– Знаю, знаю, от чего зависит будущее человечества! – хозяин похлопал доктора по плечу. – Это по-твоему – от желтки. А вот министр обороны считает – от ракет. Кому мне верить? Ох, Сизиф Антоныч, если бы я мог сам решать! Все приходится пробивать, протаскивать, согласовывать. Иногда руки опускаются! Власть нынче у всех. Каждая кухарка власть имеет. Не захочет – не накормит, и ничего ей не сделаешь. У всех власть, потому что демократия. Один я без власти. От всех завишу. Вот я тебе пообещал насчет макарцевского сынка. Макарец – наш человек. А как это сделать, и не знаю еще. Крутишься, как белка в колесе...

В воротах Спасской башни загодя засветились зеленые светодоры, и часовые напрягли спины. Машина промчалась через Красную площадь мимо Лобного места и памятника Минину и Пожарскому к улице Куйбышева.

Сизиф Антонович молча глядел на дорогу. Чем больше пользовал он человека с густыми бровями, тем большей симпатией к нему проникался. Конечно, ко мне он относится лучше, чем к другим. Все Четвертое Главное управление Минздрава дежурит возле него днем и ночью. А лечу его я, им он не доверяет! И что мне за дело до других? Он веселится, шутит, но не от радости. Это пляски на похоронах. Все несчастны в стране, а он даже более несчастлив, чем остальные. Ему в жизни не повезло. Все люди, а он вождь. Я по сравнению с ним – свободен! Он по сравнению со мной – раб. Тот, который в тени, стоит за спиной и дергает этого, но и тот не главней. Боже, какая страшная власть! Все скованы цепями и постоянно тянут друг друга, не зная куда идти. Рап прав: эта клетка построена для всех. Не так ли, девочка моя?

В знак согласия Алла опустила ресницы. Она всегда читала его мысли и чаще всего принимала их без возражений.

## 60. «777»

Усевшись за стол, товарищ с густыми бровями пошевелил кожей на переносице и помассировал пальцами брови, что помогало бороться с перхотью. Он выдвинул средний ящик, вынул из него пачку сигарет. Он сражался с собой, оберегая голосовые

связки, которые теперь пребывали в состоянии хронического воспаления. Ему велели ограничить себя одной сигаретой в час и привезли импортный автоматический портсигар, часовой механизм которого открывал крышку раз в час. Но уже через двадцать минут он не мог дождаться, когда она откроется снова. Пришлось пойти на хитрость. В другом кармане пиджака и в столе он стал держать резервную пачку сигарет и в промежутках курил их. А врачам говорил, что благодаря автоматическому портсигару курит меньше. От сигареты его отвлек телефонный звонок. Услышав голос, он обрадовался, глаза засветились.

– Папа, когда домой собираешься?

– Здравствуй, дочка. У меня очень много работы... Только сейчас заканчиваю...

Он был рад, что она позвонила. Домой не хотелось. Такие минуты полного покоя удавались редко.

– Приезжай скорей! Братец прилетел. И я тебя не дождусь.

– Дождешься! Раз вся семья в сборе, скажи матери, сейчас буду...

Жена дремала, сидя на кухне, но не ложилась. Она услышала, как хлопнула дверь лифта, и открыла сама, не дожидаясь звонка. Две собаки – дог и сибирская лайка – бросились с визгом в прихожую, обгоняя хозяйку. Обе подпрыгивали, норовя лизнуть хозяина в лицо. Он успокаивал их, ласково гладил, трепал за уши.

– Прошу тебя, не сердись на дочь, – быстро заговорила жена, опережая возможную реакцию. – Просит денег три с половиной тыщи – в долг. Надо дать...

– Знаю я ее «в долг»! – засмеялся он.

Жена повесила его плащ на тонкой меховой подкладке.

– Ты плохо выглядишь. Опять курил? Ужинать будешь?

– Некогда. Я привез документы, придется поработать... Он смотрел на ее доброе, круглое лицо с некрасиво торчащими в разные стороны зубами.

– Дай ей денег. Конечно, дай. Что с ней делать, раз у нее бес в одном месте!

– Уже дала.

Он переживал, что дочь относилась к нему потребительски, а доставляла немалые огорчения. Родила девочку, оставила у нас и вовсе по рукам пошла. Скандалит, куролесит, пьет.



Хорошо хоть за границу ездит инкогнито. Теперь доложили, что познакомилась и встречается с подполковником МВД. Нужно, чтобы он на ней женился, хватит меня позорить. Ведь сама-то не девочка – сорок!

Поцеловав дочь, разговаривать с ней он не стал, а направился в свою комнату, где у него стоял стол и диван, намереваясь лежа прочитать несколько бумаг. На диване лежал, подняв ноги в ботинках на спинку, сын. Возле дивана на полу стояли бутылка и рюмка. Собаки приплелись следом, улеглись на ковре, постукивая хвостами об пол.

– Пьешь, значит, по-прежнему, сынок?

– А, батя, здоров! Совсем ты загулял.

– Дай-ка я прилягу на диван, а ты посиди – отец нагнулся и поцеловал его, а нагнувшись, увидел, что бутылка на полу – минеральная вода. – Надолго в Москву?

– Дня на два, если не сможешь остаться подольше...

– Надоела Швеция? А чего бы ты хотел?

Почему дети не спросят у меня, как мое самочувствие, как дела? Почему вспоминают про отца, только когда нужна помощь? Это моя вина. Какими бы они ни были – моя. Я в его годы грудью пробивался, а он на всем готовеньком. Но, в сущности, он добрый.

– Как там мои внуки?

– Отлично. Тебя велели целовать. Летом привезу сюда на дачу.

– И какой же помощи ты ждешь от меня, сынок?

Тем временем отец растянулся на диване, а сын примостился в кресле.

– Да ничего особенного... Я думаю, это и тебе выгодно...

– Что именно?

– Проведи меня на пост председателя КГБ, батя.

– Тебя?

– А что?.. Не глупей же я Кегельбанова. Он тебя при первой заварушке продаст. А тут тебе же спокойнее...

– Ну, что ж... Неплохая мысль, сынок. А справишься? Тогда давай попробуем. С понедельника, чтобы не откладывать, прямо и выходи работать на Лубянку.

– Серьезно или шутишь?

– Шучу?.. А что, очень утомляют люди Кегельбанова, которые тебя охраняют и не дают тебе попасть в лапы буржуаз-

ной прессы? А здесь прячут твоих баб от жены, платят за тебя, возят, берегут...

– Как не пожить, пока есть возможность? Ты ведь тоже время зря не терял. И не меня они берегут, а тебя, па!

– Пусть меня. А кто бы ты был, если б не я? И не кричи тут. Наверху все слышно.

– Кегельбановы на даче, отец, я заходил. Тебе бы давно надо переехать в особняк. Пятикомнатная квартира на пятом этаже... Да в Швеции работяги лучше живут! Рассказать на Западе стыдно...

– А я, сынок, не для Запада живу. Я русский, служу народу. Кегельбанов слушается каждого слова, а сделай я тебя председателем КГБ, ты же отца родного посадишь! Шучу, конечно. Но не будет тебе этого поста!

– Брось, батя, я пошутил... Не надо мне этой должности. Сам буду расти. Давай за это выпьем.

– За это – давай...

Из серванта была принесена бутылка коньяку и рюмки налиты до краев. Они чокнулись.

– Домой поедешь или у нас переночуешь?

– Домой поеду, батя. Выплюсь, а с утра начну расти.<sup>1</sup>

– Тогда езжай, и мне дай отдохнуть. Дело к часу ночи...

Отец глянул в щель между портьерами в окно. Он подождал, пока сын сел в машину, отъехал. За ним вырулила вторая черная «Волга» и скрылась под аркой. Отец прилег на диван, притянув к себе японский транзистор. Вялой рукой он покрутил ролик, наткнулся на музыку, потом услышал, как помянули его по-русски: «Кремлевский владыка трезво рассуждает, что...» В это время раздалось непрерывное завывание глушилки, и он так и не узнал, о чем рассуждает трезво.

---

<sup>1</sup> Дальнейший рост сына происходил так. Он подговорил своих друзей-гебешников, и в поезде Москва – Хельсинки они напоили его начальника – управляющего объединением «Промсырьеимпорт» Министерства внешней торговли Седого, направлявшегося в Финляндию. Пьяного Седого спровоцировали на высказывания, затем на драку, а потом высадили из поезда. После этого министр Патолитчев упросил Генерального секретаря разрешить перевести на эту должность торгпреда в Швеции сына Генсека. В западных газетах стали писать: «Сын помогает в гешефте отцу». К семидесятилетию человека с густыми бровями его сын был назначен заместителем министра внешней торговли.

Он попытался задремать, но почувствовал легкую боль в паху. Поноет и само пройдет. Тут вспомнилась просьба Сагайдака. Завтра закрутят, затянут дела – будет не до нее. Как бы это сделать получше, на принципиальной основе? Он тихо встал с дивана, и обе собаки мгновенно поднялись и прошастали к двери, следуя за хозяином.

– Тс-с-с! – он погрозил им пальцем.

В квартире все спали. Дочь не уехала, осталась ночевать, на вешалке висел ее плащ. «Решила поспать одна», – ворчливо подумал отец, взял пальто и, не надевая его, отодвинул тяжелый засов и отжал два замка.

– Ты чево надумал? – услышал он позади себя ворчливый шепот.

– Того чего, мать, поднялась? Не лезь не в свое дело!

Мать в свои восемьдесят два была крепкой, никаких болезней не знала и сына держала в строгости, считая, что дети – всегда дети и дай им одну поблажку, а уж бегут за другой.

– Это в какое ж не в свое? – прошептала она. – Как с твоими собаками в дождь таскаться – это мое, а тут не лезь? А ну, вертайся! Куды это собрался на ночь-то глядя!

Он стоял и смеялся. Ему было приятно, что мать на него кричала, как на маленького. От этого он чувствовал себя моложе, энергичнее. Он обнял ее за плечи, поцеловал в белые волосы.

– Ложись, маманя, спать, не волнуйся. У меня государственные дела...

Она отстранилась и продолжала строго:

– Это ж какие государственные – ночью? Знаю! Вертайся, говорю!

Собаки зарычали, чувствуя, что назревает конфликт, но не могли своим простым умом решить, серьезен ли он и чью сторону принять, и потому рычали неопределенно. Хозяин между тем уже отворил дверь; псы, всегда готовые гулять, выскользнули на площадку и таким образом приняли его сторону, рыча теперь на мать. Дверь он притворил за собой поспешно, чтобы мать не выходила на площадку.

– Ну, погоди, ты у меня добалуешься! – слышалось из-за двери. – Штаны спушшу, да отстегаю твоим же ремнем, не посмотрю, шо тебе людей стыдно! Будешь тогда ишшо гулять!

Он с собаками уже ехал на лифте. Из парадного за ним выскочили двое поджарых молодцов в синих японских куртках, протирая глаза и потягиваясь.

– Т-с-с! Оставайтесь на местах, ребята, я сам.

Он поспешил к «Мерседесу», который ему подарили недавно, и сел за руль. Охрана побежала к «Волгам».

– Эй! – крикнул он им, погрозив пальцем. – Я сказал, оставайтесь!

Собаки на заднем сиденье «Мерседеса» недовольно зарычали.

– Нельзя. Без охраны не положено! Нам ведь неприятности...

– Да я скоро вернусь, ребятки... Не сообщайте, и не узнают. Ступайте спать!

Они сделали вид, что подчинились, и повернули назад к подъезду. Он завел мотор и, не разогревая его, тронулся с места. Охрана переждала немного и потихоньку поплюхалась в машины, чтобы отставать, но не потерять его из виду.

На мокром после полива Кутузовском проспекте он глянул в будку: автоинспектора не было. Он повернул вправо к арке и Бородинской панораме, потом подумал и, сняв телефонную трубку, набрал номер.

– Кегельбанов?

– Так точно. Здравия желаю! – ответил немного спустя сонный голос. – Что-нибудь случилось?

– Ты что делаешь? Спишь?

– Нет... – замылся тот.

– Ты мне нужен...

Егору Андроновичу уже об этом сообщили, и он был готов к ответу, хотя пожурил службу: члены Политбюро давно договорились не подслушивать друг друга.

– Через двадцать минут приеду, – отрапортовал он.

От такой исполнительности у собеседника потеплело на душе, но он сказал:

– Вот что: я сам к тебе еду. Только это... шума не поднимай.

Часы на руке показывали без двадцати два. Ночь была прозрачная, тихая, небо в звездах. «Мерседес» свернул с Минского шоссе на Рублевское, с Рублевского на Успенское и помчал-

ся посреди пустой дороги, по белой осевой линии, с визгом тормоза на поворотах. Человек с густыми бровями любил быструю езду.

Охрана дачи Кегельбанова, уже предупрежденная, узнав гостя, приветствовала его. Навстречу ему по освещенной фонарями дневного света асфальтовой дороге спешил Егор Андронович, одетый в темный костюм, белоснежную рубашку и галстук, накинув на плечи пальто. Не успел он только побриться. В «Мерседесе» распахнулась дверца, водитель сидел и ждал, пока Кегельбанов подойдет поближе. Собаки, не дожидаясь приказа, перемахнули через переднее сиденье и с лаем вырвались наружу. Егор Андронович приветственно поднял руку и улыбнулся, хотя и смутился, увидев собак.

– Прошу в дом, – Кегельбанов протянул руку и помог гостю выйти из машины.

– Хорошая дача, – мечтательно проговорил гость, оглядывая постройку, увитую прутьями дикого винограда. – Я помню всех, кто в ней жил... В дом не пойдем. Здесь поговорим.

Поеживаясь от ночной сырости, Кегельбанов стоял перед ним, кутаясь в пальто. Небо на востоке начинало чуть заметно светлеть.

– Егор Андроныч, куда, по-твоему, пустить деньги от субботника?

Кегельбанов ждал другой просьбы, о которой ему сообщили, и к такому ответу не был готов.

– Ну, если дадут на укрепление органов, мы не откажемся...

– Вот именно, на укрепление органов, – гость засмеялся. – Есть мнение, что нужно развивать урологию.

– Урологию? Это что же? Которая...

– Вот именно! В ней мы значительно отстаем от Запада. Надо думать о будущих поколениях, а они зависят, в первую очередь, от урологии. Не веришь? Давай с министром здравоохранения посоветуемся.

Гость вернулся в машину, закурил, снял трубку, набрал номер.

– Петровский? Жена? А сам спит? Разбудите, я подожду... Слушай, товарищ Петровский. Я тут провожу небольшое совещание. Скажи, урология – имеет значение? Имеет? Большое? Так я и думал. А вот Кегельбанов сомневается... Есть мнение,

средства от всесоюзного субботника направить на развитие урологии. Что? И онкологии, да... Министерство здравоохранения не будет возражать? Тогда спокойной ночи.

Гость положил трубку, подошел к кустам роз, уже открытым после зимы, потрогал шипы на ветках.

– Между прочим, идею субботника предложил редактор «Трудовой правды» Макарецв, наш человек...

– Знаю, – кивнул Егор Андронович, довольный тем, что его службы не ошиблись и разговор входит в нужное русло. – С мальчиком у него неприятность?..

Он сказал это полувопросительно, чтобы окончательно убедиться в том, что другая неприятность, ожидающая редактора Макарецва, собеседнику еще неизвестна. Сам Макарецв не интересовал Кегельбанова, но он знал, что тот выполняет функции при худощавом товарище, предпочитающем оставаться в тени. Худощавый товарищ недавно сказал Кегельбанову: пусть некоторые думают, что это они управляют государством. Намек понимается однозначно. Но может иметь и обратный ход. Так что тот козырь никогда не помешает. Надо его держать в руках, а когда и как использовать, время покажет. Сынок же – мелкий вопрос.

Гость немножко походил по дорожке, потом повернулся и спросил:

– Может, не надо Макарецву этой неприятности, хватит с него инфаркта?

– Понял вас, – кивнул Кегельбанов. – Утром приеду в Комитет, и с МВД мы этот вопрос положительно решим... Какие будут еще указания?

Кегельбанов тут же перевел разговор на другую тему, и гостю это понравилось. Сталин был хорошим организатором, подумал он, но боялся своих соратников и избавлялся от них. Я же доверяю своим товарищам, и все они верны мне. Сейчас аппарат работает хорошо, надежен именно потому, что все знают друг друга много лет, вместе росли, выдвигались.

– Поужинаем?

– Да уж какой ужин? Завтракать пора!

Они засмеялись и пожали руки. Гость захлопнул дверцу и, резко развернувшись, поехал по дорожке между деревьями обратно. Внутренняя охрана дачи заперла ворота. Небо еще больше

посветлело перед утром. Возле домика охраны он с любопытством остановился и вылез. Под стоком крыши стояла старая белая ванна, в которую собирали дождевую воду. Воды в ванне не было, зато в ней шло какое-то шевеление.

Жирные пауки ползали по скату крыши, висели на паутинках над ванной, спускались вниз и снова поднимались. Он провел рукой в воздухе, и несколько пауков сорвалось вниз, в ванну. Выбраться по гладким эмалированным стенкам пауки не могли. Некоторые, загрызенные своими собратьями, лежали не шевелясь, лапками вверх, другие еще боролись, стремясь вернуться на крышу. Но там, в сплетенных ими паутинах, уже хозяйничали, поджидая добычу, другие пауки, и вряд ли те захотели бы делить добычу со старыми хозяевами. Пауки в ванне копошились, судорожно перебирая лапами, ползали по телам своих соплеменников и с шорохом сваливались по скользким стенкам назад. Он поднял палочку, выследил паука, который забрался по стенке выше других, и сбросил его вниз. Там на него яростно набросились собратья. Поглядев еще немного на паучью возню, он швырнул палочку в кусты и позвал охрану.

Выехав за ворота, он зевнул и, прибавив газу, погнал в город. Усталость брала свое, он поморгал глазами, чтобы не слипались, и тут в зеркале увидел: у него на хвосте идут две черных «Волги» с красными огоньками на крышах. Все-таки не отпускают, работают, не зря им деньги платят. Он сбавил скорость и махнул им рукой. Они в ответ его приветствовали. Но тут же он снова нажал на акселератор и стал резко набирать скорость.

– Врете! Не догоните!

Они опять отстали. У него был «Мерседес», а у них «Волги», которые пока еще не достигли уровня мировых стандартов. На Кутузовском проспекте стрелка спидометра коснулась ста шестидесяти. Он летел посередине между двумя сплошными белыми полосами, съехав в сторону только возле Триумфальной арки. У дома 24, его собственного, стояли еще две «Волги», полные молодцов. Видно, они все не на шутку встревожились. Он проскочил и их, взлетел на мост возле гостиницы «Украина» и тут в последний момент успел увидеть, что еще две черные «Волги» перегородили поперек середину моста, а мальчишки машут ему, просят остановиться.

Он затормозил резко, и на недавно политом асфальте зад «Мерседеса» немного занесло. Правым боком он шлепнул «Волгу», смяв ей крыло и дверцу, и замер. Крышка багажника от удара открылась. Скоро их окружили еще машины, наконец-то его догнавшие. Ребята в черных костюмах, при галстуках, переговариваясь, повысыпали из дверок, бросились помочь вылезти ему.

– Ну что, догнали? – спросил он, вылезая из машины. – Старая гвардия не сдастся! У кого найдется закурить?

Собаки вылезли за ним и стояли рядом, виляя хвостами. Он смеялся. И они все засмеялись, довольные, что задание выполнено, что нагоняя им не будет и что все кончилось благополучно. Он отшвырнул окурки.

– Вот что, ребята: есть мнение!

Он пошел к багажнику, по дороге глянув на помятое крыло, и вытянул из холодильника бутылку. Охрана заулыбалась, загудела, все стали потирать руки.

– А ну, выбивайте пробку! Марочный портвейн «Три семерки». По маленькой.

– А пить из чего?

– Ишь ты, аристократия! Из горла.

Ребята принесли штопор – «спутник агитатора» в партийном обиходе. Взяв из рук старшего бутылку, он запрокинул голову, и тонкая красная струйка потекла ему в рот. Он пил спокойно, маленькими глотками, потом оторвал бутылку, глянул, сколько отпил.

– Ну, вот! Давайте, допивайте...

Бутылка пошла по рукам, все пригубливали, всем было хорошо, когда в машине зазвонил телефон.

– Жена, ребята! – сказал он. – Хорошо, что по телефону запаха не слышно, да? Ему подали трубку.

– Ну я. Сейчас еду. Все!

– Отдыхать вам пора, – заботливо сказал один из телохранителей. – Устали, небось...

– Я крепкий конь! Меня ничто не берет...

Ему вдруг нестерпимо захотелось сделать то, чего он давно не делал, и он оглянулся в поисках места. На ходу расстегивая пуговицы, пошел к перилам моста, сопровождаемый эскортом из двух собак. Телохранители за ними.



– А ну, прикройте меня!

Они окружили его плотной стенкой, оставив лицом к перилам моста. Внизу, за черными чугунными решетками из скрепленных серпов и молотов, тихо плыли льдины в бурой воде Москвы-реки. Оттуда несло холодом и сыростью.

– А вообще я вам так скажу, ребята! Главное – это здоровье!

Он почувствовал легкую резь в самом начале, но потом струя прыснула нормально. Поливая серп и молот, он неотрывно следил за ней глазами. Напор был хороший, можно сказать, отличный, – назло врагам мира, демократии и прогресса.

## 61. БОЛЕЛЬЩИКИ

Кашин оторвался от бумаг и, положив голову на руки, следил за ленивыми движениями рыб в аквариуме. Он подумал о русалках – для них нужен был бы огромный аквариум – целый бассейн. Русалки лучше обычных женщин в том смысле, что они сами тебя увлекают и соблазняют, а тут ты должен ходить, предлагать, уговаривать и еще неизвестно, получится или нет. В который раз перебирая возможные и невозможные варианты, Кашин попытался проанализировать свои ошибки. Но при этом он не забывал и об объективных недостатках девушек и женщин, на которых он рассчитывал.

На Локоткову он положил глаз давно. А она никак не хотела понять, чего он хочет, хотя он долго оказывал ей знаки внимания. Во-первых, разговаривал душевней, чем с другими, во-вторых, конфетами угощал, в-третьих, делился личными переживаниями. А она? Хоть бы задержалась в кабинете на лишнюю минуту. Приказ возьмет – и бежит к своему Игорю Иванычу. А ведь одинокая тогда была! Когда же он решился и при оказии положил ей на талию руку, сразу отпрянула:

– Что это вы такие шутки допускаете?

– Шутки? – обиделся он. – Я серьезно!

– А серьезно – тем более нельзя!

Вот и пойми! Ну, после он и не пытался больше. Да и если в анкету глянуть, так она Кашина на семь лет старше, могла

бы и поменьше воображать. В случае возникновения любви, перспективы в смысле женитьбы и возможного возникновения ребенка (это тоже необходимо взвешивать!) никакой. А других отношений Валентин не только по долгу службы, но и по своим взглядам не уважал, хотя допускал возможность существования и, предложи ему, не отказался бы, да только не предлагали.

В этом именно смысле больше всего подходила бы Инна Светлозерская, от коей прямо исходит неизвестное науке излучение. Хотя если с ней поговоришь, то поймешь, что и в отношении ее могут возникнуть не только желания, но и перспективы. Правда, она сама о перспективах не говорит, а заявляет, что все мужчины – простые кобели, чего в отношении Валентина Афанасьевича совершенно сказать нельзя. Ведь он искренне оказывал ей знаки внимания: разговаривал душевней, чем с другими, само собой, конфетами угощал, личными переживаниями тоже делился. Никаких действий руками не совершал. А когда попытался позвать в шашлычную, сказала: «В другой раз». Между тем в редакции уже четверо имели с ней связь безо всяких перспектив, возникшую в результате внезапных побуждений несерьезного характера. И ведь она сама же завлекала! Сама ласково улыбалась и проходила мимо особым образом, так, что если он в это время с кем-то говорил, то забывал о чем.

Теперь взять литсотрудницу Сироткину. Она тоже нравилась Кашину, хотя она совсем молоденькая. Тут нужно обязательно жениться. И хотя есть опасность разности в возрасте, его это в принципе очень бы устроило, особенно если учесть его большое уважение к Надиному отцу. Конечно, женись он на Сироткиной, сам он ни словом бы не обмолвился, но если бы тесть потревожился о восстановлении своего зятя в органах, откуда его вытолкнули, в сущности, ни за что ни про что, Кашин не возражал бы. В отношении Нади, таким образом, он был особенно искренен, когда оказывал ей знаки внимания. При случае он разговаривал с ней душевней, чем с другими, трижды шоколадом угощал, дважды делился личными воспоминаниями. Приглашал раз в кино и раз в цирк. Оба раза отвечала несогласием: в кино ей не хочется, а цирк она не любит.

Еще существовала как запасной вариант Раиса Качкарева. Но у нее грубые манеры, а ему нравилось, чтобы женщина была существом хотя бы в некоторых отношениях слабым.

В общем, нельзя сказать, что выбора у Кашина не было. Одними мечтами о русалках сыт не будешь. Выбор был, и перспективы открывались приятные, когда он представлял себе в отдельных подробностях, как это могло произойти то с одной, то с другой. Но реальное осуществление замысла находилось пока в развитии, и этот вопросик предстояло еще подработать. Если бы не загрузка редакционными делами, это было бы несложно. Но с утра и до вечера он по горло в делах – хозяйственных, административных, организационных.

Валентин взглянул на часы. На 16.00 его вызывают. Для поездки в любое другое место он мог бы воспользоваться дежурной разгонкой, – но туда Кашин добирался на метро. На площади Революции народу было много, у гостиницы «Метрополь» толпы иностранцев и много ненаших автомобилей, окруженных зеваками, заглядывающими внутрь. День был совсем теплый и такой солнечный, что на окна верхних этажей смотреть невозможно – так ослепительно они сияли. Он и не стал глядеть вверх. Медленно двигаясь к Неглинной, он смотрел только на женщин, будто никогда их не видел.

После зимы, сняв с себя теплую одежду, они все словно обнажились специально для него, стали стройнее. Юбки поднялись, открыв колени, а у некоторых вообще ноги целиком и даже без чулок. Тонкие кофточки. То, что выступает спереди и сзади, стало рельефней, и совершенно полная нагота отделялась от Валентина ничтожной толщиной легкой ткани. Сердце у него колотилось. Женщины стали ему доступнее, он чувствовал это всем телом своим. Вот они, рядом, выбирай любую – все твои! Пружина внутри у него затянулась до отказа, но сознание долга не позволяло ему остановиться или идти вслед за какой-нибудь одной.

У подъезда гостиницы «Армения», напротив задней части Малого театра, Кашин по привычке оглянулся, не идет ли поблизости кто из знакомых. В холле на часах было без трех минут четыре. Кашин поднялся на второй этаж, прошел мимо дежурной, которая ни о чем его не спросила, и постучал в дверь с номером 27.

В номере за столом сидел человек помоложе Валентина. Кашин раньше его тут не встречал. Человек поднялся навстречу, назвался Похлебаевым и, радушно улыбнувшись, крепко пожал мягкую руку Кашина, из которой Валентин по этому случаю заранее переложил ключи. Предложив присесть в кресло, хозяин сел рядом в другое кресло, а не за письменный стол.

– Мне вас рекомендовали, Валентин Афанасьевич, с наилучшей стороны, сказали, на вас можно положиться... Тем более что вы наш работник...

– Собственно, формально я теперь в органах не работаю.

– Знаю! Но сейчас многих подключаем к операции...

– Самиздат?

– Он! Есть приказ по управлению. Почистим и быстро отделаемся.

– Я об этом думал, – кивнул Валентин. – Я вот в газете недавно. Вижу, с трудовой дисциплиной плохо, а мне говорят: тут дело творческое – гайки завинтишь – люди перестанут писать. И такие разговоры имеются у руководства газеты, вот что странно!

– Я не совсем понял, какая связь?.. – проговорил Похлебаев.

– Прямая! Скажем, во всех номерных учреждениях инженеры обязаны в конце рабочего дня сложить свои записи и чертежи в чемоданчики с номерами и сдать в спецотдел. Записи в мусор бросать запрещено. А в редакции что? Мне, конечно, положено выборочно проверять столы и содержимое мусорных корзин, но разве за всем уследишь? Кто куда едет, что видит, о чем пишет? Полный разброд! А ведь центральная газета!

– Вопрос серьезный, но это не нам решать. У нас задача конкретная... По нашей картотеке проходит Ивлев Вячеслав Сергеевич.

– Есть такой. Рождения 35-го года, русский, член КПСС, образование высшее, оклад 180. А разве он?..

– Проверяем. Если он, то, естественно, ему захочется выйти на контакты с заграницей. Зачем ждать? Мы поможем. Короче говоря, зовите Ивлева на хоккей.

– Хоккей?

– А что? – Похлебаев поднялся, подошел к столу и вынул из папки билеты. – Хоккей от наших дел далек, поэтому не будет никаких подозрений...

– А почему я знаю, болельщик он, нет ли?

– Кадровик, а не знаете... Матч дефицитный, поэтому вопроса не будет. Вы с ним пойдете, выпейте вместе пива или чего покрепче, чтобы снять с него напряжение, ясно?

– Ясно!

– А на трибуне сядьте так, чтобы он сидел на 22-м месте, а вы на 23-м. На двадцать первом же будет сидеть иностранец из ФРГ, тоже наш работник.

– Понял вас.

– Если поняли, действуйте, больше вас не задерживаю.

Обратно по проспекту Маркса Кашин шагал быстро как мог. Все-таки есть целый ряд вопросов, которые органы не в состоянии решить и вынуждены обращаться к нему, Кашину. Теперь он докажет, что тогдашнее отчисление его было ошибкой. Валентин не смотрел больше на женщин, хотя некоторые – ведь был час пик – касались его в толкучке плечами и прислонялись к нему в метро. Теперь он торопился в редакцию и от спешки даже прихрамывал сильнее, чем всегда. Шагая по коридору и приветливо всем улыбаясь, он сперва прошел мимо двери с надписью «Спецкоры», а потом вернулся, будто что-то случайно вспомнил, – так было лучше. Ивлев сидел на столе и читал книгу.

– Дела идут – контора пишет, Вячеслав Сергеич, – весело сказал Кашин. – А что, если нам с тобой сходить на хоккей? Встреча, говорят, будет первый сорт...

Слава взял со стола лист чистой бумаги, аккуратно засунул между страниц и отложил книгу.

– Валентин Афанасьич, – ответил он, с интересом оглядев завредакцией. – А что, если нам с тобой сходить в Большой театр?

– Зачем – в Большой?

– А зачем – на хоккей?

– Так у меня же на хоккей билет лишний есть. Дефицит!

– Если дефицит – чего мне занимать трибуну? Зови болельщика. Он оценит. А мне что хоккей, что балет...

– Да я всем предлагал – заняты! – не сдавался Кашин. – Мы с тобой никуда не ходили... Пивка попьем или чего другого...

Ивлев выпучил на него глаза.

– Я на хоккей с детства не ходил и до конца дней не пойду! Это занятие для дебилов.

– А может, до завтра передумаешь.

– Отстань!

Вышел Кашин, думая о том, как тяжело работать в газете. Есть приказ, а надо деликатничать. Кривляются, не хотят. Устал Кашин. Даже на Кубе, когда жара стояла невыносимая, и то было легче.

Вячеслав в лицах изобразил Раппопорту разговор с Кашинным.

– Может, он рехнулся?

Не ответил Яков Маркович. Кряхтя поднялся – и к двери. Уже открыв ее, он пробурчал:

– Вы можете обождать меня, старина? Живот что-то схватило.

Кивнув, Ивлев стал смотреть через запотевшее стекло на длинные, словно мятые махровые полотенца, облака, медленно уползающие в левый верхний угол окна. Он не заметил, как Тавров открыл дверь и вернулся за свой стол.

– Так я и думал, мой мальчик, так я и думал...

– О чем?

– Насчет хоккея... Дело в том, что Кашин никого из болельщиков не звал. Только вас.

– Откуда вы знаете?

– Спросил четверых – тех, кто действительно этим дышат. Знаете, как они удивились, что Кашин идет на хоккей? Они бы с удовольствием, но билеты достать не смогли. Боюсь я данайцев, дары приносящих.

## 62. ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Сироткина остановилась в дверях машбюро, помахав над головой письмом.

– Девчонки! Кто замуж хочет?

Руки немедленно подняли все, кроме заведующей машбюро пожилой Нонны Абелевой.

– Одного хватит, во! – она провела пальцем поперек горла.

Машинки перестали стрекотать, но голоса тонули в мягкой обивке стен.

– А сама, Надежда? – поинтересовалась Светлозерская. – Или на тебе, убоже...

– Пороху не хватает оседлать?

– Ему такие тощие не нравятся...

– А ты больше хлеба ешь – потолстеешь.

– Возбудились, – проворчала Абелева. – Спросили бы сперва, кого предлагают.

– Да вы только послушайте, какой жених пропадает! – сказала Надя. – «Обращаюсь в вашу газету с просьбой о помощи. Я хочу жениться, так как нуждаюсь в верном друге и товарище, с которым могу пройти по жизни. Являюсь старым большевиком со стажем с 1918 года, ветераном революции и гражданской войны. Мне 81 год, я слепну, и мне нужен поводырь». Подпись...

– Мать моя! – всхлипнула Абелева.

– Девочки! – воскликнула Светлозерская. – Он, небось, Ленина видел?!

– Ленина-то видел, но твоих прелестей уже не разглядит.

– Да на меня и без него глядеть есть кому, – обиделась Инна. – Жениться никто не хочет!

– Значит, ты, Светлозерская, согласна? – уточнила Надя. – Так я и отвечу: «Идя навстречу пожеланию трудящихся, редакция «Трудовой правды» выделяет вам жену-поводыря в количестве одной штуки».

– Это он-то трудящийся? Да он персональный тунеядец!

– А ты чего хотела? – возмутилась Нонна. – Чтобы и муж был, и тебя кормил? Так теперь не бывает!

– Надь, – спросила Инка, прищурясь. – А шашка у него есть?

– Конечно, есть! – уверенно заявила Сироткина.

– Значит, настоящий мужчина!

– А по-моему, – изрекла Абелева, – настоящий мужчина не шашкой отличается.

– А чем?

– Хобби.

– Хобби?!

– Да вы не то подумали! Тем, что он болельщик, или алкоголь, или марки собирает... Ну, будет, девчата! – строго осадила Абелева. – Потрепались и за работу.

Под хохот машинисток Надежда вышла из машбюро. Светлозерская выскочила за ней следом.

– Надь! Постой-ка, – хриплым шепотом протянула она и оглянулась, ища уголок поукромнее. – Слушай, вот смех-то! Кашин меня вчера оскорбил...

– Ой, – остановилась Сироткина. – Как же это?

– А вот так! Он же на меня давно глаза пялил. Но у меня другие планы были... А вчера вечером он ко мне на улице будто случайно пристроился. И стал опять в шашлычную звать. Ну, мне жалко стало. Мужик все же... «Шашлык, – говорю, – я и дома могу пожарить, на сковородке, если в кулинарии купить...» Уж он-то обрадовался! Не только на шашлык, на водку разорился. Выпили, шашлык сожрали – сидит. Я говорю: «Валентин Афанасьевич, жарко! Пиджачок бы сняли... А я, если не возражаете, халатик надену, а то – весна все-таки...» Разделась, халатик не застегиваю, вышла. Ну, тут он немного ожил, халатик с меня снял. Я говорю: «Замерзну, холодно!» А он: «Вы ж говорили, жарко!» И давай халат на меня надевать. «Ладно, – говорю, – я уж как-нибудь так потерплю...» Только тут стал он ремень свой расстегивать. Солдатский, между прочим, со звездой. И – ничего не сделал! Ниче-го!.. Подлец!

Надежда вежливо улыбнулась.

– Чего смеешься? Он же меня обесчестил! У меня так никогда не было! Я теперь целый день не в себе. Думаю: может, постарела? Я такого оскорбления не вынесу... Ведь я его, идиота, уже из плана выкинула.

– Из какого плана, Инка?

– Из трех, с которыми еще не спала. Как со всеми переплю, уволюсь. Пойду в другую редакцию, в «Известия» или «Правду», а то со скуки сдохнешь! Говорят, в «Комсомолке» молодых мужиков много, не слыхала?

– Слушай, а как Саша на это смотрит?

– Какабадзе? Грузины, конечно, лучше русских, факт. Но, во-первых, он ничего не знает, а во-вторых, ему ничего не обещано. Я что – собака на цепи? А они? Они-то что делают! Плевала я на них! Просто смотреть приятно, когда унижаются, врут, даже денег не жалеют, когда хотят. Коты сиамские! Кастрировать бы всех, да еще скучнее жить будет... С парши-



вой овцы хоть спермы клочок! Я сюда шла, думала начать сверху вниз...

– Это как?

– Ну, с Макарецва, лапушка... Два раза в кабинете у него срочное печатала. У него уже глаза блестеть начали. А Анна Семеновна догадалась: «Чтобы ничего такого, говорит, с ним не затевала!» Тоже мне мадонна! Я уже придумала, как коня оседлать, а Игорь возьми да и рухни с инфарктом. Теперь, наверно, не дождусь, когда с ним можно будет. Займусь пока Ягубовым.

– А не противно, Инка?

– Противно? Все его ругают, а мне он нравится. У него такие губы, кажется, все бы отдала, чтобы к ним прикоснуться.

– Отдай!

– А он не берет. Может, брезгует, что я беспартийная?

– Он же карлик!

– Говорят у карликов...

– Чепуха!

– Я, Надюша, только своим глазам верю.

– Инн! – Надя помялась. Она давно собиралась узнать и отговаривала себя, но тут решилась. – Спрошу, если не соврешь?

– Зачем врать? Только с тобой и делюсь. Ну!

– Ивлев у тебя в плане?

– Не-а...

Сироткина вспыхнула, хотя другого ответа и не ждала.

– Ты чего, дурочка? – Светлозерская обняла ее. – Да если хочешь знать, это и было-то всего один раз, в турпоходе, только для плана.

Конечно, глупо, но слезы выступили. Сироткина растерянно моргала.

– Не плачь, дурешенька! Умная баба радоваться должна, что мужик спит с другими. Значит, без недостатков. Лишь бы в подъездах не целовался. Если провожает – это обидно. Постой-ка! Вы что, не встречаетесь? Если негде, ко мне приходите. У меня, ежели на пол не лить, то и помыться можно. Только вытри потом, а то хозяйка орать будет, и за рубль не успокоишь! И простыню с собой бери. А хочешь, давай вообще без мужиков!

– Ты что?!

– А чего? Я с Райкой Качкаревой пробовала. Правда, Райка еще хуже мужика – грубая, как шоферюга.

– Да мне не это главное, Инн, – краснея, сказала Надя. – Мне, знаешь, хочется в театр с ним... У меня же в жизни не было, чтобы в театр... Я вообще решила: порву!

– Чушь несешь!

– Ты меня не знаешь. Решила – порву!

Резко повернувшись, Сироткина пошла к себе в отдел.

– Надька, где шляешься? – набросились на нее учетчицы писем. – Тебе раза три звонили. Беги к спецкорам!

И она пошла, наконец-то твердо решив сказать «нет». В комнате спецкоров она притворила за собой дверь и прислонилась к косяку, не глядя на Ивлева, сидящего за столом и что-то списывающего с книги. Она набрала побольше воздуха в легкие, готовясь высказать ему все спокойно и с достоинством. Обязательно спокойно и обязательно с достоинством. И без пауз.

– Сироткина, – сказал он, не отрывая глаз от книги, – подойди, поцелую.

– Нет, – ответила она тихо.

Большая часть ее решительности, с таким трудом собранной в одной точке сознания, израсходовалась на это «нет».

– За город поедем?

– Зачем?

– На дачу к приятелю.

– Зачем? – повторила она. – Я бы хотела в театр.

– А на хоккей? На хоккей не хотела бы?

– Почему – на хоккей? – Надежда ожила. – А вообще с удовольствием. Куда захочешь, только бы идти, а не лежать.

– Ты здорова?

– Как никогда!

– Тогда поехали.

После короткого колебания она подчинилась, сказав себе, что порвет там, чтобы не устраивать разговоров в редакции. Надя отпросилась часа на три. Ивлев ждал ее у метро, шурясь от солнца. Доехав до «Комсомольской», они вышли к Казанскому вокзалу, автомат выбросил билеты до станции Удельная. На платформе толкались бабы с мешками. В электричке стоял

тяжелый смрад непроветренной деревенской избы. По дороге они молча глядели в окно. Слава хмурился, и ей стало его жалко.

– Господи, чудо-то какое! Ты только посмотри! – Надя схватила Ивлева за руку и потянула прочь от платформы по улочке, утонувшей в сосновом лесу. – Солнце, птицы, а воздух такой, что с ума сойти можно!

Плащ на ней распахнулся, касаясь Славиной руки. Надя бежала, а он шагал за ней, тяжело и медленно, изредка говоря: «Направо. Прямо. Смотри, лужа...» Дачи стояли слепые, с окнами, заколоченными на зиму от вора. На пригорках, где уже стоял снег, желтела теплая прошлогодняя трава, и легкий парок поднимался от оживающей земли. Вдоль глинистого обрыва торчали свечки мать-и-мачехи и готовились озолотиться. А над обрывом серые ольхи набухли бутонами, собираясь распустить сережки.

– Не беги! За углом второй дом наш, – сказал Ивлев. – Хозяин говорил, дрова есть. Затопим печку – дом-то, наверно, сырой... Погоди-ка, Надь. Что это?

Едва шагнув за угол, Ивлев остановился, сжал Надину руку, потянул назад. Возле дачи, ключи от которой лежали у него в кармане, стояли две черные «Волги». Багажник у одной был открыт. Отступив за угол, Вячеслав прикусил губу, поморщился, словно у него начал ныть зуб. Мозг, расслабившийся от загородного приволья, мозг, занятый Надей, легко и счастливо бегущей вприпрыжку впереди, его мозг переключился, вернул Ивлева к действительности.

– Что это? – спросила Надя, с тревогой заглянув ему в лицо. – Занято?

Ее мысль катилась по накатанной дорожке, и Слава не ответил. Их еще не заметили: обе машины были пусты. Но в любую минуту могли заметить, и надо уходить.

По-прежнему крепко сжимая Надину руку, Вячеслав прошел немного назад вдоль углового соседнего дома. За двумя заборами из редкого штакетника был виден сад, и голые кусты, не обросшие зеленью, не мешали смотреть. По саду ходили пятеро, то и дело наклоняясь, будто что-то искали. К ним подошел шестой. Все они собрались вместе, скинули плащи, отдали ему, и тот понес плащи к машине.

- Кто это? – одними губами спросила Надежда.
- Они, – также губами ответил он.
- Сироткина заморгала, сообразив.
- А что ищут?
- Тайник с рукописями, если уже не нашли...
- А кто его закопал?
- Кажется, я...

Мужчины там, за двумя изгородями, разошлись и снова начали сгибаться и разгибаться, двигаясь в разных направлениях. Теперь в руках у них стали видны длинные тонкие стальные штыки, посверкивающие на солнце. Вячеслав морщился от боли, будто протыкали не землю в саду, а его самого.

- Господи! – тихо сказала Надя.
- Я давно хотел перепрятать. Из-за зимы не успел...
- Надо было отдать мне.
- Тебе?
- Ну конечно! У меня дома – надежней. Уйдем отсюда, я за тебя боюсь! Прошу, уйдем!

Надежда потерлась лбом о его щеку, повела его, взяв за локоть. Он подчинился. Не сворачивая и не оглядываясь, они прошли квартал, затем обогнули пруд. Дома кончились. Дорожка, мокрая и скользкая, шла к лесу. Тени от стволов и веток замелькали на их лицах, густой березняк принял их в свои владения, скрыл, спрятал, отделил от остального мира. Надя то и дело поглядывала с тревогой на Ивлева и, чтобы его успокоить, просунула руку в распахнутый его плащ, обняла его за талию, пошла скособочась, спрятав голову у него под мышкой.

- Тебе же так неудобно! – он взял ее за шею.
- А ты остановись...

Они долго стояли обнявшись возле трех берез на сухом холмике, напоминающем могилу. Надя начала дрожать.

- Тебе холодно? – спросил он.
- С чего ты взял? Просто я не хочу с тобой в театр...
- А куда?
- На траву...

Получилось быстро и плохо. Но она стремилась заставить его хотя бы на мгновение забыть о том, что превращало его в

одержимого. И она добилась этого, восхищаясь им и чуть-чуть переигрывая свою страсть. Она научилась это делать и сама так входила в роль, что об игре забывала.

– Когда стоишь, трава кажется теплой, – сказала Надя. – Но земля-то еще не оттаяла... Прости, но мне холоднее, чем тебе...

Надя не отрываясь смотрела ему в глаза. Вот они снова потухли. Заботы, беды, утраты – что в них? Старость! Он постарел. У него на висках сегодня прибавилось седины.

– Хочешь, рожу тебе девочку?

– Для полного счастья?

– Извини, я сегодня дура. Было бы хорошо, если б можно было жить только для любви.

– Надоело бы...

– А что делать? – тихо спросила Надя. – Помнишь, ты как-то сказал: жизнь – река? Я запомнила. Маленькой я плавать не умела, не знала, где глубоко, где омут... Но теперь плыву сама. Только куда?

– Куда все, Сироткина. Жизнь предлагает сто потоков: человеческие сношения, быт, службу... Большинство плывет по течению всю жизнь.

– Я бы тоже, если б не ты.

– Я не лучше других. Против течения – сносит. И никто не оценит.

– Давай уедем, убежим! Река покрывается льдом, а берега – вечная мерзлота!

– Перескочить в другую реку? Но ведь мне и там захочется плыть против течения.

– На тебя влияет Рап!

– У меня такой склад ума. Журналистика – это недовольство, а не патока.

– Что же теперь будет? – она кивнула в сторону дач, оставшихся за деревьями.

Он пожал плечами.

– Перед тем как мы смылись из редакции, жена звонила. Сказала, что из автомата...

– Антонина Дональдовна тебя любит, – вежливо проговорила Надя. – погоди еще минуту. И потом будешь принадлежать ей всегда.

- Я люблю тебя, – сказал он.
- А ее?
- Ее тоже.
- Разве можно любить двоих?
- Если нельзя, давай расстанемся, Сироткина. Расстанемся, как в Одессе говорят, красиво... Сразу станет легко.
- Ты здорово придумал: расстаться красиво... А на электричку вместе пойдем или отдельно?
- Вместе, само собой. Но – просто как друзья.
- Хорошо. Просто как друзья!

### 63. ИВЛЕВА АНТОНИНА ДОНАЛЬДОВНА

#### ИЗ ВЫЕЗДНОГО ДЕЛА

*Характеристика (в трех экземплярах): на тов. Ивлеву А.Д., рождения 29 августа 1939 г., русскую, беспартийную, образование среднее специальное, преподавателя фортепьяно и сольфеджио детской музыкальной школы №38. Домашний адрес: ул. Марии Ульяновой, 4, кв. 31. Муж Ивлев Вячеслав Сергеевич, рождения 1935 г., специальный корреспондент, работает в газете «Трудовая правда». Сын Ивлев Вадим, рождения 1963 г., посещает детский сад.*

*Тов. Ивлева А.Д. – девичья фамилия Косых – работает в детской музыкальной школе №38 с 1962 г. До этого в течение трех лет работала учительницей в Бурятской АССР – станция Могойтуй – по распределению после окончания музыкального училища.*

*За время работы в музыкальной школе №38 тов. Ивлева А.Д. показала себя знающим специалистом, способным выполнять возложенную на нее работу. К поручениям администрации относится исполнительно и дисциплинированно. За хорошую работу дважды получала благодарности в приказе. В педагогическом коллективе пользуется авторитетом.*

*Тов. Ивлева А.Д. ведет общественную работу в качестве агитатора, аккуратно посещает политзанятия, политически грамотна, выдержана в быту, устойчива морально, до этого замужем не была, детей от других браков не имела.*

*За границей тов. Ивлева А.Д. не была. Ранее с просьбой о разрешении съездить за границу не обращалась и отказано ей не было.*

*Дирекция, партбюро и местный комитет рекомендуют тов. Ивлеву А.Д. для туристической поездки в Болгарию по линии КМО<sup>1</sup> «Спутник» сроком на 20 дней.*

*Решение партбюро от 15 марта 1969 г., протокол №6.*

*Директор музыкальной школы №38 Н.Чучулина.*

*Секретарь партбюро В.Охотниченко.*

*Председатель месткома А.Бродер.*

*Собеседование в райкоме прошла. Политику партии понимает правильно. На вопрос одного из членов комиссии о ее странном отчестве ответила: «Моя мать – одиночка, имя отца просто придумала, чтобы меня зарегистрировать».*

*Зам. председателя выездной комиссии  
Октябрьского райкома КПСС М.Фельдебин.*

*Октябрьский РК КПСС рекомендует тов. Ивлеву А.Д. для поездки в составе туристической группы в Болгарию.*

*Секретарь Октябрьского РК КПСС Б.Синюков.*

*Другие вложения в выездное дело: анкета, автобиография, 6 фотокарточек, медсправка, выданная после полной диспансеризации и прививок по получении справки из психодиспансера о том, что Ивлева А.Д. на учете не состоит.*

*Пояснения: Советский паспорт сдается с квитанцией об уплате денег за поездку. Железнодорожный билет на руки не выдается. Иностраный паспорт выдается руководителем группы в поезде перед пересечением границы. Валюта выдается после поселения в гостиницу по месту поездки.*

*О правилах поведения советских туристов за границей проинструктирована.*

*Накануне дня отъезда Ивлева А.Д. заменена в группе другим кандидатом на поездку.*

---

<sup>1</sup> Комитет молодежных организаций ЦК ВЛКСМ.

## СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЯ ТОНИ ИВЛЕВОЙ

В 1938 году отдел печати Наркоминдела предложил лондонской газете «Дейли телеграф» в срочном порядке забрать своего московского корреспондента за попытку брать интервью у лиц, вышедших из тюрем. Вскоре на его место приехал более молодой репортер Дональд Оксби, выпускник Кембриджа, говорящий по-русски с трудом.

В первой же беседе в Наркоминделе Дональду разъяснили, какими сторонами советской жизни нужно интересоваться иностранцу, и он все понял. Оксби аккуратно носил материалы, отправляемые в свою газету, на проверку в Наркоминдел и послушно вычеркивал все, что просили.

Однажды Оксби, которому были весьма симпатичны взгляды коммунистов на всеобщее братство, понадобились фотографии для статьи о жизни советских рабочих, и он отправился в фотохронику ТАСС. Он отобрал несколько снимков, на которых смеялись чумазые трактористы и землекопы. Оксби объяснили: поскольку фотографии для заграницы, их необходимо отретушировать еще раз. Девушка-ретушер сказала Оксби, что раз надо срочно, она останется после работы и все сделает. Зайти к ней надо через три часа. Ее зовут Ксюша. Три часа Дональд Оксби, репортер «Дейли телеграф», гулял по Москве и, чтобы не забыть, повторял странное имя ретушера:

– Ксю-шу-а, – произносил он. – Ксюшуа... Это очень просто!

Повторение одного имени в течение трех часов ни к чему хорошему не привело. Когда Дональд вернулся в фотохронику, Ксюша еще не успела убрать чумазость со всех щек на фотографиях и нарисовать на месте спецовок всем рабочим костюмы с галстуками. Мистер Оксби наклонился над Ксюшей, чтобы посмотреть, как ловко она это делает, но не мог оторвать глаз от ее прозрачного маленького ушка и рыжих завитков волос возле этого ушка. Завитки колыхались от дыхания мистера Оксби, и он вообще перестал дышать, боясь помешать ответственной работе ретушера.



Когда фотографии были готовы, Оксби вызвался подвезти «мисс Ксюшуа» до дому. Она очень испугалась, и он не понял почему. Пошли они пешком. Мистер Оксби за все время своего пребывания в Москве не гулял столько, сколько в тот день. Репортер «Дейли телеграф» и ретушер фотохроники стали встречаться каждый вечер. А через два месяца, перед отъездом на несколько дней в Лондон, Дональд сделал предложение Ксении. Она снова очень испугалась, но согласилась.

Подав заявление о браке, Оксби уехал в Лондон, собираясь заехать за благословением в Кембридж к своим родителям. Ксения считала дни. Дональд уже давно должен был вернуться, а его не было. Через месяц Ксения Косых была уволена из фотохроники ТАСС за связи с иностранцами. Она терялась от неизвестности. Подруги советовали ей не жить дома – ведь ее обязательно арестуют. Еще месяц спустя, через одну из подруг, работавших в фотохронике, Ксению Косых разыскал новый корреспондент «Дейли телеграф». Мистеру Оксби, сказал он, не дали въездной визы за аморальное поведение в советской стране. Он убедительно просит «мисс Ксюшуа» приехать к нему в Лондон. Родители его согласны на брак и в качестве свадебного подарка решили преподнести им ферму в Шотландии. Ксюша расплылась в счастливой улыбке, но почему-то никуда не поехала, а еще через шесть с половиной месяцев сама пришла ночью в приемный покой родильного дома №7 имени Грауэрмана.

Дочку Ксения назвала Антониной. В метрике ее вместо фамилии отца стоял прочерк. Ксюша боялась устраиваться на работу, тогда бы ее скорей арестовали. Она убирала квартиры, мыла окна, в войну уехала в Забайкалье и работала в колхозе, в поле. После войны Ксения вернулась домой, чтобы дать дочери получше образование. Девочка, все говорили, очень способная к музыке, посмотрите, как пальцы прогибаются. Когда Тоня получала паспорт, шел уже 55-й год, стала девочка Антониной Дональдовной.

Письмо от отца пришло совершенно неожиданно. Но дошло. Оно было брошено неизвестным иностранцем в Москве. Мистер Оксби писал, что ждал свою возлюбленную шесть лет, а после, из-за отсутствия каких бы то ни было сведений и надежд, женился, и теперь у него две дочери: Кэрол – в честь

матери – и Сьюзи – в честь Ксюшуа. Правда, похоже? А письмо он посылает на всякий случай, без особых надежд, что адресат найдется. Ксения скрыла письмо от дочери и мистеру Оксби не ответила, хотя зла к нему не имела, а чувствовала скорей благодарность за его внимание.

Тоня росла девочкой послушной. Если оказывалось, что-нибудь не так, мать (нервы стали никудышные!) сразу начинала плакать, дочка перенести этого не могла и послушно соглашалась делать то, что ей вовсе не хотелось. Пионеркой она и дома ходила в красном галстуке, была начальником штаба отряда, комсомолкой вошла в комитет ВЛКСМ. Она все успевала: уроки, общественная работа, музыка. Пианино, взятое напрокат, требовало денег и даром стоять не могло.

Она не была дурнушкой. Стройная, ноги длинные (если бы хорошо одеть), шея красивых линий (если бы ее открыть), волосы волнами (если бы причесать так, как идет), лицо благородное (если бы проследить, чтобы не было прыщиков на подбородке от трения о грубое школьное платье). Все ей растолковали в школе, разжевали, указали, как понимать то или иное явление, или предмет, или строй. Не объяснили только, как понимать то, что она рождена на свет женщиной.

Такой она и музучилище кончила, и уехала одна в Сибирь. Отрубив по распределению положенные три года, Антонина Дональдовна вернулась и встретилась со своими школьными подругами. В Москве жизнь полегче стала, иностранные тряпки появились. Подруги разоделись, красились, вели непонятную жизнь. Едва ли не силком затащили Тоню на вечеринку. Она сидела в углу, танцевать не умела. Никто на нее не взглянул. Всю ночь дома она проревела, стараясь не разбудить мать, затыкала рот подушкой, – все-таки одна у них комната в коммунальной квартире, а матери на работу рано. Ксения работала ретушером в типографии.

На другой день Антонина разыскала объявление и пришла в платную школу современного танца. Тогда только-только такие заведения открывались. До этого можно было танцевать вальс, падепатинер и, как исключение, танго. Во дворце культуры пожилая руководительница с гусарскими усами и кривыми ногами велела всем, уплатившим в кассу деньги за месяц вперед, построиться в две шеренги: молодые люди справа вдоль

стены, девушки слева. Первый и первая в шеренгах обошли ряды и собрали квитанции. Руководительница пересчитала квитанции и пересчитала учащихся. Числа совпали, и она торжественно объявила:

– Внимание! Кавалеры, подойдите к дамам. Шагом – марш! Теперь возьмите правую руку дамы своей левой рукой, а свою правую руку положите даме на талию... Очень хорошо!

Хотя учительнице музыки Антонине было уже почти двадцать три, ни правую, ни левую руку ей на талию еще никто не клал. Она даже не разглядела от волнения своего кавалера. Она лишь напряглась от прикосновения и отодвинулась от него подальше.

– Стойте в позе, как я велела! – крикнула танцмейстерша.

– Я пройду и всех проверю.

Стоять Тоне было неудобно и даже стыдно. Глупо все, так ужасно глупо, что не поверила бы, если рассказали.

– А вы, девушка, не выпячивайтесь назад! Это я вам, вам говорю. Как ваша фамилия?

– Моя? – очнулась Тоня. – Косых.

– Косых, не коситесь, – пошутила преподавательница.

– Запомните: выпячиваться назад так же некрасиво, как прилипнуть к партнеру вплотную. Запомнили?

– Я не выпячиваюсь, – робко возразила Антонина, чувствуя, как краска заливает ей лицо.

– Не спорьте, мне виднее!

Слезы брызнули из глаз. Тоня освободилась из рук кавалера и побежала. За дверью она прислонилась к колонне и дала волю слезам. Что-то с ней происходило. Она всегда могла собой управлять с легкостью – и желаниями, и нежеланиями, и чувствами, и поступками. Она всегда удивлялась, как это другие поддаются сиюминутным слабостям, которые совершенно не обоснованы. А тут... Тут она почувствовала, что на талии у нее снова лежит рука. Она отодвинулась, но рука осталась.

– Не расстраивайтесь! Она просто дура...

Тоня открыла мокрые глаза и с трудом узнала своего кавалера. Он ушел из зала вслед за ней. Оказалось, он тоже первый раз пришел на танцы. И из витиеватых рассуждений о том, что привело его в школу танцев, Антонина поняла: причина та же самая. Ивлеву было 27.

Он оказался такой же, как она, и в прошлом, и теперь. Ему ничего не надо было объяснять и ни в чем оправдываться. Ей – тоже. Она с усмешкой вспоминала свои пионерские и комсомольские интересы – они стали маленькими и жалкими по сравнению с тем важным, что возникло между ней и Ивлевым.

Его родители уехали отдыхать в Крым. Тоня стала оставаться у Славы. Мать ее перепугалась, решила, что судьба дочери повторится. Но он вскоре появился в их доме и спросил, не возражает ли Ксения Захаровна, если они с Тоней поженятся. Сенсационная новость: Антонина Косых вышла замуж за журналиста и, в общем, он симпатичный парень, а не какой-нибудь там олух, – новость эта облетела Тониных подруг.

Счастливые хлопоты наступили для Тони. Через некоторое время Ксения Захаровна призналась дочери, что давно соединена с одним человеком и хотела бы с ним съехаться. Он художник, пишет портреты. Сделать это раньше Ксения Захаровна стеснялась.

Уезжая от матери, Антонина собирала свои вещи и нашла спрятанное матерью старое письмо от Дональда Оксби. Она забрала его с собой. Она стала мечтать увидеть (только увидеть!) отца, но понимала, что это нереально. Затеять переписку нельзя: муж работает в газете. Да и, предположим, она найдет отца. Он испугается, что она навязывается к нему в дочери, – ведь он о ней даже не слышал. Если бы просто съездить в Англию в туристическую поездку. Правда, в поездке от группы отлучиться не позволят. Но хоть бы увидеть родину отца!

Эти размышления Тони отошли на задний план, когда родился сын. Их стало трое, мальчик отнял все ее внимание и все заботы. Антонина была счастлива и ничего не замечала, хотя чувствовала, что Слава стал немного другим. Каким другим, она и сама не могла бы объяснить. Все со временем становятся другими. Вскоре после истории с телеграммой Славика Солженицыну директриса музыкальной школы вызвала Тоню с урока. Молодой человек за директорским столом стал ее расспрашивать о работе, о семье, о муже.

– Простите, а вы, собственно, кто?

– Я из Комитета госбезопасности. Нам хотелось, чтобы вы повлияли на Вячеслава Сергеевича.

Антонина поплотнее сжала губы, чтобы не выдать волнения.

– Не понимаю, о чем вы...

– У него сомнительные связи, наша задача – воспитывать, предупреждать. Помогите нам – это в ваших интересах тоже...

– Он самостоятельный.

– Тем более! Зачем ему заниматься несолидными делами, за которые строго наказывают? Кстати, он пишет дома?

– Нет.

– А рукописи читает какие-нибудь?

– Нет.

– Я вижу, вы не очень разговорчивы... Жаль! Мы ведь хотели вам помочь сохранить семью...

– Я в помощи не нуждаюсь.

– Тогда хочу предупредить: о нашей беседе говорить нельзя.

– Вы хотите, чтобы я что-либо скрывала от мужа?

– Вы советский человек?

– Да. И секретов от мужа у меня нет.

– Что же? Пожалееете...

– Вы мне угрожаете?

– Предупреждаю.

Тоня не сказала Вячеславу об этом разговоре не потому, что побоялась, а чтобы его не волновать.

Когда Антонине предложили съездить в Болгарию, она согласилась. Профком выделил путевку для музыкальной школы на несезонный месяц, и желающих, да еще с деньгами, сразу не нашлось. Тоня подумала, что Ивлеву полезно будет поскучать без нее. Он слишком привык, что она всегда дома ждет его, все сделано, приготовлено и вообще все в порядке. И она ведь тоже самостоятельная! К тому же, в соцстрану надо съездить потому, что без этого не пустят в страну капиталистическую. А мечта поехать в Англию, чтобы увидеть отца, не покидала сознания. И вот турпоездка в Болгарию сорвалась.

По неизвестной причине слово «счастье» существует в русском языке только в единственном числе, слово же «несчастье» имеет и множественное.

## 64. НЕ ЗАПИСЫВАЙТЕ ТЕЛЕФОНОВ!

Тоня поднялась около семи утра, чтобы до работы завезти Вадика к матери. Ивлев спал, она тихо выползла из-под одеяла, не стала его будить. Вадик тоже был сонный, хныкал. Они выпили стакан теплого сладкого чаю, один на двоих, и Антонина натянула на сына шапку и курточку. Ботинки, немного успокоившись, он надел сам.

Возле подъезда Вадик споткнулся, упал, заплакал. Шнурки оказались незавязанными. Тоня посадила его на скамейку, села перед ним на корточки. Дворничиха мела тротуар, остановилась, ждала, пока они уйдут.

– Это «Волга», – сказал Вадик.

Все машины он называл по маркам. Из «Волги» вышел человек в зеленоватом плаще и шляпе. Он остановился на мгновение, вытащил из кармана полиэтиленовый пакет, извлек из него резиновые хирургические перчатки и пошел к подъезду, натягивая перчатки на ходу. Тоня удивилась.

– Кто это? – спросила она дворничиху.

– Эвоя тот? – махнула женщина метлой в сторону подъезда. – А почему мне знать? Приезжат каждую утру и в мусор роитси... Эвоя я яво спросила, чаво вкруг контейнера сорит, сказал, из треста, мол, очистки, проверять, какой мусор идет... А может, и чеву другова ищеть. Эвоя, почему мне знать...

В подъезд человек не вошел, а исчез в двери подвала. Тоня завязала Вадика шнурки и подняла его со скамейки.

Отвезя сына к матери, Антонина добралась до школы. У нее было четыре урока и педсовет. С педсовета она отпросилась под предлогом плохого самочувствия, забежала в один магазин, в другой: дома ничего не было ни на ужин, ни на завтрак, в магазинах тоже. Все же она кое-что купила. Постояв в очереди в прачечной, она взяла рубашки для Ивлева: дома не осталось ни одной чистой. Сумка стала тяжелой (ноты и продукты), да еще под мышкой пакет с рубашками. Она торопилась домой, чтобы использовать отсутствие сына и успеть сделать побольше: пропылесосить комнату и вымыть пол на кухне, постирать свое и носки Ивлеву, помыть голову и высу-

шить, подготовиться к завтрашним урокам. Это даже хорошо, что ее не пустили за границу. Ведь тут оба ее мужчины за две недели просто паутиной обросли бы! Да и неизвестно, как Вадим перенес бы ее отсутствие. У входа во двор дорогу ей преградили двое. Она решила – пьяные, отступила и попыталась пробежать, как в детстве, нагнувшись под расставленными руками.

– Минуточку! – сказал один из них. – Куда вы так спешите?

– Вас не касается!

– А может, и касается, – сказал другой, крепко сжав ей локоть.

– Пустите! – крикнула Тоня.

– Да вы не волнуйтесь, девушка! Мы из милиции. Так что не бойтесь. Можно посмотреть, что в пакете?

Не ожидая ответа, первый уже тащил из-под руки Антонины сверток.

– Вы не имеете права!

– Имеем. Давайте его сюда!

Они быстро развернули, а увидев рубашки, аккуратно засунули край бумаги в щель и вернули.

– Вот и все. Из-за такого пустяка – и нервничать? До свиданья.

Вежливо расступившись, они пропустили Тоню. Через несколько секунд, когда Антонина, открыв дверь, оглянулась, чтобы посмотреть, не идут ли за ней, их уже не было. Тоня так разнервничалась, что никак не могла найти ключ от квартиры и перерыла всю сумочку. Когда она наконец вошла, ей показалось, в квартире присутствует незнакомый запах. Она испугалась, не беременна ли, но тут же сама себе объяснила, что этого быть не может. Тоня открыла дверь на кухню и лишь тут сообразила, что это запах сигарет, только не таких, какие курил Ивлев, а более сладких. Да, он сидел с утра дома, разбирал бумаги. У мусоропровода валялись обрывки рукописей и целые листки. Не достал своих сигарет, курил какие попались.

В комнате Антонина сняла юбку и кофточку. Провела пальцем по письменному столу – надо вытереть пыль. На столе лежали папки, снятые с полки. Вячеслав что-то искал, спешил, даже не убрал. Она не стала ничего трогать, натянула халатик и ушла в ванную стирать.

Около восьми появился Вячеслав, усталый и хмурый. Наде не хотелось домой, и она поехала с ним на метро. Вячеслав согласился, хотя стремился остаться один. Он попытался пройтись с ней у турникета, но она попросила разрешения подняться с ним вверх. А наверху сказала, что проводит его до дому.

– Ты обязательно хочешь, чтобы жена нас увидела? – спросил он. – Ты этого добиваешься?

– Ничего я не добиваюсь, – тихо отозвалась Надя. – Я всего добилась, добилась тебя. Мне больше ничего не нужно. Прощай!

Она бесстрастно поцеловала его в губы и, не оглядываясь, побежала к дверям метро. Он постоял, глядя ей вслед, пожал плечами и двинул домой. Едва он вошел в подъезд, его рванули в сторону за рукав.

– Он? – спросил в темноте ленивый голос.

– Он! Кто же еще? На, сука!

Его ударили в живот. Ивлев скорчился от боли. Смахнули шапку и сзади рванули за волосы, откинув назад его голову. Били его ногами. Сколько их? Трое, четверо – он не видел. Били молча, с разных сторон, до тех пор, пока дверь в подъезд не открылась и не показалось трое соседей – муж, жена и ребенок. Те, кто били, пропустили их в подъезд и один за другим выскочили на улицу. Соседи прошли мимо Ивлева, ничего не заметив.

Он полежал немного и поднялся. В лифте погляделся в зеркало. На лице ни единого синяка. Ныли живот, спина. Он ощупал себя: хорошо еще, не поломали рук и ног, и череп цел.

Домой он пробрался тихо, медленно снял плащ, долго мылся холодной водой, потом тихо пришел на кухню и молча сел за стол. Тоня быстренько стала его кормить, ни о чем не спрашивая. Он поел, поцеловал ее походя в щеку, ушел в комнату и вернулся.

– Тонь! Кто все перевернул вверх дном?

– Ты сам! – она положила нож, которым резала лук, и с тревогой смотрела на него. – Кто ж еще?

– Я?! – переспросил он с недоумением.

– Разве не ты что-то выбрасывал? – Тоня указала пальцем на пол возле мусопровода, где она еще не успела убрать.



Вячеслав опустил на колено. Каждое движение причиняло боль. Он взял с пола обрывок. Это оказался остаток одной из его неопубликованных статей.

– Какая сволочь все трогала?

– Когда я вошла, мне показалось...

– Выходит, что не понадобилось, просто рвали и сбрасывали в мусоропровод? Я иду в милицию!

Дежурный лейтенант в милиции к сообщению отнесся вяло, ничего не записал. Спросил фамилию и место работы.

– Ладно, будем искать.

– А на месте никто не осмотрит?

– Чего смотреть? И так ясно – обокрали. Я же сказал: будем искать. А чего украли?

– Украли?.. Учебник французского языка... Они меня избили, лейтенант!

– Вообще, я тебе так скажу, – лейтенант смотрел на Ивлева с иронией, но не без сочувствия. – Не лезь ты в это дело! Их разве поймашь?..

Тоня еще возилась на кухне. Он сел на табурет посреди кухни, бессмысленно перебирая валяющиеся на полу клочки с заметками, черновики. Антонина опустилась возле него на колени.

– Ты брала блокнот с телефонами?

– Не трогала...

– Тогда ясно что еще украли. Ведь у Макса Закаморного есть белые стихи. Он раз сто их читал:

*Телефоны друзей не записывайте!*

*Лучше так их запоминайте.*

*Таковы условия времени*

*И простой человеческой порядочности...*

## 65. МАШИНКА

Светлозерская вернулась из редакции около десяти. Возле приоткрытого окна Инна остановилась, опустила длинную молнию, сняла платье, лифчик и вздохнула. Она знала, что с улицы все видно, но это ее не тревожило. Весенний воздух приятно зашекотал в ноздрях. Инна блаженно потянулась, глянула

себе под мышки и надумала сразу побрить волосы, пока не забыла. Она взяла бритву, когда раздался звонок.

Прикрывая рукой груди, она отворила – на пороге стоял Ивлев.

– Славочка? Заходи! Извини, я не совсем одета.

– Я вижу, – Слава поставил портфель у двери. – Так даже красивее... Ты прости, Инка, что я так поздно. Давай рукопись!

– Так я же не кончила!

– Сколько успела, неважно. И... давай свою машинку.

– Зачем?

– А я привез новую, лучше твоей...

– То есть?!

– Не будь глупенькой, Светлозерская. За мной следят. Хочешь, чтобы тебя попутали?

– Меня? А меня за что?

– За то, что мне печатала, дуреха!

Она присвистнула.

– Да ты проходи, Славочка. Снимай плащ...

Хозяйка возилась на кухне, в комнату не заходила, слышала, что к Инне кто-то пришел.

– Что это? – спросил Ивлев.

По руке у нее текла тонюсенькая струйка крови.

– Чепуха! Я бритвой порезалась. Хочешь слизать?

Ивлев взял ее за плечи, поцеловал, собрав языком кровь.

– Спасибо, – сказала она. – Ты безопасной бритвой – умеешь? Тогда побрей мне подмышки.

Она подняла обе руки и поворачивалась, пока он это делал.

– Мужчина – совсем другое дело. Он все умеет. А трусики мои тебе нравятся?

– Очень!

– Это итальянские. Правда, состарились, но лучше наших-то! Вот эти завязочки спереди развязываются.

– Закройся, Инка!

– Пожалуйста, – она не обиделась. – Тебе же лучше хотела. Я все равно Надьке уже сказала, что мы с тобой спали...

– Зачем, глупая?

– А у меня примета: если совру, что с кем-нибудь спала, после обязательно лягу. Ложь сбывается! Примета такая, понимаешь?

– Понятно! – он положил бритву. – А хозяйка – она как?

– А она, когда ко мне мужчина приходит, на кухне сидит.

Я ведь ей за это плачу.

– За что?

– За каждого мужчину. Так что она довольна, если больше приходят. Скупая, сволочь: подслушивает, сколько кусков бумаги в уборной отрывает.

Поставив зеркало на стол напротив него, Инна начала накручивать прядки волос на бигуди. Голову она покрыла цветастой косынкой.

– Жарища-то! Ты на меня не смотри... В бигудях я некрасивая. Я вообще, Славочка, старею, и мне пора делать карьеру, как всем.

– Зачем?

– Затем, что такие, как ты, уже просто сидят со мной.

– Это я старый, Инка. Простой советский импотент. Всех по мне не меряй...

– Считаешь, у меня красота еще осталась?

– Все на месте, Светлозерская. За тебя я не беспокоюсь.

– Ягубов сегодня тоже сказал, что у меня все в порядке.

Правда, он имел в виду анкету. Сказал, даст мне рекомендацию в КПСС.

– Ну?

– Я же сказала – делаю карьеру. Он обещал сделать меня завмашбюро.

– Ого!

– Конечно, он даст мне рекомендацию, чтобы я как член партии молчала, что он хочет со мной переспать. Но мне-то не все ли равно?

– Зря, Светлозерская...

– Зря? А вы все?

– Я вступал, когда верил. А сейчас вступают только дураки и карьеристы.

– Правильно! Я как раз и то, и другое. Если вступлю, меня, может, в турпоездку выпустят. В Италию. Очень хочу в Италию.

– Что там делать?

– Да то же, что и здесь, только открыто. Уж мужики там не хуже наших, это точно. Никто из хороших людей мне не

поможет, а Ягубов – поможет. Глупо не использовать, пока он меня хочет.

Вячеслав встал.

– Хороший ты человек, Светлозерская, искренний. Давай рукопись, чтобы тебя не попутали. А то из-за меня вся твоя карьера погорит...

Вытащив из тумбочки папку, Инна держала ее в руках, отдавать медлила.

– Слав! – тихо спросила она. – А ты правда из-за меня приехал? Ну, чтобы я не погорела?

Она подошла к нему вплотную.

– Унизь меня. И посильней. Похабно, как хочешь. Ну, оскорби, скажи, я шлюха, или ножом меня порежь, или зубы выбей. Не бойся, я кричать не стану, терпеливая. Ну!..

Он смотрел ей в глаза. Глаза были сухие, бешеные.

– Что с тобой? – растерялся он.

– Я сука, Славочка.

– Почему?!

– А потому! Все, что ты просил печатать в четырех экземплярах, я печатала пять.

– Зачем?

– Пятый у меня просил почитать один мой клиент. Он мне за пятый столько платил, сколько ты за четыре. А мне деньги всегда нужны, ты же знаешь... Я думала, он просто почитать... Скотина! Придет, я ему ... откушу! Не бойся их, Славик! Ничего не сделают! Ну, не расстраивайся! Сейчас я тебя развеселю.

Сняв с гвоздя гитару, Светлозерская провела пальцем по струнам, подстроила, откашлялась.

– Выпить хочешь?

Он отрицательно покачал головой. Инна взяла с подоконника бутылку водки, вылила остаток в стакан, выпила, обливав губы, подождала, пока водка проникла в организм.

– Вот послушай, Славик:

*Задаёт вопрос народ:  
«Что нам партия даёт?»  
Наша партия – не блядь,  
Чтобы каждому давать.  
Эх!*

## 66. ШМОН

На скамье для старух, напротив подъезда, сидел молодой человек в синей спортивной куртке, поглядывая на дверь. Выйдя из дому спозаранку, Вячеслав Сергеевич не обратил бы на него внимания, если б человек не поднялся чересчур поспешно. Шаги в подворотне становились гулкими, и Слава понял, что у него хвост. Значит, не отстали, и вчерашнее – только звено в цепочке.

В толпе, ожидающей троллейбуса, Ивлев попытался пробраться в гущу, поближе к краю тротуара. Когда подошел троллейбус, Вячеслав двинулся напролом к задней двери, но протиснулся мимо нее и сзади троллейбуса перебежал на другую сторону улицы. Он остановил первую попавшуюся машину, едущую в противоположном направлении. Это был пикап с надписью «Торты, пирожные».

– Тут недалеко, три квартала. Плачу грешку. Довези!

Оглянувшись, он увидел, что следопытов у него на хвосте двое, и они бодро перебегают дорогу следом за ним. За поворотом он попросил остановиться, бросил на сиденье три рубля и нырнул во двор школы. Он обогнул здание. Позади школы в заборе была выломана дыра, он знал ее. Через дыру Слава вышел на соседнюю улицу, и здесь ему повезло: он сразу остановил такси. Хвост отпал. Ивлев вылез в центре, возле ГУМа, где всегда было людно, и позвонил Раппопорту.

– Вы когда, Рап, собираетесь в редакцию?

– Нужны ключи, Славочка?

– Нет, хотел бы встретиться.

– Что-нибудь уже случилось?

– Так... Кое-что...

– Я готов, старина! Только позвольте мне добриться и выпить чашечку чаю.

– Конечно, Яков Маркыч. Жду вас у входа в метро «Измайловский парк».

– Разве вам это удобно?

– Все равно делать нечего, подъеду.

Ждать Ивлеву не пришлось. Яков Маркович в шляпе и чересчур широком плаще, шаркая по асфальту, медленно пересекал улицу.

– Неужели есть на свете катаклизмы, которые могут заставить человека добровольно недоспать?

Раппорт протянул коряжистую волосатую руку. Стараясь избегать эмоций, Ивлев перечислил факты. Яков Маркович не перебивал, только посапывал, глядя в сторону. Лишь в одном месте поднял брови и переспросил:

– Инна? Если б я услышал это не от вас, Ивлев, не поверил бы. Видно, я недостаточно отсидел...

– Что делать, Рап?

– Видите? И теперь вы у меня спрашиваете что делать! Я что, Чернышевский? А вы спрашивали, когда начинали? И тем не менее я предупреждал! Да вы поступили хуже Светлозерской!

– Я?!

– Конечно! О таких, как Инна, наш друг Закаморный сказал бы словами Евангелия от Марка: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят». А вы-то ведали! Или вы учили французский, чтобы переводить положительных французских коммунистов?

– Кюстин очень боялся попасть в лапы Третьего отделения, Яков Маркыч. Но кто мог подумать, что его заберут через сто тридцать лет!

– Не его, а вас, мальчик! И что вы докажете своим героизмом? Что с Николаевских времен ничего не изменилось? Ах, вы скажете, стало хуже? Да, России не повезло: она легла под монголов, а надо было – под французов или, еще лучше, под англичан. Потом бы они ушли, но обрюхатили бы ее демократией, а не свинством! А без вашего Кюстина, думаете, мы этого не знали? Чего вы теперь хотите?

– Хотел только предупредить: за мной следят.

– Спасибо! Но я всегда живу так, будто за мной хвост. А теперь особенно.

– Почему?

– Год такой! Девятый вал катится. Вот-вот обрушится. Меня волна сбивала не раз, но раньше я вставал. Теперь мне не подняться... Наверху колебались до августа 68-го. Боялись. Но вот задушили чехов, и сошло! Они поняли, что раз уж в

чужой Чехословакии люди терпят все, в своей стране сам Ленин им велел! Вот и первые жертвоприношения. Вы – талантливый человек, Славочка. Талантливым нету места в нашей системе. А может, и в Солнечной системе, почему я знаю! Поехали-ка на работу, а то Кашин по утрам у входа теперь запишивает опоздавших.

Они спустились в метро и там, в давке, пока ехали, говорили о вещах сторонних.

– Как ваши дела с Надей?

Слава пожал плечами.

– Конечно, это не мое дело, и вы можете сказать, что я старомодный человек, но лучше бы вы не морочили ей голову.

– Абстрактно я сам это понимаю. Но когда слышу ее голос, руки сами тянутся расстегнуть штаны.

– Бросьте, Славочка, корчить из себя сексуального маньяка. Советую, как отец.

– Как отец, вы опоздали, Рап: все кончено.

– Ну и правильно! Обманывать жену можно с менее чистыми девушками.

Поднявшись на эскалаторе, они расстались, чтобы их не видели вместе. Ивлев остановился у киоска купить сигарет и пришел в редакцию минутой позже.

Яков Маркович бухнулся на стул, не снимая плаща и шляпы, и, отперев замок, выдвинул средний ящик стола. Поверх всех других бумаг в ящике лежала тонкая папка с надписью «Личное». Это была маленькая хитрость. В папке было несколько ничего не значащих вырезок из «Трудовой правды». Но между вырезками лежали волоски, выдернутые Яковом Марковичем из личной волосатой груди. Раппопорт открыл папку, осторожно поднял первую вырезку – волоска под ней не оказалось. Он поднял медленно вторую – волосок лежал сбоку, отброшенный в сторону.

– Пе-пе-пе, – пропел он.

Дальше можно было не смотреть. Шмонов он не боялся: у него все было чисто. Борьба с этим явлением тоже никогда не входило в его намерения. Просто и.о. редактора отдела комвос хотел держать руку на пульсе редакционной жизни. Шмон давал ему сведений больше, чем тем, кто его проводил. В дверь постучали.

– Разрешите?

– Валяйте.

Он хотел отчитать посетителей за стук, но заленился.

В комнату вошли двое круглолицых молодых людей – один в черном костюме, другой в сером. Лица их показались Раппопрту знакомыми. Он не любил такие лица и поэтому сразу не вспомнил их.

– Мы из ЦК комсомола, товарищ Тавров, – напомнил гость в сером костюме с прожилочкой. – Помните, по поводу восхождения...

– Как же! – оживился Раппопрт. – Вы собирались нести бюст Ленина... э-э-э... на Эльбрус?

– На пик Коммунизма. Так вот...

– Донесли? По-моему, вас было трое?

– Видите ли, Степанов, который нес бюст, поскользнулся.

– Уронил бюст?

– И сам разбился. Ну, мы, конечно, добились, чтобы ему посмертно присвоили мастера спорта...

– Жалко бюст, – сказал Яков Маркович, пытливо вглядываясь в молодое поколение.

– Степанова тоже жаль. Но вот этот... Он решил повторить восхождение.

– Как фамилия? – спросил Раппопрт.

– Родюкин.

– Понесете бюст?

– Само собой!

– Но ведь мы с вами договорились, молодые люди: как только установите бюст, сообщим. А заранее – теперь вы сами понимаете...

– Видите ли, товарищ Тавров, Тяжелников<sup>1</sup> звонил Ягубову, мы от него. Ягубов сказал: «Главное – привлечь внимание общественности, поскольку бюст за облаками все равно никто не увидит».

– Так что ж вы крутите, молодые люди? – взорвался Яков Маркович. – Так бы сразу и пропели, что с начальством согласовано. Значит, так... Просто сообщить? Мелко! Тут не разгуляешься... А что, если вы, Родюкин, выступите у нас основоположни-

---

<sup>1</sup> Секретарь ЦК комсомола.



ком нового почина? Скажем, такого: «Каждой горе – бюст Ильича!» Ну, над названием подумаем... Ведь столетие приближается, а сколько у нас еще есть объектов природы, не охваченных пропагандой? Заходите после праздников – займемся.

Зазвонил телефон. Яков Маркович крепко пожал гостям руки и выпроводил за дверь.

– Здорово, сиделец! – в трубке загрохотал голос Сагайдака.

– Какие новости, Сизиф?

– Я сделал, что ты просил, Яша, – скромно сказал Сизиф Антонович. – Щенок уже прошел психиатрическую экспертизу в институте Сербского. Установлено, что он здоров, но в тот момент имел временную потерю сознания на почве нервного переутомления. Суда не будет, родители могут его забрать.

– Молодец, Сизиф! Я не сомневался, что ты могучий кобель.

Спасти макарцевского щенка оказалось легко. Такие правила игры, скажет Макарцев. Правила изменятся – будем играть по-другому.

## 67. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

К двенадцати тридцати Зинаида Андреевна вызвала машину домой. Двоенинов выехал из гаража, как всегда, пораньше, сказав диспетчеру, что направляется в редакцию. Но из автомата позвонил Анне Семеновне: он занят женой Макарцева, сами понимаете, какой день! Теперь до двенадцати тридцати Леша был свободен, но халтурить и не думал. Он быстро вырлился на Волоколамское шоссе и, нарушая правила, по осевой линии, минуя ряды грузовиков, помчался в свое Аносино.

Там в минувшее воскресенье схоронили бабушку Агафью. Алексей с Любой тоже были, конечно, на похоронах, приехали с пятницы, после того как Клавдия обнаружила бабушку замершей в согнутом положении, лбом об пол перед иконой. Умерла Агафья ни от чего, просто от своих восьмидесяти двух. До последнего дня она работала в огороде и курей держала семнадцать штук, если считать с петухом.

Сперва думали везти Агафью отпевать в Звенигород, но Леша сгонял на мотоцикле соседа в церковь и сговорился со священником провести мероприятие на месте за тридцать цел-

ковых. Узнав, что Агафья была в Аносинском монастыре старшей нищенкой, священник пять рублей скинул.

Кладбище в Аносине лежит на горе, со всех сторон видное, хотя и в деревьях. Могилу бабушке вырыли на краю кладбища, между двух железных частоколов (каждый русский человек могилу своих родных старается повыше огородить, чтобы не затоптали и не загадили, да еще колючки воткнуть, чтобы не лазили). Вырыли яму неглубоко – земля еще не оттаяла и Агафью принимать не хотела. Поминки были тяжелые, шумные, одних бутылок из-под водки надо теперь снести в магазин девятнадцать штук, а еще семь четвертинок и от портвейна две набитых кошелки. Всю посуду на поминках опростили до дна, чтобы спокойно лежалось бабушке Агафье и земля на ней была легче пуха.

По дороге Леша решил сперва закатить в Покровское, в правление колхоза имени Ленина, попытать счастья попасть к председателю. Так и так, родная бабка умерла, надо на внука переоформить ее собственность – дом. Дом все равно никудышный, гнилой, под соломой, а я наследник законный, если что, у нотариуса мигом оформлю, я ж работаю сами знаете где.

За три дня, прошедшие с похорон бабки, Леша уже навострился, что он пристройку для себя к родительскому дому не станет поднимать, а деньги и силы вложит в Агафьин дом и будет иметь собственную дачу – это и спилось-то не всякому.

К правлению Двоенинов подкатил с шиком и поставил машину так, чтобы задний номер «МОС», да еще нулевик, из окна председательского кабинета было видно.

Председатель оказался на месте. Никанора Двоенинова он знал с послевоенного времени, а все ж инициативы не поддержал. Права правами, но Леша в Аносине давно уж не прописан. А участок на хорошем месте, отдадим его члену артели. Дом поставят новый, чтобы зажиточный уровень колхоза, если кто из начальства мимо по шоссе проезжает, не срамить. Так что ничего не выйдет.

– Ну, что там у вас в ЦК слышно? – председатель сменил тему.

– У нас все нормально, – сказал Леша.

– Нормально? Это хорошо, – сказал председатель. – Вообще-то, если посоображать, есть один путь...

Он подумал, что такие шоферы, как Двоенинов, на дороге не валяются. И если бы его возил шофер, который раньше работал в ЦК, это выглядело бы неплохо.

Получив приглашение вернуться в колхоз, Леха, конечно, в душе усмехнулся, но виду не показал.

– Если б дом обстроить, да семью к селу приучить, – ответил он уклончиво, – тогда подумать можно. А с другой стороны, дом ведь Агафьин, нельзя же его просто...

– Просто нельзя, – согласился председатель. – Но владелица имущества умерла, а земля не твоя и не моя, она колхозная, хоть под домом, хоть вокруг. Так что можно.

Тут вдруг Двоенинова-младшего осенило:

– А если мать с отцом разведется, дом на мать записать можно? Она ведь колхозница!

– Из-за этого разводиться?

– Не из-за этого. Давно собирались.

– Ну, это как суд решит.

По дороге в Аносино Леша притормозил возле магазина и взял без очереди бутылку водки. Как только мать, суетясь, поставила на стол еду, Алексей плюхнул бутылку, сам же пить не стал.

Бутылка быстро опустела. Никанор предложил моментом сбегать за второй, раз такой внезапный праздник, но сын тут невзначай сказал, что встретил председателя и тот обеспокоен судьбой Агафьиного дома. А выход есть.

Развестись с Никанором ради интереса Лешеньки мать, все смекнув, согласилась немедленно. Отец же заплакал.

– Я же воевал, Леха! Разве я за это воевал?

– Молчи! – гавкнула на него Клавдия. – Для семейной же пользы! Молчи, коли соображенья нету!

Никанор закивал головой, то есть вроде как согласился, но слезы текли.

– Боязно все же, боязно.

– Да после опять сойдемся, дурень, – спокойно объяснила Клавдия. – А пока незаконно поживем... У тебя уж давно и не дымится. Главное, материн дом оформить на себя, чтоб не отобрали.

Она стала рассказывать Алексею, как прибиралась в Агафьином доме после похорон.

– Хламу вынесла гору, да еще осталось. Посмотри, может сгодится чего.

– Пешком или доедем?

– Можно и пешком, ноги не усохнут, но далековато...

Ей хотелось, чтобы Лешенька провез ее по деревне. Они поехали. Леша сам отпер замок и вошел в дом, оглядев его свежими глазами и примериваясь, как они с Любой приедут сюда на лето. Нужных вещей в тряпье не оказалось.

– Пожечь это все, только и разговору, – решил Алексей.

Всю стену и угол до окна занимал иконостас, во время оно спасенный бабкой из монастыря. Двоенинов сразу стал иконы снимать и посреди комнаты складывать. Клавдия молча глядела, понимала и не вмешивалась.

– Во! – назидательно сказал Алексей, закончив работу.

– И просторней будет, и пыли меньше!.. И мое положение все же надо учитывать. Давай, батя, все в огород!

– Давно пора! – заявил Никанор, беря свое за поражение в вопросе развода и торжествуя поспотрив на мать. – А я чего говорил!

Они стали таскать тяжелые, окованные медью иконы и складывать на грядку, еще влажную от только что дотаявшего снега.

– Как бы беды не было, иконы все-таки! – бормотала Клавдия, ходя следом...

– Если в чем не понимаешь, дак молчи! – наставлял ее Никанор. – Не то после разводу на другой женюся.

– Кому ты нужен, рухлядь? На ногах еле стоишь!

– А это неважно. Помоложе найду, не бойсь! Я себе цену знаю.

Настроился он вдруг озорно и иконы из дому в огород таскал бегом, подбадривая сына. В кучу с иконами Леша навалил старую одежду, две поломанные табуретки, подсунул подо все пачку старых газет и, вынув из кармана красивую ронсоновскую зажигалку, подарок Макарецва, подпалил. Тряпки после жара сухих газет сразу затлели, задымили. Табуретки начали обугливаться. Иконы же потрескивали, но, покрытые краской и металлом, загораться не хотели.

Если бы все это затеял Никанор, Клавдия огрела б его чем ни попадя, а иконы из огня вынула. Уж ежели не дома, дак

пускай в сарае лежат, сохраняются. Мало ли чего? Все-таки Бог! Но сынок сам все соображает, коли офицером был, а сейчас работает в такой организации, главней которой и на свете нету. Уж он знает, что делает. Может, снова приказ был церковное уничтожать, а может, иконы ему чего подпортят, если кто донесет. В прошлом годе к бабке заходил один дачник, художник. Иконы эти, говорил, старые, семнадцатого века, что ли. Предлагал за каждую по восемьдесят рублей. А икон у Агафьи десятка полтора. Он бы и более дал, но бабка сказала, что иконы монастырские и продать их – тягчайший грех. Вот Клавдия и не стала теперь про это говорить от греха подальше. Лучше уж пушай горят. Все же огонь есть стихийное бедствие, а деньги – одна корысть.

Алексей с отцом пошли в избу, поговорить о ремонте, прикинуть, сколько потребуется досок, да где бревна совсем осели от гнили и надо заменить. Решили все делать сами, никого не нанимать.

– На майские праздники и начнем. Только надо вам скорее съездить развестись.

– Ладно, Лешенька, ладно! – забормотала Клавдия. – Завтрева же и поедем. Только какую причину называть развода-то?

– Скажи, пьет... Алкоголик, мол, и все.

– Я – алкоголик? – возмутился отец. – Ну, это ты, Леха, загнул! Выпить, конечно, могу, но алкоголик – это совсем уже который того... А я?

– Что ты, батя, как маленький? Я, я! Тебе-то не все едино?

– Не слушай ты его, Лешенька! Несет глупости, ей-Богу! Страмота!

– Для бумажки же только, – пояснил Алексей.

– А, ну, если для бумажки тока, дык тогда конечно!

Когда Двоениновы опять вышли в огород, иконы уже вспыхнули. Заполыхали они после долготерпения чистым оранжевым пламенем, без чада и дыма. От всего остального золы уже навалило много кругом.

– Удобрение будет, – заметил Алексей, посмотрев на часы.

– Как начальник-то твой, – спросил отец, – из больницы выкарабкался?

– Сегодня как раз беру.

– Значится, выкарабкался. А то в больнице и остаться можно. У меня нога раненая тоже чтой-то заплетаться стала.

– Пей меньше, – объяснила Клавдия.

– Врач говорит, слово какое, забыл...

– Тромбофлебит, – произнесла, не запнувшись, жена.

– Вот, самый он! Можно слечь в больницу. А чего ее ложиться, когда я хожу? Не смогу ходить, дак лягу, правильно я рассуждаю, сынок? Лечись, не лечись – что в организм ни входит, все выходит раком.

– Кто ее знает! – сказал Леша. – Вообще, надо лечь, обследоваться...

– Еще чего не хватало, обследоваться! Им только дайся, уж такого найдут, что прямиком на погост. А нам дом ремонтировать.

– Ну, я поехал, – Алексей собрался. – На майские с Любкой завалимся на все три дня, если дежурить не заставят. И продуктов захватим.

Алексей вышел за калитку, и черная «Волга» сразу помчалась так, что исчезла за лесом прежде, чем Клавдия успела до забора добежать. Двоенинов опаздывал, но полагал, что в такой радостный день ругать его не станут. Зинаида Андреевна уже спустилась на улицу, ждала. Она волновалась и все подгоняла Лешу. Игоря Ивановича обещали отдать в четырнадцать часов, после консилиума. Из холла Зинаида позвонила мужу.

– Почему так поздно? – спросил он. – Я жду не дождусь...

– А тебя выписали?

– Давно выписали, я уже одет, – сказал Макарцев, хотя врачи оставили его недавно и он только что снял пижаму и надел брюки.

Ему помогала сестра, чтобы он меньше двигался. В холле он появился с заведующей кардиологическим отделением, которая поддерживала его под руку. Макарцев сам пошел вперед, к жене, поцеловал ее в губы, слегка подкрашенные. Она заморгала часто-часто, чтобы слезы не выступили.

– Господи, да неужели все кончилось? – радостно проговорила она.

– Еще ничего не кончилось, – сказала заведующая. – Игорю Иванычу предстоит войти в норму. Режим во всем: питание,

отдых, прогулки, сон, ни в чем никаких излишеств, – она посмотрела на Зинаиду Андреевну.

– Понятно, понятно! – Макарецв слегка развел руками. – Уж какие могут быть излишества!

– Вы не отшучивайтесь, Игорь Иванович! На работу вам нельзя. В санаторий на месяц-полтора.

– Бросьте, бросьте! – отговорился он. – Вы уже достаточно меня здесь отдыхом помучили! Для меня лучший санаторий – работа.

– Если не послушаетесь, Игорь Иванович, я позвоню к ЦК, пожалуюсь на вас...

– Ладно, ладно... На недельку хоть домой, а там и в санаторий...

– И дома режим больничный, приеду проверять...

– Вот деспот, а!

Зинаида Андреевна подала мужу пальто, сама проверила, укрывает ли шею шарф, хотя на улице было тепло и солнечно, застегнула пуговицу. Выскочив из машины, Алексей открыл хозяину дверцу, ждал, улыбаясь.

– Здорово, молодец! – весело сказал Макарецв и как мог крепко пожал Двоенинову руку. – Небось, думал, я не выкарабкаюсь, крышка?

Макарецв хохотал. Он был счастлив.

– Ну что вы, Игорь Иванович! Немножко приболели, и все. Бывает! У меня отец тоже вот с тромбозом... А ничего!

– Знаешь, Зин, как он перепугался, когда я упал? – говорил Макарецв, кряхтя усаживаясь на переднее сиденье и повернув голову назад, к жене. Рукой он открыл бардачок. – Ну, Леша, где сигареты для меня.

– Гарик! – Зинаида Андреевна просительно положила руку ему на плечо. – Ну зачем?

– Во, видишь, брат, домашняя диктатура пролетариата. То нельзя, это нельзя! Теперь начнется... Несчастную сигарету и то не выкуришь. Придется, Алексей, нам с тобой курить только в дороге, потихоньку, чтобы никто не видал.

Ему нравился этот демократический разговор с шофером, а Леша гнал по кольцевой дороге, чтобы через Ленинградский проспект выскочить к «Динамо», к дому Макарецва, а потом ехать в редакцию, рассказать новость с подробностями, как да что.

– Я для тебя меню выписала из какой-то книги, Игорь Иванович, – вспомнила Зинаида Андреевна. – Как питается американский миллионер. В девять – овсяная каша без молока и сто граммов вареной телятины. Чашка зеленого чая. В двенадцать тридцать – триста граммов вареной глубоководной рыбы без соли, пять сырых перепелиных яиц, чашка кофе, ломтик сыру. В пять – полстакана крепкого бульона, слегка обжаренная дичь, пятьдесят граммов икры с лимоном, два абрикоса. В двадцать тридцать – вечерний чай...

– Где же ее возьмешь – глубоководную рыбу? А где коньяк? Или я прослушал, а, Леша?

– Коньяк отдельно, потихоньку, Игорь Иванович, как сигареты...

– Ты почему не говоришь насчет Боба, Зина? – вдруг, перестав играть, сухо спросил Макарцев. – Когда?

– Я не хотела тебе напоминать, Гарик. Вчера звонили, разрешили сегодня приехать.

– Сегодня?! Какого же черта молчишь?

– Я думала, привезу тебя домой и съезжу за ним, – она закрыла глаза, рот расплылся в улыбке. – Такой сегодня у меня день – одни хлопоты.

– Нет, так дело не пойдет. Едем вместе!

– Тебе нельзя!

– Положительные эмоции – можно! Вот что, Алексей, давай, брат, выкруливай. Сам знаешь куда...

– Петровка, 38?

Двоенинов мгновенно глянул в боковое зеркальце и пошел резко перестраиваться из левого ряда в правый, огибая косяк машин, шедших на левый поворот. Все замолчали и не сказали друг другу ни слова, пока шофер не притормозил у ворот МУРа.

– Прошу тебя, Гарик, посиди в машине, я сама...

– А справишься без меня? Я ведь все-таки...

– Сиди, сиди...

Когда жена скрылась в воротах, Игорь Иванович вытащил из кармана стеклянную трубочку, стряс из нее на ладонь две таблетки и забросил их в рот, после чего приложил палец к губам, давая понять Леше, что прием лекарства нужно держать втайне. Алексей кивнул: ясно, чего там!



Просидели они минут сорок, и Леха стал думать про Анну Семеновну. Она уверена, что он давно привез Игоря Ивановича, и сейчас просто прирабатывает, гоняя по Москве. А он тут простаивает безо всякой халтуры, и Макарецев, всегда такой занятый, тоже просто сидит с ним в машине, ожидает и молчит. Леша поколебался, не спросить ли Макарецева о своем деле насчет перевода в «Совтрансавто». Но решил, что сейчас не до этого и он все равно скажет, чтобы Леша ему напомнил в другой раз, нечего и мозолиться.

Макарецев сперва не узнал сына, обритого наголо. Боб показался из ворот в куртке, без шапки, с отсутствующим выражением лица. За ним семенила Зинаида Андреевна, неся в протянутой руке его шапку, которую он, видимо, демонстративно отказался надеть. Алексей скромно отвернулся, чтобы не проявлять чрезмерного любопытства. Борис открыл дверцу, уселся на заднее сиденье и, не здороваясь и не замечая отца, обратился к шоферу:

– Дай курить!

Алексей покосился на Макарецева. Тот напрягся и сидел, не шелохнувшись, глядя вперед. Двоенинов медленно вытащил пачку сигарет, вытряхнул конец сигареты, чиркнул своей красивой зажигалкой.

– Поехали, – процедил Макарецев, когда Зинаида Андреевна села рядом с Борисом. – Побыстрее домой...

– Зачем вы меня взяли? – спросил Борис.

– Не надо так, Боренька, – тихо сказала Зинаида Андреевна.

– Кто вас просил?

– Ладно, дома поговорим, – обрезал Макарецев.

– Папа только из больницы и прямо заехали за тобой.

– А я откуда? Утром из психушки привезли...

– Ты голодный?

Борис не ответил, сплюнул на коврик, растер ногой и больше за всю дорогу не произнес ни слова. Когда они вылезали на Петровско-Разумовской, возле подъезда, Игорь Иванович, придерживая рукой дверцу, произнес:

– Вот что, Леша. В редакции скажи, что у Макарецева все в порядке, самочувствие хорошее, скоро выйдет. А насчет остального – не надо...

– Само же собой, Игорь Иваныч, – обиделся Алексей. – Я же не маленький...

– Или вот. Что я скоро выйду, не говори, понятно?

– Будет сказано, как велели.

Макарцев захлопнул дверцу, и Леша укатил.

– Зачем меня взяли? – крикнул Борис с порога.

– Мы твои родители, – объяснил Игорь Иванович. – Сын Макарецва должен находиться дома, а не в тюрьме.

– А если в тюрьме лучше?

– Подумай об отце, Боренька! У него инфаркт. Подумай о его положении: ведь он кандидат в члены ЦК!

– А почему я всю жизнь должен думать о его чертовой карьере? Что мне – трястись вместе с ним?

– Ты понимаешь, – произнесла Зинаида Андреевна, – что теперь ему дорога в члены ЦК может быть закрыта, и это сделал ты.

– Одним фашистом меньше будет. Да если хочешь знать, я их специально сбил, этих двоих, чтобы тебе подложить свинью!

– Мне? – Макарцев все еще растерянно стоял в коридоре в пальто, и испарина покрывала его лоб. – Врешь, мерзавец! Я ведь твой отец!

– Отец? Да отцы-алкаши и то лучше, чем шалашовки!

– Я – шалашовка? Ну, знаешь...

– А кто же? Дома корчишь принципиального, а в своем ЦК лижешь жопы мудакам. Да если хочешь знать, скоро таких, как ты, вешать будут. Всю мою жизнь изуродовал, паскуда-сталинист! Ты не за меня – за свою шкуру трясешься.

– Дурачок! – Макарцев постарался улыбнуться, чтобы обрести превосходство, но руки от слабости дрожали. – Да я сам чуть не пострадал в годы культа. И ты, и мать. Мы тебе не говорили.

– Чуть не пострадал... Да лучше бы ты честно сгнил в лагерях и меня не позорил!

– Сынок, думаешь, я розовый кретин и ничего не понимаю? А не приходило тебе в голову, что для тебя я себя и мать сохранил? И добивался положения, чтобы тебе было хорошо? Да если б меня загребли, ведь и тебя отправили бы в спецдетдом. Не сохрани я положение, престиж, анкету, не видать тебе института! Выкинули бы из школы, как щенка, на завод к

станку. А ты живешь почти при коммунизме и для удовольствия обвиняешь отца. Узнай хоть сперва, чего от жизни хочешь!

– А как узнать, если глушат? Как?!

– Ладно, я буду тебе приносить французские газеты и журналы. – Отец перешел к испытанной форме воспитания посредством взятки. – Или даже американские.

– Давно мог носить...

Наступило затишье, и Зинаида Андреевна почувствовала, что разговор о политике, как всегда, исчерпался, закончившись ничем, и интонации смягчились. Она решила перевести диалог мужчин в практическое русло и этим объединить их.

– Ты много пропустил... Надо будет уладить конфликт с институтом.

– С каким институтом?

– С твоим.

– Дураки! Нет никакого института! Неужели за целый год вы не сообразили, что нет?!

– А что же есть? – Макарецев решил, что Боб их разыгрывает.

– Ничего! Я даже и не поступал...

– А что же ты делал?

– Пил. Слушал музыку. Девочек днем водил. Разве тебе мать не говорила?

– Зина? – крикнул Игорь Иванович. – Слышишь?!

Она не оглянулась, вышла.

– Может, – тихо спросил отец, – ты и не комсомолец?

– Само собой! Я билет после школы сжег, чтобы взносы не платить!

Макарецев стиснул зубы и прислонился лбом к дверному косяку.

– Что же это?! – снова тяжело заговорил он. – Будто не в своей дом попал... Ну, хорошо, Борис Игоревич. Не будем о прошлом. Зачеркнем его!.. Попытаемся жить сначала. Подумаем чем заняться. Работать? Пойти на курсы подготовки в вуз?

– Если я куда-нибудь пойду, то только в духовную семинарию.

– Верить в Бога?

– При чем тут Бог? Пойду, чтобы тебе карьеру испортить!

– Опять глупые шутки. Тебе бы заняться самообразованием и построить какой-нибудь фундамент...

– Ты мне его уже построил! А пожрать в этом доме дадут! Или с голоду содохнуть? В тюрьге хоть баланду наливают...

Борис ушел на кухню.

– Я тебе постелила, Игорь, ложись, – в коридор вернулась Зинаида.

– Вот подарочек мне к выздоровлению. Хотя назад в больницу беги...

– Успокойся, Гарик, прошу...

– Я-то спокоен. Я абсолютно спокоен, Зина. Меня не так легко сбить. Я ведь не по своей эгоистической лесенке лез, я по партийной лестнице взбирался. А ведь трудно было! Шла грузинская мафия – я уцелел, шла украинская – удержался. И не соплякам, которые теперь прут без принципов, без веры, без убеждений, – не им меня свалить. Я еще поборюсь! У Бори цинизм от возраста, пройдет! Чтобы он лез в партийные дела, я сам не хочу. Не воровал бы только, не убивал...

Макарцев понял, что сказал глупо. Махнул рукой и ушел в спальню. Там, не в состоянии успокоиться, он ходил от двери к окну и обратно, чувствуя, как колотится сердце. Лучше бы лечь.

Где-то сбоку от Игоря Ивановича раздался шорох, и маркиз де Кюстин собственной персоной приблизился, виновато улыбнувшись, и ласково положил ему руку на плечо. Макарцев инстинктивно отклонился. Изумление возникло, но вопрос не сорвался с языка; Макарцев только вдохнул освежающий запах сильного одеколона и молча смотрел на непрошеного гостя, одетого с иголки: жилет с голубыми полосками гармонировал с синим фракком. Тщательно, даже кокетливо завязанный бант украшал весь наряд. Блики от бриллиантов на пальцах маркиза, когда он шевелил руками, пробегали по стенам спальни.

– Вот какая неприятность, – задумчиво сказал Кюстин, прижимая к бедру шпагу. – В наше время с молодыми людьми, представьте себе, происходило примерно то же: пьяные гоняли на лошадях, сбивали людей, избегали наказания по протекции. Отправьте мальчика за границу, если можете. Там у него есть шанс на альтернативу...

– Шутить изволите? – Макарец кисло усмехнулся. – Кто же его выпустит? Даже мне теперь туда дорога из-за него закрыта! И как все остальное разрешится, покрыто мраком.

Они помолчали. Кюстин оглянулся вокруг.

– Извините за нескромный вопрос: на этой кровати вы спите с женой?

– Иногда, – кивнул Макарец.

– В каком смысле?

– Чаще она спит, а я бодрствую. Все-таки я руководящий работник. Так называемый аппаратчик.

– Да, конечно, и будем надеяться, вы сумеете продвинуться еще выше, хотя это для вас теперь и трудно...

Макарец почувствовал слабость в коленях и сел на кровать.

– Плохо мне, маркиз, – вдруг расслабившись, признался он. – Внутри плохо и снаружи... Беда! Жить тошно...

– Понимаю, – погладил его по локтю Кюстин. – У меня такие тяжкие моменты в жизни тоже бывали. Поэтому и явился, чтобы выразить сочувствие. Сожалею, что ничем не могу помочь вам, хотя, поверьте, почел бы за честь это сделать. Сейчас вам надо принять успокоительное. И ложитесь в постель. Если позволите, я побуду возле вас...

Кюстин молча смотрел, как Макарец медленно разделся, высыпал на ладонь и проглотил две таблетки седуксена, лег, накрывшись одеялом, и закрыл глаза.

Послышались шаги, и приоткрылась дверь.

– Как ты, Игорь? – спросила жена.

Он обвел глазами комнату: Кюстин исчез. На его месте стояла Зина, подавая ему еще какое-то зелье. Положив руку на прыгающее сердце, он стал уверять ее и себя, что сердце у него уже здоровое и болеть не должно.

## 68. ЛИЧНАЯ НЕСКРОМНОСТЬ

Анна Семеновна безошибочно угадывала, когда соединять, не спрашивая. Степану Трофимовичу позвонили, когда он собирал бумаги, чтобы ехать в ЦК. Ягубов не знал говорившего, но он был «оттуда». Звонивший интересовался Ивлевым. Ягубов сдержал поспешность и отвечал спокойно, с достоинством,

но от прямой оценки ушел, чтобы не навязывать товарищам свою точку зрения. Сказал, что сотрудник этот взят Макарецвым, а сам редактор болен.

– Ждать, скорей всего, не будем, Степан Трофимыч. У нас материала достаточно, и все уже согласовано.

– Понял вас, – ответил Ягубов. – Мы, со своей стороны, учтем сигнал.

Хотя Степан Трофимович и опаздывал, он решил еще немного задержаться и решить вопрос оперативно, руководствуясь принципом, вычитанным им из американской инструкции для бизнесменов: не обращай к одной бумаге дважды. Он сознательно ничего не уточнял по телефону, чтобы быть свободнее в поступках. Макарецв, вернувшись, начнет сентиментальничать, что надо беречь способных работников, тактично исправлять их ошибки. Он старается быть добрым, но, к сожалению, не только действует в ущерб партийной принципиальности, но и отстает от жизни. Не понимает, что теперь происходит процесс полного слияния партийного руководства с органами госбезопасности. И вести единую линию – значит помогать друг другу, а не ерепениться. Макарецв же не только сам не связан с органами, но и относится к ним свысока. Такие руководители, если думать начистоту, в новых условиях тормозят совершенствование партийно-государственного аппарата.

– Анна Семеновна! – вызвал он Локоткову. – Кашина срочно!

Ягубов, поджидая, походил вокруг стола. Валентин вошел, приветливо улыбаясь.

– Солнышко сегодня какое, Степан Трофимыч! С учетом дня рождения Владимира Ильича... Может, вам в кабинете портьеры на летние заменить – посветлее, глазу радостней?

– Заменить можно, – согласился Ягубов, не вникая в его болтовню. – Вот что, Валя: по какой статье лучше уволить Ивлева?

Кашин остановил посерьезневший взгляд на заместителе редактора, соображая.

– Я насчет Макарецва интересовался, – как бы между прочим произнес он. – После праздников появится...

– Знаю.

– А партбюро-то его по какой статье хочет провести? – уточнил Кашин, продолжая взвешивать ситуацию.

– Через протокол партбюро мы его после проведем, – Степан Трофимович поморщился от несообразительности завредакцией. – Ты что, Валя, не понимаешь?

– Звонили? – указав большим пальцем за плечо, уточнил Кашин. – А сами статью не подсказали?

– Ежели все подсказывать, мы с тобой для чего?

– Ясенько, Степан Трофимыч! Тогда это... по сорок седьмой статье КЗОТа, пункт «в», – в связи с недоверием?

– Это будет очень в лоб, – помедлив, возразил Ягубов, – пойдут разговоры... Кстати, а как у него с моральным обликом?

– Насчет облика – это, конечно, найдется... А если уволить по разъяснению? Недавно было письмецо с новой формулировкой «за личную нескромность»... Касается как раз работников идеологического фронта. И по ней судам запрещено рассматривать дела о неправильных увольнениях.

– Подойдет! – согласился Степан Трофимович. – Приказ давай быстро. И вот еще: проведи-ка все это числом, так, на неделю раньше. А то, выходит, мы сами-то прохлопали, ждали, пока укажут...

Валентин кивнул и уволочил свою отстающую ногу в дверь. Проводив его снисходительным взглядом, Степан Трофимович сел за стол и вынул из бумажника сложенный вчетверо листок. На листке были написаны в два столбца фамилии. Над левым списком стоял знак минус, над правым плюс. Ягубов провел глазами по левому столбику. Он начинался с Полищука. Возле этой фамилии стояли два вопросительных знака, их Степан Трофимович теперь уверенно вычеркнул. Далее шли Раппопорт, Матрикулов (с вопросительным знаком), Ивлев, Качкарева (с вопросительным знаком), Закаморный (уже вычеркнутый) и еще несколько фамилий. Последним в колонке значился Макарецев. Ягубов вынул из кармана ручку, щелкнул, выпустив стержень, и аккуратно вычеркнул Ивлева.

После этого он прогулялся глазами по правой колонке со знаком плюс. Тут стояли те надежные товарищи, которых он знал по старой работе, доказавшие свою преданность Ягубову единомышленники, на которых он мог опереться. В этом списке был вычеркнут Волобуев, поскольку его уже удалось перевести в «Трудовую правду». Остальные работали в разных местах – в райкомах, в институтах, в органах, и с ними в принципе все

уже было согласовано. Большинство из них, правда, не имело дела с журналистикой, но в организаторских способностях их сомневаться не приходилось.

Проглядев столбец, Ягубов поставил жирную точку возле фамилии Авдюхина. Авдюхин работал инструктором в отделе агитации и пропаганды горкома, а в свое время был вместе с Ягубовым в Венгрии. Человек надежный, немногословный. Информацию собирать умеет, а это для спецкора главное. Вначале писать за него поручим Раппопорту, пусть поделится опытом с товарищем. Продолжению этих размышлений помешал Кашин.

– Порядок, Степан Трофимыч, – он положил на стол приказ.

– А мне он зачем? – удивился Ягубов, убирая в бумажник листок с фамилиями.

– На подпись. Баба с воза – кобыле легче.

– Валя, дорогой! Я начинаю за тебя беспокоиться. Вызови Ивлева, пусть подаст заявление по собственному желанию. После объясни ему насчет личной нескромности... Все оформи, как положено, тогда и на подпись.

Кашин молча взял приказ и смущенно вышел. Ягубов пожал плечами и стал ходить по кабинету, додумывая ситуацию на ходу. Он похвалил себя за смелость. Ведь редактора нет – Ягубов взял на себя ответственность, хотя Кашин и пытался напомнить, что Макарецев распорядился никаких кадровых вопросов без него не решать. Но тут Игорь Иванович вряд ли возмутится. Теперь у него рыльце в пушку, и придется ему эту пилюлю проглотить. В ЦК Макарецева покрывали. Но если Политбюро получит данные, оргвыводы будут сделаны сразу. Дело не в моей кандидатуре, подумал тут же Ягубов, вовсе не в моей! Дело в партийной принципиальности. Дубчек отстранен, а Игорь Иванович однажды положительно о нем отозвался.

Обдумав этот шаг, Ягубов прошел мимо Анны Семеновны в кабинет Макарецева и по вертушке позвонил Шамаеву, референту Кегельбанова. Степан Трофимович полагал, что Егор Андронович, как только ему доложат о Ягубове, поймет, что по пустякам земляк его тревожить не станет. Шамаев отнесся к Ягубову дружески, но на просьбу о личном приеме попросил изложить суть вопроса. Степан Трофимович объяснил сжато и



аргументированно, себя оставляя в стороне. Сослался на мнение партбюро и редколлегии, исполнителем воли которых он, Ягубов, является. Поколебался, не напомнить ли, что Макарецев скрылся от органов в трудное для партии время, но решил, что этот факт пригодится позже. Упомянул лишь сына Макарецва.

– Записал? – спросил, подождав, Ягубов.

– Все записывается, – успокоил Шамаев. – Я доложу.

В приподнятом настроении Степан Трофимович вышел в приемную.

– В ЦК, Леша! – он слегка присвистнул.

Алексей вскочил и побежал впереди Ягубова, раскручивая ключи на брелочке. Когда замредактора садился в машину, мотор уже работал. Двое сотрудников вежливо раскланялись со Степаном Трофимовичем, и он им степенно кивнул, подумав, что настанет время, когда шофер будет открывать перед ним дверцу. Делается это для ранга не ниже завотделом ЦК. Впрочем, вопрос несущественный, дверцу самому открыть нетрудно. В этом ощущается особый демократизм.

Отъезд Ягубова Кашин наблюдал, стоя возле окна. За столом у него сидел Ивлев.

– На чье имя заявление?

– Пиши на Макарецва. Как положено.

Он смотрел на Вячеслава с сочувствием.

– Я ведь тут ни при чем. Сам понимаешь, я исполнитель. Приказали – делаю. По мне бы – работай ты у нас на здоровье хоть до пенсии... Может, и устроишься где...

Не удержавшись, Валентин добавил от себя то, что не должен был говорить. Статья, по которой Ивлев увольнялся, исключала такую возможность. Вячеслав этого не знал и не обратил внимания на последние слова завредакцией.

– Да видел я эту газету в гробу, Валентин! – легко бросил Ивлев. – Разве в этом дело?

Вячеслав размашисто накатал заявление, расписался, протянул листок.

– За трудовой книжкой попозже зайдешь, ладно?

В коридоре Ивлев остановился, заколебавшись. Он решил, что уйдет побыстрей, чтобы ни с кем не встречаться, не объяснять, не выслушивать слов сочувствия. Потом подумал, что

скажет только Сироткиной. Но тут же убедил себя, что и к Сироткиной лучше не заходить. Она узнает от других, когда его уже не будет. У Якова Марковича тоже лучше не маячить. В результате заглянул он к одному Полищуку.

– Я сматываю удочки, Лев Викторыч. Привет!

– В командировку? А почему я не знаю?

– Видимо, Степан Трофимыч не изволил посоветоваться. Я совсем...

– Что?! Да объясни же членораздельно! Ведь Макарецв запретил...

– Это я слышал, Лева... И вообще, поосторожней: я с хвостиком.

– Чепуха! У них ничего не выйдет! – Полищук включил селектор.

– Анна Семеновна, Ягубов у себя?

– В ЦК, Лев Викторыч. Будет часа через два...

– Ясно, – он нажал другой рычажок. – Яков Маркыч, не могли бы вы срочно зайти? Спасибо!

– Я ушел, – бодро сказал Ивлев.

– Погоди!

– Знаешь, настроения нет...

– Но мы все переиграем, уверен!

Говорил он это в спину Вячеслава. Тот пожал плечами и быстро пошел к лифту, чтобы не встретиться с Раппопортом.

Стол Полищука был заполнен материалами, подготовленными к 99-й годовщине со дня рождения Ленина. Сегодняшний номер, целиком посвященный этой знаменательной дате, вместили малую толику. Теперь Полищук разбирался: что не устареет до следующей, сотой годовщины, что надо пропускать постепенно, по мере подготовки к юбилею, что вернуть обратно в отделы и освежить новыми фактами, а что за полной непригодностью выбросить. Ответсекретарь сдвинул в сторону неразобранные материалы, вытащил номерной телефонный справочник для служебного пользования и быстро листал его.

Взгляд Полищука уперся в Харданкина, с которым он вместе работал в ЦК комсомола. Тот хотел быстро расти, радовался благам, которые можно получить, но на горло товарищам не наступал. Когда ему предложили перейти в органы, он основа-

тельно выяснил условия и согласился. Соединившись, Лев спросил совета. Так и так, умный парень, жаль...

– А мы дураками не занимаемся, – серьезно ответил Харданкин. – Для этого есть милиция.

Спросив фамилию, он обещал навести справку. Просил позвонить дня через три. Вошедшему Таврову Полищук, разведя руки, объяснил, что пытается хоть что-нибудь выяснить.

– Это шутки Ягубова, – сказал Лев. – Он ведь и на меня катит баллон. Макарецев вернется, отменит приказ.

– Шутки бывают разные, – посопев, философски заметил Яков Маркович. – Тут Ягубов вызывает меня и спрашивает: «Почему вы сами придумываете почины? Ведь это искусственно. Почины-то народные! Их надо не сочинять, а брать из жизни». «Это мысль! – говорю я ему. – Увидите – берите!» С тех пор он о починах молчит...

– Дубина! – процедил Полищук.

– Все нет! – возразил Яков Маркович. – Посмотри сегодня первую полосу. Почин рабочих завода «Пламя революции» – сэкономить столько стали, что ее хватит на статую Ленина высотой 25 метров. В действительности сталь пойдет на новые танки, но это уже деталь. Подпись автора статьи, небезызвестного Я.Таврова, Степан Трофимыч вечером вычеркнули и написали Я.Сидоров. «Почему?» – спрашиваю. «Одни и те же фамилии утомляют читателя, – объясняет мне Ягубов. – К тому же фамилия Тавров напоминает о временах, давно осужденных партией и забытых. Возьмите себе, Яков Маркович, новый псевдоним». – «Пожалуйста! Буду подписываться Раппопорт...» – «Неуместный юмор, – говорит. – Подписывайтесь Иванов или Петров – мало ли на свете фамилий?» Я думаю, Лева, это сигнал...

– Сигнал?

– Ну да! Раньше нашего брата печатали, если он подписывался русской фамилией. Сейчас спрашивают: а как его настоящая фамилия? И – не печатают! Так что Ягубов, как я себе понимаю, стрелка барометра. А пружинка...

– Но Ивлев-то! Без партбюро, без редколлегии...

– Да, немножечко поторопились. А где же Ивлев?..

Выйдя из редакции, Вячеслав пошел медленно, ощущая как припекает солнце. Он расстегнул плащ, потом снял его и

повесил на руку. Он попытался сосредоточиться, решить куда идти и как жить дальше. Мысли бежали по кругу, натыкались одна на другую, переступали друг через друга и таяли, возможно, от жары. Ивлев решил, что пойдет домой пешком, сядет за стол и уж там сосредоточится. И начнет новую жизнь. Обязательно новую. Еще не ясно, какую, но ясно, что не такую, как была. Это хорошо, что газета его отторгла от себя. Трясина засасывала, а разорвать – своей воли не хватило. «Писать в газету, – вспомнил он слова Якова Марковича, – все равно, что испражняться в море».

В центре на площадях и у гостиниц было полно интуристовских автобусов. Иностранцы держали кинокамеры. Они улыбались прохожим, и Ивлев замедлил шаги, пытаясь уловить обрывки незнакомого говора. Он шел мимо своего университета по проспекту Маркса. Тут народу было поменьше. Компания молчаливых молодых людей догнала его. Когда они поравнялись, Ивлёва неожиданно прижали к ограде.

– Только тихо, – произнес голос над самым его ухом. – Пройдите в машину!

Правую руку ему вывернули, и он застонал от боли. Он напрягся, сопротивляясь этой нелепости, грубости, принуждению.

– Пустите! – он рванулся и действительно вырвался на миг, но тут же его схватили с обеих сторон.

– Ах ты, паскуда!

– Люди! – что было сил крикнул Ивлев, и иностранцы, сначала не замечавшие драки, стали приглядываться. – Люди! Меня арестовывают, как при культе! Я не виноват! За что? Смотрите, это КГБ!

Он сразу ощутил, что ведет себя глупо, но последние слова спасли его. Они разбежались, сделали вид, что непричастны. Машина отъехала. Вячеслав постоял, отряхнул от желтого мела рукав, которым его придавили к ограде, и побрел дальше. Теперь мысли его перестали быть вялыми и завертелись хоро-водом. Надо немедленно исчезнуть, уехать, спрятаться... Куда? Домой – нельзя. К приятелям – тем более.

В напряженной растерянности Ивлев прошагал еще полквартила. Он решил перебежать на другую сторону и сесть в такси. Удрать, пока он ничего не придумал, удрать, чтобы по-

теряли его из виду. Он спустился в подземный переход и побежал по нему.

Маркиз де Кюстин появился перед Ивлевым ниоткуда и распахнул руки, готовый принять его в свои объятия. Чтобы не оказаться сбитым с ног, маркизу пришлось прислониться к грязной кафельной стенке между двумя книжными лотками. На мгновение Вячеслав приостановился. Растерянные глаза его запечатлели странного человека, похожего на состарившегося мушкетера или актера, вышедшего в реквизите из какой-то старой пьесы. Они посмотрели друг другу в глаза; мгновение то останется в памяти, и Ивлев будет долго потом ломать голову, пытаясь понять, где он раньше встречался с этим человеком, но так и не вспомнит.

Он побежал дальше по переходу, а Кюстин, придерживая шпагу, устремился за ним. Немногочисленные прохожие наступались и оглядывались, другие не обращали на них внимания. Молодые люди ждали Ивлева за поворотом, на ступенях. Их было шестеро. Едва он появился, они окружили его плотным кольцом и первым делом затолкали ему в рот теннисный мяч. Скулы свело, Вячеслав захрипел от боли, но крикнуть уже не смог.

Они быстро проволокли его по лестнице до тротуара и бросили на заднее сиденье черной «Волги», подогнанной вплотную к тротуару. Чтобы ликвидировать возможность несимпатичного зрелища, на него надели картонную коробку из-под телевизора. Дверцы захлопывались и машина трогалась, когда маркиз де Кюстин, задохнувшись, поднялся из перехода по ступенькам и добежал до нее. Голубой бант его сбился набок, прилизанные волосы растрепались. Кюстин выхватил шпагу, готовый вступить в бой, но сражаться было уже не с кем.

– Проклятье! – процедил маркиз пыхтя. – Я не вмешивался столетие назад и покорно сношу все, что вижу теперь, но это уже слишком!

На бегу он в ярости воткнул шпагу в заднее колесо «Волги», вытащил и снова воткнул.

Выдернув шпагу, Кюстин поглядел на нее. Она стала короче: отломанный конец остался в крышке. Машина отъехала, но раздалось сипение вырывающегося из шины воздуха, а следом за ним глухой звук от ударов обода колеса об асфальт.

Маркизу следовало оглянуться, потому что сзади заскрипели тормоза и к нему бежали другие агенты. Через несколько секунд ему уже выкручивали руки.

«Волга» с Ивлевым остановилась. Те, кто был в ней, высыпали наружу и вызывали помощь по телефону. Не поднимая коробки от телевизора, Ивлева перетащили на заднее сиденье второй «Волги», и она, включив сирену, умчалась. Перед глазами Ивлева мутнела серая картонная стенка, удушающе пахло лаком и синтетикой. Он не видел, что его везут в противоположную от дома сторону – в Лефортовскую тюрьму КГБ.

На тротуаре собралось некоторое количество зевак, и появился милиционер, строго предлагая разойтись. Прохожие видели, как человека в странном наряде, более подходящем для прошлого века, двое в штатском повели к подкатившей третьей машине. Было похоже, что снимается кино.

Маркиз де Кюстин молча, без сопротивления сел в машину, а когда дверцу за ним захлопнули, исчез. Не веря собственным глазам, агенты обшарили автомобиль внутри: там никого не было.

## 69. И ЭТО ПРОЙДЕТ

– Товарищ Раппопорт! Сейчас с вами будет говорить маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катукوف.

– Хорошо, – вяло отозвался Яков Маркович. – Слушаю.

– Товарищ Раппопортов! – произнес маршал. – Хочу вам напомнить о моей статье. Она должна быть напечатана ко Дню Победы.

– Да, конечно, – проямлил Тавров. – Не волнуйтесь...

– А я не волнуюсь, – прорычал маршал. – Если не будет – учтите: введу в редакцию танки!

Яков Маркович закрыл глаза. Статью Катукова он давным-давно выбросил. Снова бросаться под танки с бутылками горючей смеси у него не было сил. Телефон звонил опять. Раппопорт решил, что больше подходить не будет, он устал. Но звонки не прекращались, и он раздраженно рванул трубку:

– Ну!

- Яков Маркыч, – услышал он женский голос. – Это Тоня...
- Какая Тоня?
- Тоня Ивлева...
- А, конечно, я не сообразил! Простите!

Раппопорт понял, что Тоня что-нибудь прослышала о Наде и сейчас будет просить его повлиять на мужа. Это только легко сказать! Разумеется, он станет ее убеждать, что у Ивлева никого нет, все это сплетни. Если она умная, она должна поддаться убеждению.

– Я не знаю что делать, Яков Маркович. Не знаю к кому обратиться...

– В чем дело, Тонечка? – невинно и ласково спросил Раппопорт. – Главное – не волноваться!

– Славу арестовали... – ее голос зазвенел и угас.

– Как? – Тавров заглохнул воздух и держал его в себе, боясь выпустить, будто если он выпустит, больше воздуха ему не дадут. Первый раз в жизни он не угадал заранее, зачем к нему обращаются. Помолчав, произнес. – Откуда вы узнали?

– Они сами позвонили. Сказали, чтобы я не беспокоилась и его не искала. Что он находится...

– Где?

– У них...

Какой сервис! Они теперь сами звонят... Они позвонили ей, чтобы выяснить, кому она будет звонить, куда поедет. Им нужны его связи. Тавров засопел. Антонина Дональдовна поняла.

– Я звоню вам из автомата, далеко от дома, так что...

Это было слабое утешение, поскольку Раппопорт говорил не из автомата.

– Вы с кем-нибудь советовались? – он спросил это, не зная, зачем.

– Позвонила его матери. Она закричала, что ее сын – изменник родины и пускай расплачивается. Что ей стыдно, что она его родила... Что же мне делать?

– Плакать не надо, Тонечка! Умоляю... – Раппопорт переступил через опасность, спросил. – А в чем его обвиняют?

– Сказали, в хулиганстве. Якобы он затеял драку, есть свидетели... Будет следствие... Решать, сказали, будет, конечно, суд, все по закону...

– По закону? Ну да, конечно, по закону...

Старая песня, мы уже проходили. О Господи, все начинается сызнова. Костры от сырости чадят.

– Сделайте что-нибудь, Яков Маркыч! Ведь это же неправда... Он не мог...

– Разве я сомневаюсь, Тонечка? Но что я могу сделать? Когда так случается, кто может помочь? Разве царь Соломон... Может, обойдется? Допросят, поддержат и отпустят... Надо надеяться... Звоните мне, Тоня, как у вас дела. И я буду звонить.

Тавров поднялся к Полищуку. Поманив его в коридор и положив корявые пальцы ему на плечо, он выпалил суть дела. Полищук поморщился, как от зубной боли. Весь его план добиваться восстановления Ивлева на работе испарялся, как сухой лед, не оставляя следа. Ни на партбюро, ни на редколлегии вопроса уже не поставишь. Приход Макарцева ничего не изменит, нельзя даже заговорить на эту тему. Звонить Харданкину тоже нетактично: это значит ставить под сомнение правильность деятельности органов. Остается надеяться. И обязательно молчать, чтобы не напортить. Ивлеву-то не поможешь, а другим навредишь. И себе тоже.

– Такие дела! – только и сказал Раппопорт.

Вот она, расплата за чешский карнавал, бурчал он себе под нос, топая по коридору. Фейерверк потух, фонарики гаснут, пора по домам. У нас подобного быть не может, мы – монолит. Костры от сырости дымят и снова разгораются. Каждый, кто окажется близко, сгорит, как мотылек. Пахнет горелым человеческим мясом. Если бы я был помоложе и у меня не был задет позвоночник, может, я бы попытался. Но теперь... Я хочу только одного – пенсии, а они мне никак не засчитают сидение в лагере в партийный стаж. Такая мелочь – а ведь не засчитают. Мне бы только на пенсию, и я с утра до вечера не буду читать газет! Макарцев обещал пробить почетное звание – Засраку. Заслуженному работнику культуры пенсии хватит на еду. И бесплатный проезд в трамвае... Но высуну я сейчас нос, и никаких характеристик мне не подпишут. Ивлеву не помочь, а они мне дадут селедки, потом не будут давать воды, и я сам им скажу, где у меня спрятаны его бумажки. Сил не осталось. Если опять посадят, повешусь в первой же уборной. Галстук у меня всегда с собой, в кармане.



И все же Раппопорт чувствовал какое-то неудобство от этих размышлений. Он кряхтя отправился в отдел писем.

– Надежда Васильевна, – произнес он, остановившись в дверях. – Вы не могли бы помочь мне разобраться в письмах? А то я в них утону и перестану булькать...

– Когда? – спросила Надя, улыбнувшись.

– Сейчас.

Она с готовностью поднялась из-за своего столика. Тавров с удовлетворением оглядел ее и пропустил вперед. По дороге он рассказал, что произошло, привел Надю к себе и усадил в кресло. Она сжалась, закрыла ладошками нос и рот, смотрела помертвевшими зрачками, ждала, что сейчас он скажет что-то еще более страшное.

– Я же понимаю, тебе трудно, Надя, – сказал Тавров, и две глубокие складки, идущие от носа к подбородку, разрезали его лицо.

– Да что – я? Вот он!

– Его такая доля. Он знал, на что идет...

– Сделайте что-нибудь, – умоляющие глаза Нади смотрели неотрывно. – Вы ведь можете!

– Я?! Почему все просят меня? Кто я? Жалкая старая развалина. Я действительно могу раскрутить кампанию и ничтожество сделать известным на всю страну, а может, даже ввести в ЦК. Но когда я ввел, они мне не подчиняются, Надя. Попробуй лучше поговорить со своим отцом. Вряд ли, но если не он, тогда никто!

– Надежда, ты здесь? По всей редакции ищу! Всех видел, а тебя нет...

Распахнув дверь, на пороге стоял, широко расставив ноги, Саша Какабадзе. Его выписали из больницы, и он выглядел пьяным от ощущения свободы.

– Сашка, ты здоров? – обрадовалась Надя.

– Милиционеров осудили, я свидетелем выступал. Бог есть, правда есть, видите?

– А судимости нет, – весело сказал Раппопорт. – Молодец!

– Вы, конечно, извините. Может, у вас с Надей дела? Но я так без нее соскучился, просто не могу! Надя, выйди, поговори со мной...

– Будем считать, – сказал Тавров, – что в письмах мы с тобой, девочка, разобрались. Идите, дети!

Он склонил свою тяжелую голову над бумагами, сделав вид, что Надя и Саша его совершенно не интересуют. В коридоре Какабадзе нагнулся, вытащил из кофра, стоявшего возле стенки, камеру и начал фотографировать. Надя сделала ему нос, показал кукиш – ничего не помогало. Тогда она закрыла лицо руками и повернулась к стене.

– Ох, Надя! Постой так – сзади ты еще красивее! Ты понимаешь, я пришел из больницы домой – вижу: твоей фотографии нету. Как же так? Я отснял всю страну, а тебя нету, Надя! Слушай, пока я лежал, я очень много думал. Я все решил. Нам срочно надо пожениться...

– Ты с ума сошел, Сашка! Замолчи!

– Нет, я абсолютно уверен. Маме сказал, она очень обрадовалась, да. Я решил жениться, и это серьезное решение, Надя!

Положив камеру в сумку и не обращая внимания на проходивших изредка по коридору людей, он взял Надю за локти.

– Пусти, Саша, слышишь! Пусти же!

– Нет, нет, Надя! Я официально предлагаю тебе руку плюс сердце. Ни в чем не сомневайся, Надя! Пойдем в ЗАГС и потом уедем в Грузию, в свадебное путешествие. Нас будут встречать по первому разряду, вот увидишь!

– Что ты несешь? В какую Грузию? А Инна?

– Инна? Ну что ты! При чем здесь Инна? Это она тебе сказала? Там совсем другое. Я же не мог совсем без женщины! Не ревнуй, Надя!

– Я не ревную, что ты!

– Молодец! Мы поженимся – и больше никаких женщин. Я буду однолюбом! Ты почему плачешь, Надя? Кто тебя обидел?

Две слезы висели на ресницах у Сироткиной. Прижавшись спиной к стене, она уставилась на Сашу. Вдруг обхватила его за шею руками и зарыдала, уткнувшись мокрым носом ему в шею.

– Ну что ты, что, Надя?.. Чего же плакать? Лицо становится нефотогеничным. А я хочу еще тебя снимать. Я буду тебя снимать всю жизнь, во всех видах.

– Во всех нельзя, – сквозь всхлипывания сказала Надежда.

– За это тебя опять посадят.

– Жену можно! Никто не узнает! Значит, согласна?

– Нет, нет! С чего ты взял? Мы же друзья. А замуж – нет, не могу.

Она разжала руки, отодвинулась от него подальше. Он рас-  
терялся.

– Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это! Как  
обухом по голове... Ладно, Надя! Еще подожду! Все равно на  
тебе женюсь!.. Я хотел посоветоваться. Завтра партсобрание...

– Ты же беспартийный!

– Но, может, вступить? Ведь рано или поздно все вступа-  
ют, ты знаешь. Разве от этого что-нибудь меняется? Меня  
вызывал Ягубов, просил выступить от комсомольцев насчет  
исключения Ивлева...

– А ты?

– Ну, что я? Его все будут оплевывать – один лишний  
плевок ничего не изменит. Он же поймет, что я не доброволь-  
но. Я у него после прощения попрошу. А если откажусь –  
выйдет, что я за него, да? Все это грязь, думаешь, не понимаю?  
Чуть что, обвинят, что я грузин и за культ личности Сталина.  
Что делать, Надя? Придется выступить, не отвертеться...

Проходя мимо них, Яков Маркович похлопал Сашу по плечу.

– А ну, заговорщики, разоидитесь!

Тавров запахнул полы плаща, глянул на лифт, решил его  
не ждать и двинулся вниз пешком.

На скамейке в сквере его ждал Закаморный. После введе-  
ния пропускной системы он некоторое время мог приходить в  
редакцию по разовым пропускам, которые ему заказывал по  
телефону Яков Маркович. Но Ягубову это стало известно, и  
Кашин позвонил в бюро пропусков.

– «А мы надеялись, что он есть тот, который должен изба-  
вить...»

Максим расслабленно полулежал на скамье, неподалеку от  
детской песочницы, и, прищурившись, процитировал Таврову  
Евангелие от Луки. Яков Маркович понял, что Закаморный об  
Ивлеве уже знает. Он присел рядышком на скамью, огляделся,  
чтобы убедиться, что ими никто не интересуется, и, успокоив-  
шись, удовлетворенно засопел.

– Сколько раз я ему говорил, – прошипел Закаморный, –  
чтобы он не бросал черновики в мусоропровод! Только в унитаз,  
да и то маленькими порциями. Великих людей губят мелочи...

– Успокойся, Макс. Дело не только в черновиках. Светлозерская... Пятый экземпляр...

– Ой-ей-ей! – Максим сплюнул. – Знал бы, ни за что бы с ней не спал. Впрочем, не она, так другая. Кто-то же должен выполнять эту функцию на земле! Подумать только: государство, способное уничтожить мир, боится маленького человека, который скрипит перышком по бумаге. По-западному этот человек диссидент, по-нашему – недиссидент. Когда надоедает мелькание крыльев перед глазами, прикалывают очередную бабочку иглой и прячут ее в коробку. Это в семнадцатом веке нужны были Дон-Кихоты. И в Европе. А в России толпа показывала на них пальцами и советовала вешать за ноги и сажать на кол. Любая нормальная система холила бы и лелеяла критиков, потому что без них она хиреет, как женщина без мужского гормона. А у нас?

– У нас, Максик, я говорил и говорю: не высовывайтесь, ребята!

– Беспринципностью понахивает!

– Беспринципность – это когда идею предают ради друзей. Принципиальность – когда друзей предают ради идеи. Что лучше?

– Ох, Яша, Яша!

*Когда я вижу Раппопорта,  
Встает вопрос такого сорта:  
Зачем мамаша Раппопорта  
Себе не сделала аборта?*

– Повторяешься, мальчик!

– Насчет «не высовывайтесь», Рап, у меня идея. Граница у нас на замке. Таможенники отрывают подкладки от плащей, гинекологи в погонах роются в остальных местах. А птицы – почему-то летают через границу! Летят, куда хотят, и хотя их кольцуют, возвращаются ли они, неизвестно!

– А что ты предлагаешь?

– Вдоль наших границ установить сетки до неба, чтобы ни один советский соловей не мог вылететь! Не говоря уж о журавлях и лебедях! Написать что ли на Лубяночку? Внести лепту?

– Я принес твой гонорар за статьи о субботнике, Максим. Держи!

В руках Якова Марковича оказались две полусотенные бумажки. Он протянул их Закаморному. Тот взял, посмотрел на свет.

– Гонорар за пропаганду, – задумчиво произнес он. – Ленин виден насквозь.

Понюхав полусотенную, Закаморный поплевал на нее и прилепил к подошве ботинка.

– Что за шутки, коллега?

Максим повторил операцию с другой полусотенной и встал со скамьи.

– Ах, приятно ходить по деньгам! – Он снова уселся, отклеил обе бумажки и спрятал в карман, вдруг помрачнев. – Подонки! Дзержиморды с площадки Задзержинского! Да они испражнений моего друга Ивлева не стоят. Неужели мы и на этот раз спустим им, Рап!.. Рап!!. Что молчишь, зека? Ну, выступи раз в жизни основоположником порядочного почина, например: «Жгите газеты, не читая!» Объясни толпе подписчиков-кроссвордистов: каждый должен сжечь газету. Оборвать провод радио и телевизора. Власть станет глухонемой, захлебнется в своей желчи!

Раппопорт сопел, ухмылялся.

– Не хочешь? Тогда я сам!

– Осторожнее, мальчик.

– Да брось, Рап! Я с детства ссал на эту организацию.

Яков Маркович знал этот исторический штрих из биографии Максима.

– Пойдем лучше выпьем, Макс, – предложил Раппопорт. – Может, легче станет...

– Настроения нет, извини. Пойду писать письмо на Лубяночку...

Не простившись, Максим зашагал прочь. Яков Маркович поглядел ему вслед, поднялся и, горбясь, побрел в другую сторону. На углу, возле продмага, он остановился.

– Ну что, друг, по «лысому»<sup>1</sup>?

---

<sup>1</sup> Юбилейный рубль с изображением Ленина.

Мужик, верным глазом наметивший Раппопорта в толпе, был худой и небритый.

– А третий есть? – спросил Яков Маркович.

– Вот он, чекист, стоит с двумя бутылками, подключим его! Посуда наша, мелочь добавишь?

– Добавлю, чекисты, – согласился Раппопорт.

Тот, что с бутылками, в кожаной куртке, на которой не хватало только патронташей, уже нетерпеливо стоял в очереди. Ему передали два «лысых» и мелочь. Втроем, не отставая ни на шаг, бригада двинулась к скверику, в кусты.

– Может, закусить взять чего? – осторожно предложил Яков Маркович.

– Интеллигент? – уточнил чекист. – Дома закусишь...

– Ну, давайте, давайте побыстрей, а то я с утра не пил! – небритый сколупнул железку ногтем. – Пьем из горла, так что без обману!

И первым опрокинул бутылку, забулькал. Чекист шевелил губами, считая глотки.

– Стоп! – он ухватил бутылку, как рубильник, и, повернув вниз, выключил. – Закуси веточкой, а я сососу.

Остановился он сам. Если и обделил, то не намного. Яков Маркович прикрыл глаза, приготавливаясь сделать, как они. Он заранее почувствовал, как зашевелилась у него в желудке блуждающая язва, заныла, боль пошла гулять по всему животу, прихватив печень. Но отступить было некуда. Он набрал побольше воздуха и медлил.

– Жид, что ли? – догадался чекист.

– Есть маленько, – признался Тавров.

– То-то, я вижу, жмешься. Ну ничего, пей. Человеком станешь!

Они не засмеялись, ждали. Он снова вдохнул и стал пить. Бутылка качалась между двух облаков, которые остановились над ним в небе. Небо было бездонное, водка лилась сверху, и казалось, ей не будет конца. А ведь всего-то граммов сто пятьдесят... Допив, Яков Маркович мужественно вытер рукавом рот и вернул бутылку чекисту. Они оба смотрели на Раппопорта.

– Добавить бы надо, – сказал небритый. – Ведь хорошо прошла, добавить бы. Добавим – будет еще лучше. Но у меня нету...

- Нету, нету, – сказал чекист, пристально глядя на третьего.
- Я плачу, чекисты, – немедленно согласился Раппопорт.
- Раз надо, я плачу.
- Сам-то торгуешь? – спросил небритый.
- Примерно...
- Тогда плати. Дуй, чекист, за второй!
- Чекист, не мешкая, умчался.
- Не бойсь, не удерет!.. А я сразу, как тебя увидел, понял, что ты завмаг. Вид у тебя завмага.
- Я не завмаг, – уточнил Яков Маркович. – Я Раппопорт.
- А на кой мне знать твою фамилию? Я что – кадровик?

Пьешь – и пей!

После этого они молчали минут двадцать, отвернувшись друг от друга и по отдельности переживая одинаковое потепление организма. Потом прибежал чекист, зажав под мышкой непечатую бутылку.

- Первым я! – заявил Раппопорт.
- Ох, и умный он, – сказал небритый чекисту. – Ну, умный!
- Я не умный, чекисты! Я дерьмо! Дайте, я буду первый. А то вы, падло, мне мало оставляете!

Прижав большим пальцем норму, он выпил свою часть и подождал, пока они опорожнили бутылку.

- Я дерьмо! – упрямо повторил Раппопорт. – Навоз, на котором взойдут цветы!
- Семью что ль бросил? – сочувственно спросил небритый.
- Так им без тебя даже лучше.
- При чем тут семья?! Главное, жгите газеты, чекисты! Жгите, не читая!

Пожав им руки, он пошел прочь, стараясь ступать так, чтобы тротуар под ногами не ускользал в сторону. В метро Якова Марковича не пустили. Чувствуя, что он вот-вот упадет, Раппопорт уговорил таксиста, дав ему вперед пять рублей, довезти свое расплывающееся тело в Измайлово. Но не таков был журналист Тавров, чтобы просто заснуть.

С трудом попав ключом в скважину, он первым делом, не снимая плаща, прошел в комнату и стал двигать шкаф. Накрепив шкаф набок, Яков Маркович вытащил из-под него толстую серую папку, а потом еще несколько листков – отдельно.

Листки он бросил на пол. В ванной он развязал тесемку, чиркнул спичкой и поджег первый лист сочинения маркиза де Кюстина. На горящий лист Раппопорт положил еще, потом еще, и скоро в ванне полыхало пламя, копоть застлала потолок. Тавров начал неистово кашлять от дыма. Задыхаясь, он дожег рукопись до конца, пустил воду, чтобы остатки перестали дымиться, и вывалился из ванной. Он помнил, как сел на пол в комнате, не в силах добраться до тахты, и тут память ему изменила.

Глаза он открыл, когда почувствовал, что его трясут за плечо. Яков Маркович долго не мог сообразить, чего от него хотят. Во сне его дважды арестовывали, и он считал, что в этом ему везло: спросонья совершенно не волнуешься. Он боялся только физической боли, а пальцы так впились ему в плечо, что он застонал.

– Не надо, – жалобно попросил он, – не надо меня бить...

– Да ты что, пап? Проснись! Тебе плохо? Перед ним на коленях стоял Костя.

– Сын... – не открывая глаза, произнес Яков Маркович. – Мне очень хорошо. Только голова болит...

– Вижу, отец. Счастье еще, что ты не угорел.

Константин вошел в незапертую дверь и увидел отца, раскинувшегося навзничь на коврике возле тахты. На животе у него спали, свернувшись, обе кошки. Испугавшись, Костя мгновенно представил самое худшее и все, что за этим худшим следует. Но тут же сообразил, что тогда кошки на нем не грелись бы. Отец причмокивал и время от времени повторял: «Жгите газеты, не читая!» Водкой несло даже от кошек. Подложив отцу под голову подушку, Костя уселся за стол читать листки, брошенные на пол.

Листки оказались сочинением, написанным журналистом Тавровым в жанре, который он открыл и назвал клеветоном. Это был клеветон Таврова на самого себя. Яков Маркович писал за всех и обо всех, о нем же (если не считать доносов) не писал никто и никогда. Поэтому Тавров решил заранее, на тот случай, когда это понадобится, самолично подготовить о себе статью, чтобы ее в любую минуту могли опубликовать. А то ведь, если сам о себе не побеспокоишься, сделают хуже, недостаточно профессионально. Клеветон «Газетный власовец» был создан в лучших традициях отечественной партийной пе-



чати. В клеветоне был использован полный набор ярлыков из раппопортовского конструктора: двурушник, предатель Родины, растленный тип, внутренний эмигрант, продавшийся сионистской разведке, злобный отщепенец, грязный провокатор.

– Что это, пап?

– Это? – Яков Маркович сел, опершись спиной о тахту. – Кто знает, сынок? Может, это скоро понадобится...

– А ты не хотел бы уехать, отец?

– Я?! Ты хочешь вызвать меня на предотъездовское соревнование? Нет, сынок. Ты молодой – у тебя еще есть слабая надежда. А я...

– И тебе не надоело?

– Ох, как надоело, Костик! Но я уж досмотрю это кино до конца! Иногда мне кажется, что евреи любят эту страну больше, чем русские. Они больше думают о ней, меньше ее пропивают. А живут они на этой земле, начиная с хазар, то есть не меньше русских. И по чистой случайности в свое время стали насаждать здесь византийскую религию, а не иудейскую. Русские привыкли заселять чужие земли. Так что логичнее им эмигрировать. К монголам, от которых частично произошли. А евреи останутся. Только карлов марлов больше не надо... Меня тошнит, Костя.

– Зачем ты напился? Чтобы стать националистом?

– Меня тошнит от того, что происходит...

– Сам же говорил, отец, что на перстне царя Соломона были выгравированы мудрые слова: «И это пройдет...»

– Говорил! Мало ли что я говорил! Да если бы у меня был перстень, я бы выгравировал на нем: «И это не пройдет!»

## 70. РОКОВАЯ ДЕВОЧКА

В сберкассе на старом Арбате стояла очередь, извиваясь по стене: старики и старухи ожидали пенсию. Сироткина попросила предупредить, что она последняя, отошла к стойке и, открыв отцовскую сберкнижку на имя Северова Гордея Васильевича с правом для дочери пользоваться вкладом в течение трех лет, заполнила листок. На счету было две с половиной тысячи с лишним. Отец не трогал их после смерти матери.

Мелочь Надежда не стала трогать, а две с половиной тысячи, отстояв в долгой очереди, забрала. Ей велели расписаться три раза – Надя волновалась, и подпись каждый раз получалась отличной от предыдущей. В конце концов ее заставили предъявить паспорт, и контролерша списала себе его номер, где, кем и когда прописан. Только после этого Сироткина получила жетон с номером, отдала его кассирше, и та отсчитала деньги. Сколько – Надя не могла видеть из-за высоченного прилавка, но пересчитывать не стала. Она отошла к стойке, вынула из сумочки редакционный конверт со штампом «Трудовая правда», вложила в него деньги и заклеила.

До метро «Университет» Надежда ехала с решительностью, которая несколько убавилась, пока она поднималась по эскалатору. Обычно, когда Надя провожала Ивлева, он не хотел, чтобы она шла с ним до самого дома; она оставалась внизу, и лестница уносила вверх его одного. Но иногда он заговаривался, не замечал, что она уже стоит на ступеньке, и ей удавалось проводить его до самого выхода из метро. В такие дни Надя была счастлива.

Теперь Сироткина вошла в подъезд. Она поднималась по лестнице не ища, будто сто раз приходила в дом Ивлева. Она хотела встречи с Антониной Дональдovной и боялась ее. Это была какая-то игра, которую Сироткина сама себе предложила, сойдясь с Ивлевым. Антонина Дональдovна была ее педагогом в 38-й музыкальной школе. Надя девочкой любила ее и быстро забыла, как и всех других своих учителей, но вспомнила, когда узнала, что спецкор Ивлев – ее муж. Учительница в свое время о нем рассказывала (какой он умный и незаурядный человек, – кажется, про это), и Наде, когда она на него в редакции посматривала, сделалось любопытно.

Когда игра и полудетские расчеты стали серьезными, Сироткина не заметила. А заметила только, что она любит Ивлева и ей не только хорошо от этого, но и плохо. Она так и не сказала ему, что знает его жену.

– Сироткина?! – удивилась Антонина Дональдovна, открыв дверь и сразу узнав Надю.

Она стояла в пестреньком халате с посудным полотенцем не первой свежести в руках и, узнав, все еще продолжала разглядывать Надю, тщательно, с иголки одетую.

– Я на минуту, Антонина Дональдовна...

– Да входи же. У меня кавардак, извини... Раздевайся, я сейчас...

Пока Надя снимала плащ, Тоня в ванной напудрилась, чтобы хоть немного скрыть следы синих припухлостей от бессонной ночи и слез. Она скинула халат, натянула брюки и кофту, провела два раза гребешком по голове и вышла из ванной.

– Я все знаю, – сразу произнесла Сироткина, чтобы не вертеться вокруг да около.

– Что – все?

– Мы ведь с Вячеславом Сергеевичем вместе работаем. Ну, то есть я в редакции мелкий технический работник. Он ни в чем не виноват, я уверена. Они должны его выпустить! Просто обязаны!

Тоня ничего не ответила. Она отрицательно покачала головой, и только слезы покатались вниз, оставив два следа в наспех положенной на щеки пудре.

– Я точно знаю, Антонина Дональдовна! Газета за него заступится, а к мнению газеты прислушаются... Скоро из больницы наш главный выйдет, Макарцев. Он к Ивлеву хорошо относится, понимает, что это талантливый человек. Он позвонит и все такое... Вот увидите!

– Куда позвонит, Надюша? Ты осталась такой же наивной девочкой, как была!

– Нет! – запротестовала Сироткина. – Может, я и наивная, но не такая, как вы думаете! Верьте, это главное!..

– Постараюсь...

– Да, чуть не забыла, а то б ушла... Я привезла гонорар вашего мужа – в бухгалтерии просили передать...

Сироткина поспешно вынула конверт, положила на стол. Ивлева не взглянула.

– Ну а ты-то как живешь, Надя?

– Я? Замечательно. Весело! Такой круговорот – некогда оглянуться. Учусь в университете, на вечернем, кончаю. В общем, порядок...

– Тебе можно позавидовать...

– Мне многие завидуют. Даже стыдно, когда у тебя все так хорошо... А как ваш сын?

– Сейчас у бабушки, растет...

– Ну, я пойду, – поднялась Надежда. – Извините, что ворвалась без приглашения.

– Наоборот, Надя, я очень рада. Посиди, чаю попьем...

– В другой раз... Я загляну, как только что-нибудь узнаю.

Закрывая за Надей дверь, Тоня ощутила знакомый запах духов. Запах этот раздражал ее давно, однако она не придавала ему значения. Только теперь слабая догадка пришла к ней, но она не позволила этой мысли развиться и поразить ее сознание неожиданным открытием.

На улицу Надя выскочила вприпрыжку, довольная собой. Тоненькая и устремленная, улыбаясь, она спешила к метро, и прохожие смотрели ей вслед. Она предчувствовала, что отец дома. Но когда действительно застала его на кухне, вспомнила: он утром говорил, что после совещания придет рано, а потом снова уедет и ночевать не вернется. Она была уверена, что у него есть женщина, не может не быть. Просто он считает ее ребенком, и это скрывает. И раньше бывало, он неожиданно заявлял, что не придет ночевать – у него командировка. А тут не объяснил причину – не захотел врать. Это уже прогресс.

– Здравствуй, папочка!

Василий Гордеевич сидел без пиджака в белой рубашке с расслабленным галстуком и жевал. Она обняла отца за шею, прижалась к его спине. Из Надиной комнаты доносилась музыка, ласковая и мягкая.

– Это ты включил проигрыватель?

– Да!

– Ты что – влюбился?

Он молча усмехнулся.

– Выбрит тщательней, чем обычно, музыка...

– Побрился в парикмахерской ЦК, пластинку мне подарил мой зам. Все?

– Нет. Куда собираешься?

– Ну, если начистоту, то на дачу, играть в преферанс.

– Там, надеюсь, будут женщины? Давно пора...

– Пора? – Василий Гордеевич опять усмехнулся. – Нет, женщин там не будет. И что значит – пора? Я же не говорю, что тебе пора замуж...

- Ну, не говоришь, поскольку ты тактичный. А если бы я это сделала? У меня есть новый парень... Так серьезно ко мне относится, просто боюсь...
- Новый? Кто?
- Военный. Учится в академии Жуковского – в адьюнктуре... Как ты считаешь?
- Я? По-моему, раз спрашиваешь, то сама не уверена.
- Я-то уверена, – прошептала она ему на ухо. – Но не знаю, как ты отнесешься... Ведь тогда ты...
- Тогда? С этим антисоветчиком?! Про которого ты мне тогда наврала... Его фамилия Ивлев, и он с тобой работал!
- Ну, вот! Сразу ругаешься. С ним давно кончено... Но если хочешь правду, то никакой он не антисоветчик! Он перевел с французского книжку, которую каждый смертный может взять в Ленинской библиотеке. И не в спецхране, а просто так.
- Дело не в этой книге, Надежда! Дело в том, что этот человек может писать не то.
- Это страшно?
- Смотря для кого... Для лиц, идеологически некрепких, опасно. Большинство народа, к сожалению, не отличает хорошего от плохого и может попасться на удочку таким, как твой Ивлев. Я хотел сказать, бывший твой...
- Ты прав, папа! Я все поняла. Хорошо, что для меня это имеет чисто теоретическое значение.
- Ну, вот видишь...
- Скажи, а как тебе удалось? Неужели ты такой сильный, что можешь посадить человека?
- Глупости! Дело, конечно, не в личном, надеюсь, понимаешь?
- А выпустить его можешь? Скажи – можешь?
- То есть как? – Василий Гордеевич встал и затянул галстук.
- Понимаешь, мы расстались, а его посадили. Если бы его выпустили, я б спокойно вышла замуж за моего военного, а так... Пожалуйста! Я редко что-нибудь прошу!
- Нет, Надежда! Ты не понимаешь специфики нашей работы. Дело не в этом Ивлеве. Сейчас мы не хотим изолировать всех, по тем или иным причинам недовольных нашей идеоло-

гией. Работу ведем превентивно. Но выпустить – значит показать, что мы слабы, что антисоветчики могут действовать. Да и не я это решаю.

– А кто?

– Партия, народ... Когда, наконец, ты это поймешь? Лучше про Ивлева забудь!

– Хорошо, папочка, я постараюсь... Кстати, как у тебя с диссертацией?

– Надеюсь, все будет хорошо.

– Я так рада! Знаешь, давай выпьем за то, чтобы у тебя все было хорошо.

– Ну, давай, если настаиваешь...

Василий Гордеевич вынул из бара бутылку экспортной водки, наполнил рюмки, поставленные Надей. Они выпили.

Он натянул пиджак, поцеловал ее.

– Какой ты у меня элегантный, папка! И почти совсем молодой...

Взяв гребешок, она зачесала отцу назад посдевшие волосы, курчавящиеся возле ушей и сзади.

– Такой мужчина пропадает для кого-то!

– Не дури, Надька, – он похлопал ее по бедру.

Закрыв за отцом дверь, Надежда вошла к себе, захватив на кухне бутылку. Она поставила на проигрыватель пластинку, налила водки.

– За твое здоровье, папочка! – произнесла она вслух и выпила, не поморщившись.

Надя налила еще и снова выпила, поднялась, покружилась по комнате в позе, будто ее кто-то держал за талию, села к роялю. Она подстроилась под мелодию, пробрякав ее отвыкшими от этой работы пальцами, и продолжала размышлять вслух.

– Спасибо тебе, папочка, что сделал меня снова свободной! Я, дурешенька, и не подозревала, что это ты. Я не просто Надя Сироткина! Нет, я настоящая роковая женщина! Каждый, кто соприкоснется со мной, будет несчастлив. Благодаря мне убил двоих Боб Макарецев. Из-за меня до полусмерти избит Саша Какабадзе. Стоило отдаться Ивлеву – и он уже в тюрьме. Кто следующий? Кто рискнет и поцелует меня? А ведь я еще молоденькая, ни одного аборта. Еще и любить-то как следует не научилась. Научусь, то ли будет! Где пройду

– тюрьма да смерть... Я ведьма, только еще практикантка. Я всего-навсего дочка генерала КГБ. А вырасту – Слава, прости!..

Пластинка доиграла, автостоп не сработал, она продолжала вращаться. Надежда не обратила на нее внимания. Она мягко опустилась на тахту и протянула руку к тумбочке. Наощупь она вытащила пачку барбамила, полежала, лениво прожевывая невкусные, мучнистые таблетки. Возбуждение ее прошло. Говорить дальнейшей ей расхотелось. Она просто устала. Она подняла голову только потому, что дверь скрипнула: там стоял Ивлев.

– Здравствуй, – сказала она, и блаженная улыбка поплыла по ее лицу. Она несколько не удивилась: не было никаких сомнений, что он придет. – Не стой так, будто попал не туда.

Вячеслав погрозил пальцем и стоял, не двигаясь. Наде стало весело, она звонко и беспечно рассмеялась, перевернулась на спину и протянула к нему руки, подзывая его пальцами. Он медленно дошел до постели и упал на нее, как стоял, одетый, и сразу закрылись замки ее рук и ног. Голые, без листьев, березы зашевелили у Нади над головой тонкими ветками с прошлогодними желтыми кисточками. А вокруг блестели лужи, и пятачки снега, и мягкая, старая трава.

– Никогда! – воскликнула Надя, улыбаясь счастливой блуждающей улыбкой, глядя Ивлева по плохо выбритым щекам. – Никогда мне не будет так хорошо, как в лесу, на мокрой земле, под березами! Так много хочется для счастья. Но в действительности для счастья не нужно почти ничего.

## 71. РАСПЛАТА

Выйдя с небольшим рюкзачком, повешенным за обе лямки на одно плечо, Закаморный по зековской привычке глянул направо и налево. Никто у подъезда газет не читал, от стен не отделился и за ним не последовал.

В вестибюле редакции Максим сдал рюкзачок на вешалку. Он постоял спиной к вахтеру, делая вид, что ожидает, пока ему закажут пропуск. И когда вахтер отвернулся, Максим резво скрючился и на четвереньках прополз под столом, едва не

коснувшись ног дежурного, как делал это в молодости в лагерях. В коридорах он постарался ни с кем не встречаться, и ему это удалось. Из пустой комнаты Закаморный позвонил Анне Семеновне:

– Анечка! В буфете дают салями...

Вскоре Анна Семеновна пробежала мимо, и он вошел в приемную. Замены себе Локоткова не оставила, и Закаморный понял, что Ягубова в кабинете нет. Максим вытащил из кармана тюбик синтетического клея, отвернул колпачок и, приставив горлышко к замочной скважине кабинета Ягубова, резким движением выдавил в отверстие весь тюбик. Замок схватит намертво, придется ломать дверь. Закаморный спустился к Кашину, приложив ухо к двери, прислушался. Завредакцией сидел у себя в кабинстике, запершись. Максим вытащил еще тюбик клею и повторил операцию. Только бы Кашину не понадобилось сейчас выйти, пока клей не успел схватить.

Повеселев от первой удачи, Максим Петрович с рюкзачком на плече приехал на Белорусский вокзал. Он взял билет до Звенигорода и в полупустом вагоне электрички положил ноги на противоположную скамью. Солнце сияло и пекло, зелень вдоль дороги вдруг вся сразу распустилась, пошла острыми листиками, и, где не видно было мусора и плохо одетого народа, красота брала душу в блаженные объятия, и ничто не раздражало глаз, утомленных превратностями судьбы.

В Звенигороде он долго шагал по краю шоссе, пока не миновал стен Саввино-Сторожевского монастыря. Он повспоминал на ходу основателя его князя Юрия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, подумал, как усложняется жизнь, но тут же сам и отверг собственный тезис, решив, что ничего не усложняется, все осталось простым и пошлым. С высокого берега открылись Максиму петли Москвы-реки, пространство полей и лесов с залысинами да кустарниками, столь полное воздуха и света, что он на мгновение позабыл, для какой-такой цели сюда прибыл. Купола церковные сияли, восстановленные из тлена. Постояв, Максим поправил рюкзак, двинулся берегом до моста и перебрался по шатким доскам на другую сторону Москвы-реки, где было низко и неподалеку шла дорога. Решил он идти, сколько можно будет, до зеленых заборов, за которыми вылизаны дорожки, да раскрашены купальни, да



посажены на цепь моторные катера. И царские особняки в соснах стоят и глядят не на вас.

Тут где-то, помнил Закаморный, должен был оставаться карьер, из которого брали песок на строительство особняков и дорог к ним. Через полчаса путник действительно до него добрал. В карьере на чистый песок был навален строительный мусор.

– Даже здесь гадят, возле правительственных особняков, – сказал вслух Максим. – Поистине, страна-помойка! Это облегчает мою совесть, прости, Господи, грешного!

Он присел, развязал рюкзак, вынул из него мотки фотопленок, несколько книг, обернутых в газету. В полиэтиленовых мешках, тщательно заклеенных, побросал он это на дно котлована.

Вынув из кармана красную повязку, Закаморный нацепил ее на рукав, придав себе административный вид, а рюкзак положил под куст. Сам сел на обочину, стал ждать. Людей тут не было, да и машин не было: утром и вечером прокатывали лихо хозяева особняков да их родня. Максим Петрович, однако, знал, чего ждать. И дождался. По дороге медленно полз тяжелый ЗИЛ с мышиного цвета цистерной. Закаморный поднялся с обочины, директивно махнул рукой с красной повязкой.

– Полный? – со знанием дела спросил он шофера.

Тот, притормозив, кивнул.

– Значит, приказ такой: спускать в этот котлован. Здесь будет проводиться научный эксперимент по регенерации и аэрации. Да не бойсь! Останешься не в обиде. На это дело отпущены средства. Спускай экскремент!..

Шофер подчинился. Выскочил, сбросил толстый шланг, включил насос, и жидкость забурлила, потекла на дно котлована, заполняя окрестность удушающим запахом сконцентрированных человеческих испражнений. Максим равнодушно сел на обочине, задремал.

– А расчет когда? – спросил шофер, едва цистерна опорожнилась.

Максим вялой рукой вынул пятерку.

– Сейчас еще подвезу, – заспешил шофер, пряча деньги. Этого золота в дачах тут не перевесть. А не хватит – из Звенигорода могу!

Нелегко было сидеть полдня, охраняя правительственные испражнения. После десятой машины, когда финансы иссякли, Максим решил, что в карьере накоплено достаточно. Он спустился к самому краю зловонного моря и вырыл норку. В нее положил другую коробочку, извлеченную из рюкзака, и закопал ее, протянув по краю жижи тонкую проволоку. Он полюбовался делом рук своих, вскарабкался вверх и, накинув на плечо рюкзачок, потопал по дороге назад к Звенигороду. Тут, возле почты, нашел он телефон и, опустив монету, набрал заветный номер, который давно выучил наизусть. Трубку обмотал носовым платком для искажения голоса, а за обе щеки положил по черствой сушке с маком.

– Мне, извиняюсь, начальника, – сказал Максим. – Ах, слушаете! Я сам коммунист, персональный пенсионер. Зарубин мое фамилие. Вначале хотел доехать к вам лично, сообщить, а после думаю, не успею...

– В чем дело?

– Дело в том, что я обнаружил склад антисоветской литературы и мой долг помочь органам...

Он кратко объяснил, как проехать.

В продмаге он купил хлеба, банку частичка в томатном соусе и бутылку минеральной воды. Больше ничего в магазине не было. Закаморный направился вдоль высокого берега, застроенного сараюшками и хибарками, перерезая напрямик незагороженные и незасаженные еще картошкой грядки. Вскоре облюбывал он сарай возле нежилой дачи, проник в него с оглядкой, отвел в стене его плохую доску и возле нее уселся на бревно. В щели перед ним открылась полоса Москвы-реки и на другом берегу, внизу, возле дороги, карьер, подготовленный для научного эксперимента. Максим развязал рюкзачок, вынул бинокль. А рядом на земле расставил воду, хлеб, консервы и стал, сполоснув минеральной водой руки, со вкусом закусывать, деревянной щепочкой вынимая из банки частичка в томате. Обед его прервался. На дороге внизу показалась черная «Волга». Она остановилась. Из нее выскочил бодрый человек в спортивной куртке и пошел вдоль обочины. Машина за ним медленно поехала.

– О, да я вижу, вы серьезно к прогулке отнеслись! – удовлетворенно проговорил Максим, приставив к глазам бинокль.

Наподалеку от первой «Волги» остановились еще две. В последней рядом с шофером сидел офицер: погоны были видны хорошо, а звездочки и бинокль не помог разобрать. Первый человек, который выскочил из машины, замахал руками. И вот все три «Волги», носы в зады, остановились возле карьера. Дверцы захлопали. Максим насчитал двенадцать душ вместе с офицером.

Они разбрелись вокруг, осматривались, некоторые отлучились в кусты перед началом работы и выходили, застегивая ширинки. Все собрались на краю котлована, зажимая пальцами носы. Полиэтиленовый мешок с фотопленками, полный воздуха, всплыл со дна и покачивался на поверхности. Офицер что-то приказал одному из своих. Тот отправился к багажнику и приволок, растягивая на ходу, штангу со щипцами на конце.

«Трезевый Цербер, хищный и громадный, собачьим лаем лает на народ», – торжественно процитировал Закаморный великого Данте.

Мешок с фотопленками они подцепили. Столпились, чтобы поглядеть, что в нем. Стали вскрывать с брезгливостью. «Ну, что, подонки? Попали в свою родную среду? – написал там сегодня поутру Максим на листе, привязав ручку к правой ноге. – Дайте срок, все вы утонете в собственном дерьме. Приятного плавания, дзержинцы!» Жаль, прочитать сочинение Максима не все собравшиеся успели. Один из них, старательно шаривший по обрыву, задел проволоку. Ухнул взрыв. Эхо повторило грохот несколько раз. Пыль и брызги поднялись столбом и садились медленно. Когда снова стало видно котлован в бинокль, обочина дороги сползла, сместив приехавших специалистов вниз. В зловонной жиже под обвалом показывались руки, головы. Барахтаясь и хватаясь за других, товарищи выбрались на обочину.

– Отмывать придется на Лубяночке, – хмуро произнес Максим Петрович, – если дают горячую воду. А если нет – холодненькой.

Он тихо поднялся с бревнышка, не тратя времени сложил в рюкзачок пожитки, притворил на место доску в стене сарая и огородами пошел к шоссе. По дороге, сделав петлю, Максим остановился возле церкви, перекрестился и вошел внутрь. Он купил свечку, поставил ее, опустил на колени и долго молился, касаясь лбом пола.

– Прости меня, Господи, что рабов твоих окунул в дерьмо! Ибо не рабы они тебе. Такие предали тебя, нас предадут и человечество погубят, не усомнившись ни на минуту. Прости меня, что действовал их методами. Затыкают они глотки тем, кто говорить может. Разве не всем такое право ты дал от рождения, Господи?

Закаморный поднялся с колен, еще раз перекрестился и, выйдя из Божьего храма, отправился на шоссе. Тут он остановил попутный грузовик, проехал на нем несколько километров и слез, направив стопы по просеке, через лес. На неприметной поляне путешественник остановился. Он положил свои пожитки на мелкую травку, пробившуюся сквозь прошлогоднюю листву. Встав спиной к заходящему солнцу, отмерил шагами расстояние от трех берез и стал копать яму.

Из ямы Максим аккуратно вытащил свои богатства: железный сундучок, весьма тяжелый, обмотанный полиэтиленовой скатертью, и канистру. Закаморный оглянулся, не мешает ли кто, но даже птицы в этот час умолкли, и было тихо. Лишь гул изредка пронесившихся грузовиков долетал с бетонки. С волнением приподнял он крышку сундука. В нем, почти до самого верха, аккуратно уложенные лежали носы. Большие и маленькие, гипсовые, глиняные, бетонные, бронзовые и из нержавеющей стали, деревянные, стеклянные, фарфоровые, из папье-маше. Отломанные, отпиленные, отбитые молотком с больших и малых бюстов, статуй, экспонатов, сохраненные для вечности носы великого гения революции, сына, отца и деда пролетариев всех стран.

Стремясь собрать наиболее полное собрание ленинских носов, Закаморный отбивал их в скверах и парках, в учреждениях, на заводах и на железнодорожных станциях. Он не спал ночью, пока ему не удавалось овладеть очередным носом. Коллекционер спешил: ведь в любую минуту могло случиться нечто чрезвычайное, какая-нибудь перемена власти, и тогда со статуями Ленина поступят так же, как с монументами Сталина, которые у него на глазах опутывали цепями, валили и давили гусеницами бульдозеров. Сохранились ли для потомков носы товарища Сталина? Нет, ничего не сохранилось! А носы основоположника – вот они, хоть сейчас на выставку. Максим уже придумал ее название: «Носиана-Лениниана».

Из рюкзака Закаморный вынул пару свеженьких носов. Один из них он ухитрился отбить в кинотеатре «Космос», для чего пришлось разориться на билет и посмотреть часть невысказанного фильма. Второй – уходя последний раз из редакции «Трудовой правды». Новые носы Максим аккуратно уложил в сундучок, добавив туда исторический документ, сорванный с доски приказов в соответствующем учреждении.

## ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО №82/ 4-С

В целях улучшения качества продукции всем скульптурным фабрикам Художественного фонда СССР приказываю в срочном порядке укрепить каркас бюстов В.И.Ленина (все артикулы) введением в нос головы металлического крючка, препятствующего повреждению носа путем излома.

Основание: отношение компетентных органов.

Замдиректора  
(подпись неразборчива)

Покончив с носианой и опустив сундук в яму, Закаморный открыл канистру и опустил в нее несколько листов бумаги, исписанных мелким почерком. Он, бывало, читал друзьям, но никогда не показывал свои стихи. Он не слушал ничьих мнений, будучи уверенным в том, что коллектив уродует личность.

– О русская земля! – бормотал Максим, закапывая канистру рядом с сундучком и закладывая яму кусками дерна. – Что хранишь ты в израненном теле своем? Человеческие кости да рукописи...

## 72. ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ З.К.МОРНОГО

### ИЗ ТЕТРАДИ, СВЕРНУТОЙ В ТРУБКУ И ПРОСУНУТОЙ НА ВЕРЕВОЧКЕ В ГОРЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КАНИСТРЫ<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Закопано в лесу под Звенигородом: 24-й километр первой кольцевой бетонки, не обозначенной на картах; от километрового столба по просеке до трех берез; от средней березы на солнце, восходящее в апреле, шесть шагов.

## ДОМА И ЛЮДИ

*На тихой улице Песчаной,  
напротив парка и кино,  
ты был прописан постоянно  
и просто жил уже давно  
на тихой улице Песчаной.*

*Напротив парка и кино  
стоят дома спиной друг к другу,  
в витринах выставив вино,  
выдерживая жар и вьюгу,  
напротив парка и кино.*

*Стоят дома спиной друг к другу.  
Им все равно, кто здесь живет,  
кто водку пьет, кто пишет фугу,  
кто спит, кто водит самолет.  
Стоят дома спиной друг к другу.*

*Им все равно, кто здесь живет.  
И людям вовсе безразлично:  
мельчает русский наш народ.  
Ты мрешь с тоски, а мне отлично.  
Им все равно, кто здесь живет.*

*И людям вовсе безразлично:  
там свадьба, тут протечка ванн.  
Одним смешно, другим трагично.  
Ведь и внимание – обман!  
И людям вовсе безразлично.*

*Там свадьба, тут протечка ванн.  
Нам наплевать на ваше горе.  
Вот новый импортный диван.  
Мальчишки пишут на заборе.  
Там свадьба, тут протечка ванн.*

*Нам наплевать на ваше горе.  
Вот если было бы дано  
святое обрести во взоре  
и нечто человечье!.. Но...  
Нам наплевать на ваше горе.*

## ПРОХОЖИЙ

*Все идет в одно место...  
Экклезиаст, 3,20.*

*Шел по улице прохожий,  
никому он не мешал.  
Все текли, и тек он тоже,  
все дышали – он дышал.*

*И держался тихо очень  
направленья одного.  
Замечал он, между прочим,  
кое-что про кой-кого.*

*Шепот, крики, разговоры,  
чью-то радость, чей-то смех,  
в окна наблюдал сквозь шторы  
чей-то стыд и чей-то грех.*

*А ему навстречу позже  
человеческой рекой  
на прохожего похожий  
шел прохожий, но другой.*

*Узнавал он тех по рожде,  
что гуляют и глядят,  
засекал таких прохожих,  
чтобы вставить в свой доклад.*

*Был еще один прохожий,  
плыл величественно он  
в черной «Чайке». Ну так что же?  
Это тоже моцион.*

*А потом прохожий третий  
приходил в свой кабинет  
и, собрав доклады эти,  
отправлялся в туалет.*

*Изучал он в туалете  
персонально каждый факт,  
и затем, простите, дети,  
совершался некий акт.*

*По трубе в реку стремится  
за докладами доклад.  
Над рекою пар клубится –  
дышит смрадом стар и млад.*

*Самокритики не зная,  
Бог заметит невзначай:  
«Эх, природа, мать такая!  
Сотворила – получай!»*

*Шел по улице прохожий,  
никому он не мешал.  
Все текли, и тек он тоже,  
все дышали – он дышал.*

#### БАЛЛАДА О ЛЕЙТЕНАНТЕ

*Глушилки перестали верещать,  
И тишина настала вдруг такая,  
Что Бог бы мог еще Христа зачать  
Или создать магнитофон «Акая».*



*Вернулся, выпив пива, лейтенант,  
Включил рубильник, и опять завьело,  
Захрюкало, трещало, в бубны било, –  
У лейтенанта был на то талант.*

*Всю ночь он вел с диверсиями бой.  
Бурлил и таял Днепрогэс в эфире.  
Был лейтенант доволен сам собой:  
Он мир спасал от мира в этом мире.*

*Спаситель наш, сдав смену ровно в пять,  
Пришел домой, и сон его был светел.  
Рубильник он во сне сжимал опять,  
А грудь жены в кровати не заметил.*

*Враги не спят снаружи и внутри.  
Прав лейтенант, какого ищут ляда?  
Пока он пил, я, что ни говори,  
Поймал чуть-чуть неглушенного яда.*

*«Авроры» залп стоит сплошной стеной.  
Глушители не спят, почетна их работа.  
Надежда лишь на очередь в пивной.  
Пей, лейтенант! Послушать так охота!*

## ВИЗИТ В ПИТЕР

*В Ленинграде бываю я редко.  
Погуляла здесь царская власть.  
Затоптала ее оперетка  
«Год семнадцатый». Рушили всласть.*

*Триста лет, как исчезло болото,  
И по трупам прошел эскадрон.  
Только зябко и грустно мне что-то  
В этом царстве солдат и ворон.*

*Вот уже и задвинули шторку  
На окне, что в Европу ведет.  
Скоро двинем «Аврору» к Нью-Йорку,  
Чтобы не было статуй свобод.*

*Ах, как сладки безумства припадки,  
Море крови подвластно руке.  
Тот, что с гривой волос, – на лошадке,  
Тот, что лысый, – на броневике.*

*Город болен. Он желтый и мрачный.  
И пронзителен запах мочи.  
Лица, стертые шкуркой наждачной,  
Только лучше об этом – молчи.*

## РОДИНА

*«Не верь, – друзья нас учат, – не проси,  
Не лги, не компромисствуй, не участвуй».  
Кому же улыбнуться на Руси?  
Кому сказать простое слово «здравствуй»?*

*Здесь в черных трубах наш сгорает пот,  
И красным пеплом светятся ракеты.  
И наш советский пламенный Пол Пот  
Мечтает осчастливить все планеты.*

*Тут от тоски застыли голоса,  
А кто поет, тем затыкают глотки.  
Здесь на дерьмо похожа колбаса,  
В театре детском слышен запах водки.*

*Естественно здесь родину любить  
Вам не дадут. А только по приказу.  
Ну, как не выть и как тут не запить,  
Неся в себе с младенчества проказу?*

*Слепая и угрюмая страна  
Лежит в берлоге, в мир упершись рогом.  
Она ясна. Но наша в чем вина?  
За что мы с ней повязаны пред Богом?*

## БАЛЛАДА О ВОЖДЯХ

*Не страшно ли синему небу,  
Что вечно Россия чадит  
И хмурым вождям на потребу  
Петрушкою правду рядит?*

*Живем мы во славу химеры  
От смерти до смерти вождей.  
От голода мрем, от холеры,  
Убожеством давим людей.*

*Зовет нас в преддверии драки  
В костер и на праздник труба.  
Мы – пешки, играют маньяки,  
Такая уж наша судьба.*

*Молчание – крест поколений, –  
Печаль утопивших в вине.  
Что выкинет дяденька Гений,  
Тебе неизвестно и мне.*

*И если маньяк помоложе  
Вдруг вырвется после всего,  
Детей упаси наших, Боже,  
От экспериментов его.*

*Вожди... О проказа России!  
Избавиться нам не дано.  
Согнув под секирами выи,  
Мы ждем окончанья кино.*

## КРЫСЫ

*Шла шхуна по морям и океанам.  
Поломан руль, ничем нельзя помочь.  
Стоял на вахте боцман капитаном,  
сам капитан был в стельку день и ночь.*

*Вдруг остров показался, будто прыщик,  
а может быть, пятно или мираж.  
Хотел набрать воды, а также пищи  
усталый и голодный экипаж.*

*Но что вы там себе ни говорите,  
поди пристань без ветра и руля.  
А в трюме крысы. Что же вы? Бегите!  
На берег доплывете! Вон земля!*

*Здесь от цинги беззубы все и лысы,  
им жить осталось считанные дни.  
Пока не поздно, разбегайтесь, крысы!..  
Но никого не слушали они.*

*«У нас на шхуне корки и очистки,  
и норы недоступны сквознякам.  
Мы по ночам вылизываем миски –  
их мыть потом не надо морякам».*

*Пьет капитан. На вахте боцман стонет:  
«Цианистого калия хочу!» У крыс одно:  
«Пускай корабль тонет –  
ведь нам любое дело по плечу!»*

## О ЧТЕНИИ ГАЗЕТ

*Газеты в дом приносят колбасу  
И служат для растопки печи;*

*Оклей окно, чтоб скоротать досуг,  
Чего ж еще ждать от газетной речи?*

*Свеча горит, слеза ее чиста –  
Газетный смрад чадит по всей планете.  
Ты только их, товарищ, не читай,  
Задумавшись по случаю в клозете.*

*Смотри футбол, дружище, без затей,  
Чем желчь вбирать в словесной перебранке.  
Ты только прячь газеты от детей,  
Как спички, яд или грибы-поганки.*

## ПЕРВОМАЙ

*Страна Советов, я тебя люблю!  
Позволь с тобой в политэкстазе слиться.  
Я Бога об одном сейчас молю:  
мне только бы от всех не отличиться.*

*С телеэкранов прут за рядом ряд  
ракеты, чтобы мирно спали дети.  
Одни творят, другие мастерят,  
наводят третьи все ракеты эти.*

*Задуматься? Ни-ни в стране Шехерезад.  
Плечо к плечу – единство поколений.  
За всех за нас сто лет тому назад  
Уже подумал ясновидец Ленин.*

*Сверкает нынче солнце над Кремлем.  
Сверкать – Политбюро распоряженье.  
К вершинам коммунизма мы идем,  
и только запах портит впечатленье.*

*Ряды колонн равняют шаг павлиний,  
в подобострастье повернувши луны.*

*Несет от мавзолея мертвечиной  
и снизу, и с прославленной трибуны.*

## ВЕСЫ

*Едва вы родились, кладут вас на весы  
Разбуженные криком акушерки.  
Качнулся маятник, и двинулись часы,  
А вы еще лежите на тарелке.*

*Младенец, юноша, мужчина и – старик.  
Девчоночка, красавица – старуха.  
Вся жизнь спрессована в неуловимый миг,  
Вся – невесомость. Дунешь – легче пуха.*

*Меж темнотой и светом стрелки в кутерьме.  
У правосудия весы и что же?  
Свободен ли сидишь, гуляешь ли в тюрьме –  
Не правда ли, немножечко похоже?*

*Как снегопад, приходит зрелости порог.  
Похвастаться, похоже, что и нечем.  
Что весит человек? Чего достичь не смог?  
Дал? Взял? Сберег? Направил? Искалечил?*

*Не жаль сойти с весов тому, кто в мире гость.  
Придут друзья бедняга вроде помер.  
Веселый паренек поднимет пепла горсть –  
И в капсулу. И ваш надпишет номер.*

## 73. ГОЛУБОЙ КОНВЕРТ

- Сняв плащ, Ягубов протянул его Анне Семеновне.
- Ко мне – никого!
  - Вам звонил Шамаев.
  - По городскому? Чего сразу не говорите?

Локоткова смолчала, пошла к двери.

– Стакан чаю, погорячее и покрепче.

Раз Шамаев звонил по городскому телефону, Ягубов тоже позвонил ему по городскому, но слышались длинные гудки. Ягубов, торопясь собраться с мыслями, сжал ладонями виски. В комнате было полутемно, хотя утро сияло солнцем. Окно кабинета закрывал поднятый вечером на стену здания к майскому празднику портрет Карла Маркса. В окне просвечивали плечо, щека и часть бороды, а весь портрет закрывал четыре окна на двух этажах и, чуть покачиваясь на веревках от ветра, скрипел.

Локоткова внесла чай, папку с бумагами, ждущими подписи, гранки передовой статьи и тихо вышла. Ягубов отпил несколько глотков чаю, и сонливость отступила. Он потянулся, ощутив приятную усталость мышц рук и груди. Вопреки правилу, он с утра не был сегодня в бассейне. Степан Трофимович поморщился, вспомнив прошедшую ночь, и сейчас жалел, что допустил это. Вчера он составил небольшой перечень задач в свете укрепления идеологической дисциплины. Задачи эти требовали неотложного решения: ошибки со страниц «Трудовой правды» не исчезали. По каждому пункту были конкретные предложения и меры наказания. Однако проект этот не хотелось раньше времени доводить до сведения сотрудников редакции, среди которых было много сторонников Макарецва. Ему об этой бумаге немедленно сообщили бы. Поколебавшись, Ягубов попросил Анну Семеновну вызвать к нему машинистку Светлозерскую.

Инна вошла в кабинет и остановилась перед столом Степана Трофимовича не очень близко, чтобы он мог видеть ее всю, но и не настолько далеко, чтобы исчезли детали и запахи.

– Инна Абрамовна, – сказал Ягубов, мельком обратив внимание на все, на что должен был обратить. – Вы не могли бы выполнить одну мою личную просьбу?

– Наконец-то! – восхищенно произнесла она, просясь.

– Что – наконец?

– Наконец-то вы меня заметили, Степан Трофимыч. Если на женщину не обращать внимания, она увядает. Конечно, я все для вас сделаю, что в моих силах!

Он слегка смутился от такого поворота разговора.

– Да дело, собственно, несложное. Мне необходимо напечатать несколько страниц, чтобы никто в редакции не знал.

– Я поняла. Сами будете диктовать? А где печатать? Может, лучше у меня дома?

Диктовать, а тем более у нее дома, – такого у него и в мыслях не было. Он хотел вежливо объяснить это и поручить ей перепечатать и привезти. Но произошло нечто неподконтрольное ему, и он, глядя в ее глаза, смотрящие так преданно, неожиданно для самого себя сказал противоположное тому, что собирался:

– А это удобно?

– Еще как! – радостно воскликнула она. – Вы когда освободитесь?

– Примерно через час...

– Через час я буду ждать в метро, у первого вагона, как ехать к центру.

– А не лучше на такси?

– Тогда у входа в булочную, там легче поймать.

Он прикрыл глаза в знак согласия, и Светлозерская исчезла. У него заколотилось сердце, мозг решал сразу несколько задач. Степан Трофимович еще не позволил себе этого, а все части тела, не спрашивая позволения, вступили в игру. Он еще ничего не решил, но уже все было решено. Он успокоил себя тем, что ничего не будет, потому что не может быть в силу ряда причин. Ну, а если будет, то лишь как исключение, и никому не станет известно. Ведь она, оказывается, меня любит!

Все другие дела отодвинулись на задний план. Он позвонил домой и сказал жене, чтобы не ждала. Его вызвали на правительственную дачу составлять очень важный документ, какой точно, он еще и сам не знает, завтра позвонит, беспокоиться не надо. Он велел поцеловать детей и соединился по селектору с Полищуком, просил взять вожжи себе, поскольку его срочно вызывают.

В такси он сел с шофером, а Инна – на заднее сиденье. Сидя вполоборота, он расспрашивал о делах в машбюро и нуждах машинисток, обещал обратить внимание на улучшение условий труда, обрадовал, что на машбюро к празднику выделено сто рублей премии.

Хозяйка, еще из-за дверей услышав, что Инна не одна, ушла на кухню и не показывалась.



– Вы ведь голодный! – воскликнула Инна. – Мигом что-нибудь придумаем...

Он невольно поморщился, входя в ее закуток, и осторожно присел за стол с пишущей машинкой, привезенной Ивлевым. Инна суетилась. Отодвинув машинку, она накрыла стол чистой газетой, поставила два стакана, хлеб, колбасу, нарезала луковицу.

– У вас недостаточные жилищные условия, Инна, – он не прибавил отчества.

– Уж какие есть...

– Я, пожалуй, смогу помочь...

– У меня же прописки московской нету!

– Сделаем и прописку.

– Ну уж, Степан Трофимыч! – она замерла с начатой бутылкой водки, извлеченной из-под кровати.

– Вы что, Инна, слову коммуниста не верите?!

– Конечно, верю! – она просияла вся, поставила на стол водку. – Давайте выпьем за вас, Степан Трофимыч! За то, что вы такой простой. А я вас боялась...

Она налила ему и себе по три четверти стакана.

– Спасибо, Инна, – он, чокнувшись с ней, выпил, слегка подурманился, не заметил, как перешел на «ты». – А ты – интересный человек. Как-то я раньше...

– Ну, когда же вам? На ваших плечах газета... Хотите, вам погадаю?

– А ну, рискнем! – засмеялся он.

– Так... – она раскинула карты. – Казенный дом... Дорога... Удача... А вот тут, смотрите, червонный король вам мешает, но это будет недолго.

– Чепуха все это, Инночка, – он положил руку на колоду, останавливая ее торопливую болтовню.

Отбросив карты, Светлозерская подошла к зеркалу, дабы убедиться, что она в порядке. Он тоже встал и наблюдал за ее отражением в зеркале.

– Вы так смотрите, я смущаюсь.

– Я тоже, – просто ответил он, не сводя с нее глаз.

Она подошла к нему вплотную, так что он ощутил кончики ее груди через пиджак. Инна была выше его на полголовы, но тут пригнула колени. Они смотрели друг другу в глаза.

- Что сперва? – спросила она. – Машинка или...
- Или?..
- Или – я?
- Как прикажешь. Слово женщины – закон...
- Тогда еще выпьем.

Они выпили еще по полстакана.

– Теперь, поскольку вы мужчина, поцелуйте меня. А то я вас стесняюсь.

Дальнейшее Ягубов восстанавливал в памяти обрывочно. Где-то около двенадцати Инна поднялась с постели, принесла гитару и, сидя у него на животе, пела ему частушки, а он иногда подпевал. Потом они поднялись и допили остатки водки. Он взял у нее из рук гитару, положил на пол, а Инну посадил к себе на колени.

– Ты – удивительная женщина. Я даже не думал, что такие бывают.

Хозяйка разбудила их утром, и только тут Ягубов узнал, что жилищные условия еще хуже, чем он предполагал с вечера. Ванной не оказалось вообще. Старуха выпалась на кухне, сдвинув стулья, и потребовала за такое неудобство двойную цену – шесть рублей.

– Инна Абрамовна, – сказал он перед уходом, – того, что между нами было, не было. Надеюсь, понимаете?

– Я – могила, – просто сказала она.

По дороге он в парикмахерской побрился. Боялся, что Инна вздумает зайти к нему утром, и велел Локотковой никого не пускать. Ягубов вспоминал отдельные подробности ночи. Живет в таких обстоятельствах и – счастлива. Правильно говорят: надо любить счастливых женщин. И, конечно, не болтливых.

Допив чай, Ягубов отставил стакан и открыл папку с бумагами. Вошла Анна Семеновна, и он поморщился.

– Извините. Там Кашин просится. Говорит, разговор неотложный. Пускать?

– Придется пустить, что ж делать...

Посреди прошедшей ночи Светлозерская, целуя Ягубова, вдруг сказала:

– Но не все мужчины в редакции такие. Вот Кашин...

– А что – Кашин?

– Дверь в кабинете запер. Я говорю: «Рыбки смотрят, стыдно!» И сама к двери. А дверь замурована, да так, что замок не отпирается. «Пускай, – говорит, – рыбки смотрят, пускай!» Раздел меня, а ничего не может. Я думала укусить его, чтобы ожил. А он только: «Ой, больно!» И рот себе рукой закрывает, чтобы не кричать. Всего его искусила – и никакого результата.

– Никакого? – захохотал Ягубов. – Это потому, что он при исполнении служебных обязанностей.

– Здравсте! С наступающим вас!

Валентин, перебив воспоминания Ягубова, бодрячком явился в кабинет и сел на стул поближе, готовясь сообщить срочные новости и ожидая увидеть реакцию на них.

– Ну что, Валя? Некогда сейчас...

– Извините, Степан Трофимыч! Я кратко, самое неотложное... Сироткина из отдела писем отравилась.

– Как?!

– А так: приняла большую дозу снотворного. Ночью без сознания доставлена к Склифосовскому. Уж я звонил, выяснял: промывание желудка сделано, переливание крови. Искусственную почку подключили – отец у нее, сами знаете кто, ну, поднял медицину на ноги. Говорят, будет жить.

– В горкомовский список попала?

– И это выяснил. Нет. Ее в больнице записали студенткой. «Трудовая правда» там не фигурирует.

– Ну, а причина? Причину выяснил?

– Не точно, конечно, пока, но в машбюро говорят, она от Ивлева беременна.

– От Ивлева?

– Светлозерская машинисткам сказала. «Дуреха, – говорит. – Угораздило же из-за такой ерунды! Мужики, – говорит, – все без исключения подонки!»

– Без исключения? Так и сказала?

Кашин кивнул, спросил:

– Что делать? Кого другого, конечно бы, уволить. Но тут...

– Не будем обсуждать, Валентин, – нахмурился Ягубов. – У тебя все?

Он подумал о том, что когда после праздников он встретится в бассейне с генералом Сироткиным, надо будет тактич-

но выразить сочувствие. А может, наоборот, сделать вид, что ничего не известно?

– Насчет демонстрации, – продолжил Кашин. – Списки правофланговых и несущих оформление составлены, люди проинструктированы, чтобы шли ровно по восемь в ряд и не оказались лишних. Вот, подпишите, я отвезу на проверку. А второй экземпляр в бухгалтерию, сумма тут указана: по пять рублей за несение портретов и знамен, все сходится.

– Это неправильно, Валентин. Знамя должны нести даром.

– Вообще-то вроде бы... Но за деньги надежнее. Так давно делаем...

Не возражая больше, Ягубов подписал.

– Далее – вопрос о дверях, – заспешил Валентин. – Посетители идут, видят, что дверь выломана. Я уже вызвал слесарей. Сегодня же поставят новый замок. Они у меня сейчас, поскольку Анна Семеновна не пустила их вас тревожить.

Около получаса вчера Степан Трофимович не мог попасть в собственный кабинет, и пришлось взламывать двери. Взбешенный, он велел Кашину вызвать милицию, но тот не исполнил поручения. Только теперь Ягубов понял причину, и злость сменилась иронией.

– Почему же ты не услышал, как заклеивали?

– Занят был, – покраснел Кашин.

– Чем занят?

– Да так...

– Ладно, – великодушно прекратил допрос Ягубов. – Уеду – пусть делают. Проследи! Что еще?

– И последнее: Макарецв заедет в редакцию.

– Что ж сразу не сказал? Не может дома усидеть... Откуда информация?

– Анна Семеновна ему звонила. Я конец разговора слышал. Вроде просил ее в редакции не говорить...

– Экспромтом хочет нагрянуть? Ты вот что, Валентин: экспромт подготовь, как надо... Цветы, что ли... В проходной не забудь предупредить, чтобы пропустили – удостоверение он может дома забыть...

– А цветы из каких средств? По редакторскому фонду провести?

– Ну и бюрократ! – пожурил Ягубов. – На-ка вот... Пошли курьера на Центральный рынок.

Кашин сложил протянутую пятерку пополам и сунул в карман.

– Понял, Степан Трофимыч. Сделаю!

Ягубов встал, показывая, что аудиенция закончена. Он снова набрал номер Шамаева, но того опять не было. В связи с возможным появлением редактора Степан Трофимович решил пройти по отделам, проверить, как идет работа над первомайским номером, чтобы Макарецеву доложить обстоятельно.

Праздничный номер формировался без суеты и спешки, большинство материалов было подготовлено заранее, кое от кого в редакции попахивало, но все шло гладко, и Ягубов вернулся довольным. Он взял в руки гранки передовой «День пролетарского братства», но потом решил: пусть ее прочтет Макарецев, ему будет приятно.

Под гранками лежал большой голубой конверт, толстый, без надписей, незаклеенный. Ягубов взял его, не понимая, как он тут оказался. В конверт была втиснута толстая рукопись на папиросной бумаге. Листки густо, через один интервал и без полей, отпечатаны на машинке. «Импотентократия, – прочел Степан Трофимович на первом листе. – Физиологические причины идеологической дряхлости. Самиздат, 1969». Ягубов помычал, полистал странички, выхватив несколько положений весьма критического порядка.

– Провокация, – тотчас решил он, будто был к ней готов. – Накануне праздника.

Испуга в нем не было. Предстояло лишь оперативно проанализировать ситуацию, найти правильное решение.

– Анна Семенна, – вызвал он Локоткову. – Это вы положили?

– Не входила я, Степан Трофимыч. В глаза не видела.

– Ладно, я сам разберусь... Кстати, а что Игорь Иваныч? Говорят, заглянет...

Анна Семеновна покраснела, но продолжала молчать.

– Ясно! Раз просил не говорить, не сержусь... Принесите мне сигарет из буфета...

Локоткова с облегчением убежала. Он взял со стола гранки передовой и голубой конверт, открыл дверь и, убедившись,

что в приемной пусто, быстро прошел в кабинет редактора. В комнате было полутемно, как и у Ягубова: две трети окна, расположенного симметрично с Ягубовским, занимал портрет Ленина – видно было часть плеча и гигантское ухо. Степан Трофимович положил на стол Макарцеву конверт с рукописью, а сверху гранки. Он подошел к вертушке и набрал номер Шамаева по ВЧ. Случай с конвертом был как нельзя кстати, подтверждая тревогу Ягубова, и товарищи в Центральном аппарате посоветуют, как поступить.

Шамаев оказался на месте, видно, к городскому телефону он не подходил. Он внимательно выслушал и сказал, что доложит.

Прошлое редактора Макарцева не могло заинтересовать Кегельбанова, поскольку все было известно. Идеологическую линию и кадровую политику, которую вел Макарцев, знали в ЦК. Она кого-то устраивала. Оставалась история с его сыном. Об этом Шамаев среди других вопросов кратко доложил Егору Андроновичу, сославшись на источник информации – Ягубова.

Кегельбанов неожиданно отставил в сторону стакан чаю с лимоном, отложил бумаги и, к удивлению Шамаева, встревожился. Он вообще не любил, когда его люди напоминали о себе без вызова. Но тут дело было в другом. Только недавно товарищ с густыми бровями сказал ему про Макарцева, что это наш человек. И вдруг один из людей самого Кегельбанова намекает, что Макарцев – не наш человек! Похоже, что Ягубов чересчур торопится жить, раз хочет подсказывать, как поступать. А может быть, у него есть для этого возможности, и с Макарцевым уже передумано? Если так, то кем?

– На этот сигнал, – Егор Андронович снова придвинул стакан и отхлебнул остывшего чаю, – пока не будем реагировать. И, между прочим, ты, Шамаев, выясни, чей еще человек Ягубов...

– Да вроде...

– Не вроде, а выясни!

Телефоны Ягубова поставили на контроль. Выйдя в приемную, Ягубов услышал, что у него в кабинете гудит селектор.

– Степан Трофимыч, – говорил Полищук, – вы, конечно, уже знаете: во всех тасовках Генерального секретаря вместо «тов.» начали называть «товарищ».

– Давно пора, – сказал Ягубов. – Предупреди, Лев Викторыч, секретариат, отделы, машбюро, корректорскую, дежурных по номеру, чтобы не вышло оплошки. Перепроверьте все материалы в полосах и цитаты, а также подписи под снимками. Это – важнейшее указание!

– Я так и понял, – ответил Полищук.

## 74. ЗАВТРА ПРАЗДНИК

С утра 30 апреля Макарцев стал маяться, слоняясь по квартире. Врачи – перестраховщики, это известно. А редакция в такой день без него не обойдется. Важно напомнить, чтобы номер не засушили: все-таки праздник, читатель и посмеяться должен, и отдохнуть. Ягубов значения юмора не понимает. Главное же – поздравить коллектив самому. Меня ведь уважают и, думаю, любят. Стало быть, ждут, когда смогу взять вожжи. Заеду на час. В конце концов, мне прописаны положительные эмоции! Зине объясню, что срочно вызвали, а потом вернусь и все праздники буду отдыхать.

Из дальнего конца квартиры, когда Зинаида Андреевна была на кухне, он позвонил Анне Семеновне и просил прислать машину, предупредив, чтобы никому не говорила. Анечка искренне обрадовалась, он понял. Он приедет сюрпризом, и сразу увидит по мельчайшим деталям, как дела в редакции.

Макарцев накапал лекарства из трех бутылочек, расставленных на тумбочке, положил в карман нитроглицерин и что-то еще, импортное, оделся и, пообещав жене, что будет медленно гулять вдоль ограды стадиона «Динамо», вышел за ворота, дабы лифтерша не заметила, как он садится в машину.

Леша мчался за Макарцевым растерянный. Утром он успел сгонять в свое Аносино и выяснил, что родителей развели без всякой волокиты, едва Клавдия сказала, что муж ее пьет беспробудно и бьет ее смертным боем. Никанор поморщился, покряхтел, но признался, и пришлось ему заплатить 35 рублей за развод. Это, конечно, тоже обидно с его пенсией 12 рублей в месяц. С оформлением дома, однако, дело осложнилось. Клавдия еще накануне развода пошла в правление колхоза. Там бухгалтер объяснил, что она теперь чужая. С полгода уже, как

она устроилась работать в цех, где склеивали картонные коробки для часов. Платили там до ста тридцати в месяц – вдвое больше, чем в колхозе. А теперь цех перевели на баланс часового завода, и из членов сельхозартели Клавдию вычеркнули. Стало быть, бабкиного дома не видать, как своих ушей. Разводиться, конечно, не следовало, но старики боялись нарушить указание сына и довели дело до конца.

Сегодня отец распустил нюни, все канючил: «Ты мне скажи, Леха, когда нам сойтись опять можно? А разрешат?» Ну, Леша поорал на него, хотя что предпринять, не знал. «Да регистрируйтесь опять, сколько хотите, – отмахнулся он. – А может, гульнешь, батя? Чего бы тебе не гульнуть?» Это отца развеселило. Он стал на эту тему размышлять вслух, и Алексей уехал. Леша удивился, увидев хозяина, ожидающего на улице. Макарцев улыбался, медленно усаживаясь в машину, боясь сделать резкое движение.

– Сигарета для меня есть? – Игорь Иванович пытливо посмотрел на Лешу и открыл бардачок.

– Вам же нельзя теперь...

– Сам знаю, что нельзя! – Макарцев захлопнул ящик. – А поговорить-то о куреве можно?

– Отчего не поговорить? – рассмеялся Двоенинов. – Куда вас?

– В редакцию, да быстрее.

– Само собой! – Леша уже вырулил на дорогу, огибающую стадион «Динамо», и в левом пустом ряду помчался к Ленинградскому проспекту. – Вроде не собирались до праздников... Как сердце-то?

– Да ну его в пи..! – Макарцев неожиданно для самого себя демократично выругался, чего вообще не позволял. – Лучше о своих делах, Леша, скажи...

– У меня что? Вот, Игорь Иваныч, разве это правильно? Я с боевого самолета прыгал, в гараже на доске почета вишу. А когда нужно бумажку, мне говорят: герой ты или не герой – это в точности неизвестно.

– Ты о чем?

– Все о том же, о «Совтрансавто». Ходил я туда, рассказал биографию. Говорят, хорошо бы из Министерства обороны документ, удостоверяющий героический поступок. Ну, я в Минис-



терство на прием. А там мне полковник прямо сказал: «Героизма не вижу. Если бы ты вместе с самолетом сгорел – тут уж сомнения никакого. За это орден Красного Знамени посмертно, и лучше всяких подтверждающих бумаг. В твоём же случае военная техника погублена, а сам живой. Хорошо, что жив остался, но как так получилось? Кто виноват? А что, если сам, тебя судить надо военным трибуналом». Я ему: «Проверьте, я виноват или не я. Я ведь жизнь для родины сохранил, не для себя». А он мне: «Если все из самолетов будут выбрасываться, мы никакую войну не выиграем. Так что иди себе работай на гражданке, а по линии Министерства обороны на справки не претендуй!»

– Ладно, Алексей. Попался дурак-полковник. Нетипичный случай! Я обещал – позвоню.

– Спасибо, Игорь Иванович. Вы себя теперь берегите. Зинаида Андревна без вас с ног сбилась. А уж в редакции не дождутся.

– Мне, Леша, теперь надо учиться пешком ходить.

– Это как?

– Да так... Решил в ЦК ходить пешком. Не сразу, конечно. Сперва квартала два, потом полдороги...

– Я могу рядом ехать, на первой скорости.

– Прохожие могут неправильно понять. Будешь ждать в условленном месте. После майских начнем.

– А может, вы в бассейн ЦСКА утром, с генералитетом, как Ягубов?

– Ягубов – молодой, пусть плавает. А я пешком, Лешенька, пешком...

Флаги и полотнища с призывами по обеим сторонам улиц сливались в красные полосы. «Вкуса недостаточно, не знают чувства меры, – подумал Макарецев. – А ведь средства вкладываются огромные. Надо воспитывать вкус...» Там и сям мелькали портреты первого и нынешнего вождей, реже – полного состава Политбюро. Макарецев представил себя висящим с краешка, как вновь принятый в Политбюро, и поморщился. Нет, ему это не только не грозит, но и не хочется. Он труженик партии, вол, тянущий воз. А сливки славы пускай снимают те, кто без этого не может обойтись.

– Что-то они молодые больно, – Леша скосил глаза на портреты.

– Ладно! Ты скажи лучше: ты своей бабе изменял?

– А вы? – мгновенно отреагировал Двоенинов.

Макарцев вопроса не ожидал.

– Ну, я... другое дело. У меня времени, сам знаешь, в обрез...

– Ясно... «Партия – наш рулевой!» – прочитал Леша, когда они остановились у светофора, вплотную за мусороуборочной машиной.

– А ты что, сомневаешься?

– Я-то? Не-а! Партия, так партия... Наше дело – баранка, Игорь Иванович.

Мусоровоз резко тронулся с места, и несколько мятых газет вылетело из бункера. Одна шлепнулась на стекло макарцевской «Волги», перевернулась, распласталась и в потоке воздуха улетела вбок. «Известия» – успел прочитать Макарцев.

– Раззява! Да ведь он всю улицу оставит грязной! Обгоника его, Алексей, да скажи: пускай задержат.

Чувство пролетарской солидарности забрезжило на дне сознания Двоенинова, но не сформировалось. Он притормозил возле инспектора, приоткрыв дверцу, показал большим пальцем назад и покатил дальше. В зеркало он увидел, как инспектор, выставив палку, приказал мусоровозу остановиться.

Подъезжая к редакции, Макарцев помолодел. У него ничего не болело. Он был здоров и вернулся в строй. Двоенинов побежал впереди к лифту, раскручивая пропеллер с ключами. Он шепнул вахтеру, что за ним идет сам главный, чтобы не возникло недоразумения. Новый вахтер еще не видел редактора и вытянулся перед ним. С Макарецевым радостно здоровались, поздравляли с наступающим праздником. У лифта молоденькая прыщавая корректорша посторонилась было пустить вперед редактора, но он галантно предложил ей войти первой, в лифте пожал руку, и она вовсе покраснела. На своем этаже он уже двигался в свете. Редакторы отделов подбегали, спрашивали о самочувствии, трясли руки. Значит, меня действительно любят, я не ошибся. И мне тоже дороги все они, мои товарищи по работе. Что я без них? Раппопорта, тоже оказавшегося тут, в коридоре, Игорь Иванович взял за рукав, отвел в сторону.

– Ну, как то дело, Тавров? Замялось?

Ощущение опасности улетучилось за давностью времени, и он спросил это так, больше для порядка.

– А как же иначе? – прохрипел Яков Маркович. – Не волнуйся. Я все сжег, на всякий случай. На нет и статьи нет...

– Спасибо! – Игорь Иванович пожал ему руку. – С наступающим тебя!

– Ладно! – Раппопорт прищурился. – Вообще-то, ради детей, надо было наоборот.

– Каких детей? Как – наоборот?

– Сжечь газету и оставить серую папку.

– Нехорошо шутишь! – Макарцев пошел к приемной, на ходу снимая плащ.

Едва в дверях возник Леша, Локоткова вскочила и, повернув на место юбку, побежала к двери редакторского кабинета – открыть его нараспашку, чистый, проветренный, со стаканом чаю, совсем некрепкого и негорячего, на столе.

– Привет начальству! – Макарцев, войдя в приемную, поклонился ей, тряхнув седыми волосами.

– Ну, как вы? – с тревогой и радостью спросила она.

– Здоров как бык! Мы, большевики, народ крепкий...

Взяв Анечку за локти, Макарцев поцеловал ее в губы. Она прижалась к нему на мгновение, но ничего не ощутила. Может, оттого, что это было у всех на виду. Абсолютно ничего, хотя ждала этого мгновения без малого девять лет. И губы у него были холодные и безвкусные, а ей всегда казалось, они горячие и с привкусом американских сигарет, запах которых Анечке очень нравился. Локоткова вошла следом в кабинет, плотно закрыв обе двери от всех любопытных.

– У вас печальный вид, Анна Семенова. Праздник ведь...

Слезы у нее появились мгновенно, но не потекли, а повисли.

– У меня муж ушел, Игорь Иваныч... Не обращайтесь внимания.

Она не хотела ему говорить, само вырвалось.

– Как ушел? Почему?

– Собаку у нас сбила машина, и ушел...

– А собака при чем?

– Сказал, собака нас связывала... Ну, что непонятного? Ушел к молодой, а собака – повод...

– Ох, Анечка! – он погладил ее по голове, как маленькую.  
– Я всегда говорил – надо любить пожилых положительных мужчин. Как я, например!

– Как вы? – Анечка от удивления перестала плакать и уставилась на него. – Что-то я не помню, чтобы вы мне такое говорили...

– Значит, думал.

– Шутите, Игорь Иванович...

– Ну, ладно, еще поговорим... Сколько до планерки?

Локоткова взглянула на крохотные потертые часики на руке, по которым девять лет жила редакция «Трудовой правды».

– Тридцать пять минут.

– Вот и хорошо. Пусть пока не входят, сделаю несколько звонков.

– Я вам валидола купила, на всякий случай. В правом ящике стола, с краешка... – она уже выходила в тамбур.

– Спасибо, незаменимая моя!

Надев очки, он потер руки, сел в кресло, в котором не сидел (он сосчитал) шестьдесят два дня. Настала минута взять газету в свои руки. Но он еще существовал отдельно от нее, а газета продолжала существовать без него. Пока не забыл, он решил выяснить насчет Двоенинова. Игорь Иванович понимал, что шоферов за границу отбирают по совсем другому ведомству, но раз пообещал Леше, решил попробовать. По ВЧ он позвонил Стратьеву, замминистра внешней торговли, с которым вместе работал еще по заданиям Хрущева. После двух-трех общих фраз о здоровье (не знает, что у меня инфаркт был – это хорошо!) Макарецев сказал:

– Кстати, у тебя там есть «Совтрансавто». Международный авторитет его, говорят, пока невысок. Может, поднимем его в печати?

– Поднять никогда не мешает, – сказал, подумав, Стратьев. – А чье указание? Может, нам сперва закончить реорганизацию?

– Это какую?

– Да вот, вводим более прогрессивную систему – плечевую, чтобы шоферов за границу не гонять. На погранпунктах будем переставлять прицепы, а шоферов возвращать обратно со встречным грузом. Удобно и, главное, значительно дешевле.

– Когда же вы это осуществите? – Макарцев понял, что просьба отпадает, но продолжал говорить.

– Думаю, месяца два, от силы три.

– Договорились, – согласился Макарцев, чтобы забыть о «Совтрансавто». – Никуда не собираешься?

– Да я только вчера из Финляндии, соглашение подписал. Дай передохнуть...

– Ну, передохни. С праздником!

Игорь Иванович с грустью подумал о том, что сам он давно нигде не был. И сейчас не до этого. Газету поднимет, поставит на место Ягубова, мобилизует людей. А затем можно будет и в загранку. Давно уже не бегало в руке перо, пора показать молодежи, как брать быка за рога! Макарцев почувствовал, что за время болезни мозг его расслабился и уваливает, не хочет действовать. Надо себя дисциплинировать. Он выдвинул ящики стола, проверил, все ли там на месте. Придвинул гранки передовой статьи, проглядел с усмешкой. Сухо написано. Хоть бы стихотворение процитировали что ли! Он выпил остывший чай и отбросил гранки.

Под гранками лежал голубой конверт, редактор открыл его, прочитал название и поморщился, как от зубной боли. Сердце еще не среагировало, а ему мгновенно показалось (от страха что ли?), что оно уже бьется, и бьется аритмично, умолкая, как тогда, возле ЦК. Забыв о стихах, необходимых в передовой, он стал с внезапно возникшей ненавистью читать рукопись под названием «Импотентократия». Поняв, о чем рукопись, он отшвырнул ее с гневом. Пальцы у него дрожали то ли от слабости, то ли от возмущения. Опять?.. Да что же это творится? Ему захотелось встать тихо из-за стола, выскользнуть из кабинета, прошмыгнуть мимо секретарши, вахтера и добраться до дому без машины. Зарыться с головой под одеяло и лежать, будто он и не вставал вовсе. Глупость какая! Он придвинул пачку листов, сгреб их остервенело неслушающимися дрожащими пальцами и сунул в конверт. На этот раз терпение исчерпалось.

Дверь отворилась, и вошел лейтенант госбезопасности с портфелем. Игорь Иванович плотно сжал губы.

– Здравствуйте. Фельдьегерская почта...

Лейтенант открыл портфель, вынул книгу, прошитую веревкой с висящей сургучовой печатью, и пальцем указал гра-

фу. Не разжимая губ и чувствуя, как гулко подкатывает под самую глотку и хлопает сердце, редактор расписался. Спрятав книгу в портфель, курьер оставил на столе небольшой белый конверт и вышел. Там оказалась секретная инструкция о том, что употребление наркотиков, особенно среди молодежи, расширилось, и в связи с этим, в частности, запрещается публикация каких бы то ни было материалов на эту тему.

Надув губы, Макарецв сунул постановление в сейф. Взял конверт с самиздатом и швырнул туда же. От резкого движения под левой лопаткой появилась боль, которой он боялся. Он поспешно вытащил таблетку и стал сосать нитроглицерин. Анечка отворила дверь, улыбаясь, произнесла:

– Игорь Иванович, вся редакция узнала, что вы появились. У всех к вам дела, и все клянутся, что неотложные. Я никого не пускаю.

Голос Локотковой был далеко, эхом, и достигал не сразу.

– Скажите всем, после планерки соберемся в зале минут на десять. Я поздравлю коллектив. Приказ о премиях готов?

– Кажется, готов. Спрошу у Кашина. И еще... – Анечка помялась. – Ягубов просится войти...

– Почему так официально? Ягубов может без разрешения.

Степан Трофимович появился сразу, как только она вышла. Макарецв тем временем положил в рот еще таблетку. От нитроглицерина ему стало легче дышать, хотя боль еще не прошла. Но он лучше понимал, что говорил Ягубов.

– Очень рад, что вы поправились, Игорь Иванович. Без вас, честно скажу, приходилось туговато. Рад также, что с сыном у вас обошлось. В редакции были разговоры, но я их пресек!.. Обязан доложить, чтобы вы были в курсе: у нас имелась неприятность кадрового порядка. Хотя ваше указание, чтобы кадровые вопросы без вас не решать, неукоснительно выполнялось, один раз я его нарушил не по своей воле. Спецкор Ивлев арестован органами. Уволили мы его приказом, хотя приказ не подписан...

Макарецв вдруг отчетливо понял, что ненавидит своего заместителя и должен поставить его на место. Он набрал в легкие воздуха и, забыв про боль под лопаткой, чеканя слова, произнес:

– Сразу уволили? Вместо того чтобы попытаться защитить человека. Или вы, Степан Трофимыч, не вхожи туда, не знае-

те, к кому обратиться? К временам, когда арестовывали среди бела дня, возврата быть не может. Говорю вам со всей ответственностью я, кандидат в члены ЦК!

Чеканя слова, он произнес все это, но – про себя. В действительности, он только набрал воздуха и молча, подавляя ненависть, смотрел на Ягубова. Макарец вдруг ощутил, что оторвался от земли, парит у потолка, и пространство вокруг заполнялось клоками чего-то белого: то ли тумана, то ли ваты. Там, в этом пространстве, рядом с Макарецовым парил еще один человек, во фраке и панталонах. Игорь Иванович сразу его узнал, и маркиз де Кюстин подмигнул ему и руками стал манить за собой.

– Вы куда собираетесь, в рай или в ад? – спросил Кюстин, и глаза его сверкнули неземным блеском.

– Я... я... – замешкался Макарец, растерявшись, и глянул вниз, на Ягубова.

Но того сквозь туман не было видно.

– Ах, простите великодушно, – поспешил исправиться маркиз. – Я ведь забыл, что вы в Бога не веруете. Ваш рай и ад на земле, не так ли?

Они плыли рядом, и куски ваты касались лица Макареца, залепляли глаза, цеплялись губ. Маркиз, казалось, всего этого не замечал, и плыть ему было легко и удобно.

– Мне плохо, – прохрипел Макарец, не обидевшись на иронию. – Так плохо, что только Бог может помочь. А мне... мне можно в рай?

– Это уж, месье, как решат там, – Кюстин неопределенно повел рукой вверх.

– Как!? – возмутился было Игорь Иванович и даже перестал на время шепелявить. – Вы хотите сказать, что и там мою судьбу решают наверху, а я не могу защититься? Не могу постоять за себя... посто...

Макарец ощутил несусветную боль под лопаткой; боль пошла в шею, заняла рука, и тело его вдруг стало тяжелым и начало падать. Кюстин подхватил его за локоть, чтобы поддержать.

– Сие правда, есть вещи, которые сильнее нас, – сказал он. – Но когда чувствуешь человеческую симпатию, становится легче. Одиночество в вечности сильнее беспокоит, чем в земной жизни, поверьте. Смею надеяться, мы с вами встретимся...

Кюстин скрылся в тумане, а Макарцев опустился в свое кресло. Ягубов обозначился сквозь туман и стоял перед ним, маленький и тусклый.

– У вас нет возражения? – спросил Ягубов.

– О чем вы? – прошепелявил Игорь Иванович.

Вата, забившаяся в уши и рот, мешала разобрать слова.

– Да насчет увольнения Ивлева...

– Нет, – Макарцев сплевывал вату, мешающую ворочать языком. – Вы правильно поступили... Приказ я подпишу.

Вот и легче стало, потому что не надо действовать, брать на себя ответственность. Он, Макарцев, был слишком честным и расплачивается теперь этой болью, будь она проклята!

– Руководство в сборе? – в дверь заглянул Полищук. – С праздником, товарищи! Есть вопросы, требующие вашего решения, Игорь Иванович!

Опять вопросы. Опять они требуют решения. Еще больше ваты вокруг. Может, сказать, что мне плохо? Но нет, подчиненные этого знать не должны. Для них я здоров.

– Будем решать, – пробормотал он, поглядев на пустой стакан, и облизал опухшие сухие губы.

Полищук стоял рядом с Ягубовым. После исчезновения Ивлева дня два он ходил прибитый, забыв, что над ним самим висит грозовая туча. Из головы не выходила статистика, свидетельствующая, что смертность среди журналистов выше, чем среди других категорий служащих. Переход его в газету был ошибкой, глупо это отрицать. Лучше вернуться в институт, сделать какую-никакую диссертацию и тихо читать лекции по какому-либо неосновному предмету. Надумав это, Лев приободрился. С Макарцевым один на один он мог поговорить откровенно. Тот помог бы получить в ЦК разрешение на переход. Но Ягубов торчал в кабинете, словно назло. В дверь прорвался Кашин, брякнув связкой ключей.

– С праздником, Игорь Иванович, – заулыбался он. – Для вас с двойным. Бюллетенчик ваш последний уже в бухгалтерии, деньги Анна Семенна позже принесет. Поздравляю с приступлением к исполнению.

Про какое он преступление – не расслышал Макарцев. Может, переспросить? Но трудно ворочать языком. Опух он, тесно стало во рту. Долго боль не отпускает, пора бы ей пройти...



– Я спросить хотел, Игорь Иванович, когда машбюро печатывать на праздники? – Валентин потряс медной печатью на веревочке. – В этом году дополнительное указание: каждую машинку печатывать в отдельности и веревку продевать, чтобы футляр нельзя было вскрыть с обратной стороны. Я уже все машинки опечатал, одну оставил, так к ней скопилась очередь, и у всех срочное. А указание к шестнадцати ноль-ноль машбюро опечатать.

– Вопрос технический, Валентин, – сказал Ягубов. – Мы его с тобой без редактора решим. Видишь, запарка?

Значит, Ягубов заметил, что мне нездоровится, поморщился Макарец. В голове гудит, слова плохо слышу. Это из-за ваты в ушах.

– По ВЧ звонят, – вежливо подсказал Ягубов. – Потише, товарищи!

Телефон ВЧ, как скипетр у царя, служил реальным и торжественным атрибутом власти, которого Ягубов удостоен не был. Редактор и сам услышал теперь гудок. Как неудобно, что телефоны стоят слева, ведь так тяжело тянуть левую руку. После праздников надо будет попросить переставить.

– Макарец, – доложил он в трубку, стараясь не тянуть буквы и не шепелявить из-за непослушности языка.

В трубке послышался голос Хомутилова, помощника человека, предпочитающего быть в тени.

– Заранее звоню, товарищ Макарец, поскольку праздники... Запиши: пятого мая в одиннадцать тридцать.

– К самому? – спросил Макарец. – На пятое?.. День печати.

– Выходит, так.

– А по какому вопросу? – он мгновенно угадал тревожность интонации.

Ответа не последовало, и Макарец понял, что дело хуже, чем ему показалось.

– Что-нибудь случилось? – повторил он, хотя отлично знал, что спрашивать, а тем более вторично, нельзя. – Чтобы мне подготовиться...

– Не знаю, – вздохнул Хомутилов. – Я ведь, сам знаешь, исполнитель...

В трубке загудели низкие короткие гудки.

– Пора начинать планерку, Игорь Иванович, – донесся до него голос Ягубова. – Вы проведете или мне прикажете?

– Я, – резко прошептал Макарецев. – Поведу я сам...

Но слова его утонули в облаке ваты, и неизвестно, произнес он их или только хочет произнести. Хочет провести планерку или уже провел. Хочет поздравить коллектив с Первым мая или уже поздравил. Один он в кабинете или вокруг него стоят и смотрят на него, не понимая, что с ним происходит... Он вдруг уменьшился в размерах, стал лилипутом, а они все вокруг огромные. От страха, что его сейчас затопчут, он покрылся испариной, стал открывать рот, пытаясь вдохнуть побольше, запастись, чтобы хватило на следующий вздох, но они вдохнули в себя весь воздух в кабинете, ему ничего не осталось, кроме ваты.

Он пытался подняться, чтобы распахнуть форточку, уперся руками в подлокотники, но забыл, что еще держит в руках трубку вертушки. Она упала, повисла на проводе, продолжая издавать тревожные гудки. Потом гудки прекратились, голос спросил: «В чем дело? Почему не положена трубка?» Ягубов бросился к трубке, перегнулся через стол, положил ее на рычаг. Не сумев встать, Игорь Иванович пошарил на маленьком столике рукой, нащупал кнопку звонка.

Вбежала Анна Семеновна, увидела, что Макарецев оседает на стуле и лицо у него серое.

– Сидеть неудобно! – сказал он ей. – Вата лезет в рот... Духота!

– Господи! – воскликнула Локоткова. – Да что же вы стоите? Валентин, «скорую»!

Она бросилась к окну, но распахнуть не смогла: мешала рама висящего снаружи портрета. Кашин вышел в приемную и стал набирать Кремлевку и 03, прикрывая ладонью трубку, чтобы никто не услышал. Макарецев между тем следил глазами за безуспешными попытками Анны Семеновны открыть окно.

– Когда есть воздух, дышать легче, – четко сказал он.

А может, не сказал, а опять только подумал. Он вдруг догадался, что умирает. Он не знал, как это бывает, до этого умирать ему не приходилось. Затылком он ощутил спинку кресла, и сознание внезапно стало ясным, как никогда. Затылок от

неудобной позы начал неметь. Немота поползла в стороны, вверх, вниз, в глазах зарябило от солнечных зайчиков, и наступила темнота. Макарецев сделал свое последнее умозаключение: умирать начинают с затылка.

– Ну, вот мы и вместе, – проговорил над самым ухом Игоря Ивановича приятный голос, непохожий на редакционные.

Маркиз де Кюстин опять появился из тумана, звякнул шпагой и сделал приглашающий жест то ли к потолку, то ли в сторону окна.

– Сожалею, но ваша брэнная суэта кончилась, – успокоил он Макарецева. – Пора сматывать удочки, так, кажется, тут у вас говорят. Ничего страшного, поверьте тому, кто через это давно прошел и чувствует к вам неизъяснимую симпатию. Даже, может, любовь... Еще мгновение, и станет легко, а, самое главное, наконец–то свободно. Скоро у нас будет предостаточно времени, чтобы близко общаться и все обсудить... ить... ить...

Кюстин растворился в белом тумане, а сам туман вокруг Игоря Ивановича стал серым, фиолетовым, красным и вдруг почернел. Макарецев вдруг стал пускать пузыри, как маленький. Большой пузырь, переливающийся фиолетовым бликом, повис у него на нижней губе, скатился по подбородку и лопнул. Последнее, что увидел редактор Макарецев на этом свете, было огромное ухо Владимира Ильича.

Кабинет набился до отказа людьми, пришедшими на планерку и в растерянности стоящими по стенам. Макарецев сидел в кресле, опершись руками о подлокотники, и глядел вдаль прямо перед собой. Он еще оставался главным редактором «Трудовой правды», руководил, являл собой звено цепи между газетой и ЦК. Но он уже не был главным редактором: хотя остальное тело еще функционировало, глаза его застыли, и мозг потух.

– Куда? – спросил рослый деревенского склада фельдшер в нечистом белом халате.

Неся впереди себя чемоданчик, он бесцеремонно раздвигал им людей.

– Быстро приехали, молодцы! – похвалил Ягубов, указав рукой направление.

Фельдшер неторопливо поставил на редакторский стол чемоданчик, открыл его, потом взял Макарцева за руку. Рука от подлокотника не отделялась, и парень рванул ее с усилием. Несколько секунд он слушал пульс, потом взял редактора с обеих сторон за голову и потряс.

– Никакой реакции, видите? – обратился фельдшер к Анне Семеновне.

Та, приложив ладони к горлу, стояла рядом.

– Укол сделайте! – приказала она. – Чтобы продержаться до Кремлевки.

– А кто это?

– Кандидат в члены ЦК!

Парень оттянул у Макарцева нижнее веко.

– Что вы делаете? Ему же больно!

– Не больно, – по-деловому сказал фельдшер. – Ему уже не больно. Инфаркты были?

– Был, – сказала Анечка, – двадцать шестого февраля.

– Увезем в морг. На праздники хоронить запрещают. Будет в морге лежать до конца демонстрации. Помогите положить тело.

Ягубов приказал Кашину помочь. Фельдшер намочил кусок ваты спиртом и вытер руки, а затем край стола, где стоял чемоданчик. На вате оказалось немного запекшейся крови, прихваченной спиртом со стола. Это была кровь Нади, оставшаяся от давнишней встречи с Ивлевым. Фельдшер швырнул вату в мусорницу.

Зазвонил внутренний телефон, и Ягубов тихонько снял трубку.

– Волобуев беспокоит, Игорь Иванович. С праздником вас! Ну, и с выздоровле...

– Волобуев, – перебил Степан Трофимович. – Игоря Ивановича больше нет.

– Нет? А я слышал – появился... Это вы, Степан Трофимович? Понимаете, надо снять в материале слова, что демонстранты пойдут по восемь человек в ряд. На Западе пишут, якобы мы заранее организуем всенародное ликование. Колоннами, и все!

– Не суетись, Волобуев. Снимем. Сейчас Игорь Иваныч умер.

– Умер? А газета?

– Газета? «Трудовая правда» будет выходить, даже если мы все умрем!

Весть о смерти главного редактора облетела отделы и типографию. Рабочие, увидев, что начальники цехов убежали наверх, вытащили припасенные к концу дня бутылки и стали пить за упокой макарцевской души, опуская в стаканы свежие оттиски гранок. Свинцовая краска сокращала жизнь, но убивала запах водки.

Тело Макарцева медленно выносили из коридора на лестницу. За носилками двигался косяк людей. Вахтер, навалившись плечом, отворил обе створки парадной двери. Навстречу спешили двое в белых халатах.

– Остановитесь!

– Поздно, – сказал фельдшер, – реанимировать поздно...

Следом за носилками, на которых покачивалось покрытое простыней тело Макарцева, процессия из вестибюля вытекла наружу. Накрапывал мелкий дождь. Врачи из Кремлевки и городская «скорая» заспорили, кто повезет труп, и никак не могли договориться. Вдруг откуда-то сверху оглушительно завывала песня:

*Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,  
Преодолеть пространство и простор.  
Нам разум дал стальные руки-крылья,  
А вместо сердца – пламенный мотор.*

Это вдоль улицы на крышах проверяли репродукторы для завтрашней демонстрации.

*1969–79, Москва.*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ

В колонке юмора советской газеты «Труд» 18 мая 1975 года проскочила фраза, которую читатели, может, и не заметили. Зато шутку обнаружили наверху, и началось расследование. Пострадал автор, наказали заведующего отделом фельетонов. Позже он умер. Вот эта строка: «Товарищи! Наше общество слепых засорено зрячими!» В то время моя работа над романом «Ангелы на кончике иглы» была в разгаре, и, если бы эпитафии оставались в моде, фразу стоило б предпослать роману. Судьба рукописи (да и автора) оказалась непростой.

В августе 1968 года я, тогда редактор отдела в московской газете, оказался выпущенным за границу с группой журналистов. В Варшаве, ничего не ведая, мы вылезли из вагона в день, когда в Прагу ввели советские танки. Из ЦК поступил приказ вернуть нас в Брест. А в Брест поступил приказ отправить нас обратно, чтобы подчеркнуть, что ничего не произошло. Нас повезли в Венгрию, Австрию и Чехословакию. В Вене толпа беженцев из Чехословакии, услышав русскую речь, хотела меня избить. Едва удалось убедить их на смеси славянских языков, что это не я ввел войска и виноват лишь постольку, поскольку родился в Москве.

В группе журналистов были разные люди, в том числе партийные ответработники и явные гебисты, либералы и почти явный фашист. Последний предлагал перестрелять половину чехов, чтобы другая половина стала послушной. Я оказался в

пекле страстей участником, а затем и жертвой окончания предыдущей гласности и, вернувшись, жалел, что не попросил политического убежища в Вене, – не был к этому готов.

Страх «инфекции» Пражской весны проник на Лубянку и в Кремль. Печать, «самое острое и самое сильное оружие нашей партии», первой подверглась чистке. Оружие это было повернуто против интеллигенции. Стало трудно дышать. Историка, если он решился записывать правду, как он ее понимал, приходилось осторожно озираться, пытаясь сохранить чувство юмора, если таковое было уместно. Из газеты мне пришлось уйти. Начались процессы исключения из Союза писателей.

В романе застенографированы 78 дней московской жизни – с 23 февраля по 30 апреля 1969 года, самые показательные в той цепи событий. Рукопись создавалась в Москве, но сама мысль предложить ее толстому журналу была абсурдной. Ситуация еще осложнилась, когда в 1976 году часть романа изъяли на обыске у коллеги-писателя. К счастью, первой страницы с названием и именем там не было. Началась охота за автором, как мне после рассказали, по личному приказу Андропова, который в одном из героев не без оснований узнал себя. Потекла вереница стандартных неприятностей: запрет печататься, снятие со сцен пьесы, исключение из Союза писателей, изъятие из библиотек книг, отказ. В 1979 году, едва роман был закончен, три копии разными путями отправились на Запад. Дошли две.

Роман читали в Самиздате коллеги и их знакомые по обе стороны границы. Появились даже подражания, чем можно гордиться. Автор же оказался заложником собственного детища. Во время допроса на Лубянке проблема была сформулирована так: «Публикация – лагерь или психушка». Учреждение на площади Дзержинского словно разыгрывало со мной сцены, описанные в моей же хронике за несколько лет до этого. В 1984 году в Москве осудили человека за то, что у него нашли из романа цитаты. На суде прокурор их зачитывал, обвиняя подсудимого в антисоветских высказываниях.

С 1988 года, после десяти лет ирреального существования, автор поселился в Америке. «Ангелы на кончике иглы» из хроники современной жизни превращаются в роман исторический. Сейчас некоторые события видятся по-другому. Что

ж, есть возможность сравнить ту жизнь с последующей и погрозить автору пальцем: дескать, он не к месту шутил и не вовремя звонил в колокол. Но, думается, я не имею права ничего в романе менять. Прогнозы не входили в задачу летописца. Так это казалось, так понималось тогда, и переписывать, значило бы то же, что исправлять историю. Жизнь по-своему распорядилась с действующими лицами романа: иных уж нет, а те далече. Имена некоторых мелькают в сегодняшних газетах. Будто не было прошлого. А от него никуда не деться, оно сильнее людей, оно – в нас самих.



## ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Ангелы на кончике иглы» написан в 1969-76 гг. и попал в Самиздат. В 1979 году автор вернулся к рукописи, и роман был окончательно отредактирован. В 1989 состоялась его первая публикация в газете «Новое русское слово» (избранные главы) и других эмигрантских изданиях. В том же году нью-йоркское издательство «Либерти», используя набор «Нового русского слова», выпустило роман в свет отдельной книгой с небольшими сокращениями.

В годы гласности разными издательствами в Советском Союзе предпринимались попытки выпустить книгу, но они не увенчались успехом, хотя отдельные главы печатались в периодике. В Москве роман издан массовым тиражом (издательство «Культура») после известных событий августа 1991 года, причем издание повторяло нью-йоркское 1989 года.

Полный вариант авторского текста 1979 года публикуется в этом собрании сочинений впервые.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. У главного подъезда . . . . .	9
2. Двоенинов Алексей Никанорович . . . . .	15
3. Классический инфаркт . . . . .	24
4. Макарецв Игорь Иванович . . . . .	28
5. Айсберги . . . . .	47
6. Серая папка . . . . .	54
7. Локоткова Анна Семеновна . . . . .	65
8. Ночное чтение . . . . .	73
9. Маркиз Астольф де Кюстин . . . . .	76
10. Ближе к утру . . . . .	95
11. С кем посоветоваться? . . . . .	98
12. Кашин Валентин Афанасьевич . . . . .	103
13. У каждого свои функции . . . . .	109
14. Раппопорт Яков Маркович . . . . .	113
15. Игра по правилам . . . . .	137
16. Планерка . . . . .	149
17. Страсти по-Раппопорту . . . . .	157
18. Ягубов Степан Трофимович . . . . .	164
19. Вышли мы на дело . . . . .	185
20. Сироткина Надежда Васильевна . . . . .	193
21. Секрет одного фокуса . . . . .	198
22. Закаморный Максим Петрович . . . . .	203
23. Школа кенарей . . . . .	213
24. Какабадзе Александр Шалвович . . . . .	215
25. Я – рыба . . . . .	220

26. Ивлев Вячеслав Сергеевич	223
27. Чего вы боитесь?	234
28. Нетленка	238
29. Шабаш	246
30. Холодное стекло	252
31. Свидание в Кремлевке	260
32. Макарецва Зинаида Андреевна	266
33. Все равно я тебя поцелую!	269
34. Макарецв Борис Игоревич	274
35. В пятницу, в шесть утра	278
36. Утерин Владимир Кузьмич	281
37. Надо искать каналы	288
38. Ночь в Новосибирске	297
39. Час Ягубова	304
40. И не хочешь ворчать, а приходится	306
41. Гайки затягиваются	308
42. Дома у Раппопорта	323
43. Светлозерская Мария Абрамовна	330
44. Единственный выход	335
45. Полищук Лев Викторович	344
46. За спиной Ягубова	349
47. Волобуев Делез Николаевич	355
48. Неконтролируемые ассоциации	359
49. День рождения	366
50. Дождь	379
51. Сагайдак Сизиф Антонович	380
52. Десятый круг	386
53. Алла	393
54. Рюмка чаю	399
55. Субботник у Нади	402
56. Сироткин Василий Гордеевич	411
57. Стенограмма совещания	420
58. Прием у председателя	429
59. Такова партийная жизнь	434
60. «777»	442
61. Болельщики	452
62. Вечная мерзлота	457
63. Ивлева Антонина Дональдовна	465
64. Не записывайте телефонов!	473

65. Машинка . . . . .	476
66. Шмон . . . . .	480
67. Возвращение блудного сына . . . . .	484
68. Личная нескромность . . . . .	496
69. И это пройдет . . . . .	505
70. Роковая девочка . . . . .	512
71. Расплата . . . . .	522
72. Избранные стихотворения З.К.Морного . . . . .	528
73. Голубой конверт . . . . .	537
74. Завтра праздник . . . . .	546
Послесловие к первому американскому изданию . . . . .	561
<b>ПРИМЕЧАНИЯ . . . . .</b>	<b>564</b>